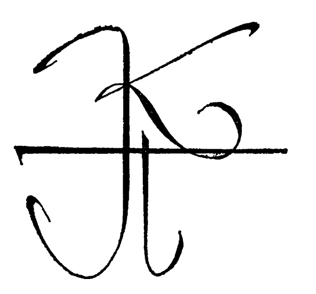
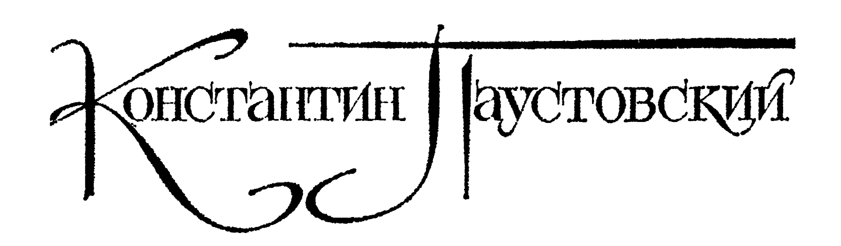
Константин Паустовский

6

Константин Паустовский 6



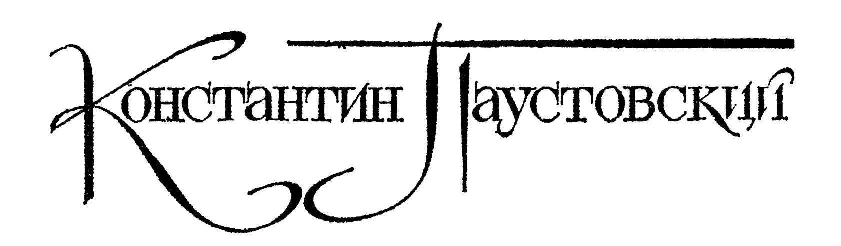


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

РАССКАЗЫ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

Р2
П21

Примечания
Л. Левицкого

Оформление художника
Е. Гольдина

П 4702010200-144 / 028(01)-83 подписное


Рассказы

НА ВОДЕ

1

На реке серо. Дымно разостлалась даль, уходя к чернеющему лесу.

Клочьями, сгрудившись, плывут к югу тучи, несут с собой серебристые полосы теплых дождей. Падают они где-то за лесом, там, где все сине и тускло, а до города доходят обессиленные и не прибивают теплую, мягкую пыль.

На пароходной пристани пусто. Пахнет рекой и кулями с пшеницей, пыхтит буксирный катер «Желанный», потягивая тяжелые дубы.

— Эй, малец! Перекинь канат! — кричат оттуда уже несколько раз лениво и неспешно. Но мальца нет. Снова тишь, плески мутных, несущих щепки и пену, волн, далекие свистки паровозов.

Пароход опоздал, идет против течения, и ничего не известно, когда он будет, может быть, сел на мель. Старые березы на берегу глухо шелестят, и скрипят шаткие перила.

Город маленький, грязный, торговый. Около пристани лесопилки.

Лошади выволакивают цепями ослизлые бревна, мальчишки подхлестывают их длинными плетьми и скверно ругаются.

Тысячи верст я еду, и везде идет нудная, надоевшая работа, везде пот и ругань, пьяные крики и тоскующие люди, родимые просторы, затянутые пеленой дождей. Шумят по вечерам под зелеными вывесками, спят среди кулей, дерутся долго и тяжело, играют на гармонике, дико

поют «Погиб я, мальчишка», а целыми днями таскают полосы жести, разгружают, подсыпают полотно дороги, штукатурят дома.

Смотрит вековечный голод, беспредельная скорбь, принесенная из деревень, где белые церквушки и цветущие овсы, тяжелая тупая ненависть и хмельной угар — забвение.

Шелестят березки, такие нежные, девственные, как на картинах Нестерова, трепещут потемневшей опадающей листвой.

А в далях смутно и печально.

2

Мигая утомленными красными огнями, подошел пароход. Долго бурлил и пыхтел у пристани. Долго выливалась густая толпа поддевок и армяков, пахло потом и махоркой. Люди, сгрудившись, толкались, как стадо у загона. Начался мелкий колющий дождь.

В каюте сонно и полумрак. Где-то за стеной журчит вода, кто-то бегает вверху, стуча подковными сапогами, слышно, как вздрагивает пол; мы отошли. Теплая дрема охватывает меня. Вижу вечернюю степь, затерянные станции, еду по незнакомым весям. Чей-то голос звучит убежденно и мягко: «Наша молодежь — вялая, устала от жизни, которой не знает, взвалила на свои плечи всю тяжесть прожитых отцами годов. Естественно стремление забыться. Забывается каждый по-своему: я, положим, пью, курю, вы бродите по всей России, а вам нужна смена впечатлений». Просыпаюсь, за столом сидят два студента и барышня. Студенты пьют пиво и курят.

Иду на палубу. Линии сигнальных огоньков дрожат по берегам, идет дождь, сырой ветер бросается в лицо. Видно, как в белесоватом небе низко и грузно плывут тучи. Палуба заставлена корзинками с клубникой. Лесной, крепкий запах идет от них, напоминает о ложном солнце и степных садах.

Сегодня Иван Купала — вспоминаю я и невольно оглядываюсь и ищу костров на берегах, плывущих веночков. «В эту ночь,— вспоминаю я,— у нас в сердцах пробуждаются дикие желания, которые жизнь не исполнила. Эти огни — призраки наших убитых желаний, это — красные, яркие перья райских птиц. Это древний хаос. Это

язычество, которое в нас никогда не умрет». Тихо поет в моем сердце знакомая тоска.

Где праздники? Где села с пьяными, шальными улицами, на которых девушки играют ярые песни, водят хороводы, а парни целуют их в бледные лица?

Где огни, что плетутся с бабьими ожерельями, узорчатые сказки о лазоревом крае, где вихрь красок, яркость жизни, синяя тревожная ночь и ржавая луна над перелесками?

Стучит машина. Далеко огни прыгают по воде. Пристань.

Спрашиваю названье и тотчас же забываю его. Растут крутые берега, и стоит над ними тоскливое небо, воет ветер, густится тьма.

1912

ЧЕТВЕРО

Всех нас было четверо.

В глуши, в старинной дедовской усадьбе собралось на лето большое общество.

Был там липовый парк, и леса, и вековое безмятежное спокойствие.

Города остались далеко, и между ними и нами лежали сотни верст.

Было нас четверо: два студента, гимназист и молодой, начинающий художник.

Утомленные городом, бессильные, отравленные отрицанием и насмешкой, мы томились и не знали, что делать.

И вот созрел наш план «великого ухода».

Решено было уйти и поселиться на все лето в далекой лесной караулке, у сторожа Андрона. И жить замкнуто, никого не видя, ни с кем не общаясь.

Художник сказал нам: «Всю вашу хандру, и усталость, и пессимизм — побоку. Пора кончать. Неужели все вы, молодые, умные, не знаете ничего лучшего, нежели ныть и смотреть на жизнь с высоты своего презрения. И лучшее время убить на это, не пытаясь найти исход! Подумайте, как это скучно и мучительно. Все дело в том, что вы — тряпки. Так не годится!»

И мы ушли.

Андрон нам не удивился. После нашего объяснения он немного подумал и ответил: «Что ж, ребята, дело ладное!»

Вечером, когда в лесу стояла сонная ночная тишина и восходили созвездья на севере, художник сказал нам:

«Здесь, в одиночестве, я хочу взять с вас клятву. Забыть прошлое, забыть суету, тоску и будни, всю эту слизь, что накопилась на душе, отдаться одиночеству и своему духу. Будем творить себя, выпрямлять свою душу, согнутую и приниженную. Будем искать и думать, станем глядеть на мир пытливо и чутко. Надо прислушаться к самому себе. Надо понять и полюбить всю невыразимую стройность мира и бога и ту сказку, которая живет глубоко и скрыта в каждом из нас. Больше радости, больше вдумчивости, мужества думать. Это трудно, очень трудно, но найдем самих себя. У нас есть счастье столь доступное всем, но всеми забытое — путь к совершенствованью, если хотите, к утонченью, высшей одухотворенности. Забудем о книгах, о газетах, о тех, кого мы оставили. Не надо этого. Мы все вместе, мы будем помогать друг другу. Для этого мы достаточно знаем и любим один другого».

Мы поняли, хотя он волновался и говорил смутно, немного неясно, и светлая тихая радость заволновалась у всех на душе.

Словно мы этого долго ждали.

Все дни мы бродили в этих бесконечных и диких лесах, по заросшим дорогам и без дорог, ночевали у быстрых рек и светлых вод, зажигали костры в полях, под небом, где пахло теплой созревающей рожью. Сгорали зори, звонкими шумами проходили серебряные дожди, прорастали сонные травы. Вошла в нас жизнь глубокая и чистая, как вода у истоков, охватила светлым покоем, тихой, святой радостью. Была эта радость во всем: и в забытых часовнях, и в кроткой ромашке у дорог, и в бледном ласковом небе.

По вечерам мы собирались и говорили о том, что́ передумали.

Нежданно, как чудо, раскрывались наши усталые, замкнутые души глубокими прозрениями, красочной сказкой, спокойной верой, легкими примиренными печалями. Невыразимо много открылось на душе, и что-то новое, неведомо-светлое родилось в ней, и жило, и уже не могло умереть. Каждый стал друг другу дорог, как брат. Вместе страдали, радовались и бродили по тяжелым путям и просто, ясно и открыто смотрели друг другу в глаза.

Художник писал. Были его наброски — вихри красок и света — чем-то буйным, словно опьянел он от близости земли. А когда пришла осень, раскинулась она по его по-

лотнам золотым кружевом, успокоенной прелестью, мглистыми, блеклыми далями.

Гимназист искал. Он долго думал об одном и том же, вынашивал его бережно и трудно. Каждый миг, что ушел,— нереальность, каждое мгновенье, что придет, как призрак, и наша действительность, жизнь казались ему тоненькой пленкой между двух бездн небытия, сновидением, так легко ускользающим маревом. Страданье, как сон, и жизнь, и любовь. Углублялись его глаза, он верил и часто уходил к древним церквушкам на синие озера и смотрел по часам в глаза кротких, изможденных угодников божьих. Было в нем много детского, но уже назревала глубина.

Я жил в полях. Я уходил за десятки верст к старым, екатерининским усадьбам, в большие села. Бродил по проселкам со слепцами и жадно слушал их песни. Думал о красивой жизни, что ушла из белых домов с колоннами, из дворянских заброшенных гнезд. Отстаивал долгие службы в деревенских церквах.

Толкался по ярмаркам, слушал гомон и взвизгивания гармоники и ярые песни. И новая, красочная, глубокая, полная вековечного горя, Христа и кротости встала передо мной жизнь. Новые думы заволновались во мне, новые песни.

Студент говорил нам о многом, но больше всего о любви. Она едина, невыразимо чиста, и, может быть, один из тысяч чувствует ее божественную сущность. Он говорил о том, как люди развенчали ее и как тем возвеличили в его глазах. Она — творчество, она — смысл земли.

Каждый день подымались новые вопросы и зрели новые решения. Мы были искренни, искренни до конца, и дико показалось бы нам говорить ради одних слов.

Уходили дни. Много прошло юного и бродящего в наших думах. Но уже была в нас жажда высшего, порыв к красоте и томленье мысли.

Были дни смеха, веселья и шумной радости. Немесячными ночами мы буйно пели по лесным дорогам разбойничьи песни или, сидя в избе с Андроном, смешили его до слез и сами смеялись, как безумные. Бывало, сговорившись, уходили с вечера и шли до зари по незнакомым тропкам наугад, без цели.

Нашу просьбу исполняли. Никто не приходил к нам, ничего не присылали, даже писем.

Скоро кончилось лето. Бледным, матовым золотом оделись березовые рощи, звонко стало в лесу, почернели синие воды. Носилась по ветру, под пежгучим солнцем пряжа богородицы — паутина, покрывались поляны белыми, лиловыми цветами.

По ночам горько пахло тлеющей листвой и лихорадочно-ярко сгорали осенние звезды.

Мы разошлись, как братья. Полное боли было наше прощанье. Спокойные пришли мы обратно, уже иные, способные принять жизнь и возвыситься над буднями. Ожила душа. И дома нас не узнавали.

Теперь в каменном, угрюмом и тусклом городе в минуты усталости я вспоминаю, как сон, эти два месяца в лесной караулке, два месяца, что были, быть может, оправданием жизни.

1913

РЕПОРТЕР КРЫС

Было время голода, пайков и диких зимних ночей на одесских улицах.

Я ночевал в бывшем магазине Альшванга и спал на зеркальной двери из примерочной, положенной на ящики со стружками. Ночью в магазине было пять градусов мороза, в стружках пищали мыши, ветер гудел над крышами, как гигантский примус, и было слышно, как у кромки зернистого льда в порту шумел черный прибой.

Когда мутный рассвет вползал в широкие окна, по улице шаркал больными ногами старый еврей-газетчик с Большой Арнаутской и безнадежно кричал в мертвые окна и пустые двери:

— «Звэстья» газэта, «Звэстья»!

Он плелся дальше к порту, где серый снег лежал на палубах заколоченных шхун и под мрачным небом гулял норд-ост.

Это было, по словам одного из писателей, «в стране революции, холода и героев». И одним из этих героев был Крыс — пожарный репортер рабочей газеты «Станок».

Он ходил в рваной «цыганской» шинели, в футбольных бутсах, резонерствовал, скулил от холода, а по ночам терпеливо волочил свои бутсы из редакции через весь город на Пересыпь, где его ждала старуха мать.

Когда секретарь «Станка» выбрасывал в корзину его

заметки, Крыс шел отводить душу в контору к молодому счетоводу со звучной шотландской фамилией Фингарет.

Но Фингарет, чахлый и тихий, сводя синими пальцами скудные балансы, неизменно отвечал:

— Ты дурак, Крыс! Работай,— может быть, что-нибудь выйдет.

И Крыс работал. Он вышагивал бесконечные улицы, где над ним издевался норд-ост, залепляя глаза смешанным с пылью снегом. Ходил он медленно, в силу философического склада своего ума.

— Я иду, смотрю себе и думаю разные вещи,— говорил он.— И пока я дойду с Пересыпи до Дерибасовской, я уже знаю все, что мне надо писать.

Сначала Крыс был мальчиком при типографии «Известий». В типографии его шпыняли за медлительность и за то, что во время работы он читал Вальтера Скотта. После типографии Крыс поступил на курсы журналистов. Здесь он пропал. Он понял, что такое газета, что такое журналист, он, неповоротливый Крыс, мишень для насмешек репортеров, голодавший, как нищий, и изредка приносивший немногочисленные «куски» и «ицыки» [1] своей горько вздыхавшей мамаше:

— Ну и время (это же не время, а кошмар!). Такое время, что и люди — не люди, и деньги — не деньги, и смерть — не смерть.

Крыс долго приглядывался к веселым в голоде, беззаботным в нищете, ироническим людям, которые называли себя журналистами. Он радостно ухмылялся, слушая их рассказы, в которых самый опытный редактор не смог бы отделить правду от выдумки, завидовал им, шатавшимся по всей России, как по собственной комнате, их любви к событиям и насмешливо-добродушному отношению к жизни, совсем не такому, как у его мамаши или у дяди — экспедитора из губтрамота.

Наконец он решился. Он спросил одного из них, как понять: кругом голод, и люди далеко еще не знают, как и чем им жить, темно, зима, в комнатах свистит ветер, а они смеются.

— Ты дурак, Крыс. Разве ты не знаешь, что теперь революция? Не задавай нелепых вопросов. Работай,— может быть, из тебя что-нибудь выйдет.

---

[1] Одесское название сторублевок и пятидесятирублевок 1920 года.

И Крыс понял: времена великой революции! Чтоб он так жил! Так надо! С тех пор гул норда, трупы лошадей, а подчас и людей на улицах, кислый хлеб, пахнущий гашеной известью, и бензиновые коптилки его не удручали. Так надо!

Крыс работал. С упорством, достойным, несомненно, лучшей участи, он описывал пожары от «румынок» и бензиновых коптилок. На пожары он ходил даже ночью с Пересыпи, ориентируясь по зареву. Его знали все милиционеры. Его бутсы размокали в лужах от дырявых насосов, руки краснели, как куриные лапы, но он должен был быть на месте. Ибо, во-первых, ему доверял редактор, а во-вторых, Крыс не доверял брандмайору за его полковничий бас и явное пренебрежение к крысовской шинели и званию репортера.

Кроме того, Крыс «обслуживал» одесский базар — вавилонское торжище, переполненное жуликами, унылыми дамами, жарившими пирожки, военморами, бывшими генералами и старыми еврейками; одесский базар — визгливое, легко впадавшее в панику торжище, распространявшее неистребимый запах горелого масла, новых сапог и мыла.

В свободное от работы время Крыс топил бумагой чугунную печку и внушал правила дисциплины десятилетним шустрым курьерам в рваных гимназических шинелях. Уходил он последним.

Но редактор знал, что если ночью, в ледяной дождь, понадобится послать кого-нибудь за пятнадцать верст на Большой Фонтан или в Слободку Романовку — пойдет Крыс. Пойдет безропотно, бережно неся в кармане, как священные реликвии, свои заметки, пойдет, весь загоревшись от того, что вот ему, Крысу, который два года тому назад едва умел писать, поручили важное дело, что товарищи ждут, что этого «требует газета» и редактор,— все самое нужное и ценное в жизни Крыса. Ничего пе поделаешь! Времена великой революции! Чтоб он так жил!

Газете приходилось трудно, тощала касса, с каждым днем грубела бумага, и стало ясно, что надо сокращаться.

Наконец пришел день сокращения, и жребий пал па Крыса — пожарного репортера.

Крыс догадывался. Весь день он томился, смотрел в глаза редактору, секретарю, репортерам, Фингарету, си-

лясь прочесть ответ, шепотом спрашивал замерзавшую машинистку: кого сократили? — и все угрюмо прятали от него глаза и молчали.

Только вечером репортер Любимов, любитель кино и протоколов, сиявший потертой элегантностью, открыл ему правду.

Крыс прижал к глазам рукав рваной шинели, презираемой брандмайором, и заплакал.

В редакции наступила тишина. Было слышно, как внизу Фингарет щелкал на счетах, подводя скудеющий баланс. Сквозь заплеванные дождями окна накатилась тяжелая ночь, тоска сырых комнат, боль отмороженных пальцев, молчаливых страданий, которые пережил каждый в те годы.

Все это собралось в один комок — в жалкого, мокрого от слез Крыса. Мать Крыса уже две недели лежала в сыпняке, но даже ради нее Крыс не бросил редакцию.

Мутно, как в покойницкой, светила лампочка, и никогда не терявшийся Любимов сжался над столом, словно ждал удара в спину.

Крыс промычал, что он просит, чтобы ему разрешили только работать в «Станке», денег ему не нужно...

— Что ж я без «Станка»?..— спросил он и снова закрыл глаза рваным рукавом.

Спина у него дрожала. И мы, знавшие прекрасно, что тогдашние дни не допускали жалости и уступок, были взволнованы и сдались.

Крыс — сияющий мокрыми глазами Крыс — был оставлен на окладе курьера — единственная роскошь, которую мог себе позволить «Станок».

Крыс был оставлен, потому что и редактор и все мы поняли, что во время своих далеких странствований с Пересыпи и своих медлительных размышлений Крыс узнал, что значит быть журналистом.

Его неумолимо затянула жизнь редакций, лихорадочная и утомительная, затянуло сознание «всемирности», которое явственно ощущаешь в редакции каждой газеты. Ощущение того, что вот здесь, в этих прокуренных комнатах, где машинистка дует на свои потрескавшиеся пальцы, отражается на торопливо исписанных гранках вся сложная жизнь портового города, отполированного зимними ветрами, а на листах папиросной бумаги с лиловыми строчками телеграмм Ратау горит весь мир в его блеске, борьбе, гениальности и негодовании.

У каждого есть своя точная и замкнутая профессия. У журналистов профессия — всё, вся жизнь. В небольшом комке нервного вещества, который зовется мозгом, они должны соединить знание многих профессий, областей жизни, научных теорий и политических систем.

У советских журналистов профессия — ловить жизнь, закреплять каждый ее день на свинцовых полосах набора, бросать его в массы, в города, на глухие станции, в села, на заводы, на палубы судов и вызывать ответный гнев, сосредоточенность, радость, действие. Бросать, зная, что завтра надо поймать в эти же строчки новый день, что газета живет только сутки, что вчера уже отгремело и накатывается оглушительное сегодня.

И Крыс с Пересыпи, пожарный репортер «Станка», испытал это редкое счастье. В этот вечер в редакции шумели так оглушительно, что даже несменяемый передовик всех одесских газет, совершенно глухой, но экспансивный Зоров, услышал этот хохот — случай единственный в летописях одесской печати — и сам хохотал фальцетом, хлопая Крыса по «цыганской» шинели.

У редактора весело и насмешливо поблескивали глаза. Фингарет гремел в конторе на разбитом пианино то «Интернационал», то «Свадьбу Шнеерсона».

А «знаменитый парень» репортер Светлов натянул Крысу кепку до самого рта и крикнул:

— Работай, Крыс, шмаровоз! Из тебя будет толк!

Крыс дико захохотал, потому что первый раз в жизни он услышал эту фразу без страшных слов «может быть».

Одесса, 1922

ЛИХОРАДКА

1

— Двадцать третий,— прохрипел надсмотрщик и мигнул распухшим глазом.— Двадцать третий прилип к этой проклятой каучуковой земле.

— А остальные?

— Остальные режут. Сок течет. Москиты жалят, и подушки из песка промокли от пота. Ничего! Компания будет довольна.

— Вы пессимист, Томми,— сказал капитан речного

парохода, но подумал о том, что Томми не пессимист, а дурак.— Выпейте лучше виски и смените белье: скоро за-кат. Иначе вы тоже прилипнете.

Надсмотрщик посмотрел на реку. В первобытном пару дымились леса и воспаленное разбухшее солнце.

— Хорош апельсинчик,— пробормотал он.— Это не климат, а прачечная. Все мое тело промокло насквозь. Мои легкие, как выстиранная штанина, прилипают к ребрам.

— Жалкая европейская болтовня,— бросил в сторону инженер и закурил трубку.— Конечно, вас жаль, Томми, но вы отлично знали, на что шли.

— Стоп! — крикнул надсмотрщик.— Стоп! Вы больше европеец, чем я. Я родился в Египте, а вы — в Москве. Это бесплодный разговор, сэр. Надо понимать.

Инженер встал и, тяжело волоча краги, путаясь в траве, поднялся на вышку, где приходилось спать по ночам, спасаясь от москитов и лихорадки.

Внезапно упала ночь, скользкая, как шкура бегемота, тяжелая ночь, с избытком заполненная нервными снами.

Ртутным блеском, глазами трупа светилась река. Инженер закурил и лег на спину, глядя на небо, опрокинутое над экваториальными лесами.

«Амазонка,— подумал он вяло и сбивчиво.— Калоши «Треугольник» и самые прочные шины для «фордов». Детские соски. С гор, из какой-то республики Венесуэлы, ползет туман и такой запах, будто бы это не республика, а нью-йоркская аптека».

И его, как дрожь лихорадки, пронизала тоска по Европе.

— У него моча уже кровяного цвета,— просвистел зловонным шепотом Томми на ухо капитану и повел белками на инженера.

— Через два дня он прилипнет. Рабочие резбегутся. Что тогда?

— Вы сосунок,— капитан сухо засмеялся.— Куда разбегутся? Пешком до океана столько миль, что их хватит на остаток всей вашей жизни. За день они прорубят в лесах не больше мили. Лихорадка хлопнет их раньше, чем они вылезут на сухое место. Не болтайте чепуху.

— Что же делать?

— Ждать, пока придет новая партия.

— Незаконнорожденные! — проскрипел зубами Томми и замолк.

Утром инженер долго сидел в каюте капитана над картой Бразилии.

— Санто-Марко,— несколько раз повторил он задумчиво и подчеркнул на карте черенком трубки черный кружок,— Санто-Марко. Оттуда раз в две недели идут пароходы в Шербург, в Европу. Значит, десять дней до устья, четыре дня до Санто-Марко, шесть дней ждать, две недели через океан и десять дней до Одессы. Сейчас январь. В половине марта я буду дома.

В груди у него тупым барабанным боем заколотилось сердце.

Он перевернул листки настольного календаря на столе у капитана и на «15 марта» жирно написал красным карандашом:

«Я в Одессе, в России, и плюю на амазонский каучук».

Потом подумал и приписал:

«Будь трижды проклята Бразилия и вы, колониальные собаки! К дьяволу ваши соски и калоши».

Он нетвердо вышел на палубу, дымившуюся от пара. Река блестела, как слюда. В безмолвии и великолепии лесов сторожила его шаги лихорадка в испарине, жажде, в своем изумительном и потрясающем бесплодии.

«Лихорадка — это выкидыш воли,— вспомнились ему слова чудака-капитана.— Лихорадка — это «скэб», проказа, черная кровь, змеиный яд в мозговых бороздах».

Пустыми глазами он долго смотрел на раздавленные зноем бараки фактории. Он знал, что делать.

Их было еще довольно много. Они резали каучук — вот все, что знали о них капитан Гарт и инженер Миронов. Знали они только Томми — «босса» (надсмотрщика) и «траурного Вильямса», негра с оторванной мочкой у правого уха — Вильямса-молчаливого.

Инженер знал, что делать. Надо бежать. Надо подняться со шлюпки на пароход перед рассветом, а утром капитан Гарт, который охотно выдаст его за сумасшедшего, снимется с якоря, и об этом не будет знать ни одна живая душа в фактории.

Гарт всегда бесстрастен, молчалив и не привык удивляться. Гарт — амазонский речник, но ходил в Нью-Орлеан, возил нефть из Тампико на Антиллы, много видел странных и тяжелых историй и готов оправдать даже профессионального убийцу.

Он ценил только три вещи в мире: табак, безмолвие великих рек и парадоксальный образ своих мыслей, доставлявших ему величайшее наслаждение.

Гарт был одинок. Когда-то в Рио, в кафе, он встретил норвежку с зелеными глазами. Но это было давно. С тех пор он ушел в плаванье по этим местам, в удушливый банный сон смертоносных зарослей и рек. По ним он первый прокладывал пути на своей «Минетозе», пугая стаи горластых зеленых попугаев. Он открывал новые каучуковые леса и сутками лежал в своей каюте, зевая от скуки и равнодушия.

Вечером инженер пошел к рабочим. В зарослях горел костер, отгонявший москитов. Синим стеклом затопила леса торжественная ночь.

Дрожали усталые веки, и вздрагивала черная река, нехотя баюкая острые зерна звезд.

«Все-таки жаль, немного жаль»,— подумал инженер, всматриваясь в яркое белое пятно — рубаху Вильямса-молчаливого.

— Вильямс! — крикнул он глуховатому негру.— Как партия?

— Понемногу издыхает, сэр,— устало ответил Вильямс и не поднял глаз (он латал синие выцветшие штаны).— Партия волнуется, сэр, и хочет с вами потолковать.

— О чем толковать?

Вильямс подумал, откусил нитку прокуренными зубами и ответил:

— Этот проклятый ливерпулец сбежал. Он нарушил контракт. Он украл у босса из походной аптеки чуть ли не четверть кило хинина и ушел в лес. Говорят, он пошел вдоль реки.

— Ну и что же?

— Пропадет, ясно,— проронил Вильямс.— Но партия волнуется. Надо потолковать.

— Ладно. Чтобы через полчаса все были здесь,— сказал инженер.— Созови партию.

— Хорошо, сэр. Вот я еще об этом, о ливерпульце...

Хинин ему не поможет. У него уже моча с кровью. Многие видели.

Инженер вспомнил на своем белье бледно-кровавые пятна. Он не мог выговорить ни слова, быстро обернулся, выхватил браунинг и выстрелил в облезлую ручную обезьяну, вычесывавшую блох около костра.

— Так недолго ухлопать и людей, сэр,— вяло сказал «траурный Вильямс» и отложил в сторону штаны.— Недолго ухлопать и себя, сэр.

— К черту в зубы! — пробормотал инженер и, шатаясь, пошел к вышке. Ноги у него дрожали, волосы слиплись, внезапно запахли уксусом, и в голове океанским прибоем шумела хина.

— В чем дело? — хрипло крикнул он через полчаса, глядя на ненавистное мокрое лицо босса.

Рабочие слушали его молча.

— В чем дело? Ливерпулец показал нам пример, теперь наша очередь. Я — инженер компании, но я не хочу менять свою жизнь на тысячу спринцовок. Пусть компания навербует себе две сотни новых дегенератов, они будут резать каучук и издыхать от лихорадки, высунув вспухшие языки. С нас хватит.

— Он большевик! — шепотом просвистел босс и толкнул капитана.— Вы поняли, к чему он ведет?

— Пустяки, Томми,— ответил капитан и отодвинулся подальше.— Это лихорадка. Он уже прилипает. Еще трое суток, и никакая сила не оторвет его от земли.

— Чего же вы хотите? — крикнул из задних рядов Джек-одноглазый.

— Идти за ливерпульцем,— ответил от костра чей-то насмешливый голос.— Чтобы подохнуть в лесах.

— Попугаи откричат по нас веселенькую панихиду,— проронил Вильямс и взглянул на босса.

Было ясно, что необходимо вмешаться.

— Сэр,— осторожно сказал босс, сделал шаг вперед и тотчас же отступил.— Сэр, вы — представитель компании. Не хотите ли вы предложить рабочим нарушить контракт?

— Именно,— ответил инженер и провел ладонью по побелевшему от слабости лбу.— Именно. Что касается меня, то я нарушу его сегодня же ночью. Я плюю на вашу компанию! Мне жизнь дороже контрактов.

— Так не годится, сэр! — крикнул босс и тотчас же отскочил в тень.

Инженер не спеша вынул браунинг и приложил его плашмя к пылающим щекам.

— Будьте благоразумны,— сказал капитан, не двигаясь с места.— Не позволяйте лихорадке хватать вас, иначе вы не продержитесь и пяти дней. Спрячьте револьвер, вам сейчас дадут виски. Джек, дайте ему стакан, не бойтесь! Так! Теперь легче? Хорошо. Слушайте дальше! Вас осталось семьдесят человек. Что вы думаете делать?

— Жить,— сказал инженер, и по его воспаленной щеке поползла слеза.

Босс кивнул головой.

— Жить,— сказал он и удовлетворенно ухмыльнулся.— У него горячка: то бежать, то жить. Хорошенькие штучки!

Все замолчали. Только слабо гудела неведомая, не нанесенная на карту, река, унося свои тяжелые воды, размывая корни ядовитых лесов.

— Жить...— повторил инженер и повернулся к капитану.— Слушайте. Я представитель компании, и вы, Гарт, в данное время подчинены мне.

— Это так.— Гарт выжидательно взглянул на инженера.

— Да, это так,— резко подтвердил инженер.— А раз это так, то я даю распоряжение: в четыре часа ночи начать погрузку на пароход всей партии, а в шесть часов сняться и идти к устью. Около первого же населенного пункта вы подымете желтый флаг, мы потребуем на борт воду, нефть и провизию, и до самого устья я не спущу никого на берег.

— Если вы раньше не умрете,— заметил вскользь, но вежливо Гарт.

— Да, если я раньше не умру. Но умирать я не собираюсь.

— Слушаюсь! — Гарт повернулся.

Возражать было нечего. Было совершенно ясно, что с этого момента вся партия выпустит семьдесят пуль в того, кто посмеет возражать.

Партия поняла. Гарт услышал это в хриплом и тихом гуле после своих слов о смерти инженера.

«Они нашли выход,— подумал капитан, подходя к берегу и нащупывая глазами шлюпку.— Ха! Он оказался необыкновенно прост».

Он взглянул на белые огни «Минетозы», вдохнул тягучий, камфорный сок лесов, от которого тупела голова,

и ему пришла простая мысль, что весь строй Америки, крепкий и тяжелый, как «клоб» полисмена, призрачен, бессилен и разлетится пылью от двух-трех слов человека, умирающего от лихорадки.

«Теория относительности Эйнштейна»,— подумал он и улыбнулся в темноту, в которую водопадом лилось небо во всем своем черном великолепии.

2

В дощатых комнатах пахло камфорой, сигарным дымом и зноем.

Среди реки на якоре стоял пароход с повисшим на мачте желтым флагом.

— Необходимо узнать,— расслабленно сказал редактор и уронил мокрые руки на стол.— Необходимо узнать, в чем дело. Какая у них болезнь на борту.

И он глотнул из потного стакана воду со льдом.

Черным лаком пылал асфальт, изъезженный маслянистыми шинами, а из садов, где прятались кубические дома, удушливо тянуло лавром, эвкалиптом и полуденной смолой.

Запахи полудня были невыносимы. Они изнуряли бесплодной тоской по необъятным водам, в которые можно броситься вниз головой с восторженным криком.

Вентиляторы жужжали, разбрасывая по сторонам папиросную бумагу с фиолетовыми строчками телеграмм, и казалось, что вместе с их шумом в комнату накачивался готовый ежеминутно вспыхнуть газ гигантских моторов.

Редактор был добрый католик. Он еще помнил то время, когда к его отцу приезжали монахи-иезуиты и пили в темных комнатах крепкую абрикосовую водку.

Его отец разбогател на какао. Вероятно, поэтому редактор не выносил запаха какаового масла, напоминавшего ему запах негритянского пота. Он был либералом. Он считал негров людьми, держал в редакции сторожа-негра, был слаб в географии, молчалив и предполагал, что его род восходит к далеким и пышным временам Филиппа Великолепного.

Он был безобидный дилетант, хотя и принимал некогда участие в революции (кажется, двадцать четвертой по счету). Однажды президент Мигуэс ночевал у него, спасаясь от инсургентов генерала Ля-Пеньи, и даже забыл

на тростниковом стуле потертый кобур от револьвера. Кобур лежал у редактора в письменном столе вместе с единственной написанной им книгой: «О причинах войны между республиками Чили и Перу».

Пока редактор размышлял о жаре и урожае тростникового сахара, а репортер Типедж нехотя, часто задумываясь, писал заметку о приходе «Минетозы» под желтым флагом, в редакцию вошел капитан Гарт.

— Что у вас? — спросил, оживляясь, редактор, помахал в воздухе рукой в знак приветствия и залпом допил воду со льдом.— Почему вы подняли желтый флаг?

— Я вам пишу об этом.

И Гарт положил на стол листки рисовой бумаги, исписанные синими чернилами.

— Великолепно! Типедж, бросьте ваши потуги, вы как всегда проспите. Капитан написал сам. Это очень любезно с вашей стороны,— сказал он капитану, кивнул и потянул к себе листки.— Одну минуту, я выпишу чек. Ничего подобного я еще не испытывал; это не воздух, а сахарная патока. Приходится каждый час умываться. Да, да. Это очень неприятное ощущение, когда парусиновые туфли промокли до нитки... Как вы решились выйти в полдень? Всего лучшего! Я надеюсь еще увидеть вас во время обратного рейса.

Зной метался в глазах красным туманом. Было четыре часа. Редактор взглянул на заголовок рукописи, пометил шрифт и послал его в типографию со сторожем-негром.

Жара медленно изнывала, растворяясь в горячем молоке реки. На кирпичных лицах еще долго, почти до рассвета, болезненно тлели ожоги полудня.

И когда «Минетоза», шумя винтом, ушла вниз по реке в прозрачную, кое-где затушеванную испарениями ночь, ушла в далекое, исцеляющее, прекрасное плавание, спустив желтый флаг,— из машин на полированные доски вылетели, шелестя, сырые газеты. На первой странице был напечатан портрет некоего джентльмена с тремя шевронами на левом рукаве, весьма отдаленно напоминавшего капитана Гарта, и на белизне бумаги кричала жирная таинственная надпись:

ЖЕЛТЫЙ ФЛАГ
НА «МИНЕТОЗЕ»

«Это флаг лихорадки,— писал капитан Гарт.— У меня на борту 66 человек, больных ею. Четверо умерли в пути.

Лихорадка привела этих 66 человек к простой до глупости и неизбежной мысли. Они — бывшие рабочие каучуковых плантаций. Во главе их стоял русский — инженер Миронов.

Да, вопрос прост. Компания купила руки этих рабочих, их мозг и время. Иначе говоря, компания купила их жизнь. Один продает свою жизнь оптом, другой в розницу. Это дело личного вкуса.

Продавший оптом умирает на службе у одного и того же хозяина и получает за это серебряные часы и несколько дурацких слов, написанных витиеватым почерком на слоновой бумаге. Это называется юбилеем.

Те, кто продает свою жизнь в розницу, считаются менее ценными работниками, так как они любят жизнь как жизнь. Тот же, кто совершенно не хочет продавать свою жизнь и так глуп, что думает о счастливом и веселом существовании,— обречен на презрение и смерть. Смерть иначе называется безработицей.

Итак, партия в семьдесят человек резала каучук. В лесах ее настигла лихорадка. Потрясающая смертельная лихорадка, от которой пятидесятилетние бородачи и даже негры плакали, как грудные дети. Лихорадкой заболел и инженер Миронов.

Ему, русскому, она внушила простую мысль: если у тебя отнимают жизнь, не отдавай ее, если тебе грозят безработицей, вырви у тех, кто помимо господа бога дарует тебе существование, свое право на жизнь.

Почему негр Вильямс должен получать свою жизнь, как кусок мокрого хлеба, из рук молодого, картавого и глупого, как баран, директора Кларка? Почему, если он может создать ее сам?

Эта мысль появилась. Она вонзилась в мозги, как упавшие ножницы в деревянный пол. Она ширилась, рост ее был поистине молниеносен.

Я, капитан компании Гарт, не имел возможности и права сопротивляться партии, потребовавшей от меня увезти ее из проклятых лесов к океану. Дальнейшие планы партии мне неизвестны, но думаю, что моя «Минетоза» еще окажет ей большую и существенную помощь при этом новом и весьма любопытном случае, впервые происходящем на территории Бразилии. Поразительно лишь то, что к столь простым выводам мы приходим путем тропических болезней.

Капитан Гарт».

Редактор не читал статьи,— в этом была виновата жара и его легковерие; поэтому на следующий день по всему городу были слышны яростные крики о бунте партии каучуковых рабочих, захвативших пароход «Минетоза» и идущих на нем к устью, чтобы напасть на правление каучуковой компании. Во главе рабочих — инженер, русский («лидер оф большевик», как говорил всюду сонливый репортер Типедж), молодой человек, умирающий от амазонской лихорадки.

3

Воздух в каменных переулках был красноватый от заката. Миронов курил трубку. Над заливом разбухала луна, и черные борта пароходов змеились медным огнем.

Миронов вспоминал. Последние три дня прошли как в кинофильме.

Он вспомнил белую пыль, легкие пороховые дымки около желтых стен, клочья штукатурки, с шумом падающие на мягкий от солнца асфальт, хриплый голос Вильямса-молчаливого, сжимавшего черными лапами ствол винчестера, каску полисмена с громадным, как цветок мака, кровавым пятном и звон пуль, дергавших телеграфные провода.

Миронов курил и думал о том, что все случившееся было неизбежно: даже если бы полиция первая не напала на пароход и не разъединила их, все равно загорелые и гневные люди с парохода повели бы правильную осаду окруженного кокосовыми пальмами дворца компании.

Миронов вспомнил, как капитан Гарт после первых выстрелов, прогудевших сонно и тупо над черной рекой, вышел на мостик и приказал боцману поднять на мачте красный флаг.

Гарт был спокоен. Он даже насвистывал «Джимми». И только когда «траурный Вильямс» упал, плюясь липкой кровью, а сержант выстрелил ему в спину, крикнув что-то о «вонючей собаке», Гарт выпул из кармана коричневую руку с теплым кольтом и, почти не целясь, спял сержанта. Сержант упал в густую, красную к вечеру пыль. Река дымилась па́ром. Красный флаг полоскался в удушливом небе, переливался свежим пурпуром над тропическими, тусклыми, как столетний хрусталь, но все еще ослепляющими далями.

Миронов вспомнил, как они, пять отбившихся от парохода «инсургентов», пытались прорваться к пароходу, уже отходившему вниз к океану, как они рвали руки в колючках кактусовых зарослей, жаливших, точно пчелы, как зеленоватый сок простреленных стволов брызгал в лицо и Джекс облизывал лопнувшие губы, из которых капала кровь. К шести часам из пяти осталось двое — Миронов и Вильямс. Вильямса убили на берегу, когда он хотел броситься в воду и плыть к «Минетозе». Гарт отомстил за его смерть.

Внезапно упавшая, стремительная, как полет птицы, темнота скрыла Миронова. Он долго полз через кофейные плантации и просидел до утра в шалаше у старика метиса. Старик даже не спросил его, кто он и почему у него рубашка на плече бурая от крови.

Утром Миронов сжег рубаху, промыл пустяковую рану на плече, купил у метиса другую рубаху, купил табаку и пошел к океану. До океана было тридцать миль. Паспорт он уничтожил.

Куда ушел капитан Гарт, Миронов не знал. Очевидно, на Антиллы или в Венесуэлу, чтобы спастись от суда и каторги.

4

В тот душный день, когда он пришел в Санто-Марко, в местной революционной газете была напечатана статья за подписью Дюлье «О беспорядках среди каучуковых рабочих». Он жадно прочел ее. Там было написано:

«Все уже знают об этих беспорядках. Партия каучуковых рабочих, умиравшая от лихорадки в ядовитых лесах Рио-Негро, вблизи Амазонки, восстала против хозяев. Рабочие захватили речной пароход «Минетоза» и пошли вниз по реке. Полиция, предупрежденная губернатором центральной провинции, встретила пароход ниже Сантаремы, около резиденции компании, и, когда пять человек из восставших спустились на берег, пыталась арестовать их. Началась перестрелка. Пароход, подняв красный флаг и отстреливаясь, ушел вниз к океану. Четверо рабочих было убито. Со стороны полиции убиты сержант и два полицейских.

Во главе восставших был русский инженер, большевик. Судьба его неизвестна. По последним сведениям, «Мине-

тоза» подошла к берегам Французской Гвианы, где ее экипаж и мятежники сошли на берег, отдав себя под покровительство французских властей.

Наивные люди! Они думают, что правительство республиканской Франции не выдаст их, ибо они политические преступники. Министр иностранных дел найдет повод, чтобы выдать их как уголовных преступников, хотя бы за захват частной собственности — парохода бразильской каучуковой компании.

Франция республиканская и Франция времен Коммуны — два разных мира, их вечно путают невежественные рабочие массы Латинской Америки.

Коммуна семьдесят первого года острой иглой проткнула нарыв, но он растет и наливается снова. Буржуа живуч, как старая кошка.

Но Коммуна придет. Снова запылает Бельвилль гневом и пеной народного возмущения. Снова блузники будут дуть на ладони, обожженные винтовками. Случай в Сантареме — одна из тонких нитей, из которых плетут на ткацком станке времени и нужды красное полотнище революции».

— Довольно патетично,— сказал инженер и подумал о том, что единственный человек, который ему поможет в этом городе, будет Дюлье. Необходимо его разыскать.

Спустя час, в тесной кофейне, где по стенам бегали скорпионы, он узнал от краснолицего толстяка в порванном сомбреро, что Дюлье — редактор «революционной» (толстяк сделал круглые глаза) газеты, семидесятилетний старик, участник Парижской коммуны. Он был сослан после семьдесят первого года на пожизненную каторгу в Кайенну и оттуда бежал в Санто-Марко. Здесь он живет уже тридцать лет, у него сын в Париже, а здесь единственная дочь. Живет он на улице Санта-Барбара, около старой капеллы.

Вот все, что узнал о нем Миронов, а вечером он сидел уже в кабинете Дюлье и спокойно курил трубку.

Миронов с любопытством изучал этот странный город, где совершенно не было птиц, если не считать маленьких зеленых попугаев, точивших клювы о полированные жердочки в кофейнях.

На белых и высоких оградах садов весь день лежал шелковистый блеск солнца. Душно пахли олеандры,

звенела по камням вода, звенели подковами старые мулы и гортанно кричали потные погонщики, оглушительно щелкая по ящикам бичами. На улицах сладковато пахло ванилью. Из кофеен, где трещали кофейные мельницы, несся приглушенный стук чашек. Оливковые люди в страстных спорах прожигали сигаретками газеты, и клекотали, моргая янтарными глазами, крошечные попугаи.

Ночи были залиты белым холодным пламенем,— отраженное солнце играло в гигантских голубых кристаллах океана. В душную тьму лились томные и страстные звоны старинных, перевитых лентами гитар.

Миронов, глядя на свои коричневые руки, испытывал странное ощущение, что вместо крови в его теле бьется острый, как горные травы, сок. Дюлье, смеясь, сказал, что у здешних жителей не кровь, а шартрез — пахучий ликер.

Миронов подружился с дочерью Дюлье — Сесиль, девушкой с ярким лицом. От матери-испанки у Сесиль остались дикость в движениях и внезапная лень, заставлявшая ее целыми днями лежать на террасе, глядеть, как ветер качает шарики сухой мимозы, и слушать полуденный шорох океана. Каждое утро она купалась в заливе, и за девятичасовым кофе ее руки пахли солью.

С ней Миронов однажды ездил в старый иезуитский монастырь за городом. У него в памяти остались тяжелые лесные заросли, лиловый дым далеких исполинских гор, известковые стены монастыря, похожего на персидский караван-сарай, и легкая дрожь руки Сесиль, когда он помогал ей садиться в седло.

— Когда придет пароход? — спросила Сесиль вскользь, словно думая о чем-то другом.

— Через неделю.

Миронов почувствовал презрение к себе, к своим мягким волосам, сдержанному голосу, к своей нерешительности, заставившей его прозевать уже один пароход, к бесплодной мечтательности, к глупым колебаниям — и резко ударил хлыстом лошадь.

Ветка глицинии зацепила его по лицу. Он сорвал ее и бросил в темноту, туда, где ехала рядом Сесиль.

Сесиль засмеялась. Свет из окна прорезал лакированные, рваные листья банана и упал на ее лицо. Оно было смертельно-бледным.

5

Капитан парохода был гасконец, картавый, вертлявый и гримасничающий, как обезьяна. Он был в восторге от того, что ему приходится переправлять в Европу «инсургента», и даже спрашивал по секрету Дюлье: не президент ли это одной из экваториальных республик?

— Я высажу его в Роттердаме,— сказал он таинственно Дюлье.— Вы можете на меня положиться.

И он прибавил несколько слов о Великой французской революции и «прекрасной Франции» — матери всех республик.

Миронов — теперь уроженец Канады, француз Гастон Ру, погрузился в одиночество и синюю молчаливость океана. Дпи шли. Переворачивались склянки песочных часов в его каюте, пассат обдувал лицо тонкими запахами, в которых Миронов явственно различал дыханье перца и миндаля. По вечерам гигантские красные какаду раскидывали по небу длинные хвосты. Торжественным, ослепительным величием была полна короткая тропическая ночь.

Океан дышал мерно, лениво вздымал стеклянные горы воды. «Прованс» дымил желтыми трубами, качая полированные, чисто вымытые палубы.

Миронов вспоминал последний день в Санто-Марко с Сесиль около монастыря.

Из монастырских ворот выходили женщины. Отблеск их желтых шелковых шалей залил тусклым золотом зрачки Сесиль, когда она на листке блокнота, ломая карандаш, записывала его русский адрес.

Синее безмолвие океана томило. В каютах, пахнувших краской, болела голова; на корме раздражал лаг, вызванивавший океанские солнечные мили, а на спардеке — скучающий, гортанный голос киноартистки, лежавшей в шезлонге.

Впереди, предупреждая прохладой и туманами, в дождях, сутолоке и асфальте ждала изъеденная веками, как волчанкой, старая Европа.

Однажды холодным вечером Миронов вышел на мокрую палубу. Моросил дождь, пахло свежей сосной. Пароход тихо шел по реке. На плотах блестели заплаканные фонари, и какие-то люди в клеенчатых плащах смеялись и кричали с берега.

Хмурое небо поблескивало в стеклах штурманской руб-

ки. Через час «Прованс» затерялся в толпе пароходов, в разноязычном крике, в сипении пара, в этажах огней, резавших мокрые мостовые. Пахло рыбой, овощами, кардифским углем. Они пришли в Роттердам. Было начало февраля.

6

Степь казалась шкурой вылинявшего зверя.

В стеклах роговых очков журналиста сверкнуло багровое солнце.

— Днем было сорок два градуса,— сказал он, глядя за окно, где по сторонам полотна шумел от горячего ветра колючий чертополох.— Земля высыхает и становится бесплодной. Хлеба горят. Египетская духота тяготеет над этой землей.

И он взглянул в лицо Миронова, коричневое от загара, и на его сухие, кофейные руки.

— Это Техас! — ответил Миронов, встал и подошел к окну.

Поезд мчался, звеня и качаясь, в голубиную вечернюю мглу, прорезанную белыми пятнами одиноких хуторов. По далеким шляхам серыми столбами завивалась пыль и бежала к багровому, лихорадочному закату. Он широко тлел на западе, где рыбьей чешуей просверкали днепровские плавни.

Поезд рвануло на стрелках, звякнули буфера, посыпалась под откос разбитая черепица. В яростном ржании бросившихся в сторону косматых коней он уже несся дальше, вздрагивая хрусталем стаканов, лакировкой дверей, запахом пролитых духов, разрывая горячее полотно степного вечера, больно хлеставшего Миронова по похудевшему и крепкому лицу.

— Это Техас,— повторил задумчиво Миронов и обернулся к журналисту.— Я инженер-химик. Я долго работал в Америке. Вы знаете, что здесь будет через двадцать лет? Из этих степей, из всего СССР мы сделаем тучную, как Фландрия, и золотую от жита страну. Секреты у нас в лабораториях, в колбах и ретортах, о которых вы вчера в Харькове отозвались с таким непростительным легкомыслием.

— Почему Техас? — спросил журналист и с недоумением взглянул на Миронова.

— В Техасе я видел такой же дым и такие же вече-

ра,— ответил Миронов, и его глаза потемнели от внезапной тоски.— Такую же духоту, такие же серые от полыни и бессонницы ночи. У женщин там такие же яркие лица, и лошади так же тревожно ржут перед сухими грозами. Техас и херсонские степи — одно и то же. Но не об этом я вам хотел рассказать.

Он помолчал. Журналист ждал, жадно блеснув на него очками, втянув голову в плечи, точно перед прыжком.

— В наших руках страшная сила.

Миронов поднял руки и сжал пальцами раму опущенного окна.

— Вы представляете, что будет здесь через полвека? По берегам Днепра мы вырастим бамбуковые леса и кофейные плантации в Таганроге. Я видел вишни величиной с яблоко и песчаную пустыню, зеленую и сочную от кактусовых зарослей. Здесь будет то же. Здесь будут каналы,— вы представляете, как на этой потрескавшейся земле заблестит тихая и чистая влага и рис протянет из земли миллионы изумрудных иголок.

Это сложная вещь. Я сейчас работаю над этим. Мы насытим землю едкими солями, воздухом, влагой, теплом. Душистые пасеки и мирные пчелы будут жить в тишине и бездымном воздухе будущих фабрик. А этого не будет!

Миронов показал на восток, где в синеве сухой грозы, в слепых зарницах дымилось, плюясь в небо, ржавое зарево доменных печей.

— Это — тоже хорошо, это — жизнь, но в этом слишком много пота, утомления и тяжести.

— Мы изменим климат,— сказал Миронов и закурил.

Журналист засмеялся.

— Мы изменим климат,— спокойно повторил Миронов и улыбнулся.— В конце концов, это не так уж сложно. Вы знаете одно из величайших открытий за последние годы? Открытие норвежского ученого Ларса Веганда. Он первый узнал, что небо — это кристаллический купол из азота, из синего, замерзшего азота, вы понимаете? — Миронов снова задумался.— В детстве я жил на Украине,— сказал он, вздрогнув от зарницы.— Степь за окном грохотала. На базарах, черных от вишен и душистых от топленого молока, в тени тополей я любил слушать песни лирников о лазоревом рае. Теперь оказывается, что весь мир — это лазоревый шар. Мы заключены в нем, и мы добьемся того, что сможем распределять всю энергию, заключенную под этим

синим колпаком, так, как нам нужно. Вот вам изменение климата.

— Вы парадоксальны,— ответил журналист,— но это захватывает.

— Я знал,— сказал Миронов и печально улыбнулся,— я знал одного американского капитана, который жил только парадоксами. Но ради его парадоксов мы потеряли четверых убитыми.

Журналист недоумевал. Но спросить, о чем говорит Миронов, он не решался. Профессиональная развязность его покинула.

За окном бесшумно разверзались зарницы, как вспышки небесного магния. Пахло полынью, паровозным дымом и серой сожженных колючих трав.

— Надо ложиться,— сказал Миронов.— А то, о чем я говорил,— не бред. Не забывайте, что мы — инженеры и химики — привыкли думать формулами. Мы точны. И мы знаем, что в точности заключено больше чудес, чем в самых фантастических и ребяческих снах.

Когда Миронов лег на верхней полке, журналист достал блокнот и, медленно покусывая карандаш, записал все, что говорил Миронов. «Любопытный человек»,— подумал он и стал раздеваться.

Миронову снился последний день в Санто-Марко, протяжный и веселый звон в монастыре. Океан качался, у берегов плавали розовые медузы. Пахло азалиями, морем, соками кремнистой страны. И сквозь сон Миронов явственно различал запах перца и миндаля.

Поезд рвало на стрелках. Он мчался в ночь, где его ждали сумерки Мисхора, кристаллы морских волн, желтый жар севастопольских оград, рассветы, солнце, смех женщин и огни пароходов, омытых теплыми южными дождями.

7

В Крыму Миронов жил около Алушты в пустынной даче на берегу.

Был сентябрь. Желтели магнолии, на коричневых сухих виноградниках весь день лаяли привязанные у шалашей собаки. Доносились гортанные голоса сторожей, и снова в осенней тишине, в неторопливых днях блистало море, шуршали на пляже крабы, и ржавые водоросли путались в ногах. Вода стала жгучей и крепкой, как йод.

Лежа под солнцем, Миронов подолгу смотрел на пустое, освежающее небо, слушал дремотный морской шум и вспоминал до боли ясно: океан, желтые взгорья Санто-Марко, слюдяной блеск садов, ветки глицинии, ливни, запах ванили, смуглых мальчишек, сбегавших к заливу купаться, тягучий и звонкий испанский язык, попугаев в кофейнях, короткую клетчатую юбку Сесиль, блестевшего, как антрацит, Вильямса, знойные дни на «Минетозе», лихорадку и измятую кепку капитана Гарта над медным лбом.

Потом память делала несколько скачков, и после пахнувшей скипидаром каюты на «Провансе», холодного дождя над желтым Балтийским морем всплывал Ленинград, музеи, гранит, изъеденный дождями, сумерки в глубине пустых проспектов, прохлада. Потом Москва в самумах пыли, шипящих автомобильными раскатами по асфальту. Москва, где явственно бился пульс огромной и еще неведомой для него Республики Советов, где красный флаг шумел над куполом Большого дворца и часы на Спасской башне бросали в щели Ильинки и Варварки медные удары «Интернационала».

«Вот область для капитана Гарта»,— думал Миронов, улыбаясь.

«Чудесен мир, революция, море»,— написал он на сыром прибрежном песке осколком раковины. Волна смыла надпись, и Миронов, улыбаясь, написал ее снова.

Однажды вечером ему привезли из Алушты письмо. Оно было переслано из Ленинграда.

Миронов взял шершавый конверт, и у него глухо застучало сердце. Прямым и капризным почерком был написан его русский адрес.

От конверта пахло сургучом и сладковатым запахом магнолий.

Миронов вскрыл письмо только на следующий день. Шумело море, и виноградники дрожали в сухом, солнечном стекле. В конверте было два письма: от Сесиль и капитана Гарта. Письмо капитана Гарта было коротко.

«Алло, Миронов! Я напал на ваши следы. Я еду в Россию, так как президент утверждает в палате кофейных плантаторов, что он строит для меня хорошенькую виселицу в Сантареме на самом берегу Амазонки.

У вас есть громадные реки, есть Дальний Восток (Гарт почему-то написал «Старый восток»), есть юг и солнце, есть много занятных вещей, и, наконец, у вас я могу поднять красный флаг на клотике без того, чтобы потом удирать в гнилую и презираемую всеми неграми Гвиану. Скоро увидимся... Там, в России, работает наш аргентинский моряк Том Ларкер,— он мне поможет. Мы с вами еще пошатаемся.

Капитан Гарт».

Сесиль писала:

«Я добилась от отца согласия на поездку в Париж, к брату. В Париже я пробуду год. Отец дает мне письмо в редакцию «Юманите», и они достанут мне визу в Россию. Я хочу посмотреть вашу страну. Отец говорит, что это единственная сказочная страна в мире.

Я приеду в Россию в мае будущего года, и так как не знаю русского языка и у меня, кроме вас, нет в России знакомых, то я надеюсь, что вы мне поможете и покажете все любопытное. Правда? Напишите мне в Париж, 12, улица Гюго, 5, когда и куда мне лучше всего приехать — в Москву или на юг, и где вы нас встретите. Со мной приедет невредимый Гарт.

Ваша Сесиль.

P. S. Сейчас период дождей, и в нашем саду шумят ливни. Опять цветут камелии,— помните, вы их так не любили, вы говорили, что это не цветы, а трупы. Я была несколько раз в иезуитском монастыре и пила козье молоко на каменной разрушенной террасе из той же синей кружки, из которой пили вы. Помните? Я не выношу мысли о том, что Россия так далеко, и океан меня пугает».

В конце страницы карандашом Сесиль сделала приписку:

«Если бы вы знали, как я ненавижу эти горы, солнце, мулов, океан! Все это не нужно. Я ненавижу все, я стала молчалива и редко улыбаюсь, даже отцу. Целыми днями я жду почтовые пароходы, но они ничего не привозят, и вы почему-то не пишете».

Москва, 1924

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ

> У всех народов есть люди, охваченные непоседливостью. Одних толкает неудержимая полнота их душевной жизни, других — пустота. Последние воображают, что возвращаются обогащенными, но повсюду они оставляют по себе лишь смуту и неурядицу. А богатые дарят своими искапиями других, и очень часто их вынужденные скитанья бывают благодеянием для тех, кто встречается им по пути.
>
> *Мангеше Рао*

НЕЗНАКОМЕЦ

— Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?

Я оглянулся. Было темно; я не видел лица говорящего, только вершины гор были залиты желтым блеском.

— Он сейчас погаснет,— добавил незнакомец и замолчал.

— Да,— неопределенно ответил я и закурил. Табак отсырел от вечернего тумана. Дым папиросы был горький и холодный. Угрюмый пламень на горах медленно погас.

При свете спички я взглянул на незнакомца. Вытертое пальто обвисало на нем, как на манекене. Недолгий свет спички ярко загорелся в толстых стеклах его круглых очков.

Он закашлялся воющим кашлем и снял очки.

— Эта проклятая работа загонит меня в гроб,— сказал он раздраженно, вытер очки и снова надел их.— Дело в том, что я гравер в типографии. Кроме того, я рисую на литографском камне. Вы видели когда-нибудь литографский камень?

— Нет,— ответил я коротко. Я не был расположен к разговору.

Было сыро. Черная вода журчала и переливалась у свай. Каждый раз, когда я слышал это журчанье, у меня по спине пробегал озноб.

— Вроде мрамора,— сказал незнакомец и вдруг добавил без всякой связи: — Проклятая работа. Я каждый

день выплевываю золотник свинцовой пыли. Очень ядовитая штука. Она даже называется особенно — гартовая пыль, но от этого не легче.

Мимо нас проползал на рейд океанский пароход. Он глухо дышал широкой трубой, выл гигантской сиреной, сверкал хрусталем и взбивал за кормой чернильную воду.

— «Адриа»,— сказал незнакомец.— Срочный пароход Триестинского Ллойда. Он отходит в Венецию, на Лидо, к зеленой воде и красным парусам Адриатики. От нас он в ста метрах. Только сто метров отделяют нас от чудесного мира! Только сто метров!

Он снова закашлялся удушливым кашлем.

— Фу, ударило в голову,— сказал он, отдышавшись.— Вы не в настроении выпить?

— Пожалуй. Где-нибудь здесь, на берегу.

— Чтобы были видны пароходы? — насмешливо спросил незнакомец.

— Да, если хотите.

— Неро! — крикнул он черному псу, вертевшемуся под ногами.— Рекомендую — старый корабельный пес, злой, как дьявол. Я уже заплатил за него порядочный штраф.

— А что, рвет?

— Да,— печально ответил незнакомец,— главным образом — чистильщиков сапог. Вы знаете, это действительно может взбесить, когда они все сразу начинают махать своими громадными щетками. И потом,— добавил он, помолчав,— мальчишек с папиросами. И крыс...

Неро заворчал.

Над городом лежала ночь. Была глухая осень. В тесных переулках горели пыльные фонари, и под ними, над самой головой, провисала густая и тяжелая темнота.

Мы сидели в скудно освещенном, прокисшем от винных бочек духане. Начался дождь. Он обрушился сразу и оглушительно гремел по обитым жестью стенам домов и проржавленным крышам.

— Что вы гравируете? — прокричал я в ухо незнакомцу, чтобы заглушить широкий гомон дождя.

— Этикетки для колониальных товаров — для вин, для папирос. Сейчас ничего не слышно. Я расскажу вам в другой раз. У меня есть коллекция этикеток за несколько лет.

Дождь стих. Мы оставили на столе недопитую бутылку красного вина и вышли. В этих местах ливни длятся сутками и надолго запирают одиноких людей в комнатах наедине с одиночеством и скукой.

При свете яркой электрической лампы я невольно зажмурил глаза. Все стены рябили пестрыми лоскутами и пятнами, как наряд цыганки.

— Фу ты, черт! — сказал я и осмотрелся.— Неужели это всё этикетки?!

— Моя работа,— ответил литограф, потирая руки.— Не выходя из комнаты, вы можете совершить кругосветное путешествие. Хотите? Здесь не только география, здесь и всемирная история, и целая портретная галерея, и рисунки сложнейших машин. Такого музея вы не найдете на всем земном шаре.

Я снова взглянул на стены, и тонкие пальмы, ананасы, полинявшие фрески, старинные фрегаты и чашки с дымящимся кофе затанцевали в глазах.

— Я объясню вам свой способ работы. Вам не будет скучно?

— Нет, нет, меня это очень занимает,— ответил я поспешно.

— Собственно говоря, во всем виноваты мои родители. Отец мой был мелкий лавочник-еврей. От него вечно несло бакалейным запахом мыла, гвоздики и перца. В торговле ему поразительно не везло, мать его пилила круглые сутки, он помалкивал, вешал нос, и дела его от этой монотонной стрекотни шли все хуже. Они вечно ссорились из-за меня.

— На что ему твоя паскудная гимназия! — кричала мать.— Что ты ему крутишь голову! Пускай сидит в магазине (она была убеждена, что у нас не дрянная лавчонка, а магазин), хоть настоящим делом займется.

Но отец упорствовал и уныло возражал:

— Хватит, что у меня руки воняют медяками. А он пусть будет человеком.

Иногда, когда я помогал ему перебирать в лавке товары, он показывал мне со значительным видом банку с консервами. На ней были грубо намалеваны колючие ананасы, небо как густая синька и море со стадами китов.

— Это — Индия,— говорил отец.— Заруби у себя на носу это слово. Куда ты ложишь мыло? Несчастье с этим ребенком! Когда ты будешь большой, ты поедешь в Индию и найдешь там тигровый глаз. Он приносит счастье.

Мне казалось, что тигровый глаз — страшная штука, вроде шутих, что бросают заречные мальчишки, и я робко спрашивал:

— А что такое тигровый глаз?

— Эх ты,— говорил обиженно отец.— Это — камень! За него дают много денег.

— А где Индия?

— Там. Заруби у себя на носу.

Отец показывал за стеклянную, заклеенную газетами дверь, где в лужах лошадиной мочи сопели черные, злые свиньи. И мне казалось, что Индия там, за Старокиевской заставой, куда уходит солнце.

Однажды мать продала эту банку, и отец несколько дней сердился и ворчал:

— Это мне нравится. Она не знала, что эта вещь не для продажи! Надо понимать.

С тех пор Индия не давала мне покоя. Когда меня отдали в ремесленную школу, то на первом же уроке я спросил о ней учителя.

— Что такое Индия? — пропищал я, подымая руку.

— Тебе в Индию захотелось? А вот посажу тебя на Камчатку, чтобы ты не совал в глаза свои грязные лапы.

Дома я спросил отца о Камчатке.

— Это далеко, за Сибирью,— ответил он и почмокал губами.— Там много вкусной рыбы, каждая по пять пудов, и икра у ней красная, как смородинное варенье. Такая рыба не поместится даже в нашей лавке. Там есть еще горностай. Что? Ты не знаешь про горностая? Это такой зверь, как кошка. Из его шкуры делают белую одежду для царей.

— Что ты ему поешь! — кричала из задней комнаты мать.— На Камчатку гонят всех конокрадов и арестантов, таких как Яшка-цыган. Что ты мне портишь мальчика!

После этого я стал с уважением относиться к соседской кошке Мотьке; может быть, ей посчастливится, и из нее сделают мантию для царя,— шкура у нее белая, как пух из перины.

Я крепко зарубил у себя на носу, что мне надо поехать в Индию, и с этого начались все мои несчастья...

Он подошел к полке, снял и бросил на стул груду книг.

— Я начинаю с книг. Сейчас я делаю этикетку для папирос. Заказчику пришла в голову дурацкая фантазия назвать эти папиросы «Рим». Прежде всего я перечитываю о Риме несколько книг. Время у меня есть,— срочные заказы бывают редко.

— Вы знаете, римская земля — ведь это священный прах. Вспомните, кто только не бывал в Риме. Какие име-

на, какие люди! Боже мой, какие люди! — повторил он и схватился за голову.

— Да,— продолжал он уже спокойно.— Прежде всего я узнаю цену товара. Папиросы эти дешевые, курить их будут по ночлежкам. Ночлежным жильцам не нужен тот Рим, о котором я говорил. Им нужен Рим попроще. Здесь имена Пиранези, Микеланджело и Пуссена неизвестны. Поэтому я гравирую кривые улицы за Тибром, где дерется и пропивает несчастье римская голь, высокие колокольни, развешенное на веревках белье. На все это я накладываю желтую краску позднего заката. И этикетка готова. Иногда, конечно, заказчики сердятся и требуют, чтобы я пририсовал голову Гарибальди или Виктора Эммануила. Но это бывает редко.

Я взял со стола одну из этикеток и спросил:

— А это для чего?

— Это для кофе мокко,— сухо ответил литограф.

На этикетке была изображена маленькая девочка. Она стояла среди комнаты, растопырив руки, и с ужасом смотрела на кофейник, из которого бил пар и струей бежал кофе. За ее спиной прятался, раздув пушистый хвост, испуганный котенок.

Литограф стал нетерпеливо рыться в книгах, повернувшись ко мне спиной.

— Чудесная этикетка.

— Вы находите? — спросил он жестяным, неприятным голосом и подавился слюной.— Не правда ли, прелестная девочка? — И он неожиданно повернул ко мне острое лицо.— Это моя дочка. Она умерла. Вы очень молодой и не поймете этого. Нас было только двое, и я прекрасно знал, что всему миру нет до нас ровно никакого дела.

— Отчего она умерла?

— Отчего? От этих проклятых этикеток! — крикнул он и швырнул в угол книгу о Риме.— Оттого, что с детства я был тряпкой и глупым фантазером.

Он замолчал и стал быстро складывать книги на полку. Я встал. Он меня не удерживал.

На улице было пустынно и черно, как в заколоченном ящике, и где-то в стороне вокзала раздраженно крякал автомобиль. Я поднял воротник пальто и быстро пошел домой. До поздней ночи я просидел за столом, слушая, как шумит дождь в дырявых водосточных трубах. Было холодно. Очевидно, в горах выпал снег.

У меня была отвратительная комната. Во время дождя потолок промокал и приобретал черный, угрожающий цвет. За разбитым окном оглушительно щелкал по стенам редкий град, будто бы небрежный игрок постукивал костяшками по крышке гроба, и на чердаке бегали, прихрамывая, жирные портовые крысы. На желтой и липкой стене мой предшественник наклеил карту Босфора и вырезанный из «Нивы» портрет Венизелоса.

По вечерам, когда было холодно, я зажигал керосинку. Тоска на душе была такая же желтая и липкая, как стены моей комнаты, и такая же ненужная, как портрет Венизелоса с орденами на просторном сюртуке. Во время частых зимних штормов в порту ревели басами океанские пароходы и скрипело от ветра окно, удлиняя и без того медлительную и тяжкую бессонницу.

В один из таких вечеров ко мне пришли литограф и Неро. Я завесил окно простыней, чтобы не видеть мрака, зажег лишнюю свечу, заварил чай и постарался украсить хотя бы немного мое сырое логово.

Неро заворчал.

— Чует крыс,— сказал литограф и оглянулся.— Да-а, у вас не богато. Похоже на вертеп. Старый дом. Он скоро развалится.

После чая литограф рассказал простую, но странную историю. О стекла бились потоки стремительного ливня, и мы просидели до утра.

— Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы добраться из Западного края сюда? — спросил он меня.— Неделя? А я добирался девять лет. У меня была жена. Единственная ее вина была в том, что она никогда мне не возражала. Она не могла даже толком на меня рассердиться.

Меня тянуло к новым странам, я часто просыпался ночью и думал: «Черт побери, земной шар не так уже велик, и глупо умереть, ничего не увидев». Глупо, безмозгло, вы сами понимаете!

Меня испортили этикетки. Вы не представляете, как на меня действовали лакированные рожи негров и пышные тропические города на жестяных коробках от консервов. Я всматривался в них часами, пока мне не начинало казаться, что жестокое солнце сжигает мой лоб и я слышу, как в тесных кофейнях позванивают фарфоровыми чашками арабы.

Я полюбил даже все эти названия. Вы вслушайтесь, как мягко переливаются Севилья, Гвадаррама, Лос-Анжелос и торжественно, как латынь, гремят Гренада, Рома, Карфаген. А от таких слов, как Массова и Джедда, хлещет в лицо красной пылью и хрипом верблюдов.

Он остановился и искоса посмотрел на меня.

— Вы смеетесь, но в этом есть своя сила, в этих словах. Они ударяют в голову, как водка. А скитанья! Сигарный дым в пароходных конторах, огни в воде, желтые от старости камни Акрополя.

— Акрополиос...— повторил он задумчиво.

Он помолчал.

— Теперь я знаю, что это был мальчишеский бунт против моего детства, против тесных еврейских местечек, залитых дождями и пенистой лошадиной мочой, против нудного грохота жестяного ведра, привязанного к пролетке Еськи-извозчика. Это ведро доводило меня до бешенства. Оно было набатом, пульсом этой жизни,— застоявшейся, душной от розовых перин и запаха сыромятной кожи. Оно гремело весь день. Его грохот с утра будил местечко, как барабан в казармах подымает солдат.

Когда Еська умер, ведро привязали к пролетке другого извозчика. Без ведра местечко не могло жить. Ведро гремело, и люди чувствовали смысл своего существования, чувствовали, что на небе есть бог, а на земле — незыблемый порядок.

— Черт, опять я об этом местечке! — вскрикнул он и схватился за голову.— Как глупо!

От Еськиного ведра я делал по ночам громадный прыжок и слушал визг скрипок в кабачках на набережных Барселоны, вдыхал розовую пудру, запах апельсинов и заглядывал в прищуренные глаза женщин.

...Но недолго. За ставнями вновь слышался скачущий грохот ведра, и я с руганью прятал голову под красную исполинскую подушку на деревянной клоповой кровати, в местечке Клецк, Минской губернии, Несвижского уезда.

ИДИШЕР ГОТТ

— Вы чувствовали когда-нибудь на руках запах меди? — спросил неожиданно гравер и, не дожидаясь ответа, поморщился и продолжал: — Ядовитый, омерзительный. Я переехал из местечка в Минск, три года корпел у гравера и резал медные дверные дощечки для акушерок

и зубных врачей, разных Вайнштоков и Левиных. На вокзале я купил железнодорожный указатель и по вечерам высчитывал — сколько стоит билет до Одессы и скоро ли я смогу уехать.

Я копил по гривеннику и дошел до того, что пользовался каждым случаем, чтобы лишний раз пообедать у тети Сарры или перехватить за день три-четыре папиросы. Мои родственники стали коситься па меня и звать дармоедом.

В Минске я женился. Этого не следовало делать. У жепы, кроме глаз, ничего, собствеппо, не было. Она часто плакала, но до самой смерти глаза у нее были блестящие, как у ребенка. Серые глаза, а у евреек это встречается пе часто.

Мы уехали в Киев. Там я встретил Текера — высокого чахоточного еврея. У пего из-под брюк всегда висели красные поски и белые тесемки. Он собирался в Палестину и зарабатывал деньги на отъезд: приготовлял порошок от клопов — «антипаразитин» и продавал его на базаре. Я тоже работал с ним. Днем мы терли мел, Текер поливал его желтой вопючей жидкостью (он уверял, что это было эвкалиптовое масло), а потом жена таскала коробки с этим порошком по обшарпанным аптекарским магазинам.

По вечерам у себя в каморке я резал этикетки для захудалой литографии, а Текер сидел рядом, мечтая о Палестине.

— Нам поможет наш бог,— говорил оп, облизывая запачкапные селедкой пальцы,— идишер готт, в которого ты так мало веришь. Ты ведь почти что гой. Ты знаешь, где твоя родипа? Не тут вот в Киеве, а там, в Палестине, где в земле лежат все пророки, и Сарра и Рахиль. Твоя родина — камень, и солпце, и Сиопская земля.

Около Яффы мы будем жить в колонии, ухаживать за апельсинами, купаться в море, а по праздникам будем молиться. А? Ты знаешь, о ком мы будем молиться? О своих братьях, что гниют в Чернобылях п Голтах, и гои им плюют в бороды и говорят — «жид», и у них нет лишних трех копеек, чтобы купить детям бублик в субботу.

А, Иосиф! Там будет жара и много солнца, а здесь пацюки весь год валяются в лужах, такая мокрая погода.

— Иордан, Иордан! — говорпл он и обтирал пальцы о заштопанпые клетчатые брюки.— Или ты там будешь такой же бледный, как здесь, Иосиф?

— Нет,— говорпл он, тряс головой и топко хохотал.— Нет, мадам Шифрина, ваш муж будет там здоровый и чер-

ный, как буйвол, и будет кушать виноград и морскую рыбу.

Жена болезненно улыбалась, стирая в тазу белье. Я резал и думал, что на билет до Палестины надо заработать еще сто рублей. Сто рублей — нешуточные деньги.

Потом жена забеременела. Этого не надо было делать. Но она тосковала по ребенку, будила меня по ночам и рассказывала, какой у нее будет мальчик.

— Ты не бойся, Иосиф,— говорила она.— Он ни капельки не помешает тебе ездить. Он будет такой крошечный. Я его буду носить на руках. Кормиться он будет моим молоком, и тебе совсем не надо будет о нем думать. Правда, Иосиф?

Как-то в праздник мы пошли гулять с Текером на Владимирскую горку. В коридоре нас встретил сосед, веселый красный кондуктор Игнатий, посмотрел на нас и сказал, подмигнув Текеру:

— Здравствуйте, путешественники в Палестину.

Я побледнел и обругал его дураком. Он захохотал и сказал мне добродушно:

— Ты чего серчаешь! Я не со зла, а так. Посмотри на себя, какой ты путешественник. До Одессы не доедешь — помрешь по дороге. Опять-таки жена у тебя не порожняя. Сидели бы в Киеве,— куда уж вам.

На улице я посмотрел на красные носки Текера, на его зеленое лицо, на опухшую жену с животом, увидел в окне парикмахерской себя в железных очках, плюгавого, веснушчатого; мне стало тяжело, я заплакал и пошел домой.

— Что с тобой, Иосиф? — спросила жена и заковыляла за мной.

— Ничего,— ответил я, давясь слезами.— Никуда мы с тобой не уедем. Какие мы путешественники?! Посмотри на меня, на что я похож. Я устаю, я все дни голодный, ты больна, и я боюсь каждую минуту, что ты споткнешься, скинешь и умрешь. Никуда мы не уедем, нас затрут, обманут; никогда я не заработаю на дорогу денег.

— Это неправда, Иосиф! — кричала жена и хватала меня за руки.— Не смей этого говорить! Мы будем ездить везде, где ты хочешь. Никогда не теряй веры, Иосиф.

Дома Текер сел на стул, сдвинул на затылок пыльный рыжий котелок и сказал:

— Есть еще бог, наш идишер готт. Гои всегда смеются с нас. Плюнь им в глаза. А умрем мы не здесь, а в Пале-

стине. Я это говорю тебе, я — старый, честный еврей, и ты должен мне верить.

Ночью после этого дня рядом был пожар; хрипло рыдали женщины. Я сидел на кровати в поту, зажав в руке свои сбережения на дорогу, и плакал частыми, мелкими слезами. Жена торопливо связывала в узел весь наш заношенный хлам. Я плакал и думал о том, что ей нельзя нагибаться, по помочь ей у меня не было сил.

Мы все же уехали из Киева в Винницу — хоть на триста верст ближе к Палестипе. Так думал я, а Текер только качал рыжим котелком и вздыхал.

— Ехать так ехать, а не выматывать душу через каждую минуту,— говорил он мне, прощаясь на проплеванном вокзале.

В Виннице не было даже литографии, и я работал простым наборщиком. На жизпь не хватало, но из денег, что я собирал на дорогу, жене я ничего пе давал. Я закусил эти деньги и не выпускал ни одной копейки.

В Виннице у меня родилась девочка, вот та, что на этикетке для кофе мокко. Когда она родилась, мне вдруг стало легко. Я поверил, что поеду в Палестину, увижу красные скалы в море, услышу восторженный рев ослов, буду пить из холодных горных ключей и солнце высушит до костей мое хилое чахоточное тело.

«Солнце спалит меня до костей»,— думал я и дрожал от наслаждения. Я видел песчаные отмели, сизый камепь Ливанских гор, слышал голоса невиданпого моря. Я видел, как иду по каменистой тропе домой, оглядываюсь и вижу далекий дым пад голубизной, дым парохода, плывущего к островам, брошенным, как кошпицы пальм, цветов и звезд, в зелепое покачивание океанов.

Но тут случилась война, закрыли границы, и над моей жизнью повисло унылое ожидание конца и мобилизации. Я отупел, внешне примпрился со всем, и только тревожные глаза жепы заставляли меня стопать по ночам от бессильной ярости.

МОРСКИЕ КАРТЫ

Когда дочке пошел второй год, мы переехали в Одессу.

По вечерам в конце нашей улицы садилось запыленное солнце и зной стоял во дворах, как теплая вода.

Все первые дни я забрасывал работу, бегал в порт и смотрел, как разгружают военные транспорты. Грохот

лебедок был лучшей музыкой, которую я когда-либо слышал.

Не знаю, испытывали ли вы сложное, редкое ощущение, когда в каждой капле морской воды, в каждом обрывке морского каната вы слышите запах океанов, чувствуете соленый осадок Атлантики и Адриатического моря. Вы берете кусок сгнившего каната, растираете между пальцами и, прикасаясь губами к песку, что остался на ладони, думаете, что, быть может, это песок со священного Малабарского берега, с желтых, как дынные корки, берегов Аравии или с черных изумрудов — Сандвичевых островов. Я думаю, вы этого не испытали.

В глазах моряков я искал отражение тех стран, которые они видали. Не правда ли, дико? Я думал, что увижу в них туманы, золотой зной Азии, мокрые пристани в старинных черных портах. До этого надо додуматься,— искать в глазах отражение чуть ли не Эйфелевой башни.

Я подбирал в мусоре обрывки иностранных газет и подолгу, как реликвии, хранил и рассматривал их.

Я начал засиживаться над большими морскими картами в публичной библиотеке. Правда, первое время я краснел, глотал слюну и заикался, когда библиотечная барышня с изумлением смотрела на меня — маленького робкого еврея, требовавшего морские карты. Но потом к этому привыкли.

Теперь я знаю морские карты не хуже любого капитана дальнего плавания.

Я читал морские книги и руководства и должен вам сказать, что они прекрасны. Они пропитаны насквозь старинной поэзией моря, поэзией парусных кораблей тех времен, когда не весь земной шар был еще нанесен на карты.

— Это выше Пушкина, выше Толстого! — воскликнул он и стал рыться в кармане.— Здесь у меня есть некоторые выписки. Вот, слушайте:

«Вблизи Босфора, на рассветах, вода всегда очень чиста и прозрачна. Ночью море штилеет. Зимой шхунам трудно идти во внезапных туманах и нередком у этих берегов жестоком граде».

— Когда вы прочтете эти книги,— вы поймете, как еще молод и великолепен мир — вот этот резиновый мяч, что вертится в небесном пространстве.

Да, в Одессе я выкинул к черту свои старые привычки, начал приучать себя к морю, к прохладе, к суровой жизни. Я часто спал на берегу, дрожал от дождя, обсыхал

на солнце, ловил скумбрию и бычков и вообще вел жизнь, неподходящую для ремесленника и тем более для еврея.

Я сбрил свою выщипанную бороду и усы, загорел и курил уже не чахлые папиросы, а крепкую трубку.

С каждым днем все большая свежесть пропитывала мое тело. Я выбросил очки и подолгу вглядывался в даль, приучая глаза к горизонтам. Моя ремесленная слепота стала уменьшаться.

Да что говорить? Достаточно, что женщины стали поглядывать на меня с любопытством, тогда как раньше мой вид вызывал только брезгливую усмешку или обидное равнодушие.

Даже жена однажды сказала мне: «Ты стал сам на себя непохож, Иосиф. Что сказал бы теперь кондуктор Игнатий! А?» — и весело засмеялась.

Она не понимала, что со мной происходит. Я нередко заставал ее за своим столом, когда она, наморщив лоб, просматривала мои книги. А у меня появилось довольно много книг — Лондона, Киплинга, Гамсуна. С непривычки я пьянел от них, как от водки.

Я работал немного, но зарабатывал неплохо. Каждый день приближал ко мне то, что я ждал,— белые полудни, зеленую средиземную воду, крепкие палубы кораблей.

Жена недоумевала, робко радовалась, неизвестно отчего плакала и все чаще жаловалась на боль в сердце. Но я был захвачен вихрем, дни текли солнечной чередой, и в их широте растворялась без следа вся моя боль. Я был слеп и глух ко всему, что пыталось вернуть меня к прежней жизни, к местечковым страданиям и радостям. На болезнь жены я не обращал внимания.

Однажды я вернулся с моря поздним вечером. Вы бывали в Одессе? Тогда вы должны помнить эти медные сумерки, когда акации сереют от пыли и в море лежит тишина.

В своей комнате я застал дикое скопище старых евреек: крикливых, кисло пахнущих перинами старух, которые лезут в чужую жизнь в самые страшные, требующие одиночества минуты.

Я сразу понял, что умирает жена. Я грубо выгнал всех старух, силой вытолкал их на лестницу. Они визгливо ругались и посылали на мою голову «ренегата» отвратительные проклятия.

Жена умерла от сердечного припадка. Перед смертью

она пыталась что-то сказать, но так тихо, что я едва разобрал несколько слов — робкую просьбу, чтобы я берег дочку. Дочка плакала целые дни. Она была испугана и самой болезнью, и сладковатым запахом трупа в нашей тесной комнате, и похоронами, на которые я ее повел.

Вы были когда-нибудь на еврейских похоронах? Нет? Каждая религия пытается создать вокруг смерти веяние торжественного и вечного. У вас, например, очень торжественно отпевание. Помните: «Приидите, дадим последнее целование». Последнее целование холодных человеческих губ, а потом эти любимые губы будут целовать могильные черви и мокрая глина. Я люблю похороны где-нибудь в деревне, на заросшем кашкой кладбище, когда солнце тускло поблескивает на старенькой ризе священника и запах ржаных полей заглушает запах ладана. У вас смерть окружена величавыми молитвами и реквиемом Моцарта.

А у нас ничего этого нет. Все очень просто. Смерть есть смерть, гниение, а труп — падаль. Была душа маленького еврея, торговавшего всю жизнь бакалеей. Всю жизнь над ним стоял смрад перин, тоска немощеных улиц, высохшая жена, заросшие коростой дети и погоня за пятаком. По праздникам он рыдал в черной синагоге; в ужасе и трепете читал древние молитвы перед лицом неотвратимого Иеговы.

Разве похороны его могли внушить мысль о легчайшей печали: об увядших цветах, о слезах прекрасных женщин. Глупо даже подумать об этом. Наши похороны торопливы, будничны, суматошливы, как любая толкучка, лишены малейшего намека на таинство.

Жена умерла. Пришел рыжий синагогальный служка в цилиндре с серебряным позументом и две минуты покричал над трупом непонятную молитву. Потом он же сел за кучера на погребальную колесницу, злобно хлестнул вожжой колченогого коня, и похоронная процессия двинулась — скорей, побежала — за быстро тронувшейся колесницей.

На кладбище, почти на глазах у провожающих, происходит отвратительный обряд обмывания и выдавливания экскрементов. Делают это нищие старухи, перекрикиваясь о своих дворовых делах и ругаясь из-за куска серого стирочного мыла.

Потом жену положили на носилки, залитые потеками запекшейся сукровицы, и мы понесли ее до могилы.

Рядом со мной носилки тащил старый хромой еврей.

Их много на кладбищах, они ходят стаями, как бродячие псы.

Он наступал на полы своего рваного сюртука, спотыкался и все время пытался сговориться о плате.

— Труп тяжелый,— свистел он сквозь гнилые зубы и кряхтел,— и надо бы прибавить... Кроме того, могила очень далеко. Если бы я знал, что так далеко, то вообще не понес бы...

Все это окончилось дикой сценой. О ней я и сейчас вспоминаю с брезгливой дрожью. Когда жену зарыли в сухой глине, в тесноте затоптанных сапогами могил, и евреи, тащившие гроб, получили плату, они подняли крик, потребовали больше и схватили меня за руки. Я вырвался и в припадке бешенства ударил одного по лицу. Он крякнул, сел на могилу жены и завыл пронзительно и непрерывно. Остальные тоже завыли от злости и стали толкать и щипать меня, наступая мне на ноги.

Вся эта история окончилась в сырой кладбищенской конторе, где раздраженный околоточный составил протокол «О драке во время погребения».

С кладбища я ушел, уводя за руку плачущую дочку. В душе у меня все было запоганено,— вы сами понимаете.

Я не вернулся домой. Было осеннее утро — ломкий синий хрусталь; спокойнее, чем летом, шумел далекий город. Весь день я провел у моря. Дочка ловила сердитых крабов, и волны сглаживали ее маленькие узкие следы.

Море исцеляет раны и смывает грязь этого мира.

ТИШИНА

Нас осталось двое. Настала тишина, покой. Я снова погрузился в думы о скитаниях, о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянье тропических лесов, о гаванях, раскинутых, как птицы, о не колеблемых ветрами морях. Я думал об этом настойчиво, непрерывно, улыбаясь самому себе, как помешанный. Я дошел до того, что часами мог останавливать мысль на незначительном образе, испытывая непередаваемое наслаждение.

Помню один. Я видел вывеску фруктовой лавки в Рио-де-Жанейро, вывеску желтого цвета с черной надписью. Я видел внутри белые мраморные столики, на них бледным огнем горели бокалы с фруктовым соком. Густое небо синим пламенем сверкало в чисто вымытых стеклах.

И я, гравер из местечка Клецк, Минской губернии, сидел за столом, закинув нога за ногу, лениво курил, перелистывал иллюстрированные журналы и смотрел в глаза смеющихся женщин.

Мне надо было в порт, я не спешил, и было радостно от мысли, что я медленно пройду по шелестящим пальмами улицам, буду пересекать площади, где шуршат фонтаны тепловатой воды, пока впереди, в дыму океанских труб, в легком покачивании мачт не покажется зеленый, кипящий прибоем залив.

И я, гравер из местечка Клецк, разденусь и буду купаться в водах океана, и мое бронзовое тело будет пахнуть не медью и не кислятиной нищенской кухни, а йодом и жгучей солью океанской глубины.

Границы были закрыты, и мне посоветовали ехать в Палестину через Батум — оттуда, мол, легче пробраться. И я уехал.

Уехал кружным путем через Ростов и Кавказ. В дороге я испытывал ощущение радости от сухих стекленеющих степей, от широких станиц, от голубых гор, сверкнувших за Кубанью, от крынок с топленым молоком и желтых ноздреватых бубликов, что выносили к поезду казачки.

Я стоял с девочкой у окна и жадно смотрел на каждый полевой цветок, на жирную черную землю, на серебряные реки. У меня было такое чувство, будто я выкупался в воде со снегом и я уже не Иосиф Шифрин из Клецка, а кто-то другой, веселый, прекрасно приспособленный к жизни. Могила жены отошла в туман, слилась с памятью о дождях и вонючих непроезжих местечках.

Потом серый песок Каспийского моря, обрывы гор, красные берега и караваны верблюдов. Сизый дым кизяка уходил в далекое небо. В обширном провале встал на желтой глине черный мазутный Баку, игрушечный Тифлис перебирал веселые огни и, наконец, Батум, усыпанный мандаринами, омытый густым морем и тропическими дождями. Я был все ближе и ближе к цели. Вы понимаете мой восторг.

Батум — цепкий город. Горячие ливни, банный воздух, густые и терпкие запахи накачивают в мозги сонный яд усталости и лени. Но и здесь, в Батуме, я резво взялся за дело. Каждый раз, когда я видел вывески пароходных компаний, всех этих «Кунард Ляйн», «Сервици Маритими» и «Ллойд Триестино», это меня подхлестывало, как

удар кнута. Из-за этих вывесок я проморгал революцию.

В Батуме девочка заболела тропической малярией. Припадки были часты и ужасны. Она почти оглохла от хины. А ливни все шли и шли. Казалось, что земля до сердцевины набухла влагой. Я дрожал от тоски, глядя на запад, в море, откуда неслись, толкаясь как стадо овец, низкие тучи.

Солнца не было, лихорадка крепчала, несколько раз за ночь я менял дочке белье, мокрое от пота. Пот лил с нее ручьями, и в глазах была известная всем здешним жителям «малярийная тоска». Она бредила, плакала, если у нее оставались силы плакать, и не отпускала от себя серого котенка Леньку. Так мы и жили втроем: я — в отчаянии, она — в бреду, а Ленька — в сытом довольстве.

Через два месяца она умерла. Умерла, когда я ушел в город за хиной. Ленька спал у нее на груди, укрывшись хвостом. Вот и все.

— Ее можно было спасти,— сказал я граверу.— Надо было попросту уехать на север.

— Я не мог,— ответил гравер.— Я не мог выбросить за борт девять лет и начинать сначала. Я был недалеко от цели. Я надеялся, что это пройдет. Врачи говорили мне то же, что и вы, но я заставлял себя не верить им.

Гравер кончил. Мы вышли на влажную после ночи набережную. Тихим розовым огнем пылал Эльбрус, как облака над морем. Море было сонно, и далеко за мысом сверкал белыми надстройками палуб океанский пароход. Он шел из Трапезунда. Булочные пахли лавашом. В пустых кофейнях первые завсегдатаи потягивали кофейную гущу и перебирали четки.

БЛЕСК ОСЕНИ

Я собирался уезжать. Перед отъездом я провел весь день у моря. Цвели олеандры. Их розовый цвет напомнил мне детство, бабушкин дом со стеклянной галереей, где пахло олеандрами, стоявшими в зеленых деревянных кадках. Детство с его солнечной тишиной в клумбах настурций, детство в необъятных золотых степях Украины.

Цвели олеандры и чай — желтоватый, как воск. Теплые туманы лениво шли с похолодевшего моря, синий воздух качался над городом свежей синей водой.

В духанах шипел на углях шашлык, сверкало белое

вино, на кирпичные лица турок ложился бронзовый свет короткого дня.

Звуки раздавались над водой очень тонко, звенели, как задетая струна, и терялись в щелях влажных улиц, где дремали на солнце ишаки.

В прозрачной воде качались красные турецкие фелюги, груженные до бортов золотыми тяжелыми апельсинами. Их запах, как запах восточной земли, был прохладен, прян, и эта осень была, как сок апельсинов, также прохладна и терпка своей милой печалью.

Мягкий ветер дул в лицо, колыхал выцветшие полотнища пароходных флагов. Голоса моряков и женщин были слышны очень далеко; бледное солнце стояло в вышине, и казалось, что за морем дышит пышная и светлая весна.

Весь день меня мучили, как и чахоточного гравера, мечты об океане, о серебряных веснах, о желтом песке чужих и пустынных берегов.

В полдень я выкупался и потом долго обедал в столовой у самой воды. Я дремал, запивая баранину вином, и черный кофе бил мне в лицо крепким паром. Мне нравилось это безделье, шатанье по городу, по турецкому базару, по бульвару, по пристаням, где греки в старомодных котелках удили бычков и качались у свай кружевные и розовые медузы.

Ночью печально и широко шумело море и было холодно.

ПЕРЕПЕЛА И ШТОРМ

Утром на город обрушился тяжелый ливень. Ехать было нельзя,— я остался еще на день.

Вода хлестала, как из тысячи открытых кранов. В комнатах было тесно, и слепо светили электрические лампочки.

Ветер рвал серые полосы воды, мчал их вдоль каменных оград, швырял на ржавые крыши, бил мокрыми полотенцами по стеклам и внезапно стихал. Тогда все заполнял ровный водопад льющейся с неба воды.

Море швырялось желтой пеной, чернело от туч, а к полудню поднялось и пошло на город мутными ровными валами.

Горные реки вздулись, переливались через мосты, волокли в море туши буйволов. Белый шторм качался над морем, заливал рассолом подъезды прибрежных домов. В домах пахло ветром, жареным кофе.

Днем неведомо откуда ветер принес густые стаи мокрых изнемогших перепелов. Они низко и косо неслись под ливнем и тысячами падали на крыши, в щели бурлящих улиц. Потоки воды смывали их в море, и волны расстилали перепелиные трупы на берегу рядами черных четок.

На крышу театра упал розовый фламинго — его принесло бурей с Чороха.

В сумерки, когда ливень стих, я вошел в турецкую кофейню на пристани. Озябшие турки играли в кости. Море гремело. Черная ночь дымилась кольцом вокруг города.

В кофейне я встретил гравера.

— Я завтра уезжаю,— сказал я, не садясь. Я хотел ветра, свежей воды, грома волн, глотка крепкой водки.— Прощайте. Ну как? Вас теперь не тянет в новые страны?

— Иногда,— ответил он, свертывая толстую папиросу.— Но здесь все, каждый камень, каждый ливень напоминает о дочке. У меня осталась только одна эта память. Она дает мне силу жить. Отсюда я никуда теперь не уеду.

У гравера задрожали губы, Неро заворчал.

Я вышел, и крепкий ветер бросил мне в лицо запах прекрасного бушующего моря. Маяк уже горел, на мокром песке блестел неведомый серый свет.

Во мглу ударила крепостная пушка: солнце зашло.

1924

ДОЧЕЧКА БРОНЯ

(Письмо из Одессы)

Я стараюсь писать точно. Прежде всего место действия, потом действующие лица, потом события.

Итак, место действия — Одесса, а в Одессе театр на Куяльницком лимане, степь у Большого Фонтана и Дальницкая улица, 5 (во дворе).

Действующих лиц много. Боцман Бондарь, поэт Вербицкий, хромая Валентина из «Известий», Андрюша Роговер, фотограф Глузкин, я и прочие — репортеры, курортные, матросы, милиционеры, машинистки и чистильщики сапог.

Событий было три: концерт на Куяльницком лимане, знакомство с правнучкой Пушкина и жестокая месть фотографу Глузкину.

Вообще, эпиграфом к этому письму я мог бы поставить слова фотографа Глузкина, который кричал мне при каждой встрече:

— Товарищ, я имею через вас массу неприятностей!

Он был прав. Он устраивал на Куяльницком лимане литературный вечер, который кончился плачевно. На вечере выступал я. Если вы возьмете в рот десяток липких ирисок, будете их жевать и в это же время читать «Известия», то вы получите довольно точное представление о моем произношении. Естественно, что я провалился.

Во время вечера я был слегка пьян, так же как были пьяны поэт Вербицкий, Андрюша Роговер, читавший рассказ об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк», и сам Глузкин. Трезвыми были только профессор Верле и хромая Валентина. Когда она ходит, то получается впечатление последовательного вколачивания гвоздей в вашу голову.

Начал Андрюша Роговер. Потом Верле читал лекцию о греческих вазах, найденных в Ольвии. Когда он дополз до ваз с коричневым фоном, погас свет. Это внесло большое оживление. Публика звонко перекликалась и аукалась, как в лесу, я шарил по грязным кулисам, ища выключатель, а профессор робко продолжал объяснять разницу между этрусскими и микенскими вазами. Кое-где уже курили.

Потом я услышал со сцены сначала равномерное вколачивание гвоздей (Валентина пошла за свечкой), а затем истерический вопль и грохот.

В зале началась паника. В проходах бушевали невидимые людские водовороты, женский голос возмущенно взвизгнул: «Бросьте мою ногу», кто-то стучал палкой по стулу и дико орал: «Граждане, не делайте Варфоломеевскую ночь!» — и грозил милицией. Выходная дверь на пружине предсмертно выла,— очевидно, хлопала граждан по лбам и другим частям тела, так как слышались стоны и досадливые выкрики.

— Однако,— невозмутимо сказал поэт Вербицкий и зажег спичку. Свет спички обнаружил, что Валентина провалилась в суфлерскую будку. Она стонала и требовала немедленной помощи.

Общими силами под гул стихающей паники мы вытащили ее, и тогда Глузкин первый раз сказал эти слова.

— Товарищи, я чувствую, что через вас я буду иметь порядочно неприятностей.

Профессор был удручен. Микенские вазы потонули в грохоте стульев, жалкий свет свечи уродливо метался по кулисам, над нашими головами мрачно висела картонная кисть винограда, и Валентина стонала и смеялась, лежа на стульях. У нее было растяжение сухожилия.

— Вы подковали себя на вторую ногу,— сказал Глузкин.

Тогда Вербицкий шагнул вперед, поднял руку и крикнул. Паника прекратилась. Бегущие остановились, некоторые даже сели. И мы под стоны Валентины исполнили свой боевой номер — песенку о дочечке Броне.

Хотите знать ее слова? Вот они:

> А третья дочечка Броня —
> Была она воровка в кармане.
> Что с глаз она видала,
> То с рук она хватала.
> Словом...
> Любила чужих вещей.

Эффект был страшен. Зал визгливо плакал от смеха, стучал ногами, беглецы густо валили обратно, а какой-то матрос требовал «Свадьбу Шнеерсона».

Чтобы прекратить эту лавочку, я потушил свечку, и Вербицкий заорал в новую темноту чудовищным басом:

— Немедленно очистить зал!

Когда мы снова зажгли свечу, в зале было пусто. Только в углу сидел матрос, требовавший «Свадьбу Шнеерсона», и рыжая девица.

— Товарищи,— сказал матрос, встал и снял кепку. Было похоже на то, что он сейчас скажет приветственную речь.— Товарищи! Пока вы кляпздонили со своим концертом, ушел последний поезд в город и мне с этой гражданочкой негде ночевать. Поэтому разрешите остаться здесь.

Ночь, проведенную в театре, нельзя назвать обыкновенной. Мы устроили из стульев места для спанья. У профессора был такой вид, точно он попал в шайку бандитов. Он судорожно вздыхал и просил пить.

Матроса (звали его Бондарь) послали за водкой и закуской. Рыжая девица растерла Валентине ногу. Профессору дали сельтерской воды, он лег на стульях, не снимая пенсне, и вскоре стал посвистывать носом, как молочный младенец.

Мы же, выпив каждый по доброй стопке водки, сели играть в шестьдесят шесть с матросом и рыжей девицей.

Наша компания за хромым столом на черной и пыльной сцене давала довольно точное представление о бандитской «малине».

— Шли мы рейсом в Скадовск,— рассказывал Бондарь, отчаянно шлепая картами, но не выказывая особого азарта.— Шли мы, значит, в Скадовск с коровами. Ноябрь, на море погода, а в заливе лед. (Играете вы, дорогие граждане, как зайцы на барабане.) Да, а в заливе — лед. Наша дрымба замерзла, обложило ее льдом, как компрессом, словом — полярный океан.

Завезем на лед якоря, зацепим, вытягнем дрымбу до полкорпуса, она провалится — и опять тягни. Чистое наказание! Страдали неделю, до берега близко, коровы сдыхают, а судно бросить никак нельзя. (Как же вы считаете? Разве же это счет?) Да... встаю я раненько утром, мороз, туман, солнце на льду чуть-чуть светится, а на судне ни души нету. Ушли, стервы, ночью на берег, сговорились. Пошел я до капитана и доложил. (Вы, гражданка, отодвиньтесь подальше. Так нельзя.) Да, доложил, а он говорит: «Ну и черт их дери! Будем, Бондарь, пропадать с тобой вместе». Есть, говорю, будем. Механик еще с нами остался.

— Прошу не возражать,— засипел во сне профессор.— Какая же это соль!

— Да, стоим. Мороз. Коровы, можно сказать, все и подохли. И тут началось. Была у капитана водка. Взяли мы корову — и жарить роскошный ростбиф, печенки, вымя — жир так и плывет. Никогда так не кушал, как во льду.

Напьемся и петь. Капитан за гитару, я просто так. Бывало, как ударим:

Выйду ль я на улицу,
Красный флаг я выкину.
Что-то красным повезло
Больше, чем Деникину.

Одним словом, жили широко. Потом нагнало теплую воду, сломало лед, капитан вышел, глянул. «Выводи, кричит, эту гитару на чистую воду! Бондарь, становись шуровать». Сам стал за штурвального — и пошли до самой Одессы. Газеты подняли тарарам — герои труда, на красную доску, дать им орден Красного Знамени. А капитан порта вызвал нас, застучал кулаками да как гавкнет: «Герои! Где коровы? Ишь какие хряпы понаедали на казенном скоте. Я вас подведу под трибунал! Мне, кричит,

все известно. Почему команду упустили и допущаете бунт?»

Следующим номером было выступление рыжей девицы. Ее волосы пылали матовым огнем, а серые глаза смотрели на мир очень весело.

— Я учусь в студии киноартистов,— сказала она, присмирев; перед этим она хохотала.— Сейчас я даже играю небольшую роль в «Дороге гигантов». Я ничем не замечательна, кроме того что я настоящая правнучка Пушкина.

— Того самого? — спросил боцман.

— Да, того самого.

— Ай спасибо, вот спасибо! — Боцман немедлепно потерял весь заряд самоуверенности.

Игра прекратилась. Наступила торжественная и зловещая тишина.

— К нему не зарастет народная тропа,— сказал вдруг ни с того ни с сего Глузкин.

Рыжая девица заплакала.

— Никто не верит,— крикнула она сквозь слезы.— Никто, никто! — Она вскочила и топнула ногой.— Я расскажу вам все, что знаю. Моя бабушка была дочкой Пушкина. Я ее хорошо помню. Она умерла в ту ночь, когда матросы с «Ростислава» сжигали в топках на броненосце одесских банкиров. Она была черная и никогда не завивала волос — они вились у ней сами. У пее осталось два письма Пушкина к моей прабабке.

— Где они? — крикнул Вербицкий и вскочил. Лицо у него дергалось судорогой. Он задыхался. На него было страшно смотреть.

— Вы их увидите,— сказала рыжая девушка.— У моей прабабки была только одна встреча с Пушкиным. Из писем это ясно. Прабабка никогда не говорила о Пушкине, бабка рассказала только мпе. Даже своей дочери — моей маме — она ничего не говорила.

Когда мне было шестнадцать лет, как-то вечером, осенью, я пришла к бабке.

Ревел норд, зеленые фонари качались на улицах, и было страшно подумать о пароходах, застигнутых в открытом море.

Бабка сидела в кресле, за ее спиной был целый иконостас, горели лампадки. Она плакала.

— Мэри, дорогая,— сказала она и взяла меня за руку.— Наш греческий род смешал свою кровь с русскими

и евреями — и вышли все маленькие, хилые люди. У твоего брата — Володи — писклывый голос и скучный характер, твоя мать толста и больше всего на свете любит кофе с гущей. Разве этого я ждала? Разве могло быть это? Вы срослись с этим городом. Вы ничего не хотите, и только ты одна не можешь мириться ни с чем безобразным, ты строптивая, и я думаю, что тебе я передала частицу прадеда. Во мне самой она не сказалась.

Она вытерла слезы и достала из сумочки янтарные четки. Янтарь был красный от времени, весь в трещинах.

— Эти четки подарил мой отец, а твой прадед моей матери. Это — родовые четки. Я передаю их тебе, береги и смотри, чтобы ни одна горошина янтаря не пропала.

Это было сделано так торжественно, точно меня посвящали в рыцари. Она надела мне четки на шею и сжала мои щеки своими желтыми, холодными ладонями. Я заплакала.

— Мэри, Мэри,— сказала она,— не волнуйся, девочка. Теперь я скажу тебе, кто был твой прадед.

Она вынула из сумочки письмо на толстой бумаге и показала его мне.

— Чей почерк?

Почерк был косой, небрежный, страшно знакомый. Чернила выцвели, а сбоку на полях были мелкие, мелкие брызги, какие оставляет только гусиное перо.

— Я где-то видела в книгах...— сказала я нерешительно.

— Пушкина! — крикнула бабка и упала в кресло.— Ты правнучка Пушкина. Береги это, как святыню, будь достойна прадеда.

Она зарыдала.

Рыжая девушка замолкла. На глазах у нее блестели слезы. И только в эту минуту я заметил, что мы все стоим, что Вербицкий смертельно бледен, а у боцмана дрожит голова.

— Мэри Пушкина! — сказал Вербицкий и наклонил голову. Голос его был глух и печален.— Простите, что я мог вам не поверить. Перед Пушкиным можно только рыдать или смеяться от счастья. Когда говорят «Пушкин», солнце подымается в душе каждого, кто еще не разменял на «лимоны» последние отрепья своей души.

Он осторожно взял руку девушки и поцеловал ее, как целуют фанатики серебряное тело Христа на черных распятьях.

— А мы? — сказал глухо Вербицкий и посмотрел на нас.— Мы — ленивое, потасканное, пустяковое племя, плюющее на романтику.

Потом он так же глухо сказал:

Я не снесу трагического груза,
Чернила высохли, и новых песен нет.
Прости меня, классическая муза,
Я опоздал на девяносто лет.

— У меня нет денег,— продолжал он.— Я нищий. Я живу стихами. Есть маленькая серая птичка, величиной в три наперстка. Она живет на пустырях, летом поет на заборах, а осенью гибнет массами от холода и неуюта. Ее зовут «заборный король».

Так и я — «заборный король» среди людей. У меня нет ничего, кроме этой кепки, но у меня есть жизнь, есть много нерастраченных сил, и если вам понадобятся эти вещи — скажите мне, и я отдам их вам. Я готов служить вам, как невольник.

— Спасибо, родной,— сказала девушка, смахнула слезу и засмеялась.— Пушкинская кровь тяжела, так тяжела... Я первый раз в жизни рассказала об этом... Мне не надо было пить вина.

Рассвет сочился сквозь кулисы, и далеко за степой был слышен голос моря.

Рассказ девушки слышало нас четверо — Вербицкий, я, боцман и Андрюша Роговер. Валентина спала, Глузкин уснул во время рассказа. Глузкин — чавкающая и слепая свинья, жадная до засаленных денег. Острая ненависть поднялась во мне. Я решил отомстить, унизить этого трусливого негодяя. Свое решение я исполнил, но об этом дальше.

Иногда среди лета вдруг наступят осенние дни. Так было и тогда. Мы ехали с Вербицким к Мэри на Большой Фонтан. Дул северный ветер, накрапывал серый дождь. Казалось, что кончилось лето и осень щемила сердце поздним сожалением о встречах, которых не будет, и рассказах, которые я не успел написать. На дачах топили печи.

Мэри нас ждала. После чая мы вышли на обрыв к морю. Над берегом взошла кровавая средневековая луна.

Я называю луну средневековой. Мне кажется, такая же кровавая безмолвная луна всходила над полянами Шотландии, над розовым вереском в те годы, когда пре-

красные женщины рыдали о Виттингтоне и рыцари были смешливые, как наши подростки.

Это — отступление от темы, но я вам признаюсь,— я очень хочу написать о темных и высоких залах, где горят камины, турьи рога висят над притолоками дверей, за окнами пахнет дикой хвоей, звериными шкурами, мхами и свежестью ночи и слышно, как льется по камням холодная, полная форели река.

Разве это плохой фон для рассказа о мужестве, здоровом хохоте и опасностях. Простите, я заговорился. Теперь не век Вальтера Скотта, и такие рассказы никто не стал бы читать.

Мы сидели очень долго на старой скамье над обрывом. Мэри ничего не говорила о Пушкине, и мы не спрашивали.

Я остался ночевать на даче и спал в саду, забившись в заросли сухого и душистого барбариса. Ветер стих, туман стоял над садом, я лежал, закутавшись с головой в пальто; было тепло, дремотно, и издалека гудело море. Какой-то рыжий пес долго крутился у меня в ногах, утаптывая траву, потом лег, скорбно вздохнул и стал насвистывать носом. Спали мы с ним долго и крепко.

Мое письмо затянулось. Поэтому я вкратце расскажу только один эпизод, достойный внимания.

Этот эпизод — месть Глузкину. Мне двадцать шесть лет, но иногда я поступаю как мальчишка. Так было, например, с Глузкиным. Глузкин жил на Дальницкой, 5. В тот вечер он праздновал именины жены — веснушчатой и кислой женщины с выпуклыми глазами.

Этот вечер был выбран мной и Андрюшей Роговером для мести.

Для того чтобы понять, в чем дело, я должен сказать несколько слов об устройстве парадных дверей. Вы, очевидно, знаете, что все парадные двери из квартир открываются внутрь. На этом принципе и была построена месть.

Мы поднялись к двери Глузкина, вернее, к двери той квартиры, где Глузкин снимал комнату, продели сквозь ручку двери хорошую бельевую веревку, пропустили ее через ручку двери соседней квартиры, где жил зубной техник, связали туго концы веревки, отчаянно позвонили в ту и другую квартиру и выскочили во двор. Надо было ждать результатов.

Результаты были потрясающие. Очевидно, Глузкин и зубной техник одновременно вышли открывать дверь.

И тот и другой тянули дверь к себе, но «кто-то» (веревка) не пускал. Страшно, когда вы открываете дверь и за ней в темноте стоит неподвижная и тяжелая фигура, но вдвое страшней, когда вы хотите открыть дверь, а тот, кто звонил, молча тянет дверь к себе. Сразу же возникает подозрение, что за дверью прячется или сумасшедший, или чрезвычайно загадочный и опасный преступник.

Естественно, что Глузкин, который вначале довольно мирно сказал: «Сема, перестань меня разыгрывать»,— дико закричал и бросился в свою комнату. Естественно, что техник, пытаясь открыть свою дверь, дергал за веревку и сотрясал дверь Глузкина. Естественно, что никто ничего не понимал, началась паника, истерические вопли женщин, рев мужчин, кто-то стал выбрасывать на улицу через окно горшки с цветами, а хозяин Глузкина — рыжий и задыхающийся от жира закройщик — выскочил на балкон в одних исподниках и хрипло закричал:

— Ратуйте, работают бандиты!

Мы видели, как Глузкин, обезумев, выбросил на улицу швейную машину «Зингер», как с балкона третьего этажа начали стрелять из пугача и как два милиционера бесстрашно, с наганами в руках бросились на штурм парадной лестницы. Мы слышали, как дикий хохот несся из парадного, где милиционеры перерезали веревку, как визжала от колик толпа и как, наконец, закройщик орал на Глузкина на всю Дальницкую:

— Зараза! Чтоб завтра же ты выбирался от меня со всем своим барахлом! Чтоб ты повесился на той веревке, поганец!

— Слава богу,— сказал с обычным спокойствием Андрюша Роговер,— что обошлось без человеческих жертв и без больших убытков.

— Слава богу,— ответил я.

1925

КОФЕЙНАЯ ГАВАНЬ

Если вы хотите знать биографию инженера Теneберга, то вам придется перелистать техническую энциклопедию. Вы узнаете несколько сухих дат и фактов, пахнущих типографской краской и скучных, как готический шрифт.

Вы узнаете, что корабельный инженер Отто Тенеберг родился на острове Рюгене, учился в Берлине и Гамбурге, построил теплоход «Венгрия» и изобрел новый тип водонепроницаемой двери. В словаре вы не найдете ни слова о том, что Тенеберг пишет книгу об океанских кораблях, как об архитектурных сооружениях, что он первый потребовал сохранить в нетронутом виде старые уголки гаваней, создав из них морские музеи, что он играет на рояле и знает наизусть многие стихи современных поэтов.

Я приведу здесь некоторые места из доклада Тенеберга, нисколько не опасаясь получить упрек в отсутствии литературного вкуса. Доклад был прочитан осенью 1924 года в Гамбурге. В нем сухо и точно говорилось о новых механизмах, установленных на океанском пароходе «Африка».

— За капитанским мостиком находится навигационная рубка. В ней расположены магнитный и жироскопические компасы, лаг и доска с чертежом водонепроницаемых переборок и дверей. Здесь же находятся рычаги. Каждый из них соединен электрической проводкой с водонепроницаемыми дверями. Легкий поворот рычага — и дверь захлопывается с быстротой и силой, достаточной, чтобы преодолеть давление воды. Двери устроены таким образом, что ни одна капля воды не может через них просочиться.

Позади рулевой будки расположена станция пожарной сигнализации. В ней находится сигнальный прибор — ящик со стеклянной стеной. В ящик проведены концы двадцати пяти трубок, идущих из таких помещений парохода, где нет людей,— из грузовых трюмов, провизионных камер, ламповой и так далее. Электрический вентилятор все время высасывает из этого ящика воздух, создавая разрежение и высасывая тем самым воздух из трубок. Если в каком-нибудь помещении, соединенном с такой трубкой, случится пожар, то через несколько секунд дым уже будет замечен в сигнальном ящике. Тогда с капитанского мостика по трубкам пускается пар под высоким давлением в паровые огнетушители, расположенные в нежилых помещениях. Пар моментально наполняет загоревшееся отделение и убивает огонь.

В жилых помещениях применен другой сигнальный прибор, состоящий из сети очень тонких медных трубок, проведенных во все каюты. Сильное повышение темпера-

туры в какой-либо каюте заставляет воздух в трубке расширяться. Давление воздуха передается очень чувствительной диафрагме, а от нее — электрическому прибору, указывающему место повышения температуры.

В этом месте доклада Тенебергу подали записку. Он прочел ее и пожал плечами. Кто-то спрашивал:

«Как быть, если в помещении за водонепроницаемыми дверями или в помещениях, куда будет пущен пар, окажутся люди?»

Тенеберг ответил:

— Надо предварительно удостовериться, что там нет людей.

Ответ показался ему самому глупым. Тенеберг сознавал, что это бездарное решение вопроса. Он скомкал конец доклада и ушел.

Дым и пар из пароходных котлов стлались над Гамбургом. «Африка» готовилась к отплытию. Пароход казался расплавленным от множества огней. Он растворялся и мерцал в темноте прохладной ночи. То была «Африка», из кают которой еще не выветрился воздух плаваний, «Африка», попавшая, как редкая птица, из желтизны и синевы в сырую и неприветливую зиму.

Тенеберг долго смотрел на пароход, потом взял такси и поехал домой.

В журнале «Искусство» некто Лео Капп напечатал очерк о старой гавани — как раз о том уголке ее, который был сохранен по настоянию Тенеберга в неприкосновенном виде. Эпиграфом к очерку Капп поставил выдержку из постановления магистрата:

«Территорию Кофейной гавани, ограниченную на севере старыми сваями, со всеми постройками объявить неприкосновенной. Дома, окружающие гавань, не разрешается переделывать или тем или иным способом изменять их внешний вид. Вход каких бы то ни было судов в Кофейную гавань не допускается. В гавани будут стоять на мертвых якорях лишь старинные суда, дающие понятие об истории флота. Впредь до назначения особой комиссии для устройства из Кофейной гавани морского музея хранителем ее назначается отставной капитан парусного флота Эрнест Тенеберг».

Эрнест Тенеберг был дядей Отто Тенеберга.
Очерк Каппа назывался «Трава и соль».
Вот он:

«Надпись «Разрешается ловить рыбу» опрокидывает все представления о нашем индустриальном веке. Я долго рассматривал ее — синюю на белом фоне,— а позади гамбургский порт подымал к небу тяжелый занавес дыма и пара. Как стрекотание кузнечиков, долетал сюда с верфей Блома и Фосса грохот пневматических молотков.

Я невольно заглянул в черную воду и увидел стаю длинных, как кухонные ножи, серебряных рыб. Они объедали мох с кузова старого парусника, они бродили около якорных цепей и мирно паслись в неподвижной гавани, поблескивая оловянными спинками. Пыльные иллюминаторы были тусклы, как глаза слепых, а бугшприты печально подымались к небу, по которому они никогда не будут чертить свои замысловатые пути. Сухие канаты были белы, как волосы старух.

Я знал, что каждое судно заслуживает описания — не только как архитектурное сооружение (это уже сделал Отто Тенеберг в своей замечательной книге, на днях выходящей в свет), но как живое некогда существо.

Меня интересовала биография этих кораблей. Кто мог знать ее лучше, чем хранитель этих величественных реликвий, капитан Эрнест с «Альбиона». Я спросил сторожа, где его найти. Сторож показал мне дом, превратившийся от старости в одно целое с набережной, воздухом и водой. Он был так же темен, как вода в гавани, так же чист, как воздух, и так же мшист, как набережная. Над дверью висела вывеска:

БЕРЕГОВОЙ ПРИЮТ

Я вошел в эту кофейню или портерную,— не все ли равно,— в эту сухую комнату из светлого ясеня, согретую тепловатыми кафелями голландской печи. Ветер не проникал сквозь дубовые двери и не дул по полу, потому что порог был высотой в четверть метра, как на хорошем корабле. Легкий запах табака и старости наполнял комнату.

В ней сидели несколько стариков в синих потертых куртках и тяжелых ботинках. Старый морской мир встретил меня внимательными взглядами и молчаливыми рукопожатиями. Я опустился на стул, и мои перчатки показались мне непристойными в этом суровом и добродушном

месте. Мое появление было встречено, как появление женщины в кочегарке. Поэтому я спросил довольно робко:

— Могу ли я видеть капитана Тенеберга?

— Да, я — Тенеберг с «Альбиона»,— сказал один из стариков, так похожий на всех остальных, что я не могу описать вам его примет. Кажется, он был выше всех и у него был слегка раздраженный голос.

Я назвал себя, цель своего посещения и упомянул о знаменитом его племяннике Отто Тенеберге. Ответ старика смутил меня. Он, глядя исподлобья, сердито проворчал:

— Отто свернет себе голову со своими океанскими пароходами.

Старики сочувственно закивали.

— Они,— старик грозно посмотрел за окно,— они думали, что их пароходы безгрешны, как боги, и шутя будут переходить океан под музыку и телефонные разговоры. Но океан им показал, что не любит этих легкомысленных затей. Помните, как погиб «Титаник»?

— Да, как погиб «Титаник»,— закивали старики.— Это было хорошее предупреждение!

— Что думает Отто? — спросил старик самого себя и тут же ответил: — Отто думает, что его механизмы могут заменить человека. Отто думает, что какой-то там звоночек начнет вежливо тирлиликать в каюте капитана и скажет ему: «Будьте добры, господин капитан, распорядитесь взять на два румба на норд, потому что, видите ли, пароход идет на ледяную гору». И этот бездельник капитан, потягиваясь, как кошка, скажет по телефону на мостик: «Взять два румба на норд». А мы? Разве звонки предупреждали нас об опасностях? Глаза, уши, обоняние, температура воды! Капитан Нокс, норвежец, слышал запах айсбергов за полмили.

— Разве у айсбергов есть запах? — спросил я в полной растерянности.

— Такой же, как у подводных рифов,— ответил старый капитан, удивленно подняв брови.

Я решил больше не задавать вопросов.

— Я встретил Отто на днях,— продолжал старик,— и сказал ему: «Отто, ты идешь против моря, и ты сломаешь себе шею. Когда-нибудь море с тобой расквитается». Посудите сами, парусные корабли никогда не возили бездельников. Парусное плаванье не прогулка. Мы не знали малодушных пассажиров. Они брали билет в Гавр, и за соб-

ственные деньги в пятидесяти случаях из ста им совали смерть под самый нос. Океан ревел на них и топал ногами, как бешеный. А на кого работает Отто? На чарльстон, на фабрикантов с гнилыми зубами, на стада баранов-туристов, на людей в пижамах. Они думают, что штиль на океане стоит только потому, что они заплатили за билет пятьсот долларов, и океан из почтительности не смеет их беспокоить. Моряки превращаются в холуев. Отто, конечно, стыдно, и он придумал эту затею — сохранять старые гавани,— самое умное, что он вообще мог придумать.

«Что с того,— сказал я Отто,— что ты пишешь книжку, где расхваливаешь красоту парусных кораблей! Все это — слова и капризы. Ты не знаешь назначения половины снастей, ты не знаешь, почему на клиперах возили чай, а в трамбаках грязную соль. Ты не знаешь, что корабль в том виде, в каком ты его воспеваешь, создавался веками». Тысячи голов — и каких голов! — думали над каждой доской и заклепкой, и вы посмотрите, вот, например, «Сириус»,— посмотрите за окно и скажите, сколько весит этот корабль. На взгляд — кило, не больше! Он ничего не весит, он легок, как девушка, а между тем он подымал шесть тысяч тонн груза, молодой человек! Я спрашиваю вас: похожи ли на настоящие корабли эти беременные киты «Африка» и «Левиафан»? Можете об этом написать. Отто не обидится. Приходите утром, я проведу вас по кораблям.

Я ушел с одним желанием — пойти сейчас же в магистратуру и подать просьбу: я хочу просить, чтобы мне разрешили занять каюту на одном из этих кораблей. Я буду его сторожить и напишу его биографию. Я мечтаю о книге под названием: «Биографии великих кораблей».

Я не могу забыть ночного ветра, дувшего мне в лицо, когда я уходил из «Берегового приюта», и шума волн, звеневших причальными кольцами. Я не романтик, но материал, как бы спрессованный в каждой частице этих кораблей, меня подавляет. Рассказы, повести, каких не выдумать жалкому человеческому воображению, ждут меня, качаясь на мертвых якорях в Кофейной гавани.

Лео Капп».

Компания «Нордзее» — владелец парохода «Африка» — выпустила рекламную кинокартину. Берем наугад несколько кадров.

Кадр № 80. Седой помощник капитана в выутюженных брюках стоит у трапа и проверяет билеты. Билет протя-

гивает маленькая девочка с плюшевым медвежонком. Помощник приятно улыбается. На заднем плане умиленное лицо матери, закутанной в меха.

Кадр № 96. Громадный спасательный круг с надписью «Африка». На нем лежит чудовищный толстяк. Волны плещут около круга, кроткие, как голуби. Толстяк снимает шляпу и раскланивается. Во рту у него золотые зубы. Это «Дядя Сэм» — борец за Чикаго.

Кадр № 99. Действие водонепроницаемых дверей инженера Тенеберга. Капитан нажимает пальцем рукоятку. Виден край крахмальной манжеты и запонки — маленький якорь на перламутровом сердце. Затемнение. Затем — каскад воды. Воду внезапно прорезает стальная полоса двери. Дверь режет струю и вжимается в железную стену, защемив громадного краба. Половину краба, будто разрезанную бритвой, показывают крупным планом. Краб еще шевелит клешней.

Кадр № 100. Женский палец проводит по месту соединения двери со стеной и прижимается к промокательной бумаге. На бумаге нет даже намека на пятно. Дверь не пропустила ни капли воды.

Кадр № 101. Инженер Тенеберг проходит под кормой гигантского парохода, стоящего в доке. Он — в сером. Серые его глаза внимательно и недовольно останавливаются на операторе. Тенеберг подносит руку к шляпе и отходит в сторону. У него легкая походка, худое лицо и седые виски.

Кадр № 110. Кочегары у котлов. Веерами гудит горящая нефть. Кочегары смеются — служить у компании «Нордзее» весело и выгодно. Очевидно, в кочегарку долетают звуки чарльстона с верхних палуб.

Кадр № 120. Кран с горячей водой. Из ванны идет пар. Видны ноги неизвестной купающейся леди. Надпись: «Каюта с ванной и будуаром стоит 500 долларов».

Кадр № 128. Пассажиры четвертого класса. Едят хлеб с колбасой и пьют кофе. Лица довольные и доброжелательные. Жуют медленно, вызывая аппетит у зрителей. Надпись: «Надежда на американские быстрые заработки».

Кадр № 133. «Африка» отходит из Гамбурга. Будто тысячи чаек поднялись над палубой — уезжающие машут платками. Огромный якорь, как перерезанный краб, ползет вверх на цепи. С него льется вода и падает жидкая глина. Надпись: «Через океан в пять дней».

Радио с парохода «Африка»: «В ночь на 20 сентября

в 120 милях к северо-востоку от Ньюфаундленда вследствие порчи сигнальных приборов и густого тумана пароход «Африка» компании «Нордзее» наскочил на айсберг и получил пробоину в левом борту у форпика, на фут ниже ватерлинии. Вода начала заливать ламповую каюту. Немедленно были закрыты водонепроницаемые двери системы инженера Тенеберга, подведен пластырь и выкачана вода. Погиб матрос Ганс Крафт. Пассажиры спали и лишь утром узнали о случившемся.

Пароход продолжает путь».

Выписка из судового журнала: «Обстоятельства смерти матроса Ганса Крафта, происшедшей по воле божьей и в силу опасностей, связанных с морской службой, таковы: Ганс Крафт находился в ламповой каюте, когда пароход наскочил на айсберг и получил пробоину. Крафт, стоя по пояс в воде, дал аварийный звонок на капитанский мостик, указавший номер затапливаемого помещения. Вахтенный путем поворота соответствующей рукоятки немедленно захлопнул водонепроницаемую дверь, не думая о том, что в ламповой каюте могут быть люди. Крафт не успел выбраться и остался за дверью. После откачки воды и заделки пробоины труп его был вынесен из каюты и, по существующим обычаям, предан океану».

Товарищ Ганса Крафта, матрос Штейн, сидел всю ночь, сочиняя письмо матери Крафта. Он подробно описал, как все произошло. Рассказ его совпадал с выпиской из судового журнала, за исключением одной детали.

«Ганс хотел выскочить из ламповой каюты,— писал Штейн,— и схватился рукой за косяк двери. В эту минуту дверь захлопнулась и отрезала ему руку. Кисть руки упала на пол в воду, а Ганс остался за стеной. Руку мы подобрали, я снял с пальца серебряное колечко, которое посылаю. Об этом случае нам было приказано молчать, чтобы не портить настроения у господ из первого и второго классов. Похоронили его ночью. Компания должна платить вам пенсию, потому что Ганс погиб на посту и спас пароход. А двери оказались вправду водонепроницаемыми: они не пропустили ни капли воды, если не считать нескольких капель крови. Насчет пенсии посоветуйтесь с капитаном Эрнестом с «Альбиона» — вы живете рядом. Между прочим, это его племянничек изобрел дверь, которой прихлопнуло Ганса».

Штейн забыл написать, что матросы приняли сначала в темноте отрезанную кисть Ганса за краба и что капель крови было достаточно, чтобы оставить на промокательной бумаге большое пятно.

Капитан Эрнест с «Альбиона» торжествовал. Его предсказания сбылись.

Он побрился, наваксил ботинки и пошел к племяннику Отто Тенебергу. Он шел как победитель и разучивал вполголоса обличительную речь. Слепящий свет автомобилей с изумлением останавливался на лице капитана. Старик сплевывал на тротуар у самых ног полицейских: плевать ему на современный Гамбург! Презрение это было настолько продуманным, что старик не боялся штрафа.

Идти было далеко. Шум улиц иссякал, и наконец перед стариком черной завесой зелени выросли кварталы, населенные учеными и инженерами. Тишина и мягкий свет, лившийся из окон, говорили о жизни устойчивой и разумной. В таких кварталах дети очень румяны, женщины не блещут красотой, но умны и жизнерадостны, а мужчины чрезвычайно вежливы, хотя и с легким холодком превосходства.

Осень хрустела под тяжелыми ботинками. Старик шел через сад по ковру каштановых листьев.

Отто был дома. Он сидел у стола и чертил на клочке бумаги. Окно было открыто, и туман проникал в ярко освещенную комнату. Отто поднял глаза, бесцветные от усталости, и встал.

— Отто! — сказал старик торжественно и поднял к потолку толстую палку.— Я пришел сказать тебе, что ты дурак! Отто! — Он потряс палкой, как бы давая сигнал небесному грому поразить непокорного племянника.— Наконец-то море с тобой расквиталось. Мы, старые моряки, умирали, наглотавшись соленой воды, а Ганса Крафта прищемила твоя паршивая мышеловка. Ты выдумал механизм и был горд. Тебя даже показывали в кино. Ты стал знаменитостью. Ты убил человека, Отто! Твоя дверь придумана плохо,— она не пропускает воду, но пропускает человеческую кровь. Ты хочешь, чтобы настоящих людей, нас, знавших риск и находчивость, сменили идиоты с тряпками вместо мускулов и с патефоном в голове? Ты думаешь, что ты строишь пароходы? — Старик стукнул палкой об пол.— Ты строишь гостиницы для бездельников, игорные дома и тюрьмы и называешь их пароходами. Ты унизил назначение корабля. Мы знали, что корабли от-

крывали новые земли и перевозили отважных людей и ценные грузы, но у нас не было и мысли, что корабль может сделаться удобным местом для обжорства и птичьей болтовни. Ты развратил моряков. Капитан «Африки» приказал команде не болтать о том, что у Крафта отрезало руку, чтобы не портить пищеварение пассажирам. Если бы мой матрос попал в беду, я, чтобы спасти его, заставил бы этих шалопаев работать до кровавой испарины. Плевал я на их пищеварение. Таких капитанов, как этот твой, надо топить, как щенят. Все!

Отто молчал. Молчание заливало комнату водой, хлынувшей через пробоину. Старик осязал молчание: вот оно стеснило грудь, дошло до головы, поднялось к потолку. Кровь пела в ушах, как назойливый комар. Вокруг ламп вспыхнули тусклые радуги. Много минут спустя старик наконец услышал голос, говоривший будто сквозь вату:

— Моя дверь придумана плохо. А теперь — иди. Я отвечу тебе через несколько дней.

Старик вышел. На улице пленка тишины оглушительно лопнула. В уши ударило кваканье автомобилей и визг буксирных катеров.

С каждым днем Эрнест с «Альбиона» волновался все больше. Ответа от племянника все не было.

Степень волнения капитана лучше всего изучили мальчишки, удившие рыбу в Кофейной гавани. Сначала старик прогнал их с пустынных палуб, ссылаясь на то, что они втихомолку курят и могут устроить пожар, потом загнал в самый дальний угол гавани, где под водой желтели только банки от консервов, а рыбы не было со времен Тридцатилетней войны. Наконец он потребовал записок от мамаш о том, что мальчишки ловят рыбу с согласия родителей и не в ущерб школьным занятиям.

Сначала мальчишками овладела тревога, затем недоумение, но на третий день они возмутились. За разбитой баркой был созван митинг. Митинг решил начать кровавую месть и в первую очередь утопить кошку капитана — Генриетту.

Пришел день мести. Принято говорить, что осенью выдаются редкие дни. Но этот день был действительно редкий. Синий свет стоял между небом и песчаным дном гавани неподвижной стеной. Он падал сверху и поднимался, слегка зеленоватый от морской воды. Солнце, ударяя лу-

чом в разноцветные ставни и в стекла домов, раскидывало по этой синеве золотые и красные пятна. Если добавить, что стоял легкий туман и было очень тепло, то вы можете себе составить легкое представление об этом дне, когда рыба должна была клевать особенно жадно. К тому же море пахло в этот день особенно сильно — не рыбой и тиной, а персиками и льдом.

Четверо самых смелых мальчишек были посланы поймать Генриетту. Они пробрались в «Береговой приют» с черного хода и услышали тихое бормотанье. Старик читал газету. Самый глазастый из мальчишек заглянул в щелку и увидел на газетном листе заметку, жирно обведенную красным карандашом. Генриетта спала на коленях у капитана.

«Вчера,— читал старик,— в Альтоне было произведено испытание нового прибора, сконструированного инженером Тенебергом. Как известно, на пароходе «Африка» произошел несчастный случай: матрос утонул в одном из помещений парохода, застигнутый водой, хлынувшей через пробоину. Водонепроницаемая дверь системы Тенеберга была автоматически заперта прежде, чем матрос успел оставить затопляемое помещение. Этот прискорбный случай привел к тому, что инженер Тенеберг сделал новое исключительное открытие. Он изобрел прибор, не позволяющий водонепроницаемым дверям захлопываться, пока в помещении находится человек. Прибор очень сложен. Он построен на том принципе, что человеческий организм излучает электрическую энергию. Прибор улавливает эти электрические токи и парализует действие насосов, захлопывающих двери. Как только человек оставляет помещение, прибор перестает действовать, и двери стремительно закрываются.

Инженер Тенеберг был помещен в отсек старого корабля, снабженный дверями его системы и новым прибором. Он открыл клапан, заранее сделанный в борту. Хлынула вода. Попытка закрыть дверь с капитанского мостика при помощи электрического рычага не привела ни к чему, пока инженер Тенеберг не выбрался из отсека. Как только он вышел, дверь тотчас захлопнулась. Опыт был повторен десять раз и дал прекрасные результаты.

Инженер Тенеберг потребовал, чтобы компания «Нордзее» снабдила этим прибором все водонепроницаемые двери его системы. Компания отказалась, ссылаясь на чрез-

вычайную дороговизну приборов. В связи с этим инженер Тенеберг заявил вчера правлению компании, что он оставляет работу. По слухам, инженер Тенеберг намерен уехать в одну из восточных стран, где, по его мнению, он сможет применять свой опыт более целесообразно, чем в Германии».

Слова «одну из восточных стран» были набраны жирным шрифтом, и намек газеты не оставлял никаких сомнений: инженер Тенеберг едет к большевикам!

Через всю заметку крупным почерком было написано: «Вот мой ответ. *Отто*».

Старик отложил газету и пробормотал:

— Он перехитрил меня, этот бездельник. Да-а, кровь Тенебергов всегда брала свое. Сам, слышишь ли, Генриетта, он сам десять раз подвергал себя смертельному риску, он наплевал на «Нордзее» и едет к большевикам.

Один из мальчишек — самый маленький — тихо заплакал. У него затекла нога, а пошевелиться он боялся.

— Кто там? — крикнул старик.

Удирать было поздно. Старший мальчик вышел из-за двери и сказал срывающимся голосом:

— Дядя Эрнест, мы пришли просить разрешения поудить рыбу.

— Кто смеет запрещать удить в Кофейной гавани, где я начальник! — закричал старик, смахнув с глаз слезинку.— Франц? Пришлите этого Франца ко мне, я ему намылю рожу! Марш на корабли, только смотрите, чтоб не курить и не удить с якорных цепей! Живо!

Мальчишки бросились в гавань. Голубой день зазвенел, как стекло, от их свиста, криков и песен, и серебряными комками, разбрызгивая солнце, трепетали над палубами кораблей пойманные рыбы.

Москва, 1926

ЖАРА

(Записки лейтенанта Жиро)

После матросского бунта в Бресте министр решил проветрить команду, и наш крейсер «Примоге» был отправлен в Портсмут на праздник английского флота. И вот мы в Англии. Здесь небо покрыто серой пленкой, а солнце светит, как белый фонарь.

Сегодня я видел, как умывались английские офицеры. Дольше всего они моют носы. Они кажутся легкими и жестковатыми, эти офицеры, как высушенные крабы. Английские матросы молчат или играют на молах в литой мяч.

Город прошивает сизое небо белыми нитями дымов. Дым подымается высоко к небу,— над влажными полями Англии уже две недели стоит безветрие.

Флот дымит. Вчера он ходил в море: в отвалах свинцовой воды, в жирном дыму и в сотнях сигнальных флажков. Сегодня у нас был банкет. Английские офицеры пили, помалкивая, виски, пили долго и крепко. Воротники душили их жилистые шеи. Они клекотали, как куры, и щурились на наших матросов. После ужина они пели крикливые песни. Должно быть, так пели еще во времена Вильгельма Завоевателя. Потом они метко плевали в световые люки.

Матросы молчали. Только боцман Кремье сказал мне тихо:

— Люди волнуются.

Он посмотрел на англичан, и лицо его потемнело. Я подошел к лейтенанту Ваньо и шепнул ему на ухо:

— Люди волнуются. Прекратите как-нибудь это.

— Ха! — сказал Ваньо, откидываясь на спинку кресла.— С каких это пор на крейсере завелись барышни? Что я могу им сказать! Британцы! — добавил он зло.— Вы понимаете, Британия, Ве-ли-ко-британия! Британский флот, владычица морей, разрази ее тысяча громов! Они хорошо умели прятаться во время войны в резерве, эти сухопарые гуси! Ничего не поделаешь. Скажите людям, что надо терпеть. Мы — их гости. Кроме того, они наши союзники.

Говорить с ним было бесполезно. Он был пьян.

После банкета матросы мыли швабрами палубу. Казалось, они хотели протереть ее насквозь. Они сопели от злости и молчали. Я не люблю, когда команда молчит. Это опасно. Простой человек молчит, когда запас ругательств исчерпан, зубы стиснуты и кулак готов раздробить челюсть каждого, кто менее взбешен, чем он.

Так они молчали в Бресте, когда прошел слух, что «Примоге» пойдет в Китай. Они молчали два дня, а на третий вылили свой суп в море, отказались спускать вельботы для гребного учения и стали собираться кучками около орудийных башен. К вечеру их удалось успокоить: командир Пелье выстроил команду и прочел телеграмму

министра о том, что «Примоге» отправляется в Портсмут на праздник английского флота. Команда повеселела.

После банкета я слышал разговор у кубрика.

— Поджарые черти! — говорил бомбардир Гамар со своим смешным бретонским акцентом.— Они хотят слопать все. Они суют свой чванный нос во все чужие горшки, пока им его не расколотят.

Ночью мы ушли из Портсмута. Миноносец «Ламотт Пике», прикомандированный следить за нами, шел следом и отстал только под Брестом. В Ла-Манше стояла сухая ночь. Звезды поблескивали стекляшками моноклей. Только сырой ветер из Бискайи разогнал этот британский дурман.

К рассвету Брест проплыл на горизонте куполом голубого огня. Мы взяли на юг.

— Куда мы идем? — спросил я Ваньо.

— В неизвестном направлении. У командира есть запечатанный приказ. Я думаю, на Мадагаскар.

Звонили склянки. Туман широкими полосами качался над Бискайским заливом. Залив был тих и сер.

Средиземное море встало перед нами лиловой стеной. Светило прозрачное солнце. Ровно и упорно дул ветер из Африки. Мокрая палуба просыхала в одну минуту.

К полудню небо розовело от зноя. Дни влеклись бесконечно, оживляемые лишь пеной у бортов и грядами желтых гор на горизонте. Мы проходили Мальту.

«Мадагаскар» — это слово не сходило с языка матросов. Механик Жамм бывал на этом острове и рассказывал небылицы.

— Там леса,— говорил он, умывшись после вахты и сидя под тентом,— свешиваются прямо в море. Мы купались и держались за лианы, как за канаты для неопытных пловцов в Биаррице. Рыбы? Там есть рыба «сизирь». Она лиловая, а перья у нее черные, как китайский лак. Пссс... Ее ловят на распаренные какаовые зерна. Там такая жара, что потеют не только люди, но и военные корабли. Ого, это номер! Вам будет хорошая работа — вытирать каждый день крейсер с мачты до ватерлинии губкой, смоченной в уксусе. Золотая страна!

— Жамм говорит,— передавали в кубрике,— что лучшая пища на Мадагаскаре — рагу из попугаев с соей.

— Жамм говорит, что всем будут выдавать от лихорадки по бутылке абсента в день.

— Жамм говорит... Жамм говорит...

Ваньо позвал Жамма и сказал ему:

— Проглоти язык! Это не детский сад, а военный корабль. Ты взбудоражил людей своим дурацким Мадагаскаром.

Жамм посопел и ответил:

— Ладно. Но с каких это пор на корабле нельзя поболтать о том и о сем?

Жамм вышел, хлопнув дверью каюты сильнее, чем следует. С тех пор он изредка делал страшные глаза и говорил шепотом:

— Пссс... На Мадагаскаре не жизнь для Ваньо. У таких собак там пухнет от злости печень. Она становится величиной с дыню. Против этой болезни нет никаких лекарств. Она называется «цек».

И матросы, подмигивая друг другу на командира Пелье и лейтенанта Ваньо, щелкали языками:

— Цек! Цек!

Около Порт-Саида крейсер застопорил машину. Было утро. Ветер не осязался кожей, а был виден простым невооруженным глазом. Он налетал теплыми волнами от берегов Греции и смывал с загорелых лиц последние остатки сна. Ветер пах мятой. Смех был слышен так отчетливо, будто мы стояли в тесной и жаркой гавани. Спустили на воду парус, и команда купалась.

Я бросился в воду, нырял в упругие подводные миры, пропитанные зеленым светом. Море омывало прозрачной влагой серую броню крейсера. Красноватый отблеск африканских песков подымался к зениту, как предвестник тяжелой жары.

Жамм фыркал, как кашалот, и кричал:

— Купайтесь, мальчики! Завтра вползаем в настоящее пекло.

Купанье кончилось. Я вышел на палубу и лег на баке. Крейсер, медленно работая винтами, втягивался в искрящуюся мглу.

Ко мне подошел Жамм.

— Жиро,— сказал он, хрипя,— я подохну от духоты. Только что я слышал разговор командира с Ваньо. Нас гонят в Китай.

Я вскочил. Кровь ударила в глаза.

— Молчи! — сказал Жамм.

Он махнул рукой и пошел в машину.

Из Аравии тянуло зноем, как от постели больного тропической лихорадкой. В Суэце мы видели последнюю зелень — пыльную акацию около портовой конторы. Она дрожала маленькими листьями и, казалось, просила пить.

Африка развернула над нами пылающее и страшное небо. Мы шли в ловушку из лихорадки и черной смерти.

Первый закат в Красном море был полон песчаной мути. Легкие ссыхались. Вода со льдом плохо освежала сердце. Пальцы судорожно хватали потный стакан. Удушье ватным одеялом накрывало нас и гудело в ушах.

Доктор Равиньяк, высокий и желтый, как высохший тростник, встретил меня на палубе и спросил:

— Жиро, есть ли у вас уверенность, что в трюмах не чумеет какая-нибудь старая крыса?

— Конечно, нет.

Он вздохнул.

— Мы проходим Массову — легендарный источник чумы. Здесь крысы с берега заплывают на корабли.

Было бы легче, если бы крейсер не так дымил. Запах серы смешивался с испарениями ночи, хотелось разорвать грудь и обдать ее ветром. Волны скреблись о борта, как десятки чумных крыс.

К утру заболел кочегар. К полудню слегли еще пять матросов. Кровь густела, как клейстер, и сердце плохо проталкивало ее в артерии.

Боцман Кремье пришел ко мне в каюту. Он долго отдувался, прежде чем начать говорить.

— Господин офицер,— сказал он, и усы у него задрожали.— Куда нас гонят через этот асфальтовый чертов котел? Люди измучены. Только что у штурвального Пома пошла горлом кровь. Почему командир пе объявит, куда мы идем?

Он пристально взглянул па меня.

— Завтра,— я повернулся к нему спиной, перебпрая па столе книги,— мы выйдсм в океан. Там будет легче. Куда мы идем, я не знаю.

— А пе в Китай?

— Не зпаю.

— Ну, ладно.

Кремье ушел.

Утром мы стали па якорь в Джибути. Никто не может представить себе этот низкий песчаный берег, этот исполинский смертоносный пляж, добела раскаленный солн-

цем. Дома в Джибути похожи на пляжные кабинки. Их деревянные стены прогреты и светятся кровавыми жилами смолы.

— Хорошая увертюра к Китаю,— сказал мне Жамм, когда мы спустились на берег и шли к дощатому бару, где продавали воду.— Командир Ваньо и доктор очень боятся чумных крыс,— продолжал он.— Может быть, поэтому они ходят с револьверами в карманах. Как вы думаете, а? Может быть, поэтому они плохо спят и подслушивают, что говорят матросы? Вчера командир сказал доктору: «Еще два дня такой жары и тревоги, и я пущу себе пулю в лоб». Они что-то затевают, я это чувствую, хотя не имею никаких доказательств. Крысы, очевидно, хотят захватить корабль. Редкий случай в истории республики.

— Жамм,— ответил я,— это не так просто, как кажется. Из этой жары может родиться бунт, убийство или массовое помешательство. Нас гонят в Китай. Дольше скрывать невозможно.

Жамм не ответил. Когда мы пили воду в баре, он показал с террасы на юг и промычал:

— Вот там — свежий воздух. Там Абиссиния. Чудесное плато, леса и много воды. Там нет лихорадок. Я бы пошел туда пешком и с каждым километром дышал бы все глубже. Я бы не остановился, пока не увидел бы первую реку. Не правда ли, у вас тоже тоска по воде?

— Да, Жамм. Тоска по воде, где плещется рыба.

Жамм смотрел щелками серых глаз на пустыню. Красный песок разрезал горизонт лезвием бритвы. В гавани железной крысой лежал на якорях «Примоге». Тонким слоем пыли был покрыт деревянный столик. Жамм написал на нем пальцем: «Сет».

Это была его родина.

Вечером лейтенант Ваньо выстроил команду на баке и объявил, что мы идем в Аннам для несения сторожевой службы. Сразу отлегло,— лишь бы не в Китай.

Ночью мы вышли в океан. Африка тонула в кромешной тьме и гуле прибоя.

От океана подымался пар. Я сидел в каюте. Пот стекал по манжетам на страницы тетради, в голове ныла хина, и хотелось пить без конца холодный сидр из глиняной кружки.

Из Индии шел не ветер, а сладкий сироп. Мысли увязали в нем, как мухи в липкой бумаге.

Пелье отдал секретный приказ: следить за командой и быть начеку.

— Мало ли что может прийти в голову людям от этой духоты,— сказал он за столом в кают-компании.

После Цейлона крейсер замолк. Люди перестали смеяться. Они молча терли палубу, молча ели, молча отбывали вахты и возились у раскаленных топок.

В густой воде чудовищными жаровнями пылал закат. Океан качал нас неустанно и зло. Мы потеряли веру в незыблемость земли. Жамму снились дурные сны.

— Угля мало,— говорил он с тревогой.— Жиро, я становлюсь идиотом, по мне кажется, что Сингапура уже давно нет на свете и мы напрасно лезем вперед.

— Это от жары,— ответил я.

За обедом доктор Равиньяк затеял с офицерами разговор о климате Сайгона.

— Этот воздух,— сказал он,— слишком густ для наших легких. Он трудно всасывается и вызывает малокровие мозга. Люди или тупеют, или впадают в буйство и крушат всё направо и налево. Необходимо дышать через респираторы, охлажденные льдом.

После обеда командир вызвал команду наверх. Люди собрались, хмурые и недоверчивые.

— Дети мои,— тихо сказал командир, почесывая бородку,— завтра мы станем на рейде в Сингапуре. Переход через океан окончен. Что говорить,— оп был труден. Я думаю, что каждый рад оставить его позади. Вечером в кают-компании мы устраиваем маленький банкет по этому случаю, и я приглашаю вас выпить с нами немного вина и кофе.

Матросы молчали. Жамм делал мне страшные глаза.

— В чем дело? — шепнул я ему.

— От жары он стал демократом.— Жамм подмигпул па офицеров, не менее матросов поражепных этим приглашением.

— Ну-ну,— сказал Ваньо добродушно.— Приходите, ребята. Боцманы разобьют вас на смепы, чтобы не было слишком тесно.

Вечером мы собрались на этот банкет. Матросы перешептывались, стоя у стен. Ваньо хлопал то одного, то другого по плечу, и они в ответ улыбались, показывая белые зубы.

— Из вежливости,— сказал мне Жамм.— Только из

вежливости они скалят зубы, уверяю тебя, Жиро. Посмотрим, что будет дальше.

Вино развязало языки. Бомбардир Гамар запел бретонскую песню. Матросы дружно подхватили ее:

Святая дева, храни моряков
От стран горячих и смрадных,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от мундиров парадных.

Святая дева, храни моряков
От старых служак-адмиралов,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от кюре из Сен-Мало.

— К черту! — крикнул доктор Равиньяк.— Выпьем за колонии! Представьте себе, Жамм, мощь этих жарких и богатых земель, принадлежащих Франции: Сахара, Тимбукту, Кайенна и Сирия, Аннам и острова Полинезии. Латинская раса всюду несет культуру, рожденную во Франции. В Сахаре вы увидите «ситроены» и номера «Иллюстрасион», выгорающие от солнца. В Сайгоне вы можете купить последнюю книгу Бенуа и встретить школьного товарища, с которым ловили перепелок на полях и удили рыбу в тинистых речках. Океаны становятся домашними, как бульвары. Это называется — иметь колонии! За это я пью.

— В Сирии,— в тон ему продолжал Жамм,— можно увидеть бомбометы последней марки заводов Крезо. Равиньяк, я был в Сирии с генералом Серрайлем. Не дай бог, чтобы французам кто-нибудь вколачивал культуру так, как мы вколачиваем ее арабам.

Матросы засмеялись.

— Механик Жамм,— позвал Ваньо,— пойдите сюда.

Он взял Жамма под руку и увел из каюты. Постепенно нарастал шум. Матросам разрешено было курить. В иллюминаторы дул ветер от Суматры, мы шли проливом. На побережьях горели маяки.

Боцман Кремье был красен. По шее у него струился пот.

— Неспроста,— сказал он мне,— этот идиотский банкет. Заметьте, матросы не пьют. Команда не верит Пелье.

— Тише! — вдруг крикнул Ваньо.— Командир желает говорить.

Пелье встал. В руке он держал бокал. Старческое его лицо с острой бородкой вежливо улыбалось, как на светском приеме.

— Матросы! — сказал он.— Вы слышали, что говорил здесь доктор Равиньяк? Сердце каждого француза бьется при мысли о мощи Франции, о великих колониях этой прекрасной страны. Мы призваны охранять одну из этих колоний — Аннам, где было пролито столько французской крови и столько молодых матросов погибло от лихорадки. Мы высушили аннамские болота. Цветущие поля этой страны сейчас так же безопасны, как и любая улица в Париже. Но Восток коварен. В Китае происходит анархия, резня и междоусобица. У границ Аннама бушует кровавое море. Мы получили назначение охранять Аннам. Но лучшая оборона — всегда в наступлении. Поэтому не удивляйтесь, если через четыре дня вы будете в китайских водах.

Матросы молчали. Постепенно они начали исчезать из каюты. Через десять минут она была пуста. Пелье сел за стол и хрипло сказал:

— С завтрашнего дня крейсер переходит на боевое положение. За малейшее неповиновение — каторга. Так и объявить команде. Мне надоела возня с этими истеричными бабами. Кто мы — моряки или бесштанные философы с Монмартра, черт возьми?

Он ударил ладонью по столу.

Я вышел на палубу. Ночь неотступно шла за кормой. Там широко шумела вода. Берега Суматры обозначились тусклыми огнями.

Вот они — эти китайские воды, ставшие роковыми для лейтенанта Ваньо.

Вчера вечером он пошел на корму проверить лаг. Ему доложили, что лаг перестал отзванивать мили. Он был навеселе, слишком перегнулся через борт к лагу, потерял равновесие и сорвался в воду, не успев даже крикнуть.

Машины застопорили только через две минуты. Спустили шлюпки. Белая стрела прожектора вонзилась в гущу азиатской тьмы. Матросы бегали по палубе, перекликаясь, вахтенные свистели, боцмана ругались. Пелье взбежал на мостик и скрипел проклятья. Ваньо не нашли.

— Кто из офицеров был на корме во время гибели Ваньо? — спросил Пелье вахтенного.

— Кажется, никого...

— Отвечайте точно! — Пелье ударил кулаком по планширу.— Без всяких «кажется»!

— Механик Жамм.

— Позвать!

Жамм пришел.

— Доложите, как это случилось!

Жамм стоял навытяжку. Он был бледен.

— Лейтенант был пьян,— ответил он резко,— и потерял равновесие. Осмелюсь доложить, что лейтенант нарушил ваш приказ об особой бдительности офицеров в китайских водах. Он был неосторожен.

— А не в китайских водах этого бы не произошло? Так я должеп вас понимать?

Жамм молчал.

Пелье отвернулся и пошел в радиорубку. Застрекотало радио,— командир говорил с флагманским кораблем, стоявшим на рейде в Шанхае.

Ночью ко мне в каюту постучали.

— Кто там?

— Кремье.

— В чем дело?

— Механик Жамм срочпо просит вас к себе.

Я встал и впустил Кремье.

— Жиро,— сказал он мне, не называя моего чина.— Команда верит вам и механику Жамму. Матросы просят вас выйти. Надо потолковать. Мы пройдем незаметно. Всюду стоят свои.

Я оделся, и мы вышли. Я не узнал крейсера. Такой простой и мирный днем, изученный до последнего винтика, он был мрачен и накален ненавистью и тревогой.

Я понимал, что теперь отступления нет. Если даже я не буду согласеп с матросами, то одпо мое присутствие на этом митинге обяжет меня идти с ними до конца и умереть в случае нужды спокойно, как подобает моряку.

В темноте я слышал дыхание десятков людей. Потом раздался хриплый голос Жамма:

— Ребята, я буду говорить в открытую. Нас гонят убивать и умирать. Франции не угрожает пи малейшей опасности. Мы лезем в чужие дела. Мы наступаем. Мы будем жечь деревни и расстреливать людей. Нами вертят гнилые шаркуны из министерств и биржевые маклаки — весь этот сброд, разворовывающий казну и разоряющий Францию. Какой идиот согласится умереть ради них, воевать ради «нуворишей»? К свиньям! Надо действовать. Беспорядки в Бресте и смерть Ваньо подействовали мало. Надо пугнуть еще. Но как?

— Убить Пелье,— сказал Гамар.

— Это не дело. Из-за убийства командира крейсер не повернут обратно.

— Нужно,— сказал я,— завтра утром вызвать Пелье и сказать ему: или мы идем обратно в Сайгон, или мы поворачиваем орудия на капитанскую каюту и берем крейсер в свои руки.

Матросы тихо зашумели.

— Дать ему два часа сроку.

— Кто сделает это?

— Механик Жамм.

— Сейчас же разобрать винтовки и поставить часовых.

— Делать вид, что ничего не случилось.

— Заставить Пелье молчать. Пусть улаживает дело как хочет.

— Если хоть одна крыса из министерства узнает об этом — ему крышка.

Ночь я не спал. На рассвете я вышел на палубу. Я помнил последние слова Жамма: «Все будет сделано чисто». Мы стояли на рейде Шанхая. Несметное нагромождение домов, огней, джонок, крейсеров, небоскребов и фанз тлело в сером разливе рассвета и мутной воды.

Я задыхался. Мокрые от дождя тенты казались смоченными в кипятке. Теплая вонь сочилась из джонок. В китайских кварталах выли псы.

Я постоял на палубе и вернулся в каюту. Жамм приказал никому без дела не шататься по кораблю.

Утром на дверях командирской каюты была приклеена записка:

«Воевать мы не будем. Устройте так, чтобы сегодня «Примоге» ушел из китайских вод, иначе крейсер будет наш и судьба лейтенанта Ваньо станет поучительной для многих. Боевые припасы и орудия в наших руках. Переговоры с флагманом ведите через сигналистов. Мы хотим избежать кровопролития, но в случае упорства прибегнем к оружию.

Команда».

В шесть часов утра Пелье вызвал с флагманского корабля адмирала. Сигналисты передали, что командир Пелье тяжело заболел, не может подняться с койки и просит адмирала посетить «Примоге», так как должен подать рапорт относительно дела, не терпящего отлагательства.

Через час адмирал приехал. Команда была выстроена

на шканцах. Оркестр сыграл встречу. Вооруженный отряд почетной стражи держал «на караул». Жамм был бледен, матросы — хмуры и насторожены.

Через два часа адмирал вышел из каюты Пелье и поднялся на мостик. За полчаса до этого я расставил людей у орудий.

— Офицеры и матросы! — сказал адмирал и передохнул.— Офицеры и матросы! Мною получены инструкции от правительства о сокращении наших вооруженных сил в Китае. Трех судов, находящихся в Шанхае, достаточно для охраны французских граждан. Поэтому я дал приказ командиру Пелье сняться с якоря, дабы излишне не раздражать китайское население, и идти в Сайгон, откуда «Примоге» будет переброшен в резерв Средиземноморского флота. Желаю счастливого плаванья!

Оркестр сыграл колониальный марш. Матросы держали «на караул» и скалили зубы.

Вечером мы шли в Сайгон. Пелье впервые за весь день появился на палубе. Он смотрел на китайский берег.

— К чертовой тетке! — прошипел он.— Будь я проклят, если не сдам эту коробку другому командиру.

Я стоял на вахте. Китайские воды тихо шумели и сливались с небом. На юге низко лежали звезды, а над Китаем всходила луна. Впервые за весь рейс я вспомнил о неразрезанных книгах и улыбнулся: сегодня я буду читать всю ночь.

Подошел Жамм.

— Чисто сделано, о-ля-ля! — сказал он, подмигивая.— Слышишь, как они веселятся.

Из кубрика доносился хор:

Святая дева, храни моряков
От стран горячих и смрадных,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от мундиров парадных...

1928

ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Штерн вычитал в какой-то книге, что чудаки украшают жизнь. Однако чудак, появившийся у него на пароходе, никому не понравился. Он был в клетчатых чрезмерно широких брюках желтого цвета. Желтизна брюк

явно раздражала Штерна, может быть потому, что все вокруг было серого и мягкого цвета — не только воды Финского залива, но и борта его парохода «Борей». «Борей» был выкрашен в цвет мокрого полотна. Лишь там, где ободралась краска, краснел сурик. По мнению чудака, это было очень живописно; по мнению Штерна — пароход надо было давным-давно покрасить.

Чудак ходил по палубе среди наваленных ящиков походкой страуса. Он был похож на голенастое тропическое животное пестрой раскраски. Пиджак у него был синий, кепка зеленая, галстук цвета осенних листьев. Он привез с собой чемодан и скрипку в футляре.

Чудак сопровождал в Англию груз игрушек. Можно понять, когда в трюмы наваливают лес, кожу или зерно в мешках, но брать игрушки было обидно. Старые капитаны с соседних пароходов только пожимали плечами.

Игрушки спускали в трюм, по требованию чудака, с такими предосторожностями, как гремучую ртуть.

Помощник Чох — человек суеверный и недовольный земным существованием — выразился в том смысле, что эти «чертовы ляльки не доведут до добра». Штерн потребовал объяснений. Чох пробурчал, что груз легкий, его невозможно закрепить в трюме и в случае шторма — сами знаете — ящики навалятся на один борт, «Борей» даст крен и... Чох пошел на берег за папиросами.

— Не ваше дело рассуждать! — сказал ему в спину Штерн.— Прикажут, так вы будете грузить у меня коровьи хвосты! Какая разница?!

Раздражение на палубе не утихало. Утром, когда уходили из порта, какой-то матрос крикнул в рупор со «Страны Советов»:

— Благополучно ли взяли груз тещиных языков?

В море висел туман. Штерн почувствовал облегчение — будто туман мог скрыть его легкомысленный груз. Штерн представлял, как любопытные и вежливые пароходы будут осведомляться в море:

— Куда и с каким грузом вы следуете?

— С игрушками в Бельфаст,— ответит вахтенный.

После этого на встречных пароходах начнется необычайное оживление. Их борта запестреют хохочущими рожами матросов. Град насмешек обрушится на команду «Борея». Матросы будут пищать «уйди-уйди», а капитаны орать с мостиков:

— Счастливого плавания с сосками!

Чох прозвал чудака «роман с контрабасом». Действительно, он не внушал уважения. Матросы, обычно равнодушные к пассажирам и грузу, были уязвлены. Они подходили к чудаку и спрашивали, показывая на его красные остроносые туфли и явно издеваясь:

— Сколько дали за эти колеса?

Более нахальные ставили вопрос иначе:

— Почем копыта?

Чудак не обижался. Он охотно отвечал, что заплатил в ГУМе двадцать рублей.

Он был настроен восторженно. К вечеру в морской мгле происходили любопытные вещи. Сквозь туман проглядывали облака, похожие на гигантские шары из розовой ваты, подмигивали далекие маяки, и берега Дании, казалось, пахли свежей селедкой и сливками. Чудак спускался в кают-компанию и говорил Штерну:

— Я очень доволен.

Штерн высоко поднимал брови: поводов для удовольствия не было. Входили в Немецкое море, и барометр падал с упорством часовой гири.

— Будет шторм,— отвечал Штерн и уходил к себе в каюту.

На пятый день плавания за ужином в кают-компании чудак постучал ножом по стакану с нарзаном и попросил слова. Над морем шел тихий и серый дождь. В каюте пылали лампы. Лампы и чудак отражались сразу в четырех зеркалах. Штерн смотрел на чудака в зеркало и видел его профиль с кривым пенсне на мягком и добром носу.

Штерну было неловко. Как капитан он мог бы остановить чудака и указать ему, что суровые морские традиции не требуют речей. Можно было напомнить, что моряки считают многословие вещью постыдной (в том случае, конечно, если человек не выпил лишнего). Но Штерн пренебрег недовольными взглядами помощников и безнадежно махнул рукой:

— Пусть говорит.

Чудак сказал следующее:

— Происходит досадное недоразумение. Груз, который я сопровождаю, доставил вам много хлопот. Причина в том, что вы плохо знакомы с игрушечным делом. Вы заражены профессиональной гордостью. Конечно, гораздо почетнее, чем возить игрушки, участвовать в экспедиции на Северный полюс. Я не думал, что моряки так падки на

эффектные занятия и так необдуманно враждебны к вещам, каких они попросту не знают.

Эти слова прозвучали объявлением войны. Объявив войну, чудак перешел к сути дела. Он доказывал, что искусство делать игрушки так же почтенно, как и искусство кораблевождения. Он огорошил Чоха сообщением, что некий немецкий игрушечный мастер, делавший оловянных солдатиков, стал миллионером. Он утверждал, что советские игрушки лучшие в мире, а лучшие из лучших «Борей» сейчас везет в Бельфаст на выставку. Он уязвил Штерна, заметив вскользь, что в каюте капитана он видел маленький парусный корабль, выкрашенный в канареечный цвет. Игрушки — ценный груз. Ломать их имеют право только дети, но никак не портовые грузчики и команда. Он вызывающе сообщил, что страхи Чоха — вздор. Скажите любому моряку, что корабль может перевернуться от груза игрушек, и он засмеется вам в лицо.

Чох протестовал. Он вспомнил случай, когда в Ленинградском порту грузчик был задавлен кипой ваты. Он отпарировал удар и спросил, не засмеется ли чудаку в лицо первый встречный, которому он расскажет, что человека задавило ватой. Разгорелся спор. Штерн прекратил его, спросив с плохо скрытым любопытством:

— А какие у вас игрушки?

— Двух сортов,— ответил чудак.

Он приволок в кают-компанию чемодан и вывалил на стол румяных матрешек, парусные корабли, зайцев и медвежат.

— Второй сорт,— объяснил чудак.— На таможне английские чиновники вскроют груз большевистских игрушек и приятно поразятся: сотни томных кукол с соболиными бровями будут посылать заученные улыбки. Эти улыбки скроют наш подлинный груз — вот он: это первый сорт.

Чудак встряхнул чемодан, и на стол посыпались комсомолки и пионеры из папье-маше, Буденный на сером коне, красноармейцы с загорелыми лицами, кузнецы, кующие плуги, полисмены с идиотскими рожами, ткачихи у прялок, шахтеры, скрюченные в забоях, десятки детей на первомайских автомобилях и, наконец, смехотворный король с белыми глазами. При малейшем прикосновении он издавал хриплый лай.

Игрушки пошли по рукам. Младший помощник посадил полисмена на сахарницу, щелкнул по носу и дал ему в рот папиросу. Полисмен яростно вертел злым бисерным

глазом. Штерн заспорил с Чохом о парусных кораблях. Чох уверял, что это модели чайных клиперов. Штерн сердился и доказывал, что это бриги. Вытащили книги с описанием старинных кораблей. Радист сел за пианино, и кукла-пионер под опытной рукой механика начала отплясывать чечетку.

В дверь заглядывали ухмыляющиеся матросы. Боцман пришел доложить относительно скорости хода, взял со стола свистульку и показал на ней все двенадцать соловьиных колен.

Волнение перекинулось в кубрик. Рулевой Ширяев хвастал, что может вырезать из одного куска коры модель миноносца вместе с мачтами, трубами и боевой рубкой. Ему не верили. Ширяев клялся и требовал кусок коры, но на «Борее» коры не было. Имена прославленных корабельных модельщиков из Гамбурга, Одессы и Лондона склонялись тысячи раз.

Чох остался тверд в своих суевериях. Значение игрушек он видел в том, что они — особенно плюшевые медвежата — предохраняют от роковых случайностей.

Штерн рассказал, как дети рабочих в Гавре играют в глухих, занесенных мусором бассейнах гавани, откуда их не гоняет портовая стража. Игрушки их просты. Доски заменяют пароходы, а ржавые гвозди — адмиралтейские якоря. Играют они очень тихо. Их радость сродни печали, настолько она боязлива.

Чудак перебил Штерна и сказал, что в игрушки вкладывается много таланта и теплоты, должно быть, потому, что игрушечные мастера прожили незавидное детство. Ребенок, не знающий игрушек, растет в сухом окружении взрослых. Он даже не может разговаривать с паровозами и зайцами, он не может проделать самую заманчивую вещь — отвертеть голову полисмену и заглянуть внутрь, в полый гипсовый шарик.

— Я понимаю, как обидно и оскорбительно возить кукол в кружевных панталончиках и резиновых негров, предназначенных для комнатной расправы,— сказал чудак.— Вы видите, что наш груз иной. Мы везем игрушки для тех кварталов, где дети играют банками от консервов и высохшими селедочными хвостами. Трудно догадаться, сколько радости и слез лежит в ненавистных вам ящиках в трюмах «Борея». А вы сожалеете о грузе соленых кишок.

Шум затих только к полуночи, когда четыре склянки прозвучали особенно мелодично в безветрии и тьме.

Штерн поднялся на мостик. «Борей» огибал северные берега Англии. Штерн взглянул на барометр и выругался: с океана шел шторм. Звезды растерянно мигали и заволакивались длинным дымом тумана.

В каюте чудака нежно запела скрипка. Штерн прислушался. Пение скрипки на ночном корабле было так же необыкновенно, как и груз, лежавший в трюмах. Штерн поднес ко рту свисток, помедлил и свистнул. Прибежал вахтенный.

— Передай Чоху,— приказал Штерн,— пусть проверит, как закреплен груз в трюмах. Надвигается шторм.

— Есть! — прокричал вахтенный и побежал, насвистывая, с трапа.

Когда Штерн спускался к себе, в трюмах сияли лампочки, забранные толстыми сетками, и Чох кричал:

— Аккуратнее, это вам не мыло!

Провозились до утра, но груз был закреплен талантливо, как умел крепить только Чох, когда бывал в хорошем настроении.

Чудак до поздней ночи играл на скрипке.

Мрак ударялся о пароходные фонари и бесшумно стекал за корму. Барометр падал скачками.

Чудак уснул с раскрытой на груди книгой. То был «Давид Копперфильд» Диккенса.

Чудаку приснилась старая Англия — желтые почтовые кареты, бледные девушки, клетчатые фраки стряпчих и стаканы с грогом, выпитым натощак...

В шесть часов утра сон неожиданно прервался. Книга свалилась на пол, и «Борей» покатился в пропасть.

Чудак проснулся и схватил пенсне. Он хотел видеть, что происходит, но не увидел ничего, кроме желтоватой тьмы и плаща, висевшего перпендикулярно к стене. Плащ хлопнул его по лицу. Из-под койки медленно выползло черное чудовище и пошло, шурша, бродить по каюте — то был старый кожаный чемодан.

Чудаку показалось, что «Борей» запрятан в исполинскую бутылку и в нее кто-то дует изо всех сил.

Чудак не сразу понял, что начался шторм. Вначале казалось, что «Борей» вертится, как щепка, под исполинским водопадом. Гвозди трещали в пересохшем дереве, железо взвизгивало, но хуже всего был ровный и внятный вой снаружи — там пели под ураганом снасти.

Чудак быстро и кое-как оделся. В кают-компании он

застал рассвет. Обстановка напоминала зимний день в лазарете: яичным пламенем горели забытые лампочки, а около окон, как лужи, расплывался неприятный свет.

Чудак открыл дверь и шагнул на палубу. Утро, зеленое и мутное, ревело и мчалось за бортом. Океан шел стеной. Плач снастей леденил сердце. Чудак ползком пробирался на мостик, но там было еще угрюмее. Оттуда было видно, как «Борей» кипит картофелиной в холодном котле.

Плащи Штерна и младшего помощника промокли насквозь. Штерн тускло улыбнулся чудаку и ткнул пальцем вниз. Чудак похолодел: жест означал, что «Борей» с минуты на минуту может пойти ко дну. Потом он понял, что его вежливо просят убраться в каюту. Он упрямо мотнул головой и остался на мостике.

Штерн больше не обращал на него внимания. Он смотрел вперед и часто дергал ручку машинного телеграфа. Горы воды, наматывая перед собой гигантские валы из пены, мчались на пароход. Одну минуту чудак был уверен, что «Борей» погибает. Пароход с треском ушел в воду, и несколько минут над взмыленным океаном торчали только его красная труба и мостик со Штерном. Потом «Борей» нехотя вылез из волн, и вода лилась с палубы, как из дырявых ведер. По неподвижной спине Штерна чудак понял, что момент был очень опасный.

Отрезвил чудака яростный крик вниз в рупор, показавшийся шепотом. Голос Штерна прохрипел:

— Чох, как в трюмах, как игрушки?

— Пока живем,— ответило эхо из медной трубы.

Штерн притянул чудака за шею и прокричал ему в ухо:

— Мы должны прорваться в Северный пролив!

Чудак закивал в ответ, но подумал, что ни о каком прорыве не может быть разговора. «Борей» дергался, как человек, которого во время самосуда то справа, то слева бьют по лицу.

Чудака поражало одно обстоятельство: пароход не прятал носа от ударов, а лез напролом на самые крутые волны. Это походило на храбрость отчаяния или на простое нахальство.

— Одиннадцать баллов!.. Слышите?.. Да... Ночью... Игрушки довезем... Вниз, вниз...

Растянутые губы означали улыбку.

Чудак сполз вниз. В кают-компании на диване лежал стюард. Он сокрушался, что придется есть всухомятку, так как камбуз не работает. Мысль о возможности еды

показалась чудаку нелепой. Слова стюарда он объяснил помешательством.

В три часа над палубой мрачно загудел гудок. Чудак прижался носом к ледяному окну и увидел ржавый пароход со вставшей на дыбы кормой. На мачте его извивались клочья флага. Пароход нырнул кормой в воду и исчез в дожде. Чудак, хотя и не был моряком, заметил одну странность: у «Борея» флаг был на корме, а у встречного парохода флаг висел на половине мачты. Чудак спросил об этом стюарда.

— Что же тут непонятного? — раздраженно ответил стюард.— Просят помощи.

Даже чудак понимал, что просить помощи по меньшей мере глупо. Встречный пароход захлестало пеной и унесло. Лишь изредка подскакивало на переломе волн его красное днище.

Чудак дрожал. Он потерял веру в прочность «Борея» и во всемогущество Штерна. Радист поймал два призыва о помощи. Океан походил на буйного сумасшедшего.

Шторм крепчал. Приближалась ночь, но мысль о сне даже не приходила в голову. Можно было только курить и ждать. Чего? Чудак прятался от мысли о возможной гибели, но в сумерки «Борей» стремительно лег на борт и понесся вниз. Тысячи тонн воды обрушились на палубу.

На мостике отчаянно засвистели. Побледневший стюард прокричал чудаку:

— Огибаем скалы Рокк! Наверх!

Чудак выскочил и отшатнулся: перед глазами ревела белая смерть. Он не заметил скал. Он видел только мощные гейзеры воды, взлетавшие высоко в небо. Обмирая от тошноты, он прополз на мостик. «Борей» стремительно падал с борта на борт, черпая воду. Он шел параллельно волнам.

— Что?.. Что?.. — крикнул чудак Штерну, но ветер пробкой закупорил рот и флейтой засвистел на зубах.

Штерн даже не посмотрел на него. Он не отрывал глаз от ослепительных белых гейзеров, особенно страшных оттого, что с востока мчалась непроглядная и угрюмая ночь.

Младший помощник вскинул на чудака усталые глаза, схватил за руку и написал пальцем на ладони:

«Огибаем Рокк».

Чудак понял, что наступило самое трудное.

«Борей» боролся из последних сил. Его несло мимо скал. Мутные волны были круты, как стены.

Чудак присел, вцепился в поручни и закрыл глаза. Неистовое желание оглохнуть и ослепнуть наполнило его торопливой тоской. Потом кто-то рванул его за плечи, он мгновенно промок и вскочил: под мостиком прошла, курчавясь, волна, и в ней килем вверх качалась сорванная с палубы шлюпка. «Борей» высоко вскинул нос и ринулся вниз, мимо последней скалы. Волны хлестали в корму. Машина мелко дрожала.

Штерн вытер лицо рукавом и сплюнул. Он тяжело повернулся к чудаку, стиснул его за локоть и повел в кают-компанию. Он молчал, а чудак не решался спрашивать.

— Ну, счастлив ваш груз,— выговорил наконец Штерн.— В такую погоду нельзя огибать Рокк. Все гибнут. Другого выхода не было. Через час мы будем за берегом.

Чудак спросил, зачем понадобилось огибать скалы. Он знал, что во время жестоких штормов пароходы идут против волны и ветра, пока погода не утихнет, и никогда не меняют курса, чтобы не подвергать себя смертельному риску.

— Если бы я вез груз соленых кишок,— прошипел Штерн,— я не менял бы курса. А теперь идите спать!

Чудак покорно пошел в каюту, переоделся и лег. Качка стала мерной и приятной.

Он согрелся и уснул.

Ему приснился город, мохнатый от снега. Снег падал густо и бесшумно, покрывая черепицы домов и мостики пароходов.

Запах приморской зимы был свеж, как весна,— его нельзя было забыть всю жизнь. В сумерках дрожали миллионы огней.

Штерн вышел на палубу в новом кителе с золотыми шевронами. Его чисто выбритое лицо казалось юношеским.

«Борей» торжественно гудел.

Зажгли громадные факелы, и началась выгрузка. От ящиков с игрушками шел запах краски.

Чудак сошел на берег и заблудился в мягких от снега переулках. Он встречал стариков, похожих на героев Жюля Верна. Он с наслаждением вдыхал крепкий дым их трубок.

Город был пропитан запахом старых кораблей. На бульварах румяные и смешливые няни рассказывали детям о «Борее». Он прорвался через шторм, страшный, как

кончина мира, и холодный, как ледяной компресс, чтобы привезти им игрушки. Глаза детей синели от восторга и непонятных слез.

Снег и пламя в каминах воскрешали чудесные времена из сказок Андерсена. Чудак увидел на снегу узкие следы Золушки. Снег под ее ступней растаял: у нее были очень теплые и маленькие ноги. Чудак пошел по следам. Они вели к «Борею».

Золушка стояла на корабле и говорила с Штерном. Штерн дружелюбно улыбался. Она повернулась к чудаку, и он отступил: лицо ее казалось созданным из блеска глаз и радости, на темных волосах белели снежинки, платье цвета морской воды играло разными красками от подымавшихся над городом ракет. Ракеты возвещали начало большого зимнего праздника.

Чудак проснулся. Было тихо. Он вышел на палубу и увидел в немом свете зари Бельфаст — старинный город с непогашенными огнями, закутанный в пуховый туман. Пахло осенней травой. «Борей», посапывая паром, качался и медленно кланялся городу.

1929

МОСКОВСКОЕ ЛЕТО

1

Был объявлен привал. Лыжи воткнули в снег. Солнце отражалось в их широких отгибах, как янтарный плод. Ветер вместе с тонкими облаками пролетал очень низко, над самыми елями. Тогда просеку заносило снегом, и солнце превращалось в сырое пятно.

Архитектор Гофман, прозванный за малый рост «карманным лыжником», оттирал лыжи рукавицей. Он добивался зеркального блеска. От сильного трения дерево согревалось, и блеск его переходил в запах лака и хвои.

Компас лежал на ладони у Лели. Его робкая стрелка долго дрожала. Компас растерялся в мелколесье и в пустошах, засыпанных снегом. Потом белым острием он твердо показал на юг, немного левее солнца. В этом направлении была Медвежья гора. Гофман проверил по карте. Среди выцветшего зеленого пятна, обозначавшего

леса, чернела надпись: «Сожженный французами монастырь». Компас вел верно.

За монастырем, над колючим от ельника оврагом на Медвежьей горе, стоял недостроенный дом отдыха «Пятый день». К нему можно было легко подойти с Брянской дороги, но лыжники шли с севера, из Голицына, сплошным лесом. Дом строил Гофман.

Из пятерых лыжников только один — очеркист Метт — шел с практической целью. Он хотел описать «Пятый день». Остальные шли ради снега и зимних лесов.

О «Пятом дне» Метт знал только из коротких заметок в газетах. Говорили, что известный французский архитектор считал проект Гофмана гениальным. Между аспирантами Коммунистической академии вокруг «Пятого дня» возникли споры. Сообщали, что дом — цилиндрический и почти весь построен из стекла. Гофман на расспросы Метта ответил коротко и не по существу: изругал новые московские дома, обозвал их «американской дрянью» и предложил Метту пойти в «Пятый день» на лыжах.

В вагоне дачного поезда Метт думал о «Пятом дне». Но в лесу он забыл о нем. Он дышал. Как будто весна прошла над снегами. Метт воткнул в наст палки и оглянулся,— снега распространяли чистый, острый запах. Так пахнет ветер, так пахнет лед, тающий во рту, так пахнет юность.

Мощные пласты океанского воздуха легли на подмосковную землю. Спичка в руках Метта, закурившего папиросу, долго не гасла. Пламя ее даже не колебалось от ветра.

Сзади с мерным шорохом надвигался Лузгин.

— Хо-хо! — кричал он, пугая зайцев и наезжая на лыжи Метта. Лузгину хотелось говорить, но Метт ничего не мог разобрать.

Он снял кожаный шлем и услышал наконец слова Лузгина, похожие на выкрики.

— ...Шесть часов утра... темно... шел к вокзалу, и передо мной выключали квартал за кварталом.

— Как выключали?

— Выключали фонари. Раз — и все кольцо бульваров проваливается в темноту! Раз — и тухнет вся Тверская от Садовой до Триумфальных ворот! Замечательно!

На кустах лежали маленькие снежные шапки. Леля остановилась, сняла перчатку и осторожно потрогала их холодными пальцами.

— Совсем как белые воробьи!

Муж Лели — репортер Данилов,— безмолвный и близорукий, всю дорогу отставал.

Лузгин считал заячьи следы. Зайцы, спасаясь от лыжников, путали сложные петли.

Низкое солнце светило сквозь замерзшие ветви. На снег, не тронутый ничем, даже ветром, легли прозрачные тени. Надо было пристально вглядываться, чтобы их заметить.

Темнело. Лес широко пошел вниз, к оврагу. Гофман обернулся и крикнул:

— Медвежья гора!

Остановились. За оврагом, как глыба старинного серебра, торжественно подымалась гора, заросшая кустарником.

Леля вскрикнула. Она первая увидела на горе «Пятый день». Над стеной прозрачных деревьев стояла луна. Она казалась розовым облаком, занесенным на головокружительную высоту.

2

Метт подумал, посмотрел, прищурившись, за окно, где звезды и снежные ветки создавали живописную зимнюю ночь, и с силой ударил по клавишам. Окоченевший рояль звучал глухо. Метт ударил второй раз, третий, и рояль запел наконец полным голосом:

> Красивое имя, высокая честь —
> Гренадская волость в Испании есть!

Когда налетал ветер, Метт морщился. Шум ветра проникал внутрь дома и заглушал мелодию. Он свободно входил и уходил через стены. Так бывает в комнатах с жалюзи. Порыв ветра наливает в них свежий воздух до самых краев, как воду в стакан, и табачный дым тянется вверх ровной струей.

Гофман дремал над остывшим стаканом чая. Когда Метт яростно бил по клавишам, он открывал глаза, с изумлением смотрел на Метта и засыпал снова. Леля спала рядом с ним, сидя за столом.

Данилов придвинул к самому носу керосиновую лампу и близоруко писал, перечитывая написанное одним глазом.

«Дом цилиндрический. Изогнутые окна из небьющегося стекла (без рам) занимают все стены. Комнаты полукруглые. Главный зал круглый. Стены очень тонкие и пропускают звук снаружи. В них устроены узкие прорезы, автоматически закрывающиеся планками из полированной сосны. Планки можно ставить под любым углом.

Три этажа соединены широкой винтовой лестницей из белого камня. Лестница идет около стен. Она неожиданно разрезает полы и потолки. Освещения еще нет. Все лампы будут из вольфрамового стекла, не задерживающего ультрафиолетовых лучей. Гофман уверяет, что в доме будет стоять вечное лето, климат Алжира. Зимой отдыхающие смогут загорать, как летом у моря.

Центр дома от основания до крыши прорезает круглая каменная колонна, похожая на мачту. Вообще, в доме есть нечто маячное. Гофман вырос на море. В молодости, по его словам, он даже плавал на шхунах, возивших херсонские вишни. В сторожа «Пятого дня» он взял на зиму комсомольца Гришина, демобилизованного из Балтийского флота.

Все же в доме есть что-то мертвое, от крематория. Он еще не обставлен и не совсем окончен.

Дом не огорожен. Он стоит в чаще деревьев, над оврагом. Внизу лес и замерзшая лесная речонка. Называется она очень странно — «Дарьинка».

Данилов написал «Дарьинка», «Даринка», «Дар»...— и уснул. Звезды пролетели за окнами, царапая их зеленоватым следом.

Метт играл все тише, перебирая клавиши, как струны.

Лузгин пошел вниз в кочегарку за спичками. Ему хотелось курить. Гришина не было — он уехал в Москву. Истопник Никифор сидел у котла и сушил мокрые валенки. Никифор был стар, глаза его слезились.

— Ну, как, отец, привык к этому дому? — спросил Лузгин.

Никифор подумал и заглянул внутрь валенка.

— Дом, конечно, кругловатый. Ветерком его разнообразно обдувает, нет никакого препятствия. Практическая вещь.

Никифор был убежден, что дома начинают разрушаться с углов. К дому он привык. Его занимало другое.

— Вот Гришин намедни,— сказал он, оживляясь,— по

зайцу из револьвера стрелял. Сроду этого не видывал, хоть я и сам охотник. Нешто можно из револьвера в зайца?

Лузгин сказал, что можно.

— Дом — одна красота! — вздохнул Никифор, как бы забыв о зайце.— Когда воздвигали этот дом, было приказано ни единого кустика круг его не сломать. Ты погляди — дорогу и ту провели узкую, чтобы лишний лес не рубить. А ране как было? Лес валили под корень десятинами, реки сушили, зверя истребляли. Зверь какой подался на Мещовск, а какой — на Ржев. Пустели леса. Прошлым разом приезжал Гофман, разговорились. «Мы, говорит, сделаем всю округу заказником, иначе какой людям отдых? Пускай все растет-цветет без помехи».

Лузгин вернулся наверх. Все уже спали. Леля свернулась на диване. Метт и Данилов спали на полу. Гофман торжественно лежал на походной кровати лицом вверх, как труп полководца. Острый его нос бросал гигантскую тень на стену.

Лузгин полюбовался тенью, потушил лампу и лег рядом с Меттом. Сны наплывали отдаленным гулом,— в нем слышались свистки паровозов, шум ветра над оврагами. Вздрогнул и тихо пропел рояль. Лузгин уснул.

Один Никифор бодрствовал в кочегарке, размышляя над высыхающими валенками.

Метт открыл глаза. Он чувствовал теплую свежесть, удивительно ясную голову,— он выспался. За окном валил снег. Метт его не видел. Он замечал только отдельные снежинки, отлетавшие от стекла.

— Прекрасно! — громко сказал Метт и закурил. Папиросой он осветил часы — было половина пятого.

— Что прекрасно? — спросил со своей койки Гофман. Он проснулся раньше Метта.

Метт промолчал.

— Я хочу написать об этом доме; вы будете рыдать от восторга перед самим собой. Такого очерка не удостоился ни один архитектор в мире. Устроим интервью.

— Черт с вами,— пробормотал Гофман.— Спрашивайте.

— Расскажите сами.

Гофман подумал.

— О доме, конечно, будут писать специалисты. Это важно для меня, но не нужно всем прочим. Я полагаю, что лучше всего «Пятый день» может описать только круглый невежда в архитектуре, такой, как, скажем, вы или Дани-

лов. Это будет похоже на мнение рядового читателя о литературной новинке.

— Спасибо,— сказал Метт.

— Города отжили свой век. Если вы, гражданин Метт, думаете, что это неверно, то Энгельс думал иначе. Каждому государственному строю присущи свои формы расселения людей. Социализму города не нужны. Города созданы человеческой ограниченностью, неумением распределять сырье, труд, продукты и культурные ценности. Все это сваливают в кучу и собирают вокруг миллионы людей.

— Слабо! Вы отрицаете коллективное начало.

— Радио, телефон, воздушные рейсы и передача изображений на расстояние позволят отказаться от необходимости собирать миллионы в одно место. Коллективы будут меньше числом — и все.

— Предположим.

— Что такое дом? Для человека это то же, что панцирь для черепахи или раковина для улитки. Он должен быть устроен так, чтобы облегчить и биологическую и психическую нашу жизнь, дать ей среду для расцвета. Дом должен быть рационален, строго соответствовать своему назначению и радовать глаз. Созерцание прекрасных вещей вызывает подъем творческого пастроения. Это — мощный фактор в деле социалистического строительства и создания полноценной личности.

— Это отрицают.

— Кто отрицает? Недоучки,— сердито сказал Гофман.— Кто сказал, что только идиот может не любить Пушкина?

Метт молчал.

— Вы шля-па, а не литератор. Не знаете даже этого! Из того, что я сказал, понятны все особенности «Пятого дня».

— Ни черта не понятно!

— Как не понятно! Я же сказал, что дом должен соответствовать своему назначению. Вы едете отдыхать не в Москву, а в лес. Так? Значит, дом отдыха должен быть неотделим от природы. Отсюда — форма. Нужны спокойные линии. Самая спокойная линия — круг, а не острый угол. Отсюда — закругленные комнаты. Стены пропускают звук, и вы морщились во время игры на рояле. Это сделано сознательно. Шум леса и ветра такой же хозяин внутри дома, как и снаружи. Вместо наружных стен — стекла. Вас будит не хлопанье парадных дверей, а восход солнца.

В стенах прорезы. Надо поставить планки под известным углом, весь дом наполняется воздухом, и вместе с тем в комнатах стоит полный штиль. Крыша разделена перегородками по румбам. На ней можно спать, спрятавшись от любого ветра. Потолки невысокие. Прорезы в стенах делают ненужными высокие потолки. Высота комнат должна соответствовать среднему росту людей, иначе комната делается противной, как тощий человек исполинского роста. Хватит?

— Пока хватит.

Метт долго смотрел за окна, надеясь заметить легкий налет синевы, что предвещает приближение утра, но ничего не дождался и уснул.

Как только начало светать, Лузгин разбудил Данилова. Обоим было нужно вернуться утром в Москву. Они вышли на лыжах в Апрелевку, на Брянскую дорогу. Ночь из черной стала синей, потом серой. Заиндевелые верхушки деревьев светились желтым огнем: за лесом взошло солнце.

От станций, от паровозов, от вагонов валил густой пар. Отчаянно кричали вороны. Махорочные, душные, обветренные поезда шли к Москве, продышавшей, как лесной зверь, темное пятно среди глухих и глубоких снегов. От Москвы тоже валил дым и пар, но московский дым был угрюм и величав. Это был как бы дым истории, революций, дым вечности. Так думал Данилов, склонный к поэтическим метафорам и слегка истеричный.

— Мне гофманский дом не понравился,— сказал он Лузгину в буфете Брянского вокзала, где они пили чай.— В каждой мелочи виден расчет. Нужна ли такая свирепая целесообразность?

— Вы что ж, только что родились? — угрюмо буркнул Лузгин.— Что вы чушь порете.

Данилов был настойчив.

— В каждом доме,— продолжал он,— должен быть некоторый запас бесполезных вещей. В каждом доме должна быть хотя бы одна ошибка.

— Зачем?

— Чтобы оживить его. Гладкая речь без ошибок — это дикая скука. Ошибка — признак жизни, безошибочность — омертвение. Гофманский дом мертв.

Лузгин пожал плечами.

— Разные бывают ошибки,— сказал он, надевая рюкзак.— Один татарин-нефтепромышленник выстроил в Баку

дворец. Архитектор ошибся и не сделал во дворце уборной. И по нужде гостям и хозяевам приходилось бегать во двор. Не думаю, чтобы они разделяли ваши взгляды.

Леля, Гофман и Метт вернулись в Москву вечером. В трамвае у Лели оторвали в давке пуговицу на шубке. Пассажиры теснили и мяли друг друга невыносимо. По Пятницкой катились, изрыгая проклятья, грузовики.

Данилова не было дома. На кухне гудели примусы. Леля села к столу и, медленно стаскивая с руки перчатку, заплакала... В ответ ей злорадно прогромыхал за окном разбитый и злой, как собака, трамвай.

3

Лузгин приехал на завод на два часа раньше начала занятий. Так уж повелось — он приезжал всегда раньше. На заводе он отдыхал. Он ходил по цехам, подолгу простаивал около станков, перекидывался шутками с рабочими.

Его злили разговоры о том, что заводы неживописны и не дают материала художникам. Даже сейчас сквозь мартовский глухой туман рваным пламенем дышали окна кузнечного цеха, фиолетовые нестерпимые звезды автогенных горелок гудели во дворе, в пустых цехах черные портальные краны высоко катились в голубом дыму электрического огня, свет преломлялся в толстых линзах предохранительных очков, стальные машины, сонно чавкая, резали тусклую золотую латунь.

Несмотря на надписи в сварочном цехе о том, чтобы не смотреть на пламя, очень тянуло смотреть на него. Оно вызывало воспоминание о никогда не виденном море, о чуть сиреневом дымящемся солнце, о городах, сыплющихся грудами фонарей в глухие приморские ночи, как сыпались в темноту искры взрезаемых с жестоким скрежетом тавровых балок. Около сварщиков Лузгин простаивал дольше всего.

Завод гудел день и ночь, но привыкший к гулу слух Лузгина замечал нараставший, все более высокий тон гула. Завод набирал скорость, перекрывая зимний прорыв. Завод жил спокойной спешкой, углубленными в работу ударными бригадами.

Бригады работали безмолвно, без криков, без зубоскальства. Это было совсем не похоже на то, что треску-

че писали в газетах об этом заводе шустрые юноши в вязаных жилетах. Они нагнетали в свои заметки много шуму и фамильярности по отношению к бригадам. Бригадам это не нравилось. В заметках проскакивал не производственный, не рабочий, слегка фанфаронский подход к делу, но бригады терпели,— пусть их пишут, мы свое делаем.

Лузгин репортеров ругал. Он пытался внушить им, что надо ясно, просто, без захлебывания и без паники писать о работе завода. Репортеры соглашались, но делали посвоему. Сегодня они восторженно сообщали: «Завод блестяще идет к ликвидации прорыва», а назавтра били в набат: «Сигнал тревоги. Завод не выполняет мартовских показателей. Недостаток плановости является решающим фактором в прорывах на заводе». И то и другое было одинаково преувеличено.

Лузгин пошел в красный уголок. Рабочие уже собрались. Почти все были из горячих цехов — сухие, перегоревшие от огня, с резкими бронзовыми профилями.

Лузгин тщательно готовился к докладам. Он выработал язык простой и законченный. Говорил он медленно, даже спотыкался, но после каждой остановки начинался абзац, раскрывавший тему с неожиданной стороны. Мыслил он образами и невольно строил доклад, подчиняясь им и развивая их до нужной выразительности.

На доклады Лузгина рабочие шли охотно.

Лузгин строго следил за составом слушателей. Больше всего его радовало присутствие стариков. Среди заводских работников господствовало убеждение, что стариков раскачать нельзя, что старики упрямы, как буйволы. Лузгин втайне ликовал,— стариков с каждым днем набиралось все больше.

На этот раз он делал доклад о событиях на Китайско-Восточной дороге. Он пересыпал его отрывками из писем красноармейцев, рассказал о Дальнем Востоке, где провел два года в Красной Армии, упомянул, между прочим, о знаменитом исследователе Уссурийского края Арсеньеве, посоветовал прочесть его книгу и привел отзыв о ней Горького.

Доклады Лузгина обрастали плотью быта, людьми, характерными подробностями, даже пейзажем. Лузгин заметил, что этот способ, лишавший тему ее абстрактности, создавал приподнятое настроение среди рабочих. Метод был верен, и Лузгин точно бил в цель.

4

Вечер приближался со всей пышностью, на какую способно московское лето. К пяти часам день приобрел мутный цвет плохо процеженного белого вина. Гофман лежал на диване и смотрел на кущи черных садов, готовых каждую минуту сорваться в светлую воду. Из окна были видны Воробьевы горы.

Он устал. Пришлось много спорить, быстро находить веские доводы, доказывать то, что, по мнению Гофмана, не нуждалось в доказательствах.

«Пятый день» был достроен и открыт, но кому-то понадобилось снова затеять бесцельный спор об этом доме. Спор шел в строительном комитете. Гофмана вызвали повесткой. В повестке было сказано: «Доклад тов. Иваницкого о нецелесообразности постройки домов отдыха типа «Пятого дня» — и в конце: «Ваша явка обязательна».

Гофман боялся публичных выступлений. Он не умел говорить. Маленький рост делал его в собственных глазах менее авторитетным. Его угнетали солидные инженеры в тонких английских костюмах, неторопливо изрекавшие скупые и как будто бесспорные истины. Его преследовали некоторые аспиранты из Института сооружений, придававшие постройке «Пятого дня» чуть ли не мировое, но отрицательное значение. Они обклеивали свою речь множеством «измов», и Гофман удивлялся: один «изм» цеплялся за другой с точностью зубчатой передачи. Всем своим существом Гофман знал, что они не правы, но доказать это не умел.

На совещании «Пятый день» уничтожили без остатка. Аспиранты говорили, что Гофман допустил много ошибок и проявил в своей постройке ненужный функционализм. Говорили, что дом построен, как машина: только из работающих частей, по-деляческн, по-американски,— иначе говоря, черство и рационально до скуки. Один из аспирантов назвал «Пятый день» силосной башней. Гофман взорвался и наговорил кучу резкостей. Он был глубоко уверен, что аспиранты приписывали ему то, с чем он сам боролся.

Инженеры слушали аспирантов почтительно, но рассеянно. По их мнению, гораздо важнее было то, что «Пятый день» обошелся дорого и взял много строительных материалов. Постройку таких домов инженеры считали расточительством. К ним присоединился и представитель РКИ.

— Видите ли, дорогой товарищ,— сказал в нос инженер Розенблит и зажал между колен скрипучий желтый портфель.— Видите ли, я одного не понимаю. Зимою ваши отдыхающие будут спать при открытых планках. Кажется, так? Другими словами, дом на ночь будет превращаться в решето. Вместе с тем необходимо, я полагаю, чтобы температура воздуха не падала ниже определенной нормы. Другими словами,— Розенблит поставил портфель на стол как границу между собой и Гофманом,— другими словами, в комнатах должен быть всегда свежий, но теплый воздух. Следовательно, надо топить. При условии решетчатых стен это равносильно тому, как если бы,— Розенблит встал и взял портфель под мышку, собираясь уходить,— как если бы мы начали отапливать Сокольническую рощу.

— Во-первых,— ответил Гофман,— при небольших морозах топку можно на ночь прекращать,— больные спят в мешках. При сильных морозах топить нужно, но планки будут периодически закрываться, а в открытом состоянии их будут регулировать таким образом, чтобы не спускать температуру ниже известного предела.

Розенблит коротко рассмеялся и вышел. В соседней комнате он громко сказал кому-то:

— У меня сегодня масса дел и нет охоты слушать пустые разговорчики.

Теперь, лежа на диване, Гофман вспоминал Розенблита, краснел и бормотал:

— Идиот. Спесивый дурак!

Один только человек в сапогах и новом твердом пиджаке, все время что-то записывавший, поддержал Гофмана.

— Если материалов мало,— сказал он,— так это не значит, что мы должны строить дрянь. Можно построить дом и на большой палец. Я в этом доме жил и отдохнул, как в Крыму не отдыхал. Дом замечательный. Это надо сказать твердо.

— Вы от какой организации? — спросил его председатель.

— Да я рабкор из «Рабочей Москвы», отчет буду давать.

Решение было вынесено неясное — признать вопрос о постройке домов отдыха типа «Пятого дня» открытым.

— Вы открывайте, а мы закроем,— сказал рабкор, собрал свои листки и ушел.

Загадочная его фраза вызвала у инженеров натянутые улыбки.

День заседания в строительном комитете был последним днем Гофмана в Москве. Завтра он уезжал, вернее — улетал в отпуск. Летел он до Харькова, а оттуда собирался проехать к себе на родину — в маленький порт Скадовск на берегу Каркенитского залива.

Вещи были уложены, и делать было нечего. Гофман решил идти домой на Усачевку пешком. Он миновал тесное азиатское Зарядье и вышел к реке. Над синей от бензинного чада водой носились чайки. Из черного горла могэсовских труб валил жирный дым. У Каменного моста старики удили рыбу в зеленой сорной воде. В ней плавал розовый Кремль. Отражение было сказочным, но старики равнодушно сплевывали на него и одобрительно вдыхали гнилую прохладу, сочившуюся из-под арок моста.

Гофман свернул на Пречистенку. В этом районе Москвы солнечный свет был свободен от пыли. Дворники поливали мостовые. Серый асфальт превращался в черные блестящие пруды. Пруды эти пахли дождем.

— Жара! — Гофман вспомнил, что в жару полеты неприятны, бывает много воздушных ям.

Над пустынной Усачевкой мальчишки гоняли голубей. Дома Гофман лег, долго вспоминал заседание, потом у него под закрытыми веками забегали красные и фиолетовые пятна, и он уснул.

Разбудил его грохот в дверь. Леля и Метт пришли прощаться. За стеной смеялась Леля. Тончайшая рябь облаков чешуей золотела над городом.

Метт улыбался глазами. Смеяться он не умел. Леля в необыкновенном платье — коротком, тонком и блестящем — то хохотала, то внезапно задумывалась и неподвижно глядела перед собой. Гофман всматривался в нее. Ее зрачки были неестественно расширены, и на белках загорались искры — отражение вечера, полного жары и света. Так по белому борту парохода перебегает блеск волны.

В комнате было душно. Пошли к реке.

— Друзья,— сказал Гофман,— если бы можно было нам вместе поехать к морю. Как было бы чудесно!

Случайное соединение нескольких мелких фактов нередко вызывало у Гофмана взрыв фантазии. Достаточно было ленивого летнего дня, короткого, но крепкого сна,

чтобы началось то состояние, какое Гофман переживал сейчас. Он называл его «сухим опьянением».

Он неясно представил шум акаций в темноте, плеск моря, пески, степи, откуда дует суховей.

— Как было бы чудесно! — повторил он с сожалением.

— У всех отпуска в разное время,— пожаловалась Леля.— По-идиотски устроено.

Метт занялся подсчетом.

— Двести восемьдесят один день в году,— сказал он точно,— вы сидите в грязных комнатах. Мы еще не научились культурно работать. К концу занятий воздух зеленеет от дыма.

— Ужасно! — ответила Леля.

Гофман не выносил жалоб. Припадок «сухого опьянения» сменился раздражением.

— Дурость,— сказал он.— Вы — умный человек, Метт, но ум у вас с гнильцой. Вы решили, что скептицизм спасет вас от действительности. Вы живете в ней, как инфузория в питательной среде. В глубине души вы сами знаете, что это неверный подход к окружающему, но вы лентяй и чувственный тип и потому плывете по течению.

— Весьма интересно,— сказал язвительно Метт.— Продолжайте, прошу вас.

— Вы идете по линии наименьшего сопротивления и руководствуетесь своими чувствами, а не разумом. Конечно, это легко.

— Об этом вы бубните мне каждый день,— спокойно ответил Метт.

— Заставьте себя подумать. Представьте такое положение — мы окружены не врагами, а друзьями. Нас не травят, не ощетиниваются против нас штыками. Представьте себе победу советского строя если не во всем мире, то хотя бы в Европе. Вы первый заключите договоры с издательствами и ринетесь в Турцию, в Грецию, в Италию. Вы будете писать великолепные книги, и ваша жизнь приобретет небывалую полноту. Вы помолодеете на десять лет. Тогда, я надеюсь, вы поймете, что значат слова «культурная революция». Вы будете одним из ее борцов. Ее ценности будут жить внутри вас, как весь комплекс ваших мыслей и настроений. Не думайте, что это будет сладкое идиллическое время. Тогда тоже будут умирать и бороться — в экспедициях, в лабораториях — всюду, где существует живая человеческая мысль.

— Это неясно, но довольно привлекательно,— сказал Метт.

— Что такое пятилетка? — спросил Гофман.— Величайшее напряжение, чтобы приблизить будущее не теми сонными темпами, какими идет биологическая жизнь, а теми темпами, которые нужны нам, живым людям, не рассчитывающим жить двести лет. Пятилетка — это героическое нетерпение, вогнанное в рамки цифр. В этом ее смысл и ее необыкновенность, молодой человек.

Метт молчал.

— Согласились бы вы сейчас уехать навсегда из СССР? — спросил Гофман.

Метт перестал улыбаться.

— Никогда,— ответил он резко.

— Чего же вы валяете дурака?

Леля засмеялась.

Они вышли к реке у моста Окружной дороги. Прозрачные сумерки отражались в ней зеленым цветом. Гофман взял лодку.

С поднятых весел стекала лиловая ртуть. Каждую каплю пропитывал поток огней, сиявших из Парка культуры и отдыха. Вода засыпала под глухими тяжелыми липами.

Гофман довез Лелю и Метта почти до Болота. Здесь они распрощались. Отъехав на середину, Гофман смотрел, как Леля медленно шла вдоль набережной. Метт остановился закурить и отстал.

— Эх, друзья мои! — сказал Гофман, повернул лодку и короткими рывками погнал ее к шумной темноте Нескучного сада.

5

В июле умер отец Лузгина. Старик умер внезапно от разрыва сердца.

На следующий день Лузгин отправил тело в крематорий, а сам поехал автобусом. В крематории никого, кроме Лузгина, не было. Осторожно ходил очень вежливый человек в халате, и басом рыдал орган.

Лузгин испытал облегчение. Со смертью старика прошлое ушло, его можно было навсегда убрать из памяти.

От Донского монастыря Лузгин прошел на Калужскую улицу. В поясе садов и больниц она простиралась к Воробьевым горам. Было четыре часа. Засуха достигла

той степени, когда перегорают краски. Листва па деревьях, дома и даже небо выцвели до серого цвета. Корпуса Нефтяного института побелели, как бы покрывшись солью.

Лузгин знал, что в Нефтяном институте работала машинисткой Леля. Он вошел во двор, похожий на плац для военных учений, открыл дверь, и прохладная светлая тишина бетонных залов и переходов подействовала на него, как внезапный душ.

Ему указали комнату. Он вошел — за окном тлело пестрое Замоскворечье. Леля писала под диктовку. Она вскочила, пододвинула Лузгину стул и попросила подождать — ей осталось дописать страницу.

Незаметный человек в сером мосторговском костюме глухо и сбивчиво, стесняясь Лузгина, диктовал доклад об омоложении нефтяных участков на Грозненских промыслах.

Леля писала порывисто, сжав губы. Машинка трещала в такт ее сбивчивым мыслям:

«Зачем он пришел?.. вот неожиданно... как хорошо всетаки, что он пришел... стыдно,— я при нем жаловалась на свою работу, а сегодня здесь хорошо, как никогда,— светло, чисто, Мятликов диктует интересный доклад.. знает ли он, что Гофман улетел в Харьков... он пришел не зря... зря так далеко не ходят... почему я волнуюсь... почему, почему, почему?..»

Леля не успела мысленно ответить на этот вопрос. Мятликов сказал: «Всё»,— и, скромно подождав, пока Леля вынет готовый лист, взял доклад и, попрощавшись, торопливо вышел. Он боялся хотя бы лишнюю минуту задержать Лелю и помешать ей. Мягкость и догадливость ученых в делах, далеких от нефти, крекингов, легких и тяжелых масел, удивляла Лелю. Она много думала об этом, но не нашла объяснения. Оставалось предположить, что в научных книгах среди непонятных формул и интегралов самозарождались крохотные бактерии уважения к человеку, внедрялись в сознание ученых и жили в нем скромной жизнью.

— Ну что, что? — торопливо сказала Леля, подойдя к Лузгину.— Как вы нашли меня здесь? Как вовремя вы пришли. Я сегодня с утра сама не своя — так гадко на душе, будто во всей Москве я одна.

Лузгин понял, что Леля относится к его приходу, как к перелому в своей жизни. Зашел он случайно, но, слушая Лелю, понял, что некое, незаметное ему самому,

решение встретить ее жило в нем еще со времени лыжной вылазки на Медвежью гору. Встреча эта приближалась, как туча,— в беспокойном шорохе листвы, во внезапных порывах ветра, в неясности настроения,— хотелось шуметь от возбуждения и легкого страха.

— Я здесь был недалеко по делу,— сказал Лузгин и покраснел. Какого сорта было «дело», он не сказал. Он понимал, что сейчас это невозможно. Леля даже не услышит слов о смерти, они не дойдут до ее сознания. Их заглушит гроза, шумящая в ней самой, их скомкает и отшвырнет ее внезапное смятение.

Ей надо было услышать совсем иное, и Лузгин промолвил:

— Я за вами. Пойдемте на реку.

— Да, идем? — радостно спросила Леля, как будто ждала этого очень давно. В ее глазах Лузгин уловил широкий напряженный блеск, который недавно поразил Гофмана.— Будет дождь, вы не боитесь?

— Наоборот. В дождь на реке хорошо. У вас есть плащ?

— Есть,— глубоко вздохнула Леля.— Я сейчас.

Пока она надевала шляпу, Лузгин заглянул в окно. Из Дорогомилова тянуло гарью. Дым паровозов подымался к небу белыми зловещими столбами — за Брянским вокзалом, сквозь пыль и грохот предместий, прорастала исполинская синяя туча.

Через Нескучный сад они сбежали к реке и зашли пообедать в павильон у пруда. Приближение грозы распугало гуляющих — в парке было пусто.

Леля ничего не ела. Она рассказала Лузгину о сегодняшнем утре.

Утром у нее была ссора с Даниловым.

Данилов, вытираясь полотенцем, сказал:

— Ты знаешь, я напечатал заметку о «Пятом дне».

— Ну и что же?

Леля с прошлого вечера была раздражена,— кончался июль, а она ни разу не была за городом. Лето изнывало на мостовых и в комнатах с застоявшимся воздухом.

— Ничего особенного. После этой заметки назначили комиссию, чтобы выяснить, стоит ли вообще строить такие дома.

— Слышала. Что написал, покажи!

Данилов протянул газету. Леля быстро нашла заметку, прочла и сухо рассмеялась. Данилов писал о том, что

«Пятый день» — образчик формальных исканий, совершенно чуждых пролетариату, и что дома такого типа строить сейчас, когда строительные материалы нужны для промышленности,— преступное разбазаривание ресурсов.

— Куцые мозги! — Леля швырнула газету на стол.— Всю жизнь ты мелко плавал и так и умрешь мелюзгой. Как тебе верят в редакции, не знаю. Чудесное здание, в нем схвачено будущее, в нем — талант, мысль,— и такая паршивенькая заметка.

— Нам такие дома не нужны,— ледяным голосом ответил Данилов.

— Кому это нам, кому это нам? — закричала Леля.— Маменькиным сынкам, сыновьям маклаков? (Отец Данилова был торговцем.) Как ты смеешь так говорить! Ты злишься на талантливых людей. Мне противно, понимаешь, противно слушать тебя. Уходи! — Леля сломала карандаш и швырнула его в угол.— Уходи сейчас же, я не хочу тебя видеть! Как я теперь буду смотреть в глаза Гофману, Метту, всем?

— Истеричка! — Данилов начал торопливо завязывать галстук.— Вздорная сумасшедшая баба! Твой Гофман хвастун и халтурщик. Об этом говорят все, ты одна ни черта не видишь.

— Я сказала тебе — уходи!

Данилов ушел, хлопнув дверью. Леля упала на диван и разрыдалась. На службу она опоздала. Аспиранты, увидев ее заплаканные глаза, тотчас ушли в соседнюю комнату, а один из них принес ей невзначай апельсин из буфета. Леля взглянула на него, улыбнулась, и слезы быстро закапали на клавиши ундервуда. Аспирант моментально скрылся.

Лузгин слушал Лелю, краснел и покашливал. Потом, решившись, сказал:

— Да, он мелковат. Все дело в том, что невыносимо слышать, как бездарность (Лузгин спохватился, но слово уже сорвалось, и потому он его повторил), как бездарность клевещет на таких свежих людей, как Гофман. Он чудак, конечно, Гофман, но такие чудаки нужны нам. Их нельзя променять на самых трезвых людей.

На реке было пустынно. Над слепой свинцовой водой порывами взлетал жаркий ветер. Сады волновались и тревожно переговаривались пыльной листвой. Лузгин быстро греб. Он хотел до дождя попасть к Ноевскому саду. Уже были видны вывески на берегу: «Якорей не бро-

сать — сифон водопровода», когда над Хамовниками облаком вздуло желтую пыль.

— Не успеем,— сказала Леля.

Железная рябь пронеслась от берега к берегу, и пыль, смешанная с листьями, ослепила Лузгина. Он повернул лодку к берегу и увидел посреди реки водяную стену, с шумом налетавшую на Лелю. Обрушился дождь, и тотчас же они услышали дикий запах мокрой травы и речного песка.

Лодка ударилась о берег. Лузгин выскочил, потянул ее. Леля выпрыгнула, с силой оттолкнувшись от его плеча.

— Наверх! — скомандовал Лузгин, яростно вытаскивая застрявшие в уключинах весла.

Леля побежала по сгнившей деревянной лестнице. Лузгин с тяжелыми мокрыми веслами на плече прыгал за нею через ступеньки. Наверху стояла заколоченная дача. Издали Лузгин увидел крытую террасу, защищенную от дождя.

Леля, смеясь, взбежала на террасу. К ее туфлям прилипли сбитые дождем блестящие листья лип.

Ливень глухо гудел, плотным полотном застилая реку. Жидким огнем сверкнула молния, рявкнул гром, и ливень полил еще гуще.

Лузгин улыбался, сам не зная чему, и стряхивал с лица крупные брызги. Дождь наступал. Он начал захлестывать террасу и вытеснил Лелю и Лузгина в угол — единственное место, куда он не мог достать. Обрадовавшись сырости, в зарослях крапивы под полом террасы запели комары.

Леля и Лузгин тесно стояли рядом.

— Леля,— сказал Лузгин,— вы знаете, что сейчас творится вот здесь,— он показал на свой лоб.

— Да,— тихо ответила Леля,— а впереди еще много, много... Такая тревога, мы совсем не можем говорить. Ни о чем нельзя говорить, когда это приходит.

Она слегка подчеркнула слово «это».

— Как неверно,— продолжала она, засмеявшись,— как глупо думают, что любить — это значит одного человека, что вокруг него вертится весь мир. Совсем это не так, не так! Это не один человек, это — всё! Ну всё, понимаете, всё! Представьте, вот гроза, мокрые листья, вы, гофманский дом, дружба, споры, ну всё, всё это — любовь, а не один человек.

— Да, это так,— ответил Лузгин.

Он слышал ровное гудение дождя в терпких зарослях крапивы и быстрые удары Лелиного сердца рядом с собой.

— Есть вещи незабываемые,— сказал он.— Мы прекрасно знаем, что нет ничего вечного, но есть вещи незабываемые. Они существуют вне всякой зависимости от того, что может случиться с нами потом.

В Москву они вернулись поздно. Дождь прошел, но ветер налетал порывами до самого утра. Москва шумела листвой. Брызги залетали с веток в открытые окна трамваев.

Ночью Леля не спала. Данилова не было дома — взбешенный, он уехал на дачу к приятелю. Два раза поздней ночью Леля тихо вызывала по телефону Лузгина, и ей тотчас же отвечал из трубки его мягкий и глухой голос. Леля бранила себя дурой и смахивала слезинки, слушая, как он шутил и смеялся.

Окна были открыты. Суровый ночной воздух проникал в них. Со стороны Кремля долетал величавый бой башенных часов. Раньше Леля не замечала этого звона.

6

Метт получил письмо, написанное дрожащим старческим почерком. Письмо было датировано 10 августа.

«Мой сын, Виктор Борисович Гофман, несколько раз упоминал вашу фамилию, называя своим другом. В его записной книжке я нашел ваш адрес. Поэтому считаю тяжелым своим долгом сообщить вам ужасную весть — Витя утонул 2 августа.

Детей из здешнего детского сада,— сообщал почерк, и дрожание его усиливалось,— повезли на моторном катере на прогулку на остров в трех километрах от Скадовска. К шести часам катер должен был возвратиться, но в три часа налетел ураган с ливнем, развело зыбь, и о возвращении детей не могло быть и речи. В городишке нашем началось волнение, ибо дети были отправлены в легких платьицах и, естественно, могли простудиться. Кроме того, им приходилось заночевать на острове, где нет никакого жилья, кроме дырявого сарая для сетей. К вечеру шторм дошел до семи баллов.

Рыбак Ковальченко и Витя вызвались на парусной шлюпке доставить на остров теплую одежду для детей и

провизию. В управлении порта был взят брезент, чтобы соорудить на острове подобие палатки.

Мой Витя — человек, привыкший к морю, и потому я его отпустил, не очень опасаясь за последствия.

По рассказам Ковальченко, они благополучно прошли пролив, ориентируясь на скадовские огни, но при подходе к острову попали в сильный накат волн. Витя и Ковальченко соскочили в воду, чтобы подтянуть шлюпку. Волна опрокинула Витю, он упал и, очевидно, волна ударила его с большой силой головой о киль шлюпки или килем его прижало ко дну — понять трудно, но он исчез. Только через десять минут Ковальченко разыскал его тело в прибое. Вернуть к жизни его не удалось.

Хоронили его в Скадовске. На похороны собрался весь город. Его очень любили здесь, особенно рыбаки, и даже гордились им, как своим земляком, читая в газетах о его прекрасных постройках.

Остался у меня еще один сын в Ташкенте, но тому далеко до этого. О том, что я сейчас чувствую, как проходят дни — писать не буду, ибо знаю, что трудно понять стариковское горе. Если будет желание и случай побывать в Скадовске — обрадуете меня очень. Живу я небогато, как и пристало отставному смотрителю порта, но, думаю, не взыщете.

Уважающий вас *Б. Гофман*».

— Что за шутки! — Метт криво улыбнулся.

Он подошел к окну, боязливо развернул письмо и прочел его вторично. Испарина выступила у него на лбу.

— Как же так? — хрипло сказал он, надел шляпу и вышел на Остоженку.— Как же так? — повторял он, наталкиваясь на прохожих.

Он остановился и долго смотрел на розовую афишу. Издалека могло показаться, что Метт ее внимательно читает. Но он не читал, он прислушивался: внутри у него натягивалась, звеня и вздрагивая, стальная струна. От этого сильно болело сердце. Метт ждал, что струна вот-вот лопнет и вместе с нею разорвется сердце.

Струна перестала дрожать. Она напряглась и тянула сердце к горлу. Метт вздрогнул и слегка вскрикнул — струна лопнула, но сердце не разорвалось. Оно забилось радостно и быстро, и Метт, пошатываясь, отошел от афиши.

«Надо к Лузгину»,— решил он. Он вспомнил, что у Лузгина сегодня выходной день. Где он может быть? Ко-

нечно, на реке. Тогда Метт как бы увидел афишу, перед которой стоял, отпечатанную гигантскими белыми буквами на синем и свежем небе. Буквы сложились в слова:

«Водная станция «Динамо».

«14 августа гребные состязания Ленинград — Москва».

Метт свернул к Крымскому мосту, на станцию «Динамо». Пестрота, флаги, плеск воды, блеск неба и гомон пловцов несколько его успокоили. На вышке он увидел Лузгина в синих плавках. Лузгин вскрикнул, полетел с вышки, изогнувшись дугой, и поплыл брассом, отплевываясь и разбивая головой воду.

Метт спустился на плот и окликнул Лузгина.

— Старик, раздевайтесь! — прокричал Лузгин, подплывая, но потом нахмурился, вылез и, отряхиваясь, подошел к Метту.

— Неладный вид у вас,— сказал он строго.

— Вот, получил письмо...— ответил Метт, не глядя на Лузгина.— Гофман, оказывается, утонул.

— Бросьте!

— Вот письмо.

Лузгин письма не взял — у него были мокрые руки.

— Черт знает,— промолвил он,— какая чепуха.

Метт рассказывал о гофманской смерти, Лузгин слушал его, одеваясь.

— Что ж,— сказал он, помолчав,— тяжело. Но не в этом, конечно, дело. Надо жить. Пойдемте, выпейте черного кофе, успокойтесь.

На легкой террасе, похожей на палубу парохода, хохотали девушки в купальных костюмах и спорили гребцы с нашитыми на груди номерами. Лузгин и Метт сели у барьера. Метт молчал и смотрел вниз, на лодочную пристань. Голый мальчишка бегал по ней, радостно шлепая по горячим доскам мокрыми ногами. Метт с зоркостью, какая приходит во время резкой смены обстановки, рассматривал загорелые руки, синие от неба скатерти, слушал восторженный визг детей.

— Когда гонки? — спросил Метт.

— Не скоро. Сейчас только десять часов.

Метт удивился. Ему казалось, что было гораздо позже.

— Я сейчас еду к Леле.— Лузгин смутился.— Она на отдыхе в «Пятом дне». Придется ей сказать.

Метт кивнул головой.

— Да,— продолжал он,— умер великий отгадчик. Ну что ж, вы правы, продолжаем жить.

Они расстались. Метт остался посмотреть гонки, а Лузгин поехал на Брянский вокзал.

Приезжать в «Пятый день» было неудобно, и Лузгин условился с Лелей встретиться на дороге в лесу, около межевого столба.

Лето стояло жаркое. Над порубками и высохшими болотами висела гарь. Дороги пахли пылью и дегтем. В лесу уже желтели березы. Чтобы сократить путь, Лузгин пошел прямо через порубку.

В лесу среди желтеющих берез он увидел Лелю. Она шла ему навстречу. Тени бежали по ее лицу и легкому шуршащему платью. Она приближалась стремительно. Зной схлынул. Леля несла с собой свежесть, неясную радость, дыхание осени, просторы, тревогу их недавней любви. Она шла как бы из тех стран, где тлели облака.

Лузгин остановился, пораженный.

— Ну вот.— Леля быстро подошла и легко сжала руки Лузгина.

— Леля,— сказал поспешно Лузгин,— Гофман...

— Да, я знаю,— Леля спокойно взглянула ему в глаза.— Он умер. Я получила открытку от его отца. Ну что ж. После его смерти я не могу избавиться от очень легких мыслей — не понимаю почему. Он хорошо умер. Он научил меня не бояться жизни.

Лузгин, слушая ее, смотрел на облака. Ему казалось, что за мглой дыма он различает огромную страну, откуда пришла сейчас Леля,— страну, прозрачную от воздуха и солнечного блеска. Таким, должно быть, представляли себе золотой век наши дикие и мечтательные предки.

Москва, 1931

МЕДНЫЕ ДОСКИ

Берг раздул костер. Глухая ночь стояла над лесным краем. Слепые зарницы в беспамятстве падали в озеро. Воздух крепко настаивался в чащах на золотом листе, и от него кружилась голова.

Комсомолец Леня Рыжов — в просторечье Ленька Рыжий — проснулся и прислушался.

На болотах кричали утки и журавли, в озере плескала рыба.

На рассвете напились чаю и пошли на мшары искать глухарей. Глухари паслись на бруснике. Синяя заря поднималась к зениту, и Бергу было почему-то жаль ночи, костра, диких запахов сырой осенней листвы и блеска зарниц, отражавшихся в черном озере.

Идти было скучно. Берг сказал:

— Ты бы, Леня, рассказал чего-нибудь повеселей.

— Чего рассказывать? — ответил Леня.— Вот разве про старушек, про ваших хозяек, есть один факт. Старушки эти — дочери знаменитейшего художника Пожалостина. Академик он был, а вышел из наших пастушат, из сопливых. Его гравюры висят в музеях в Париже, Лондоне и у нас в Рязани. Небось видели?

Берг вспомнил прекрасные гравюры на стенах своей комнаты, чуть пожелтевшие от времени.

Он поселился в Заборье, глухой деревушке, у двух хлопотливых старух. Берг принял их за бывших учительниц. Они не спали по ночам — сторожили одичалый яблочный сад, охали, побаивались Берга, робко жаловались на несправедливости сельсовета. В комнатах их пахло сухой мятой.

Только теперь Берг вспомнил первое, очень странное ощущение от гравюр. То были портреты старомодных людей, и Берг никак не мог избавиться от их взглядов. Когда он чистил ружье или писал, толпа дам и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на него со стен с глубоким вниманием. Берг подымал голову, встречался с глазами Полонского и Достоевского, поворачивался к ним спиной — и продолжал чистить ружье, но почему-то переставал насвистывать.

— Ну,— спросил Берг,— что было дальше?

— А дальше вышла такая чертовщина. Приходит в сельсовет кузнец Егор. Видели, должно быть, тощий такой мужичонка,— на чем только портки держатся! — и требует меди. «Нечем, говорит, чинить что требуется, значит, для народонаселения. Давай, говорит, снимать колокола со святого Спаса».

И встревает в это дело Федосья, баба из Пустыни, страшная верещунья и стерва: «Колокола, говорит, отбираете, а у Пожалостина в доме старухи так по медным дос-

кам и ходют,— сама видела. И чтой-то на тех досках нацарапано,— не пойму и чегой-то они их прячут и не сдают в лом советскому правительству,— тоже не пойму».

Председатель говорит мне: «Вали, Лешка, до старух, отбери. Им эти доски без надобности».

Я пришел, сказал, значит, в чем дело. Застал я одну только старушку — горбатенькую. Посмотрела она на меня, заплакала и говорит: «Что вы, молодой человек! Разве можно медные доски трогать? Это, говорит, народная ценность, я их ни за что не отдам».

Я попросил: «Покажите, говорю, подумаем, что делать». Она выносит мне доски, завернутые в чистый рушник. Я взглянул и замер. Мать честная, до чего тонкая работа, до чего твердо вырезано. Особенно портрет Пугачева,— глядеть долго нельзя: кажется, с ним самим разговариваешь.

Подумал я и говорю старушке: «Доски эти держать у вас в доме никак нельзя. Это государственная ценность, а тут может прийти любой,— то кузнец Егор, то Федосья, то черт да дьявол,— и пойдут эти замечательные портреты на гвозди для подметок. Надо их сдать в музей».

Старушка уперлась, даже дрожит вся. «Не дам, говорит, и в музей. До нашей смерти пусть тут остаются, а потом делайте, что хотите».

Я вернулся, говорю Степану, председателю сельсовета, что надо, мол, эти доски сдать в Рязанский музей.

«Ни черта подобного, говорит,— ты не хочешь, так другие сделают». И посылает за досками Егора с официальной бумагой. «Так? — думаю.— Ну ладно!» Бегу к старушкам, поспел раньше Егора, говорю:

«Давайте мне доски на сохранение, иначе Егор их переплавит. Председатель у нас корявый, таких дел не понимает».

Старушки перепугались, отдали мне доски: я спрятал. Егор пришел ко мне, обыск хотел сделать. Я, прямо скажу, ударил его, выгнал из избы, а доски отправил в Рязань, в музей. После этого только и успокоился.

Ну, значит, созвали собрание,— судить меня за это дело. Я вышел и говорю: «Поступил я правильно, а Егора, верно, ударил сгоряча. Про гравюры мы толковать не будем,— не вы, а дети ваши поймут их ценность, а остановимся на почтении к труду. Человек вышел из пастухов, десятки лет учился на черном хлебе и спитом чаю, в каж-

дую доску столько труда вложено, бессонных ночей, мучений человеческих, таланта...»

— Таланта! — повторил Леня громче и задумался.— Это понимать надо! Это беречь и ценить надо! Как же можно достигнуть новой жизни без таланта? Ну, одним словом, вины я своей не признал, хватил горя порядком, но одного добился,— Степана вывели из сельсовета: дело только позорил.

Леня остановился. Сквозь мелкий осинник, осыпавший лимонную листву, в полном переполохе спасался глухарь. Он пробирался сквозь чащу и шумел, как медведь.

— Ну, черт с ним! — сказал Леня.— Меня занимает ваше мнение: прав был я или нет?

— О чем спрашиваешь? — ответил Берг.— Дело ясное.

Он посмотрел на Леню и улыбнулся. Ветер нес сухие листья берез и засыпал ими дальнее озеро. Осень дышала запахами лесов, холодной воды, свежести. Леня нагнулся, понюхал старый мшистый пень и засмеялся:

— Чистый йод! — сказал он и вскинул ружье.— Пошли дальше!

Солотча, 1932 г.

СОРАНГ

Экспедиция капитана Скотта к Южному полюсу погибла в страшных буранах, разразившихся в Антарктике весной 1911 года.

Шесть человек вышли к полюсу на лыжах от ледяной стены Росса.

Шли больше месяца. До полюса дошло пять человек. Один сорвался в расщелину и умер от сотрясения мозга.

Вблизи полюса Скотт, шедший впереди, внезапно остановился: на снегу что-то чернело. То была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец опередил англичан.

Скотт понял, что это конец, что после этого им не осилить обратного пути в тысячу километров, не протащить по обледенелым снегам окровавленных ног. Тогда всем поровну был роздан яд.

На обратном пути заболел молчаливый шотландец, лейтенант Отс. У него начиналась гангрена обеих ног. Каждый шаг вызывал острую боль, сукровица сочилась сквозь потертые оленьи сапоги и застывала на лыжах каплями

воска. Отс знал, что он задерживает экспедицию, что из-за него могут погибнуть все. И он нашел выход.

В дневнике Скотта, найденном вместе с четырьмя трупами год спустя после экспедиции, об этом говорится так:

«Одиннадцатого марта

За последние сутки мы сделали всего три мили. Несмотря на нечеловеческую боль, Отс не отставал от нас, но мы шли гораздо тише, чем могли бы. Вчера он попросил оставить его в спальном мешке на снегу, но мы не могли этого сделать и уговорили его идти дальше. До последнего дня он не терял, не позволял себе терять надежду. К ночи мы остановились. Отс дал мне записку и просил передать родным, если мы останемся в живых. Потом он встал и сказал, глядя мне в глаза: «Я пойду. Должно быть, вернусь не скоро». Мы молчали. Отс вышел из палатки и ушел в метель. Он проваливался в снег и пачкал его кровью. Было два часа ночи. Он не вернулся. Он поступил, как благородный человек».

Перед дневником капитана Скотта вся литература кажется праздной болтовней — перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики.

В конце дневника Скотт написал дрожащими буквами:

«Я обращаюсь ко всему человечеству. Оно должно знать, что мы рисковали, рисковали сознательно, но нам во всем была неудача. Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие вещи о высоком мужестве и простом величии моих товарищей, что они потрясали бы каждого человека. Мы гибнем, но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких».

Скотт ошибся: Англия не позаботилась о его близких.

Записка лейтенанта Отса на имя Анны О'Нейль попала в руки русского матроса Василия Седых, участника экспедиции, нашедшей трупы Скотта и троих его спутников.

Анну О'Нейль Седых разыскал только после войны, в 1918 году, в приморском городке на севере Шотландии.

Было начало зимы. Снег, похожий на старое серебро,

лежал на окрестных полях, и океан вздыхал у берегов, отсыпаясь перед зимними штормами.

Муж Анны, начальник рыбачьего порта, весь вечер курил трубку и молча угощал Седых кофе и твердым печеньем. Анна прочла письмо Отса, оделась и ушла в город, не сказав ни слова. Один только портовый смотритель, дедушка Гернет, друг мужа Анны, пытался рассеять смутную тревогу, как бы открывшую все окна в доме и наполнившую комнаты печальным запахом снега.

Гернет рассказывал сыну Анны, мальчику восьми лет, старую морскую легенду о ветре, носившем название «соранг».

У моряков есть поверье, что среди бушующих нордов и трамонтан, муссонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер соранг, дующий один раз за многие сотни лет. Соранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенно ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники. У детей от радости темнеют глаза, а корабли зажигают приветственные сигналы, качаются и кланяются этому ветру, как ласковые звери с мокрой от дождя шкурой.

Соранг знаменует начало веселых и великолепных праздников. Воздух Антилл проносится над Шотландией, превращая зиму в свежее мгновенное лето.

Старый Гернет не окончил своей басни. Отец услал мальчика спать.

Анна вернулась домой около полуночи. Она ходила без цели по набережной, пряча лицо от ветра. За ней бродил, опустив голову, дряхлый портовый пес, по прозвищу Репейник. Анна тихо говорила с ним,— ей больше некому было рассказать о письме Отса.

«Я умру через час,— писал Отс.— Мне кажется, что даже труп мой будет содрогаться от ужаса этих буранов и стальной чудовищной стужи. Я вспоминаю Шотландию, наши теплые дожди, летящие над землей, подобно дыму, огни в сумерках, тяжелую воду гавани, соленый воздух мокрых осенних полей с почему-то не убранным клевером и нашу старинную песенку:

> Здравствуй, дом! Прощай, дорога!
> Сброшен плащ в снегу сыром.
> Если нет для гостя грога.
> Так найдется крепкий ром.

— Я вспоминаю вас и знаю, что это все — любовь. Я до сих пор не понимаю, почему вы ушли от меня так внезапно».

Анна перечитывала письмо в комнате мальчика. Она стояла у окна. Резкие морщины обозначились у нее на лбу — ей показалось, что громадная птица взмахнула крылом и с деревьев посыпались мелкие брызги. Они падали на лицо Анны, и было трудно понять, капли это дождя или слезы.

Что-то громадное входило в жизнь, чему не было имени, наполнявшее все тело дрожью.

Мальчик проснулся и сел на кровати. Глаза его потемнели от радости.

— Ты не плачь,— сказал он и снова лег на теплую подушку.— Сегодня ночью будет соранг.

Он смеялся во сне — ему снилось, что откуда-то, страшно далеко, из Антарктики, подходит ветер, несущий запах снега и экваториальных лесов, дует соранг — праздничный зимний ветер, перебрасывающий тысячи белых огней, как дети швыряют комья снега.

Мальчик улыбался во сне. Маяк вскидывал в небо белые тучи томительного света.

1933

ТОСТ

Стояла зима, и скука плаваний ощущалась особенно сильно. Скука пароходных ночей, наполненных скрипом переборок, заунывным плеском волн и тусклыми звездами. Звезды качались всю ночь над гудящими черными мачтами.

Все книги были давно перечитаны, и можно было часами стоять у иллюминатора без всяких мыслей и смотреть на пламя маяка, зажженного на плоских берегах. Там месяцами гудел, не смолкая, однообразный прибой, наскучивший всем нестерпимо.

В одну из таких ночей я услышал над своей головой стеклянный звон рояля. Кто-то играл после полуночи, грубо нарушив корабельную дисциплину.

Звуки были торжественны и отсчитывали время с точностью метронома. Человек играл одной рукой,— поэтому из мелодии выпадала нарядность и оставалась только су-

ровая и неторопливая тема. Она звучала все громче, она приближалась к моей каюте. Я узнал отрывок из «Пиковой дамы»: «Уж полночь близится, а Германа все нет, все нет».

Я поднялся в кают-компанию. За роялем сидел однорукий старик в сером костюме. Он играл правой рукой. Левый пустой рукав был небрежно засунут в боковой карман пиджака.

Каюту освещала одинокая лампочка, но было настолько темно, что я различал за окнами черные волны и мглистую полосу рассвета. Старик перестал играть, повернулся ко мне и сказал:

— Я старался играть очень тихо. Но все-таки вас разбудил.

Я узнал его. Это был капитан Шестаков. С нами он плыл в качестве пассажира. Я посмотрел в его прищуренные глаза и вспомнил жестокую судьбу этого человека. О ней мы, молодежь, говорили, как о примере почти непонятного мужества.

Во время германской войны Шестаков командовал миноносцем «105» на Балтийском море. Миноносец стоял вместе с главными силами эскадры около Ревеля.

Однажды осенней ночью Шестакова вызвал к себе на корабль адмирал Фитингоф. Этого адмирала прозвали «чухонским Битти». Он во всем подражал английскому флагману Битти, руководившему Ютландским боем.

Фитингоф, так же как и Битти, никогда не выпускал из тонких бабьих губ маленькой трубки, вечное перо торчало золотым лепестком из кармана его кителя, а по вечерам адмирал раскладывал пасьянс. Во многих словах Фитингоф делал неправильные ударения, стараясь подчеркнуть свое законченное презрение к русскому языку. Иногда «чухонский Битти» позволял себе странные шутки.

Приветствуя какой-либо корабль в день судового праздника, он приказывал поднять сигнал: «Как жизнь молодая?»

Смущенный корабль, не решаясь отшучиваться, почтительно благодарил адмирала.

Поздней ночью Шестаков поднялся по трапу на адмиральский корабль и прошел в каюту Фитингофа. Адмирал, не глядя на Шестакова, сказал, пережевывая слова вместе с мундштуком трубки:

— Лейтенант, сейчас же выходите на своем миноносце к Аландским островам, где стоит бригада крейсеров. Вру-

чите командующему бригадой этот секретный пакет. Ответ командующего немедленно доставьте сюда.

— Есть! — ответил Шестаков очень тихо: он боялся нарушить стальное безмолвие корабля.

Через час миноносец «105» вырвался в черную пенистую ночь, и только гул пара из его низких труб был некоторое время слышен вахтенными на сторожевых кораблях.

Ночь сгущалась. Ветер, дувший из Швеции, накачивал темноту, как исполинская помпа, все гуще и гуще. К рассвету вахтенным стало трудно дышать от плотного мрака.

В каюте Шестакова в секретном ящике лежал пакет, запечатанный личной императорской печатью.

Шторм бил в скулу миноносца, и ветер плакал в снастях. Снизу казалось, что на палубе поют с закрытыми ртами матросы. Боцман был недоволен приметами — свист снастей, выход в море в понедельник и окурок, найденный на палубе, не предвещали добра.

На следующий день в сумерки по горизонту открылась бригада крейсеров. Миноносец «105» подошел к флагманскому кораблю, и Шестаков передал командующему секретный пакет.

Ответ был получен через четверть часа, и миноносец, погасив огни, снова ушел в бушующую ночь и качку.

Он шел со скоростью в двадцать узлов.

На дрожащих палубах можно было дышать, только стоя спиной к ветру.

С запада несло косой тяжелый дождь.

Машинные вентиляторы ревели ураганом, и от запаха тины и солярового масла у Шестакова разболелась голова.

Он спустился на полчаса в свою каюту, лег и задремал.

Ему приснились кочегары, с лицами, как бы обожженными паяльниками, с копотью на бледных губах, мокрые от пара и изнеможения.

Они дружно швыряли уголь в топки и пели в такт:

Моряк, забудь о небесах,
Забудь про отчий дом!
Чернеют дыры в парусах,
Распоротых ножом!

Эта нелепая песня, неизвестно откуда попавшая на миноносец, вызывала у Шестакова тревогу. Он боялся ее: когда кочегары запевали, он старался не слушать и всем

существом ощущал близость несчастья. Так же было и теперь, во сне.

— Отставить пение! — крикнул Шестаков — и проснулся: в дверях каюты стоял вахтенный и просил его срочно подняться наверх.

Через минуту по всему миноносцу гремели колокола громкого боя. Люди бежали по лязгающим палубам и трапам. Миноносец лег на борт на крутом повороте, и серебристый свет прожектора, похожий на ослепительное сверкание снега, ударил в глаза Шестакову. Колокола боевой тревоги внезапно затихли.

Миноносец «105» наскочил на три германских разведочных крейсера. Шестаков повел миноносец в обход крейсерской эскадры, стараясь уклониться от прожекторов, но они спокойно нащупывали его и не отпускали ни на секунду. Три реки дымного света тянулись к бортам миноносца и зажигали иллюминаторы нестерпимым блеском.

Миноносец должен был во что бы то ни стало прорваться мимо германских крейсеров, чтобы доставить ответ адмиралу. Единственный выход был в том, чтобы принять неравный бой. И Шестаков его принял. Он сделал резкий поворот и повел миноносец на ближайший крейсер.

У Шестакова было преимущество в скорости. Крейсера не могли развить такого хода. Ночь хлестала со всех сторон дождем, ветром.

Шестаков приказал открыть левый прожектор. В его неверном струящемся свете возникла громада неуклюжего германского крейсера. Он тяжело зарывался носом в волны и катил перед собой буруны. Его орудия были направлены на миноносец.

Миноносец пустил мину, но промахнулся. В ту же минуту крейсер дал залп, и черная ночь как бы посыпалась глухим громом в шторм и ветер.

Бой длился больше часа. У миноносца «105» были сбиты трубы, он получил две пробоины выше ватерлинии, в носовом кубрике начался пожар.

Восемь матросов и механик были убиты. У Шестакова осколком снаряда оторвало левую руку, и корабельный фельдшер наложил ему тугую повязку. Она все время намокала кровью, и Шестаков часто терял сознание.

К четырем часам утра миноносец вышел из огня крей-

серов и взял курс к главным силам эскадры. Шестакова отнесли из боевой рубки в каюту.

Мрачные сумерки летели вслед за кораблем, припадали к волнам, и миноносец никак не мог уйти от них. Казалось, он тянул их за собой на буксире.

Весь обратный путь походил на тяжелое головокружение.

Палубы пахли перегоревшей кровью и дымом.

В пробоины хлестала вода.

Миноносец «105» подошел к главным силам эскадры лишь к вечеру и стал на якорь. Он прополз мимо дредноутов и крейсеров, как издыхающий пес. Ему подымали приветственные сигналы, но он даже не отвечал на них. Его безмолвно провожали глазами. На всех кораблях были видны бледные лица людей, внезапно почувствовавших всю тяжесть случившегося.

На адмиральском судне был поднят сигнал. Его подымали так медленно, что со стороны казалось, будто Фитингоф колебался и несколько раз останавливал сигналиста:

«Командира... сто пятого... просят прибыть... к адмиралу...»

Шестакова свели с трапа в шлюпку. Когда он поднимался на адмиральский корабль, матросы помогали ему, и один из них заглянул в лицо Шестакову внимательно и печально. Этот взгляд друга Шестаков долго не мог забыть.

Адмирал встретил Шестакова на палубе и провел в каюту.

— Государю императору,— сказал он глухо,— будет подан рапорт о геройском поведении — как вашем, так и всей команды миноносца «Сто пять». Вы же немедленно отправитесь в дворцовый госпиталь.

Фитингоф вскрыл пакет, вынул донесение и, далеко отставив его от глаз, рисуясь своей дальнозоркостью, начал читать.

Шестаков, не менее дальнозоркий, чем адмирал, увидел короткие строчки секретного донесения.

«Бригада крейсеров благодарит монарха за тост, провозглашенный его величеством в честь наших славных моряков и доставленный судам бригады миноносцем «105».

Фитингоф оглянулся и вздрогнул. Шестаков, не отдав чести, вышел из каюты. Он шатался. Глаза его были

закрыты. Он придерживался рукой за поручни. Сжатые его губы казались выкрашенными в черный цвет. Он спустился в шлюпку, не замечая помогавших ему матросов, и вернулся на миноносец.

Он вызвал на палубу уцелевших людей и сказал им:

— Приказываю всем сейчас же съехать на берег. На тост государя я отвечу сам.

Команда повиновалась. Матросы ничего не поняли, кроме того, что ослушаться этого приказа нельзя.

Шестаков остался. Он спустился вниз и открыл кингстоны. Вода хлынула в отсеки миноносца и хрипела в них, как кровь в горле расстрелянного.

Миноносец начал медленно валиться на борт и затонул.

Шестакова успели снять.

Ночью он был арестован и отправлен под конвоем в психиатрическую больницу. Он был вполне нормален, но просидел в больнице два года.

И вот теперь, во время скучного зимнего плавания, я попросил Шестакова сыграть мне на рояле еще что-нибудь.

— Я вам сыграю матросскую песенку,— ответил он тихо и ударил по клавишам:

Матрос, забудь о небесах,
Забудь про отчий дом!
Чернеют дыры в парусах,
Распоротых ножом!

Синий рассвет качался в волнах и боролся с пламенем лампочки, все еще горевшей в каюте.

Москва, 1933

ДОБЛЕСТЬ

Маленький мальчик рисовал цветными карандашами. Он был очень озабочен и о чем-то напряженно думал. Потом он поднял голову, посмотрел на меня, и из глаз его неожиданно полились слезы. Они ползли по щекам, капали на его измазанные карандашами пальцы, и от слез мальчику было трудно дышать.

— Па,— шепотом спросил он,— почему люди не придумали лекарства, чтобы не умирать.

Тогда мне пришлось рассказать ему эту историю.

Летчик Шебалин заблудился в туманах.

Морские метеорологические станции вывесили объявления о том, что на Европу надвигаются мощные массы тропического воздуха.

Стояла зима. Снега не было, но треск сухих листьев напоминал жителям морского города хрупкий треск льда. Этот звук был свойствен только зиме.

Знатоки морских туманов и дымной мглы — англичанин Тейлор и немец Георги — дали точное определение этого тумана: «Теплый тропический воздух, если его зимой приносит в Европу, превращается сначала в голубоватую мглу, затягивающую материки на сотни миль, а затем мгла переходит в моросящие дожди. Туман этот очень устойчив».

Летчик Шебалин знал это. Внизу были пропасти и рваные вершины Карадага, покрытые лишаями и ржавчиной тысячелетий. Туман закрывал вершину. Он ударялся с размаху в гранитную стену горы и взмывал к небу могучей белой рекой. Вокруг этого туманного столба — единственного ориентира — Шебалин упорно водил по широким кругам стремительную машину.

Равнодушно и глухо гудело море. Красное солнце — солнце ранней зимы — висело во мгле и отливало сумрачной бронзой на мокрых крыльях машины.

В кабине самолета лежал в жару маленький мальчик. Мать сидела около него, и каждый раз, когда Шебалин оборачивался, он видел глубокие, почти мужские, морщины около ее губ. Мальчик умирал.

Шебалин летал за мальчиком в степь и должен был его доставить в больницу в приморский город. Три часа назад, когда мальчика вносили в кабину, сухое небо было безоблачно, и на чертополохе блестела паутина,— казалось, ничто не предвещало тумана.

Шебалин знал, что даже если удастся через два-три часа сесть на землю,— все равно будет поздно — мальчика уже не спасти. Просветов в тумане не было.

Машина с торжественным ревом рвала в клочья сырой и душный дым. Мальчик метался и бредил.

Внезапно Шебалин увидел внизу тень громадной и стремительной птицы. Самолет! Шебалин резко взял вверх.

— Конденсация! — крикнул ему в лицо борт-механик.— Вылетели все-таки!

Шебалин кивнул. Встречная машина промахнула серебряным крылом. Шебалин узнал машину Ставриди.

Ставриди шел в тумане и рассеивал за собой широкими дорогами наэлектризованную пыль. Пыль притягивала частицы тумана, пыль превращала туман в крупный дождь. Его первые капли уже били наискось в стекла кабины.

Туман оседал глубокими пропастями, уже блестели под слюдяным солнцем мокрые ребра Карадага, и Шебалин увидел внизу землю, омытую дождем. Она переливалась и слепила глаза.

Шебалин уверенно пошел на посадку.

С аэродрома мальчика увезли в больницу. Шебалин медленно вылез из машины. Его не удивило, что аэродром был полон летчиков, не удивил вылет Ставриди. Он знал, что рассеивание тумана было сложным и дорогим делом, но не удивился и этому,— жизнь мальчика была дороже. «Кто же этот мальчик?» — подумал Шебалин. Он даже не спросил об этом, когда получил приказ лететь.

Вечером экстренные выпуски газет сообщили, что летчик Шебалин доставил в город мальчика семи лет, получившего сотрясение мозга. Врачи признали состояние мальчика почти безнадежным, но допускали, что благоприятный исход возможен лишь при условии абсолютной тишины и покоя.

Через час после выхода газет на улицах было расклеено постановление городского Совета, предлагавшее всем гражданам города соблюдать тишину. Наряды милиционеров прекратили движение около больницы.

Но эти меры были излишни. Без всякого приказа город затаил дыхание. И тем явственнее звучали голоса моря, ветра и сухой листвы.

Автомобили шли, крадучись, по окраинам. Шоферы, привыкшие газовать и рявкать сиренами, безмолвно сидели в темноте своих кабин, как заговорщики.

Ярость шоферов обрушилась на потертое такси, прозванное «кипятильником». Машина эта внезапно и оглушительно стреляла. Вдогонку ей шоферы грозили кулаками и кричали свистящим шепотом: «Чтоб ты пропал, чертов кипятильник!»

Газетчики перестали кричать. Громкоговорители были выключены. Пионеры образовали отряды по поддержанию тишины, но у них почти не было работы.

Нарушений тишины не было, если не считать незначи-

тельного случая с портовым фонарщиком. Это был старый и веселый человек.

Он шел и горланил песню, потому что приморский город привык петь и смеяться. Песни он выдумывал сам.

Фонарь горит, и звезд не надо,
И звезд не надо на небесах,
И все мы рады, да — очень рады,
Что нам не надо бродить впотьмах!

Пионеры остановили старика. Тихий разговор длился недолго. После него пьяный фонарщик сел на мостовую, стащил, кряхтя, ботинки и пошел на цыпочках к своему одинокому дому на окраине. Он грозил в переулки пальцем и шипел на прохожих. У себя дома он выпустил из чулана кошку, чтобы она не мяукала, вытащил из кармана старинные часы — толстую луковицу, послушал их громкий стук, положил часы на стол, прикрыл сверху подушкой и погрозил часам кулаком.

Второй случай произошол в порту и потом долго обсуждался по всему побережью.

Надо сказать, что от стародавних времен на морях еще сохранились заслуженные грузовые пароходы. Скрипя и тяжело переваливаясь на волнах, они проплывали около нарядных теплоходов и недружелюбно косились на них. Теплоходы шипели пеной и винтами и закатывались по ночам в морских горизонтах, как закатываются ослепительные планеты.

Один из таких пароходов — «Труженик моря» — подходил с грузом кровельного железа к городу, где лежал в больнице мальчик.

В десяти милях от берега пароход получил от начальника порта радиограмму. Начальник порта предупреждал, что ввиду чрезвычайных обстоятельств выгрузка железа в порту запрещается на неопределенное время.

В двух милях от порта пароход получил вторую радиограмму. Она приказывала при подходе к порту ни в коем случае не давать гудка,— визгливый гудок «Труженика моря» был хорошо известен.

Команда «Труженика моря», склонная к зубоскальству в такой же мере, как и все моряки, изощрялась в догадках. Но несмотря на смешливое настроение людей не оставляла тревога,— неуловимая связь между двумя приказами говорила о каких-то значительных событиях, происшедших в приморском городе.

При входе в порт к «Труженику моря» подошел мотор-

ный катер. Начальник порта поднялся на палубу и прошел в каюту капитана.

Когда начальник порта выходил из каюты, матросы услышали отрывок загадочной фразы:

— ...больница у нас на самом берегу моря...

Капитан «Труженика моря» поднялся на мостик и коротко приказал выходить па рейд и становиться на якорь. Никаких разговоров! Разгрузки не будет!

Команда роптала. Тогда капитан созвал ее на баке и прочел вслух сообщение газет о мальчике.

— Сами понимаете,— сказал капитан,— что в городе не должно быть шуму. С нашим грузом нечего сейчас и соваться.

Но ожидание на «Труженике моря» не было похоже на обычное, полное скуки стояние на рейде. Никто не знал мальчика, но о нем упоминалось с глубокой нежностью.

Ожидание это было полно рассказов и размышлений, наивных и печальных. Газету с берега вырывали друг у друга из рук. Несмотря на скрытую тревогу за судьбу незнакомого мальчика, ту тревогу, что двадцать лет назад показалась бы матросам не только смешной, но попросту непонятной, каждый скрывал в себе и чувство гордости.

Была ли это гордость собой или начальником порта,— моряки не могли разгадать. Но при встрече с начальником порта они срывали кепки и долго смотрели вслед на его синий лоснящийся китель.

Город затаил дыхание. Город молчал. Молчание это давало жителям ощущение одиночества и свежести. Так после крепкого сна в комнате с настежь открытыми окнами утро входит во все поры тела глубоким безмолвием и солнцем. Мысль, очищенная от соков усталости и никотина, приобретает стремительный полет, и горизонты отодвигаются и тают, открывая новые берега, мысы, земли, давая новую пищу для волнений и поэм.

Город молчал, и тем явственнее слышались голоса моря, ветра и сухой листвы. Особенно громко шелестели розовые листья платанов. Но ничто не могло сравниться с канонадой прибоя.

На третий день болезни мальчика город пережил новое испытание. На мачте в порту взвился штормовой сигнал. С моря шел шторм, гремящий, как сотни скорых поездов, широкий шторм, который всегда срывается при безоблачном небе. И, как предвестник шторма, небо уже синело с нестерпимой ледяной яркостью.

Было выпущено второе экстренное обращение городского Совета к населению. В нем говорилось, что приняты меры, чтобы устранить шум, возникающий помимо воли человека, шум стихии. Под наблюдением изобретателя Эрнста в больнице заканчивается монтаж установки, наглухо выключающей внешние шумы.

Шторм ожидается к полночи, и к тому же времени должна быть включена установка, названная «экраном тишины».

В больнице быстро и бесшумно работали монтеры. Времени оставалось мало. Ветер уже проносил над городом полосы высоких и прозрачных облаков. Шторм приближался. Первые порывы ветра продували городские площади и сносили к оградам кучи жесткой осенней листвы.

К ночи у мальчика ждали кризиса, и к ночи обрушился шторм. Он шел на берега сокрушительным ударом,— в пене, хриплых раскатах и визге обессиленных чаек. Земля вздрогнула, леса в горах качнулись и глухо заговорили, и дым из труб пароходов с протяжным свистом помчался вдоль вымерших улиц.

За несколько минут до первого удара шторма Эрнст включил «экран тишины». Эрнсту было разрешено войти в палату, где лежал мальчик, чтобы проверить действие установки.

Оглохший от неистовства бури Эрнст медленно поднимался по лестнице. Тишина была настолько совершенна, что Эрнст ясно слышал шуршание воздуха в своих легких. Эрнст вошел в палату, в безмолвие, залитое матовым пламенем ламп. О шторме можно было только догадаться по дрожи полов, сотрясаемых близким прибоем.

Но Эрнст не замечал этого. Он смотрел на мальчика. Мальчик лежал, приоткрыв рот, и улыбался во сне. Эрнст услышал его ровное и легкое дыхание. Он забыл об «экране тишины», о шторме, он не замечал врача и молодой женщины в белом халате. Она сидела у постели мальчика, и Эрнст только потом вспомнил, как его — да и то на одно мгновенье — поразили слезы на ее глазах, слезы, медленно падавшие на ее колени.

Женщина подняла голову, и Эрнест понял, что это мать. Она встала и подошла к Эрнсту.

— Он будет жив,— сказал она и вдруг улыбнулась, глядя куда-то очень далеко, за спину Эрнста. Эрнст оглянулся. Позади никого не было.

— Вы великий человек,— сказала она.— Как я вам благодарна!

— Нет,— ответил, смешавшись, Эрнст.— Мы живем в великое время, и я так же велик, как и всякий трудящийся нашей страны. Не больше. Вы счастливы?

— Да!

— Вот видите,— сказал Эрнст,— создавать счастье — это высокий труд. Его осуществляет вся страна. Благодарить меня не за что.

Через полчаса город узнал о выздоровлении мальчика.

Радио, борясь со штормом, бросало эту весть в ночь, в океаны, во все углы страны.

Приказ о тишине был снят.

В кипение изнемогавшей бури врезались приветственные гудки пароходов, крики автомобильных сирен, хлопанье флагов, поднятых над домами, звон роялей и новая немудрая песенка фонарщика.

Осветил я бульвары,— пусть поет вся страна.
Что ж, что выпил я, старый, молодого вина!

В городе был устроен праздник. Шторм, как всегда, сменился неизмеримым штилем. Он уходил куда-то за край морей, плескался у пляжей на сотни миль, переливал у камней прозрачную воду и качал в ней красные листья кленов и теплое низкое солнце.

Если вы бывали ранней зимой у моря, вы должны помнить эти дни с легким дыханием, похожие на утренний сон, вы должны помнить этот голубоватый воздух, очищенный штормом, когда далекие ржавые мысы стоят грядой над морями и моря осторожно подносят к их подножиям солнечную рябь и тонкий туман.

Матросы с «Труженика моря» впервые услышали, как над спокойной водой поплыла симфония Бетховена. Казалось, звуки поднимают пароход высокой и плавной волной, и потому вполне понятен был поступок боцмана,— он побежал на бак проверить, не сорвало ли пароход с якорей. И нечего над этим смеяться, как смеялся масленщик.

Вечером в порт вошел английский пароход «Песнь Оссиана». Экипаж его, удивленный видом праздничного города,— город казался огненным каскадом, льющимся с гор в бесшумное море,— вежливо запросил начальника порта, что происходит. Начальник порта ответил ясно и коротко.

В это время летчик Шебалин вышел из своего дома.

Далеко в горах выпал снег, и высокая луна магически блистала над серебряными снежными полями.

В саду около дома Шебалин встретил женщину. Это была мать мальчика. Она шла к летчику, чтобы поблагодарить за спасение сына.

В свете фонарей и в сумраке ночи лицо ее поразило Шебалина бледностью и радостной красотой. Она обняла летчика за шею, поцеловала, и Шебалин ощутил острую свежесть, как будто иней испарялся у него на губах.

Они спустились в город, держась за руки, как дети, и увидели мигающий свет электрических огней на мачте английского парохода. Шебалин остановился. Он узнал азбуку морзе и громко прочел сигнал англичанина:

«Командам советских кораблей. Поздравляем и тысячу раз завидуем морякам, имеющим такую прекрасную родину».

Маленький мальчик перестал рисовать цветными карандашами. Слезы высохли на его лице, и только ресницы были еще мокрые. Он засмеялся и спросил:

— А чей это был мальчик? Общий?

— Да, конечно, общий! — ответил я, застигнутый врасплох этим вопросом.

Ялта, декабрь 1934

МОРСКАЯ ПРИВИВКА

Автомобиль, гудя и встряхиваясь, метался по жарким дорогам. Их белая карта привела наконец к зеленой лагуне. Прохладная ее глубина казалась особенно яркой под днищами рыбачьих барок.

Лагуну, набережную, выметенную ветром, и дома с пустыми нишами для статуй окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков.

Шофер замедлил ход, и за машиной помчались худые мальчишки. В их глазах сверкал восторг. Так умеют восторгаться люди очень теплых и древних стран.

Машина остановилась, и приехавшие с изумлением заметили сдержанную скупость природы, ветер и тишину. За горой, замыкавшей лагуну, шумел горизонт,— там было море.

Маленький мальчик вылез из автомобиля. Ему помогали шофер с пунцовым от солнца затылком и мать — светловолосая женщина с открытой улыбкой. Мальчик взглянул на отца, как смотрят на преданного друга, и спросил:

— Па, что это шумит там?

Отец ответил:

— Море.

— А что оно делает, море?

Отец засмеялся. Море ничего не делало. Его великолепное безделье казалось непонятным. Оно шумело, намывало пляжи, меняло очертания берегов, выбрасывало медуз и водоросли.

— Па, зачем море? — снова спросил мальчик и прищурил глаза.

Шофер похлопал мальчика по ладони:

— Ну, прощай, Мишук. Море — чтобы купаться.

Мишук смущенно улыбнулся. Загадка была решена.

Машина умчалась, оставив позади конус белого дыма.

Отец, худой, с молодым лицом и седыми висками, взял Мишука за руку и повел в дом, высеченный в скалах. В белых комнатах стоял плотный солнечный свет.

Мишук сел на пол: за окном было страшно. Там тучей лежал глубокий глухой воздух. Пол был горячий, море было непонятно, и Мишук заплакал.

Но любопытство преодолело страх. Через полчаса Мишук стоял на балконе и кричал в восторге: по морю плыли большие лошади с белыми гривами. Гривы то окунались в воду, то вскипали пеной. Лошадей было много,— больше, чем во всей Москве.

В ресницах Мишука, еще влажных от слез, запутался ветер. Мишук тер глаза и вскрикивал:

— Ма, смотри, сколько лошадей! Ма!

— Это барашки,— ответила мать. На душе у нее было спокойно от света.— Это шторм на море, маленький. Это буря.

Мыс Айя — последняя ступень земли — краснел в пене и облачном дыму. За ним кончался мир, за ним плясали волны и дельфины и дул, припадая к воде, разгонистый ветер.

Отец сказал, помолчав:

— Помнишь, под Севастополем море открылось, как туча?

— Да, как туча,— ответила женщина и подошла сзади. Она хотела вспомнить прошлое: рождение мальчика, утрату чувства жизни, пугавшую ее по временам, внезапные перемены в муже, но ничего не вышло. Прошлое исчезло. Оно казалось прекрасным даже во всей своей тягости. Оно тонуло в этой синеве, брызгах, в детском хохоте.

Утром на следующий день Мишук поехал на пляж. Курносый Пашка лениво греб и щурился на море. Там плыл белый пароход.

— «Зарница»,— сказал Пашка.

На пляже Пашка лазил на бурые скалы и орал сверху, размахивая кепкой:

— Мишук, гляди, де я! Мишук!

Мишук волновался и хохотал. Невесомая влага подымалась и опускалась, но ни одна волна не плеснула о берег,— море дышало во сне.

Женщина вошла в воду и улыбнулась: в воде было растворено солнце. Перезревшее лето пахло йодом, хвоей и солью. Она закрыла глаза. В ресницах вспыхнули хрустальные шары — над морем всходил беззвучный полдень. Мыс Айя исполинским фортом чернел в море и терпеливо дожидался зноя.

Женщина прижала кончики пальцев к смуглым плечам, и несколько слез скатилось в море. Она плакала от простой мысли, что вот этот день нужнее для нее, чем многие годы их прошлой жизни, чем тяжесть познания, чем пестрые вереницы людей, проходившие через их жизнь, как через ресторан.

— Мишук, гляди, де я! — орал Пашка с неприступных вершин.

Мишук дрожал от страха и смеялся. Он стоял у моря так, что только кончики его пальцев были в воде. Он был слишком маленький, а море было слишком большое. Мишук боялся шагнуть вперед и назад. Непонятность всего происходящего пугала Мишука. Громадные его глаза были готовы пролиться невыплаканными слезами. Впервые он ощутил величие стихий.

— Ма, зачем море большое? — шепотом спросил Мишук, но мать не слышала, она плыла далеко в море.

— Что ты шепчешь, маленький? — спросил отец.

— Па, зачем море большое? — повторил Мишук, и из глаз его закапали слезы.

Отец понял этот род потрясения: несоизмеримость ве-

личин — Мишука и моря — была очевидна. Морскую прививку Мишук переносил долго: только через неделю он перестал говорить в присутствии моря шепотом. Но тогда море уже стало его другом.

Шхуну «Кудесник» изгрызли морские черви. Она долго плавала у кавказских берегов и стояла в Батуме, где, по свидетельству старинных лоций, множество червей, и поэтому судам с деревянным корпусом застаиваться нельзя.

Изъеденный червями, «Кудесник» спялся из Батума в Херсон. Вблизи Севастополя в трюме открылась течь. Испуганный шкипер повернул в зеленую лагуну и выбросил судно на мель.

Проходили зимы с их штормами, и «Кудесник» погрузился в воду по палубу. В его трюмах серебряным рисом бродила камса, а на палубе Петро Дымченко сушил сети.

Из истлевших канатов еще не выветрился запах смолы. В трещинах мачт янтарными каплями каменела смола. Ржавчина цепей была цвета киновари — океанская ржавчина: твердый палет соли и ветра.

Отец Мишука переправился на «Кудесник», лег на палубу, открыл книгу и в ту же минуту услышал хриплое ворчанье за рассохшимся кубриком. Он встал и увидел внутри огромной сети-мережки гигантского седого краба, курившего трубку: это Петро Дымченко штопал сеть бамбуковой ниткой. Петро зорко посмотрел на книгу, на седые виски и загорелое лицо незнакомца, сплюнул и закричал:

— Чертов извозчик переехал мережку, будь он проклят, зараза, на мою голову! Теперь чини.

— Чем переехал?

— Арбой! Разогнал коня, а я сидел на набережной и чинил. Порвал все скрозь. Построй с ними социализм, с балбесами!

Из дальнейшего разговора, положившего начало молчаливой дружбе, выяснилось, что Петро — старейший рыбак на лагуне. Вдвоем с другим стариком он основал артель под названием «Вечерняя заря».

Отец Мишука каждый день переезжал на «Кудесник». Его привлекала тишина: голоса с берегов были едва слышны. Петро Дымченко встречал его у побелевшего от солнца планшира и кричал сердито:

— Что ж пацанчика не привезли?

Мишук боялся переезжать на шхуну. Пашка наврал ему, что по палубе «Кудесника» бегают огромные крабы, шипят и хватают пацанов клешнями за пятки.

Петро был бездетный бедняк. Нищету свою и одиночество он носил просто и с достоинством, как суровую одежду. В его представлении почти все лучшие люди были бедняками.

По утрам Петро приходил за Мишуком и брал его в свою шлюпку «Корсар» ставить сети в лагуне. Он нес Мишука на руках, как драгоценность. Мишук колол щеки о его щетину и смущенно улыбался. В лодке Мишук сидел на дне очень тихо, и глаза у него становились вдвое больше. На бесконечные его вопросы «зачем» Петро давал точные и мудрые ответы.

— Па,— спрашивал Мишук Дымченко,— зачем рыба плавает?

— Тикает от сетей,— отвечал односложно Дымченко.

Мать видела из окна, как Мишук шел, болтая с Дымченко, и держался за его синие заплатанные штаны, и ей хотелось смеяться. Дымченко брел походкой, разбитой от многолетних плаваний, и придерживал Мишука за спину.

Расплавленный полдень то погружал их в синюю тень, то обливал красным золотом.

Над лагуной дрались чайки. Греки орали с яликов:

— Петро, откуда у тебя дите? Хорош пацанчик! Будет наследником на «Корсаре»,— он уже к морю имеет привычку!

Под водопадом шуток и смеха, в солнце, ветре и запахе сухих садов Дымченко провожал Мишука и сдавал на руки матери.

Мать улыбалась. Так улыбаются люди, чья душа открыта для всех ветров и всех человеческих страданий. Улыбка эта напоминала внезапный блеск. Радость приобретала в ней телесную форму.

Бездетность, не замечаемая раньше, приобрела для Петро характер несчастья. Она мучила. Жизнь мстила за себя: ни жажда покоя и сна, ни усталость от сорокалетней работы — ничто прошлое не было так сильно, как новые мысли о мальчике-внуке. Петро снилось, что он снимает пух с его ресниц, мальчик смеется, и в уголках его глаз дрожат слезинки.

— Эх, малый мой,— бормотал Петро и уже не мог заснуть.

Каждая новая мысль производит в старческом теле глубокое потрясение.

Только старикам знакомы тишина и тяжесть устоявшихся ночей, когда море теряет цвет и спит даже рыба. Не спят только старики, маячные сторожа и вахтенные на пароходах.

В одну такую памятную ночь Петро вышел на окраину рыбачьего городка встречать Мишука.

Мишук ездил с мамой в Севастополь провожать отца и вернулся сонный и теплый. Петро нес его домой. Мишук сладко посапывал у него на плече, а над морем разверзались страшные голубые бездны,— из Турции надвигалась гроза.

Женщина, задумавшись, слушала, как море волновалось перед грозой и глухо взрывалось в подводных пещерах. В комнате, уложив Мишука, она подошла к окну, взглянула в неизмеримую темноту и сказала:

— Ну, вот мы и одни.

Молния открыла в небе внезапное нагромождение облаков, высоких и розоватых, похожих на кущи исполинского сада. Свет ее обнаружил на столе забытую книгу с подчеркнутой строкой. Женщина зажгла спичку и прочла:

«Даже в печали, кроме горечи, есть глубина и подъем душевных сил. Как будто открываются все шлюзы».

Спичка погасла. Женщина вспомнила, как мучительно писал книги отец Мишука и как он страдал от сознания, что почти никто не воспринимает жизнь так, как он.

Его никогда не покидало сознание, что автор выше своих книг.

В книги он вкладывал ребячество, в жизнь — иронию и сострадание. Он не любил действия. Его рассказы были пестры и медлительны, как мысли чистильщика сапог, дремлющего на солнце и наблюдающего кружение прохожих в зеркальной витрине.

Так же, как к своим рассказам, он относился и к чужим книгам. Он не читал, а медленно выбирал со страниц отдельные мысли, словно промывал чужую книгу в нескольких водах, и надолго запоминал то, что оставалось на решете: неожиданный образ, нервную дрожь, мысль, свежую, как дождь, насмешку и понимание простых человеческих печалей. Сюжет он забывал быстро.

Он мог написать рассказ о прорастании травы. Его тянуло к тишине и дружеским беседам. От суеты страниц,

где люди дерутся, любят и мучают друг друга, у него болело сердце.

Он писал так, как мальчишки собирают марки или вырезывают из дерева модели кораблей. Вырезывание моделей плодит неистребимую тоску по городам, вымощенным голубым стеклом, где корабли швартуются прямо у цветочных клумб. Начинаются сомнения — может быть, такие города существуют? Сомнение переходит в уверенность, и тогда человек пишет рассказ об этих героических городах. Такие рассказы действуют, как стакан вина, выпитый натощак. Но теперь у нее эти рассказы вызывали горечь и раздражение.

Женщина утром написала мужу:

«На море уже осень, и очень пустынно. Пришла сельдь, в лагуне дежурят лодки, а над домом кричат чайки. Мы с Мишуком одни во всем доме и саду. Я очень сдружилась с рыбаками. Ни у кого я не встречала такого ясного отношения к жизни и к нашему времени. Мысли мои крепнут с каждым днем. Я перечитываю написанное тобой, и мне тяжело, что ты прячешься от жизни в переулки, заросшие тропическими цветами и переполненные сверх всякой меры солнцем и блеском. Литература не валерьянка, а полный крови кусок человеческой жизни. Пиши о настоящих людях, о том, как создается на крови и нервах новое человечество. Прекраснее этого ты ничего не найдешь».

В это время отец Мишука стоял у окна вагона. Поезд взволнованно дышал, задержавшись в Бельбеке. Ветер косо нес свежесть и запах влаги. Над побережьем шумел ночной ливень. Над горой восходил свет, будто в долине был спрятан город, иллюминированный перед ночной грозой.

До моря было десятки верст, но он еще с детства верил, что море светится по ночам, и теперь ему хотелось думать, что это последний свет моря.

Морю он был обязан тем, что стал писателем. Болезнь воли, заставлявшая его писать о вещах смутных, мягких и ограниченных, прошла. Наступило время сосредоточенности и работы. Он улыбнулся, вспомнив о седых висках. Это не испугало его. Писательство оказалось не забавой и не жонглированием людьми и образами,— оно становилось судьбой. Оно превращалось из болтовни и дикого

возгласа Жозефа Делтайля: «Я пишу, чтобы нравиться женщинам»,— в бессонные ночи, в величайшее напряжение, в жестокость к себе.

После моря московское лето оказалось сотканным из голубоватой паутины. Солнце светило, как через стекло.

Широкая радуга опрокинулась над зеленым Замоскворечьем. Цирк в Парке культуры и отдыха зажег свою палатку из пламени. Мокрые доски стадионов пахли скипидаром.

Над радугой повисло облако, похожее на гигантскую кисть сирени, освещенную закатом.

Все было очень мимолетно, как мимолетно московское лето. В черной листве Нескучного сада розовели огни, и с востока, закрывая золотые кремлевские купола, приближалась сырая ночь.

Млечный Путь пересекал реку по диагонали. Гремели под сурдинку оркестры, и мосты Окружной дороги плавным прыжком перелетали с берега на берег.

Ветер качал в воде ослепительные столбы огней и перепутывал их с фонарями лодок.

Вечером отец Мишука пошел в планетарий. Здание еще стояло в лесах. В легких его линиях была заключена тоска по новым городам, где улицы будут стремиться среди листвы и тени в поля, пахнущие травами. Космический купол планетария чернел в зеленоватой воде заката.

В душном зале серебряный аппарат сверкал сотнями маленьких линз. Свет погас, и над головой поплыло звездное небо — яркое, низкое и пахнущее полотном. Оно было похоже на черный бархат с нашитыми никелевыми бляшками. Оно вращалось с глухим зудом. Планеты неслись, обгоняя друг друга, делали затейливые петли и погасали на кепках зрителей, сидевших у стен.

Строитель планетария — друг отца Мишука — подошел к нему после сеанса:

— Ну как?

— Слишком нарядное небо,— ответил отец Мишука.

Он вышел на улицу, и небо над Москвой обрушило на него ворохи звезд, туманы Млечного Пути, ветры, мерцание, горькую листву, дым облаков — настоящее и милое небо.

— Вот,— сказал он, прислонившись к решетке сада, и закурил папиросу,— вот настоящее.

Он вспомнил Ван-Гога, сошедшего с ума из-за неудач-

ной попытки передать на полотне звездное небо, и подумал, что все же это было благородное помешательство.

Потом несколько дней он провел вдали от Москвы. Дни были налиты до краев дымом и синевой, а по вечерам в шуршании рощ свистели последние птицы и вставала луна.

По утрам он ходил купаться на Клязьму. Холод черной воды сменялся жаром. К сырому и еще загорелому телу прилипали березовые листья. Пни в лесах пахли грибами и йодом. Он испытывал свежесть, будто в него переливали кровь этой осени. На щеках появился румянец, и писать было необыкновенно легко.

Он думал, что надо забыть все написанное прежде и начать писать по-новому.

В суровости осенних ночей, в далеком крике паровозов на Северной дороге родилось чувство новой эпохи — напряженное, как ветер, дующий в упор в похолодевшее лицо.

«Только об этом надо писать,— думал отец Мишука.— Возвеличить эпоху — блистательную и неповторимую. Вместо выуживания со дна сознания пестрых тряпочек своих чувств и настроений заговорить полным голосом и дышать всей грудью воздухом времени, едким и свежим, как океанская соль».

А Мишук в это время возвращался с мамой с моря. Всю дорогу он висел в окне, волновался и приставал к матери — хватит ли в паровозе дыма до Москвы.

1935

БАРСУЧИЙ НОС

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков,— они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке,— кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я

опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

1935

ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом. Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы.— Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей.— Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы изводили нас все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед, по прозвищу «Десять процентов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца.— Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у нас не будет, нынче рыба заелась,— шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет,— пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед.— Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит,— объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием.— Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в этой лягве! Я во время германской войны во Франции был, там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я.— Есть можно?

— Скусная пища,— ответил дед, прищурился, подумал.— Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я, милок, из лыка цельную тройку сплел — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет стольких самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и волдырях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками

стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень,— ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило не могло ее пробить.

Перед грозой рыба тоже переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты вполнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл,— так клюет только очень крупная рыба...

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит,— сказал я.— Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дяд, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять процентов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы кричали нам ласково:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

1936

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРТ

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять про́центов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок,— объяснил однажды дед,— что во мне всего десять про́центов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят во двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому нынче убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более, как десять про́центов». Теперь так и перебиваюсь на эти про́центы.

Вот она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково, скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица,— сказал он нерешительно.— Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно,— сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть,— ответил я,— хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять прбцентов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудодня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет,— говорил, сморкаясь, дед.— Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь,— отвечал загадочно дед.— Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен,— высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги — играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама,— дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника.— Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное,— погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман. Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед.— Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то.— Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица-троеручица! — бормотал, запинаясь, дед.— Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну,— сказал дед,— действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю! Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй,— бормотал он сердито.— Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно,— она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову, величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете — в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».

— Ну,— спросил я,— что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец,— ответил Рувим.— И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший,— сказал Рувим.— Гляди!

— И-и-и, милай...— Дед захихикал.— Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто стараясь что-то припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испугался дед.— Чумовой, что ли?

— Рыбы просит,— объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой — клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед.— Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной

площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт,— говорил он и оттягивал штанину.— Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня паша, милок!

1936

КОТ ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал пас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось пакопец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пропесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; в нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а гребеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить кота из-под дома.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые рассмотрели его как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет,— сказал Ленька.— У него с детства характер такой. Лучше попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный «Горлачом».

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

1936

РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканьем; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте, около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлаялся на меньше чем на час. Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас.

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутитя!

После испытания дед, по прозвищу «Десять процентов», щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух,— и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой.

Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

— Отвяжись, а то так тебя двину!..

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили.

Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три рубля.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать,— резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.

Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было очень жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться — все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безыменном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит у меня за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым.

Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривая на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-то плеснул воду на раскаленную сковороду с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.

1936

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок.

Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я ее почти не замечал: в саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше.

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки.

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками, лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним.

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клена.

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду было тихо: беспокойные птицы улетали на юг.

Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей.

Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени. До тех пор я эту сказку никогда не слышал,— должно быть, Прохор ее выдумал сам.

— Ты гляди кругом,— говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть,— ты присматривайся, милый человек, чем

каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. Гляди, объясняй. А то скажут: зря учился. К примеру, лист осенью слетает, а людям невдомек, что человек в этом деле — главный ответчик. Человек, скажем, выдумал порох. Враг его разорви вместе с тем порохом! Сам я тоже порохом баловался. В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили порохом, и попало то ружьишко дураку. Шел дурак лесом и увидел, как иволги летят под небесами, летят желтые веселые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. Дурак ударил по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, пожухли и в одночасье опали. А иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже осыпались. Небось видел в лесу — есть лист желтый и есть лист красный. До того времени вся птица зимовала у нас. Даже журавль и тот никуда не подавался. А леса и лето и зиму стояли в листьях, цветах и грибах. И снега не было. Не было зимы, говорю. Не было! Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! Какой с нее интерес? Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. Начались с той поры листопады, и мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. И птица испугалась, от нас отлетает, обиделась на человека. Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего не портить, а крепко беречь.

— Что беречь?

— Ну, скажем, птицу разную. Или лес. Или воду, чтобы прозрачность в ней была. Все, брат, береги, а то будешь землей швыряться и дошвыряешься до погибели.

Я изучал осень упорно и долго. Для того чтобы увидеть что-нибудь по-настоящему, надо убедить себя, что ты видишь это впервые в жизни. Так было и с осенью. Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни. Это помогло мне пристальнее всмотреться в нее и увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, кроме памяти о слякоти и мокрых московских крышах.

Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на далекие пространства земли и неба.

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, черную, серую и почти

белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе. А когда шли дожди, мягкость красок сменялась блеском. Небо, покрытое облаками, все же давало достаточно света, чтобы мокрые леса могли загораться вдали, как багряные пожары. В сосновых чащах дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. Эхо от ударов топора, далекое ауканье баб и ветер от крыльев пролетевшей птицы стряхивали эту листву. Вокруг стволов лежали широкие круги от палых листьев. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем еще зеленые на верхушках.

Однажды осенью я ехал на лодке по Прорве. Был полдень. Низкое солнце висело на юге. Его косой свет падал на темную воду и отражался от нее. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно бежали по берегам, поднимаясь от воды и потухая в вершинах деревьев. Полосы света проникали в гущу трав и кустарников, и на одно мгновенье берега вспыхивали сотнями красок, будто солнечный луч ударял в россыпи разноцветной руды. Свет открывал то черные блестящие стебли травы с оранжевыми засохшими ягодами, то огненные шапки мухоморов, как будто забрызганные мелом, то слитки слежавшихся дубовых листьев и красные спинки божьих коровок.

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю. Но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Черный хлеб из пекарни приносили с прилипшими к нему

мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем, и только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы.

Была как раз такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клен под забором и растрепанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клен и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа — неясный звук, похожий на детский шепот.

Ночь стояла над притихшей землей. Разлив звездного блеска был ярок, почти нестерпим. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же напряженной силой, как и на небе.

Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь, дрожали в воде озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в Старице и Прорве.

К рассвету загорался зеленый Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив. Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн поднимался с другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком.

Звездная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте тростников, в терпком запахе осенней воды.

В конце осени я встретил на Прорве Прохора. Седой и косматый, облепленный рыбьей чешуей, он сидел под кустами тальника и удил окуней. На взгляд Прохору было лет сто, не меньше. Он улыбнулся беззубым ртом, вытащил из кошелки толстого очумелого окуня и похлопал его по жирному боку — похвастался добычей.

До вечера мы удили вместе, жевали черствый хлеб и вполголоса разговаривали о недавнем лесном пожаре.

Он начался около деревушки Лопухи, на поляне, где косари забыли костер. Дул суховей. Огонь быстро погна-

ло на север. Он двигался со скоростью двадцати километров в час. Он гудел, как сотни самолетов, идущих бреющим полетом над землей.

В небе, затянутом дымом, солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала глаза. Падал медленный дождь из золы. Он покрывал серым налетом речную воду. Иногда с неба слетали березовые листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в пыль от малейшего прикосновения.

По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке, по дворам тоскливо мычали коровы, ржали лошади, и на горизонте вспыхивали белые сигнальные ракеты — это красноармейские части, гасившие пожар, предупреждали друг друга о приближении огня.

Возвращались мы с Прорвы к вечеру. Солнце садилось за Окой. Между нами и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Это солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга.

Днем паутина летала по воздуху, запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега Прорвы на другой и медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса. Покрытые паутиной и росами ивы стояли под солнцем, как сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран.

На каждой паутине сидел маленький паук. Он ткал паутину в то время, когда ветер нес его над землей. Он пролетал на паутине десятки километров. Это был перелет пауков, очень похожий на осенний перелет птиц. Но до сих пор никто не знает, зачем каждую осень летят пауки, покрывая землю своей тончайшей пряжей.

Дома я отмыл паутину с лица и затопил печь. Запах березового дыма смешивался с запахом можжевельника. Пел старый сверчок, и под полом ворошились мыши. Они стаскивали в свои норы богатые запасы — забытые сухари и огарки, сахар и окаменелые куски сыра.

Глубокой ночью я проснулся. Кричали вторые петухи, неподвижные звезды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над садом, терпеливо дожидаясь рассвета.

1936

МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ

Не помню, кто из поэтов сказал: «Поэзия всюду, даже в траве. Надо только нагнуться, чтобы поднять ее».

Было раннее утро. Накрапывал дождь. Телега въехала в вековой сосновый лес. В траве, на обочине дороги, что-то белело.

Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую вьюнком. На ней была надпись черной краской. Я отвел мокрые стебли вьюнка и прочел почти забытые слова: «В разны годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я».

— Что это? — спросил я возницу.

— Михайловское,— улыбнулся он.— Отсюда начинается земля Александра Сергеича. Тут всюду такие знаки поставлены.

Потом я натыкался на такие дощечки в самых неожиданых местах: в некошеных лугах над Соротью, на песчаных косогорах по дороге из Михайловского в Тригорское, на берегах озер Маленца и Петровского — всюду звучали из травы, из вереска, из сухой земляники простые пушкинские строфы. Их слушали только листья, птицы да небо — бледное и застенчивое псковское небо. «Прощай, Тригорское, где радость меня встречала столько раз». «Я вижу двух озер лазурные равнины».

Однажды я заблудился в ореховой роще. Едва заметная тропинка терялась между кустами. Должно быть, по этой тропинке раз в неделю пробегала босая девочка с кошелкой черники. Но и здесь, в этой заросли, я увидел белую дощечку. На ней была выдержка из письма Пушкина к Осиповой: «Нельзя ли мне приобрести Савкино? Я построил бы здесь избушку, поместил бы свои книги и приезжал бы проводить несколько месяцев в кругу моих старых и добрых друзей».

Почему эта надпись очутилась здесь, я не мог догадаться. Но вскоре тропинка привела меня в деревушку Савкино. Там под самые крыши низких изб подходили волны спелого овса. В деревушке не было видно ни души; только черный пес с серыми глазами лаял на меня из-за плетня, и тихо шумели вокруг на холмах кряжистые сосны.

Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайлов-

ское. Там было пустынно и тихо. В вышине шли облака. Под ними, по зеленым холмам, по озерам, по дорожкам столетнего парка, проходили тени. Только гудение пчел нарушало безмолвие.

Пчелы собирали мед в высокой липовой аллее, где Пушкин встретился с Анной Керн. Липы уже отцветали. На скамейке под липами часто сидела с книгой в руках маленькая веселая старушка. Старинная бирюзовая брошь была приколота к вороту ее блузки. Старушка читала «Города и годы» Федина. Это была внучка Анны Керн — Аглая Пыжевская, бывшая провинциальная драматическая актриса.

Она помнила свою бабку и охотно рассказывала о ней. Бабку она не любила. Да и мудрено было любить эту выжившую из ума столетнюю старуху, ссорившуюся со своими внучками из-за лучшего куска за обедом. Внучки были сильнее бабки, они всегда отнимали у нее лучшие куски, и Анна Керн плакала от обиды на мерзких девчонок.

Первый раз я встретил внучку Керн на сыпучем косогоре, где росли когда-то три знаменитых сосны. Их сейчас нет. Еще до революции две сосны сожгла молния, а третью спилил ночью мельник-вор из сельца Зимари.

Работники пушкинского заповедника решили посадить на месте старых три новых, молодых сосны. Найти место старых сосен было трудно: от них не осталось даже пней. Тогда созвали стариков колхозников, чтобы точно установить, где эти сосны росли.

Старики спорили весь день. Решение должно было быть единодушным, но трое стариков из Дериглазова шли наперекор. Когда дериглазовских наконец уломали, старики начали мерить шагами косогор, прикидывать и только к вечеру сказали:

— Тут! Это самое место! Можете сажать.

Когда я встретил внучку Керн около трех недавно посаженных молоденьких сосен, она поправляла изгородь, сломанную коровой.

Старушка рассказала мне, посмеиваясь над собой, что вот прижилась в этих пушкинских местах, как кошка, и никак не может уехать в Ленинград. А уезжать давно пора. В Ленинграде она заведовала маленькой библиотекой на Каменном острове. Жила она одна, ни детей, ни родных у нее не было.

— Нет, нет,— говорила она,— вы меня не отговаривайте. Обязательно приеду сюда умирать. Так эти места меня

очаровали, что я больше жить нигде не хочу. Каждый день придумываю какое-нибудь дело, чтобы оттянуть отъезд. Вот теперь хожу по деревням, записываю все, что старики говорят о Пушкине. Только врут старики,— добавила она с грустью.— Вчера один рассказывал, как Пушкина вызвали на собрание государственных держав и спросили: воевать ли с Наполеоном или нет. А Пушкин им и говорит: «Куды вам соваться-то воевать, почтенные государственные державы, когда у вас мужики всю жизнь в одних и тех же портках ходят. Не осилите!»

Внучка Керн была неутомима. Я встречал ее то в Михайловском, то в Тригорском, то в погосте Вороничи, на окраине Тригорского, где я жил в пустой прохладной избе. Всюду она бродила пешком — в дождь и в жару, на рассвете и в сумерки.

Она рассказывала о своей прошлой жизни, о знаменитых провинциальных режиссерах и спившихся трагиках (от этих рассказов оставалось впечатление, что в старые времена были талантливы одни только трагики) и наконец о своих романах.

— Вы не смотрите, что я такая суетливая старушка,— говорила она.— Я была женщина веселая, независимая и красивая. Я могла бы оставить после себя интересные мемуары, да все никак не соберусь написать. Кончу записывать рассказы стариков, буду готовиться к летнему празднику.

Летний праздник бывает в Михайловском каждый год в день рождения Пушкина. Сотни колхозных телег, украшенных лентами и валдайскими бубенцами, съезжаются на луг за Соротью, против пушкинского парка.

На лугах жгут костры, водят хороводы. Поют старые песни и новые частушки:

Наши сосны и озера
Очень замечательны.
Мы Михайловские рощи
Бережем старательно.

Все местные колхозники гордятся земляком Пушкиным и берегут заповедник не хуже, чем свои огороды и поля.

Я жил в Вороничах у сторожа тригорского парка Николая. Хозяйка весь день швырялась посудой и ругала мужа: больно ей нужен такой мужик, который день и ночь прирос к этому парку, домой забегает на час-два, да и то на это время посылает в парк караулить старика тестя или мальчишек.

Однажды Николай зашел домой попить чаю. Не успел он снять шапку, как со двора ворвалась растрепанная хозяйка.

— Иди в парк, шалый! — закричала она.— Я па речке белье полоскала, гляжу, какой-то шпанепок ленинградский прямо в парк прется. Как бы беды пе паделал!

— Что он может сделать? — спросил я.

Николай выскочил за порог.

— Мало ли что,— ответил он па ходу.— Не ровен час, еще ветку какую сломает.

Но все окончилось благополучно. «Шпаненок» оказался известным художником Натаном Альтманом, и Николай успокоился.

В пушкинском заповеднике три огромных парка: Михайловский, Тригорский и Петровский. Все они отличаются друг от друга так же, как отличались их владельцы.

Тригорский парк пропитан солнцем. Такое впечатление остается от него почему-то даже в пасмурные дни. Свет лежит золотыми полянами на веселой траве, зелени лип, обрывах над Соротью и на скамье Евгения Онегина. От этих солнечных пятен глубина парка, погруженная в летний дым, кажется таинственной и нереальной. Этот парк как будто создан для семейных праздников, дружеских бесед, для танцев при свечах под черными шатрами листьев, девичьего смеха и шутливых признаний. Он полон Пушкиным и Языковым.

Михайловский парк — приют отшельника. Это парк, где трудно веселиться. Он создан для одиночества и размышлений. Он немного угрюм со своими вековыми елями, высок, молчалив и незаметно переходит в такие же величественные, как и он сам, столетние и пустынные леса. Только на окраинах парка сквозь сумрак, всегда присутствующий под сводами старых деревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, и пруд с тихой водой. В него десятками сыплются маленькие лягушки.

Главная прелесть Михайловского парка в обрыве над Соротью и в домике няни Арины Родионовны — единственном домике, оставшемся от времен Пушкина. Домик так мал и трогателен, что даже страшно подняться на его ветхое крыльцо. А с обрыва над Соротью видны два синих озера, лесистый холм и наше вековечно скромное небо с уснувшими на нем облаками.

В Петровском парке был дом пушкинского деда — строптивого и мрачного Ганнибала. Петровский парк хо-

рошо виден из Михайловского за озером Кучане (оно же Петровское). Он черен, сыр, зарос лопухами, в него входишь, как в погреб. В лопухах пасутся стреноженные лошади. Крапива глушит цветы, а по вечерам парк стонет от гомона лягушек. На вершинах темных деревьев гнездятся хриплые галки.

Как-то на обратном пути из Петровского в Михайловское я заблудился в лесных оврагах. Бормотали под корнями ручьи, на дне оврага светились маленькие озера. Солнце садилось. Неподвижный воздух был красноват и горяч.

С одной из лесных полян я увидел высокую многоцветную грозу. Она подымалась над Михайловским, росла на вечернем небе, как громадный средневековый город, окруженный белыми башнями. Глухой пушечный гром долетал от нее, и ветер вдруг прошумел на поляне и затих в зарослях.

Трудно было представить себе, что по этим простым дорогам со следами лаптей, по муравейникам и узловатым корням шагал пушкинский верховой конь и легко нес своего молчаливого всадника.

Я вспоминаю леса, озера, парки и небо. Это почти единственное, что уцелело здесь от пушкинских времен. Здешняя природа не тронута никем. Ее очень берегут. Когда понадобилось провести в заповедник электричество, то провода решили вести под землей, чтобы не ставить столбов. Столбы сразу бы разрушили пушкинское очарование этих пустынных мест.

В погосте Вороничи, где я жил, стояла деревянная ветхая церковь. Все ее звали церквушкой. Иначе и нельзя было назвать эту нахохленную, заросшую по крышу желтыми лишаями церковь, едва заметную сквозь гущу бузины. В этой церкви Пушкин служил панихиду по Георгу Байрону.

Паперть церкви была засыпана смолистыми сосновыми стружками. Рядом с церковью строили школу.

Один только раз за все время, пока я жил в Вороничах, приковылял к церкви горбатый священник в рваной соломенной шляпе. Он осторожно прислонил к липе ореховые удочки и открыл тяжелый замок на церковных дверях. В тот день в Вороничах умер столетний старик, и его принесли отпевать. После отпевания священник снова взял свои удочки и поплелся на Сороть — ловить голавлей и плотиц.

Плотники, строившие школу, поглядели ему вслед, и один из них сказал:

— Снчтожилось духовное сословие! При Александре Сергеиче в Вороничах был не поп, а чистый бригадный генерал. Вредный был иерей. Недаром Александр Сергеич и прозвание ему придумал «Шкода». А на этого поглядишь — совсем Кузька, одна шляпа над травой мотается.

— Куда только их сила подевалась? — пробормотал другой плотник.— Где теперя их шелка-бархата?

Плотники вытерли потные лбы, застучали топорами, и на землю полетели дождем свежие, пахучие стружки.

В Тригорском парке я несколько раз встречал высокого человека. Он бродил по глухим дорожкам, останавливался среди кустов и долго рассматривал листья. Иногда срывал стебель травы и изучал его через маленькое увеличительное стекло.

Как-то около пруда, вблизи развалин дома Осиповых, меня застал крупный дождь. Он внезапно и весело зашумел с неба. Я спрятался под липой, и туда же не спеша пришел высокий человек. Мы разговорились. Человек этот оказался учителем географии из Череповца.

— Вы, должно быть, не только географ, но и ботаник? — сказал я ему.— Я видел, как вы рассматривали растения.

Высокий человек усмехнулся:

— Нет, я просто люблю искать в окружающем что-нибудь новое. Здесь я уже третье лето, но не знаю и малой доли того, что можно узнать об этих местах.

Говорил он тихо, неохотно. Разговор оборвался.

Второй раз мы встретились на берегу озера Маленец, у подножия лесистого холма. Как во сне шумели сосны. Под их кронами качался от ветра лесной полусвет. Высокий человек лежал в траве и рассматривал сквозь увеличительное стекло голубое перо сойки. Я сел рядом с ним, и он, усмехаясь и часто останавливаясь, рассказал мне историю своей привязанности к Михайловскому.

— Мой отец служил бухгалтером в больнице в Вологде,— сказал он.— В общем, был жалкий старик — пьяница и хвастун. Даже во время самой отчаянной нужды он носил застиранную крахмальную манишку, гордился своим происхождением. Он был обрусевший литвин из рода каких-то Ягеллонов. Под пьяную руку он порол меня беспощадно. Нас было шестеро детей. Жили мы все в одной комнате, в грязи и беспорядке, в постоянных ссорах и униже-

нии. Детство было отвратительное. Когда отец напивался, он начинал читать стихи Пушкина и рыдать. Слезы капали на его крахмальную манишку, он мял ее, рвал на себе и кричал, что Пушкин — это единственный луч солнца в жизни таких проклятых нищих, как мы. Он не помнил ни одного пушкинского стихотворения до конца. Он только начинал читать, но ни разу не оканчивал. Это меня злило, хотя мне было тогда всего восемь лет и я едва умел разбирать печатные буквы. Я решил прочесть пушкинские стихи до конца и пошел в городскую библиотеку. Я долго стоял у дверей, пока библиотекарша не окликнула меня и не спросила, что мне нужно.

— Пушкина,— сказал я грубо.

— Ты хочешь сказки? — спросила она.

— Нет, не сказки, а Пушкина,— повторил я упрямо.

Она дала мне толстый том. Я сел в углу у окна, раскрыл книгу и заплакал. Я заплакал потому, что только сейчас, открыв книгу, я понял, что не могу прочесть ее, что я совсем еще не умею читать и что за этими строчками прячется заманчивый мир, о котором рыдал пьяный отец. Со слов отца я знал тогда наизусть всего две пушкинские строчки: «Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края»,— но этого для меня было довольно, чтобы представить себе иную жизнь, чем наша. Вообразите себе человека, который десятки лет сидел в одиночке. Наконец ему устроили побег, достали ключи от тюремных ворот, и вот он, подойдя к воротам, за которыми свобода, и люди, и леса, и реки, вдруг убеждается, что не знает, как этим ключом открыть замок. Громадный мир шумит всего в сантиметре за железными листами двери, но нужно знать пустяковый секрет, чтобы открыть замок, а секрет этот беглецу неизвестен. Он слышит тревогу за своей спиной, знает, что его сейчас схватят и что до смерти будет все то же, что было: грязное окно под потолком камеры, вонь от крыс и отчаяние. Вот примерно то же самое пережил я над томом Пушкина. Библиотекарша заметила, что я плачу, подошла ко мне, взяла книгу и сказала:

— Что ты, мальчик? О чем ты плачешь? Ведь ты и книгу-то держишь вверх ногами!

Она засмеялась, а я ушел. С тех пор я полюбил Пушкина. Вот уже третий год приезжаю в Михайловское.

Высокий человек замолчал. Мы долго еще лежали на траве. За изгибами Сороти, в лугах, едва слышно пел рожок.

В нескольких километрах от Михайловского, на высоком бугре, стоит Святогорский монастырь. Под стеной монастыря похоронен Пушкин. Вокруг монастыря поселок — Пушкинские Горы.

Поселок завален сеном. По громадным булыжникам день и ночь медленно грохочут телеги: свозят в Пушкинские Горы сухое сено. От лабазов и лавок несет рогожами, копченой рыбой и дешевым ситцем. Ситец пахнет, как столярный клей.

Единственный трактир звенит жидким, но непрерывным звоном стаканов и чайников. Там до потолка стоит пар, и в этом пару неторопливо пьют чай с краюхами серого хлеба потные колхозники и черные старики времен Ивана Грозного. Откуда берутся здесь эти старики — пергаментные, с пронзительными глазами, с глухим, каркающим голосом, похожие на юродивых,— никто не знает. Но их много. Должно быть, их было еще больше при Пушкине, когда он писал здесь «Бориса Годунова».

К могиле Пушкина надо идти через пустынные монастырские дворы и подыматься по выветренной каменной лестнице. Лестница приводит на вершину холма, к обветшалым стенам собора.

Под этими стенами, над крутым обрывом, в тени лип, на земле, засыпанной пожелтевшими лепестками, белеет могила Пушкина.

Короткая надпись «Александр Сергеевич Пушкин», безлюдье, стук телег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе,— это все. Здесь конец блистательной, взволнованной и гениальной жизни. Здесь могила, известная всему человечеству, здесь тот «милый предел», о котором Пушкин говорил еще при жизни. Пахнет бурьяном, корой, устоявшимся летом.

И здесь, на этой простой могиле, куда долетают хриплые крики петухов, становится особенно ясно, что Пушкин был первым у нас народным поэтом.

Он похоронен в грубой песчаной земле, где растут лен и крапива, в глухой народной стороне. С его могильного холма видны темные леса Михайловского и далекие грозы, что ходят хороводом над светлой Соротью, над Савкиным, над Тригорским, над скромными и необъятными полями, несущими его обновленной силой земле покой и богатство.

1936

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался. Он не понимал, что это значит. Родина, земля отцов, страна, где он родился,— в конечном счете не все ли равно, где человек появился на свет. Один его товарищ даже родился в океане на грузовом пароходе между Америкой и Европой.

— Где родина этого человека? — спрашивал себя Берг.— Неужели океан — эта монотонная равнина воды, черная от ветра и гнетущая сердце постоянной тревогой?

Берг видел океан. Когда он учился живописи в Париже, ему случалось бывать на берегах Ла-Манша. Океан был ему не сродни.

Земля отцов! Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому еврейскому городку на Днепре, где его дед ослеп за дратвой и сапожным шилом.

Родной город вспоминался всегда как выцветшая и плохо написанная картина, густо засиженная мухами. Он вспоминался как пыль, сладкая вонь помоек, сухие тополя, грязные облака над окраинами, где в казармах муштровали солдат — защитников отечества.

Во время гражданской войны Берг не замечал тех мест, где ему приходилось драться. Он насмешливо пожимал плечами, когда бойцы с особенным светом в глазах говорили, что вот, мол, скоро отобьем у белых свои родные места и напоим коней водой из родимого Дона.

— Трепотня! — мрачно говорил Берг.— У таких, как мы, нет и не может быть родины.

— Эх, Берг, сухарная душа! — с тяжелым укором отвечали бойцы.— Какой с тебя боец и создатель новой жизни, когда ты землю не любишь, чудак. А еще художник!

Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. Он предпочитал портрет, жанр и, наконец, плакат. Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей.

Годы проходили над Советской страной, как широкий ветер,— прекрасные годы труда и преодолений. Годы накапливали опыт, традиции. Жизнь поворачивалась, как призма, новой гранью, и в ней свежо и временами не совсем для Берга понятно преломлялись старые чувства —

любовь, ненависть, мужество, страдание и, наконец, чувство родины.

Как-то ранней осенью Берг получил письмо от художника Ярцева. Он звал его приехать в муромские леса, где проводил лето. Берг дружил с Ярцевым и, кроме того, несколько лет не уезжал из Москвы. Он поехал.

На глухой станции за Владимиром Берг пересел на поезд узкоколейной дороги.

Август стоял жаркий и безветренный. В поезде пахло ржаным хлебом. Берг сидел на подножке вагона, жадно дышал, и ему казалось, что он дышит не воздухом, а удивительным солнечным светом.

Кузнечики кричали на полянах, заросших белой засохшей гвоздикой. На полустанках пахло немудрыми полевыми цветами.

Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с черной водой. Он снимал избу у лесника.

Вез Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов — сутулый и застенчивый мальчик.

Телега стучала по корням, скрипела в глубоких песках. Иволги печально свистели в перелесках. Желтый лист изредка падал на дорогу. Розовые облака стояли высоко в небе над вершинами мачтовых сосен.

Берг лежал в телеге, и сердце у него глухо и тяжело билось.

«Должно быть, от воздуха»,— думал Берг.

Озеро Берг увидел внезапно сквозь чащу поредевших лесов. Оно лежало косо, как бы подымалось к горизонту, а за ним просвечивали сквозь тонкую мглу заросли золотых берез. Мгла над озером висела от недавних лесных пожаров. По черной, как деготь, прозрачной воде плавали палые листья.

На озере Берг прожил около месяца. Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. Он привез только маленькую коробку с французской акварелью Лефранка, сохранившуюся еще от парижских времен. Берг очень дорожил этими красками.

Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. Особенно его поразил бересклет,— его черные ягоды были спрятаны в венчик из карминных лепестков. Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, длинную хвою, листья осин, где по лимонному полю были разбросаны черные и синие

пятна, хрупкие лишаи и вянущую гвоздику. Он тщательно рассматривал осенние листья с изнанки, где желтизна была чуть тронута легкой свинцовой изморозью.

В озере бегали оливковые жуки-плавунцы, тусклыми молниями играла рыба, и последние лилии лежали на тихой поверхности воды, как на черном стекле.

В жаркие дни Берг слышал в лесу тихий дрожащий звон. Звенела жара, сухие травы, жуки и кузнечики. На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг, и Ваня каждый раз говорил Бергу:

— Кажись, кидают нас птицы, летят к теплым морям.

Берг впервые почувствовал глупую обиду,— журавли показались ему предателями. Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный безымянных озер, непролазных зарослей, сухой листвы, мерного гула сосен и воздуха, пахнущего смолой и болотными мхами.

— Чудаки! — замечал Берг, и чувство обиды за пустеющие с каждым днем леса уже не казалось ему смешным и ребяческим.

В лесу Берг встретил однажды бабку Татьяну. Она приплелась издалека, из Заборья, по грибы.

Берг побродил с ней по чащам и послушал неторопливые Татьянины рассказы. От нее он узнал, что их край — лесная глухомань — был знаменит с давних-предавних времен своими живописцами. Татьяна называла ему имена знаменитых кустарей, расписывавших деревянные ложки и блюда золотом и киноварью, но Берг никогда не слышал этих имен и краснел.

Разговаривал Берг мало. Изредка он перебрасывался несколькими словами с Ярцевым. Ярцев целые дни читал, сидя на берегу озера. Говорить ему тоже не хотелось.

В сентябре пошли дожди. Они шуршали в траве. Воздух от них потеплел, а прибрежные заросли запахли дико и остро, как мокрая звериная шкура.

По ночам дожди неторопливо шумели в лесах по глухим, неведомо куда ведущим дорогам, по тесовой крыше сторожки, и казалось, что им так и на роду написано моросить всю осень над этой лесной страной.

Ярцев собрался уезжать. Берг рассердился. Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени. Желание Ярцева уехать Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлет журавлей,— это была измена. Чему? На этот

вопрос Берг вряд ли мог ответить. Измена лесам, озерам, осени, наконец, теплому небу, моросившему частым дождем.

— Я остаюсь,— сказал Берг резко.— Можете бежать, это ваше дело, а я хочу написать эту осень.

Ярцев уехал. На следующий день Берг проснулся от солнца. Дождя не было. Легкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью сияла тихая синева.

Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его выспренним и лишенным ясного смысла. Но теперь он понял, как точно это слово передает тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца.

Паутина летала над озером, каждый желтый лист на траве горел от света, как бронзовый слиток. Ветер нес запахи лесной горечи и вянущих трав.

Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошел на озеро. Ваня перевез его на дальний берег.

Берг торопился. Леса, наискось освещенные солнцем, казались ему грудами легкой медной руды. Задумчиво свистели в синем воздухе последние птицы, и облака растворялись в небе, подымаясь к зениту.

Берг торопился. Он хотел всю силу красок, все умение своих рук и зоркого глаза, все то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто.

Берг работал как одержимый, пел и кричал. Ваня его никогда таким не видел. Он следил за каждым движением Берга, менял ему воду для красок и подавал из коробки фарфоровые чашечки с краской.

Глухой сумрак прошел внезапной волной по листве. Золото меркло. Воздух тускнел. Далекий грозный ропот прокатился от края до края лесов и замер где-то над гарями. Берг не оборачивался.

— Гроза заходит! — крикнул Ваня.— Надо домой!

— Осенняя гроза,— ответил рассеянно Берг и начал работать еще лихорадочнее.

Гром расколол небо, вздрогнула черная вода, но в лесах еще бродили последние отблески солнца. Берг торопился.

Ваня потянул его руку:

— Глянь назад. Глянь, страх какой!

Берг не обернулся. Спиной он чувствовал, что сзади идет дикая тьма, пыль,— уже листья летели ливнем, и,

спасаясь от грозы, низко неслись над мелколесьем испуганные птицы.

Берг торопился. Оставалось всего несколько мазков.

Ваня схватил его за руку. Берг услышал стремительный гул, будто океаны шли на него, затопляя леса.

Тогда Берг оглянулся. Черный дым падал на озеро. Леса качались. За ними свинцовой стеной шумел ливень, изрезанный трещинами молний. Первая тяжелая капля щелкнула по руке.

Берг быстро спрятал этюд в ящик, снял куртку, обернул ею ящик и схватил маленькую коробку с акварелью. В лицо ударила водяная пыль. Метелью закружились и залепили глаза мокрые листья.

Молния расколола соседнюю сосну. Берг оглох. Ливень обрушился с низкого неба, и Берг с Ваней бросились к челну.

Мокрые и дрожащие от холода Берг и Ваня через час добрались до сторожки. В сторожке Берг обнаружил пропажу коробочки с акварелью. Краски были потеряны,— великолепные краски Лефранка. Берг искал их два дня, но, конечно, ничего не нашел.

Через два месяца в Москве Берг получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, товарищ Берг,— писал Ваня.— Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам доставить. Как вы уехали, я искал их две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл — потому уже были дожди,— заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Папаня говорит, что было у меня воспаление в легких. Так что вы не сердитесь.

Пришлите мне, если есть какая возможность, книгу про наши леса и всякие деревья и цветных карандашей — очень мне охота рисовать. У нас уже падал снег, да стаял, а в лесу, где под какой елочкой,— смотришь, и сидит заяц. Летом очень будем вас ждать в наши родные места.

Остаюсь *Ваня Зотов.*»

Вместе с письмом Вани принесли извещение о выставке,— Берг должен был в ней участвовать. Его просили сообщить, сколько своих вещей и под каким названием он выставит.

Берг сел к столу и быстро написал:

«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом,— мой первый пейзаж».

Была полночь. Мохнатый снег падал снаружи на подоконники, светился магическим огнем — отблеском уличных фонарей. В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. Мерно и далеко били часы на Спасской башне. Потом они заиграли «Интернационал».

Берг долго сидел, улыбаясь. Конечно, краски Лефранка он подарит Ване.

Берг хотел проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство родины. Оно зрело годами, десятилетиями революционных лет, но последний толчок дал лесной край, осень, крики журавлей и Ваня Зотов. Почему? Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так.

— Эх, Берг, сухарная душа! — вспомнил он слова бойцов.— Какой с тебя боец и создатель новой жизни, когда ты землю свою не любишь, чудак!

Бойцы были правы. Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, не только своей преданностью революции, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь теплой, веселой и во сто крат более прекрасной, чем раньше.

1936

ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар.— Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный,— хриплым шепотом сказал Ваня.— Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу.— Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц,— сказал тихо Ваня.— На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.

— Не умреть, малый,— прошамкала Анисья.— Скажи дедушке свому, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня.— Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел,— повторил Ваня, и голос его задрожал.— Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и

солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь.— Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу.— Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар,— сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром.— Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно,— упрямо пробормотал дед.— Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями,— волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь *Ларион Малявин*».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег

озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед,— оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да,— сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной,— да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

1937

ПАРУСНЫЙ МАСТЕР

Старик с копченой кефалью, засунутой в карман пиджака, сел в автобус около вокзала. Северный ветер дул над Севастополем. Синие холодные крейсера скрипели на якорях в бухте, и, как всегда зимой, тяжело стонал на рейде плавучий бакен-ревун. Ветер прижимал к севастопольским желтым холмам снеговые тучи, и все заметнее иссякал хмурый свет.

Старик с кефалью сердито посмотрел на небо.

— У нас в Крыму,— сказал он,— все одно что у людей, что у погоды — нету дисциплины. Где сегодня холод, там завтра жара.

Озябшие пассажиры молчали. Старик вытащил из кармана кефаль и книгу Жюля Верна. Кефаль он засунул обратно в карман, а книгу начал было читать, но автобус внезапно заревел, сорвался с места, начал набирать высоту по белому шоссе, и читать стало невозможно: книга мелко тряслась в руке и сами собой перелистывались страницы.

— Интересная книга? — спросил старика моряк с серебряными нашивками, должно быть морской инженер.

— Было бы интересно,— ответил старик,— когда бы я читал для удовольствия, а то приходится читать по долгу службы, морочить себе, старому, голову.

— А вы чем занимаетесь?

— Я парусным делом занимаюсь. Сорок лет шью паруса.

— Зачем же вам Жюль Верн?

— А затем, что наше дело погибло,— ответил старик.— Не стало парусного дела в республике. Дед мой работал для линейного флота. Так вшивал фалы, что самый здоровый шкипер не мог их оторвать на спор руками. Отец тоже всю жизнь старался, шил помалу паруса для трамбаков. Было это в стариковские времена. А теперь пошли пароходы, моторы — стук, гром,— об ветре теперь никто и не беспокоится. Ветер теперь ни к чему! Кому он сдался? Одной голытьбе — рыбакам. Кто мотор купить не осилит, тот сейчас бежит до меня: «Сшей, дядя Федя, паруса, будь другом». Паруса! — сказал старик, помолчав.— Из парусных кораблей остался у нас один «Товарищ». Мы с ним вдвоем и бедуем, старики. А какой корабль! Как невеста! В океаны ходил, брал в шторм все паруса, падал на борт, гнал пену и пел, как скрипка,— даже зависть брала заграничных шкиперов. Идет «Товарищ», будто из снега, горит

на волне, а пароходы ему сигналы подымают: «Счастливого плавания старшему брату, последнему парусному кораблю».

Моряк усмехнулся.

— Думаете, я брешу? — рассердился парусный мастер.— Пусть береговые брешут, а нам, морским, брехать нет надобности! У нас и без брехни найдутся дела. Когда, положим, паруса набирают полный ветер, кто скажет, что некрасиво? Разве какой-нибудь дурак с пароходной команды, серый сиволап. Или, скажем, корабль идет при слабом бризе, паруса колыхаются на солнце, белый свет от них льется кругом, даже глазам больно. Теперь белых парусов давно не шьют, начали их смолить от сырости. Теперь парус черный, как воронье крыло,— глядеть на него противно!

— Верно! — согласился белобрысый моряк.— Но какое же у вас общее дело с Жюлем Верном?

— Как какое! — изумился старик.— Я такие паруса сшил, что загнал Жюля Верна с его парусными кораблями на самое дно в бутылку. Он в гробу двадцать раз перевернулся от зависти, ваш Жюль Верн, пока я те паруса работал.

Все молчали. Суровые горы, присыпанные снегом, стояли впереди.

Машина неслась к ним, дрожа и рявкая на поворотах. Всех занимала мысль, как она прорвется через стену гор, казавшуюся непроходимой.

— Сколько нас, стариков, в Севастополе,— сказал горестно парусный мастер,— это даже удивительно! Пойдите на Корабельную,— по всем дворам одни старики сидят. Хлеб кушать за одну свою старость — тоже как будто обидно, и выходит так, что старички наши хитрят и к малым детям пристраиваются. Одни внуков нянчат, другие игрушки стругают на продажу. И я для детей тоже стараюсь.

— Игрушки делаете? — вяло спросил моряк. Он сильно озяб. Машина приближалась к снегам, и моряку уже не хотелось ни спрашивать, ни слушать.

— Зачем игрушки! — возразил старик.— Игрушки за меня пусть швейцарский адмирал делает, я мелкой работой не интересуюсь. Может, читали в газетах, что в Ялте снимают картину для кино по книге Жюля Верна? Перешили под кино этого француза, достали азовскую шхуну, починили, сделали из нее вроде как стариннейший клипер

и написали на корме имя «Марианна». Для съемки! А паруса для «Марианны» заказали мне — Федору Марченке. Врать не буду, сшил я паруса на красоту, даже Ханов — последний парусный капитан на весь Советский Союз — и тот удивлялся. «Ты, говорит, Федя, не паруса сшил, а лебединые крылья. Надо тебя объявить, говорит, народным парусным мастером нашей республики». У него из всего получается смех, у Ханова. А я над теми парусами чуть не ослеп.

— Ай, как старался! — сказал насмешливый толстый пассажир.— Тысячи зарабатывал.

— Не к месту ты ввязался, базарная душа! — рассердился мастер.— Подавись моими тысячами! Мне денег не надо, я на одной кефальке проживу.

— А чего же тебе надо? — удивился пассажир.

— Сроду ты не поймешь из-за грубости из-за своей. Надо мне, чтобы многие тысячи людей смотрели ту картину и удивлялись великолепным парусам и большую любовь получали до моря. Дети будут радоваться на «Марианну», а может, где и какой тертый моряк посмотрит и скажет: «Да, знаменитый мастер шил паруса, честь ему и слава от всего морского населения, от всех, кто понимает! Почет Марченке и Жюлю Верну, что сработали такую красоту, и вечная память!»

Машина вошла в снежные горы. Старик пытался рассказать, что едет в Ялту, чтобы исправить второй кливер, потому что, судя по Жюлю Верну, со вторым кливером вышло у него, у Марченко, не совсем удачно,— но его уже никто не слушал.

Леса, будто выкованные из тонкого олова, сверкали под декабрьским небосклоном. Стеклянный блеск играл на горах, засыпанных легкими снегами. Солнце, похожее на золотой запушенный плод, неслось за прозрачной листвой деревьев, зажигая в ней ослепительные пожары.

Хлопья снега лежали на кустах, как мохнатые цветы, рядом с серыми пушистыми шарами волокнистых семян. Плющ плотно сжимал белые стволы деревьев. При каждом взгляде на его живую зелень было ясно, что тут же, за перевалом, Черное море бьет о каменистые берега прозрачной водой и мерно качает от горизонта до горизонта глубокий теплый воздух.

Шофер гудел клаксоном, и горное эхо катилось навстречу машине. Непрочный снег слетал с деревьев, обнажая стволы, позеленевшие, как бронза.

Парусный мастер сидел с закрытыми глазами. Из-под красных сморщенных век текли слезы. Внезапная зима летела навстречу и ослепляла его своим невыносимым светом.

За перевалом неожиданное море встало в глазах глухой высокой тучей, и начался спуск к Ялте.

В Ялте парусный мастер пошел в гостиницу, где жил режиссер. В гостинице пахло пыльными коврами, застоявшимся одеколоном, шашлыком.

Режиссер в лиловой пижаме сидел за круглым столом и пил кофе.

— Какой кливер? Зачем? — морщась, говорил режиссер.— Съемка корабля давно закончена. Сейчас мы работаем в павильоне.

— Хочу я вас попросить,— сказал Марченко, замирая от робости. Ему казалось, что он говорит с этим брезгливым человеком не теми словами, какие нужны, говорит как будто совсем не по-русски и режиссер его не поймет.— Хочу я вас попросить напечатать и мое имя на картине.

— Зачем? — равнодушно спросил режиссер.

— Может, где какой моряк прочтет и помянет меня добрым словом.

Режиссер поморщился.

— Вы же бутафор,— сказал он и закурил сигарету. Дым висел пластами над вазой с пирожными.— Зачем вам реклама? Кроме нас, больше никто в мире не закажет вам таких парусов. Парусных кораблей не будет!

— Оно, конечно, так...— пробормотал Марченко.— Нет у нас парусного дела. Мне заказов не нужно, я на фелюжников буду по малости работать.

— Так что же вам, собственно, нужно?

— Простите за мою дурость, за беспокойство,— сказал Марченко.— Нету у меня возможности рассказать вам про свою заветную думку. Да и шут с ней теперь, с той думкой!

— На сегодняшний день,— сказал раздельно режиссер,— я не вижу необходимости упоминать в картине имя случайного бутафора. У нас и так упоминается сорок имен. Но, в общем, я подумаю.

Марченко вышел на набережную и сел на скамейку. Ненужная, давно снятая на пленку «Марианна» качалась на якорях и робко, будто заискивая, кланялась морю.

Вдруг Марченко встал и торопливо пошел к «Марианне» — на ней медленно падали с рей и развертывались па-

руса. Солнце садилось, и его последний свет придавал холсту легкость самой тончайшей ткани.

— Чего паруса подымаете? — закричал с берега Марченко.

— Почтение и низкий поклон дяде Феде,— ответил с бака старый рябой матрос Низовой.— Подымаем сушить. С утра дождем промочило. Заходите до кубрика потолковать.

В кубрике Марченко рассказал Низовому о разговоре с режиссером.

— Неспокойный ты старик, Федя,— просипел Низовой, выковыривая ножом пробку из бутылки кислого вина.— Чего ты зажурился? Ты плюнь! Я так считаю: чи будет на той картине твое имя-отчество, чи совсем его не будет, твои паруса свое возьмут. Кругом возьмут: и в Ялте, и в Одессе, и, скажем, во всей республике. Когда уважение чужому человеку делаешь, он тебя не пытает, кто ты да что ты, и ты сам с этим делом до него не лезешь.

— Зачем лезу,— сказал Марченко.— Я не лезу, ни-ни! Мне бы одного надо — приохотить людей до моего парусного дела.

— Приохотишь,— сказал Низовой.

— Приохочу!

— Через ту картину?

— А хоть бы и через картину.

— И паруса твои свое возьмут.

— Возьмут!

— Ну, тогда наливай шкалик и вытягай с кармана свою кефальку.

Старики пили и шумно беседовали до позднего вечера. В иллюминаторы заглядывали портовые огни. Они качались на волнах и то подплывали к «Марианне», как будто стараясь подслушать разговор стариков, то отскакивали и тонули в темноте.

1937

КОЛОТЫЙ САХАР

Северным летом я приехал в городок Вознесенье, на Онежском озере.

Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на севере, по-

тому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках.

Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер, и все еще дышит оттуда запахом снега.

В садах отцветали березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснушчатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани! Давай не безобразничать! — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком.

Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник: «лимитировать расходы на дорогу», «сделать засъемку», «организовать закуску», «перекрыть нормы по линии лесосплава»...

Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом.

В горнице вязала за столом старуха в железных очках

и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами.

— Бабушка,— сказала девочка и показала на меня куклой,— вот заезжий просится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в пояс.

— Ночуй, желанный,— сказала она нараспев.— Ночуй, будь гостем дорогим. Только тесно у нас, не взыщи,— придется на полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка,— придирчиво сказал человек, стриженный бобриком.

Тогда старик открыл глаза — они были у него почти белые, как у слепого,— и медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи — притерпишься.

— Имей в виду, гражданин,— сказал человек, стриженный бобриком,— с кем разговариваешь! Должно, в милиции не сидел!

Старик молчал.

— Ох, батюшка,— жалобно пропела старуха,— не обижайся на странника! Бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?

Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу.

— Безусловно, чуждый старик,— сказал он с торжеством.— Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду,— ответил спокойно старик.— Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?

— Сеятель я и собиратель,— так же спокойно ответил старик.— В юности хлеб сеял и хлеб собирал, нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я,— вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться.

Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал.

— Документы есть?

— Есть-то есть, только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие.

— Ну,— сказал человек, стриженный бобриком,— мы найдем того, для кого они писаны.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Сырой человек, неспелый,— сказал, помолчав, старик.— От таких бывает в жизни одна суета.

Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нету у нее в доме ни кусочка сахара: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом.

За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило,— давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном, у калитки соседнего дома, стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки,— сказала старуха.— Дочери капитанов. На лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.

— Ведет! — сказал он горестно.— Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку.

Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый озабоченный милиционер — тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.

— А ну, давай, дед,— сурово сказал милиционер,— давай выясняй свою личность! Налаживай документы!

— Личность моя простая,— ответил старик,— только рассказывать долго. Садись, слушай.

— Ты поскорей! — сказал милиционер.— Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить.

— В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем, в отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел, помру я не нынче-завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть.

— Ну, давай,— согласился милиционер.— Только не путай!

— Зачем путать! Жизнь моя чистая, ее не запутаешь. Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики

да певуны. Дед мой Прохор был великий певец, по всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку дадон, и дед мой берег, да не уберег — сорвался. Может, знаешь иль нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся:

— Еще бы не знать-то!

— Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка,— такой красоты слова — лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

> Эх, по белым полям, по широким
> Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью.

— Да,— вздохнул старик,— многие времена прошли, умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать по спешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» — «Пушкина,— говорит жандарм.— Убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел».— «Ну, так теперь петь не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда

на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким...

Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом.

— От сердца, значит, пел,— пробормотал, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца делать,— сказал старик.— А ты ко мне пристаешь, кто я да что. Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое,— оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плевый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия. А об документе ты не тревожься, документ я тебе покажу.

Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку.

— На, читай!

— Зачем мне читать! — обиделся милиционер.— Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин,— милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком,— лучше шли бы ночевать в Дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел:

«Дано это удостоверение Александру Федосьеву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской Республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь».

— Эх, горе! — сказал старик.— Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из

окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки.

— Давай отнеси дедушке,— сказал он и густо покраснел.— Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться.

Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся.

— Жил бы я,— сказал он, вытирая слезящиеся глаза,— еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской, и-и-и как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы — прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный,— сказала старуха.— У тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун-траву, разросшуюся по берегам.

Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг — неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.

1937

ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Все описанное ниже не заключает в себе ничего значительного и является только проверкой собственной памяти. Дело идет об одном дне. Он заранее был признан нами потерянным.

Началось с того, что мы трое пошли вечером на ялтинскую пристань, чтобы купить на проходящем теплоходе мандарины. Неожиданно Осипов предложил нам поехать на один день в Феодосию и вернуться на автобусе через Симферополь.

Мы подсчитали деньги и согласились: денег хватало. Самая бесцельность этой поездки казалась нам вначале интересной, но как только теплоход отвалил, Берг впал в мрачность и сказал, что мы дураки, потому что воруем у себя дорогое время и бессмысленно отрываемся от работы. Я был готов согласиться с Бергом, но Осипов резко возразил и даже обозвал Берга «скучным типом».

В курительной рубке теплохода Осипов написал на клочке бумаги несколько цифр и долго их рассматривал.

Огонь маяка качался за иллюминатором. Он то разгорался, то бледнел от усталости. Ему трудно было без конца пробивать слабым лучом вязкую декабрьскую ночь.

Я заглянул через плечо Осипова и увидел ряд чисел. Около последней цифры «180» Осипов написал «180 книг за 20 лет своей жизни».

— Что это значит? — спросил я, предчувствуя новую выдумку.

— Это значит,— ответил Осипов,— что за двадцать лет моей сознательной жизни (во время этого разговора Осипову уже перевалило за сорок) я мог бы написать сто восемьдесят книг. Самый плодовитый писатель, даже Бальзак, и тот бы не угнался за мной.

Я представил себе Бальзака, занятого этим невероятным соревнованием. Густо исписанные листы бумаги падали со стола и разлетались по комнате. Один лист проскользнул под дверь, и рыжая комнатная собака сжевала его и выплюнула с отвращением. Бальзак не знал, что связь романа нарушена негодной собакой и страница, полная гнева и гениальной болтовни, уничтожена навсегда.

Он писал. Он торопился. Сизый табачный воздух клокотал в его бронхах. На камине слишком быстро стучали старые швейцарские часы. Их звон сливался в непрерывный раздражающий гул. Только что они били шесть часов утра, сейчас бьют полдень, а еще через двадцать страниц будут бить снова шесть медных бесцеремонных ударов. Часам было все равно.

Брызги срывались с пера. Прядь волос падала на глаза, но жаль было тратить время на то, чтобы ее откинуть,— не только жаль, но даже опасно. Бальзак знал, что каждое неосторожное движение может внезапно остановить поток мыслей, сравнений, человеческих голосов, лившихся на бумагу.

Тогда начнется головная боль, и, как всегда в таких случаях, покажется, что рука никогда уже не выведет на бумаге ни одной талантливой строчки.

Бальзаку казалось, будто сложный оркестр играет в его сознании симфонию, и надо успеть ее записать, пока не лопнули перетертые струны и не упали головами на пюпитры обессиленные музыканты.

Я открыл глаза и вместо бальзаковского кабинета, заваленного гранками и порванными счетами из типографии, увидел глаз маяка, косо уходящий вниз. Глаз мигнул и погас.

— Зачем он мигает? — спросил я Осипова.

— Это проблесковый маяк на Меганоме. Слушайте дальше. Если мы примем за истину простую мысль, что каждый день нашей жизни заслуживает описания, то придем к неожиданным выводам. В году примерно триста шестьдесят дней. Вот уже двадцать лет я живу более или менее сознательной жизнью и могу описать каждый день этой жизни не меньше чем на пяти страницах. Значит, за эти двадцать лет я могу описать семь тысяч двести дней на тридцати шести тысячах страниц. Лучший размер книги — двести страниц. Я делю тридцать шесть тысяч на двести и получаю сто восемьдесят книг.

— Почему же вы их не написали, эти сто восемьдесят книг? — спросил я, уже раздражаясь от бесплодной болтовни.

— Не догадался,— ответил Осипов.

— Кошмарные разговоры! — пробормотал Берг.

Мне не хотелось спорить с Осиповым. Теплоход тяжело и медленно качало.

— Далеко не каждый день заслуживает описания,— возразил я равнодушно.— Бывают пустые дни, месяцы, даже годы.

— Посмотрим,— ответил Осипов, но ни я, ни Берг не обратили внимания на эти слова.

Открылись портовые огни Феодосии. Мы вышли на палубу.

Огней было мало. Они лежали низко, почти на взволнованной воде. Ночь над городом была гораздо темнее, чем на море. Ветер нес темноту к берегам, горы задерживали ее, не пускали дальше — в степь, где она могла опять поредеть, и тьма над Феодосией висела плотная и глухая.

Изредка брызгали капли дождя. Они пахли лекарственно и дико. Может быть, в дождевой воде была горечь чабреца — чабрецом зарастали из года в год здешние каменистые берега.

Мы одни сошли с теплохода в Феодосии. Не было даже признаков рассвета. Тускло белела наваленная на пристанях едкая соль — единственное светлое пятно в кромешном мраке.

— Зачем вы меня сюда завезли? — пробормотал Берг.

Осипов не ответил.

Через заржавленные ворота мы вошли в город. Было пусто и тихо. Зеленые фонари качались над черепичными крышами и выхватывали из темноты то лужи, засыпанные

мелкой листвой, то кусок каменной ограды, на которой были написаны статьи новой Конституции, то ветхую лестницу греческого дома.

Ощупью мы вышли на главную улицу. Мрачные аркады тянулись по сторонам. Под ними светился огонек папиросы: милиционер курил и сплевывал.

Он был, должно быть, единственным человеком, бодрствовавшим в этот час в городе. Мы позавидовали ему. Он должен был стоять и прислушиваться, а это занятие казалось нам очень увлекательным. Он слышал за длинную ночь много звуков, то простых и понятных, то загадочных и тревожных, и ему было о чем рассказать.

Ветер неожиданно начинал шуметь в голых акациях и так же неожиданно затихал. Собаки выли в Карантине. Капли стучали по жести. За черным окном плакал во сне ребенок, вспыхивала спичка, гасла, снова становилось тихо, и только море за городом, у Сарыгола, мыло ночные берега с однообразным гулом.

Милиционер вздрагивал и поворачивался к морю,— густо и величаво ревела в два тона сирена теплохода. Горы, немного помолчав, отвечали теплоходу глухим и торжественным криком. Потом перекличка теплохода и гор стихала, и теплоход уносил в ненастное море свои праздничные огни и пустые палубы.

Возвращалась ночь, и кашель грузчиков, натрудивших плечи, был все тот же, что и всегда,— махорочный и неторопливый.

Мы шли по главной улице и старались догадаться, о чем думает милиционер ночью на посту. Никто об этом не знал, сами же милиционеры были неразговорчивы.

Мы брели вдоль аркад, и Берг вспоминал стихи Волошина, уроженца Феодосии:

И беден и не украшен
Мой древний град —
В венце генуэзских башен,
В тени аркад.

Генуэзские башни, носившие имена римских пап, современников Данте, были скрыты от нас темнотой. Прошлое Феодосии лежало мраморными розовыми плитами в тесных и заполненных ночью залах маленького музея.

Музей был, конечно, закрыт. Около его дверей сидела худая женщина с корзиной рыбы. Она спозаранку шла на базар, присела на стертые ступени и закурила. От

рыбы шел запах морского песка. Чешуя блестела под желтой угольной лампой, горевшей над дверью.

— Рыба нам дорого стоит,— сказала женщина.— Рыбацкая жизнь зимой опасная. Штормы такие тяжелые,— бьют всю ночь, пока выпимаешь сети. Я сама рыбачка, колхозница, натерпелась этих ночей, этой морской страсти, рада покурить на берегу. А вы кто же такие?

Мы ответили.

— Значит, жадность у вас все знать,— сказала печально рыбачка.— Город наш древний, хороший город — каменный, летом очень теплый, только опустелый. Очень опустелый,— повторила она, перебирая красными озябшими руками еще живую маленькую кефаль.

Мы пошли на вокзал пить чай — больше деваться было некуда.

На цементном подъезде вокзала были свалены убитые зайцы. Рядом спала костлявая собака и безмолвно сидели охотники с двустволками. Они принесли зайцев на базар и, как рыбачка, сидели на ступеньках, дожидаясь рассвета.

Зайцы были степные, рыжие. Они лежали, прикрыв лапами пушистые морды, и, казалось, мирно спали рядом с собакой.

В буфете яркий свет горел только для того, чтобы освещать мандариновые корки на столах и старого бродягу — должно быть, последнего из бродяг, оставшихся от легендарных горьковских времен.

— Я все вокзалы знаю по Союзу,— говорил бродяга сонной женщине.— Лучше Курского вокзала в Москве нету на свете.

Женщина молчала.

— А почему? — сипло спросил бродяга.— Потому что там научный подход до человека. Всё дадут — и кипятку, и хлеба, и есть где сховаться от мелитонов.

Когда мы вышли с вокзала, синеватый свет уже брезжил над Феодосией. Черные тучи низко висели, упершись лбом в лысые горы. Город показался нам построенным из окаменелой пыли.

Мы пошли к автомобильной станции, чтобы ехать дальше — в Симферополь.

Через час машина вынесла нас на пустое шоссе. Она с шорохом выплескивала белые лужи, виляла, будто судорожно обнюхивала дорогу, гремела и делала все, чтобы вызвать у пассажиров впечатление неистовой, головокружительной езды. Пассажиры молчали и зябли. Они давно

знали этот древний автобус, и ни шофер, ни машина уже не могли их обмануть.

Хилый человек, забрызганный грязью степных дорог, сказал нам, опасливо отводя глаза от спины шофера:

— Много машин кругом по Крыму поразбивалось, погибло от шоферской бойкости, а эта одна тарахтит и тарахтит, нет на нее погибели!

Кожа на затылке шофера задвигалась, но он ничего не ответил.

— А нам что? — спохватился забрызганный пассажир, стараясь загладить неловкость.— Пускай крутится, старуха! От нее людям ничего, кроме пользы.

Шофер не ответил, но решил отомстить. Он повел машину с такой скоростью, что на ухабах сама собой крякала сирена и ветер выдувал из глаз у пассажиров холодные и обильные слезы. Ветер ревел под колесами, рвал брезентовый борт, и мы с восхищением и страхом увидели по сторонам дороги картину землетрясения.

Лысые горы мелко дрожали, качались, заваливались то вправо, то влево, ограды из дикого камня встряхивались, как псы, но почему-то не обрушивались, чугунные столбы Индо-Европейского телеграфа тяжело свистели. Овцы неслись галопом в степь, но их настигали комья грязи, летевшие из-под колес машины, и больно били по худым бокам. Голова у шофера моталась, как пьяная.

— Чешет семьдесят километров без обгона,— встревоженно сказал забрызганный пассажир.— Взял я шофера за самую машишку, за сердце, теперь он из нас закуску сделает.

Было неясно, чем все это кончится, но под кузовом, переходя с фальцета на бас, завыл воздух. Спустила камера. Шофер остановил машину и нехотя вылез.

Впервые после отъезда из Феодосии мы огляделись и увидели Восточный Крым. Он был пустынен и блестел от недавних дождей. Тусклая редкая трава росла на взгорьях. Над травой медленно вращалось тяжелое облачное небо. Кое-где из земли торчали желтые слоистые камни, и среди них бродили овцы.

— А летом здесь была кругом по горам пшеница и мак,— вздохнул забрызганный пассажир.— Летом тут была самая красота.

— Как это люди,— сердито крикнула старая маленькая еврейка, закутанная в шаль,— любят вспоминать! Если бы

от этого человеку прибавлялось ума на какую копейку, я бы еще согласилась: сидите и вспоминайте, что было еще до царя Николая.

— Это вам, старым людям, только и делать, что вспоминать,— пробормотал забрызганный пассажир.

— Ух! — с негодованием ответила старуха.— Так знайте, что вашу пшеницу уже помололи на мельнице, а ваш мак съели свиньи. «Кто любит вспоминать, тот не любит работать» — так говорит мой муж; он лучший сапожный майстер в Керчи. Если бы вы видели, как он работает! Через его работу мы вывели в люди целый табор детей. Теперь мне осталась перед смертью нелегкая должность — всех объезжать и смотреть, чтобы они не ссорились. Но где они живут! — воскликнула старуха.— В Москве, в Горьком, в Карасубазаре, в Одессе, Джанкое и Мелитополе! С такими детьми можно выучить географию. А чтобы у меня оставалось время вспоминать, так об этом забудьте, молодые люди.

— Нашла себе работу! — сказал из-под днища машины незнакомый угрюмый голос.

Старуха покосилась на пол и замолчала. Подземный голос принадлежал шоферу. Он сидел на корточках в липкой грязи и чинил машину.

Как выяснилось потом, это был мрачный, но очень любопытный шофер, не пропустивший ни одного слова из пассажирских разговоров.

Снова стал слышен ветер. Он качал сухой чертополох в полях и заглушал голоса Берга и Осипова. Они сошли с машины и, как всегда, спорили о Бальзаке. Над степью тучи сгущались, их цвет все темнел, и чем ближе к земле, тем становился все более глухим и синим. Я долго вглядывался и наконец понял, что это море.

— Скажите,— спросила старуха и потянула меня за рукав,— он еврей или русский?

Она показала на Берга.

— Еврей.

— А тот, высокий?

— Тот русский. Почему вы спрашиваете?

— А если мне интересно?! — ответила старуха.— Представьте себе, мне интересно знать про каждого человека, зачем он живет на свете.

— А ты сама зачем живешь? — неожиданно спросил из-под пола тот же угрюмый голос, и старуха испуганно замолчала.

Шофер вылез, вытер руки о пиджак, и машина тронулась.

Мы мчались к Старому Крыму. Он белел вдалеке, как отара грязных овец, сбившихся в кучу на склоне синих от сырости гор.

В Старом Крыму из глиняных хижин клубился дым. В дыму стояли старые сады.

Ветер дул из степей и вертел по лужам сухие листья орехов.

Трудно было поверить, что на этих засыпанных битой черепицей холмах стоял когда-то Солхат, великий город, своим богатством превосходивший Дамаск. Теперь от прошлого остались только камни, небо и могилы.

Недавно к старым могилам прибавилась могила писателя Грина, такая же каменистая и заросшая колючками, как и все остальные.

Грин умер в Старом Крыму. Здесь он писал о Лиссе, о Гель-Гью, о не существующих на карте городах, полных здорового запаха палуб. Солнце, прогревавшее корабли, не было нашим обыкновенным солнцем. Оно больше походило на стеклянный шар, наполненный золотой влагой. Солнце Грина издавало запах, подобно тем тропическим зарослям, которые он описывал. Ни разу в жизни он не видел этих зарослей и не ощущал их запаха. Достаточно было старой обертки от кокосового мыла, чтобы вызвать в его воображении вкус кокосового молока.

После Старого Крыма пустынная дорога вошла в леса. Рыжая осень мчалась по сторонам. Леса были заржавлены, их покрывала желтая плесень.

Северное облачное небо доползло до подножия гор — дальше к югу его не пускал теплый воздух, подымавшийся с моря. Белое солнце неторопливо катилось за нами по вершинам голых холмов и озаряло долины, заросшие старой травой.

Машина сонно шуршала по кремнистой дороге, сонно шумел ветер в радиаторе, дремали пассажиры, кажется дремал шофер, и, будто во сне, в неторопливо вращающейся панораме, перемещалась на дне долины глухая татарская деревня. Сверху, с поворота дороги, она казалась красной от черепичных крыш, снизу — белой от вымазанных мелом стен.

Собаки, заслышав ленивые гудки шофера, бежали рысцой во дворы, прятались от автобуса. Здешние псы хорошо знают неистовый нрав крымских шоферов и ни-

когда не облаивают машин, хотя глаза их и зеленеют от ненависти к зловещей и трескучей повозке, несущейся мимо выветренных оград.

Сквозь дремоту мы увидели на севере гряду красных гор, покрытых морщинами. На горах не было ни единой травинки, как будто с земли сняли веселый растительный покров и обнажили каменный мозг, ссохшийся от геологических, невыносимо длинных эпох.

— Если бы на земле исчезла растительность,— пробормотал Берг,— я бы повесился.

Машина катилась, и ее равномерное движение вызывало простые и спокойные мысли. Вся привлекательность земли заключена в животном и растительном мире. И тот и другой мир изучены нами почти в совершенстве, но всегда от соприкосновения с ними остается ощущение загадки. Загадочны и потому прекрасны темные чащи лесов, глубины морей; загадочен крик птицы и треск лопнувшей от теплоты древесной почки. Разгаданная загадка не убивает волнения, вызванного зрелищем земли. Чем больше мы знаем, тем сильнее желание жить.

— Что правда, то правда! — сказал шофер.— Такие сады даже в Америке поискать надо.

Я открыл глаза. Машина стояла. Из радиатора бил пар. Стены вековых облетевших тополей опускались по склонам холмов. За ними серели обширные, как море, яблоневые сады. Зеленый ручей шумел по гальке. Запах палого листа и дыма висел над садами, то усиливаясь, что ослабевая от неуверенных нажимов ветра.

— Крымское яблоко — зимнее,— сказал забрызганный пассажир.— В нем сока нет, его хорошо держать для запаха. Можно сказать, для елки это самое подходящее яблоко: его и золотить не надо. Оно само золотое.

Старуха еврейка торопливо развязала кошелку и вытащила елочные игрушки. Они пошли по рукам. Даже шофер осторожно повертел в масленых пальцах серебряную дрожащую звезду.

— Вот такую бы звезду моей старухе на радиатор! — сказал он и печально усмехнулся.— Хоть бы ей перед смертью покрасоваться, удивить людей. А то мучилась по чертовым дорогам всю жизнь, растряслась. Один только раз был у нее праздник — в этом году, когда ходил я в Ялту за цветами для Первого мая. Ехал обратно в Симферополь на малом газу: боялся — облетят цветы. Хотели послать лошадей, говорят — на машине все цветы обобьешь,

сделаешь из них зеленую кашу. А я человек упорный, гордый — довез без повреждения. И машина за себя постаралась. Ехали по горам, ветер в лоб, а все равно запах из кузова было слышно. Мимоза очень крепко пахла.

Шофер вытер лоб черной рукавицей.

— Оглянулся, а за мной машин — целый поезд. Идут сзади, никто не обгоняет. Я остановился, кричу им: «Давайте вперед, чего вы все за мной тащитесь?» А они отвечают: «Мы, значит, вроде как почетный конвой при твоих цветах, Митя. Езжай, не смущайся! Нам сзади ехать — одно удовольствие».

— Легкий груз,— пробормотал забрызганный пассажир.

— Уж чего легче! — ответил шофер сердито.— Не то что вас возить, скандалистов...

— Вы хороший человек,— сказала шоферу старуха еврейка,— потому что вы имеете любовь к хорошим вещам.

Шофер не ответил. Он прибавил газу в моторе, оглянулся и хмуро спросил:

— Все сели?

— Все.

Машина с натугой вырвалась из грязи и зашуршала по скользкой шоссейной гальке.

На краю садов машину остановил пожилой человек с черным худым носом.

Он о чем-то вполголоса поговорил с шофером и, получив согласие, завалил нас корзинами с яблоками, орехами, яйцами и сыром. Потом он притащил громадный ящик с живыми белыми курами.

— Скажите, товарищ шофер,— ядовито спросила старуха еврейка,— это автобус или толчок? Потому что я уже перестала понимать, что это значит.

— Когда я вам отвечу, так вы сгорите со стыда за свой неспокойный характер,— пригрозил шофер.— Это святой товар, он мне дороже всех пассажиров.

— Интересно вы разговариваете! — обиделась старуха.— Даже смешно.

— Кому смешно?! — яростно закричал пожилой человек. Шея его покраснела от гнева.— Глупым людям смешно, а ты — старая, ты не должна быть глупой. В Мадрид! — крикнул он.— В Мадрид идет этот товар, испанским детям от наших пацанов. Сами собирали, сами укладывали, сами записки писали. А ты говоришь — смешно!

— Боже ж мой! — закричала старуха и взмахнула

руками.— Так что же вы шепчетесь с шофером, как последний спекулянт? Надо было раньше сказать! Если не хватает места, так я, старая женщина, вылезу и дохромаю до Карасубазара пешком ради такого золотого багажа!

— Ничего, сиди,— сказал шофер.— Как-нибудь я тебя довезу.

— Выходит, что ваша машина, товарищ шофер, не такая несчастная, как вы жалуетесь,— засмеялась еврейка и вытерла глаза концом шали.— Получается, что у нее уже второй праздник за год.

— Похоже, что так получается,— хмуро ответил шофер.

Степь, залитая лужами, ползла навстречу. Ветер поднимал пух на головах у кур, и куры делались похожими на растрепанных чудаков. Забрызганный пассажир прикрыл их полой плаща.

— Как бы курочки наши не простудились! — сказал он и застенчиво засмеялся.— Все-таки надо доставить до Испании в исправности.

Мы пронеслись по окраинам Карасубазара и остановились около почтовой станции. Городок, обнесенный валами, остался в стороне. Мы обошли его по обочине. По тесным улицам Карасубазара машина пройти не могла,— на них едва расходились ослы. Низкие минареты торчали над крышами. Зеленая жидкая грязь плыла по переулкам медленными потоками. В бесчисленных кофейнях варили черную гущу с сахаром и сидели старики, перебрасываясь сонными словами об урожае яблок и пшеницы.

В Симферополе мы пересели в машину на Ялту. На перевале нас застала темнота. Шумели сухие леса. Ветер нес в лицо снежную крупу. Пропасти были наполнены сизым дымом. Изредка в этом дыму мертво блестело море, похожее на ртуть.

Ночь простиралась над берегами, где у мокрых камней плескалась ледяная вода. Береговые огни висели на краю вселенной, за ними начинались хаос, темнота, бездна. Около Ялты из садов потянуло застоявшимся за день теплом.

День был окончен. Он казался громадным, бесконечным и деятельным, несмотря на то что в пути мы даже не говорили друг с другом.

— Ну как, вы по-прежнему считаете этот день пропащим? — спросил Осипов, когда машина спускалась в

черный провал, где были рассыпаны пригоршнями огни приморского города.

— К чертям! — ответил Берг. — Я не мальчик. Я лучше вас со всей вашей писательской математикой знаю, чего стоит каждый день.

1937

ЛЕНЬКА С МАЛОГО ОЗЕРА

Мы шли по карте, составленной в семидесятых годах прошлого века. В углу карты была сделана приписка о том, что карта составлена «на основании расспросов местных жителей». Надпись эта, несмотря на ее откровенность, не радовала нас. Мы тоже занимались расспросами местных жителей, но их ответы почти всегда были неточны.

«Местные жители» долго и горячо кричали, переругивались и упоминали много примет. Их объяснения выглядели примерно так: «Как дойдете до канавы, берите круто вкось к лесу, а там идите и идите на край дороги по горелым опушкам к самой барсучьей яме, за ямой надо бы вам угодить прямо на холмище, его оттуда чуть-чуть видать, а за холмищем дорога, можно сказать, совсем простая — по кочкам до самого озера. Так и дойдете».

Мы точно следовали этим приметам, но никогда не доходили.

Сейчас мы шли по карте, но все же заблудились в сухих болотах, заросших мелким лесом.

Осенний день шуршал ломкой листвой. Потом начал моросить тончайший дождь, похожий на холодную пыль.

К трем часам дня мы вышли на песчаный бугор среди болот, заросший сухим папоротником. День быстро темнел, сумерки уже зарождались под неприветливым небом, и приближалась ночь — волчья ночь в болотах, полная треска сухих ветвей, шороха капель и невыносимого чувства одиночества.

Мы кричали и прислушивались. Ветер шумел в ответ в мертвых чащах и приносил хриплое карканье вороньих стай.

Потом где-то за краем земли и болот послышался ответный крик, протяжный и слабый.

Голос приближался. Затрещал осинник, голос послы-

шался совсем рядом, из чащи вышел веснушчатый мальчик. Было ему лет двенадцать. Он осторожно шагал по валежнику босыми ногами и нес в руках старые сапоги. Он подошел к нам и застенчиво поздоровался.

— А я слышу, кто-то и кричит и кричит,— сказал он и засмеялся.— Даже испугался: никого в эту пору тут быть не должно. Летом еще бабы ходят за ягодами, а сейчас какие ягоды — все сошло! Заблудились?

— Заблудились,— ответили мы.

— Здесь и пропасть недолго,— сказал мальчик.— Прошлым летом баба одна заблудилась — только весной ее нашли, остались одни косточки.

— А ты как сюда попал?

— Я-то здешний, с Малого озера. Телку ищу.

Мальчик вывел нас на Малое озеро. Только к ночи мы вышли из болот, добрались до твердой земли и пошли по заросшей дороге. Ветер угнал тучи к югу. Звезды пронзительно горели над вершинами сосен, но сквозь путаницу ветвей знакомые созвездия казались чужими — среди них было трудно найти даже Большую Медведицу.

— Про телку это я вам выдумал,— сказал мальчик после долгого молчания.— Я не телку искал.

— А чего же ты искал в болотах?

— Падучую звезду,— ответил мальчик.— Запрошлой ночью звезда здесь упала, за холмищем. Я проснулся — слышу, корова Манька тревожится, ревет, мотает рогами. Должно быть, волк к избе подходил. Я вышел во двор поглядеть. Стою, слушаю — и вдруг что-то как полыхнет через все небо. Гляжу — метеор. Пролетел низко над лесом и упал где-то тут, за холмищем. Гудел сильно, как самолет.

— Зачем тебе метеор?

— В школу я его отнесу,— ответил мальчик.— Исследовать надо. А вы не знаете, из чего сделаны звезды?

Начался ночной разговор о звездах и спектральном анализе.

К полночи мы вышли к берегу черного лесного озера. Осеннее звездное небо пылало в воде. На берегу стояло несколько изб. Только в одном окне горела керосиновая лампа. Мальчик постучал.

— Где тебя носит, черт шалый? — сказал за дверью сердитый женский голос.— Только сапоги даром треплешь.

— А я разумшись, мамка,— ответил мальчик.

Загремел засов, и мы ощупью вошли в сени; в них пахло сеном и парным молоком.

Мы переночевали в избе у мальчика — звали его Ленька Зуев,— выкурили по папиросе с отцом Леньки, пожилым молчаливым человеком в железных очках, и легли на сене, около теплой печки. Кричал сверчок, и в сенцах ворчали сонные куры.

Среди ночи я проснулся. Сильный, полный слез женский голос пел знакомую арию из «Пиковой дамы». Оркестр звенел сотнями туго натянутых струн. Звезды дрожали в запотевших оконцах, и сверчок, услышав пение, перестал кричать.

— Беспокойство вам от этого радио,— сказала с полатей Ленькина мать.— Ленька его сделал, спать оно вам не даст, а как его прекратить — я не ученая! Придется будить малого.

— Не надо. Пусть спит.

— А мы любим,— сказала из темноты женщина, и голос ее стал певучим и тихим,— страсть любим слушать, как поет Москва. Так-то и непонятно, и жалостно, и весело — иной раз до вторых петухов глаз не сомкнешь, хоть за день и намаешься со своим-то хозяйством.

Она помолчала.

— А все Ленькино дело,— сказала она и, очевидно, улыбнулась в темноте.— Такой беспокойный, такой жадный все знать — надо быть, в отца пошел.

— А что отец? — спросил я женщину.

— Семен-то? — переспросила женщина.— Семен у нас партийный с восемнадцатого года. Все для людей... Остатнюю корку другим отдаст, сам будет одними книжками сытый.

Наутро мы узнали историю Семена Зуева. Был он в молодости портновским подмастерьем в Рязани. Заведение Лысова, где он служил, считалось лучшим в городе; работало оно на губернатора, на военных и адвокатов. Адвокаты шили фраки, и Семен испортил глаза, вшивая во фрачные брюки шелковую тесьму,— работа эта была ручная и очень тонкая.

Лысов, богомольный сухой старик, с лицом, зеленым, как лампадное масло, читал весь день божественные книги или «Историю Государства Российского» писателя Карамзина. Истратил тысячу рублей на благолепие города — прибил на пыльных улицах к стенам домов чугунные доски с выдержками из «Истории» Карамзина. Под

каждым текстом была подпись: «Смотри гишторию господина Карамзина», том такой-то, страница такая-то.

— Начал я с Карамзина,— сказал Семен,— а кончил статьями Ленина. Крепко доходил его голос до самых, можно сказать, пустых захолустий. Ночью читаешь, а утром выйдешь на улицу — пыль, гуси бредут к лужам, стена у монопольки красная от сургуча, в соборе — колокольный звон, убогие люди бьют друг друга посохами из-за копейки,— одним словом, самая допотопная Русь, а в голове несешь свежие слова, как свет какой-то о будущем нашего брата.

После революции Семен уехал в деревню, на озеро, построил на берегу избу и начал отвоевывать у глухого полесья плодородную землю. Сейчас на озере живут уже пять семей.

Утром Ленька проводил нас до большой дороги. Белое солнце сверкало в облетавших лесах, и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист, падавший с осин и берез в озерную воду. Изредка срывался ветер, и тогда листья летели шумным дождем, щекотали лицо.

Через несколько дней Ленька прибежал к нам в деревню и принес кусок «падучей звезды» — острый спекшийся осколок, покрытый копотью и ржавчиной. Он нашел его за холмищем в развороченном пне.

С тех пор я подружился с Ленькой. Я любил бродить с ним по лесам: он знал все тропы, все глухие углы леса, все травы, кустарники, мхи, грибы и цветы, он знал голоса всех птиц и зверей.

Ленька, первый из многих сотен людей, которых я встречал в своей жизни, рассказал мне, где и как спит рыба, как годами тлеют под землей сухие болота, как цветет старая сосна и как вместе с птицами совершают осенние перелеты маленькие пауки. Они летят, прицепившись к паутине, когда дуют ветры на юг, летят десятки километров.

У Леньки были две книги Кайгородова, зачитанные до дыр. Он напрасно искал в них разгадку осеннего перелета пауков.

— Одного я не пойму,— говорил Ленька,— паучок маленький, а паутины выпускает столько, что ежели ее скатать в комок, так из этого комка выйдет сорок таких паучков.

Ленька каждый день бегал в школу за десять километров. За всю зиму он пропустил только два дня, но не

любил об этом вспоминать, смущался,— была тогда сильная метель, их избу засыпало снегом под самую стреху.

Зимой Ленька выходил из дому в темноте. Колючие звезды дрожали от стужи, трещали сосны, снег скрипел под ногами, и у Леньки сжималось сердце: как бы не услышали волки. Зимами волки подходили к самому озеру и жили в стогах.

Но хуже всего было поздней осенью, в ноябре, когда снег, раскисший от дождя, лежал на дорогах и с черного неба бил в лицо и леденил все тело порывистый ветер.

Летом Ленька вместе с матерью пахал, копал огород, сеял, убирал сено. Семен работать не мог: с каждым годом сердце билось все чаще, лицо наливалось землистой опухолью, мучил затяжной сухой кашель.

— Не то живу, не то помираю,— говорил Семен и растирал ладонью худую грудь.— Тараканья жизнь меня съела — поздно, знать, пришла революция. Ну, ничего, Ленька за меня что надо доделает.

Я сдружился с Ленькой и посылал ему из Москвы много книг. Каждую осень я приезжал в лесную деревню и шел из нее на озеро. Это стало традицией.

Я приходил всегда неожиданно. Я шел тихими осенними лесами, где, кроме птиц, не было встречных, узнавал старые пни, светлые поляны, изгибы заброшенной дороги. Мне была знакома каждая сосна на опушке — любить их меня научил Ленька.

Приходил я обычно в поздние сумерки, когда бледные звезды предвещали холодную ночь и запах дыма казался лучшим запахом в мире. Он говорил о близости озера, теплой избы, веселых разговоров, о певучих жалобах Ленькиной матери, постели из сухого сена, говорил о пении сверчка и бесконечных ночах, когда я просыпался от струнного грома, от мелодий Бетховена и Верди, заглушавших дрожащий вой голодных волков.

Каждый раз Ленька выскакивал из избы и бежал мне навстречу. Он стеснялся показывать свою радость и только крепко здоровался со мной за руку. Потом мы долго говорили о прочитанных книгах, об урожае, зимовке на полюсе, затмении солнца и ловле вьюнов. У нас было много увлекательных тем для разговоров, и Семен снова рассказывал о своей молодости, о студентах, привозивших в Рязань прокламации.

Так крепла дружба. Где бы я ни был, я знал, что поздней осенью вернусь в этот лесной край. Вернусь и

увижу Леньку, Семена, и общение с этими людьми позволит мне еще сильнее ощутить, что жизнь с каждым годом становится лучше. Все чаще выдаются дни, когда вдруг услышишь, как гулко шумят под ветром леса, как журчат во мхах холодные родники, узнаешь всю громадную цену книг, размышлений и дружбы деревенского мальчика, мечтающего вот уже третий год съездить в Москву и увидеть метро, Кремль и живого слона в зоопарке.

Каждый год, когда я уезжаю, Ленька провожает меня. Так было и в этом году. Поезд узкоколейки, прозванный местными жителями «старым мерином»,— забавный маленький поезд,— тащился среди лесов. Просеки открывали багряные и золотые разноцветные чащи, и на одной из просек, возле самого полотна, стоял Ленька и махал старой отцовской кепкой. Паровоз, похожий на чайник, сердито засвистел на него, но Ленька засмеялся и крикнул мне в окно:

— Ждать будем! Я вам письмо обо всем отпишу, а вы Брема прислать не забудьте.

Еще долго я видел его — румяного, бегущего за поездом сквозь мокрые и терпкие осенние чащи. Он бежал, махал сумкой с книгами и улыбался мне, лесам, солнцу, всему миру своей застенчивой, простодушной улыбкой.

1937

АВСТРАЛИЕЦ СО СТАНЦИИ ПИЛЕВО

Отца Вани Зубова каждый год с весны трясла болотная лихорадка. Он лежал на полатях, кашлял и плакал от едкого дыма: в сенцах курили трухлявое дерево, чтобы выжить из избы комаров.

Глухой дед, по прозвищу Гундосый, приходил лечить отца. Дед был знахарь и крикун, его боялись по всей округе, по всем глухим лесным деревням.

Дед толок в ступе сушеных раков, делал из них для отца целебные порошки и кричал, глядя на Ваню злыми дрожащими глазами:

— Разве это земля? Подзол! На нем даже картоха не цветет, не желает его принимать, дьявола. Пропади он пропадом, тот подзол! Наградил нас царь за работу,— некуды народу податься!

— Податься некуды, это верно,— вздыхал отец.

— Ты чего бубнишь?! — кричал Гундосый.— Заладил, как дятел: «Некуды да некуды»! Небось есть куды. Небось бягут люди в Сибирь, за реку Амур, богатые земли пашут.

— Известно, бягут,— стонал с полатей отец.

— Ничего тебе не известно! — продолжал кричать дед.— Ничего не бягут. Народ, что овца,— все к загону жмется, хоть тот загон ей горше смерти становится. На печи сидеть вы охочие, а пойти поискать счастья, так на это вы не охочие.

— Народ у нас действительно квёлый... Без напору народ,— соглашался измученный отец.

— Но, но! — кричал дед.— Ты поспорь у меня, какой лихой господин! Напор-то у вас есть, да на кой толк он вам даден, одному лешему известно! Напористы вы водку пить, стариков со свету сживать, по судам из-за того подзола веками судиться.

Отец уже молчал. Спорить с дедом не было никакой возможности.

— Вот малый у тебя зря сидит! — Дед тыкал суковатым посохом в Ваню, и Ваня пугался.— Гони его в Сибирь землю искать. Шестнадцатый год ему пошел, а он под ногами суется, чаю просит, а работы с него, как с кота масла. Грамоту знает, вытяни его из-за угла за ухи и пошли.

— Чего ты, дед, раскричался? — говорил умоляющим голосом отец.— Куда я его пошлю, когда за один билет до Сибири отдай тридцать рублей, а то и все сорок?

— Ух ты, бестолочья твоя голова! — возмущался дед.— Пущай без билета едет, чего ему сделается? Где под лавкой, где в товарном, где на крыше,— так и доедет. А ты как же думал? С чистыми господами, с чайниками, на мягких постелях?

Дед зло захихикал.

— Миллиён! — неожиданно крикнул он и так стукнул по ступе, что отец закряхтел.— Не мене как миллиён каждый год без билета по чугунке туды-сюды шастает. Зовутся они зайцами. Вот его — зайцем, зайцем! Пусть хлебнет горя да поищет счастья! Зайцем!

Дед взмахнул посохом, засмеялся визгливо, как баба, и перекрестился: лекарство было готово.

В то же лето отец от дедовских порошков умер. Мать Дарья, бестолковая и скупая старуха, упросила Ваню ехать зайцем в Сибирь: может быть, там и взаправду дают

сирым людям богатые земли. Мать по ночам не спала: все прикидывала, как они будут жить в Сибири.

— Поставим мы избу о пяти углах из дарового лесу,— бормотала она, и Ване казалось, что старуха молится.— На самом на берегу реки. Ох, мать пресвятая богородица! А река бегучая, течет из великих лесов по золотым пескам. Посеем гречиху, поставим ульи, пчел заведем...

— Вы бы спали, мамка,— говорил Ваня.

Но мать все бормотала и бормотала. Бормотанье ее сливалось в один тягучий ночной звук с шорохом осеннего дождя, и под этот шорох Ваня засыпал. Ехать в Сибирь он боялся. Он знал, что в Сибирь уезжает много народу, но ни разу не видел, чтобы из Сибири возвращались. И отец говорил, что в Сибири народ тонет, как в зыбуне, в болоте.

Мать дала Ване на дорогу хлеба, луку, кусок старого сала, круто посыпанный желтой солью, и проводила на узкоколейку до станции Пилево.

Шел надоедливый октябрьский дождь. Он сбивал с берез холодные подгнившие листья и стучал по железной крыше вагонов. Ваня выглянул из окна, хотел крикнуть матери, что ему страшно ехать, что он хочет назад, в избу, где теплая зола в печке и тараканы, но мать, должно быть, поняла в чем дело, погрозила ему сухим, сморщенным кулаком и тем же кулаком вытерла слезы.

Так он и запомнил ее на всю жизнь: в старой поневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах.

Только в конце зимы Ваня добрался до Владивостока. В дороге его несколько раз били. Били станционные жандармы, кондуктора и грузчики-бродяги: у них он отбивал хлеб, напрашиваясь почти даром на тяжелую работу.

Сибирь показалась ему холодной, черной страной, где хлеб прячут в крепких домах за пудовыми замками, чтобы он не достался бедным, и ничто не растет, кроме заплесневелых бесконечных лесов, засыпанных по колени снегом.

Во Владивостоке Ваня попал в китайскую прачечную кочегаром. Приходилось топить дровами четыре больших котла, из котлов шел нездоровый серый пар от белья. Седой китаец сидел на корточках около огня, курил и смотрел на Ваню желтыми дряхлыми глазами.

— Ты молодой, я старый,— говорил китаец и сплевывал сквозь длинные зубы.— Ты русский, я китаец, все равно нам плохо. Кушать мало надо, работать много.

— Плохо, дедушка,— соглашался Ваня.— Конца не видно нашей жизни.

— Ты молодой, я старый,— бормотал китаец.— Кушай мало, работай много.

Китаец был так худ, что широкие синие штаны постоянно сползали у него на бедра, открывая коричневый сухой живот. Китаец утюжил мужские сорочки. Однообразная эта работа казалась Ване хуже каторги, ей не было видно конца. Одни и те же рубашки возвращались в прачечную каждую неделю, и китаец снова утюжил их, чтобы через неделю опять и опять гладить все те же мужские сорочки.

Весной старый китаец умер. Он упал грудью на гладильную доску, затянутую паленой простыней, и чугунный утюг с грохотом вывалился из его руки.

Хоронили китайца за городом, на пустыре, где росла серая трава.

Весна была туманная, сырая, но во время похорон, когда китайцы сидели около свежей могилы и бормотали прощальные молитвы, появилось солнце. Его свет одним взмахом лег на воду, и берега и океан внезапно наполнились таким глубоким блеском и прозрачностью, что Ваня тут же решил бросить прачечную и уйти кочегаром на пароход.

Несколько лет он проплавал кочегаром на грузовом пароходе «Лансу», ходившем под китайским флагом. Сначала «Лансу» плавал из Владивостока в Шанхай; потом, когда началась война, он ушел в Австралию и оттуда возил овец и мороженое мясо в Батавию и Сингапур.

Команда па пароходе была сборная. Больше всего было норвежцев, странных людей, белоглазых и неразговорчивых. Капитаном был Ксиди — маленький жирный грек с золотыми зубами, всегда пьяный, в кителе, облепленном пухом от подушек и обсыпанном трубочным табаком.

Пароход был так же грязен, как и его капитан. Ване — теперь его звали Джоном — казалось, что одним своим появлением около тропических берегов «Лансу» отравляет воздух, настоянный на дыхании источников, трав и вьющихся цветов. От парохода шла густая вонь овечьего помета и пережженного кофе. Кофе пили с утра до вечера, и кок по нескольку раз в день выливал в зеленую океанскую воду ушаты бурой кофейной гущи.

Ваня быстро привык к пароходной жизни. Она была бедна событиями: все тот же рейс, то же темное небо, те же лесистые острова, как бы утонувшие в воде, торчащие из нее одними зелеными верхушками, те же клопы в кубрике и матросские разговоры о вороватом коке и береговом пьянстве.

На третий год «Лансу» сел в тихую погоду на камни на Большом коралловом рифе около берегов Австралии. Риф лежал до горизонта, как громадная губка, чуть покрытая тонким слоем воды. Подводные камни отвесно поднимались со дна. Шлюпка каждую минуту то царапала днищем о камни, то проплывала над бездонными колодцами: добраться до берега было трудно. Берег виднелся вдалеке узкой полосой песков, освещенных белым солнцем.

Около самого берега Ваня заглянул в воду и увидел круглые водоросли, похожие на шары из зеленого дыма. Они медленно колебались в теплой воде.

Ваня вспомнил Боровые озера, куда он бегал летом ловить рыбу. Там были такие же водоросли. В них жили стаи мальков. Ваня лез в черную воду, накрывал водоросли рубахой и вытаскивал их на берег вместе с мальками. Водоросли были такие тонкие, что на рубахе оставалась от них только паутина. Она быстро высыхала и осыпалась зеленой пылью.

Когда шлюпка пристала к австралийскому берегу, Ваня разделся и нырнул в воду. Он поймал тельником одну водоросль и вытащил на горячий белый песок. Водоросль пахла так же, как и там, на Боровых озерах, чистой глубокой водой.

Ваня развернул тельник; зубастая серая рыба с налитыми кровью глазами лежала в нем и трещала колючими костяными плавниками. Ваня схватил ее, хотел бросить в воду, но рыба изогнулась и вцепилась ему в ладонь.

Ваня оторвал ее и швырнул на песок. Из руки лилась кровь. Рыба пищала и хрипела. Матрос-малаец сказал Ване, что рыба эта ядовитая, что в океане вообще много ядовитых рыб и рука у Вани наверняка отсохнет.

Ване хотелось заплакать, но он сдержался и только выругался по-русски.

— Все у вас не как у людей,— сказал он малайцу,— даже рыбы кусаются, как собаки. Одна от этого получается тоска.

Малаец виновато улыбнулся.

С тех пор тоска не оставляла Ваню. Она медленно уси-

ливалась. Ею было пропитано все вокруг. Тоска была в самом небе этой страны, пыльном, высоком, светящемся по ночам чужими и редкими звездами, в сухом воздухе, в деревьях без коры, в клекочущих звуках английской речи, но больше всего в изнурительном и однообразном труде.

Ваня с матросом-малайцем поступил рабочим на сахарные плантации. С рассвета до позднего вечера рабочие шли рядами, согнувшись до земли, по полям сахарного тростника и рубили его под корень кривыми толстыми ножами, похожими на секачи. На тростниковых полях застаивался спертый воздух, от него ныла голова. Один раз Ваня попробовал тростниковую мякоть,— она была приторной, липкой и пахла аптекой.

Следил за рабочими высокий сухой человек с вывихнутым носом. Звали его «босс». Он никогда не кричал и не сердился. Он безмолвно и неторопливо подходил к провинившемуся рабочему, сильно бил его кулаком в лицо и так же неторопливо проходил дальше. Его боялись. Говорили, что когда-то он был знаменитым по всему Тихому океану карточным шулером.

Ночью спали в бараках. Друг с другом почти не разговаривали. Народ был разноязычный, набранный только на уборку одного урожая. Вечером пили кофе и сразу же валились на койки — спать до рассвета. Босс молча обходил бараки, гасил свет, иногда сбрасывал ударом ноги с койки какого-нибудь «цветного» рабочего — малайца или негра — и шарил под циновкой: искал водку.

Однажды босс ударил в лицо работницу-китаянку. Она визгливо заплакала и швырнула в босса ножом. Нож упал плашмя на землю и поднял пыль. Босс нехотя обернулся и пошел к китаянке. Она затряслась всем телом и начала кричать пронзительно и непрерывно.

Рабочие выпрямились. Страшное, сухое солнце жгло их головы. Сквозь красноватый туман в глазах они не сразу могли разобрать, что случилось.

Босс подошел к китаянке вплотную, но его схватил за плечо рабочий-американец, по прозвищу «Золотой мешок»,— единственный веселый человек на плантациях. Он когда-то работал на золотых приисках, рассказывал, как золотоискатели носят золотой песок в кожаных мешочках, и за это его прозвали «Золотым мешком».

— Босс,— сказал «Золотой мешок»,— вонючая собака, надо посчитаться с тобой по-белому за эту цветную.

Он показал на китаянку.

— Закажи сначала справку о смерти,— ответил босс и начал засучивать рукава.

«Золотой мешок» снял соломенную шляпу, несколько раз быстро сжал и разжал кулаки и вдруг стремительно и страшно ударил босса в переносицу. Босс упал и больше не поднимался: он был убит одним ударом наповал.

«Золотой мешок» скрылся. Вечером приехали полицейские в широкополых фетровых шляпах. Китаянку арестовали, а всех рабочих уволили.

Ваня с малайцем пошли пешком в портовый город Брисбен искать счастья.

Искать счастья! Несколько раз за последние годы Ваня вспоминал крик Гундосого: «Пусть хлебнет горя да поищет счастья!» Счастье осталось на родине.

Однажды, незадолго до аварии «Лансу», капитан Ксиди вызвал Ваню к себе в каюту и спросил:

— Джон, ты знаешь, что творится на твоей картофельной родине?

— Война,— ответил Ваня.

— Дурак! — сказал капитан.— Война кончена. Она навоняла на весь мир и потухла. В твоей стране революция. Гальюнщиков сажают министрами. Может быть, твой почтенный отец уже сидит в кабинете с телефоном и пьет квас с икрой.

— Мой отец умер,— тихо сказал Ваня.— Вы моего отца лучше не трогайте.

— Ты мне грубишь, кочегар! — торжественно сказал капитан и икнул (он был, по обыкновению, пьян).— Отстоишь за это две вахты. Кто лезет в революцию? Кто? — крикнул он.— Астраханский мужик, народ, не имеющий истории! Надо было поучиться у греков. Мы умели драться за свободу, как львы!

— Умели, да не успели,— сказал Ваня.— Ваше дело лимонами спекулировать.

— Пошел вон, бандит! — сказал печально Ксиди.— За что бог покарал меня вонючей командой на этом дырявом китайском сундуке?

Ксиди упал головой на стол и всхлипнул. Ваня ушел. Так он впервые узнал о революции. Он начал жадно читать газеты. Он думал о революции по ночам. Неужели сбылись мечты матери и там, на родине, уже дают сирым людям богатые земли?

Он думал о революции и родине в душном ночном кубрике, пропитанном крепким пóтом, думал, что счастье

осталось позади, в России, что он уехал от него и на это глупое бегство от счастья потратил долгие годы голода, каторжного труда и унижений.

В Брисбене Ваня с малайцем провели несколько ночей в портовом саду. Работы не было.

Стояла австралийская зима. Океан ревел на рифах. Изредка Ваня жевал жареные кукурузные зерна. Их давала ему старуха — чистильщица сапог.

Дули ветры, потом пошли дожди. Ночью Ваня прятался с малайцем на крыльце закрытого на зиму летнего ресторана. Ветер бил в лицо тяжелыми каплями воды и гнилыми листьями. Ветер бесновался над океаном и гнал на молы горы мутной воды. Она захлестывала землю и разливалась холодными лужами. Соленая вода хлюпала в порванных бутсах и разъедала до крови натруженные ноги.

На пятую ночь Ване стало жарко; океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками черной воды, звезд и дыма. Ваня сидел на крыльце, покачивался и пел:

> Ревела буря, гром гремел,
> Во мраке молнии блистали!..

Малаец испугался и заплакал. Потом он побежал к ближайшему полицейскому, и наутро Ваню перевезли в больницу. Он пролежал два месяца в тифу. Его мучил все один и тот же бред. В больницу приходил Гундосый. Он толок в ступе зубастую серую рыбу и хихикал.

— Зайцем! — кричал он.— Поезди по миру зайцем, поищи счастья!

— Зачем отца уморил? — спрашивал Ваня.

— Не я его уморил,— кричал дед,— подзол его уморил! Тесно было ворочаться мужикам на худой земле. От той тесноты дох народ, как раки от водяной чумы.

— Ты бы ушел, дед,— просил Ваня.

— Куда мне идти-то? — кричал дед.— Мне идти некуда: знахарей всех сничтожили, подрубили под самый корень, вот и шастаем по чужим австралийским землям, просим Христа ради у нехристей-англичан.

Потом дед силой открывал Ване рот и сыпал колючий порошок из толченой ядовитой рыбы.

Ваня кричал, рвался и выбивал из рук сиделки стакан с водой.

Из больницы Ваня вышел в начале весны. Уже грело солнце, и легкие ветры ровно и тепло дули с океана,

заволакивая портовые улицы сернистым пароходным дымом.

Нашлась работа: доктор из больницы предложил Ване перекопать у него в большом саду грядки под цветы и овощи.

Ваня копал медленно, часто садился и пережидал, пока перестанет кружиться голова. Маленький мальчик, сын доктора, приносил Ване завтрак и дешевые папиросы. Особенно радовался мальчик тому, что мать доверяла ему носить работнику такую запретную вещь, как табак. Папиросы он никогда не отдавал сразу. Он таинственно и долго вытаскивал их из кармана и со смехом протягивал Ване.

Когда Ваня копал грядки, мальчик стоял рядом, внимательно смотрел на согнутую Ванину спину и без конца расспрашивал о России. Все, что рассказывал Ваня, казалось мальчику замечательной выдумкой.

Каждое утро мать мальчика — худая и красивая женщина — читала ему вслух толстую книгу. Ваня копал грядки около террасы и слушал.

В книге рассказывалась печальная история матроса, скитавшегося по земле в поисках потерянного кисета с табаком. Океаны сменялись вековыми лесами, леса — горячими пустынями, пустыни — вершинами диких гор, горы — шумными и веселыми городами.

Матрос встречал много людей, то крикливых и насмешливых, то робких и гостеприимных, то драчливых и вспыльчивых, но никто не мог помочь ему найти драгоценный кисет. Без этого потертого кисета чудак-матрос не мог жить. Наконец одна маленькая веснушчатая школьница посоветовала матросу вернуться домой и посмотреть, не забыл ли он кисет на скамейке около кровати, куда он складывал, ложась спать, свое грубое платье. Матрос вернулся домой и нашел кисет. В нем осталось табаку как раз на одну трубку. Порог его дома зарос высокой травой. Трава качалась и кланялась матросу, радовалась тому, что этот упрямый человек вернулся на родину, и матрос осторожно переступил через траву, чтобы не помять ее.

Книга кончалась словами:

«Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту. В конце концов придет пора, когда одинокая ромашка на

краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном и крик соседского петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».

Ваня сел на грядку и стал осторожно счищать щепкой с лопаты налипшую землю. Он прислушивался, но голос на террасе замолк.

Муравьи ползли один за другим по серому стволу дерева, и Ваня вспомнил муравьиные дороги в сосновых лесах около Пилева, заросли вереска и бересклета, крик журавлей под родным небом с его тонкими вечерними облаками.

Ваня поймал одного муравья на щепку. Он был синий, огромный. Он тотчас же стал на задние лапки и приготовился вцепиться в руку.

Ваня бросил щепку и заплакал. Он не мог удержать слез, они текли по его впалым небритым щекам, капали на руки, на лопату, на злых синих муравьев, и Ваня, плача, думал, что он мог бы проплакать сутки, целую неделю, так много накопилось тяжести на душе. О ней он никому не рассказывал, да и некому было рассказывать.

Когда мальчик принес Ване завтрак, он застал его еще плачущим. Губы у мальчика задрожали, но он сдержался и сказал суровым голосом:

— Я все знаю. Вас обидела рыжая девчонка.

Ваня покачал головой и украдкой вытер слезы.

— Нет,— сказал он глухо.— Это так...

— «Так» ничего не бывает,— строго повторил мальчик слова, слышанные от взрослых тысячу раз.

— Ну так...— сказал Ваня.— Вспомнил про разное, про свою страну. Очень она далеко отсюда.

Мальчик осторожно поставил кастрюльку с супом на землю и убежал в дом. Он долго не возвращался. Ваня начал есть суп. Слезы изредка еще текли по его щекам, но было уже легче.

Мальчик прибежал красный от волнения и сунул Ване в руку маленький кусок картона. Это был старый, давно использованный пароходный билет.

— Он настоящий,— сказал мальчик таинственно.— Мама ездила с ним в Лондон. Она подарила его мне и сказала, что, когда я вырасту большой, тоже поеду по этому билету в Лондон. Я его спрятал за печкой. Возьмите.

— Зачем же он мне? — спросил Ваня.

— Возьмите,— повторил мальчик, и губы у него опять задрожали.— Поезжайте домой. Взрослому нельзя плакать. Завтра уходит пароход. Я смотрел в газете.

Ваня встал. Он хотел что-то сказать мальчику, но не смог. Он только ласково взъерошил теплые волосы на его голове, осторожно воткнул лопату в землю и вышел из сада. Хлопнула калитка. Ваня прислушался. За ней было тихо.

Больше месяца еще прожил Ваня в Брисбене, голодал и зарабатывал гроши на билет до соседнего порта, чтобы только уехать из Брисбена и случайно не встретить мальчика. Мальчик был уверен, что Ваня уехал на родину с его использованным, пробитым несколькими контролерами билетом, и нельзя было разрушать эту уверенность. Ваня прятался от мальчика, как бродяга прячется от полицейских.

Только через месяц он уехал в Батавию, а оттуда то зайцем, то палубным пассажиром, то гальюнщиком — матросом, моющим пароходные уборные,— добрался до Лондона. В Лондоне его взяли на советский теплоход и привезли в Ленинград.

Ваня вернулся на родину осенью. Осень выдалась в том году сухая и ясная. Земля отдыхала от богатого и тяжелого урожая, она как будто спала в голубых туманах, в шелесте тихих лесов. Ее дыхание было свежим, исцеляющим прежние обиды.

В Пилеве Ваня поступил помощником машиниста на узкоколейную железную дорогу. Он с жадностью говорил с людьми, присматривался ко всему, что происходило вокруг, и чувствовал даже в каждом пустяке удивительную жизнь как будто знакомой и вместе с тем новой родины, видел множество признаков счастья, расцветавшего на когда-то скудных полях, в когда-то нищих деревушках.

Однажды в выходной день Ваня пошел с машинистом Кузьмой Петровичем — маленьким, лоснящимся от машинного масла стариком — на Боровые озера ловить рыбу. Мальчишкой он бегал на эти озера, но каждый раз, когда возвращался, мать замахивалась на него вожжами и визгливо кричала:

— Откуда такой барчук взялся, косоротый! Лошадь не поена, не кормлена, а он по озерам шлендает!

Мать давно умерла. Умер и дед Гундосый. Старое кладбище, где они были похоронены, распахали и засеяли клевером. В клевере гудели шмели. Они отвесно взлетали

из травы и с треском ударялись о заколоченные окна церкви. В церкви жили старые худые пауки. Они заткали все окна и часами сидели в оцепенении около высохших мух, болтавшихся в паутине.

Путь на озера был долог. День стоял туманный, засыпанный сухими березовыми листьями. Посвистывали синицы, курлыкали журавли над вершинами сосен. Ваня узнавал старые места: лесные заброшенные дороги, уводившие в заросли осинника, просеки, заросшие вереском, бессмертником и колосистой травой, и муравьиные тропы в рыжем зернистом песке.

Над лесным краем стояла прозрачная тишина — та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паутина, перелетающая через поляны.

По пути зашли в деревню, где стояла Ванина изба.

В избе давно уже жили чужие — семья лесника.

К Ване вышла девушка в синем сарафане. Две длинные темные косы она перекинула через плечо и все время перебирала их от смущения.

— Дома-то никого нет,— сказала она и подняла на Ваню спокойные светлые глаза.— Отец в лесу, а мать поехала в город на колхозную ярмарку. Зайдите.

Ваня вошел и остановился у притолоки. Цветы стояли на окошцах, на столе, даже на полатях, где умер отец. Солнечный свет падал на суровую скатерть и раскрытую на столе книгу. Пахло сухим хлебом и яблоками.

Ваня взял книгу — это была ботаника.

— Учебник,— улыбнулась девушка.— Я здесь только летом живу, зимой учусь в городе.

Ваня по дороге в лесу собрал немного цветов. Он срывал их и старался вспомнить их названия. Он показал цветы девушке и пожаловался, что вот, мол, забыл русский язык и не помнит названий цветов. Девушка разложила цветы на столе, начала медленно перебирать их и назывань имена: медуница, кипрей, ромашка, генциана, плакун-трава.

Ваня смотрел на нее, и ему все казалось, что это соседская Зинка. Когда он уезжал, ей было три года, она ползала по полу вся в коросте, измазанная куриным пометом, и мать звонкими шлепками отгоняла ее от корыта со свиным пойлом.

— Вы меня не помните? — спросил Ваня.

Девушка застенчиво посмотрела на него и покачала головой.

— Нет, не вспоминаю. А вы разве здешний?

Ваня не ответил. Он оставил девушке цветы и вышел. В сенях валялась в углу черная от старости, расколотая ступа, в которой дед Гундосый толок для отца целебные порошки. Долго потом Ваня не мог отделаться от мысли, что вся его прошлая жизнь, так же как и жизнь отца и матери, была чем-то похожа на эту страшную, вырубленную из дерева ступу, где годами толкли ядовитый злой порошок.

Дорога на Боровые озера шла сначала лесами. Потом пошли сухие болота, заросшие низкой березкой, ольхой, брусникой и кукушкиным льном. Мшары были золотые от осени: желтые листья падали в жесткую и высохшую траву. Красные стрекозы летали над травами, в воздухе столбами толклась мошкара, облака медленно уходили в вышину и растворялись в ней — все это предвещало сухие и теплые дни. Среди мшар стояли острова сосновых боров. Сосны росли на песчаных холмах. Земля в лесах — тот серый, похожий на пепел подзол, из-за которого и начались все Ванины несчастья,— была покрыта папоротником и ландышами с оранжевыми ягодами.

На одном из лесистых островов Кузьма Петрович показал Ване свежие следы лося. Лось шел скачками в сторону озер, должно быть спешил на водопой. Уже на закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны осенних лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров, где лежало пять Боровых озер. От воды тянуло ночной прохладой. Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озер.

Ваня остановился на холме над озерами, и слезы, как тогда в Брисбене, в саду у доктора, подступили к горлу. Он вспомнил мальчика, свои мечты о родине и подумал, что родина во сто крат прекраснее, чем он представлял ее себе издалека.

Всю ночь Ваня не спал, сидел у костра и прислушивался. Он узнавал плач сов, свист летучих мышей, сонные удары рыб в озерных омутах. Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо. Перед рассветом взошел Сириус и медленно понес свой пронзительный зеленый огонь над сырыми чащами, где печально трубил, как будто звал кого-то, какой-то лесной зверь.

Кузьма Петрович проснулся, послушал и сказал:

— Сохатый плачет.

На обратном пути Ваня снова зашел в свою старую

избу. Встретила его хлопотливая чистенькая старушка в маленьких лаптях — тетка Василиса. Он совсем забыл о ней, но она его хорошо помнила.

— Ванятка! — вскрикнула она, расцеловалась с Ваней и захлопотала вокруг стола.— А народ все гудит и гудит который год, что ты сгинул за краем земли, пропал в теплых морях. Все твоего отца поминаю, Игната. До чего тихий был человек, даже кашлять надсадно боялся, чтобы людей не тревожить! Бывало, лежит, помирает. Придешь к нему, спросишь: «Тебе, Игнатушка, может, пирог ржаной испечь или бруснички принести к чаю, все полегчает малость?» А он говорит: «Ни к чему это, Василиса. Жизнь надо бы себе стесать хорошую, светлую, как новая изба, да вот не стесал: руки у нас, у мужиков, от навоза не гнутся...» Говорит: «Есть земля, Василиса, где стоят тихие, светлые воды и пшеница в полях клонит голову до самой земли — такой тугой у нее колос,— и песни народ поет веселые, как ихняя беспечальная жизнь. Да вот помираю, а той страны не видел. Ванюшка мой ее должен увидеть, а увидит — беспременно вспомнит отца». Так и помер Игнат, не дождался иной жизни. А Дарья померла почитай уже перед самой революцией, в одночасье. Простыла. Все бегала зимой в Пилево, дожидалась письма от тебя, а ты никак не писал. Бывало, плачет: «Ванятка мой больно далеко заехал, даже почта достигнуть не может. Зачем я его, дура, в Сибирь погнала?»

Ваня встал. Ему тяжело было слушать певучий Василисин рассказ о прошлом. Вошла девушка в синем сарафане, покраснела и поздоровалась с Ваней за руку.

— Дочка моя,— сказала старуха с гордостью.— Ты небось ее и не помнишь, Зинку-то? Она при тебе еще совсем сопливой была, а теперь учится в самой-то Москве.

— Ну, мама! — сказала девушка с укором и еще гуще покраснела. Она застенчиво взглянула на Ваню и показала ему на стакан; в нем стояли лесные цветы — подарок Вани.— Вот и цветы без вас все завяли,— сказала она печально.— Я два раза воду меняла, а они вянут и вянут.

— Ай цветы тоже по человеку скучают? — спросила старуха и рассмеялась.

Через несколько дней Ваня послал из Пилева письмо со странным адресом: «Австралия, город Брисбен».

Почтарь долго вертел письмо в руках, щупал: в письме что-то шуршало. Он посмотрел письмо на свет и увидел внутри очертания красного кленового листа. Почтарь ни-

чего не понял, но штемпель приложил очень старательно: пусть в Австралии знают, что есть на свете станция Пилево, утонувшая в русских лесах.

В письме было написано:

«Спасибо, Боб, за билет. Он оказался совсем настоящим. Меня везли в отдельной каюте с кипятком и цветами, всю дорогу играла музыка, кормили нас яблочными пудингами, и я вспоминал о тебе. Ты, смотри, не забывай меня все время, пока растешь, потому что, когда ты вырастешь и станешь большой, то приедешь ко мне в гости, и я покажу тебе страну, где все делается для того, чтобы у людей было в будущем поменьше горя и побольше счастья.

Посылаю тебе лист из наших лесов. Наши леса совсем красные, ты таких никогда не видел. Недавно я ходил в леса на глубокие озера и видел следы лесного зверя — лося. Он похож на громадную лошадь, но только с рогами. Пиши мне, а я буду писать тебе. Передай привет твоей маме, скажи: от Джона. Он же тот самый матрос, который искал свой кисет с табаком по всему миру. Скажи маме, что я тоже нашел свой кисет дома.

Прощай, учись, веселись и будь здоров!

Твой *Джон Зубов*».

1937

ПОВОДЫРЬ

Обширное Полесье началось под поплавками машины. Леса уже желтели, роняли листву. Солнце висело над просеками в осеннем дыму.

«Товарищ командарм,— написал летчик на записке,— разрешите сесть на ближайшем озере: мотор капризничает. Озер, кстати, много».

Командарм читал. Он нехотя оторвался от книги, прочел записку, написал на ней: «Совсем некстати, но делать нечего»,— и вернул записку летчику. Летчик взглянул на нее и повел самолет на снижение.

Никогда командарм не испытывал такого наслаждения от книг, как во время полетов. Это были единственные часы, когда он спокойно читал,— земля медленно проплывала внизу, безмолвная и ясная, как карта, забрызганная каплями озер.

Командарм снова раскрыл книгу, но в это время поплавки ударили о воду, она как бы взорвалась, превратилась в шумную пену, и самолет помчался, разбрызгивая озеро, к лесистому берегу.

Командарм взглянул за окно. Летчик рулил к избе на берегу. Солнце сверкало над вершинами старого леса. Ветер нес над водой бледную паутину. Озеро было так густо засыпано палыми листьями, что даже в кабину проникал их сладковатый запах.

Весело загремел маленький якорь. Командарм открыл дверцу кабины и прислушался. Давно забытая тишина простиралась на сотни километров над лесами. Не было слышно даже пересвистывания птиц. Такая тишина бывает только безветренной ночью, когда легкий хруст сухой травинки застает вас врасплох и заставляет сердце биться глухо и торопливо.

— Где мы сели? — спросил командарм.

— Это Полесье,— ответил летчик.— В ста километрах отсюда — город Чернобыль.

— А вы уверены, что это город?

— Что-то вроде,— пробормотал летчик и смутился.

— Ну, хорошо. Чините скорее мотор.

Опаздывать было нельзя. Командарм летел на юг, к морю, где его ждал громадный флот, готовый выйти в осеннее учебное плавание.

От единственной избы на берегу отчалил старый челн. Человек на нем греб стоя.

Челн подошел к самолету, и человек крикнул с челна командарму:

— А я дивлюсь: який журавель прилетел до нас с неба? Що воно, думаю, и яка в том причина? Должно, поломались, землячки?

— Ничего не поломались,— ответил летчик.

— Ну, ну,— добродушно согласился лесной человек.— Нехай будет по-вашему. А вы, часом, не из Москвы?

— Из Москвы,— ответил командарм.

— Ну, седайте в челн, будете гостем, хоть хата моя и не дуже богатая. Я полесовщик здешний.

Командарм сел в валкий, полный воды челн.

Летчик остался чинить машину.

На берегу командарм оглянулся на леса, быстро ставшие печальными и золотыми от заката, вдохнул запах вянущих трав и улыбнулся:

— Хорошо тут у вас! Охота, должно быть, богатая?

— А в Москве, мабуть, лучше,— сказал лесник.
— Ну что ж, поменяемся,— пошутил командарм.
— Чистый смех! — сказал лесной человек.— Тут я знаю, где какая птица перо загубила. За самую за райскую жизнь я этого леса не кину.
Командарм прошел в избу. На стене были приклеены портреты, вырезанные из старых газет. Среди них рядом с портретом Шевченко командарм увидел себя — он был изображен молодым, улыбающимся. Командарм снял фуражку, провел широкой ладонью по седым волосам и сел на лавку. Лесник полез в подпол за молоком и сыром.
Из темного угла послышалось заунывное жужжание. Командарм оглянулся — на полу сидел старик со светлыми слепыми глазами. Отполированная сотнями нищих заскорузлых рук украинская лира лежала у него на коленях. Старик медленно поворачивал костяную ручку, деревянный треснувший валик вертелся, терся о струны, и они глухо жужжали.
— Ты здешний, отец? — спросил командарм.
— Не, я из-за Припяти. Иду в Чернобыль, на Киев: як силы хватит, дойду до самого моря.
«Странный старик»,— подумал командарм.
Лира жужжала все так же тихо и заунывно.
Вошел лесник. Он поставил на стол кувшин с молоком, положил краюху черного хлеба и рассказал, что убогий этот старик пришел из-за Припяти. Его привел мальчик из соседнего колхоза и тотчас ушел.
Теперь надо бы проводить старика до Чернобыля, но все некогда.
Идет старик без поводыря. Где теперь взять поводырей, когда все девчата и хлопцы бегают в школу? Так и пробирается один к морю, а зачем — неизвестно,— говорит, к дочери.
— Ты бы мне спел, отец,— попросил командарм, разламывая черный хлеб и макая его в кружку с молоком.
— Спасибо на ласковом слове,— ответил старик.— Теперь народ пошел торопливый, не слухает старые песни.
Старик помолчал.
— Спою я тебе думку, что сложили про меня, про старого Колдобу, сирые слепцы, покалеченные люди,— сказал спокойно старик, и командарм невольно вздрогнул.— Слухай тихонько.
Старик снял шапку и долго молча жужжал на лире.
— Як бурьян на шляхах вянет да пылится,— сказал он

печально,— так и сердце сохнет от людской обиды. Як вода на речке льется, уплывает, так и слезы льются, их никто не чует.

Лира стихла. В наступившей тишине старик сказал просто и громко:

Ой, жила на свете сирота-небога,
Тай пришлась сиротке трудная дорога.
Мать ее не мыла, волос не чесала,
Корку хлеба с салом, борща не давала,
Бо в могиле маты третий год лежала.

Лира снова зажужжала громко и томительно:

Тай коров пасла та сирота у пана,
Ночевала, бидна, посередь бурьяна.
Грозы по-над степью ходят чередою,
Молнии полышут над сухой травою.

Слепец рассказал, как гроза разогнала стадо в степи, как потеряла девочка лучшую корову и как хозяин выгнал ее ночью со двора и не дал даже куска хлеба.

И пошла сиротка, слезы утирае,
Мать свою с могилы даром выкликае.
Доля человечья слезами полита,
Доля человечья тоскою повита,
Доля человечья богом позабыта.

Старик опять помолчал. Скрипела лира.

— Слухай, сердце мое,— сказал старик командарму.— Нема на свете гирше слез, як слезы сиротыны.

Он прижал струны и снова заговорил:

Так бежит сиротка, а куда — не знае.
Тай на шляху ночью казака встречае
И тому казаку все оповидае.
Взяв казак сиротку и довел до хаты,
Где господовала его стара маты.
И сказав казаче матери: «Горпына,
Я знайшов на шляху небогу-дивчину.
Будь же ей, старуха, як родная маты,
Я ж пойду до пана два слова казаты».

Лира зажужжала торопливо, и старик запел грозным голосом:

То не грозы в небе ходят да играют,—
То господски хаты огнем полыхают.
Ще не вмерла правда та холопска сила,
Ще не зарастае панская могила.
Гей, вставайте, люды, со степей та гаев!
Гей, вставайте, люды, кто щастья не мае!
Шуми, Украина, повстаньем та свистом,

Вренчи, Украина, блисканьем монистом,
Бо идут холопы ратуваты волю,
Отбываты землю, будуваты долю!

Лира еще долго гудела и затихала. Командарм слушал, отодвинув хлеб. Щемящая эта песня напоминала ему детство, далекие годы, когда он мальчишкой гонял в ночное в осенние холодные ночи старого коня и у него, у мальчишки, был один только тулупчик — рваный, косматый от вылезшей шерсти.

Замученный конь пасся вяло, часами стоял неподвижно под дождем, думал о чем-то, и глаза его слезились.

Мать штопала тулупчик, но он все рвался и рвался, и мать плакала от забот, от дурных предчувствий. Отец ушел на юг, на шахты, и там пропал.

— Да, детство,— сказал командарм и поднял голову.

— Очи я спалил на том на панском пожаре,— сказал старик, надевая шапку.— За год до войны я ослеп. Один голос остался для меня на свете.

— А где ж та девочка? — спросил командарм.

— Двадцать годов я ее не бачив,— ответил старик.— Як наскочили на наше село гайдамаки, она и ушла через болота с красными частями. Так и сгинула, загубилась в городах посередь многолюдства. Немае у мене иншего ридного сердца, она одна осталась. Шукав я ее сколько годов, исходил всю землю. Месяц назад вернулся в свое село, прибег до мене председатель колхоза и каже: «Дочка твоя знайшлась. Приезжав, каже, на побывку Остап — вин служит во флоте. Вин ее бачив, она про тебя пытала, а вин, дурный, сказав, шо ты ушел из села, загубывся, мабуть вже помер. Она дуже плакала. Я, каже, адрес ее у Остапа спысав. Ось вин!»

Старик вытащил из-за пазухи измятую бумажку и протянул ее вперед в дрожащей руке.

Командарм прочел адрес при свете керосиновой лампочки. Стекло у лампы было покрыто мохнатой пылью: должно быть, ее с зимы не зажигали.

— Далеко тебе идти, отец,— сказал командарм.— До самого моря. Далеко и долго идти.

— Одного боюся — не дойду,— ответил старик.— Годы мои великие, силы прежней нету.

Вошел летчик и доложил, что работы осталось часа на два и на рассвете можно будет лететь.

— Значит, мы не опоздаем? — спросил командарм.

— Прилетим как раз вовремя,

Ночью командарм не спал.

Он вышел из избы. Как только он переступил порог, густая ночь окружила его шелестом и холодом. Осины на берегу торопливо зашуршали листьями и стихли.

«Да, детство,— подумал командарм и закурил.— Все, как в детстве,— глухие ночи, Стожары, роса, сонная возня птиц, ночующих в мокрой листве».

Командарм посмотрел на восток. Среди черных ветвей сверкал зеленый холодный Сириус,— приближался рассвет.

Командарм вернулся в избу. Все спали.

— Отец,— негромко позвал командарм.

Слепец пошевелился в своем углу. Командарм зажег спичку. Старик сидел на полу, прислонившись к стене, и смотрел в темноту светлыми мертвыми глазами.

— Отец,— повторил командарм,— собирайся. Мы возьмем тебя, доставим до моря.

Старик молчал в темноте.

— Бери лиру, завяжи сумку с хлебом. Через час полетим.

Старик молчал. Командарм снова зажег спичку.

Старик сидел все так же. Из его открытых глаз текли редкие слезы.

— Чую,— тихо сказал он.— Чую, сердце мое.

Через час машина с торжественным рокотом, разогнав по озеру темную волну, шла в небо, разворачиваясь к югу, где низко среди просек и пустошей дотлевал пепельным огнем Юпитер.

Перед отлетом летчик оглянулся на слепца, сидевшего в кабине. Лицо старика сморщилось. Он вытирал глаза колючим рукавом свитки и бормотал:

— От, старый дурень, яка приключилась история!

— Разрешите доложить,— сказал летчик командарму.— Двести километров лишних. Мы опоздаем ко флоту.

— А вы не опаздывайте,— ответил, усмехнувшись, командарм.

Через четыре часа самолет, окруженный дрожащим серебряным воздухом, сел в зеленых бурунах, в солнце и громе моторов, около желтых рыбачьих лачуг, красных скал, около берегов, залитых мерным и теплым прибоем.

Казалось, что приморский городок еще спит, так пустынно было на его каменных улицах, когда командарм осторожно, как поводырь, вел за руку дряхлого лирника в старой колючей свитке.

Милиционер на берегу около пристани узнал командарма по портретам, хотел поднять руку к козырьку, но растерялся — только дернул рукой и спрятался от смущения за кузов вытащенной на берег рыбачьей барки.

— Ну вот, здесь! — сказал командарм и остановился около маленького дома.

Тонкие сети, похожие на голубую паутину, висели на ограде, и черный кот сидел на перевернутой шлюпке и лениво жмурился на командарма.

— Я тебе, отец, открою калитку,— тихо сказал командарм,— а там уж ты сам доберешься. Я тороплюсь.

— Я дойду, я дойду, сердце мое,— растерянно ответил старик.

Командарм открыл калитку, ввел в нее старика и быстро отошел за угол. Он заметил сквозь заросли дикого винограда молодую женщину, стремительно сбежавшую со ступенек террасы, услышал отчаянный, радостный крик, смешанный со слезами, торопливо вынул папиросу, на ходу закурил и, прыгая с камня на камень по крутым спускам, сворачивая в боковые запутанные переулки, быстро пошел к морю, где его ждал самолет.

В сумерки под крылом самолета открылись глубокие бухты. Во мгле, в перебегающих огнях, в шуме флагов и блеске сигнальных фонарей, в плеске и гомоне чаек покачивался на якорях и тяжело дымил южный флот, дожидавшийся командарма, чтобы выйти в осеннее учебное плавание.

Командарм опоздал на два часа.

1937

СТАРЫЙ ЧЕЛН

Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске.

— Какая станция? — спросил из купе сонный голос.

— Стоим в пути,— ответил проводник. Он торопливо шел через вагон и вытирал паклей руки.

Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи до самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья одуванчика.

Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что казалось, он

обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда запутывался в чаще, но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше.

— Какая гроза! — сказал кто-то за спиной у Наташи.

Она оглянулась: в дверях купе стоял ее попутчик — молодой режиссер.

— Какая гроза! Как здорово сделано! — повторил он, всматриваясь в грозовое небо с таким видом, будто оно было театральной декорацией.— Вы не знаете, что это за птицы?

— Не знаю,— ответила Наташа.

— Это дикие голуби,— сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташе.— Как же вы не знаете? А еще десятиклассница!

— Я горожанка,— ответила Наташа и смутилась.

Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело.

Внезапно ветер рванул занавески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась желтая вода.

Вдоль окон блеснула молния, и тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна.

— Что случилось? — спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечущая красота исчезла с первым же раскатом грома.

Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла и седой золы валились на землю. В страшной черноте все вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев.

— Проводник, что же, наконец, случилось? — крикнула женщина в лиловой пижаме.— Почему мы идем назад?

— Путь впереди размыло,— угрюмо ответил проводник.— Видите, какая гроза! Подают на Синезерки. Там будем стоять, пока не починят.

— Безобразие! — сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе.

Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым: ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону — к по-

следнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь.

По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь.

— «Молньи стремителен бег, и разит она тяжким ударом»,— неожиданно сказал лесничий.

Режиссер усмехнулся одними глазами.

— Откуда это? — спросила Наташа.

— Из Лукреция,— ответил лесничий и покраснел.

По всему было видно, что лесничий и счастлив и смущен. Он был счастлив потому, что ехал в отпуск в Крым. где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущий к их подножью откуда-то, из страшной дали, плеск воды.

Смущали его попутчики. Смущала их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни. Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и «линкольнах», он чувствовал, что это — люди совсем другой жизни и до него, лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване, засунув бледные руки в карманы тончайших брюк, режиссер курил папиросы «Элит» и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанный вольным узлом ослепительный галстук.

Единственным попутчиком, не смущавшим лесничего, была Наташа — застенчивая худенькая девушка. У нее все время от ветра из окон растрепывались волосы и по нескольку раз в день попадали в глаза песчинки.

Однажды лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо надушенный носовой платок.

«Лесовик,— подумал о себе лесничий.— Чертов провинциал».

— Какое славное название «Синезерки»,— пробормотал режиссер.— Синезерки! Синезерки! Синие озера! Это надо запомнить.

— Здесь много озер, в этих лесах,— сказал лесничий.

— А вы знаете эти места?

— Да так... немного... Лет пятнадцать назад я здесь работал: сажал лес.

— А-а, это интересно,— протянул режиссер, но по его лицу лесничий понял, что это никому не интересно.— Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра?!

— Да, действительно досадно,— согласился лесничий.

Он думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерки, на старые места, но все никак не соберется. Вот и теперь поезд простоит в Синезерках час, два, пока не починят путь, и, кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит.

— Да, жаль! — вздохнул лесничий.

Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще никогда не была, и он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу.

В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа, и трудно было понять, наступил ли уже вечер, или темнота пришла от дождя.

Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками.

Дед Василий перетряхивал в телеге мокрое сено и поглядывал на поезд: «Куда это только шастают люди взад-вперед, взад-вперед?!»

Лошаденка его засунула голову по самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда, ждала привычного окрика: «Н-но, дьявол! Заелся на казенных харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро.

Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал кнутовищем в стекло.

— Петр Матвев! — крикнул он слабым, срывающимся голосом.— А Петр Матвев!

За окном в коридоре стоял лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий всмотрелся в старика и открыл окно.

— Не признаешь? — спросил дед и тонко засмеялся.— А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел бог встретиться, скажи на милость!

— Василий! — крикнул лесничий, быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика.— Живешь?

— Живу,— ответил дед, утирая рукавом лицо.— Живу,

стараюсь. Смерть около топчется, а в сторожку ко мне ей зайти невдомек. Забыл ты нас, Петр Матвев, истинное слово, забыл! А без тебя жизнь наша, прямо скажу, никудышняя.

— Чего так? Что у вас неладного?

— Будто ты и не знаешь? — недоверчиво спросил дед.— Будто газет сроду не читал, Петр Матвев?

— А что? Ты говори, не оглядывайся.

— Мне оглядываться не на кого. В нашей-то районной газете сколько раз печатали,— сказал со вздохом дед.— Печатали, печатали, а на поверку выходит — зря старались. Оно и видать — одной письменностью дела не сдвинешь, лес не оборонишь.

— Да ты о чем? — спросил лесничий.— Ты не крути, ты говори прямо.

Дед снял шапку и бросил ее на черный от нефти песок.

— Эх, Петр Матвев, Петр Матвев! Лес твой молодой приказал долго жить.

— Сгорел? — испуганно спросил лесничий.

— Зачем сгорел? Пожару у нас, храни бог, не было. А с этой весны ест его гусеница, ест как по наряду, и сейчас почитай уже половину съела, проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему, видишь ли, ходу не дают, яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет, и как не придешь, одни у него слова: «Нет из области ответу». Так вот и сидим, порты протираем. «Нет ответу да нет ответу». А лес! — громко сказал дед и всхлипнул.— Лес мы с тобой, Петр Матвев, какой насадили! Сосна к сосне, как красавицы сестры! Ей-богу, верь не верь, а я как войду в него, шапку скину и стою, как беспамятный: до чего хорош лес!

Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалявшиеся седые волосы.

— Что же поделаешь, Василий? — сказал лесничий и оглянулся. На ступеньках вагона стояла Наташа и, наморщив лоб, слушала жалобы деда.

— Когда отец детей кинет без помощи,— сказал горестно дед,— так совесть его корит, а к тому же и судят его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне, дураку, лесному объездчику.

— Что же делать, Василий? — растерянно спросил лесничий.

— Опыление,— пробормотал дед, не слушая лесниче-

го.— Нынче весной созрела пыльца, задул ветер — и понесло ее по-над озером золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал.

Дед помолчал.

— Петр Матвев,— сказал он умоляюще и взял лесничего за рукав.— Уважь старика: поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасать, лес-то, и поезжай себе с богом, а я как-нибудь сам управлюсь.

— Чудак! — сказал лесничий.— Да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты, в самом деле, придумал!

— Не уйде-ет! — уверенно сказал дед.— Некуда ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ране.

Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она, все так же наморщив лоб, смотрела на деда.

— Пойдем к дежурному,— сказал решительно дед.— И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем!

— Что мне с тобой делать! — рассердился лесничий.— Запутал ты меня своими разговорами.

— Поезжайте, Петр Матвеевич,— сказала неожиданно Наташа.— Успеете.

— Вы думаете, успею? — спросил лесничий, засмеялся и почувствовал внезапную свежесть на сердце.— Вы думаете, успею?

— А можно и мне поехать с вами? — спросила Наташа.

— Эх, барышня-красавица, товарищ дорогой,— сказал дед и низко поклонился Наташе.— Как же тебя не взять за твое верное слово? Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас с серебряной водой, нету такого во всем Советском Союзе.

— Ну, пошли к дежурному! — сказал лесничий.— Запутал ты меня, старик, окончательно.

Дежурный сказал, что путь вряд ли починят раньше полудня.

Лесничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение и обычные в таких случаях неопределенные возгласы: «Да что вы!», «Ну, знаете, не ожидал!»

Лошаденка, тащила телегу не торопясь, помахивая ушами,— все равно ночью больного леса не увидишь и ничего не придумаешь.

Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина — она казалась Наташе глубокой, как ночная

вода,— стояла в лесах. Только в сырых перелесках изредка кричали спросонок какие-то птицы.

К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. Но Наташа не узнавала звезд: созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания.

Лесной край, загадочный и огромный, как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прели и мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ, в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса.

— Сторонушка наша заповедная,— бормотал, вздыхая, дед.— Леса эти завалились до самого края земли. Нету их лучше на свете.

— Спи-спи! — крикнула где-то над головой проснувшаяся птица.— Спи-спи!

«Я и так сплю»,— подумала Наташа и засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь тянулась без конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все дремучей, разбойничей делался лес.

— Ну, кажись, приехали,— сказал дед.

Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла: звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалось, набегая на невидимый берег.

— Озеро,— сказал лесничий.— Звезд сколько в нем — будто осенью!

Сипло залаяла собака. Телега остановилась около сторожки, под черными ивами. На насесте всполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и посветил Наташе и лесничему.

Наташа вошла в избу. В ней сильно пахло печной золой, сухой мятой, теплом старого бревенчатого дома.

Наташа выпила молока и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед положил ей под голову новый армяк.

Проснулась она очень рано. Белое солнце стояло над лесом. В избе никого не было, только черный пес сидел под столом и, с изумлением поглядывая на Наташу, вычесывал блох.

— Как бы не опоздать! — спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы.

Ходики стояли, должно быть, давно: бутылка с водой, подвешенная вместо гири, заросла паутиной.

Наташа вышла в прохладные сени. Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, по сваленным на полу хомутам.

Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое светлое озеро стояло тут же рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались высокие леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась очень легкой, невесомой. В ней спали, чуть пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы.

На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплая от солнца.

В щелях челна проросли высокие цветы и травы. У самых ног Наташи стройным кустом расцвел розовый кипрей. На носу, где челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне челна пробились кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около челна и зевнул. Глубоко под землей кричали медведки.

«А как же поезд?» — подумала Наташа и удивилась: эта мысль не вызвала у нее никакой тревоги.

Так она просидела около часа. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своем журавли, потом отчаянно крякнула утка,— и снова все стихло.

Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал:

— Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю, запрягу Мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед: езжай, живи на теплых водах в городе Золотые Маковки, наживай счастье.

— А где же Петр Матвеевич?

Дед усмехнулся:

— Сейчас придет. Ему теперь все нипочем!

— А что такое? — испугалась Наташа.

— Расскажет,— ответил дед, выколачивая треснувшую трубку о борт челна.— Ты слушай. Челну этому сколько годов? Не менее, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрёма,— дед показал на кукушкины слезы.— Ты погляди на него, на цветок: днем дремлет, а как ночь — раскрывается, медом пахнет — и так до утра.

Правду сказать, худой челн, свое отслужил. Лесовод намедни приезжал, смеялся: «Ты бы, говорит, Василий, на нем картошку сварил, чего зря дрова валяются». А я думаю: «Нет, картошку на нем варить срок не вышел, с этим делом погодить надо».

— Жалко? — спросила Наташа.

— Известно, жалко. Ведь ты подумай: истлел вконец, а годится для жизни.

— Как это? — спросила Наташа.— Я не понимаю.

— А чего тут понимать! — рассердился дед.— Челн этот — одна труха, а в каждом пазу цветок тянется. Так вот погляжу на него, да нет-нет и подумаю: «Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится». Вот и стараюсь. Ты седины не бойся. Главное, чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет?

— Верное,— ответила Наташа и засмеялась.

— Ну, то-то! Ты моему слову верь!

Подошел лесничий. Дед, кряхтя, встал и пошел запрягать Мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока, и замолчал.

— Мы не опоздаем? — спросила Наташа.

— Да нет, не думаю,— ответил лесничий, покраснел и добавил, не глядя на Наташу: — Дело в том, что я не поеду.

Наташа изумленно молчала.

— Да, не поеду! — сказал, сердясь, лесничий.— Оказывается, тут такая история... Одним словом, без меня у них может ничего и не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко...

— Я-то понимаю,— сказала Наташа.

— В общем, мне здесь, признаться, будет лучше, чем в этом Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну, да бог с ней! А к вам большая просьба: передайте мой чемодан деду, он привезет.

— Ну что ж,— сказала Наташа и вздохнула.— Мне даже завидно.

— Но-о, дьявол! — хрипло закричал около сторожки дед.— Заелся на казенных харчах!

— Ну что ж, прощайте! — сказала Наташа и робко пожала руку лесничему.

Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала: вот на этом месте его вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой, и Наташа

успела прочесть на доске около моста запыленную надпись: «Река Мошка».

Широкая радуга стояла над лесами: там где-то, за озером, шел небольшой дождь.

Радуга показалась Наташе входом в заповедные, таинственные страны, где хозяйничают Петр Матвеевич и дед и кричат на рассветах журавли.

Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце: если бы можно было остаться здесь до самой осени?!

Паровоз прощально закричал, и леса начали перебрасывать его короткий крик, унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.

1939

СТЕКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Бабка Ганя жила на околице, в маленькой избе. Ганя была одинокая. Единственный ее внук Вася работал в Гусь-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок граненые синие стаканы, а для украшения — маленькие, выдутые из стекла самовары, туфельки и цветы. Выдувал их он сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце. Бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости. Она позволяла им смотреть на эти волшебные вещи, но в руки ничего не давала.

— Вещь эта хрупкая, как ледок,— говорила она.— Не ровен час — сломаете. Руки у вас корявые. Картуз держать не умеете, а тоже пристаете: «Дай подержать да дай потрогать». Их держать надо слабо-слабо, как воробышка. А нешто вы так можете? А раз не можете — так глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавом носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались легким блеском. Когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они звенели долго и тонко, будто разговаривали между собой о чем-то своем — стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил рыжий пес, по имени Жек. Это был старый, беззубый пес. Весь день он лежал под печкой и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком — посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных разностях, пожаловаться на старость.

— Я совсем слаба стала, ничего почитай и не ем,— говорила она.— Воробей и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать бумагу в сельский Совет. Она диктовала ее сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, трудно.

— Пиши, сердешный,— сказала она.— Пиши в точности, как я скажу: «Я, Агафья Семеновна Ветрова, жительница села Окоемова, сообщаю сельскому Совету, что в случае моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а этого для человека мало. Он обязан знать еще и какое ни на есть мастерство.

Внук мой — такой мастер, что только землю и небо не сделает, а все прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой — не женатый, не пьющий. Боязно мне, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу нашу власть не оставить его заботой, чтобы дар, даденный ему с малолетства, не пропал, а большал и большал. А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжелого стекла некоторую вещь,— называется она по-городскому рояль, а у нас в селе ее сроду не видывали и не слыхали. Это самое мечтание он изложил мне, и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. А собаку Жека пусть заберет аптекарь, Иван Егорыч, он к зверям ласковый.

Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола и вздыхал — чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула в ситцевый платок, поклонилась низко, по-стариковски, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем — художником — уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над головой и хрустели — на них лежал тяжелый иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось прикасаться — топор, котелок, ветки,— было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии зарослей подымалось солнце, и мы не узнавали Прорвы — все было присыпано морозной пылью.

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной. Белые, будто засахаренные, ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез теряли серебряный налет и шелестели под ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вышел дед Пахом. Он собирал в мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю,— все-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

— Здоро́во! — сказал дед.— Никак я в толк не возьму, чего вы тут делаете, милые. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай. За чаем дед завел трудный разговор о витаминах.

— Одышка у меня,— сказал дед.— Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, выдумываешь невесть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

— Чего? — спросил я.

— Ну, тмины там какие-то советует потреблять. Настой из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей-богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу — она у нас сплоховала.

— А что?

— Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую поневу надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу,

помирать еще ни к чему. Вы от меня, голубчики, еще наслушаетесь разного разговора. Жалеть не будете!

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидал на своем веку много болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

— Раз родились,— говорил он,— все одно помрем.

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто: все ушли на огороды копать картошку.

На крыльце Ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лег на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу — ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду. Я впервые увидел белый рязанский шушун, новенький черный платок с белыми цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую поневу.

Дед наступил на шаткую половицу, и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

— Вечный покой,— сказал дед и стащил с головы рваный картуз.— Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха, строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая картузом лицо:

— Ты чего же недоглядел хозяйку, дьявол косматый!

Жек опустил голову и робко помахивал хвостом. Он не понимал, за что на него сердятся.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на ее могилу и рассыпали по ней накрошенный хлеб — для воробьев и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай — кормить птиц на могилах, чтобы на стареньком кладбище было весело от птичьего щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика, болезненный,— «квелый», как говорили по деревне,— но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало, больше слушал и улыбался.

Я долго не решался расспросить его о стеклянном рояле. Заветная его мечта казалась неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали березовые дрова, я наконец спросил его об этом рояле.

— У каждого мастера,— ответил Вася и застенчиво улыбнулся,— лежит на душе мечтанье сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер!

Вася помолчал.

— Разное есть стекло,— сказал он.— Есть грубое, бутылочное и оконное. А есть тонкое, свинцовое стекло. По-нашему оно называется флинтглясс, а по-вашему — хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Он играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно — очень он был ломкий, требовал осторожного обращения, а теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

— Прозрачный? — спросил я.

— Об этом-то и разговор,— ответил Вася.— Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нем сложное. Но, несмотря на то что рояль прозрачный, это устройство только чуть будет видно.

— Почему?

— А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатления, ежели видит, как она происходит. Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотизной. Только вторые клавиши сделаю из черного хрусталя, а так весь рояль будет как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня нет воображения рассказать вам, какой это должен быть звон.

С тех пор до самого Васиного отъезда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Дни стояли пасмурные, мягкие. В сумерки мы выходили в сад. На снег падали последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой,— сверкающий, поющий так чисто, как поет вода, позванивая по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот рояль. Он отражал пламя свечей, старинные портреты композиторов, тяжелые золотые рамы, снег за окнами, серого кота,— он любил сидеть на крышке рояля,— и, наконец, черное платье молодой певицы и ее опущенную руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук, унылый и простой,
Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то чудесное стеснение в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Все гуще падал снег, засыпа́л могилу бабки Гани. И все сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась мне теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

1939

РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ

Судьба одного наполеоновского маршала,— не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов,— заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был еще молод. Легкая седина и шрам на щеке придавали особую привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потертый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала, стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к «большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошел пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошел к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс,— ответил незнакомец.— Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас,— ответил музыкант,— но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо ее проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо...— ответил маршал,— хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахму-

рился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина,— сказал маршал.— Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет,— ответил Баумвейс и перестал играть,— я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и именитых людей.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот,— Баумвейс встал,— за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы? — спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живет лесничий,— ответил Баумвейс.— В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапера Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь,— сказал он,— мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно,— ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он удивлен словами маршала.

— Но,— сказал маршал,— никому ни слова об этом. Я выйду через черное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно,— повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

— В зиму! — сказал он самому себе.— К черту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Черный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замерз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель,— сказал возница.— Веселая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошел, сбросив плащ, в низкую комнату, освещенную свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня,— сказал маршал и слегка покраснел.— Простите за непрошеное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да,— ответил, смешавшись, маршал,— это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущенная и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шепот недоумения пробежал среди гостей.

Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были ее современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой жен-

щины, о ее легкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны ее любви.

Что было дальше? Маршал провел в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнаженная рука на жестком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем ее любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами, в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают с седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Все вокруг осталось по-прежнему. Все так же шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах темную листву. Все так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя и старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапера.

1939

СТАРЫЙ ПОВАР

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу,— сказал старик,— и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная...— прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.

— Хорошо,— сказал человек спокойно.— Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он.— Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп,— прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе.— А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — ее звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто,— ответил старик и заплакал.— Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер,— сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика,— вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь! — прошептал старик.

— Аминь! — повторил незнакомец.— А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо,— сказал незнакомец и встал.— Хорошо,— повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет.— Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

— Слушайте,— сказал незнакомец.— Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати.— Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась,— повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в черное окно.

— А теперь,— спросил он,— вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите,— быстро сказал незнакомец, не переставая играть,— что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается

все выше, все синей, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу все это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

— Нет, сударь,— сказала Мария незнакомцу,— эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да,— ответил незнакомец,— это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария,— попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел все так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. Ваше имя!

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт,— ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

1940

ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно

ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах, вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный «Горлачом», пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит,— петух разъярялся.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раз-

дался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на головы ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она

прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь, так же как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо,— на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал,— должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей: не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен Севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидели на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и предсказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

> Прощай, звезда над милыми горами!
> Прощай навек, мой теплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчи-

кам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец,— он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы клевали все сразу, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «ве-

ликую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

1940

СИВЫЙ МЕРИН

На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга, в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них, стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей,— ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синея, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый мерин. Когда мы проходили мимо него, он

проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца, и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он.— Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка. Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошенному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер — задумался.

— Все-таки,— сказал Рувим, закуривая,— он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает,

то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий окрик: «Но-но, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишьси-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы поднимался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое облачко, похожее па пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин медленно пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам — покурить и побеседовать насчет клева.

— Вот вы, я гляжу,— сказал он, сплевывая,— ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из кон-

ского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода — и то будет нечем.

— Старик свое отработал,— сказал я.

— Известно, отработал,— согласился Петя.— Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождешь,— сказал Петя.— Работы с тебя никто не спрашивает — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен,— ответил Петя,— а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий — хотел было отправить его к коновалу, спять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так... Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него — что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется,— ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него — и та кругом седая.

— Ну, и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство».— «А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с мерином, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать... Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае,— сказал он и протянул мне черную от дегтя руку.— Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лини. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.

1940

ПОДАРОК

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам,— сказал он и покраснел.— Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета,— ответил Ваня.— Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава,— проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею,— сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром

клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у еще нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпа́лись с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты; в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон,— сказал он.— Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от тяжести снега, который парастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не дава-

ла бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять прóцентов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее посвоему.

— Ты, милок,— сказал он Рувиму,— поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может,— ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед.— А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни гляпешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул,— сказал Рувим.— С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно.— Сдаешься? Ты со мной не заводись,— бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вóкруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

1940

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокой-

ный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля,— сказал он,— снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед.— Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно ды-

шали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная, — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и наконец пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

1940

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СТАРОМ ВЕРБЛЮДЕ

В Казахстане, на берегу озера Зайсан, прозванного кочевниками «Озером колоколов» за чистый звон его волн, прожил всю свою жизнь старый казах Сеид Тулубаев.

Может быть, не все знают о Казахстане. Тогда им придется развернуть карту Азии и в самой сердцевине материка, между Каспийским морем и пустыней Гоби у подножья Небесных гор — Тянь-Шаня, найти очертания этой огромной страны.

Знающие люди говорят, что если отрезать от Европы все полуострова, то останется территория, равная Казахстану. Я не проверял этого, но знаю, что Казахстан занимает исполинскую площадь в три миллиона квадратных километров.

Границы этой республики заключают в себе не только пустыни, те бесплодные земли, над которыми, по словам простодушных кочевников, «пролетел ангел смерти», но и травянистые тучные степи, озера, похожие на моря, и оазисы, напоминающие оазисы Индостана, и, наконец, снеговые горы и альпийские пастбища. Там травы подымаются выше всадников, едущих на лошадях.

Казахстан богат углем, нефтью, медью, железом, золотом, серебром и драгоценными камнями, свинцом, рыбой и солью, хлопком и рисом, стадами рогатого скота, овец и верблюдов, табунами лошадей, хлебом, фруктами, овощами, табаком и сахаром, наконец скромными корешками тау-сагыза, пропитанными каучуком.

Но старый Сеид ничего не знал о богатствах своей страны. Он видел только озеро Зайсан и Алтайские горы,— их вершины каждый вечер горели закатным огнем.

На Зайсан Сеид пришел из омских степей маленьким мальчиком. Это было шестьдесят лет назад. Он пришел с толпой русских крестьян, бежавших от голода. Крестьяне слышали, что за пустыней лежит страна по имени «Белые воды» — богатая и девственная. Там в лесах льются десятки светлых рек и непуганые звери подходят к людям и лижут им руки. Там золотоносный песок хрустит под копытами лошадей, а фазаны, будто вышитые из китайского шелка, стаями взлетают над травой.

Люди шли на «Белые воды» через пустыню. Обессилев, крестьяне падали и ползли на окровавленных коленях. Серое солнце превращало в пепел траву. Вода в колодцах была такая соленая, что ее не пили даже верблюды.

Но люди все же дошли. Однажды ночью они услышали гром. Он гремел в далеких горах. Они услышали запах дождя. Блистали молнии, и колокольным звоном звенели навстречу путникам озера пресной воды.

Места, куда пришел Сеид, были так хороши, что он прожил там всю жизнь и никуда не хотел уходить. Единственный любимый сын Сеида уехал в далекий русский город учиться и не вернулся. Жена Сеида умерла. А Сеид возил из года в год на одноглазом верблюде соль на рыбные промысла. Он редко говорил о сыне, но часто думал о нем. Он знал, что сын сделался мастером на эмбенских нефтяных промыслах. Там, говорят, люди качают из земли черную грязь, и грязь эта горит, как дрова.

Летом 1941 года Сеид узнал о войне. Мужчины уходили на запад, где шла война. На запад гнали табуны овец и лошадей. Однажды утром над лачугой Сеида пролетели невиданные серебряные гуси. Сосед кричал Сеиду, что это летят самолеты. Даже все птицы, казалось, улетели на запад.

Тогда двинулся на запад, на Эмбу, и старый Сеид. Он знал, что скоро умрет. Ему хотелось увидеть перед смертью сына и наговорить ему много сердитых слов за то, что он забыл отца.

Сеид то ехал верхом на верблюде, то шел пешком и вел верблюда за повод. Он пересек Казахстан с востока на запад. Он отдыхал только ночью вместе с пастухами около костров из сухого верблюжьего помета. Большие синие зарева пылали над краем степей, и пастухи таинственно говорили только одно слово: «Электричество!» — «Электричество»,— повторял Сеид и качал головой.

Он впервые увидел поезда и железные вагоны, нагруженные рудой и горами черного блестящего камня. Они шли всё туда же, на запад. Пастухи рассказывали Сеиду, что это везут уголь из Караганды и железо из Карсакпая. В Караганде, где десять лет назад только ветер пылил над ковылем, сейчас день и ночь работают глубокие шахты.

Сеид качал головой, удивлялся, а верблюд тревожно прислушивался к крику паровозов.

Сеид увидел многое — заводы, где делали твердый сахар, и заводы, откуда вывозили на грохочущих машинах медные болванки, блестевшие, как золото. Раньше этого не было. Он видел заводы, где лился в стальные чаши тусклый свинец, видел поля хлопка и риса, сады и пашни, большие города и каналы, струившие речные воды в глубину голодных степей. И этого раньше не было.

Всюду работали казахи — мужчины и женщины, старики и дети. Все они говорили Сеиду, что работают для армий, которые бьются с врагом далеко — за великой рекой

Волгой, за Москвой. И все эти люди удивлялись путешествию Сеида, называли его «чудаком», а один старый казах даже обозвал Сеида «бездельником». Сеид поднял камень, чтобы ударить старика, но не ударил, а отбросил камень далеко в сторону, заплакал и пошел своей дорогой.

На шестидесятый день пути Сеид увидел среди пустыни черные деревянные башни. Они стояли среди озер с розовой соленой водой, и ветер разносил по окрестностям свежий запах нефти. Это была Эмба.

Сеид сошел с верблюда и поклонился на восток, в сторону Зайсана. Здесь спускалась ночь, а там, над лачугой Сеида, может быть, уже начинался рассвет. Тогда впервые в жизни Сеид запел дрожащим голосом. Он пел, как все кочевники, о том, что думал: о богатой своей родине и своей жизни, похожей на жизнь шелковичного червя в коконе, о войне и о маленьком плешивом немце,— Сеид никак не мог запомнить его проклятого имени,— возомнившем себя Тамерланом.

После кровавого Тамерлана оскверненная земля веками тосковала по умелым человеческим рукам, по семенам, брошенным в борозды, по мотыгам, журчанию воды, по своему утраченному плодородию. Мирные люди своими трудами вернули земле ее молодость.

«И как бы ни был хитер и зол плешивый немец,— пел Сеид,— мы не отдадим ему эту землю и растопчем его полчища тысячными табунами своих железных коней».

На эмбенских промыслах Сеида окружили рабочие. Они дивились дряхлому старику, появившемуся из пустыни, и его облезлому верблюду. Сеид спросил их о своем сыне Габите Тулубаеве, но рабочие молчали.

Сеид укоризненно качал головой,— невежливо было не отвечать на вопросы старого человека. Тогда пришел инженер, и Сеид поклонился ему. Инженер взял Сеида за руку и сказал, что сын его погиб на войне и об этом говорили по воздуху из Москвы для всего мира потому, что сын Сеида был героем. И инженер поклонился Сеиду.

Сеид сел на землю, опустил голову, долго смотрел на свои желтые руки.

Потом он вытер рукавом глаза и сказал инженеру:

— Всю жизнь я трудился. Взгляни на мои глаза,— их съела соль. Шестьдесят дней я шел к сыну, чтобы отдохнуть хотя бы несколько дней перед смертью. Но разве теперь, когда земля дымится от войны, человек может ходить по земле, как гость, со своим верблюдом, смотреть,

как катится пот по лицу соседа, и надеяться на отдых в сыновнем доме?

— Нет, не может,— ответил инженер.

— Друг,— сказал Сеид,— как ты думаешь, пригодится ли тебе на работе этот старый верблюд, слепой на левый глаз?

— Я думаю, пригодится,— ответил инженер.

— Хорошо,— сказал Сеид.— Но этот верблюд без меня не будет работать. Он издохнет от неудовольствия. Если ты берешь его — бери и меня.

— Хорошо,— сказал инженер.

Так старый Сеид стал рабочим на Эмбе. Он начал возить на своем верблюде не соль, а воду в глухие углы пустыни, где инженеры вели разведку нефти. И он был доволен.

Об этом в газете, выходящей на промыслах, была помещена небольшая заметка, но никто не обратил на нее особенного внимания, так как в дни войны такие случаи перестали быть редкостью.

1941

АНГЛИЙСКАЯ БРИТВА

Всю ночь шел дождь, смешанный со снегом. Северный ветер свистел в гнилых стеблях кукурузы. Немцы молчали. Изредка наш истребитель, стоявший у берега, бил из орудий в сторону Мариуполя. Тогда черный гром сотрясал степь. Снаряды неслись в темноту с таким звоном, будто распарывали над головой кусок натянутого холста.

На рассвете два бойца, в блестящих от дождя касках, привели в глинобитную хату, где помещался майор, старого низенького человека. Его клетчатый мокрый пиджак прилип к телу. На ногах волочились огромные комья глины.

Бойцы молча положили на стол перед майором паспорт, бритву и кисточку для бритья — все, что нашли при обыске у старика,— и сообщили, что он был задержан в овраге около колодца.

Старик был допрошен. Он назвал себя парикмахером Мариупольского театра армянином Аветисом и рассказал историю, которая потом долго передавалась по всем соседним частям.

Парикмахер не успел бежать из Мариуполя до прихода немцев. Он спрятался в подвале театра вместе с двумя маленькими мальчиками, сыновьями его соседки — еврейки. За день до этого соседка ушла в город за хлебом и не вернулась. Должно быть, она была убита во время воздушной бомбардировки.

Парикмахер провел в подвале, вместе с мальчиками, больше суток. Дети сидели, прижавшись друг к другу, не спали и все время прислушивались. Ночью младший мальчик громко заплакал. Парикмахер прикрикнул на него. Мальчик затих. Тогда парикмахер достал из кармана пиджака бутылку с тепловатой водой. Он хотел напоить мальчика, но тот не пил, отворачивался. Парикмахер взял его за подбородок — лицо у мальчика было горячее и мокрое — и насильно заставил напиться. Мальчик пил громко, судорожно и глотал вместе с мутной водой собственные слезы.

На вторые сутки ефрейтор-немец и два солдата вытащили детей и парикмахера из подвала и привели к своему начальнику — лейтенанту Фридриху Кольбергу.

Лейтенант жил в брошенной квартире зубного врача. Вырванные оконные рамы были забиты фанерой. В квартире было темно и холодно — над Азовским морем проходил ледяной шторм.

— Что это за спектакль?

— Трое иудеев, господин лейтенант! — доложил ефрейтор.

— Зачем врать,— мягко сказал лейтенант.— Мальчишки — евреи, но этот старый урод — типичный грек, великий потомок эллинов, пелопоннесская обезьяна. Иду на пари. Как! Ты армянин? А чем ты это мне докажешь, гнилая говядина?

Парикмахер смолчал. Лейтенант толкнул носком сапога в печку последний кусок золотой рамы и приказал отвести пленных в соседнюю пустую квартиру. К вечеру лейтенант пришел в эту квартиру со своим приятелем — толстым летчиком Эрли. Они принесли две завернутые в бумагу большие бутылки.

— Бритва с тобой? — спросил лейтенант парикмахера.— Да? Тогда побрей головы еврейским купидонам!

— Зачем это, Фри? — лениво спросил летчик.

— Красивые дети,— сказал лейтенант.— Не правда ли? Я хочу их немного подпортить. Тогда мы их будем меньше жалеть.

Парикмахер обрил мальчиков. Они плакали, опустив головы, а парикмахер усмехался. Всегда, если с ним случалось несчастье, он криво усмехался. Эта усмешка обманула Кольберга,— лейтенант решил, что невинная его забава веселит старого армянипа. Лейтенант усадил мальчиков за стол, откупорил бутылку и налил четыре полных стакана водки.

— Тебя я не угощаю, Ахиллес,— сказал он парикмахеру.— Тебе придется меня брить этим вечером. Я собираюсь в гости к вашим красавицам.

Лейтенант разжал мальчикам зубы и влил каждому в рот по полному стакану водки. Мальчики морщились, задыхались, слезы текли у них из глаз. Кольберг чокнулся с летчиком, выпил свой стакан и сказал:

— Я всегда был за мягкие способы, Эрли.

— Недаром ты носишь имя нашего доброго Шиллера,— ответил летчик.— Они сейчас будут танцевать у тебя маюфес.

— Еще бы!

Лейтенант влил детям в рот по второму стакану водки. Они отбивались, но лейтенант и летчик сжали им руки, лили водку медленно, следя за тем, чтобы мальчики выпивали ее до конца, и покрикивали:

— Так! Так! Вкусно? Ну еще раз! Превосходно!

У младшего мальчика началась рвота. Глаза его покраснели. Он сполз со стула и лег на пол. Летчик взял его под мышки, поднял, посадил на стул и влил в рот еще стакан водки. Тогда старший мальчик впервые закричал. Кричал он пронзительно и не отрываясь смотрел на лейтенанта круглыми от ужаса глазами.

— Молчи, кантор! — крикнул лейтенант.

Он запрокинул старшему мальчику голову и вылил ему водку в рот прямо из бутылки. Мальчик упал со стула и пополз к стене. Он искал дверь, но, очевидно, ослеп, ударился головой о косяк, застонал и затих.

— К ночи,— сказал парикмахер, задыхаясь,— они оба умерли. Они лежали маленькие и черные, как будто их спалила молния.

— Дальше! — сказал майор и потянул к себе приказ, лежавший на столе. Бумага громко зашуршала. Руки у майора дрожали.

— Дальше? — спросил парикмахер.— Ну, как хотите. Лейтенант приказал мне побрить его. Он был пьян. Иначе он не решился бы на эту глупость. Летчик ушел. Мы по-

шли с лейтенантом в его натопленную квартиру. Он сел к трюмо. Я зажег свечу в железном подсвечнике, согрел в печке воду и начал намыливать ему щеки. Подсвечник я поставил на стул около трюмо. Вы видели, должно быть, такие подсвечники: женщина с распущенными волосами держит лилию, и в чашечку лилии вставлена свеча. Я ткнул кистью с мыльной пеной в глаза лейтенанту. Он крикнул, но я успел ударить его изо всей силы железным подсвечником по виску.

— Наповал? — спросил майор.

— Да. Потом я пробирался к вам два дня.

Майор посмотрел на бритву.

— Я знаю, почему вы смотрите,— сказал парикмахер.— Вы думаете, что я должен был пустить в дело бритву. Это было бы вернее. Но, знаете, мне было жаль ее. Это старая английская бритва. Я работаю с ней уже десять лет.

Майор встал и протянул парикмахеру руку.

— Накормите этого человека,— сказал он.— И дайте ему сухую одежду.

Парикмахер вышел. Бойцы повели его к полевой кухне.

— Эх, брат,— сказал один из бойцов и положил руку на плечо парикмахера.— От слез сердце слабеет. К тому же и прицела не видно. Чтобы извести их всех до последнего, надо глаз иметь сухой. Верно я говорю?

Парикмахер кивнул, соглашаясь.

Истребитель ударил из орудий. Свинцовая вода вздрогнула, почернела, но тотчас к ней вернулся цвет отраженного неба — зеленоватый и туманный.

1941

РОБКОЕ СЕРДЦЕ

Варвара Яковлевна, фельдшерица туберкулезного санатория, робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы — народ требовательный и беспокойный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры — одним словом, всё.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города,

в Карантин. Она купила там домик под черепичной крышей и спряталась в нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с ним, с этим южным оживлением, с хриплой музыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда несло пригорелой бараниной, автобусами, треском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полынью. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в степе было видно мутноватое зеленое море и скалы. Около них весь день возился, ловил плетеной корзинкой креветок старый, всегда небритый грек Спиро. Он лез, не раздеваясь, в воду, шарил под камнями, потом выходил на берег, садился отдохнуть, и с его ветхого пиджака текла ручьями морская вода.

Единственной любовью Варвары Яковлевны был ее племянник и воспитанник Ваня Герасимов, сын умершей сестры.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, конечно, плохой. За это на нее постоянно ворчал сосед по усадьбе, бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории», Егор Петрович Введенский. Каждое утро он выходил в калошах в свой сад поливать помидоры, придирчиво рассматривал шершавые кустики, и если находил сломанную ветку или валявшийся на дорожке зеленый помидор, то разражался грозной речью против соседских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухоньке, слышала его гневные возгласы, и у нее замирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Петрович окликнет ее и скажет, что Ваня опять набезобразничал у него в саду и что у такой воспитательницы, как она, надо отбирать детей с милицией и отправлять в исправительные трудовые колонии. Чем, например, занимается Ваня? Вырезает из консервных жестянок пропеллеры, запускает их в воздух при помощи катушки и шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной раз и цветы — бархатцы и шалфей. Подумаешь, изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо приучать к строгости, к полезной работе. А то купаются до тошноты, дразнят старого Спиро, лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не мальчишки! А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Петрович был,

конечно, неправ, она это хорошо знала. Ее Ваня — мальчик тихий. Он все что-то мастерил, рисовал, посапывая носом, и охотно помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чистеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к тому, чтобы сделать из Вани доброго и работящего человека. В бога Варвара Яковлевна, конечно, не верила, но была убеждена, что существует таинственный закон, карающий человека за все зло, какое он причинил окружающим.

Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожиданно потребовал, чтобы мальчик учился у него делать гербарии и определять растения. Они быстро сдружились. Ване нравились полутемные комнаты в доме Егора Петровича, засушенные цветы и листья в папках с надписью «Крымская флора» и пейзажи на стенах, сделанные сухо и приятно,— виды водопадов и утесов, покрытых плющом.

После десятилетки Ваню взяли в армию, в летную школу под Москвой. После службы в армии он мечтал поступить в художественную школу, может быть даже окончить академию в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти Ванины мысли. Он считал, что из Вани выйдет художник-ботаник, или, как он выражался, «флорист». Есть же художники-анималисты, бесподобно рисующие зверей. Почему бы не появиться художнику, который перенесет на полотно все разнообразие растительного мира!

Один только раз Ваня приезжал в отпуск. Варвара Яковлевна не могла на него наглядеться: синяя куртка летчика, темные глаза, голубые петлицы, серебряные крылья на рукавах, а сам весь черный, загорелый, но все такой же застенчивый. Да, мало переменила его военная служба!

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петровичем за город, в сухие горы, собирал растения и много рисовал красками. Варвара Яковлевна развесила его рисунки на стенах. Сразу же в доме повеселело, будто открыли много маленьких окон и за каждым из них засинел клочок неба и задул теплый ветер.

Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стенку жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чудачества у него были и рань-

ше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазывали коричневой грязью — под цвет окружающей земли — стены своих домов.

А вечером впервые не зажглись маяки. Только тусклые звезды светили в море. В домах не было ни одного огня. До рассвета внизу, в городе, лаяли, как в темном погребе, встревоженные собаки. Над головой все гудел-кружился самолет, охраняя город от немецких бомбардировщиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване. Она не плакала. Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. Иногда он уходил в дом покурить, но долго там не оставался и снова выходил в сад. Изредка с невысоких гор задувал ветер, доносил блеяние коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говорила про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий гром. Потом второй, третий... По всем дворам торопливо заговорили люди — Карантин не спал. Никто не мог объяснить толком, что происходило за черным горизонтом. Все говорили только, что ночью, в темноте, человеку легче на сердце, безопаснее, будто ночь бережет людей от беды.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. Война приближалась к городу. От Вани не было ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, несмотря на старость, добровольно вернулась к прежней работе: служила сестрой в госпитале. Так же, как все, она привыкла к черным самолетам, свисту бомб, звону стекла, всепроникающей пыли после взрывов, к темноте, когда ей приходилось ощупью кипятить в кухоньке чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили Карантин. Они молча обходили дома, быстро заглядывали во все углы, забирали муку, теплые вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый медный микроскоп. Все это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев; многих из них Варвара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голова. Варвара Яковлевна закрыла в доме ставни и переселилась

в сарайчик для дров. Там было холодно, но все же лучше, чем в разгромленных комнатах, где в окнах не осталось ни одного стекла.

Позади генуэзской стены немцы поставили тяжелую батарею. Орудия были наведены на море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. Часовые приплясывали в своих продувных шинелях, посматривали вокруг красными от ветра глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

Однажды зимним утром с тяжелым гулом налетели с моря советские самолеты. Немцы открыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпалась черепица. Огромными облаками вспухала над городом пыль, рявкали зенитки, в стены швыряло оторванные ветки акаций. Кричали и метались солдаты в темных серых шинелях, свистели осколки, в тучах перебегали частые огни разрывов. А в порту в пакгаузах уже шумел огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первым взрывы, торопливо вышел в сад, протянул трясущиеся руки к самолетам — они мчались на бреющем полете над Карантином,— что-то закричал, и по его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика и тоже смотрела, вся захолодев, как огромные ревущие птицы кружили над городом и под ними на земле взрывались столбы желтого огня.

— Наши! — кричал Егор Петрович.— Это наши, Варвара Яковлевна! Да разве вы не видите? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас в море к тому месту, где он должен был упасть, помчались, роя воду и строча из пулеметов, немецкие катера.

Тяжелая немецкая батарея была сильно разбита, засыпана землей. На главной улице горел старинный дом с аркадами, где помещался немецкий штаб. В порту тонул, дымясь, румынский транспорт, зеленый и пятнистый, как лягушка. На улицах валялись убитые немцы.

После налета пробралась из города на Карантин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок-провизор.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около стены, заросшей

диким виноградом, и бессмысленно стирал тряпкой белую пыль с листьев. Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, Егор Петрович все время их ломал.

— Что же это, Егор Петрович? — тихо спросила Варвара Яковлевна.— Значит, свои своих... До чего же мы дожили, Егор Петрович?

— Так и надо! — ответил Егор Петрович, и борода его затряслась.— Не приставайте ко мне. Я занят.

— Не верю я, что так надо,— ответила Варвара Яковлевна.— Не могу я понять, как это можно занести руку на свое, родное...

— А вы полагаете, им это было легко? Великий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть...

Егор Петрович долго молчал и вытирал листья.

— Господи, господи,— сказала Варвара Яковлевна,— что же это такое? Хоть бы вы мне объяснили, Егор Петрович.

Но Егор Петрович ничего объяснять не захотел. Он махнул рукой и ушел в дом.

Перед вечером по Карантинной улице прошли трое немецких солдат. Один нес пук листовок, другой — ведро с клейстером. Сзади плелся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб около дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к объявлению не подходил. Варвара Яковлевна подумала, что, должно быть, никто и не заметил, как немцы клеили эту листовку. Она накинула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже стемнело, и если бы не узкая желтая полоска на западе среди разорванных туч, то Варвара Яковлевна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было напечатано:

«За срыванье — расстрел. От коменданта. Советские летчики произвели бомбардирование мирного населения, вызвав жертвы, пожары квартир и разрушения. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов. Германское командование решило поступить с этим варваром как с врагом обывателей и расстрелять его. Дабы жители имели возможность видеть большевика, который убивал их детей и разрушал имущество, завтра

в семь часов утра его проведут по главной улице города. Германское командование уверено, что благонамеренные жители окажут презрение извергу.

Комендант города
обер-лейтенант *Зус*».

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала листовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ничего не понимала, только перебирала дрожащими пальцами бахрому старенького серого платка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра убьют где-нибудь на грязном дворе, около поломанных грузовиков! Почему-то мысль, что его убьют обязательно во дворе, около грузовиков, где воняет бензином и земля лоснится от автола, все время приходила в голову, и Варвара Яковлевна никак не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она сорвала эту листовку со столба? Чего она испугалась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед своими. Она хотела скрыть листовку от Егора Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут убить и ее, Варвару Яковлевну, за то, что она сорвала этот липкий клочок бумаги. А свои? Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда не простят ей эту убитую женщину, и несчастного старичка-провизора, и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет, дома, где все знакомо — от облупившейся краски на перилах до ласточкиного гнезда под оконным карнизом. Ведь все знают, что Ваня — ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствовала на себе недобрые пристальные взгляды, слышала свистящий шепот в спину. Как она будет смотреть всем в глаза! Лучше бы Ваня убил ее, а не этих людей. А Егор Петрович еще говорил, что это — великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и спустилась в город. Ветер свистел, раздувая над улицами золу, пепел. В черной мрачности, во мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, а только притаилась, как воровка, в подворотнях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее возненавидят свои — все равно. Лишь бы увидеть Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом умереть.

Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя себе под ноги, и не замечала, что позади нее шел Егор Петрович. Не видела она и старого Спиро, пробиравшегося туда же, на главную улицу, и веснушчатую рыбачку Пашу. Варвару Яковлевну не покидала надежда, что, может быть, никто не придет смотреть, как будут вести ее Ваню. Придет только она одна, и ничто не помешает ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озябшие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в глаза. Она не подымала голову, все ждала обидного окрика. Иначе она бы увидела, как переменился ее родной город. Увидела бы трясущиеся головы людей, сухие волосы, глубокие морщины, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афишного столба, спряталась за ним, вся съежилась, ждала. Обеими руками она комкала старенькую шелковую сумочку, где, кроме носового платка и ключа от сарайчика, ничего не было.

На столбе висели клочья афиш. Они извещали о событиях как будто тысячелетней давности — симфонии Шостаковича, гастролях чтеца Яхонтова.

Люди всё подходили молча и торопливо. Было так тихо, что даже до главной улицы доносились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и придвинулась к краю тротуара. Варвара Яковлевна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мостовую, она увидела в глубине улицы серые каски, стволы винтовок. Все это медленно приближалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

Варвара Яковлевна схватилась рукой за столб, подалась вперед, вытянула худенькую шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: «Только не кричите, не выдавайте себя!» Варвара Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала голос Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся толпу. Среди серых шинелей синел комбинезон летчика. Варвара

Яковлевна видела мутно, неясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула носовой платок в сумочку и наконец увидела: позади коренастого немецкого офицера шел он, ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, но на его лице уже не было того выражения застенчивости, к которому Варвара Яковлевна так привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, сдерживая дыхание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней, а многие прижимали к глазам рукава.

А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался только ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед ней расступилась, несколько рук осторожно схватили ее, вытолкнули вперед на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что он знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими, отчаянными глазами.

— Прости меня, Ваня! — сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не заметила, как быстро и ласково взглянул на нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей: «Назад!» — и выругался, и не почувствовала, как Егор Петрович и старый Спиро втащили ее обратно в толпу и толпа тотчас закрыла ее от немцев. Она только помнила потом, как Егор Петрович и Спиро вели ее через пустыри по битой черепице, среди белого от извести чертополоха.

— Не надо,— бормотала Варвара Яковлевна.— Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите!

Но Егор Петрович и Спиро крепко держали ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну в сарайчик, уложил на топчан, навалил на нее все, что было теплого, а Варвара Яковлевна дрожала так, что у нее стучали зубы, старалась стиснуть изо всех сил зубами уголок ста-

ренького серого платка, шептала: «Что же это такое, господи? Что же это?» — и из горла у нее иногда вырывался тонкий писк, какой часто вырывается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не помнила. Он был темный, бурный, сырой — такие зимние дни проходят быстро. Не то они были, не то их и вовсе не было. Все настойчивее гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на каменных мысах, швырялся полосами дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врезался тяжелый гром, завыли сирены и снаряды, загрохотали взрывы, эхо пулеметного огня застучало в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдаленным протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

— Наши! — кричал Егор Петрович, и желтый кадык на его шее ходил ходуном, Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И десант этот был возможен потому, что советские летчики разбомбили, уничтожили немецкие батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петрович. Сейчас он возился в кухоньке у Варвары Яковлевны, кипятил ей чай.

— Значит, и Ваня мой тоже?..— спросила Варвара Яковлевна, и голос ее сорвался.

— Ваня — святой человек,— сказал Егор Петрович.— Теперь в нашем городе все дети — ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая семья! Ведь это Ваня спас их от смерти.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и снова заплакала, но так тихо, что Егор Петрович ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна уснула.

Чайник на кухне кипел, постукивал крышкой. Среди низких туч пробилось солнце. Оно осветило пар, что бил из чайного носика, и тень от струи пара без конца улетала, струилась по белой стене голубоватым дымом и никак не могла улететь.

1942

КРУЖЕВНИЦА НАСТЯ

Ночью в горах Алатау глухо гремела гроза. Испуганный громом, большой зеленый кузнечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску. Раненый лейтенант Руднев поднялся на койке и долго смотрел на кузнечика и на занавеску. На ней вспыхивал от синих пронзительных молний сложный узор — пышные розаны и маленькие хохлатые петухи.

Наступило утро. Грозовое желтое небо все еще дымилось за окном. Две радуги-подруги опрокинулись над вершинами. Мокрые цветы диких пионов горели на подоконнике, как раскаленные угли. Было душно. Пар подымался над сырыми скалами. В пропасти рычал и перекатывал камни ручей.

— Вот она, Азия! — вздохнул Руднев.— А кружево-то на занавеске наше, северное. И плела его какая-нибудь красавица Настя.

— Почему вы так думаете?

Руднев улыбнулся.

— Мне вспомнилась,— сказал он,— история, случившаяся на моей батарее под Ленинградом.

Он рассказал мне эту историю.

Летом 1940 года ленинградский художник Балашов уехал охотиться и работать на пустынный наш Север.

В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошел со старого речного парохода и поселился в доме сельского учителя.

В этой деревушке жила со своим отцом — лесным сторожем — девушка Настя, знаменитая в тех местах кружевница и красавица. Настя была молчалива и сероглаза, как все девушки-северянки.

Однажды на охоте отец Насти неосторожным выстрелом ранил Балашова в грудь. Раненого принесли в дом сельского учителя. Удрученный несчастьем, старик послал Настю ухаживать за раненым.

Настя выходила Балашова, и из жалости к раненому родилась первая ее девичья любовь. Но проявления этой любви были так застенчивы, что Балашов ничего не заметил.

У Балашова в Ленинграде была жена, но он ни разу никому не рассказывал о ней, даже Насте. Все в деревне были убеждены, что Балашов человек одинокий,

Как только рана зажила, Балашов уехал в Ленинград. Перед отъездом он пришел без зова в избу к Насте поблагодарить ее за заботу и принес ей подарки. Настя приняла их.

Балашов впервые попал на Север. Он не знал местных обычаев. Они на Севере очень устойчивы, держатся долго и не сразу сдаются под натиском нового времени. Балашов не знал, что мужчина, который пришел без зова в избу к девушке и принес ей подарок, считается, если подарок принят, ее женихом. Так на Севере без слов говорят о любви.

Настя робко спросила Балашова, когда же он вернется из Ленинграда к ней в деревню. Балашов, ничего не подозревая, шутливо ответил, что вернется очень скоро.

Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался. Нетерпеливое радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, отчаянием, стыдом. По деревне уже шептались, что жених ее обманул. Но Настя не верила этому. Она была убеждена, что с Балашовым случилось несчастье.

Весна принесла новые муки. Пришла она поздно, тянулась очень долго. Реки широко разлились и всё никак не хотели входить в берега. Только в начале июня прошел мимо деревушки, не останавливаясь, первый пароход.

Настя решила тайком от отца бежать в Ленинград и разыскать там Балашова. Она ночью ушла из деревушки. Через два дня она дошла до железной дороги и узнала на станции, что утром этого дня началась война. Через огромную грозную страну никогда еще не видавшая поезда крестьянская девушка добралась до Ленинграда и разыскала квартиру Балашова.

Насте отворила дверь жена Балашова, худая женщина в пижаме, с папироской в зубах. Она с недоумением осмотрела Настю и сказала, что Балашова нет дома. Он на фронте под Ленинградом.

Настя узнала правду — Балашов был женат. Значит, он обманул ее, насмеялся над ее любовью. Насте было страшно говорить с женой Балашова. Ей было страшно в городской квартире, среди шелковых пыльных диванов, рассыпанной пудры, настойчивых телефонных звонков.

Настя убежала. Она шла в отчаянии по величественному городу, превращенному в вооруженный лагерь. Она не замечала ни зенитных пушек на площадях, ни па-

мятников, заваленных мешками с землей, ни вековых прохладных садов, ни торжественных зданий.

Она вышла к Неве. Река несла черную воду в уровень с гранитными берегами. Вот здесь, в этой воде, должно быть, единственное избавление и от невыносимой обиды, и от любви.

Настя сняла с головы старенький платок, подарок матери, и повесила его на перила. Потом она поправила тяжелые косы и поставила ногу на завиток перил. Кто-то схватил ее за руку. Настя обернулась. Худой человек с полотерными щетками под мышкой стоял сзади. Его рабочий костюм был забрызган желтой краской.

Полотер только покачал головой и сказал:

— В такое время что задумала, дура!

Человек этот — полотер Трофимов — увел Настю к себе и сдал на руки своей жене — лифтерше, женщине шумной, решительной, презиравшей мужчин.

Трофимовы приютили Настю. Она долго болела, лежала у них в каморке. От лифтерши Настя впервые услышала, что Балашов ни в чем перед ней не виноват, что никто не обязан знать их северные обычаи и что только такие «тетехи», как она, Настя, могут без памяти полюбить первого встречного.

Лифтерша ругала Настю, а Настя радовалась. Радовалась, что она не обманута, и все еще надеялась увидеть Балашова.

Полотера вскоре взяли в армию, и лифтерша с Настей остались одни.

Когда Настя выздоровела, лифтерша устроила ее на курсы медицинских сестер. Врачи — учителя Насти — были поражены ее способностью делать перевязки, ловкостью ее тонких и сильных пальцев. «Да ведь я кружевница»,— отвечала она им, как бы оправдываясь.

Прошла осадная ленинградская зима с ее железными ночами, канонадой. Настя окончила курсы, ждала отправки на фронт и по ночам думала о Балашове, о старом отце,— он до конца жизни, должно быть, так и не поймет, зачем она ушла тайком из дому. Бранить ее не будет, все простит, но понять — не поймет.

Весною Настю наконец отправили на фронт под Ленинград. Всюду — в разбитых дворцовых парках, среди развалин, пожарищ, в блиндажах, на батареях, в перелесках и на полях она искала Балашова, спрашивала о нем.

На фронте Настя встретила полотера, и болтливый этот

человек рассказал бойцам из своей части о девушке-северянке, ищущей на фронте любимого человека. Слух об этой девушке начал быстро расти, шириться, как легенда. Он переходил из части в часть, с одной батареи на другую. Его разносили мотоциклисты, водители машин, санитары, связисты.

Бойцы завидовали неизвестному человеку, которого ищет девушка, и вспоминали своих любимых. У каждого были они в мирной жизни, и каждый берег в душе память о них. Рассказывая друг другу о девушке-северянке, бойцы меняли подробности этой истории в зависимости от силы воображения.

Каждый клялся, что Настя — девушка из его родных мест. Украинцы считали ее своей, сибиряки тоже своей, рязанцы уверяли, что Настя, конечно, рязанская, и даже казахи из далеких азиатских степей говорили, что эта девушка пришла на фронт, должно быть, из Казахстана.

Слух о Насте дошел и до береговой батареи, где служил Балашов. Художник, так же как и бойцы, был взволнован историей неизвестной девушки, ищущей любимого, был поражен силой ее любви. Он часто думал об этой девушке и начал завидовать тому человеку, которого она любит. Откуда он мог знать, что завидует самому себе?

Личная жизнь не удалась Балашову. Из женитьбы ничего путного не вышло. А вот другим везет! Всю жизнь он мечтал о большой любви, но теперь уже было поздно думать об этом. На висках седина...

Случилось так, что Настя нашла наконец батарею, где служил Балашов, но не нашла Балашова — он был убит за два дня до того и похоронен в сосновом лесу на берегу залива.

Руднев замолчал.

— Что же было потом?

— Потом? — переспросил Руднев.— А потом было то, что бойцы дрались, как одержимые, и мы снесли к черту линию немецкой обороны. Мы подняли ее на воздух и обрушили на землю в виде пыли и грязи. Я редко видел людей в таком священном, неистовом гневе.

— А Настя?

— Что Настя! Она отдает всю свою заботу раненым. Лучшая сестра на нашем участке фронта.

1942

БЕЛЫЕ КРОЛИКИ

Ганс Вермель считался самым опытным вором в роте лейтенанта Кнопфа. В этом не было, конечно, ничего удивительного. Несколько удивляло всех только то обстоятельство, что внешность Вермеля не соответствовала обычным представлениям о воре мирного времени. Это был вялый, неповоротливый солдат с тусклыми глазами. Говорил он мало и неохотно. Ходил, грохоча сапогами, дышал хрипло, черные его пальцы были похожи на клещи для сбрасывания с крыш зажигательных бомб. Но в военное время эти качества не мешали Вермелю ловить кур и ловко душить их тремя пальцами.

У всех людей есть свои странности. Были они и у Вермеля. Он долго, как собака, обнюхивал все награбленные вещи. Те из них, запах которых ему не нравился, он отбрасывал в сторону. Кроме того, он мог есть непрерывно в течение целого дня. Для того чтобы вновь проголодаться, ему надо было только раз сильно рыгнуть. Одним словом, это был добротный образчик фашистской расы с ее свинцовыми внимательными глазками, свойственными жестоким и глупым животным.

В одном из южных советских городов Вермель в поисках пищи забрел в брошенную ветеринарную лабораторию. У выбитой двери стоял черномазый часовой-итальянец. Он загородил Вермелю дорогу штыком. Вермель ударил по винтовке, и она громко стукнула итальянца в челюсть. Итальянец закричал, но Вермель дал ему пинка в грудь.

— Молчи, макаронщик! Вшивый Муссолини!

Итальянец поднял винтовку, плюнул, выругался и ушел с поста, рискуя быть повешенным за нарушение обязанностей часового.

В лаборатории стоял запах холодных кислот. Осколки стеклянных колб, толщиной в папиросную бумагу, валялись на полу. В углу комнаты стояли клетки.

Вермель понюхал воздух и, грохоча сапогами, пошел к ним,— от клеток пахло теплой шерстью и навозом. Суетливые белые кролики, втиснув носы между прутьев, обнюхивали немецкого солдата и смотрели на него розовыми глазками. Вермель сосчитал — кроликов было восемь.

Он раздвинул прутья клетки и вытащил за уши первого кролика, потом второго, третьего. Это был обед для взвода,— праздничный обед из рассыпчатого, нежного мяса!

Рота Кнопфа стояла рядом с ротой итальянских егерей лейтенанта Спалетти. К вечеру в роте Спалетти начались злорадные разговоры о том, что соседи-немцы обожрались кроликами.

Часовой доложил Спалетти о немецком солдате, напавшем на него из-за угла. Немец выбил у часового винтовку и украл из лаборатории всех кроликов. Он убил их тут же, ударяя головой в мраморный стол, и унес, завернув в свою вшивую куртку. Спалетти пригрозил часовому расстрелом и послал вестового к лейтенанту Кнопфу.

Десять немцев, обожравшихся кроликами, лежали вповалку в зале разрушенного кино среди других солдат, не получивших кроличьего мяса и потому переполненных завистью. Вермель рыгал и лениво сплевывал.

Дверь распахнулась. Кто-то ударил ее снаружи сапогом.

— Встать! — закричал визгливым женским голосом лейтенант Кнопф и появился в дверях, пропуская полкового врача.— Встать, собачьи дети!

Солдаты тяжело встали и вытянулись. Кнопф подтянул сапоги и прошел на почтительном расстоянии вдоль шеренги солдат.

— Ну-ка, мальчики,— сказал он ласково,— кто это из вас украл кроликов и даже не захотел угостить своего лейтенанта хотя бы задней ногой?

Солдаты молчали. Речь лейтенанта им явно не нравилась.

— Кто жрал кроликов? — крикнул лейтенант, и голос его сорвался.

Солдаты переминались с ноги на ногу и молчали.

— Я вижу, что вы так набили себе брюхо, что не можете пошевелить языком,— сказал лейтенант спокойно.— Каждый немецкий солдат имеет право есть птицу и скот, отобранные у жителей. Но надо же соображать, что ты суешь себе в рот! А вы знаете, сукины дети, что ваши кролики были заражены бешенством для опытных целей?

Солдаты вздрогнули, но промолчали.

— Кто жрал кроликов?

Солдаты не двигались.

— Не валяйте дурака,— сказал наконец полковой врач.— Вы не итальянцы. Мы заботимся о вашем благе. Тех, кто ел этих кроликов, мы отделим от остальных, отправим в тыл и сделаем им прививку от бешенства.

— В тыл! — воскликнул лейтенант.— Вот видите, что вы наделали, сволочи! В последний раз я приказываю: кто жрал кроликов, три шага вперед!

Вермель сделал шаг вперед. Лейтенант отскочил. Вся шеренга дрогнула, двинулась и отпечатала три гусиных тяжелых шага. Двадцать два человека! Двадцать два человека ухитрились съесть восьмерых кроликов!

Дальнейшие события развивались вполне благоприятно для двадцати двух солдат. Им приказали временно сдать оружие. Десять виновников молчаливо приняли в свой круг двенадцать голодных и неповинных в «кроличьей истории» солдат,— ведь каждому хочется побывать в тылу.

Все двадцать два человека внезапно поняли, почуяв близость тыловой жизни, как им осточертела эта война. Это было совсем не то, что раньше. Не веселая автомобильная прогулка по Дании. Там рукава их походных курток лоснились и пахли прогорклым молоком, как у молочниц,— так часто солдаты вытирали рты после выпитых сливок. И это была не Франция, где патроны пылились в подсумках, и не Бельгия, где не было даже минированных дорог.

Здесь мороз, скрипя под ногами, заставлял рвать в кровь собственные уши. Здесь дрались из-за каждого куста. Здесь все выло и взрывалось вокруг, и земля дымилась на десятки километров, как кратер огромного вулкана. К черту такую войну! После нее, пожалуй, не удастся обставить даже двухкомнатную квартиру в своем родном городе, и вместо двуспальной кровати придется валяться под кривым березовым крестом и слушать вой русской метели. К черту такую войну!

Ночью солдат выстроили и повели. Они охотно вскинули на плечи свои вещевые мешки и начали сосредоточенно топать по мерзлой русской земле. Но повели их не в тыл. Чем дальше они шли, тем больше недоумевали, пока не поняли, что ведут их в сторону фронта, к большому оврагу, где только вчера они устраивали пулеметные гнезда.

— Что это значит? Что это за фокусы? — пробормотал один из солдат.

Остальные поежились, но промолчали.

Это значило, что генерал, выслушав донесение о съеденных бешеных кроликах, крикнул, что он плюет на прививки, и приказал в эту же ночь расстрелять двадцать два солдата фюрера и закопать их трупы поглубже в землю. Он был седой и хитрый, этот генерал. Он сразу же догадался, что двадцать два человека не могли съесть восьмерых кроликов и что теперь уже нельзя найти виновных.

Несколько пулеметных очередей — и со всеми было поступлено одинаково. Так окончили жизнь двадцать два немецких солдата, не совершивших на земле всего, что им было предназначено и обещано фюрером, и сохранивших двадцать две пули в подсумках русских бойцов.

И такова уж человеческая справедливость,— итальянцы смеялись не над теми, кто съел бешеных кроликов, а наоборот, над теми двенадцатью солдатами, которые их не ели и попали впросак. Здорово их надул полковой доктор.

1942

ДОРОЖНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Есть у нас в России много маленьких городов со смешными и милыми именами. Петушки, Спас-Клепики, Крапивна, Железный Гусь. Жители этих городов называют их ласково и насмешливо «городишками».

В одном из таких городишек — в Спас-Клепиках — и случилась та история, которую я хочу рассказать.

Городок Спас-Клепики уж очень маленький, тихий. Затерялся он где-то в Мещорской стороне, среди сосенок, песков, мелких камышистых озер. Есть в Спас-Клепиках кино, старинная ватная фабрика чуть ли не времен Крымской войны, педагогический техникум, где учился поэт Есенин. Но, по правде говоря, городок этот ничем особенным не знаменит. Все те же любопытные мальчишки, рыжие от веснушек, те же жалостливые старухи, плотники со звенящими пилами на плечах, те же дуплистые кладбищенские ивы и все тот же гомон галок.

Около Спас-Клепиков проходит узкоколейная железная дорога. Я проезжал по ней в самом начале весны. Поезд пришел в Спас-Клепики ночью. Тотчас в темный вагон набились смешливые девушки с ватной фабрики.

Потом вошел боец с вещевым мешком, сел против меня и попросил прикурить.

Бойца провожали молодая женщина и старуха. Они молчали. Молчал и боец. Лишь изредка то одна, то другая женщина трогала бойца за рукав и тихо говорила:

— Так ты пиши, Ваня.

— Постараюсь,— отвечал боец.

Лица женщин нельзя было разглядеть в темноте, но по мягким их голосам можно было с уверенностью сказать, что это были очень добрые и дружные женщины: мать и сестра бойца, что глаза у них ласковые и что все они полны той любовью к людям, которую наш народ называет не совсем правильно «жалостью».

В ногах у меня что-то завертелось, очень пушистое и теплое. Кто-то, очевидно по ошибке, лизнул мою руку горячим языком. Боец удивленно вскрикнул: «Дымок!» — и засмеялся. Засмеялись и женщины.

— Прибёг,— сказал боец.— Хозяина своего прибёг проводить. Вот увидит проводница, она тебе покажет! Нешто можно собаке в вагон!

— По такому случаю можно,— ответил из темноты хриплый голос, и тотчас зажужжал в невидимой руке карманный электрический фонарик с динамкой.

Слабый свет упал на пол, потом на серого пса с виноватыми глазами. Он сидел между ног у бойца и торопливо махал хвостом. Всем видом своим он хотел показать, что понимает, конечно, незаконность своего пребывания в вагоне, но очень просит не выгонять его, а дать попрощаться с хозяином.

— Дымок, друг любезный,— сказал боец,— как это мы тебя не приметили!

— Я его в избе замкнула,— будто оправдываясь, сказала старуха.

— Под дверью, видно, протиснулся,— объяснила молодая женщина.— Там доска отстает.

— Сколько бежал! — вздохнул, сокрушаясь, боец.— Двенадцать километров! А? На дворе темнота, грязь, дороги вконец развезло. Ишь, мокрый весь до костей!

— Животное все понимает,— сказал из глубины вагона бабий голос.— Оно и войну понимает. И, скажем, опасность. У нас в Ненашкине прошлый год немецкие самолеты повадились пролетать, два раза бомбы спускали, убили телку Дуни Балыгиной. Так с тех пор как загудят, антихристы, так петухи рысью бегут под стрехи, хоронятся.

— Зверь и тот его ненавидит! — сказал человек с фонариком.— Шерсть на собаках дыбом становится, как заслышат они ихний лет. Вот до чего ненавидят.

— Буде врать-то! — сказала проводница.— Откуль пес разбирает, какой летит: ихний или наш.

— А ты его спроси, откуль он знает,— ответил хриплый голос.— У тебя одно занятие — никому нипочем не верить. Билеты по десять минут в руках вертишь. Все тебе мстится, что они фальшивые.

— Пес все может определить,— сказал примирительно боец.— У ихних самолетов гул специальный. С подвывом.

— Сам ты с подвывом! — огрызнулась проводница.

Паровоз неожиданно дернул. Страшно лязгнули буфера, еще страшнее зашипел пар. Девушки с ватной фабрики с визгом бросились к выходу; оказалось, что все они провожали подругу. Женщины торопливо попрощались с бойцом и спрыгнули уже на ходу.

— Дымок! — тревожно кричали они из темноты вслед поезду.— Дымок!

— Дымок! — кричал и боец, стоя на площадке и оглядываясь.

Но Дымка нигде не было.

— Пропал пес, скажи на милость! — бормотал смущенно боец, возвращаясь в вагон.— Вот незадача, скажи пожалуйста!

— Да здесь он, дядя Ваня,— раздался из темноты мальчишеский голос.— Схоронился у меня в ногах, весь трясется.

— Это кто говорит? — спросил боец.— Ты, Ленька?

— Я.

— Ленька Кубышкин из Кобыленки? Кузьмы Петровича сын?

— Он самый.

— Дай-ка я около тебя сяду.

Боец протиснулся к мальчику, сел, опустил руку, нащупал дрожащего пса, вытащил его за загривок и посадил к себе на колени.

— Вот, понимаешь, навернулась забота,— сказал боец.— Увязался Дымок, что с ним поделаешь! А женщины мои небось измаялись там на станции, всё его кличут. Что ж теперь будет-то?

— Ничего не будет,— сказала проводница,— кроме того, что я тебя высажу с этой собакой в Кобыленке. Взял

моду с собаками в такое время кататься! Билет на нее есть?

— Нету,— сказал боец.— Я ж ее не брал, она сама в вагон влезла, в ногах схоронилась.

— Мне какое дело,— ответила проводница,— сама или не сама. Мне давай билет и общее согласие пассажиров на провоз ее в этом вагоне. И справку, что она у тебя здоровая. Ишь моду взял какую,— собаками сейчас заниматься.

— Иди ты, знаешь куда! — опять сказал из темноты хриплый голос.— Бессовестная! По человечеству надо судить. А у тебя заместо ума — тарифные правила!

— Поговори у меня! — угрожающе сказала проводница, но ей не дали окончить.

Вагон зашумел так грозно, что проводница ушла. Она так хлопнула дверью, что старуха, сидевшая у дверей, перекрестилась:

— Исусе Христе! Так ведь и голову отшибить недолго!

— Слыхал я, Ленька, что от отца, от Кузьмы Петровича, писем весь год не было,— сказал, помолчав, боец.

— Не было. Все не пишет.

— А ты не беспокойся. Иной человек и жив и его осколком даже нисколько не царапнуло, а он писем не пишет.

— Обстановка, что ли, не позволяет? — спросил хриплый голос.

— Бывает, обстановка. А бывает, и характер у человека такой.

— Надо быть, нету уже в живых человека, раз он цельный год вестей не подает,— сказала старуха, сидевшая около двери.— Охо-хошеньки!

— Не отучились вы каркать! — рассердился боец.— Вместо разговору всегда у вас, у старых, один карк. То рваную подошву нашла на дороге — к беде! То воробей влетел в избу — опять худо! То лошадь приснилась,— быть, значит, пожару. Выдумки у вас слишком много. Паренек ждет отца, надеется, а ты ему сомненье даешь. С какой это стати, интересно? К чему это такой разговор!

— А я, дядя Ваня, нисколько не беспокоюсь,— тихо сказал мальчик.— Папаня мой жив. Я это сегодня узнал.

— Товарищей его встретил, что ли?

— Нет, не товарищей. Через экран я узнал.

Боец уставился на мальчика.

— Через какой экран? Очумел, что ли!

— Да нет, дядя Ваня, честное пионерское — не очумел. Только приехал третьего дня в Кобыленку из Клепиков Валя Лобов и говорит: «Хочешь, Ленька, своего папаню видеть в геройской обстановке? Ежели хочешь, то езжай первым поездом в Клепики, иди в кино и смотри картину «Сталинград». И увидишь ты в ней своего родителя живого и невредимого». Я и поехал. Пошел в кино. Мальчишки у дверей толкутся, все без билетов — и никого не пускают. Всё оттирают и оттирают меня от дверей, а за ними уже звонок звенит. Я и заплакал. От досады на этих мальчишек заплакал. Мальчишки смеются: «Гляди, какой нервный!» Тут я им и объяснил свое положение. Зашумели они: «Чего ж ты молчал, гусь лапчатый! Сеанс уже начинается!» И давай колотить в дверь кулаками. Милиционер выскочил — старенький уже, усатый — и кричит: «Марш отсюдова! Я вас, огольцов, всех позабираю!» А мальчишки вытолкнули меня вперед, все кричат, все разом милиционеру рассказывают, зачем я в кино приехал. Милиционер взял меня за пиджачок, втащил в дверь, говорит: «Ну ладно, иди. Только смотри — без обману». А со мной трое мальчишек все-таки влезли. Сел я, смотрю,— и до того мне страшно! И все жду. И вдруг вижу: папаня мой бежит по двору в каске, стреляет, а за ним бегут другие бойцы. И лицо у него такое-то суровое, крепкое. И тут я закричал и ничего больше не помню. Будто уснул сразу, а проснулся в комнате у директора кино. Сижу на диване, директор — девушка такая веселая, в ватнике,— меня водой отпаивает, а милиционер стоит рядом и говорит: «Первый случай в моей практике, а стою я в этом кине уже два года». Потом директор велела мне подождать, ушла и, как сеанс окончился, принесла мне кусок пленки с папаней, сказала: «Береги и отпечатай при первой возможности».

— А ну покажь! — сказал боец.

Мальчик вытащил из кармана завернутый в бумагу кусок пленки. Человек с хриплым голосом зажег электрический фонарик и осветил пленку. Боец осторожно развернул ее и посмотрел на свет.

— Беда! — вздохнул он.— Мелкая очень печать, все навыворот! Не разберу. А охота мне Кузьму Петровича посмотреть в сталинградском бою, большая охота.

— Счастье тебе, малый,— сказал человек с хриплым голосом.— Истинное счастье!

— А наши старухи-дуры,— пробормотала старуха,

сидевшая у двери,— всё на кино ругаются. Мельтешит, говорят, перед глазами и мельтешит!

— Вот те и мельтешит! — сказал боец.— Слыхала, какой случай? За это незнамо кого благодарить надо.

— Уж истинно, благодарить,— согласилась старуха.— За утешение, за то, что отца повидал. Великое дело!

Паровоз засвистел, начал тормозить.

— Кобыленка! — сказал мальчик и встал.— Ну, мне сходить. Вы, дядя Ваня, дайте мне Дымка. Я его завтра к вашим назад отвезу.

— Вот выручил! — радостно сказал боец.— А то душа у меня не на месте. Жаль собаку. Возьми его на руки, держи крепче. И папане обо всем напиши. Привет от меня, от Ивана Гаврюхина. Ну, шельма, прощай!

Боец потрепал собаку по спине, по ушам, потом погладил. Мальчик взял Дымка, спрятал под пальтецо и быстро вышел. Я вышел вслед за ним на открытую площадку. Поезд тронулся. Собака тихо повизгивала у мальчика под полой.

В холодных лужах блестели звезды. Ветер дул из лесов, доносил запах талого льда — должно быть, с лесных озер, где сейчас было черно, жутко, где лед уже растаял у берегов и к полыньям подбегали сторожкой рысцой худые волки, пили жгучую воду, оглядывались, нюхали воздух; из-под осевшего снега пахло мерзлой брусникой, корнями.

Я вошел в вагон и услышал голос бойца:

— За это незнамо кого благодарить надо,— сказал он, затянулся, и огонек папиросы осветил его щетинистое лицо.

Все сильнее шумел ветер в соснах за окнами вагона. Поезд входил в обширный лесной край.

1943

БАКЕНЩИК

Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.

Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошли трое

мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды, над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.

— Вы откуда? — спросил я их.

— Из Ласковского леса,— ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города, приехали в лес на работу, вот уже три недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок.

— Он только ворчливый,— сказал самый маленький мальчик.— Все ему мало, все мало. Вы его знаете?

— Знаю. Давно.

— Он хороший?

— Очень хороший.

— Только вот все ему мало,— печально подтвердил худой мальчик в кепке.— Ничем ему не угодишь. Ругается.

Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал:

— Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым веникам, их обучать полагается. Верно я говорю? Садитесь в лодку. Поехали.

— Ну, вот видите,— сказал маленький мальчик, залезая в лодку.— Я же вам говорил!

Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор.

— Ты только не думай,— сказал он мне,— они на меня не в обиде. Я им уже столько в голову вколотил — страсть! Как дерево пилить — тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь небось знаете?

— Знаем, дедушка,— сказал мальчик в кепке.— Спасибо.

— Ну, то-то! Пилу небось развести не умели, дроволколы, работнички!

— Теперь умеем,— сказал самый маленький мальчик.

— Ну, то-то! Только это наука не хитрая. Пустая наука! Этого для человека мало. Другое знать надобно.

— А что? — встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках.

— А то, что теперь война. Об этом знать надо.

— Мы и знаем.

— Ничего вы не знаете. Газетку мне намедни вы принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете.

— Что же в ней такого написано, Семен? — спросил я.

— Сейчас расскажу. Курить есть?

Мы скрутили по махорочной цигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга:

— А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?

— Правильно.

— А что это есть — любовь к родине? Вот ты их и спроси, мальчишек. И видать, что они ничего не знают.

Мальчики обиделись:

— Как не знаем!

— А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. Погоди, ты не выскакивай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: «Иду я за родную землю». Так вот ты и скажи: за что же ты идешь?

— За свободную жизнь иду,— сказал маленький мальчик.

— Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь.

— За свои города и заводы,— сказал веснушчатый мальчик.

— Мало!

— За свою школу,— сказал мальчик в кепке.— И за своих людей.

— Мало!

— И за свой народ,— сказал маленький мальчик.— Чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь.

— Все вы правильно говорите,— сказал Семен,— только мало мне этого.

Мальчики переглянулись и насупились.

— Обиделись! — сказал Семен.— Эх вы, рассудители! А, скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?

Мальчики молчали.

— Вот я и вижу, что вы не все понимаете,— заговорил Семен.— И должен я, старый, вам объяснить. А у меня и своих дел хватает: бакены проверять, на столбах метки вешать. У меня тоже дело тонкое, государственное дело. Потому — эта река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней вроде как пестун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так получается, что все это правильно — и свобода, и города, и, скажем, богатые заводы, и школы, и люди. Так не за одно это мы родную землю любим. Ведь не за одно?

— А за что же еще? — спросил веснушчатый мальчик.

— А ты слушай. Вот ты шел сюда из Ласковского леса по битой дороге на озеро Тишь, а оттуда лугами на Остров и сюда ко мне, к перевозу. Ведь шел?

— Шел.

— Ну вот. А под ноги себе глядел?

— Глядел.

— А видать-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать, да примечать, да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, сорвешь какой ни на есть цветок или траву — и иди дальше.

— Зачем?

— А затем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашкой вы его называете. Ты его парви, понюхай — он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот улыбнется. Или, скажем, ромашка. Ведь ее грех сапогом раздавить. А медуница? Или сон-трава. Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купена. Да вы ее, видать, и не знаете. Лист широкий, твердый, а под ним цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь — и зазвонят. То-то! Это растение приточное. Оно болезнь исцеляет.

— Что значит приточное? — спросил мальчик в кепке.

— Ну, лечебное, что ли. Наша болезнь — ломота в костях. От сырости. От купены боль тишает, спишь лучше и работа становится легче. Или аир. Я им полы в сторожке посыпаю. Ты ко мне зайди — воздух у меня крымский. Да! Вот иди, гляди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек, а я слышу — дождиком от него тянет. Грибным дождем — спорым, не очень шумливым. Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет, он все

наше богатство растит. Я часто, ближе к вечеру, сижу у сторожки, корзины плету, потом оглянусь и про всякие корзины позабуду — ведь это что такое! Облак в небе стоит из жаркого золота, солнце уже нас покинуло, а там, над землей, еще пышет теплом, пышет светом. А погаснет, и начнут в травах коростели скрипеть, и дергачи дергать, и перепела свистеть, а то, глядишь, как ударят соловьи будто громом — по лозе, по кустам! И звезда взойдет, остановится над рекой и до утра стоит — загляделась, красавица, в чистую воду. Так-то, ребята! Вот на это все поглядишь и подумаешь: жизни нам отведено мало, нам надо двести лет жить — и то не хватит. Наша страна — прелесть какая! За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать на осквернение. Правильно я говорю? Всё шумите, «родина», «родина», а вот она, родина, за стогами!

Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела цапля.

— Эх,— сказал Семен,— идут на войну люди, а нас, старых, забыли! Зря забыли, это ты мне поверь. Старик — солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Пустили бы нас, стариков,— вот тут бы немцы тоже почесались. «Э-э-э,— сказали бы немцы,— с такими стариками нам биться не путь! Не дело! С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь!»

Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо побежали от нее вдоль воды.

— Так-то, ребята,— сказал Семен.— Опять небось будете на деда жаловаться — все ему мало да мало. Непонятный какой-то дед.

Мальчики засмеялись.

— Нет, понятный, совсем понятный,— сказал маленький мальчик.— Спасибо тебе, дед.

— Это за перевоз или за что другое? — спросил Семен и прищурился.

— За другое. И за перевоз.

— Ну, то-то!

Мальчики побежали к песчаной косе — купаться. Семен поглядел им вслед и вздохнул.

— Учить их стараюсь,— сказал он.— Уважению учить к родной земле. Без этого человек — не человек, а труха!

1943

СНЕГ

Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура! — думала Татьяна Петровна.— Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налетов,— а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах — их было несколько в городке — и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от ее зеленой воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку, и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с выцветшим зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын-моряк, что он сейчас на Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна, брала ее, рассматривала и, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?»

— Нет, не помню,— тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь? — кричала из соседней комнаты Варя.

— С роялем,— смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня,— он даже не вздрагивал. Потом осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик,— читала Татьяна Петровна,— вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа,— читала дальше Татьяна Петровна,— и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза, и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи — те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и романс «Для берегов отчизны дальной...» Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок — и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и

даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди».

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нем была отлита смешная надпись: «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задергал ушами, обиделся, ушел из прихожей: веселый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок, кукол, гармоник и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке.

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогаешь чужие вещи? — сказала она Татьяне Петровне.— Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль — все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая,— ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на

взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время.

Поезд пришел в городок днем. Тут же, на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы.

— Эвакуированная,— сказал начальник станции.

Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да,— сказал начальник станции,— хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд? — спросил Потапов.

— Ночью, в пять часов,— ответил начальник станции, помолчал, потом добавил: — Вы у меня перебудьте. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти незачем.

— Спасибо,— ответил Потапов и вышел.

Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой.

Потапов прошел через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы.

«Ну что ж! — сказал Потапов.— Опоздал. И теперь это все для меня будто чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в березовую рощу.

Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растравлять себе сердце, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же,— подумал Потапов,— с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг».

Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно

открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо — должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бренчали пустыми ведрами женщины — шли к проруби за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку,— тихо сказала женщина,— вы простудитесь. И пойдемте в дом. Не надо здесь стоять.

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет.

Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание.

Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдемте! — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова в кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова еще не прошло.

— Кто же твоя мама? — спросил он девочку и покраснел.

Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая,— таинственно прошептала девочка.— А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.

— Почему? — спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне все кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй,— ответил Потапов.

Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, прошел по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить,— сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.

Потапову постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шепоту Татьяны Петровны,— она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы,— Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался: она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать,— сказала она.— Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потапов ничего не ответил, только кивнул головой.

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались,— писал Потапов,— но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было, должно быть, лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь, и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся с места. Почему — не знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

1943

СТЕПНАЯ ГРОЗА

Серый от старости деревянный дом приткнулся к склону оврага. Вверху по краю оврага шумели от весеннего ветра голые вербы, а внизу бормотал и переливался через погнутую немецкую каску мелкий ручей.

Каска валялась в ручье давно, больше года, заржавела, но мальчишки со Слободки ее не трогали. Может быть, потому, что мальчишки без надобности не выходили из дому, а может быть, потому, что мальчишки были теперь опытные насчет мин. Тронешь такую каску, грохнет рядом мина — и тогда «бенц»! Слово «бенц» на языке мальчишек означало всякую неожиданность, в том числе и внезапную смерть.

В доме жил старый учитель географии Иван Лукич, по прозвищу «Патагонец». Прозвали его так за высокий рост и за красноватое, обветренное лицо. Иван Лукич, человек одинокий и неразговорчивый, до войны много времени проводил в лодке на Днепре — удил рыбу.

Кроме Ивана Лукича, в доме жил сейчас десятилетний Юрка, единственный сын вдового рыбака с Вольного острова. Почти каждое лето «Патагонец» навещал отца Юрки — Никифора Бесперечного, ездил с ним в днепровские плавни ловить сазанов.

Перед приходом немцев Никифор отвел Юрку в Херсон, к Ивану Лукичу, сказал, что сам он, Никифор, уходит на шаланде с рыбаками на Кинбурн, будет там биться с немцами, как бились в стародавние годы с турками «вечной памяти запорожские хлопцы».

Напоследок Никифор притянул к себе Юрку, взъерошил ему волосы, сказал:

— Дожидайся тут отцовского возврата. Слухай Ивана Лукича, потому что он знает, в чем наша пропорция и какая заключается в нашей жизни осмысленность.

Никифор любил выражаться торжественно и туманно.

Через день после ухода Никифора Иван Лукич собрался уходить с Юркой от немцев, но пришлось остаться — не на чем было переправиться через Днепр. Лодку свою Иван Лукич еще раньше отдал нашим бойцам.

Немцы в Слободку заходили редко. Их не интересовали хибарки, залатанные ржавой жестью, маленькие сырые огороды. Немцы расположились в городе, рубили на дрова городской сад, насаженный еще при Екатерине, уводили в степь евреев, открыли в городском театре «казино» с музыкой для офицеров.

Иван Лукич и Юрка голодали. Юрка собирал по оврагу щавель, был еще небольшой запас пыльных сухарей и немного картошки. Ловить рыбу на Днепре немцы запретили, Иван Лукич очень от этого страдал. Огорчался и Юрка — с малых лет он привык к бою щук под крутоярами и запаху очерета.

Днем и в городе и на Слободке всегда бывало неспокойно. По ночам было не лучше, но Ивану Лукичу и Юрке ночи казались безопаснее, будто темнота в овраге отделяла их от немцев невидимой стеной. В сумерки Иван Лукич закладывал дверь железным засовом, завешивал окна, зажигал старинный медный ночник, ставил по сторонам его на столе тяжелые тома переплетенной «Нивы» и впервые за весь день спокойно закуривал толстую крученую папиросу из махорки, смешанной с сушеной крапивой.

Юрка сидел у стола, смотрел на комнату Ивана Лукича, и все в ней представлялось ему интересным и живым: на столе огромный атлас Петри в зеленом переплете с золотом, пыльные колбы с семенами, дубовый книжный шкаф и часы в виде швейцарского домика. Около домика стояла глиняная девушка в зеленом корсаже и красной юбке с оборками и кормила таких же глиняных белых барашков. Часы эти отставали на четыре часа в сутки. На стенах висели картины: «Переход Суворова через Сен-Готард» Сурикова, «Девятый вал» Айвазовского и портрет путешественника Миклухо-Маклая — страшно худого человека с бородой, похожего на Ивана Лукича.

Иван Лукич садился в потертое ковровое кресло, доставал из ящика письменного стола железную коробку от икры с рыболовными принадлежностями, долго рассматривал крючки, поплавки, грузила, блесны, вздыхал.

От письменного стола пахло табаком и лекарствами. В ящиках лежала стопками пожелтевшая линованная бумага, стереоскоп с видами всех европейских столиц, медный бинокль и много других приятных вещей.

С каждым месяцем этих вещей становилось все меньше. Иван Лукич продавал их на маленьком базаре — барахолке, и сам удивлялся, что находились на них покупатели.

Но, несмотря на продажу вещей, Иван Лукич быстро слабел и вскоре перестал быть похожим на патагонца. Кожа на лице посерела, припухла. Иван Лукич жаловался на холод и спал, не снимая шапки.

Освобождение приближалось. С востока надвигалась

Красная Армия, и Иван Лукич все чаще мерил старым циркулем карту, соображал, когда советские части дойдут до города.

Однажды ночью Иван Лукич долго не спал, ворочался, даже вставал. Было тихо. Только изредка прошумят и стихнут старые вербы или прогудит высоко над домом неизвестно чей самолет. На рассвете Иван Лукич разбудил Юрку, сказал:

— Вставай! У тебя слух лучше моего.

Юрка вскочил, подошел к окну. Утро было темное, серое. Юрка протер рукавом запотевшее стекло, прижался к нему лбом. Стекло тихонько звякнуло, и далекий, но мощный гул медленно прошел мимо дома и затих в овраге. Потом прошел второй гул, третий. На окне в деревянной плошке взошел посаженный Иваном Лукичом овес. Тоненькие его травинки наклонились к стеклу, будто тоже прислушивались к канонаде.

Утром Иван Лукич ушел на базар, чтобы разузнать новости. Юрка остался один. Он сидел на теплом от солнца полу и рассматривал «Ниву» за 1907 год. Кто-то подошел к окну, постучал. Юрка закрылся томом «Нивы», осторожно выглянул из-за него. За окном стояла соседка, бабка Федосья.

Юрка открыл ей дверь. Бабка вошла, покрестилась на портрет Миклухо-Маклая, зашептала:

— Немцы тревожатся. Ходят скрозь по домам, ищут детей и родичей партизанских. Видно, тронулась их власть и они перед концом хотят полютовать над людьми. Где Иван Лукич?

— На базаре,— шепотом ответил Юрка.

— Ну, смотри! — сказала бабка Федосья.— Все мы знаем, что ты внучек Ивана Лукича, но может, найдется на Слободке подлюга, который и больше нашего знает и расскажет немцам, кто ты есть на самом деле. Тогда убьют немцы обоих вас в первой балочке.

— А его за что? — спросил Юрка.

— За то, что сховал тебя при родном отце — партизане,— ответила бабка.— Конечно, за его доброту. В степь подаваться надо вам обоим. Придет Иван Лукич, скажи ему. Тебя найдут — и его кончат. И дом спалят.

— А одного его не кончат? — спросил Юрка.— Без меня?

— Откуда я знаю! — ответила бабка.— Может, одного и не кончат. Надо думать, хлопчик, что и справди не кон-

чат, потому не будет у них никаких доказательств. А ты — доказательство!

Бабка ушла. Юрка постоял среди комнаты, схватил свой кожушок и шапку, вышел, припер дверь палкой и побежал низом по оврагу в степь.

Степь только что начала просыхать от весенней грязи. Всюду в балках бежала вода, и желтые цветы мать-и-мачехи уже раскрывались на солнцепеке.

Юрка пробирался подальше от хуторов. К северу ушли — затерялись телеграфные столбы железной дороги на Николаев. Потом перед собой в степи он увидел людей и свернул на юг. Люди копались в земле — должно быть, рыли окопы или рвы против танков.

Остановился Юрка около старого шалаша-куреня. В курене никого не было, только валялись гнилой хворост и прошлогодние арбузные корки. Наверное, здесь был когда-то баштан и в этом курене сидел старый сторож, такой же, как дед Лысуха на Вольном острове.

Дед Лысуха был подслеповатый и глухой. Он ничего не видел и потому, сидя у куреня, все время покрикивал наудачу на воображаемых воров-мальчишек: «А ну, марш с баштана, голота! Вот выдерну с плетня дрючок да встану — тогда будете знать!» Крик деда на пустом баштане веселил рыбаков. «До чего старательный,— говорили они.— Кричит весь день, а у него из-под постолов хлопчики дыни тянут. Да бог с ним, пусть сторожит. Надо же старому пропитание».

Юрка подобрал сухие арбузные корки, вытер о кожушок, начал жевать. Они были твердые, как кожа, но все же их можно было разжевать в кисловатую кашицу.

Днем небо затянулось облачной скатертью, задул ветер, закачал слабую траву. Юрка залез в шалаш, переворошил хворост, сел, засунул руки в рукава кожушка и задумался.

Что делать дальше? Вот он ушел из города, чтобы из-за него, из-за Юрки, немцы не убили Ивана Лукича, ушел и не взял ни одного сухаря, в смятении забыл про еду. «Буду тихо сидеть в курене, не двигаться, дышать носом, как советовал Иван Лукич,— думал Юрка,— а выходить только в балочку за водой. Тогда продержусь целую неделю. А за неделю, может, и выбьют наши германцев и ихних полицаев, и не успеют они меня приколоть. А как же Иван Лукич?»

Юрка начал краснеть. Жар бросился ему в лицо.

Что он подумает, Иван Лукич? Ушел, бросил его одного, старенького, напугался. Где ему догадаться, что Юрка ушел, чтобы отвести от него опасность! И записку никак нельзя было оставить: придут немцы, найдут — тогда верная смерть. Что же делать? Отец всегда говорил, что нет на свете худшего «злодеянства», как бросить своего человека в беде. В качестве примера он рассказывал историю о Казачьем кургане, где похоронены запорожцы, перебитые турками. Запорожцев выдал туркам из трусости свой же казак, и, как говорил Никифор, «того казака, что выдал товарыство, турки вбылы первого».

— И за дело вбылы, Юрка! За дело! — добавлял Никифор.

Как же быть? Побежать разве обратно в город, объяснить Ивану Лукичу, почему он, Юрка, ушел в степь...

В степи потемнело, ветер задувал все сильней. С моря нагоняло низкие тучи.

«Подожду до ночи,— решил Юрка.— Ночью вернусь в город, тогда меня никто не увидит, не схватит. И уйдем опять в степь вместе с Иваном Лукичом».

Юрка обнял колени, опустил на них голову, затих, задремал.

Очнулся он в темноте. Ветра не было. Юрка осторожно выглянул. Мгла лежала над степью, а на востоке глухо гремело — должно быть, подходила гроза. «Лишь бы дождя не было»,— подумал Юрка и посмотрел на крышу куреня. Она была сложена из дерна. В темноте мутно белели дыры в тех местах, где дерн обвалился.

Далеко в степи закричал человек. Юрка задержал дыхание, прислушался. Крик повторился, но уже дальше. Человек, должно быть, ходил по степи, спотыкался, искал кого-то, звал жалобным голосом.

«Сумасшедший! — подумал Юрка.— Разве здоровый будет ходить в такую ночь по степи, кричать на верную смерть».

Юрка поднял голову, ждал. Крик не повторялся. Было опять тихо, даже гром не гремел, и Юрка слышал, как тяжело, до искр в глазах, колотится его сердце.

Может быть, сумасшедший заметил курень, замолчал и подкрадывается к нему?

Юрка вылез из куреня, пополз по сырой земле, путаясь в ботве. Кто-то, громко топая сапогами, пробежал в темноте, остановился, сказал, задыхаясь: «Вот гадюки, чтоб

их громом убило!» — и побежал дальше. Еще никогда Юрка не видел такой страшной ночи.

Небо было как сажа, и все кругом было как сажа, и хоть бы одна звезда загорелась в небе!

Неожиданно мутным красным огнем вспыхнула чернота, осветился курень — он был совсем близко,— снова накатилась ночь, и такой гром ударил по земле, что у Юрки дернулась и заболела голова. Торопясь и перебивая друг друга, загрохотали небесные разрывы, зашумел ветер, засвистела дикая ночь.

Юрка вскочил и побежал в степь. Он спотыкался, падал. Что-то черное и мокрое зашумело по земле, по кожушку, и Юрка не сразу понял, что начался дождь. А с востока все чаще разверзались залпы, будто великаны разрывали небо, и за ним открывалось другое небо из угрюмого страшного пламени. Каждый раз, когда вспыхивал этот свет, Юрка видел, как косматое и зловещее солнце несется, вертясь и мигая, за пологом черных туч и гаснет тотчас, как только гаснут залпы.

Солнце как будто мчалось в вышине с яростной быстротой, но вместе с тем оставалось на месте.

«Сон, что ли?» — подумал Юрка, ударился обо что-то большое, темное и упал. «Хата,— подумал Юрка.— Вся кривая, разбитая». Он схватился за угол хаты, попал рукой в густую грязь, и под слоем грязи пальцы его наткнулись на холодную сталь. Зажегся залп, и Юрка увидел забитые глиной гусеницы танка у себя над головой. Они висели, разорванные взрывом, тяжелые и неподвижные. Пахло гарью, бензином.

Юрка шарахнулся, бросился назад, нога у него подвернулась. Он упал и услышал, как далеко в непроглядной ночи кричали сотни людей. «Сошлись!» — вскрикнул Юрка и больше уже ничего не слышал — только земля скрипела у него на зубах.

Когда он открыл глаза, над головой в чистом утреннем небе нехотя плыли, будто хотели остановиться, но не останавливались, легкие облака. На их белые верхушки нельзя было смотреть — так они светились от солнца. Хотелось лечь на край такого облака и плыть над степью.

Юрка скосил глаза, но земли не увидел. Со всех сторон медленно плыли облака, будто он лежал в воздухе и огромное небо задумчиво вращалось вокруг него, как облачная карусель. Свиристела рядом маленькая степная птица.

Юрка поднял голову и увидел, что лежит на сухой соломе в грузовой машине. Машина стояла.

Потом над бортом машины показалась стальная каска. Юрка сжался, смотрел на каску; сердце его колотилось.

Каска медленно подымалась, и вскоре под ней появилось веснушчатое лицо бойца с выгоревшими бровями. Боец молча посмотрел на Юрку, таинственно ему подмигнул. Юрка улыбнулся.

— Ага! — сказал боец.— Итак, значит, живы-здоровы?

Юрка молчал.

— Петров! — сказал боец кому-то, кто сидел, очевидно, на земле около машины.— Похоже, что этот гражданин из колонии глухонемых.

— Не! — сказал Юрка таким сиплым голосом, что ему самому стало неловко.— Я не глухой. Я из Херсона. А вы откуда?

— Мы? — спросил боец.— Мы костромские. Прибыли в ваше расположение для организации немецкого драпа.

Глухой бас из-под машины сказал:

— С добрым утром, молодой человек. Не желаете ли консервов? Свино-бобовых?

— Здравствуйте,— тихо ответил Юрка и сел.— Я сейчас слезу.

Юрка вылез. Низко по горизонту стлался дым. Около машины сидел на куче щебня высокий бородатый боец и открывал консервную банку. Он посмотрел на Юрку и кивнул ему головой. Маленький чернявый водитель вытирал тряпкой стекла в кабине.

— Арутюн,— позвал бородатый,— иди садись, режь хлеб. Бобы мировые.

— Я резать хлеб не могу,— ответил водитель.— Я весь горючим пропах. Около меня даже курить опасно.

Так началось знакомство Юрки с бойцами. Они рассказали ему, как подобрали его на рассвете, чуть начало синеветь над степью. А Юрка, поев консервов, осмелев, рассказал им о Никифоре, об Иване Лукиче, о том, как он, Юрка, жил в Херсоне и убежал, чтобы не подвести Ивапа Лукича под немецкий расстрел. Бойцы слушали, ковыряли в жестянке ложками.

— Итак,— сказал боец в веснушках,— допросом установлено, что указанный гражданин,— боец сделал свирепое лицо и посмотрел на Юрку,— есть сын рыбака, партизанящего на Кинбурне, и воспитанник старого педагога, каковой педагог в свободное от служебных занятий время

интересуется ужением рыбы на Днепре. Правильно я вас понял, молодой человек?

— Правильно,— неуверенно ответил Юрка и на всякий случай спросил: — А вы кто такие?

— Мы члены общества любителей соловьиного пения,— ответил боец с веснушками.

Юрка улыбнулся: очень забавно разговаривал веснушчатый. Но бородатый боец и водитель, должно быть, привыкли к его разговорам и продолжали ковыряться в банке с бобами, не обращая внимания на веснушчатого. Только водитель сказал:

— Брось морочить мальчику голову. Мы связисты.

— Вот что, хлопчик,— сказал бородатый боец,— ты до Херсона один не дотопаешь. Определенно не дотопаешь. Всего еще много — и мин, и одиночных немцев по степи, и черт его знает чего. Лезь в кузов! Мы поедем до моря, а оттуда Арутюн вернется в Херсон. И тебя доставит. Сговорились?

— Сговорились,— ответил Юрка.— А вам зачем к морю?

— Много будешь знать — облысеешь!

Вскоре машина тронулась. Ветер зашумел в ушах. Из-под колес на молодые травы полетели комья грязи. Чем дальше шла машина, тем сильнее дул ветер, тем громче пел веснушчатый боец незнакомую Юрке песню:

Эх, позарастали стежки-дорожки!

Юрке уже казалось, что война где-то далеко и что не было здесь никаких немцев. Казалось, может быть, потому, что бойцы ничего не говорили о войне, а может быть, потому, что машина бежала на юг, к морю, по глухой проселочной дороге, а бой шел в стороне, на западе. И если бы не толпа пленных немцев, которых вели всего два конвоира, то Юрка совсем бы позабыл о войне. Немцы были почернелые, будто копченые, и тяжело месили грязь низкими сапогами.

Машина остановилась около рыбачьей лачуги. Юрка выскочил и прищурился — широко летел в лицо разгонистый ветер, а под обрывом, совсем рядом, бежало навстречу море, разливалось зеркалами по пескам, несло соленую пыль.

Пока бойцы вытаскивали из машины связки проволоки и ящики, Юрка сбежал на берег. Волны подымались, вода просвечивала зеленым бутылочным цветом. Потом

они с громом падали на песок и уходили, уволакивая голыши, медную гильзу от снаряда и мандариновую кожуру.

Вдали желтел низкий берег. Над ним расплывались в небе темные шары разрывов.

«Кинбурн,— подумал Юрка.— Там еще немцы. Должно быть, отец бьется с ними, выбивает последних, гонит прямо в Черное море дельфинам на ужин».

Водитель позвал Юрку, сказал, что пора ехать. Юрка зашел в лачугу попрощаться с бойцами. Внутри было пусто, мусорно, стояла старая лавка, и только в углу висела такая же икона, как и у них в хате на Вольном острове: черный дед в серебряной ризе, святитель Николай из Мир Ликийских, заступник рыбацкого племени. За икону была заткнута сухая ветка вербы, а рядом на стене висела немецкая пилотка.

Веснушчатый боец подметал лачугу веником из полыни. Он сдернул пилотку со стены, бросил в печь — там уже горел огонь под котелком. Но бородатый боец вытащил пилотку щепкой, вынес и выбросил в степь.

— Кулеш,— сказал он,— дело чистое. Не годится чадить около него немецким барахлом.

Юрка поблагодарил бойцов, попрощался с ними.

— Погоди! — сказал веснушчатый.— Есть разговор.

Он вынул из вещевого мешка коробку от печенья, развязал ее, осторожно порылся в ней и протянул Юрке три раскрашенных гусиных поплавка. На одном были синие, оранжевые и желтые полосы, на другом — крошечные цветы и травы, а на третьем — множество разноцветных точек, мелких, как маковые зерна.

— Сам красил,— сказал веснушчатый.— Я тоже рыболов. Всюду с собой их таскаю. Устану — разверну их, погляжу, потрогаю, и как будто и не было утомления. Пустая вещь поплавок, а вот подумай, какая от него поддержка. Вспомнишь зарю на нашем озере, кусты, вода стоит тихая, пар над ней по утрам, журавли курлычут на болотах. Хорошо! Знаменито! И сразу у меня легче становится шаг. Один поплавок возьми себе, другой — твоему папаше, а вот этот, с цветами,— учителю твоему. Так и скажешь: «От Семечкина Ивана, рыболова и бойца. В знак почтения».

Юрка спрятал поплавки в шапку и ушел сконфуженный и радостный.

В середине дня машина остановилась при въезде в город около Слободки. Юрка выскочил, попрощался с води-

телем и побежал к себе в овраг. Дым еще стоял над городом. В небе звенели алюминиевые самолеты, и Юрка видел на крыльях маленькие красные звезды.

Юрка спустился в овраг, перескочил через ручей, увидел Слободку и остановился. Облупленные и серые слободские хаты блестели, как снег. Женщины в подоткнутых платьях мазали стены квачами, обводили синей каймой окна, а одна — Христина, белозубая и дерзкая на язык,— даже нарисовала над каждым окном пышные пионы.

— Здоров! — крикнула Христина Юрке.— Всей Слободкой после немцев мажемся. Теперь наша Слободка — как небесный рай. И Иван Лукич мажется.

Юрка побежал к дому Ивана Лукича. Он издали увидел, как Иван Лукич стоит на табурете и мажет кистью высоко под крышей. Окна в доме впервые были открыты настежь, и только что вымытые фикусы блестели на солнце.

— Иван Лукич! — крикнул Юрка и заплакал.— Здравствуйте!

Больше он ничего не мог сказать. Иван Лукич обернулся, уронил кисть, торопливо слез с табурета, подошел к Юрке. Стекла очков Ивана Лукича были забрызганы мелом.

Иван Лукич схватил Юрку за плечи, потряс, обнял, поцеловал и снял очки. Со стекол упало на землю несколько мутных от мела капель. Иван Лукич вытер глаза, сказал:

— Жив! Голодный небось, как волчонок? Еще бы не голодный! Ты зачем удрал? Думаешь, я не знаю. Я, брат, все знаю и одобряю. Завтра партизаны возвращаются с Кинбурна, Никифор приедет, а ты замурзанный, как галчонок. Пойдем! Переоденешься, чай сейчас вскипит.

Иван Лукич снова потряс Юрку за плечи и повел в дом. В комнатах было весело, пахло чистотой, весной, вымытыми полами. На полу около окна дрались из-за червяка два взъерошенных воробья, тянули червяка клювами каждый к себе.

Увидев Ивана Лукича и Юрку, воробьи бросили червяка и со страшным переполохом удрали в окно.

— Чертенята! — закричал Иван Лукич.— Разворовали червей.

Иван Лукич взглянул на Юрку, покраснел, пробормотал:

— Понимаешь, утром накопал целую банку подлист-

ников. Для окунья нет лучше насадки. И, пожалуй, даже для леща. Так... впрок накопал.

Тогда Юрка достал из шапки два раскрашенных поплавка и протянул Ивану Лукичу.

— Это вам от одного бойца-рыболова,— сказал он.— От Семечкина Ивана. В знак почтения!

Иван Лукич взял поплавки, осторожно провел по ним пальцем, улыбнулся:

— Спасибо! Это — на счастье. Такой поплавок будет плавать в днепровской воде, как цветок с каких-нибудь Гавайских островов. Значит, двинем после чая на Днепр, Юрка. Удочки у меня в полном порядке.

— Двинем, Иван Лукич,— ответил Юрка.

За окнами весело перекликались женщины, пела Христина, кричали воробьи. От распускавшихся верб пахло нагретой корой, и хороводом ходили над городом и днепровским разливом, сверкая в небесной голубизне, самолеты.

1944

НЕТ ЛИ У ВАС МОЛОКА?

На перекрестках лесных дорог, около шалашей, сложенных из сосновых веток, стояли девушки-бойцы с флажками. Они руководили потоком военных машин, указывали им дорогу, проверяли наши документы.

Мы встречали этих девушек-регулировщиц в полях, очень далеко от деревень, в лесах, около переправ через быстрые реки. Под дождем и на ветру, в пыли и на солнцепеке, в северные ночи и на рассветах — всюду и всегда мелькали мимо нас их обветренные лица, строгие глаза, выцветшие пилотки. Ночью в глухом лесу одна из таких девушек остановила нашу машину и спросила:

— Нет ли у вас, товарищи, молока?

— Мы с фронта едем, а не с молочной фермы,— недовольно ответил шофер.

— Своих коров мы, как на грех, подоить не успели,— насмешливо добавил боец с автоматом.— Вот беда! У нас не за каждой ротой ходит стадо молочных коров.

— А вы бросьте шутить,— сердито сказала девушка.— Я вашим остроумием не интересуюсь. Значит, нет молока?

— А в чем дело? — спросил майор, вылезая из машины. За ним вылез боец.

Регулировщица рассказала, что этой ночью она впервые за время войны сильно испугалась. Артиллерия открыла ночной огонь. В лесу это хуже всего. Когда тихо, то хоть ничего и не видно, но, по крайней мере, слышно, как захрустит под сапогом каждая ветка. Никакой немец, отбившийся от своих, не может застать врасплох. А когда бьет ночью артиллерия — и слепнешь от темноты, и вдобавок глохнешь.

Девушка стояла ночью на перекрестке. Вдруг кто-то крепко схватил ее за ноги. Девушка закричала, отскочила, схватилась за винтовку. Сердце у нее колотилось так громко, что она не сразу услышала тихий плач у своих ног. А услышав, зажгла электрический фонарик и осветила дорогу.

— Смотрю: маленькая девочка в рваном платке стоит рядом. Такая маленькая, ростом мне до колен. Я слова сказать не могу, а она обхватила меня за ноги, уткнулась головой в колени и плачет. Нагнулась я над ней, сама реву, дура, и слышу, как она одно только слово шепчет: «Мама». И так настойчиво, знаете, шепчет, будто я действительно ее настоящая мать. Отнесла я ее в шалаш, уложила, закутала шинелью. Спит она сейчас. Молока бы ей надо, когда она проснется.

— Да, дела,— сказал майор.— А сколько ей лет?

— Годика три. Она уже разговаривает хорошо. Все, что могла, мне рассказала. Изба их — там где-то, за лесом,— сгорела вместе со всей деревней, а мать, должно быть, убили немцы. Она говорит, что мать спит, а она ее будила-будила и никак не могла разбудить.

— Да, дела! — повторил растерянно майор.

— Есть у меня банка сгущенного молока,— пробормотал шофер и начал рыться в темноте у себя под ногами.

— Молоко, конечно, молоком,— сказал боец с автоматом,— только ее в тыл надо определить.

— Жалко мне ее,— тихо вздохнула регулировщица.

— А ты что ж,— спросил боец,— при себе ее оставить хочешь? Кто тебе разрешит? Ребенку забота нужна. Скажем, детский сад или что-нибудь в этом смысле.

— Да, я понимаю,— согласилась девушка,— только неохота мне ее вам отдавать.

— Давайте, давайте! — суровым голосом сказал майор.— Мы ее устроим в надежное место.

Регулировщица побежала в шалаш за девочкой.

— Вот происшествие! — сказал боец.— Я от Сталинграда до Брянска дошел, а ничего похожего не случалось.

— Научили меня немцы ихний род, фашистский, ненавидеть,— пробормотал шофер.

— И меня научили,— сказал боец.— Я семьдесят пять немцев пока что уничтожил.

— Ты что ж, снайпер? — спросил шофер.

— А как же. Мы все, яранские, снайперы.

Регулировщица принесла девочку. Она крепко спала.

— Кто из вас ее держать будет? — спросила регулировщица.

— Я,— сказал боец с автоматом.— Всю дорогу буду держать.

— Смотри уронишь,— заметил шофер.— Все-таки хрупкое существо.

— Это кто уронит? — грозно спросил боец.— Я, что ли? Сказано тебе, что я снайпер. Рука у меня твердая. Это не то что твою баранку крутить. И опять же — дочка у меня в деревпе осталась, чуть поболе, чем эта. Я ее сам, бывало, в коляске укачивал.

Боец неожиданно и смущенно улыбнулся.

— Ну и держи,— примирительно сказал шофер.— Я все равно очень аккуратно поеду. С моей ездой ты ее не уронишь.

Боец влез в машину, осторожно взял девочку. Над вершинами леса небо уже синело, приближался рассвет.

— Поехали,— сказал майор.

Регулировщица покраснела, обдернула гимнастерку и тихо сказала, вертя в руках измятый листок бумаги:

— Разрешите обратиться, товарищ майор. Вот тут я адрес написала, свою полевую почту. Очень мне желательно знать, куда вы ее определите. Пусть мне напишут. Пожалуйста!

— Давайте,— сказал майор.— Значит, не хотите с ней навсегда расставаться?

— Не хочу, товарищ майор.

Машина тронулась. Над первой же просекой, заросшей высокой травой, мы увидели солнце. Белое и огромное, оно подымалось в синеватой утренней мгле. По просеке вели пленных немцев. Они сошли с узкой лесной дороги, чтобы дать дорогу машине. Злыми, тяжелыми глазами они смотрели на нас из-под стальных шлемов, а один из них, с редкими, будто выщипанными усиками, чуть заметно оскалился.

Шофер обернулся к бойцу и спросил:
— Сколько ты, говоришь, уничтожил?
— Семьдесят пять.
— Маловато, по-моему,— сказал шофер.
— Ничего,— пробормотал боец.— У меня с ними еще разговор будет. Автоматический.

1944

СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ

На рассвете всюду в избах одно и то же — и у нас, под Костромой, и на Украине, и в гуцульской деревушке у подножья Карпат. Пахнет кисловатым хлебом, вздыхает старик, бормочут в сенях сонные куры, торопливо тикают ходики.

Потом за окнами воздух начинает синеть, и по тому, как запотевают стекла, догадываешься, что во дворе, должно быть, весенний заморозок, ясность, роса на траве. Постепенно начинаешь различать черное распятье над дверью, баранью безрукавку на табурете, прикрытую выгоревшей фетровой шляпой, и вспоминаешь — да ведь это совсем не под Костромой, а на самой западной нашей границе, в Гуцулии. И синие глухие тучи, проступающие за оконцем, вовсе не тучи, а Карпатские горы. Далеко в горах, за лесом, за туманом, гремит протяжный пушечный выстрел. Начинается боевой день.

Выходишь умыться во двор. От холодной воды сразу исчезает ночная путаница в голове, и с ясностью вспоминаешь все, весь вчерашний день.

На поляне перед домом столько ромашки, что бойцы стесняются ходить по поляне, а обходят ее стороной. Среди поляны цветет одинокий куст шиповника. В утренней прохладе он пахнет сильнее, чем днем. Солнце еще за горами, но верхушки лесов на западных склонах уже зажигаются ржавчиной от его первых лучей.

В избе живет дед Игнат со своей внучкой Ганей. Дед очень стар и болен. Он бывший дровосек. Вот уже год, как дед не может удержать в руке тяжелый топор. «Слава богу,— говорит дед,— что достало у меня силы перекреститься, как увидел я русские пушки». До церкви и то деду дойти трудно. Его туда отводит Ганя. Дед становится на колени перед алтарем, убранным голубыми бумажными

цветами, его седые косматые волосы вздрагивают на голове, и он шепчет слова благодарности за хлеб, за то, что освободилась его «краина» от проклятых швабов и довелось ему, старому, увидеть еще одну весну в родной стране.

Страна эта прекрасна. Она закутана в светлый туман. Кажется, что этот туман возникает над ее мягкими холмами от дыхания первых трав, цветов и листьев, от распаханной земли и подпявшихся зеленей.

Маленькие радуги дрожат над шумящими мельничными колесами, брызжут водой на черные прибрежные ветлы.

Холмы сменяют друг друга, бегут от горизонта до горизонта. Они похожи на огромные волны из зелени и света. Небо такое чистое и плотное, что невольно хочется назвать его по старинному — небосводом. Солнце отливает желтизной. И с каждым вздохом втягиваешь целебный настой из сосновой коры и снега, что еще не всюду растаял на вершинах гор.

Только вчера мы заняли эту деревушку. Жители еще спасались по лесам от немцев. В деревне никого не было, кроме детей, старух и дряхлых стариков. Немцы засели вблизи, за ущельем, над единственной горной дорогой. Нужен был проводник, чтобы подняться по кручам выше немцев на скалу, носящую название Чешске Лоно. Только оттуда, сверху, можно было выбить немцев и очистить дорогу.

Вместо проводника к лейтенанту привели десятилетнюю девочку. Она была в новых постолах, в длинной бордовой юбке с белой каймой, в желтой безрукавке со множеством перламутровых пуговиц, и шелковом платке. Маленькая, празднично разодетая, она стояла, потупив глаза, и теребила край синего фартука.

— Неужели нет проводника постарше? — спросил озадаченный лейтенант.

Тогда старики, стоявшие рядом, переглянулись, сняли фетровые шляпы, почесали затылки и объяснили, что эта девочка — внучка знаменитого в их местах охотника и дровосека деда Игната и никто, к сожалению, лучше ее не знает дороги на Чешске Лоно. Знает, конечно, сам Игнат, но вот уже год, как он не ходит в горы — очень слаб.

Лейтенант с сомнением покачал головой.

— Доведешь, не заблудишься? — спросил он девочку.

— Ага! — ответила девочка и покраснела.

— Так, чтобы даже птица нас не заметила?

— Ага! — повторила девочка и покраснела сильнее.

— А ты не боишься? — строго спросил лейтенант.

Бойцы стояли вокруг, хмурились. Что это за провожатый! Несерьезный получается разговор.

Девочка не ответила. Она только подняла на лейтенанта большие серые глаза, улыбнулась и снова потупилась. Невольно улыбнулся и лейтенант. Заулыбались и бойцы. Никто не ожидал увидеть из-под темных ресниц этот счастливый и смущенный взгляд.

Все молчали. Только вихрастый мальчишка с бегающими глазами, высунувшись из-за плетня, сказал со страшной завистью: «Ух, Ганька!» Девочка насупилась. Бойцы оглянулись. Мальчишка спрятался. Старики качали головами: да, есть чему позавидовать, хлопчик. Действительно, есть чему позавидовать!

Девочка провела отряд на Чешске Лоно. Дорога была очищена от немцев. К вечеру девочка вернулась вместе с раненым бойцом Малеевым. Боец он был исправный, смелый, и никаких недостатков за ним не числилось, если не считать некоторой болтливости.

Вечером Малеев сидел около дома Игната на камне, пил молоко и, отставив забинтованную правую руку, беседовал со стариками. Старики слушали почтительно, ласково, но вряд ли что-нибудь понимали. Малеев был рязанский. Разговор у него с гуцулами получался не очень вразумительным.

— Ничего,— говорил Малеев,— наше начальство ее наградит. Беспрекословно! За шустрость и за смелость. За нами геройство не пропадет! Так что вы, граждане старики, в этом не сомневайтесь.

Старики улыбались, кивали головами.

— Начальство начальством,— говорил Малеев,— а вот бойцы больно девочке этой благодарны, не нахвалятся. И следовало бы ей от бойцов чего-нибудь преподнести за внимание. Только вот беда — не придумаешь чего. Сами знаете, у бойца в мешке неприкосновенный запас, а в подсумке патроны. А ей, видишь ли, куклу нужно или что-нибудь в этом смысле.

Малеев, излагая эти обстоятельства из жизни бойцов, хитро подмигивал, поглядывал на смущенную девочку, позванивал чем-то у себя в кармане, но никто не понял его тонких намеков.

В кармане у Малеева были спрятаны стеклянные бусы.

Их дал Малееву лейтенант и приказал наутро подарить Гане, но по возможности неожиданно. Не просто так, по-грубому, вынуть и сунуть в руку: «На мол, получай!» — а с некоторой деликатностью и таинственностью.

Малеев хорошо понял задание и с радостью взялся его выполнить, хотя считал это дело трудным и щекотливым.

Старики в темноте разошлись. Запылали над Карпатами звезды, сильнее зашумели водопады. Из вечерних лесов запахло сыростью, дикими травами.

Дед Игнат, Малеев и Ганя долго еще сидели около дома. Малеев притих. Ганя робко спросила:

— А у вас за Москвою такие речки, как наши? Или дуже другие?

— Другие,— ответил Малеев.— У вас хорошо, и у нас хорошо. Наши реки льются широкие, чистые, в цветах, в травах. Льются в далекие крымские моря. Плывут по тем рекам белые пароходы с красными шелковыми флагами, и горят-светятся по берегам бесчисленные наши города.

— И лес дуже другой? — спросила Ганя.

— И лес другой,— сказал Малеев.— Грибной лес у нас. На тыщи километров. Разный бывает гриб: боровик, подберезовик, рыжик. Живет в наших лесах мудрая птица дятел. Каждое дерево клювом долбит, пробует. Какое дерево сухостойное или с гнильцой, делает на нем отметины для лесников: руби, мол, не сомневайся!

Малеев замолчал. Ганя его больше ни о чем не спрашивала. Тогда Малеев не выдержал.

— А что ж ты про людей наших не спрашиваешь? — спросил он.— Какие они, наши люди?

— А людей я знаю,— ответила Ганя и улыбнулась.

— Вот правильно! — сказал Малеев.— Весело с тобой разговаривать.

Утром Малеев проснулся очень рано, вышел из дому, оглянулся, вытащил из кармана бусы, повесил их на плетень около дома, а сам спрятался за углом, стал ждать. Ганя пошла к речке за водой и на обратном пути должна была пройти около плетня. По расчетам Малеева, она должна была обязательно заметить бусы. Недаром Малеев долго дышал на них, тер о шинель. Бусы горели на солнце, как пригоршня алмазов!

На тропинке показалась Ганя. Малеев следил за ней, не спуская глаз.

Ганя увидела бусы, остановилась, заулыбалась, поставила на землю ведра, потом медленно пошла к плетню,

несмело протянув к бусам худенькую руку. Она подходила к плетню так осторожно, будто боялась спугнуть птицу.

Но вдруг она вскрикнула, схватилась за концы платка, повязанного на голове, и заплакала.

Малеев от удивления выскочил из-за угла и увидел вихрастого мальчишку. Он мчался вдоль плетня, зажав в руке блестящие бусы.

«Углядел!» — подумал Малеев и закричал страшным голосом:

— Брось! Тебе говорю, брось! Раскаешься!

Мальчишка оглянулся, швырнул бусы в траву и помчался еще быстрее.

Все случилось именно так, как не хотел лейтенант. Малеев подобрал бусы, подошел к плачущей Гане, сунул ей бусы в руку и, покраснев, пробормотал:

— Это тебе. Получай!

Вышло, конечно, грубо и без всякой таинственности, но Ганя подняла на Малеева такие заплаканные и благодарные глаза, что Малеев отступил и мог только сказать:

— Начальство, конечно, своим порядком... А это от нас.

Дед Игнат стоял на пороге, усмехался. Когда Малеев и Ганя подошли, дед взял у Гани бусы, позвенел ими на солнце, надел их на Ганину шею и сказал:

— Мониcто это краше золота. Эх, серденько мое, увидят твои ясные глаза счастье. С такими людьми — увидят!

Ганя поставила на траву ведра с водой и, потупившись, смотрела на бусы сияющими глазами. Вода качалась в ведрах, отражала солнце, светила снизу на бусы, и они горели на смуглой шее у девочки десятками маленьких огней.

1944

БРИЗ

Весь день шел дождь с холодным, порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая. Все было серое: небо, дым над крышами, самый воздух. Только асфальт блестел, как черная река.

К старому, одинокому доктору в большой дом на набережной Москвы-реки пришел молодой военный моряк. В 1942 году моряк был тяжело ранен во время осады Сева-

стополя и отправлен в тыл. Доктор долго лечил его, и в конце концов они подружились. Сейчас моряк приехал на несколько дней из Черноморского флота. Доктор пригласил моряка к себе на бутылку кахетинского и оставил ночевать.

В полночь радио сообщило о взятии нашими войсками Севастополя. Салют был назначен на час ночи — тот час, когда улицы Москвы совершенно пустеют.

Дожидаясь салюта, доктор и моряк беседовали, сидя в полутемном кабинете.

— Любопытно,— сказал доктор, допивая вино,— о чем думает человек, когда он тяжело ранен. Вот вы, например, о чем вы думали тогда под Севастополем?

— Я больше всего боялся потерять коробку от папирос «Казбек»,— ответил моряк.— Вы, конечно, знаете, там на этикетке нарисован Казбек, покрытый снегом. Ранило меня на рассвете. Было еще свежо после ночи, в тумане светило раннее солнце, надвигался знойный, тяжелый день. Я терял много крови, но думал об этой коробке и о снегах на Казбеке. Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение и мне будет легче дышать. А солнце все подымалось. Лежал я в тени от разрушенной ограды, и эта тень делалась с каждой минутой все меньше. Наконец солнце начало жечь мои ноги, потом руку, и я очень долго подымал эту руку и передвигал ее, чтобы закрыть ладонью глаза от света. Пока что я не чувствовал особенной боли. Но я твердо помню, что все время беспокоился из-за коробки «Казбека».

— Почему вы так боялись ее потерять?

— Да как вам сказать... Почти у всех новичков на фронте есть одна глупая привычка — на всем, что они таскают с собой, писать адреса родных. На чехлах от противогазов, полевых сумках, на подкладке пилоток. Все кажется, что тебя убьют и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно, проходит.

— Чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке? — спросил доктор и хитро прищурился.

Моряк покраснел и ничего не ответил.

— Ну, хорошо,— сказал поспешно доктор.— Оставим этот вопрос.

В это время в квартиру позвонили. Доктор вышел в переднюю, открыл дверь. Молодой женский голос сказал, задыхаясь, из темноты:

— Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?

— Ну конечно, можно! — ответил доктор.— Вы что? Бегом мчались с третьего этажа на восьмой? Сердце себе хотите испортить! Погасите свет,— сказал доктор моряку из передней,— и пойдемте на балкон. Только накиньте шинель. Дождь еще не прошел.

Моряк встал, погасил свет. В передней он поздоровался с незнакомой женщиной. Пальцы их столкнулись в темноте. Женщина ощупью нашла руку моряка и легко ее пожала.

Вышли на балкон. Пахло мокрыми железными крышами и осенью. Ранняя весна часто похожа на осень.

— Ну,— сказал доктор, ежась от дождя,— что же все-таки случилось с вашей коробкой «Казбека»?

— Когда я пришел в себя, коробка исчезла. Должно быть, ее выбросили санитары. Или сестра, которая меня перевязывала. Но вот что странно...

— Что?

— Та... то есть тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо о том, что я ранен. Сам я ему не писал.

— Ничего странного,— сказал доктор.— Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Но вы, кажется, склонны придавать ей преувеличенное значение.

— Нет, почему же? — смутился моряк.— Но, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным.

— Почему?

— Да,— знаете,— ответил, поколебавшись, моряк,— любовь — как бриз. Днем он дует с моря на берег, ночью — с берега на море. Не все же нас так преданно и терпеливо ждут, как нам бы хотелось.

— Однако,— заметил насмешливо доктор,— вы разговариваете, как заправский поэт.

— Боже мой! — воскликнула женщина.— Какой вы прозаический человек, доктор!

— Нет, позвольте! — вскипел доктор.

В это время багровым огнем вспыхнул первый залп. Пушечный гром прокатился над крышами. Сотни ракет полетели, шипя под дождем, в мутное небо. Они озарили город и Кремль разноцветным огнем. Ракеты отражались в асфальте.

На несколько мгновений город вырвался из темноты.

Появилось все то, что жильцы высокого дома видели каждый день: Кремль, широкие мосты, церкви и дома Замоскворечья.

Но все это было совсем другим, чем при свете дня. Кремль казался повисшим в воздухе и очень легким. Ускользающий блеск ракет и дождевой туман смягчили строгие линии его соборов, крепостных башен и колокольни Ивана Великого. Величественные здания потеряли тяжесть. Они возникали как вспышки света в пороховом дыму ракет. Они казались созданными из белого камня, освещенного изнутри розовым огнем.

Когда погасала очередная вспышка, гасли и здания, будто они сами являлись источником этого пульсирующего огня.

— Прямо феерия какая-то! — сказала женщина.— Жаль, что салют в двадцать четыре выстрела, а не в сто двадцать четыре.

Она помолчала и добавила:

— Севастополь! Помните, какая там очень-очень прозрачная и зеленая вода? Особенно под кормой пароходов. И запах поломанных взрывами сухих акаций.

— То есть как это «помните»? — сказал доктор.— Кого вы спрашиваете? Я в Севастополе не был.

Женщина ничего не ответила.

— Но я-то все это хорошо помню,— сказал моряк.— Вы были в Севастополе?

— Примерно тогда же, когда и вы,— ответила женщина.

Салют окончился. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась, пожаловалась на головную боль, попросила у доктора пирамидона и снова ушла, смущенно попрощавшись.

Ночью моряк проснулся, посмотрел за окна. Дождь прошел. В разрывах между туч горели звезды. «Меняется погода,— подумал моряк,— поэтому и не спится». Он снова задремал, но протяжный голос сказал совсем рядом: «Какая там очень-очень прозрачная вода!» — и моряк очнулся, открыл глаза. Никого в комнате, конечно, не было.

Он потянулся к коробке папирос на стуле. Она была пуста. Он вспомнил, что у него есть еще папиросы в кармане шинели. Моряк встал, накинул халат, висевший на спинке стула, вышел в переднюю, зажег свет. На столике около зеркала, на его морской фуражке лежала изорван-

ная и измятая коробка «Казбека». Большое черно пятно закрывало рисунок снежной горы.

Моряк, еще ничего не понимая, взял коробку и открыл ее,— папирос в ней не было. Но на крышке с внутренней стороны он увидел знакомый адрес, написанный его собственной рукой. «Откуда она здесь? — подумал моряк.— Неужели...» Почему-то испугавшись, он быстро погасил свет и, зажав коробку в руке, вернулся в комнату. До утра он уже не мог уснуть.

Утром моряк ничего не сказал доктору. Он долго брился, потом умывался холодной водой, и руки у него вздрагивали. «Глупо! — думал моряк.— Что за черт!»

Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. Окна стояли настежь. В них лилась ночная свежесть. Утро рождалось в сыром блеске недавнего дождя. В этом утре уже было предчувствие длинного лета, теплых ливней, прозрачных закатов, летящего под ноги липового цвета.

Моряк почему-то был уверен, что это утро и не могло быть иным. Тишина на рассвете, такая редкая в Москве, не успокаивала, а, наоборот, усиливала его волнение.

— Что, в самом деле, за черт! — сказал вполголоса моряк.— В конце концов бывают же в жизни и не такие случаи.

Он догадывался, что эта женщина работала, очевидно, сестрой в Севастополе, первая перевязала его, нашла коробку с адресом и написала письмо той, другой женщине, забывшей его так легко и быстро. А вчера она услышала его рассказ, узнала его и нарочно принесла эту коробку «Казбека».

«Да, но зачем она ее сберегла? И почему ничего не сказала? От молодости,— решил моряк.— Я же сам люблю всякие таинственные вещи. Надо обязательно зайти к ней и поблагодарить». Но тут же он понял, что понадобится отчаянная смелость, чтобы нажать кнопку звонка у ее дверей, и что он вряд ли на это решится.

Через час моряк вышел от доктора. Спускался он по лестнице очень медленно. На третьем этаже он остановился. На площадку выходило три двери.

Моряк с облегчением подумал, что он не спросил доктора, в какой квартире живет эта женщина и как ее зовут. Да и неловко об этом спрашивать. А теперь нельзя же

звонить подряд во все двери и спрашивать неизвестно кого!

В это время за одной из дверей моряк услышал знакомый голос. «Я вернусь через час, Маша,— сказал этот голос.— Я плохо спала эту ночь. Здесь очень душно. Пойду к реке».

Моряк понял, что вот сейчас, сию минуту она выйдет и застанет его на площадке. Он бросился к двери и с отчаянно бьющимся сердцем позвонил.

Дверь тотчас отворилась. За ней стояла вчерашняя женщина. Из двери дуло ветром. Он развевал легкое платье женщины, ее волосы.

Моряк молчал. Женщина вышла, захлопнула дверь, взяла его за руку и сказала:

— Пойдемте. Я провожу вас.

— Я хотел поблагодарить вас,— сказал моряк.— Вы спасли меня там... в Севастополе. И послали по этому адресу письмо...

— И, кажется, послала неудачно? — улыбнулась женщина.— Вы на меня не сердитесь?

Они спускались по лестнице. Женщина отпустила руку моряка, поправила волосы.

— За что? — спросил моряк.— Все это очень странно. И хорошо...

Женщина остановилась, заглянула ему в глаза.

— Не надо волноваться,— сказала она тихо.— Хотя что я говорю. Я сама волнуюсь не меньше вас.

Они вышли на набережную, остановились у чугунных перил. Кремль просвечивал розовыми стенами сквозь утреннюю мглу.

Женщина прикрыла рукой глаза и молчала. Моряк смотрел на ее руку и думал, что на этих вот пальцах была, наверное, его кровь. На этих тонких и милых пальцах.

Женщина, не отнимая руки от глаз, сказала:

— Никогда я не верила, что это бывает так... сразу. И что я увижу вас снова после Севастополя.

Моряк взял ее руку. Он поцеловал эту маленькую и сильную руку, не обращая внимания на прохожих. Прохожие шли мимо, как бы ничего не замечая. Только отойдя очень далеко, они украдкой оглядывались и смущенно улыбались.

1944

БАБУШКИН САД

С тех пор как отец Маши Никита ушел на войну, в старом саду около бабушкиного дома дорожки и грядки позарастали крепкими лопухами и укропом, а крапива встала такой густой стеной и так жглась, что Маша боялась к ней подойти.

Бабушка Серафима только вздыхала,— где уж ей, старой, справиться с такими непокорными травами, деревьями и кустами!

В непролазной траве весь день копошились и гудели шмели. Иногда они вырывались из травы, с размаху налетали на Машу, с треском ударяли в лицо и со звоном подымались вверх, выше скворечни,— радовались, что напугали Машу. Но радовались они напрасно — в вышине, где всегда летал пух от одуванчиков, шмелям приходил конец. Там их хватали на лету ловкие скворцы и тут же проглатывали. И ни один скворец даже не поперхнулся, хотя шмели были страшно мохнатые.

В бочке с дождевой водой у крыльца поселилась лягушка. Раньше из бочки брали воду поливать цветы, но теперь никто ее не брал, и вода была застоявшаяся — теплая и зеленая. Маша любила смотреть, как в этой воде шныряли какие-то водяные существа. Они были похожи на булавки с черными стеклянными головками. Такие булавки были воткнуты над бабушкиной кроватью в ковер.

Лягушка вылезала из бочки только вечером и сидела, отдуваясь, около крыльца, посматривала на скворцов. Она их боялась.

Скворцы постоянно дрались с галками, а успокоившись, рассаживались на ветвях вековой липы и начинали изображать пулеметный бой. От этого не только у лягушки, привыкшей к водяной своей тишине, но даже у бабушки разбаливалась голова. Бабушка выходила на крыльцо, стыдила скворцов, махала на них полотенцем.

Тогда скворцы перебирались повыше и, помолчав, начинали показывать, как дровосеки с натугой пилят деревья,— это было еще хуже, чем пулеметный бой.

Лягушка боялась еще квакши — маленького древесного лягушонка с пухлыми лапками. Он сидел на ветке, таращил глаза и молчал. Кричал он редко, только перед дождем. Тогда все в саду замолкало, и было слышно, как далеко за лесом погромыхивает небо.

Рыжий пес Буйный залезал в будку, долго вертелся,

умипал сено, вздыхал с огорчением — дождь был ему совершенно ненужен. Буйный был очепь застенчивый пес. При виде посторонних он тотчас лез в отдушину под домом, и оттуда его нельзя было выманить никакими силами. На все уговоры он только вилял хвостом и все дальше отползал в темноту.

Потом к бабушкиному саду стали подходить пемцы. Тогда пришел глухой старик Семен и выкопал в саду, за сиренью, большую яму.

Семен копал, ругался на немцев, говорил Маше: «Чем глядеть, как я себе плюю па руки, яму копаю, ты бы пошла помогла бабушке сундук уложить. Закопаем его, запрягу я завтра Чалого — и поедем в Пролысово».— «А потом?» — спрашивала Маша. «За Пролысово немец не пойдет,— отвечал Семен.— Там паши ребята стоят, дальше немцу пути пе будет».

Семен окончил копать, пошел к колодцу, вытащил ведро воды, хотел напиться, но почему-то раздумал, позвал бабушку Серафиму, показал ей на ведро и сказал: «Гляди! Значит, и впрямь пора уходить».

Бабушка посмотрела на воду и покачала головой. Вода из колодца всегда была чистая, как стекло, а сейчас в пей плавали гнилушки, древесная труха и даже маленький гриб. Маша ничего не попяла. Бабушка Серафима объяснила ей, что ночью земля тряслась и в воду со стенок колодца нападало много всякого мусора. А раз земля тряслась,— значит, где-то пеподалеку шел бой.

Вечером Семен закопал сундук с бабушкиными вещами: шалями, старым будильником, фотографиями, серебряными ложками и с самой любимой Машиной игрушкой — двумя большими деревянными петухами на дощечке. Один петух был черный, другой — красный, и оба они могли со стуком клевать зерно.

Наутро Семен приехал на Чалом, распряг его во дворе, привязал к телеге, пошел в комнаты — попрощаться с домом.

Но попрощаться ему пе пришлось.

Мимо дома густо пошли паши бойцы — все в касках, пыльные, загорелые, веселые. Семен вынес к калитке ведро воды. Маша принесла кружку.

Бойцы останавливались, вытирали потные лица, пили и рассказывали, что немецкий фронт этой ночью прорван и немцы отходят, бросают пушки и автоматы и что теперь — очень свободно — можно выкопать обратно сундук

и жить спокойно: нашу землю мы нипочем немцам не отдадим!

Бабушка Серафима все плакала, смотрела вслед бойцам на их выгоревшие, пыльные спины, крестила их, как когда-то крестила Машиного отца Никиту. Семен опять сердился, говорил: «Неправильное у вас понимание, Серафима Петровна. И от горя и от радости вы одинаково плачете. Никуда это, по-моему, не годится».

Потом над домом, над лесами начали летать самолеты. На них блестело солнце, и звон был такой, что шмели в саду перевернулись на спины и прикинулись мертвыми от страха,— Маша знала эту их шмелиную хитрость.

Скворцы собрались на самой верхушке липы, возились там, сбивали липовый цвет, задрав головы, смотрели на самолеты и перешептывались: «Да, да, наши! Да, да, наши!»

А на следующее утро во двор вошел боец с перевязанной рукой, сел на крылечке, снял каску и сказал:

— Разрешите передохнуть на солнышке раненому гвардейцу.

Бабушка позвала бойца в дом, к столу. Он прошел, осторожно гремя сапогами, по комнатам, и сразу же запахло хлебом, полынью и лекарством.

Боец все извинялся, что крошит на пол,— ему трудно было есть одной рукой.

Маша резала и подавала все, что надо, бойцу, а бабушка возилась с самоваром, достала темный мед в сотах, и боец, когда увидел мед, даже вздохнул всей грудью — ну и благодатный же мед!

Буйный стоял за порогом, смущенно смотрел то на бойца, то на крошки на полу, но не решался подобрать эти крошки, думал, должно быть, что это будет невежливо по отношению к бойцу.

После еды боец поблагодарил, снова вышел на крылечко, сел, закурил махорку. Синий дым поплыл над садом. Десятки паучков, что висели вниз головой на липе на своих паутинках, глотнув махорочного дыма, испуганно побежали вверх, сматывая паутину. Скворцы замолкли, смотрели на бойца то слева, то справа, потом начали смеяться, щелкать, пустили пулеметную очередь.

Боец заглянул в бочку, увидел шустрых булавочных зверей и лягушку, усмехнулся и сказал:

— Ишь животные — шмыг да шмыг! А бочка у вас хо-

рошая. Я сам и бондарь и ложечник из-под города Горького, с реки Неи.

— А что такое ложечник? — спросила Маша.

Тогда боец вынул из-за сапога деревянную ложку, показал Маше. От ложки пахло щами.

— Вот такие я ложки делаю,— сказал боец.— Режу из липы. А вот раскрашивать не могу. Раскрашивает их моя сестренка-трещотка, по имени Даша.

Бабушка жаловалась бойцу, что вот сад весь зарос, но боец этим не огорчился, а, наоборот, успокоил бабушку, сказал:

— Сад у вас даже очень приятный. Покуда ваш сын вернется с фронта, он, сад этот, пущай отдохнет. Земля и дерево тоже отдыхом нуждаются, скоплением сил.

На солнце было сонно, тепло. Из ступеньки на крылечке выступила липучая смола. Боец начал покачиваться, дремать. Бабушка хотела уложить его в комнате, на диване, но боец ни за что не согласился и попросил положить его, если возможно, на чердаке.

— Люблю спать на чердаках,— сказал он.— Иззябнешься, умаешься, а там сухо, от солнышка под крышей все нагрето,— в слуховое окошко ветер залетает. Благодать!

Маша провела бойца на чердак. Там было свалено сухое сено. Боец постелил на него шинель, лег. Тотчас из-за печной трубы вылетели тонкие осы и начали кружиться над бойцом. Маша испугалась.

— Они вам спать не дадут,— сказала она.— Ужалят.

— Меня оса не тронет,— ответил боец,— потому что по случаю ранения от меня лекарственный запах. А чтобы скорее уснуть, у меня есть свой способ.

— Какой? — спросила Маша.

— Листья буду считать,— ответил боец.— Вон на той липе за слуховым окном. Насчитаю до ста и усну.

Маша попрощалась с бойцом и начала осторожно спускаться по скрипучей лестнице с чердака. В разбитое слуховое окно сладко тянуло отцветающей липой.

Когда Маша остановилась внизу у лестницы, на чердаке уже слышался тихий храп, и осы успокоились, улетели за свою печную трубу.

Маша вышла в сад, посмотрела на липу и засмеялась — разве можно сосчитать все ее листья! Ведь их тысячи тысяч, их так много, что даже солнце не может пробиться через их гущину. Смешной этот боец!

1944

ПОДПАСОК

Роса была холодная, обильная — настоящая сентябрьская роса. Она брызгала в лицо с высокой травы, капала с деревьев в реку, и по темной воде расплывались медленные круги.

Я промок насквозь от этой росы и развел костер. Дым подымался к вершинам лиственниц и елей. Лиственницы уже облетели. Их хвоя — тонкая, как короткие золотые волосы, все время сыпалась сверху, хотя ветра и не было. На лиственнице около костра трещала какая-то птица. Казалось, что эта птица — здешний лесной парикмахер, что она стрижет хвою, щелкает ножницами, сыплет эту хвою вниз, мне на голову, на реку, на костер.

Я сушился и смотрел на реку. Желтые листья плыли островами, цеплялись за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, вырываться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и уплывали, то разгораясь, как золото, когда попадали на солнце, то погасая и чернея, когда на них падала тень от кустов.

На реке со времени боев с немцами остались брошенные переправы — плоты, заросшие кипреем и ольхой, и отдельные бревна, застрявшие на мели. Они пенили вокруг себя воду.

Кусты около костра затрещали. Из них высунулась мокрая коровья морда. Корова понюхала воздух, шумно вздохнула и кивнула мне белой головой с черным пятном на лбу. Тотчас где-то рядом щелкнул, как выстрел, кнут и кто-то крикнул:

— Куды, Параська! Куды залезла, чумовая?

Параська рванулась в сторону и, ломая кусты, исчезла. Из-за кустов вышел подпасок — обыкновенный подпасок, каких можно увидеть в каждой нашей деревне,— маленький, беловолосый, в большом картузе, в рваном ватнике и с длинным кнутом. Он тащил кнут за собой по мокрой траве.

Подпасок потянул носом, вытер его свисавшим до земли рукавом, поглядел на меня и сказал сиплым голосом:

— Почтение! Роса прямо заливает. Сил никаких нету.

— Иди, сушись! — предложил я.

— Это можно,— согласился подпасок, подошел и при-

сел на корточки около костра.— Вы что же, путешественник?

— Пожалуй что путешественник,— ответил я.

— А я пастух,— сказал мальчик.— Алексей Кудышкин. Работаю вместо отца. Он на фронте. Я, правда, ловчился попасть в конюхи, да председатель не взял. Говорит, что недомерок, ростом не вышел. Назначил Леньку. А какой Ленька конюх! Я его враз поборю, ежели всерьез схватиться. Высокий, а силы никакой нету. Потому что у человека вся сила в плечах, а у него плечи узкие, как у козла.

Мальчик помолчал, потом неожиданно спросил:

— Вы реку Миссисипи видели? В Америке.

— Нет, не видел. А что?

— Охота мне ее повидать. Говорят, широкая, поболе Волги. А в Сталинграде вы были?

— Бывал.

Мальчик улыбнулся:

— Папаня мой за Сталинград ранение и медаль получил. Он до войны был в нашем селе пастухом.

— Откуда ты знаешь про Миссисипи? — спросил я.

— Из школы. И от папани. Он все знал, каждую былинку. Как ее зовут, где она растет и какая от нее польза или вред. Все объяснит. Про нашу страну и про другие страны. Правда это, что есть алмазные горы, только они глубоко в землю ушли и, чтобы до них дорыться, надо копать сто лет машинами?

— Не знаю,— ответил я.— Что-то не слыхал я про такие горы.

— А папаня — так он слыхал! — сказал мальчик.— Он не путешественник, а все знал про путешествия. А про бутылки вы знаете?

— Про какие бутылки?

— Про почтовые.

— Нет, не знаю.

— Я вам сейчас объясню,— сказал мальчик.— Плывет, значит, путешественник на корабле. По большому океану. Матросы, конечно, бунтуют. Им неохота плавать. У них дома пища сытная, печь всю зиму топится, своя корова и огород, а вечерком можно сходить к соседу, сыграть в поддавки. А тут одна жара и вода — и ничего больше нету. Вот они забунтовали, ссадили того путешественника в лодку и пустили его одного в океан. А сами повернули паруса и возвращаются обратно. А путешественника

океан выбрасывает на необитаемый остров. Вы видели необитаемые острова?

— Нет,— ответил я.

— Да у нас на реке есть такие острова,— сказал мальчик; глаза его блестели и лицо раскраснелось от волнения.— На одном выдра живет. Так вот, выбрасывает его волна на необитаемый остров. Там только пальмы шумят да попугаи летают, каркают, и хорошо еще, если есть пресная вода. Вот он достает из лодки бутылку, пишет записку, что выбросило его на этот остров, закупоривает и кидает в океан. Ее несет течением, потом ее, конечно, подбирает команда с какого-нибудь парохода, дает радио, что вот требуется этому путешественнику немедленная выручка. И его спасают. А матросов судят потом адмиральским судом.

— За бунт?

— За бунт. И за бесчеловечность.

— Алешка! — закричал издали сердитый женский голос.— Куда ты подевался! Параська в капусту полезла.

— Здесь я! — закричал подпасок.— Сейчас выгоню.

Он встал, запахнул ватник.

— Вот вредная какая! — сказал он.— С целым стадом столько не намаешься, как с одной Параськой. Ну, прощайте.

Он побежал в кусты. Издалека послышались щелканье кнута, крик: «Куды, дьявол!» — и недовольное мычание коровы.

Я погасил костер и пошел вниз по реке. С каждым шагом она казалась загадочнее и живописней. То по крутым берегам серой стеной стояло осиновое мелколесье и на отдельных осинах висел желтый хмель, будто кто-то развесил сушить на солнце новые рогожи. То дуплистая ива лежала поперек реки, как мост, и около нее выскакивали из воды голавли. То река уходила торжественным поворотом в леса, золотые и синие от осени.

У берегов вода то струилась по перемытым пескам, то стояла глухими глубокими омутами. На краю омутов были неясно видны валявшиеся на дне мореные дубы. В одном месте открылся косогор, красный от кленов, а в зарослях кленов — старенькая часовня с заржавленным куполом.

На закате я вышел к проселочной дороге. Она шла вдоль берега. Снова на реке появились заросшие травой плоты. Издали они казались островами. Солнце садилось, и на одном плоту что-то нестерпимо блестело. Я вгляды-

вался, но никак не мог разобрать, что это блестит — консервная банка или осколок стекла.

Я осторожно перешел на плот по перекипутому бревну, нагнулся и увидел обыкновенную пивную бутылку. Вьюнок несколько раз обвился вокруг ее горлышка. Я поднял бутылку и посмотрел на свет. Она была запечатана воском. Внутри ее что-то белело. Это было письмо, сложенное треугольником.

Я отбил горлышко и вытащил письмо, но прочесть его не смог: оно было написано очень бледным карандашом, а сумерки так быстро сгущались, что уже нельзя было разобрать неровные строчки. Мне надо было торопиться, чтобы до полной темноты добраться до железной дороги. Из зарослей тянуло холодным запахом листьев. На полянах еще стоял неясный свет. Высоко в небе догорало багровым пламенем облако.

Поезд на Москву пришел ночью. После пустынных лесов, холодного воздуха и одиночества прокуренные шумные вагоны показались необыкновенно уютными. Я лег на верхнюю полку около фонаря, достал письмо и прочел его. Письмо было старое. Судя по дате, написанной почему-то особенно крупным почерком, оно пролежало в бутылке около двух лет.

«Здравствуй, папаня. Это тебе письмо от сына Алексея Кудышкина. Пока ты бьешься на фронте, мы живем ничего, дожидаемся твоего возвращения. Маманя работает пастухом, а я ей помогаю. Но охота мне быть конюхом. Потому что за коровами только смотри и смотри, а никаких наблюдений нету. На коне можно съездить куда хошь по делам, а у коров одна протоптана дорожка на Горелый луг да в Митину рощу. Там много не насмотришься. А мне охота все обсмотреть и все знать. Я бы к тебе в Сталинград доплыл от нас на плоту, да маманя не пустит. И, говорят, без пропуска на фронт тоже нельзя. Ты бы меня взял к себе патроны подносить или чего другое делать по военной части. Я бы управился. А ты бы нет-нет да и рассказал про разные разности,— ежели в бою будет передышка. Письмо это я посылаю в бутылке, как путешественник, потому что по почте мне посылать неинтересно. Наша река течет в Волгу, а по Волге бутылка наверняка доплывет. Какой-нибудь боец ее найдет, прочтет адрес и тебе доставит, ежели не потопит бутылку миной или пароход не ударит по ней колесом. Ребята говорят,

что Сталинград тянется на сорок восемь километров и на каждом шагу — бой! А еще я посылаю в бутылке потому, чтобы маманя не прочла, она, бывает, плачет по тебе и больно не любит, когда я или бабка ее слезы увидим. Так и знай. Ждем тебя целого и невредимого и вспоминаем каждый день. И потому остаюсь при сем любящий тебя сын Алексей.

Петька, мельников сын,— уже летчик. Говорят, пролетел над нашим селом, махал крыльями, только я не видел. В омуте у дубового пня такая сила язей, прямо страсть — бьют и день и ночь. А у деда Потапа, у охотника, лисица-дура унесла ночью из клети утиное чучело,— ошиблась. Дед ругался два дня. Отпиши мне ответ».

В Москве я был в большом затруднении — как быть с этим письмом? Адрес Алешкиного отца с тех пор, конечно, изменился. Пришлось прибегнуть к некоторому обману, чтобы не огорчить Алешу, и переслать письмо ему в деревню с припиской, что бутылка с этим письмом была замечена в Каспийском море, подобрана на борт командой парохода «Красноводск» и пересылается по обратному адресу, так как военные действия под Сталинградом давно закончились победой и адресат выбыл для дальнейших побед в западном направлении.

1944

ФЕНИНО СЧАСТЬЕ

Поезд отошел из Москвы ночью. В вагоне было тесно. Мы вышли отдышаться на темную площадку. Ущербный месяц летел, не отставая от поезда, над вершинами березового леса. Как всегда в сентябре, в дверь дуло горьким холодком — запахом речной воды и мокрых листьев.

На коротких остановках месяц останавливался вместе с поездом, и свет его, казалось, делался ярче,— должно быть, от наступавшей тишины. Только тяжело дышал паровоз да из вагона долетал детский плач — дети всегда плачут в ночных поездах.

На площадку вышла женщина в платке, с кошелкой. В спину ей сердитый женский голос сказал:

— Тут и так не продерешься, а она жестикулирует своей кошелкой! Размахалась, барыня!

— Оставьте вы меня со своим красноречием! — ответила молодым голосом женщина в платке и закрыла за собой дверь.

Мы ехали в эти места впервые. Поезд приходил на станцию поздно ночью, и никто из нас не знал дорогу. Я спросил женщину:

— Вы не знаете, как дойти до Бобылина?

— Заблудитесь,— ответила женщина.— Дорога лесная, обманчивая. Я сама иду до Суглинок, вас доведу. Одной мне тоже боязно идти ночью. А от Суглинок до Бобылина — всего три километра.

На станции было безлюдно. Горел среди ночи одинокий фонарь. В сенях темного дома, у переезда, захлопал крыльями и пропел петух.

Мы пошли по лесной дороге. Месяц опускался за лесом. Колеи, налитые недавним дождем, блестели в тени. Потом лес раздвинулся, и мы вышли в пойму реки Дубны. Вся она — с кромкой своих рощ и лесов, с дымными громадами седых ветел по берегам, с туманом, стлавшимся над излучинами, с крутоярами и игрою звезд над чащами — представлялась нам загадочной и давно желанной страной. Сами мы казались себе странниками, пробирающимися на какие-то далекие воды, где цветут, не отцветая, плакучие травы, и что ни день — то синева небес, солнце, паутина, летящая по ветру над пажитями...

— Вот,— сказал мой спутник,— люди мечтают о длинном лете. А я мечтаю о длинной осени — такой вот теплой, туманной.

Женщина засмеялась.

— Хорошо вы говорите,— сказала она.— Не только у вас, городских, а и у нас, деревенских, бывает такое желание. Иной раз народится такой день, что радости не оберешься. Каждый колос валяется на стерне, как литой. Подымешь его, а он теплый от солнца. И глядишь, какой-нибудь жучок запоздалый на нем сидит, греется, шевелит усами. В избе сухо, светло от сада,— сад дает от себя желтое излучение. Села бы у окошка и никуда бы не уходила. Глядела бы на калину в саду, думала бы... Осенью мельница наша водяная начинает работать, зерно перемалывать. Я на мельнице служу, мельнику помогаю. Мельница, верно, старая, но зря про нее говорят, что на ней только одному черту махорку молоть.

— А о чем бы вы думали у окошка? — спросил мой спутник.

Женщина долго молчала, потом ответила певучим голосом:

— О счастье людском. Это — наше назначение.

— Чье назначение?

— Женское.

— Неужто только женское?

— Нет, верно, всеобщее,— согласилась, подумав, женщина.— Только женщина более всего к этому предназначена.

— А вам случалось давать людям счастье? — спросил мой спутник.

Женщина снова засмеялась:

— Ох, это трудно! Сама не знаю. Может, и случалось. Для этого знаний у меня мало. Я ведь неученая. Была работницей на фарфоровой фабрике, бывшей Гарднера, а теперь мукомолю. Вот, слышите? — добавила она, явно желая переменить разговор.— Вода шумит на плотине. Около мельницы.

Мы остановились, прислушались. За темной стеной ракит, где небо уже зеленело от зари, монотонно падала вода. Этот шум — единственный звук в безмолвии ночи — утверждал непрерывное движение природы. Должно быть, каждый из нас подумал о лесных ручьях, бегущих под буреломом и сгнившей листвой, о том, как мерцают звезды в заводях Дубны, о белой пене, что плывет по черной запруде и кружится над ямами, где спят на дне рыбы. Поэтому мы оба — и я и мой спутник — позабыли спросить женщину, почему для того, чтобы приносить людям счастье, нужно много знаний. Это было нам непонятно.

Заря разгоралась, вся в туманах. Высоко вспыхнуло облако. Все пространство воздуха между этим облаком и краем земли наполнилось бледным и широким сиянием. Это солнечный свет охватывал и прогревал океаны сентябрьского воздуха над еще спящей и сумрачной страной. Но через полчаса земля начала одеваться в багрянец, в ржавчину сжатых полей, в сырую и яркую зелень озимой, в пурпур осиновых листьев и желтизну трепещущих без ветра берез.

— Вот и Суглинки! — сказала женщина.

Дорога шла вниз к реке, между вековых осокорей.

— Зайдите в избу, выпейте молока на дорогу,— попросила женщина.— У меня своей избы нету. Я живу у подруги — у Варвары. Мы с ней всю жизнь вместе.

Мы вошли в Суглинки — чистую и пустынную дерев-

ню, вымощенную торцами. Фуксии цвели за окнами. Далеко на току гудел барабан молотилки. Черная река огибала деревню дугой.

У порога избы на нас залаял белый пес с отрубленным хвостом. «Тузик!» — предостерегающе крикнул из избы мужской голос, и пес полез под крыльцо, где лежала примятая солома.

В избе за перегородкой кто-то возился, должно быть одевался. С потолка на длинной нитке свешивался шар из бумаги. Рыжий котенок с водянистыми глазами играл этим шаром, как футбольным мячом. Около печки шумел самовар.

— Ты, Феня? — спросил из-за перегородки молодой мужской голос.— А мать пошла на реку белье полоскать. Мы уж заждались. Думали, совсем тебя засосала Москва.

— Это Миша, Варварин сын,— шепотом сказала Феня.— Капитан артиллерии. Герой Советского Союза. Он ранен был тяжело, теперь поправляется.

Феня улыбнулась. Глаза у нее были серые, но когда она улыбалась, они темнели, поблескивали синевой.

Феня сняла платок, поправила русые волосы и ушла в погреб за молоком. Из-за перегородки вышел высокий человек в темных очках, в военном кителе. Он приветливо улыбнулся и назвал себя: «Капитан Рябинин». Золотая Звезда блестела на кителе, маленькая звезда и две нашивки за тяжелые ранения. Этот золотой блеск здесь, в чистой и небольшой избе, был как-то очень кстати — он вязался со спокойным осенним утром, с ясностью неба, со стоявшей окрест тишиной.

Когда мы выпили молоко и начали прощаться, капитан вызвался нас проводить до поворота на Бобылино.

— Только не взыщите,— сказал он,— я быстро ходить не могу. Не из-за ноги, а из-за глаз. Я недавно, собственно говоря, прозрел. Очень сложное было ранение глаз, и очень хитрая была операция. Полгода лежал в темноте, как в погребе. А теперь все вижу, но пока еще несколько туманно, конечно. Пойдемте!

По дороге капитан рассказал нам историю своей слепоты.

— Вот вы — пишущие люди,— сказал капитан,— но то, что я вам расскажу, описать, очевидно, никак невозможно. Не потому, конечно, что эта тема для вас непосильная, а потому, что я это вам толком объяснить не

смогу. Для этого нужно, должно быть, особое дарование. А я им не обладаю.

— Какая-нибудь сложная глазная операция? — спросил мой спутник.

— Нет. Это — своим порядком. Это как раз объяснить сравнительно легко. А тут все дело в Фене... Замечательная женщина наша Феня. Не на своем она, конечно, пути. Не тем делом занята.

— А что же ей следовало бы делать? — спросил я.

— Не знаю,— замялся капитан.— Не могу определить ее природное назначение. Что-то вроде вашего писательского дела. Во всяком случае, ее способности находятся где-то очень близко от него, можно сказать, совсем рядом.

— Любопытно! — заметил мой спутник.

— Еще бы! — согласился капитан.— Суть в том, что, когда я лежал в госпитале под Москвой, тетя Феня, конечно, ко мне приехала. Она у нас всеобщая сердобольница. А на вид — строгая женщина, никогда своей жалости не обнаруживает. Одинокая — живет не для себя, для других. Я тогда, сами представляете, был в трудном состоянии. Весь мир для меня пропал, и, как нарочно, мучили меня зрительные воспоминания. «Неужели, думал, никогда я не увижу ни солнца, ни воды, ни туч на небе, ни лиц любимых, человеческих?» Бывало, закричит кукушка за окном, а я сожму кулаки и ругаюсь,— кукушке завидовал. Сидит она на ветке, видит каждую песчинку на земле, а я, как крот, земля для меня — подземелье. И вот приехала Феня. Был я тогда неспокойный, капризный и все приставал: «Расскажи, Феня, что делается кругом на земле. Скучно мне очень». А она все боялась, как бы доктора не забранили ее, да и мне как бы от ее рассказов не сделалось тяжелее. Но все-таки я ее умолил. И начала она мне рассказывать. Обо всем. Глядит за окно и рассказывает все, что видит. «Вот, мол, за окнами озеро, и над ним от солнца стелется теплый туман. И в тумане этом идет белый буксирный пароход, светится издали медью и стеклами, тащит за собой баржи с березовыми дровами. По дровам бегает черная косматая собачонка, лает на чаек. На барже — избушка. На окнах в той избушке вазоны с геранью. И герань пышно цветет. Босая девушка в красном платье качает насосом воду из трюма. Вода льется за борт, а уклейки играют около падающей воды, ловят червяков, что недавно только мирно жили в трюме, питались березовой трухой. Девушка качает

воду, поет: «И кто его знает — на что намекает, на что намекает, на что намекает». Проплыла эта избушка на барже по великой Руси до самой Москвы».— «А еще что видишь?» — спрашиваю я Феню. «Вижу, говорит, как от озера по потолку твоей комнаты бегут зайчики. Всё догоняют друг друга и догнать не поспевают. Потолок сосновый, хорошо струганный, и то тут, то там вытекает из него смола. Мальчишкой ты эту смолу, должно быть, жевал?» — «Нет, говорю, я вишневую смолу жевал».— «Вишневая слаще,— говорит Феня.— Я завтра тебе принесу вишневой смолы». Так вот она мне рассказывала целые дни. И я всему верил. Очень успокаивался. И даже был счастлив. Жаль, что не было рядом никого, кто бы мог записать ее рассказы. Получилась бы книга. Только вот не знаю, как эту книгу следовало бы назвать.

— «Фенины сказки»,— сказал мой спутник.

— Нет, это не сказки,— уверенно возразил капитан.— Сильнее надо назвать. И правдивее.

— Ну, тогда «Фенино счастье».

— Тоже неверно. Не Фенино, а мое счастье,— снова возразил капитан.— Хотя, пожалуй, и Фенино,— добавил он.— Она была счастлива оттого, что доставила мне хоть немного успокоения.

Я вспомнил слова Фени о том, что она неученая и потому ей трудно доставлять людям счастье, рассказал об этом капитану и спросил:

— Как вы понимаете эти Фенины слова?

— Да тут, по-моему, и понимать нечего,— ответил капитан.— Все ясно.

— А вот нам не ясно.

— Видите ли,— сказал капитан,— каждый понимает счастье по-своему. У каждого оно свое. Но есть вещи, которые одинаково у всех людей вызывают подъем и чувство счастья.

— Какие?

— Ну хотя бы музыка. Или великолепные здания. Или картины. Я перед Нестеровым в Третьяковской галерее могу стоять часами. Вот об этом счастье Феня и говорила. Для того чтобы давать его людям, мало таланта. Нужны еще большие познания.

— А по-моему,— сказал мой спутник,— хватит иной раз и одного таланта. И Феня это доказала в случае с вами.

— Да, пожалуй,— ответил неуверенно капитан и

вдруг улыбнулся.— Да, пожалуй,— повторил он уже увереннее.— Одно только жаль, что все Фенины рассказы дальше Суглинок не идут, никто их не знает.

Капитан остановился, показал на серую крышу в лощине среди гущи ив.

— Видите,— сказал он,— крыша, а около нее, кажется, краснеет бузина. Это и есть бобылинская мельница. Я, может быть, к вечеру тоже туда приду, посижу с вами на реке. Там места удивительные!

Мы простились с капитаном и начали спускаться к реке среди зарослей бузины. Внизу уже светилась вода, шумела около мельницы, и из деревни тянуло дымком соломы — осенним русским дымком.

1944

РАССКАЗ О ЛИМОНЕ

Чистильщик сапог маленький Стась жил со своим дедом в литовском городке на берегу Немана.

Дед был очень старый. Он прожил так много лет, что все они перемешались у него в памяти, как колода карт, и дед никак не мог разобраться в своей прошлой жизни. Весь день он сидел у окна, набивал папиросы для заказчиков и бормотал:

— Когда же это было? До того, как Марыся посадила лимон? Или после?

Счет годам начинался от лимона. А лимону тоже было немало лет. Его посадила еще девочкой мать Стася. Сейчас лимон разросся в невысокое, но густое деревце с черными, покрытыми воском листьями. Листья эти пахли слабо и приятно. Дед ждал, когда лимон зацветет. И наконец он зацвел только одним белым цветком. Была весна, и над Неманом плыли, отражаясь в воде, разноцветные облака — то совсем белые, то розовые, то синие. От этого вода в Немане была тоже разноцветная и нарядная.

Цветок осыпался как раз в тот день, когда впервые на городок упали с неба черные немецкие бомбы. Но завязь осталась. Она начала медленно наливаться и превратилась в маленький — величиной с орех — лимон. Потом этот орех начал чуть-чуть золотеть, и тогда дед сказал Стасю:

— И не думай к нему прикасаться. Пусть он сам созреет и упадет.

— А на настоящих деревьях,— ответил Стась,— лимоны срывают.

— Так то на настоящих. А это дерево не настоящее. Оно волшебное.

Стась засмеялся,— он знал, что волшебных вещей не бывает.

— Я, когда был таким мальчишкой, как ты,— сердито сказал дед,— никогда не смеялся над сказками. Я их любил. Потому и прожил восемьдесят семь лет и еще могу зарабатывать себе на кусок хлеба.

— А чем же оно волшебное? — спросил Стась.

— Если его тронет злая рука,— оно высохнет, лимон сморщится и сок его сделается ядом.

— А если добрая? — спросил Стась.

— Тогда видно будет,— ответил уклончиво дед.— Не скажу. Не надо было смеяться. Бери ящик, ваксу, щетки и беги на свою Магистральную площадь. Чтобы у всех русских офицеров и солдат сапоги горели, как солнце, Слышишь?

Стась взял свой ящик и убежал. Посмеиваясь и болтая, он чистил сапоги шутливым русским бойцам, но чаще всего — каждый день — он чистил их высокой и веселой девушке с синими, как цветы литовского льна, глазами. Девушка эта стояла с винтовкой на соседнем перекрестке. Русские звали ее «регулировщицей», но у нее было настоящее имя — Настя, и Стась звал ее только по этому имени. Настя часто махала Стасю рукой со своего перекрестка и приносила ему по утрам хлеб, сахар и даже конфеты, где на обертке были нарисованы медвежата.

Но как-то ночью немецкий самолет промчался над городком, сбросил несколько бомб,— Стась даже не проснулся от взрывов,— и Настя исчезла. Вместо нее на перекрестке появился незнакомый боец. От него Стась узнал, что Настя ранена, лежит в лазарете, ей сделали очень тяжелую операцию, и неизвестно — выживет ли она или нет.

В этот день Стась не ответил ни на одну шутку бойцов, начищая им сапоги, и даже ни разу не поднял голову. Он только быстро и незаметно, размахивая щетками, проводил рукавом своей куртки по глазам. И снова чистил, чистил, пока блеск на сапогах не расплывался перед ним радужными мутными пятнами.

Вечером Стась закинул ящик на ремне за спину и пошел в лазарет. К Насте его не пустили. Но он слышал, как пожилая сестра говорила другой сестре, что для Насти

нужно непременно достать лимонный сок, а лимонов нигде нет и что Настя очень мучается.

Стась вышел из лазарета. С низкого неба падал снег — такой густой и крупный, что земля за каких-нибудь пять минут превратилась в снежное царство и сразу притихла.

Стась вернулся домой. В каморке было темно. Дед похрапывал на своей лежанке. Нежно пахло лимоном. К тому времени он уже совсем созрел и висел, тяжелый, среди легких листьев.

Стась подышал на лимон, погладил его и осторожно сорвал. Дед все всхрапывал,— должно быть, видел хорошие сны.

Стась вышел, побежал к лазарету. Он отдал лимон пожилой сестре, но ничего не мог ей ответить, когда она начала его расспрашивать, откуда он взял этот лимон,— только смущенно тер рукавом мокрое от снега лицо.

Потом Стась долго ходил по городку, боялся возвращаться к деду, даже плакал от страха и сильно дрожал,— лимонное дерево, наверное, высохло. Снег набивался Стасю за ворот, и трудно было вытаскивать ноги из голубых сугробов.

Только на рассвете Стась наконец вернулся. Дед спал. Стась вошел в каморку и тихонько вскрикнул,— за окном уже синела заря, чуть-чуть освещала каморку, и в свете этой зари цвело десятками белых цветов лимонное дерево. Цветы эти поблескивали, вздрагивали, и Стась увидел, что на каждом цветке светится капля чистой росы.

От сладкого запаха цветов у Стася закружилась голова, он крикнул: «Дед, смотри!» — сел на пол, и у него перед глазами понеслись в темноте какие-то огромные ледяные цветы, похожие на звезды, понеслись, переливаясь разноцветными огнями, пока наконец кто-то не встряхнул Стася за плечо и знакомый голос деда не сказал кому-то:

— Он, пане доктор, он угорел от этого цвета. Вся наша каморка сейчас пахнет, как райский сад. А лимона нет! Кто-то сорвал. Для доброго дела сорвал, пане. Доброй рукой притронулся к дереву человек,— оттого оно и цветет. Такое уж это дерево...

Стась, даже не открывая глаз, глубоко вздохнул и слышал только, как дед перенес его на кровать. Там он уснул крепко, без снов, как всегда спят люди после усталости и волнения.

В начале весны, когда лимонное дерево все еще цвело и радовало деда своим пышным цветом, пришла из лазарета худенькая Настя с синими, как цветы литовского льна, глазами, растрепала Стасю волосы, потом ласково их пригладила, отвернулась, вытерла глаза и тихо сказала, что у Стася — золотое сердце.

Так началась их дружба — на зависть всем, кто думает, что уже давно исчезли из нашей жизни сказки.

1944

МОЛИТВА МАДАМ БОВЭ

Все называли ее «мадам», даже водовоз Федор. По утрам он привозил на подмосковную дачу, где жила мадам, воду в большой зеленой бочке.

Мадам выходила из дому, чтобы помочь Федору перелить воду из бочки в кадушку, и выносила кусок хлеба старой водовозной кляче. Сонная кляча тотчас просыпалась, осторожно брала хлеб из руки у мадам теплыми губами, долго его жевала и кивала мадам головой.

— О-о! — смеялась мадам.— Она меня благодарит, эта старая лошадь.

Мадам не знала, что ее, Жанну Бовэ, кое-кто из соседей тоже называл «старой клячей».

Мадам была стара, но ходила и говорила так быстро и у нее были такие румяные щеки, что это обманывало окружающих, и ей давали меньше лет, чем было на самом деле.

Уже давно мадам жила в России, в чужих семьях, учила детей французскому языку, читала им нараспев басни Лафонтена, водила гулять и прививала хорошие манеры. В конце концов мадам почти забыла Нормандию, где когда-то росла голенастой девчонкой.

Когда немцы обошли с севера линию Мажино и вторглись во Францию, когда французская армия, преданная генералами, сдалась и пал Париж,— мадам не сказала ни слова. В это утро она только не вышла к чаю.

Дети — две девочки — вполголоса рассказывали родителям, что видели, как мадам стояла на коленях в своей комнате перед окном, выходившим в лес, и плакала.

В лесу кричали кукушки. Лес был густой. В его глубине на крик кукушек отзывалось эхо.

— Теперь она никогда не перестанет плакать,— сказала отцу старшая девочка с двумя выгоревшими от солнца косами.

— Почему?

— Потому что у нее нет больше Франции,— ответила девочка и начала теребить косу.

— Не расплетай косу,— ответил отец.— Франция будет.

Мадам спустилась из своей комнаты только к обеду. Она сидела за столом строгая, сухая. Губы ее были стиснуты, и румянец исчез с ее маленьких щек.

Никто не заговорил о Франции. Мадам тоже молчала.

На следующее лето Германия напала на Советский Союз. Немцы налетали на Москву. Тяжелые бомбы падали невдалеке от дачи.

В это трудное время мадам поражала всех своей суетливостью. С раннего утра до ночи она хлопотала, ездила в Москву за продуктами, стирала, штопала, готовила скудную пищу, шила ватники для солдат. И все время, возясь, работая, она напевала про себя французскую песенку: «Quand les lilas refleuriront».

— «Когда опять зацветет сирень»,— перевела слова этой песенки старшая девочка.— Почему вы все время поете эту песенку, мадам?

— О! — ответила мадам.— Это старая песенка. Когда надо было терпеть и ждать чего-нибудь очень долго, моя бедная мать говорила мне: «Ничего, Жанна, не горюй, это случится, когда опять зацветет сирень».

— А сейчас вы чего-нибудь ждете? — спросила девочка.

— Не спрашивай меня об этом,— ответила мадам и посмотрела на девочку строгими серыми глазами.— Ты поняла меня?

Девочка кивнула головой и убежала. С тех пор она, так же как и мадам, начала напевать о расцветающей сирени. Эта песенка ей нравилась.

Все чаще девочке мерещилась пышная весна, тихие утренние сады и заросли сирени над прудом. Quand les lilas... quand les lilas refleuriront... refleuriront...

Конец весны в 1944 году был теплый и свежий от частых и коротких дождей. В начале июня в саду около дачи зацвела сирень.

Ее холодные гроздья всегда были покрыты росой, и когда кто-нибудь нюхал сирень, все лицо у него дела-

лось мокрым. В лесу перекликались птицы. Всех веселила какая-то неизвестная птица, прозванная «часовщиком». «Трр-трр-трр!» — кричала она, и этот металлический крик был похож на звук, который бывает, когда заводят ключом стенные часы.

Но лучше всего были сумерки, когда пад сырыми березовыми рощами подымалась туманная луна. На вечернем небе виднелись тонкие тени плакучих ветвей. В сизом воздухе стояли над лесом облака и тлели слабым светом. А потом над огромной притихшей землей воцарялась ночь, до самых краев налитая прохладным воздухом и запахом воды.

Мадам укладывала детей спать, выходила в сад, садилась отдохнуть на скамейку около сирепи и прислушивалась. Долетал отдаленный шум дачных поездов, голоса людей, идущих по шоссе. Ничто вокруг не напоминало о войне, но война шла — тяжкая, суровая,— и, может быть, потому в то лето люди с особенной силой ощущали прелесть лесов, птичьего крика, неба, покрытого звездами.

Мадам впервые пошла этой весной в церковь, в соседнюю деревню. Был троицын день. Церковь была убрана березками. Каменный пол посыпали травой. Она была примята ногами и пахла печально и сладко — осенью, увяданьем.

Дряхлый священник служил с трудом, очень медлепно, и потому мадам многое поняла. Она вздохнула, когда священник читал молитву о «благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временах мирных». Когда придут эти времена для ее далекой-далекой, почти забытой страны?

Вечером в этот день мадам вышла в сад позже, чем всегда. Хозяйка дома уехала в Москву, и мадам пришлось работать больше обычного.

В саду было очень тихо. Луна бросала прозрачные тени.

Мадам сидела задумавшись, сложив на коленях руки. Потом она оглянулась, встала — кто-то бежал мимо дачи. Мадам подошла к калитке и увидела соседского мальчика Ваню.

— Иван! — окликнула мадам.

— Я из Москвы! — крикнул мальчик, пробегая мимо.— Вторжение началось! Сегодня утром. В Нормандию! Наконец-то!

— Как, как? — спросила мадам, но мальчик, не отвечая, побежал дальше.

Мадам сжала руки, быстро пошла к себе в комнату. В столовой сидел хозяин дома и, как всегда, читал книгу за стаканом остывшего чая.

Мадам на мгновение остановилась и сказала очень быстро, задыхаясь:

— Они высадились... у нас... в Нормандии. Я говорила... Quand les lilas refleuriront...

Хозяин швырнул книгу на стол, вскочил, дико посмотрел вслед мадам, взъерошил волосы, прошептал: «Вот здорово!» — и пошел на соседнюю дачу узнавать новости.

Вернулся он через час и остановился на пороге столовой. Комната была ярко освещена. Горели все лампы. На рояле пылали, дымя, восковые свечи. Круглый стол был накрыт тяжелой белоснежной скатертью. На ней черным стеклом блестели две бутылки шампанского.

И всюду — на столах, окнах, на рояле, на полу — громоздились в вазах, кувшинах, в тазах, даже в деревянном дубовом ведре груды сирени.

Мадам расставляла на столе бокалы. Пораженный хозяин смотрел на нее и молчал. Он не сразу узнал ее — свою старую мадам, всегда озабоченную, суетливую, с покрасневшими от работы руками — в этой тоненькой седой женщине в сером шелковом платье. Такие изящные, по старомодные платья хозяин видел только в детстве на балах и на семейных праздниках. Жемчужное ожерелье светилось на шелку, и черный веер с треском закрылся в руке мадам и повис на золотой цепочке, когда она, увидев хозяина, улыбнулась и вкрадчиво сказала:

— Простите, мосье, но я думаю, что по этому случаю можно разбудить на одну минуту девочек.

— Да... конечно! — пробормотал хозяин дома, еще ничего не понимая.

Мадам вышла, но запах тонких, должно быть парижских духов остался в комнате.

«Что же это? — подумал хозяин.— Блеск глаз, улыбка, свободный жест, которым мадам захлопнула веер! Откуда все это? Боже мой, как она, должно быть, была хороша в молодости! И это платье! Единственное платье, которое она надевала на единственный бал где-нибудь в Кане или Гранвиле. Никто в доме до сих пор не знал, что у мадам есть такое платье, и ожерелье, и веер, и эти духи. И где она прятала бутылки с шампанским?»

Сверху спустились девочки, удивленные, взволнован-

нью. Мадам быстро сошла за ними, села к роялю, поправила волосы и заиграла.

Да, хозяин угадал! Как всегда, у него начало холодеть под сердцем от этой звенящей томительной музыки:

Подымайтесь за родину!
День славы настал!

Хозяин слушал, откупоривая бутылку с шампанским. Девочки стояли среди столовой, прижавшись друг к другу, и смотрели на мадам сияющими глазами.

«К оружью, граждане!» — гремела «Марсельеза», заполняя дом, сад, казалось, весь лес, всю ночь.

Мадам плакала, закинув голову, закрыв глаза, не переставая играть.

Мерным громом пел рояль. Они идут! Они идут, дети Франции, сыновья и дочери прекрасной страны! Они подымаются из могил, великие французы, чтобы увидеть свободу, счастье и славу своей поруганной родины.

«К оружию, граждане!» Ветер Нормандии, Бургундии, Шампани и Лангедока сдувает слезы с их щек — слезы благодарности тем тысячам английских, русских и американских солдат, что смертью своею уничтожили смерть и вернули жизнь, отечество и честь благородному измученному народу.

Мадам перестала играть, обняла за плечи девочек и повела их к столу. Девочки прижимались к ней, гладили ее руки.

Хозяин дома сидел в кресле, прикрыв ладонью глаза, и так и выпил свой бокал шампанского, не отнимая ладони.

На рассвете старшая девочка проснулась, тихо встала, накинула платье и пошла в комнату к мадам.

Дверь была открыта. Мадам в сером шелковом платье стояла на коленях у открытого окна, прижавшись головой к подоконнику, положив на него руки, и что-то шептала.

Девочка прислушалась. Мадам шептала странные слова,— девочка не сразу догадалась, что это молитва.

— Святая дева Мария!— шептала мадам.— Святая дева Мария. Дай мне увидеть Францию, поцеловать порог родного дома и украсить цветами могилу моего милого Шарля. Святая дева Мария!

Девочка стояла неподвижно, слушала. За лесом подымалось солнце, и первые его лучи уже играли на золотой цепочке от веера, все еще висевшего на руке у мадам.

1944

БЕЛАЯ РАДУГА

> О, где она, горящая звездами,
> Холодная сияющая ночь!
>
> *С. Соловьев*

Художника Петрова призвали в армию на второй год войны в большом среднеазиатском городе. В этот город Петров был эвакуирован из Москвы.

К югу от города угрюмой стеной стоял хребет Алатау. Была ранняя зима. Снег уже засыпал вершины гор. В холодных домах по вечерам было тихо и темно,— только кое-где за окнами дрожали коптилки. Свет в городе выключали очень рано.

Ночью над облетевшими тополями подымалась луна, и тогда город казался зловещим от ее пронзительного света.

Петров жил в маленьком дощатом доме на берегу горного ручья, обегавшего по обочине город. Шум ручья никогда не менялся. По ночам Петров слушал его, лежа на полу на тонком тюфяке за хозяйским роялем. Переливалась через камни вода, и медленно, без конца жевал за стеной старый соседский верблюд.

Поезд отходил из города ночью. Около безлюдного вокзала шумели обледенелые вязы. Непроглядная азиатская ночь мела между вагонами сухим снегом.

Никто не провожал Петрова. Он не оставлял здесь ни друзей, ни воспоминаний — ничего, кроме ощущения своей остановившейся жизни. Петрову было немногим больше тридцати лет, но от бесприютности он чувствовал себя стариком.

Петров влез в вагон, втиснулся в угол, закурил. На площадке незнакомый боец прощался с молодой женщиной. Прислушавшись к словам женщины, Петров почувствовал непонятное облегчение от того, что она говорила бойцу «вы».

Это был голос низкий, чистый, открытый. Петров подумал, что на такой голос можно идти, как на далекий зов,— через пустыни, непроглядные ночи, ледяные перевалы,— идти, сбивая в кровь ноги, а когда не хватит сил, то упасть и ползти. Лишь бы увидеть, схватиться за косяк двери, сказать: «Вот... я пришел... Не прогоняйте меня». Есть голоса, как обещание счастья.

Когда поезд тронулся, Петров взглянул за окно. На платформе в светлой полосе фонаря он увидел молодую

женщину. Бледное лицо, улыбка, поднятая рука — и всё. На окна тотчас надвинулась ночь.

«Если задержитесь в Москве,— сказала напоследок женщина бойцу,— то позвоните Маше». И назвала номер телефона. Петров долго повторял про себя этот номер, потом, не доверяя памяти, записал его на воинском билете.

В дороге Петров часто смотрел за окно. В густые снега, в сизую даль уплывали вереницы телеграфных столбов. Среднеазиатский город все отдалялся, к нему уже не было возврата. Он становился воспоминанием — неясным и неправдоподобным, затерянным среди течения жизни, как теряется один прожитый день среди трехсот шестидесяти пяти дней длинного года.

Зима, весна и дождливое лето прошли в боях. Во время прорыва немецкой обороны под Витебском Петров был ранен в голову.

Три месяца он пролежал в лазарете. Из лазарета его решили послать в один из санаториев, чтобы он окреп после тяжелой раны. Петров попросил отправить его в среднеазиатский город, откуда его взяли в армию. Около этого города был небольшой горный санаторий.

— Голубчик,— сказал старший врач, щетинистый, седой, в мятых погонах,— опомнитесь! У вас месяц времени. Одна дорога туда и обратно отымет десять дней.

— Бывает, что один день дороже года,— возразил Петров.

— Ну, если так... Если у вас есть особые причины туда стремиться,— пробормотал врач,— тогда я только развожу руками. И соглашаюсь.

Ехать надо было через Москву. Поезд приходил в Москву в полночь, а из Москвы в среднеазиатский город уходил рано утром. В Москве предстояла томительная ночь на вокзале.

Петров начал волноваться еще задолго до Москвы, в сумерки, когда поезд, обдавая паром березовые рощи, мчался по смоленской земле. А вечером понеслись за окнами темные дачи, полосы снега, заиндевелые сады, Кунцево. Потом возникло слабое зарево полузатемненной Москвы, и наконец проплыли за окнами и остановились гулкие пустые платформы ночного Белорусского вокзала.

Елена Петровна погасила свет, подошла к окну, отодвинула занавес. От батареи отопления тянуло теплом. Над крышами Москвы лежала мутная ночь.

— Ну вот,— сказала Елена Петровна и прижала пальцы к бровям, так она делала, когда задумывалась.— Вот опять Москва после Средней Азии. Знакомая работа, подруги — все, как было раньше. Чего же ты хочешь?

— Чего же ты хочешь? — повторила она и замолчала. Слеза появилась в уголке глаза. Она не вытерла ее и пристально смотрела за окно. Свет фонаря на перекрестке сразу сделался колючим, как сусальная елочная звезда.

— Если бы знать, что это за таинственное счастье? В чем оно? Трудно быть все время одной, и видеть все — хотя бы эту ночь,— и думать обо всем, и никому не улыбаться, не положить руку на плечо, не сказать: «Посмотри, какой падает снег».

На столе осторожно зазвонил телефон. Елена Петровна взяла трубку. Мужской голос попросил позвать Машу.

— Маша уже здесь не живет,— ответила Елена Петровна.— А кто просит?

— Дело в том,— сказал, подумав, мужской голос,— что она меня не знает. Мне бесполезно называть свое имя.

— Странно! — насмешливо сказала Елена Петровна.

— Очень,— согласился мужской голос.— Я только что приехал с фронта...

— А что же ей все-таки передать? Вы не от ее брата? Он тоже на фронте.

— Нет, я не знаю ее брата,— ответил голос и замолк.

— Ну что же? Я жду,— сказала Елена Петровна.— Может быть, положить трубку?

— Нет, погодите! — сказал умоляюще голос.— Я в Москве от поезда до поезда. Звоню с Белорусского вокзала. Не знаю, дадут ли мне договорить. Тут очередь к автомату.

— Тогда говорите скорее.

Елена Петровна слушала, стоя у стола. Она нахмурилась, потом улыбнулась, протянула руку к окну,— на занавес с шумом полез, тараща глаза, серый котенок,— сказала: «Тише! Что с тобой!»

— Да нет, это я не вам говорю,— засмеялась она.— Это котенку. Я слушаю, хотя еще ничего не понимаю. Да, да. Правда, это странно. А может быть, и хорошо... Не знаю... Я все это помню: и вокзал, и ночь, и ветер. Только

не помню вас. Неужели по голосу? Какой же вы, однако, чудак. Когда вы уезжаете? Я не знаю, что и думать... Конечно, обидно. Тяжело ранены? В голову? Вы устанете там, на вокзале, до полусмерти. Нельзя вам ходить ночью по Москве! Нельзя! Вас задержат. Да, я слушаю. Говорите!

Разговор внезапно оборвался. Елена Петровна медленно положила трубку.

— Может быть, он позвонит опять,— сказала она, села в кресло около стола, нашла брошенную папиросу и жадно закурила.

Прошло четверть часа, потом полчаса, но никто не звонил. Часы пробили два.

— Нет! Это невозможно! — громко сказала Елена Петровна и вскочила.— Так я с ума сойду.

Она бросилась к шкафу, распахнула его. Котенок в испуге полез под диван. Елена Петровна порывисто достала черное платье, потом опрокинула духи. Котенок сидел под диваном, дрожал от охотничьего азарта и ловил растопыренной лапой то кружево, то легкий носовой платок, пролетавшие мимо. Эта игра ему нравилась, хотя он морщился и даже чихал от странного запаха этих вещей.

Когда Елена Петровна вышла из дому, часы пробили три. Москва спала в слабом свете фонарей и снега.

На Пушкинской площади Елену Петровну остановил патруль. Она показала патрульным свои документы, сказала, что ее муж, раненный на фронте, проезжает через Москву. Сейчас он на Белорусском вокзале, и она должна его увидеть. При слове «муж» Елена Петровна покраснела, но никто из бойцов этого не заметил.

Бойцы переминались, думали, потом старший сказал:

— Допустим, что это верно. Но Москва-то на военном положении, гражданка.

— У меня так мало осталось времени,— сказала с отчаянием Елена Петровна.

— То-то и оно! — пробормотал старший боец.— Было б у вас время, мы бы вас обязательно задержали. Это уж точно!

— А ну, Сидоров,— сказал он низенькому бойцу,— придержи машину.

Низенький боец остановил пустую легковую машину. Старший проверил документы у шофера, о чем-то поговорил с ним, обратился к Елене Петровне:

— Садитесь! Сидоров, доедешь с гражданкой до вокзала. Для проверки,— добавил он и улыбнулся.— И чтобы вас, между прочим, опять не задержали.

В зеленоватый вокзальный зал Елена Петровна вошла быстро, но тотчас задохнулась,— ей показалось, что у нее остановилось сердце. Если бы можно, она бы закрыла глаза, прислонилась к стене и так стояла, прислушиваясь, как далеко и тонко что-то звенит и звенит — может быть, огонь в вокзальной люстре, а может быть, кровь в ее висках.

На деревянных скамьях спали сидя утомленные люди. На дальней скамье сидел офицер, худой, с измученным лицом. На левом глазу у него была черная повязка.

Елена Петровна подошла к нему, сказала:

— Ну, вот...

Офицер быстро встал.

— Ну вот...— повторила Елена Петровна и улыбнулась.— А вы совсем такой, как я думала.

Зал качнулся, поплыл вкось. Петров поддержал Елену Петровну, усадил на скамью, откуда растерявшийся боец стаскивал вещевой мешок, чтобы Елене Петровне было удобнее.

Елена Петровна посмотрела на встревоженное лицо Петрова — милое, будто совсем знакомое лицо — и спросила вполголоса:

— Вы понимаете что-нибудь?

— Нет,— ответил Петров.— Да и нужно ли понимать?

— Пожалуй, правда, не нужно,— согласилась Елена Петровна и вздохнула.— Бедный, как я вас напугала. Руки совсем ледяные.

Она взяла холодные руки Петрова и начала отогревать их между своих ладоней.

— Это надолго...— сказала она как бы самой себе.

Петров молчал. В голосе Елены Петровны была и нежность и тревога, как тогда, в ту декабрьскую ночь на вокзале, когда ветер из пустыни нес сухой снег. Петров молчал, но ему казалось, что он уже очень много, почти все сказал Елене Петровне.

Среднеазиатский город встретил Петрова белизной снегов и огромным солнцем в чистом по-весеннему небе. Густой снег лежал на вековых деревьях, на оградах, даже

на телеграфных проводах. Широкие улицы сияли, как ущелья, прокопанные в снежных заносах,— зернистыми отвалами, сотнями белых искр. Это плавали в воздухе, не опускаясь на землю, плоские снеговые кристаллы.

Чистейшим синеватым льдом отсвечивали на город хребты Алатау. Иногда в горах срывались лавины, и над ними столбами подымалась белая пыль.

Ослики, семеня по улицам, потряхивали заиндевелыми ушами. Позванивала подо льдом в арыках вода и, как исполинские зимние розы, расцветали в палисадниках облепленные мохнатым снегом замерзшие цветы рудбекии.

Петров дышал и никак не мог надышаться. От зимнего воздуха даже болела голова.

С удивлением Петров думал, что этот город год назад казался ему угрюмым и зловещим. Но теперь упрямая память открывала в прошлом такие же светлые дни, такое же чистейшее небо, тот же запах мерзлой листвы, ту же тишину столетних садов. Раньше он не замечал этого. Почему? Может быть, потому, что был один и всегда один смотрел на все это. И не было рядом ни теплой руки, ни смеющихся глаз, ни низкого голоса.

Петров жил за городом, в санатории, среди высокогорной великолепной стужи, где, казалось, звезды на ночь замерзали и покрывались колким льдом.

Он жил в непрерывном и легком волнении. Волнение все нарастало, пока не превратилось в ощущение неправдоподобного и почти нестерпимого счастья, когда ему принесли телеграмму всего из трех слов: «Буду двадцатого встречайте».

После телеграммы все пошло как вихрь из снега, что не дает отдышаться, слепит, превращает мир в белую радугу.

Ночной вокзал, холод вздрогнувших милых губ, ее голос, ночная дорога в санаторий среди лесов из дикой яблони, шум водопадов, ливших тяжелую пену среди снега и бурелома. И голубые зарева звезд, медленно подымавшихся над горами своей вечной и ослепительной чредой. И воздух пустынь, гор, зимы, дувший им в лицо на обрыве, где они на минуту остановились, чтобы посмотреть на вершины, уходившие в неизмеримую ночь, сиявшие тусклым фирновым блеском. И слова Елены Петровны, сказанные тихо, почти с отчаянием:

— Это надолго, надолго... Может быть, навсегда.

1945

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Около этого эстонского городка Балтийское море никогда не замерзало. Во время бурь в домах был слышен грохот гальки, сбегавшей в море вслед за каждой отхлынувшей волной.

Войска давно ушли на запад, тесня огрызавшихся немцев. В городке остался небольшой отряд моряков. Он нес береговую охрану.

Один из офицеров этого отряда, лейтенант Луговой, поселился на окраине городка в брошенном доме на дюнах. Песчаные дюны заросли вереском и низкими соснами. Стояла поздняя холодная весна. С Балтики каждый день налетали шквалы с дождем, и у Лугового, должно быть, от сырости болела раненая рука.

— Собачий климат! — говорили, поругиваясь, матросы.

Но, как бы наперекор этому климату, за окнами соседского дома цвели гиацинты и еще какие-то белые цветы. Луговой удивлялся терпению людей, вырастивших такие цветы среди неприветливой здешней весны. Из соседского дома изредка выходила болезненная девушка-эстонка, хозяйка этих цветов, светловолосая, с белыми ресницами.

В конце апреля в отряд сообщили, что в городок приедет московская певица Наталья Самойлова и даст концерт для моряков отряда. Известие это принес Луговому младший лейтенант Осипов — обветренный, шумный, всегда чем-нибудь взволнованный офицер.

— Вы понимаете! — кричал он, не замечая, что Луговой морщится от его громкого голоса.— Она ездит со своими песнями только по маленьким, заброшенным черт знает куда отрядам. Вроде нашего. Вот молодец! И еще говорят, что она родом из цыганской семьи. Что вы морщитесь? Опять разболелась рука?

— Да... Немного. И к тому же вы так кричите.

— Да ну? — удивился Осипов.— Это я от чрезвычайных обстоятельств. Мне поручили встретить Самойлову и все устроить. Вы ее слышали когда-нибудь?

— Слышал.

— И она действительно цыганка?

— Откуда я знаю!

— Все радуются,— сказал с огорчением Осипов,— а вы один сердитесь.

— Я не сержусь. Просто мне нездоровится.

— Глотайте кофе,— посоветовал Осипов.

— А где она будет петь? — спросил Луговой.

— В городском театре.

— Но там же нет света!

— Хо-хо! — заносчиво ответил Осипов.— А для чего свечи? Она будет петь при свечах. Мы воскресим восемнадцатый век, товарищи флотские!

Осипов ушел. Луговой постоял у окна, посмотрел на море, покрытое пеной, на низкое небо, потом надел шинель и вышел. Но направился он не в сторону городка, а по дюнам вдоль берега.

Ветер гудел в мокрых соснах. Луговой видел, как на конце каждой сосновой иглы нарастала капля воды, потом отрывалась и падала в вереск. И так, капля за каплей, весь день, будто низкие сосны без конца роняли редкие слезы.

— Да...— сказал Луговой.— Странно все получается. Лучше мне не ходить на этот концерт.

Но тут же он подумал, что на концерт он пойдет во что бы то ни стало. «Сяду в последнем ряду. При свечах никто меня не заметит». Луговой спустился на берег и долго стоял, глядя, как Балтика несет к берегам зеленый и мутный вал.

Самойлова вошла в холодную комнату гостиницы, села, не раздеваясь, в кресло, достала папиросу, закурила. Монотонно шумел шторм и пела печная труба.

Все вокруг нравилось Самойловой, она впервые попала на это побережье. Нравились маленькие дома, гром моря, темное небо, запах сосен и дыма, очень чистые и холодные комнаты с такими же очень чистыми и холодными полотенцами, одеялами, с холодной водой в белых эмалированных кувшинах.

Вошла горничная, болезненная девушка-эстонка, и поставила в стакан на столе несколько синих гиацинтов.

— Откуда здесь свежие гиацинты?

Девушка только улыбнулась в ответ, очевидно, не поняла Самойлову, присела у печки и начала накладывать в нее дрова.

Затрещал огонь, потянуло теплом. Самойлова сняла шубу, боты. Девушка, помогая ей, с интересом разглядывала эту молодую женщину с веселыми зеленоватыми глазами, говорившую низким голосом.

— Хорошо у вас! — сказала Самойлова, разбирая чемодан.— Я хотела бы жить здесь долго-долго...

— Хорошо! — кивала головой девушка и улыбалась.— Да, да, хорошо!

Когда девушка ушла, Самойлова села к столу, оперлась головой на ладони и так сидела долго, не двигаясь.

— Завтра Первое мая,— произнесла наконец Самойлова и подняла голову,— а я опять одна-одинешенька. Плохо!

В дверь постучали. Вошел Осипов. Он сказал, что все в порядке, рояль настроен, аккомпанировать будет их лучший пианист, старшина Бугачев, а зрительный зал в одно мгновение нагреется дыханием взволнованных слушателей.

— Кстати,— заметил Осипов,— вы принесли удачу. Барометр пошел вверх. Праздник мы, кажется, встретим при ясном небе.

Он помолчал.

— Вы не откажетесь встретить канун праздника с нами? Вечером, после концерта.

— Конечно. Я ведь совершенно одна.

— Будет просто, по-военному. Зато дом, где мы собираемся, очень уютный и даже таинственный. Маленький дом на дюнах за городом. Со всех сторон ветер. Там живет наш лейтенант Луговой.

— Он здесь? — быстро спросила Самойлова, подошла к Осипову и взяла его за руку. Румянец выступил пятнами на ее щеках.

— Да, здесь,— ответил, смутившись, Осипов. Он не знал, что делать со своими руками.

Самойлова крепко пожала их, отпустила, достала из коробки папиросу, сломала ее, достала другую. Осипов зажег спичку, но Самойлова дунула на нее, погасила, отбросила папиросу, сказала вполголоса:

— Сейчас не могу. Не надо.

Пальцы у нее дрожали.

— Если можно,— сказала она умоляюще, не глядя на Осипова,— не говорите Луговому об этом.

— О чем?

Самойлова молчала.

— О празднике вместе с вами? — осторожно спросил Осипов.

— Да.

— Есть! — ответил Осипов.

— Боже мой! — прошептала Самойлова, помолчав.— Как я глупо себя веду! Извините.

Осипов растерянно попрощался и вышел. В коридоре он закурил, долго смотрел на огонек спички, пока не обжег пальцы, покачал головой, сказал: «Вот и пойми!» — и начал спускаться с лестницы. Светловолосая девушка подымалась навстречу с кувшином горячей воды. Осипов посторонился, сказал:

— Сегодня мы покупаем у вас все ваши цветы, Марта.

— О-о! — ответила девушка.— Спасибо. Но зачем столько? Праздник?

— Все сразу,— сказал Осипов.— И праздник, и концерт, и еще... Одним словом, мы покупаем все цветы. Я пришлю за ними перед вечером.

Он ушел. Марта, удивленно подняв брови, смотрела за стеклянную дверь, где исчез этот веселый моряк в черной шинели.

...Самойлова быстро вышла на сцену и остановилась у рампы. От дуновения, поднятого ее белым шелковым платьем, вздрогнули и разлетелись в стороны язычки свечей. Потом они снова поднялись кверху, треща и разгораясь. При их желтоватом огне Самойлова быстро окинула зал темными взволнованными глазами, но не увидела ни одного знакомого лица, кроме Осипова. Неужели он не пришел! Неужели все, что случилось, нельзя исправить! Но что случилось? Ошибка, обида, глупое сплетение обстоятельств.

— Не знаю! Ничего не знаю! — сказала про себя Самойлова, наклонилась и взяла букет цветов — его подал ей из первого ряда седой моряк, начальник отряда. Она улыбнулась, снова подняла глаза и тут только ощутила всю несбыточность и прелесть окружающей ее обстановки.

Свечи оплывали. Их пламя перебегало, качалось, играло в прятки с темнотой, гнездившейся в глубине зала среди красного бархата и пыльного хрусталя на люстрах.

Обветренные лица смотрели на Самойлову с гордостью. Этого она никогда не замечала среди московских зрителей.

Доносился глухой рокот моря. Слабый ветер из-за кулис шевелил складки ее платья. Там, снаружи, ветер сдвинул наконец тяжелое, облачное небо и уносил его на север, открывая над головой океаны зеленоватого вечернего света.

И наконец, ее волновало радостное и вместе с тем немного горькое сознание, что где-то здесь, рядом живет

человек, которого она полюбила так давно, потом потеряла, но не переставала искать, сама себе не признаваясь в этом, все годы войны. Самойлова кивнула краснофлотцу за роялем. Зал затих.

* * *

Луговой, прежде чем войти в театр, обошел весь городок. Он решил прийти незаметно в середине концерта. Бродя без цели по улицам, он испытывал нестерпимую тоску. Все время ему казалось, что он уже опоздал, что концерт сейчас окончится. Тогда он ускорял шаги, но тотчас останавливался и заставлял себя вспоминать прошлое, как бы надеясь, что снова поднимется боль былой обиды, что возмутится вся его гордость и это оградит его от напрасных мучений.

Но странно: прошлое уже не вызывало ни горечи, ни обиды. Да, он любил ее, и это была совсем иная любовь. Она наполняла жизнь свежестью, блеском, будто в душе начинался еще туманный, но великолепный рассвет. Они редко встречались, но каждая встреча приближалась, как буря, со смятением чувств, трепетом, незначащими и милыми словами, а каждое расставание было полно печали, тревоги: ее глаза умоляли не забывать, скорее вернуться, думать о ней. И потом — этот глупый конец. Он ушел — и все. Ведь они ничем не были связаны.

Луговой вошел наконец в театр. Гремели аплодисменты. Он отодвинул тяжелую портьеру и сел в первое попавшееся кресло. Перед ним были широкие спины матросов.

Луговой опустил глаза, чтобы не видеть Самойловой. Он только слушал голос и узнавал в нем былую тревогу, вкрадчивость, какую-то звенящую грусть.

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Следы ли слез, улыбку ль замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской,
Встречали вы?..

Сожаление о потерянных днях сжало сердце с такой силой, что Луговой едва удержался, чтобы не застонать. Он встал и быстро вышел. На пороге он оглянулся,— около рояля, как бы вся пронизанная теплым светом, стояла она, бледная, прекрасная, как всегда.

Луговой вернулся в свой дом на дюнах. Стол был накрыт к вечеру. Луговой погасил свет и долго стоял среди комнаты, не снимая шинели.

* * *

Из театра Самойлова вышла с несколькими офицерами. Море утихло и только изредка глухо вздыхало.

Начальник отряда извинился, сказав, что придет позже, а сейчас у него дела, и ушел. С ним вместе ушли под тем же предлогом еще два офицера.

Потом рыжеватый молчаливый офицер спохватился, что он забыл захватить из дому бутылку коньяка, и ушел за этой бутылкой.

Когда подходили к городской заставе, Осипов заволновался, что может не хватить стаканов, и попросил молоденького лейтенанта с застенчивыми глазами сбегать за стаканами. Лейтенант согласился без всяких возражений. Осипов остался один с Самойловой. Они шли молча.

— Вот черт! — вдруг сказал Осипов.— Извините, это у меня сорвалось. Плохая привычка.

— А что?

— Телеграмму забыл отправить отцу. Поздравительную. Наша старая семейная традиция.

Он посмотрел на часы на руке. Циферблат у часов светился.

— Еще успею. Мы, кстати, дошли. Вон, видите,— маленький дом? И крыльцо? Это там.

И тут же, выдавая себя с головой, он добавил:

— Если вы боитесь, я подожду здесь, пока вам не откроют.

— Идите! — ответила Самойлова и даже не улыбнулась.

Осипов отошел. Но за первой же сосной он остановился и стоял до тех пор, пока не увидел, как Самойлова поднялась на крыльцо, села на скамейку и прижалась лбом к деревянным перилам. Так она просидела несколько минут, потом порывисто встала и постучала в дверь. Осипов быстро зашагал подальше от дома,— прямо по вереску среди низких сосен.

Самойлова постучала в дверь очень тихо. Тотчас мужской голос ответил: «Войдите!» Она открыла дверь, остановилась на пороге, схватилась за косяк. Луговой отступил. Он видел только ее полные слез глаза.

— Коля, милый,— сказала Самойлова.— Ничего, ничего не было тогда. Зачем же вы?..

Она не договорила. Голос у нее сорвался. Луговой поддержал ее, а она обхватила его шею и начала бессильно

опускаться. Он осторожно усадил ее в кресло и смотрел на ее холодное бледное лицо.

— Я хочу только одного,— сказал он глухо.— Прощения.

— Я нашла вас... пришла... значит, простила... совсем-совсем простила,— сказала Самойлова и слабо улыбнулась.— Как здесь душно! Выйдем на крыльцо.

Они вышли на крыльцо. Самойлова обняла Лугового за плечи, слышала, как он дрожит, и тихо, почти беззвучно говорила:

— Ну, успокойтесь. Все теперь так хорошо, чудесно. Я всегда буду с вами. Всегда!

Тускло поблескивало море. За облаками едва заметно пробивалась луна, и мглистая голубизна ночи простиралась вокруг в глубоком, непривычном молчании. Только издалека доносились голоса офицеров,— они шли со всех сторон к дому на дюнах, смеясь и перекликаясь.

1945

ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ

В На́волоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто,— горел только один фонарь.

«Где же город? — подумал Кузьмин.— Тьма, дождь — черт знает что!»

Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.

— Часа три,— ответил помощник.— Смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача! — вздохнул помощник.— Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурую лошадь, кривую извозчичью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель,— громко сказал Кузьмин,— царство божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем,— согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далеко,— забеспокоился извозчик.— На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.

— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю,— извозчик живо обернулся.— К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний...

Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри,— посоветовал Кузьмин.— Не оглядывайся.

— Дорога действительно...— пробормотал извозчик.— Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше»,— подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск,— подумал Кузьмин.— От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж,— сообразил извозчик.— А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь.— Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью,— подумал Кузьмин.— Почему Башилов — его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!»

Башилов был высокий, насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намеками, шутками,— и высмеянный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и сморкался. «Может быть, он и не такой уж сухарь,— подумал Кузьмин.— Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек,— ответил Башилов.— Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф,— ответил Кузьмин.— А топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги,— неопределенно ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты,— насмешливо продекламировал Башилов,— кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на город дождевая туча.

— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина.— Всему. Даже вашей руке.

— Ничего не понимаю,— сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.

— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин.— Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена! — резко ответил Башилов.— Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините,— пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов.— Она — всё! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

— Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекая с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань...

— Это можно,— тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».

Началась булыжная мостовая. Пролетка затряслась, задребезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатились по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел о том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом,— так и жизнь пройдет»,— почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на паромах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же случайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто не дал бы ему больше тридцати лет.

Пролетка въехала наконец в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он.— Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.

Пролетка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали! — сказал извозчик.— Звонок у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка

и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо,— никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик.— Ночь дождливая — самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.

— Отворяй, Марфа,— сказал он.— К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос.— Мы никого не ждем.

— Не ждете, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью.— Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.

— Тут ступеньки,— предупредила женщина уже другим, ласковым голосом.— Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу,— у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнат тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, помурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте,— сказала женщина.

Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется,— улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое бывает всегда, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

> И невозможное возможно,
> Дорога дальняя легка,
> Когда блеснет в дали дорожной
> Мгновенный взор из-под платка...

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так здесь все старомодно, знакомо и давно позабыто.

Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться тут и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока. И черная женская маленькая шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в ни-

колевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучившая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините,— сказала женщина и протянула Кузьмину руку.— Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим! — сказала она.— Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно,— сказала женщина.— Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закурила, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же однотонно шумел дождь.

— Марфуша,— сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери.— Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин.— Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что... о вашем муже.

— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветок ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки.— Он жив — и я рада.

Кузьмин молчал.

— Не торопитесь,— просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна.— Гудки мы услышим. Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок,— сказала из соседней комнаты Марфа,— перекат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда,— подтвердила Ольга Андреевна.— Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?

— Вот этого я не знаю,— улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привез,— сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой.— Хоть чайку попейте. А то что же — из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старинные чашки с золотыми ободками, кувшин с топленым молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока что работает в Наволоках, в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она наконец спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже»,— подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение

и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов, Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф,— я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает,— строго, подавшись вперед, ожидая ответа.

Но Кузьмин молчал.

— Но все же, что хорошо? — опять спросила она.

— Как вам сказать,— ответил, раздумывая, Кузьмин.— Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?

— Не очень,— ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить,— сказал Кузьмин, сердясь на себя.— С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Я в жизни,— сказал Кузьмин и покраснел, как обычно краснел, когда ему случалось говорить о себе,— всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Почему? — спросила она.

— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастливое и необыкновенное. Потом вылечился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой? — спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход,— продолжал Кузьмин.— Деревни на берегах, пристани. И очертевшее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуюсь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспать. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.

— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.

— Так...— спохватился Кузьмин.— Вообще хорошо.

Он замолчал.

— Что же вы? Говорите!

— О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.

— Обо всем,— ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов.— О чем хотите,— добавила она.— Хотя все это немного странно.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.

— Что странно? — спросил Кузьмин.

— Все дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась.— Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор,— разве это не странно?

Кузьмин смущенно молчал.

В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.

— Ну, что ж,— как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна.— Вот и гудок!

Кузьмин встал. Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите,— сказала она спокойно.— Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.

Ольга Андреевна встала В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по темной улице.

— Скоро рассвет,— сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно? — встревожился он.— Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.

— Нет, не зря,— коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождевые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна.— Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретилась ему на

пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила: «Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.

— Попрощаемся здесь,— сказала Ольга Андреевна.— Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно...» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, па лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.

1945

ПУСТАЯ ДАЧА

Зенитная батарея стояла в лесу, за оврагом, и девушки-зенитчицы по нескольку раз за день приходили в усадьбу к писателю Архипову брать воду из колодца. Иногда вместе с девушками приходил худой боец в вылинявшей пилотке.

На дачах было пусто. Все уже перебрались в город. Дни стояли серые, сухие. Подмерзшие листья слетали с дере-

вьев. Изредка слабое солнце пробивалось сквозь облака. Тогда окрестная земля с ее прозрачными рощами загоралась мглистым желтоватым огнем.

Архипов жил на даче один — здесь, за городом, ему было легче работать.

Работа затягивалась. Архипов никак не мог окончить рассказ. Давно было пора поставить последнюю точку, но ему хотелось писать все дальше и дальше. Он писал о том времени, что придет на смену войне. Каким будет это время? Что нужно человеку, пережившему самую жестокую в мире борьбу? Покой? Забвение? Или огромная моральная сила, чтобы вернуть потерянное, чтобы взять на плечи героический труд восстановления?

Каждый пустяк вокруг напоминал Архипову, что жизнь хороша,— был ли то протяжный гудок паровоза за лесом, солнечный луч на пыльных стеклах террасы, звон самолета в туманной вышине или порыв ветра в деревьях. Он возникал внезапно и так же внезапно сменялся такой тишиной, что было слышно, как внизу в прихожей тикают ходики. Все это Архипову хотелось обязательно вставить в рассказ. От этого рассказ разбухал, терял строгую форму. Надо было прочесть его кому-нибудь со стороны, посоветоваться, но никого вокруг не было.

«Поеду завтра в Москву,— решил однажды Архипов.— Прочту друзьям. Что за работа — в безвоздушном пространстве!»

На следующее утро зенитчицы уронили в колодец ведро. Они позвали бойца в вылинявшей пилотке. Он принес шест, начал доставать ведро, а девушки с опаской посматривали на мезонин, где, как они знали, живет пожилой и молчаливый человек — писатель.

Архипов вышел, чтобы помочь бойцу вытащить ведро. Увидев его, девушки густо покраснели. Низенькая, с серыми испуганными глазами, даже застонала:

— Ах, господи боже мой! Вот наделали вам беды! Ах, господи!

А высокая, черная, строго сказала бойцу, не глядя от смущения на Архипова:

— Давай шест! Ковыряешь без толку. Только воду мутишь.

— Было бы вам ведро не ронять,— ответил боец и вытер рукавом потное лицо.— Вертите ворот, как обезьяны, а в итоге получается петрушка. Покурить у вас нету, товарищ?

— Табак у меня на даче,— ответил Архипов.— Пойдемте.

Они пошли с бойцом на дачу. По дороге Архипов спросил бойца, был ли тот на фронте.

— Известно, был,— ответил боец.

— Ну как там? — спросил Архипов, и тут же ему стало неловко за этот шаблонный вопрос.

— Известно как,— ответил боец.— Сражаются.

Боец остановился на пороге комнаты и отказался двинуться дальше, ссылаясь на грязные сапоги. Он свернул папиросу, затянулся и, прищурившись, поглядел на книжные полки.

— Брема у вас нету? — спросил он.— Три тома?

— К сожалению, здесь нету.

— Ну, на нет и суда нет,— вздохнул боец и добавил с некоторым укором: — А поглядишь, так книг у вас — целые сотни.

Боец был, видимо, недоволен. Ушел он равнодушно, ничего не рассматривал, как будто дом, где нет Брема, был самым скучным местом на свете.

Тотчас после бойца пришла низенькая девушка — должно быть, боец рассказал ей про книги. Она робко попросила у Архипова «что-нибудь Тургенева». Архипов достал с полки «Вешние воды». Девушка открыла первую страницу, прочитала эпиграф и усмехнулась.

> Веселые годы,
> Счастливые дни —
> Как вешние воды
> Промчались они!

— Очень даже хорошо,— сказала она.— Это печальное?

— Да, пожалуй. Может быть, хотите веселое?

— Нет, предпочитаю печальное,— твердо ответила девушка.

В тот же день к вечеру пришла и высокая девушка. Она говорила коротко, строго и попросила у Архипова стихи. Он дал ей «Русскую музу».

— А вашего ничего нет? — спросила высокая девушка.— Я читала. Только давно.

Архипов ответил, что на даче книг его нет. Есть только рукопись неоконченного рассказа.

— А рукопись нельзя почитать?

— Почему же? — усмехнулся Архипов.— Нужно только ее окончить.

— Так оканчивайте,— сказала девушка.— И прочтете ее нам. Сами. А может быть, я очень нахально прошу? Тогда извините.

— Хорошо,— нерешительно ответил Архипов.— Пожалуй, я вам прочту. Завтра вечером.

— Какой вы счастливый! — сказала девушка.

— Почему?

Но девушка не ответила, попрощалась и сбежала с лестницы.

Весь следующий день Архипов писал. Изредка он отрывался и, глядя за окно на белесое небо, думал, что он действительно счастливый, но сам этого не замечает. Счастливый потому, что может вызывать к жизни десятки разнообразных людей, заставлять их любить, совершать подвиги или ошибки, страдать или работать, может окружать этих людей шумом ветра, туманом, светом солнца — всем, чем он хочет, и, кроме его свободной и взыскательной воли, нет ничего, чему он должен был подчиняться в своей работе.

А вечером к Архипову пришли две девушки и боец. Зеленоватое и чистое небо за окном предвещало холод.

Девушки посматривали на Архипова смеющимися глазами, а боец уставился себе под ноги. Он был очень молчалив, даже мрачен.

«Поймут ли? — подумал, нахмурившись, Архипов.— Рассказ трудный — о будущем. Зря я все это затеял. Ерунда какая-то!»

Но все-таки нужно было читать — слушатели ждали. Архипов начал читать и решил ни разу за время чтения не поднимать глаза. Он боялся встретиться со скучающими взглядами, а еще хуже — с подавленным зевком или усмешкой по совершенно постороннему, не имеющему никакого отношения к рассказу поводу — может быть, по поводу его очков, или глухого голоса, или пледа, который он накинул на плечи: вот, мол, кутается в шаль, как баба.

Он не поднимал глаз и читал медленно, внятно, когда попадалось трудное место, старался прочесть его поскорее, торопился, пропускал фразы.

В комнате было тихо. Только боец осторожно кашлянул в кулак, а кто-то из девушек тяжело вздохнул. Этот вздох как бы заменил досадливый возглас: «Господи! Когда же он кончит!»

Архипов скомкал конец рассказа, отложил рукопись и закурил. Спичка в руке у него дрожала.

Молчание делалось тягостным. Но неожиданно его нарушил боец.

— Ну, вот! — сказал он разочарованно.— Шли мы сюда, и вы, девушки, обещали вести себя хорошо, а на поверку не выдержали характера и раскисли.

Девушки молчали, осторожно сморкались. Архипов поднял голову и растерянно улыбнулся. Низенькая девушка смотрела за окно, закусив свернутый тугим комком носовой платок, и часто моргала. Высокая сидела, зажав коленями руки, опустив голову.

— Утомил я вас своим чтением,— сказал Архипов.— Ну, ничего. Сейчас выпьем чаю, отдохнете.

— Мы нисколько не устали,— ответила низенькая девушка и украдкой взглянула на Архипова покрасневшими глазами.— Это мы так... вообще...

— Понятное дело, расстроились,— сказал боец.— Я, можно сказать, ворона стреляная и перестрелянная — и то несколько смутился.

— Почему? — спросил Архипов.

— Очень верно написано,— ответил боец.— Мы, полагаете, там, в боях, в окопах, не думаем, что будет после войны? Обязательно думаем. Не то что глаза — сердце болит, запекается кровью от разваленных и пожженных домов, деревень. Прошли немцы тучей, все обрушили. Но нашему брату не с руки горевать, не к лицу нам эти румяна. Было б зерно на ладони, а я уж его после войны выращу, будь спокоен, упрямства у меня хватит! Выращу поле — колос к колосу. А колос только зовется растением. Если вникнуть как следует, так он дороже золота. И тяжелее. Озолотится страна. Обязательно.— Боец помолчал, прокашлялся, потом сказал строго: — Ваше назначение теперь мне очень понятно. Вы — наш сосед сверху.

— Что это значит? — спросил Архипов.— Я что-то вас не пойму.

— Мы, пехота,— ответил боец,— так летчиков наших зовем: «соседи сверху». Тех, кто помогают нам с воздуха, прикрывают наше наступление. Им сверху лучше все видно, а нам на земле очень делается спокойно, как только они загудят в высоте. Вот так и вы — наш помощник, сосед сверху. Тысячи думают. Отрывочно, я так соображаю, думают, но высказать не умеют и в полную ясность не могут произвести свои мысли. А мысли у них общие. Потому что общая у них была беда, и общая солдатская работа на фронте, и победа — тоже общая. А вы вот на-

писали — и все ясно. Всю дорогу впереди видно, как по телеграфным столбам.

— Правильно, Терехов,— сказала, заволновавшись, низенькая девушка,— так вот проснешься ночью, и в голове все спутано. Думаешь, думаешь — и ничего не додумаешь. А утром встанешь — воздух чистый от солнца, видно каждый камень на дороге, каждую паутину в небе, и так делается спокойно, весело. Вот и сейчас, как вы прочли, очень уверенно сделалось на душе.

Высокая девушка молчала. Только после чая, когда Архипов вышел с девушками и бойцом, чтобы немного пройтись и проводить их до опушки леса, она спросила:

— Скажите, отчего человек пишет книги? От ума?

Вопрос застал Архипова врасплох. Он собирался было ответить, но его опередил боец.

— Не только от ума,— сказал он уверенно.— От способностей, я полагаю, больше.

— А я думаю,— торопливо сказала низенькая девушка, — что от доброты.

Архипов попрощался с зенитчицами около моста через речушку. Они крепко пожали ему руку и ушли. Архипов постоял, послушал — издали басом гудел боец, очевидно, опять ругал девушек за то, что раскисли.

Архипов улыбнулся — почему-то было легко на душе. Все радовало его, даже приближение зимы. Оно уже чувствовалось в жгучем блеске звезд, в запахе холодной земли; может быть, это пахло первым льдом, схватившим лужи на дороге. Смутно белели старые березы по сторонам шоссе, будто их стволы присыпало снегом.

Архипов подумал, что теперь уже незачем торопиться в Москву и можно несколько дней дописывать и исправлять рассказ и следить за тем, как зима овладевает любимой подмосковной землей.

<1946>

ТЕЛЕГРАММА

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме,— подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной».

Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала.

А в селе — называлось оно Заборье — не было никого, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника,— девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом.— Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая,— шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко.— Ты продай.

— Сдам в утиль,— решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая,— и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж,— говорил он, не дождавшись ответа.— Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша,— шептала Катерина Петровна.— Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме,— без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, ста-

новилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не падо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось,— сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя,— писала Катерина Петровна.— Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать,— смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот,— да я его и не вижу. Нынче осень пло-

хая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь,— что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая,— решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась,— сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, и на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь,— буркнул Тимофеев.— А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая

Насте испачканное глиной кресло.— Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя.

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев.— Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя,— попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор.— Да нет не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тоненькая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное,— казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза.— Эх ты, сорока!»

— Ну что? — спросил Тимофеев.— Серьезный дядя, да?

— Замечательно! — с трудом ответила Настя.— Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно,— повторил он.— Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит, конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами.— Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился.— Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе,— сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала.— Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя,— со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку.— Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он.— Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев.— Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог

бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя.— Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни,— говорил он, покачиваясь и придерживая очки,— забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.

— Что? — спросил он шепотом и показал глазами на

скомканную в руке Насти телеграмму.— Ничего неприятного?

— Нет,— ответила Настя.— Это так... От одной знакомой...

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? — подумала она.— Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя,— вспомнила Настя недавнее письмо.— Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу»,— сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? — думала она, ничего не видя.— Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.

— Ничего,— ответила Настя.— У меня мама...

Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы? — крикнула кассирша.— Сразу надо было казать. Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

...Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:

— Бабка? А бабка? Ты живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша? — бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку.— Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне,— ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму.— Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти,— сказала Манюшка хрипло.— Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна.— Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась,— пробормотал Тихон.— Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура,— сказал он сердито Манюшке,— за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с

братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабку Матрену:

— Одинокая, должно быть, была эта старушка?

— И-и, мила-ая,— тотчас запела Матрена,— почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную, темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

1946

НОЧЬ В ОКТЯБРЕ

По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе. В деревне все помогает сосредоточиться, даже треск фитиля в маленькой керосиновой лампе и шум ветра в саду, а в перерывах между этими звуками — та полная тишина, когда кажется, что земля остановилась и беззвучно висит в мировом пространстве.

Поэтому поздней осенью 1945 года я уехал работать в деревню, за Рязань. Там была усадьба со старым домом и совершенно заглохшим садом. В усадьбе жила старушка Василиса Ионовна — бывшая рязанская библиотекарша. В эту усадьбу я приезжала работать и раньше. И каждый раз, приезжая, я замечал, как разрастается сад и как старятся дом и его хозяйка.

Из Москвы я выехал последним пароходом. Рыжие берега тянулись за окнами каюты. На берега непрерывно набегали серые волны от пароходпых колес. Всю ночь в салоне горела красным накалом дежурная лампочка. Мне все казалось, что на пароходе я совершенно один,— пассажиры почти не выходили из теплых кают. Только хромой капитан-сапер с обветренным лицом бродил по палубе и смотрел, улыбаясь, на берега. Они были готовы к зиме: листва давно осыпалась, трава полегла, ботва почернела, а над избами прибрежных деревень курился белый дымок — всюду уже топили печи. И река была готова к зиме. Почти все пристани убраны в затоны, бакены сняты, и ночью пароход мог идти только потому, что над землей лежала серая лунная мгла.

На пароходе я разговорился с капитаном-сапером, и мы оба обрадовались. Оказалось, что капитан Зуев тоже сходит в Новоселках и что ему, так же как и мне, придется переправляться на лодке на другой берег Оки и идти через луга до той же деревни Заборье, что и мне. В Новоселки пароход должен был прийти вечером.

— Я-то иду не в Заборье,— сказал капитан,— а подальше, в лесничество, но до Заборья нам по пути. Я хоть и с фронта и всего навидался, а одному все же скучно идти ночью через тамошнюю глухомань. До войны я лесничествовал, а теперь демобилизовался, возвращаюсь на старое место. Чудесное дело — леса! Я лесовод по образованию. Приезжайте ко мне. Я вам такие места покажу, что вы ахнете. На фронте я эти места почти каждую ночь видел во сне.

Он засмеялся, и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет.

Когда глухим вечером пароход подвалил к Новоселкам, на пристани никого не было, кроме сторожа с фонарем. Сошло нас двое — Зуев и я. Едва мы со своими рюкзаками соскочили на сырой настил, как пароход отошел, обдав нас мятым паром. Сторож с фонарем тотчас ушел, и мы остались одни.

— Давайте не будем торопиться,— сказал Зуев.— Посидим на бревнах, покурим, сообразим, что делать дальше.

По голосу его, по тому, как он вдыхал запах речной воды, оглядывался по сторонам и засмеялся, когда пароход дал за поворотом короткий гудок и ночное эхо начало перекатывать этот гудок все дальше, пока не занесло в заокские леса,— по всему этому я понял, что Зуев не хочет торопиться только потому, что с необыкновенной и какой-то изумленной радостью ощущает себя в привычных местах, куда он не надеялся возвратиться.

Мы покурили, потом поднялись на крутой берег к сторожке бакенщика Софрона. Я постучал в окошко. Софрон тотчас вышел, будто он и не спал, узнал меня, поздоровался, сказал:

— Вода ноне прибывает. За сутки два метра. Должно, паверху дожди. Не слыхал?

— Нет, не слыхал.

Софрон зевнул.

— Дело осеннее. Ну, что ж, поехали?

Ока ночью казалась очень широкой, гораздо шире, чем днем. Вода шла сильно, во весь размах реки. Всплес-

кивала рыба. В мутноватом свете ночи было видно, как круги от всплесков стремительно уносятся течением, растягиваясь и разрываясь.

На том берегу мы вышли. Из лугов тянуло холодной завялой травой, сладковатым запахом ивовых листьев. Мы пошли по чуть заметной тропинке, вышли на сенокосную дорогу. Было тихо. Луна опускалась к земле,— свет ее уже потускнел.

Мы должны были пересечь луговой остров шириной в шесть километров, потом перейти по старому мосту через второе — тихое и заглохшее — русло Оки, а за ним, за песками, уже лежало Заборье.

— Узнаю,—говорил, волнуясь, капитан.— Все узнаю. Оказывается, я ничего не забыл. Вон — купы деревьев! Это ивы на Прорве. Верно? Вот видите? Глядите, какой туман над Селянским озером! И ни одной птицы не слышно. Опоздал я, конечно,— улетели уже птицы. А воздух! Какой воздух, мать моя родная! Настоялся на травах за всю эту осень. Я таким воздухом нигде не дышал, кроме как в наших местах. Слышите, петухи заголосили? Это в Требутине. Вот звонкие, черти! За четыре километра слышно!

Но чем дальше мы шли, тем меньше говорили, а потом и совсем замолчали. Сумрачная ночь лежала над заводями, над черными стогами, над зарослями. Молчание этой ночи передавалось и нам.

По правую руку потянулось заросшее озеро. Вода в нем отсвечивала. Зуеву было трудно идти из-за его хромоты. Мы сели отдохнуть на поваленную ветром иву. Я хорошо знал эту иву,— она лежала здесь уже несколько лет и вся заросла низким шиповником.

— Да, жизнь! — вздохнул Зуев.— Хорошая, в общем, жизнь. Очень я ее ощущаю после войны. Особенно как-то ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо это, по-вашему? Или нет?

— Наоборот,— сказал я.— Совсем не глупо. У вас есть семья?

— Нет, я бобыль.

Мы пошли дальше. Луна зашла за высокий берег Оки. До рассвета было далеко. На востоке еще лежала такая же плотная тьма, как и всюду. Идти стало трудней.

— Одного не пойму,— сказал Зуев.— Почему лошадей перестали гонять в ночное? Раньше до самого снега гоняли. А сейчас в лугах ни одной коняги.

Я тоже заметил это, но не придал этому значения. Вокруг было так пустынно, что, кроме нас, на луговом острове, казалось, не было больше ничего живого.

Потом я увидел впереди неяспую и широкую полосу воды. Ее раньше здесь не было. Я всмотрелся, и у меня замерло сердце,— неужели так разлилось старое русло Оки!

— Скоро мост,— весело сказал Зуев,— а там и Заборье. Можно сказать, пришли.

Мы подошли к берегу старого русла. Дорога срывалась прямо в черную воду. Она неслась у самых наших ног и подмывала низкий берег. То тут, то там был слышен тяжелый плеск,— это обрушивались куски подмытого берега.

— Где же мост? — спросил встревоженно Зуев.

Моста не было. Его или смыло, или затопило, и вода уже шла над ним толщей в полтора-два метра. Зуев зажег электрический фонарик, посветил. Из-под мутных волн торчали, качаясь, верхушки кустов.

— Так-так! — сказал озадаченно Зуев.— Отрезало нас. Водой. То-то я смотрю, что в лугах пусто. Похоже, что мы с вами здесь одни. Давайте сообразим, что делать.

Он помолчал.

— Покричать, что ли?

Но кричать было бесполезно. До Заборья было еще далеко. Нас все равно никто не услышит. Кроме того, я знал, что в Заборье не было ни одной лодки, чтобы снять нас с острова. Перевоз на остров устроен гораздо ниже, в двух километрах, у Пустынского леса.

— Придется идти на перевоз,— сказал я.— Конечно...

— Что «конечно»?

— Да ничего. Дорогу я знаю.

Я хотел сказать: «Конечно, если перевоз еще работает»,— но промолчал. Если в лугах никого уже нет и их заливает осенним разливом, то и перевоз, естественно, снят. Не будет перевозчик Василий, строгий и рассудительный, сидеть зря в шалаше.

— Ну, что ж! — согласился Зуев.— Пойдемте. Ночь как потемнела, окаянная!

Он снова посветил и выругался,— вода уже закрыла верхушки кустов.

— Дело серьезное! — пробормотал Зуев.— Идемте скорей!

Мы пошли к перевозу. Сорвался ветер. Он медленно, гудя, налетал из темноты и нес вкось над землей снеговую крупу. Все чаще было слышно, как оседает берег. Мы шли,

спотыкаясь о кочки и старую траву. По дороге лежали два небольших оврага — всегда сухие. Мы перешли эти овраги уже по колено в воде.

— Заливает овраги,— сказал Зуев.— Как бы мы с вами не влипли. Почему так быстро подымается вода! Непонятно.

Даже во время сильных осенних дождей вода никогда не поднималась так быстро и не заливала остров.

— А деревьев здесь нет,— заметил Зуев.— Одни кусты.

На острове как раз против перевоза была наезженная дорога. Мы узнали ее по грязи и по запаху навоза. По ту сторону старого русла на высоком берегу тяжело гудел под ветром сосновый лес.

Чем дальше тянулась ночь, тем становилась кромешнее и холодней. Шипела вода. Зуев снова посветил фонарем. Вода шла в уровень с берегом и узкими языками уже заполаскивала в луга.

— Перево-оз! — закричал Зуев и прислушался.— Перево-оз!

Никто не откликнулся. Гудел лес.

Мы кричали долго, до хрипоты, но никто нам не отвечал. Снеговая крупа сменилась дождем. Редкие его капли начали тяжело стучать по земле.

Мы снова начали кричать. В ответ все так же равнодушно гудел лес.

— Нет перевозчика! — сказал с сердцем Зуев.— Ясно! И какого, скажите, лешего ему здесь сидеть, если остров заливает и на нем нет и не может быть ни души. Глупо... в двух шагах от родного дома...

Я понимал, что выручить нас может только случайность,— или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнемся на этом берегу на брошенную лодку. Но страшнее всего было то, что мы не знали и не могли понять, почему так быстро прибывает вода. Дико было думать, что час назад ничего не предвещало этой черной ночной беды,— навстречу к ней мы пришли сами.

— Пойдемте по берегу,— сказал я.— Может быть, наткнемся на лодку.

Мы пошли вдоль берега, обходя затопленные низинки. Зуев светил фонариком, но свет его все тускнел, и Зуев его погасил, чтобы сберечь на крайний случай последний проблеск огня.

Я наткнулся на что-то темное и мягкое. Это был небольшой стог соломы. Зуев зажег спичку и сунул ее в со-

лому. Стог вспыхнул багровым мрачным огнем. Огонь осветил мутную воду и уже затопленные впереди, сколько видит глаз, луга и даже сосновый лес на противоположном берегу. Лес качался и равнодушно шумел.

Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни и десятой доли того, что собирался сделать. Потом подумал, что глупо пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди еще много вот таких, хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет еще первого снега, но все уже пахнет этим снегом — и воздух, и вода, и деревья, и даже капустная ботва.

Должно быть, и Зуев думал примерно о том же. Он медленно вытащил из кармана шинели измятую пачку папирос и протянул мне. Мы закурили от догорающей соломы.

— Она сейчас погаснет,— тихо сказал Зуев.— Под ногами уже вода.

Но я ничего не ответил. Я слушал. Сквозь гул леса и плеск воды долетали слабые, отрывистые удары. Они приближались. Я обернулся к реке и закричал:

— Эге-гей! Лодка! Сюда!

Тотчас с реки ответил мальчишеский голос:

— Иду-у!

Зуев быстро разгреб солому. Вырвалось пламя. В черноту полетели столбы искр. Зуев начал тихо смеяться.

— Весла! — говорил он.— Весла стучат. Разве можно пропасть ни за что в нашей родимой сторонке!

Этот ответный крик «иду» особенно меня взволновал. Иду на помощь! Иду сквозь тьму на гаснущий свет костра. Этот крик воскрешал в памяти древние навыки братства, помощи, никогда не умирающие в нашем народе.

— Эй, на пески выходите! Пониже! — звонко крикнул голос с реки, и я вдруг понял, что это кричит женщина.

Мы быстро пошли к берегу. Лодка внезапно выплыла из темноты в мутный свет костра и ткнулась носом в песок.

— Погодите садиться, воду надо отлить,— сказал тот же женский голос.

Женщина вышла на берег и подтянула лодку. Лица ее не было видно. Она была в ватнике, в сапогах. Голова ее была закутана теплым платком.

— Как вас только сюда занесло? — строго спросила

женщина, не глядя на нас, и начала вычерпывать воду.

Она молча и как будто равнодушно выслушала наш рассказ, потом так же строго сказала:

— Как же бакенщик вам ничего не сказал? Сегодня ночью на реке шлюзы открыли. Перед зимой. К утру весь остров затопит.

— А как вы попали ночью в лес, наша спасительница? — шутливо спросил Зуев.

— Шла на работу,— неохотно ответила женщина.— Из Пустыни в Заборье. Вижу — огонь на острове, люди. Ну вот и догадалась. А перевозчика уже второй день нету, не караулит. Ни к чему. Еле весла нашла. Под сеном, в шалаше.

Я сел на весла. Я греб изо всех сил, но мне казалось, что лодка не только не продвигается, но что ее сносит к какому-то черному широкому водопаду, куда низвергается мутная вода, и тьма, и вся эта ночь.

Наконец мы пристали, вышли на песок, поднялись в лес и только там остановились закурить. В лесу было безветренно, тепло, пахло прелью. Ровный и величавый гул проходил в вышине. Только он напоминал о ненастной ночи и недавней опасности. Но теперь ночь казалась мне удивительной и прекрасной. И приветливым и знакомым показалось мне лицо молодой женщины, когда мы закурили и свет спички осветил ее мимолетным огнем. Серые ее глаза смущенно смотрели на нас. Мокрые пряди волос выбивались из-под платка.

— Никак, ты, Даша? — вдруг очень тихо спросил Зуев.

— Я, Иван Матвеевич,— ответила женщина и засмеялась легким смехом, будто она смеялась чему-то известному только ей одной.— Я вас сразу узнала. Только не признавалась. Мы вас ждали-ждали после победы! Никак не верили, что вы не вернетесь.

— Вот так оно и бывает! — сказал Зуев.— Четыре года воевал, смерть меня, бывало, зажимала так, что дохнуть нельзя, а от смерти спасла меня Даша. Помощница моя,— сказал он мне.— Работала в лесничестве. Учил я ее всякой лесной премудрости. Была девочка слабенькая, как стебелек. А теперь посмотрите, как вытянулась. Какая красавица! И строгая стала, суровая.

— Да что вы! Я не суровая,— ответила Даша.— Это я так, от отвычки. А вы к Василисе Ионовне? — неожиданно спросила Даша меня, очевидно чтобы переменить разговор.

Я ответил, что да, к Василисе Ионовне, и зазвал Дашу и Зуева к себе. Надо было обогреться, обсохнуть, отдохнуть в теплом старом доме.

Василиса Ионовна нисколько не удивилась нашему ночному появлению. По старости своей она привыкла ничему не удивляться и все, что бы ни случилось, толковала по-своему. И теперь, выслушав рассказ о нашем злоключении, она сказала:

— Велик бог земли русской. А про Софрона этого я всегда говорила, что он растяпа. Удивляюсь, как это вы, писатель, сразу его не раскусили! Значит, у вас тоже есть своя слепота на людей. Ну, а за тебя,— сказала она, оборачиваясь к Даше,— я рада. Дождалась ты, наконец, Ивана Матвеевича.

Даша покраснела, сорвалась с места, схватила пустое ведро и выбежала в сад, забыв затворить за собой дверь.

— Куда ты? — всполошилась Василиса Ионовна.

— За водой... для самовара! — крикнула из-за дверей Даша.

— Не понимаю я нынешних девушек,— сказала Василиса Ионовна, не обращая внимания на то, что Зуев никак не может зажечь спичку и закурить.— Слова им не скажи, вспыхивают, как костер. Чу́дная девушка! Могу сказать — моя отрада.

— Да,— согласился Зуев, справившись наконец со спичкой.— Замечательная девушка.

Конечно, Даша уронила ведро в колодец в саду. Я знал, как доставать ведра из этого колодца. Я доставал ведро шестом. Даша мне помогала. Руки у нее были ледяные от волнения, и она все повторяла:

— Вот чудачка эта Василиса Ионовна! Вот чудачка!

Ветер разнес тучи, и над черным садом уже сверкало, то сразу разгораясь, то так же сразу тускнея, звездное небо. Я вытащил ведро. Даша тут же напилась из ведра — влажные ее зубы поблескивали в темноте — и сказала:

— Ох, как же я вернусь в дом, прямо не знаю.

— Ничего, пойдемте.

Мы вернулись в дом. Там уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью, и со стены спокойно смотрел из черной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на стали тончайшей иглой,— гордость Василисы Ионовны.

1946

СОБРАНИЕ ЧУДЕС

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти: и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвешься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семен.— Чего не видал? Народ какой пошел суетливый, хваткий, господи! Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоем. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семен постучал кулаком по своей коричневой шее.— На загорбке!

Но я все-таки пошел на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Ленька и Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите,— говорил он мне своим гугнивым голосом,— гусак идет. На сколько он, по-вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет,— мечтательно говорил Ленька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом.— У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Ленька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь!

Схватка была короткая, но решительная. Ленька подобрал картуз, сплюнул и пошел, обиженный, обратно в деревню.

Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня.— Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Ленькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведет весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо.— Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня.— Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький-махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки. Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские.— Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полково высокий народ, а недогадливы — избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я наконец узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин.— Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живет. Тоже имеет свое назначение.

Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин.— Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был,— сказал Ваня.— Мы учили.

— Был да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор нам икается. Свирепый был господин. Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил — он сейчас распаляется и начинает греметь: «В Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» Вот какой был царь! Ну и вышло такое дело: полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом марш в указанном направлении за тыщу верст! Походом! А через тыщу верст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь! Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный. Одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полково, в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности и почитай все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты — гренадеры и великаны — наши пращуры. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них все прописано. И ты подумай,— еще бы две версты им прошагать и вышли бы к реке, там бы и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа,— точно остановились. Народ до сих пор удивляется. «Чего это вы, говорят, полковские, вперлись в лес? Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать, маловато».

Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. «Против приказа, говорят, не попрешь! Это факт!»

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин.— Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились березами, а за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового еще шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдем, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и темным огнем, когда до них добиралось солнце.

— Черный дуб,— сказал Лялин.— Мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло,— так навек! Тяжелое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в темной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из черной стали. А над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте,— показал он,— покамест не упретесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдет тропка до самого озера. Только сторожко идите,— там колков много.

Он попрощался и ушел. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были еще видны колеи, давным-давно порос-

шие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки — остатки березовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды — та, что повернута к югу,— была совсем красная, а другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня.— Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился. Мы пробыли на озере два дня. Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и все, что я хотел рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.

1946

ВОРОНЕЖСКОЕ ЛЕТО

Заповедный лес на реке Усмани под Воронежем — последний на границе донских степей. Он слабо шумит, прохладный, в запахе трав, но стоит выйти на опушку — и в лицо ударит жаром, резким светом, и до самого края земли откроется степь, далекая и ветреная, как море.

Откроются ветряки, что машут крыльями на курганах, коршуны и острова старых усадебных садов, раскинутые в отдалении друг от друга.

Но прежде всего откроется небо — высокое степное небо с громадами синеватых облаков. Их много, но они почти никогда не закрывают солнца. Тень от них изредка проплывает то тут, то там по степи. Проплывает так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и прячась от палящего солнца.

В степи, недалеко от старого липового парка, поблескивает в отлогой балке маленькая река Каменка. Она почти пересохла. Только в небольших бочагах налита чистая прогретая вода. По ней шныряют водяные пауки, а на берегах сидят и тяжело дышат — никак не могут отдышаться от сухой жары — сонные лягушки.

Липовый парк, изрытый блиндажами — разрушенными и заросшими дикой малиной,— слышен издалека. С рассвета до темноты он свистит, щелкает и звенит от множества синиц, щеглов, малиновок, иволг и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип — таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова.

У подножья деревьев прячется в тени маленький белый дом. Он некогда принадлежал ныне почти забытому писателю Эртелю, современнику Чехова. Сейчас здесь небольшой дом отдыха.

С птицами в парке у меня были свои счеты. Часто по ранним утрам я уходил на Каменку ловить рыбу. Как только я выходил в парк, сотни птиц начинали суетиться в ветвях. Они старались спрятаться и обдавали меня дождем росы. Они с треском вылетали из зарослей, будто выныривали из воды, и опрометью неслись в глубину парка.

Должно быть, это было красивое зрелище, но я промокал от росы и не очень им любовался. Я старался идти тихо, бесшумно, но это не помогало. Чем незаметнее я подходил к какому-нибудь кусту, переполненному птицами, тем сильнее был переполох и тем обильнее летела на меня холодная роса.

Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека. Но стоило мне закинуть удочки, как тотчас из балки появлялись босые мальчишки.

Они подходили сзади, но так осторожно, что я иногда узнавал об их появлении только по сосредоточенному сопению у себя за спиной.

Мальчишки молчали, сопели и не отрываясь смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них чесал одной ногой другую.

По старому опыту я знал, что при таких обстоятельствах рыба перестает клевать. Это было необъяснимо, но верно. Стоило даже одному мальчишке остановиться за спиной и уставиться на поплавок, как клев начисто прекращался.

Сначала я решил откупиться от мальчишек. Я раздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем, что они уйдут и не будут мешать мне удить.

Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шепотом и честно ушли. Но через полчаса появилась толпа совершенно новых мальчишек. Уже издали они кричали:

— Дяденька, дай крючкя!

Я понял, что совершил грубейшую ошибку.

Нужно было найти верное средство, чтобы избавиться от мальчишек. Тогда я вспомнил слова писателя Гайдара. Он уверял меня, что на детей сильнее всего действуют загадочные разговоры.

И вот, когда на следующий день мальчишки окружили меня, начали сопеть и рыба снова перестала клевать, я сказал мрачным голосом, не оглядываясь:

— А вы знаете, ребята, что за это полагается штраф в сто рублей.

— За что? — неуверенно спросил самый шустрый мальчик.

— А вот за это за самое,— ответил я.

Мальчишки переглянулись и, не спуская с меня глаз, начали медленно и осторожно пятиться. Так, пятясь, они прошли шагов тридцать, потом сразу повернулись и бросились врассыпную в степь. Самый маленький бежал сзади, спотыкался, потом вдруг заревел басом. Какой-то шустрый мальчишка схватил его за руку, шлепнул и поволок за собой. Мальчишки исчезли.

Я сам не меньше мальчишек был поражен тем, что

случилось. Я засмеялся. В ответ за кустом лозняка кто-то хихикнул.

Я заглянул за куст. Там, уткнувшись лицом в траву, лежали и тряслись от смеха два белобрысых мальчика с длинными веревочными кнутами.

— А вы чего остались?

— Нам нельзя,— сказал мальчик постарше.— Мы пастухи. У нас стадо тут, за бугром.

— А если бы пе было стада?

Мальчишка, ухмыляясь, встал.

— Не! — сказал он.— Все одно мы бы не убегли. Мы большие. А те — махонькие. Что им ни посули — они всему верят. Теперь забоялись, долго не прибегут.

Так началась моя дружба с пастухами Витей и Федей. И начались необыкновенные наши разговоры.

— Вы кто? Писатель? — спросил меня сразу же Федя.

— Да, писатель.

— А вы давно заступили в писатели?

— Давно.

— Что-то не видно,— сказал Федя и подозрительно посмотрел на меня.

— Почему это пе видно?

— Рыба клюет, а я гляжу, вы все зеваете.

— Что-то ты путаешь,— сказал я.— Рыба здесь ни при чем.

— Ну да,— обиженно заметил Федя.— Как это так ни при чем!

Тогда в разговор вмешался младший пастушок Витя.

— Запрошлое лето,— сказал он, торопясь и захлебываясь,— тут два писателя тоже рыбу ловили. Дядя Жора и дядя Саша. Так дядя Саша ка-ак закинет удочку, ка-ак у него возьмет, ка-ак он дерганет, ка-ак вытащит — вот такого окуня! В локоть! Раз за разом! А дядя Жора — так тот не мог. У дяди Жоры не получалось. Сидит-сидит весь день и вытащит плотвичку. Худую, моренную.

— Тоже лезешь! — сердито сказал Федя.— Дурной совсем. Так ведь дядя Жора вовсе не был писателем. Понятно? А дядя Саша — так тот писатель. Он двадцать книг написал.

Тогда я наконец понял. В представлении Феди настоящий писатель был существом легендарным, безусловно талантливым во всех областях жизни, был своего рода волшебным мастером «золотые руки». Он должен был все знать, все видеть, все понимать и все великолепно делать.

Мне не хотелось разрушать эту наивную веру маленького деревенского пастуха. Может быть, потому, что за наивностью этой скрывалась настоящая правда о подлинном писательском мастерстве,— та правда, о какой мы зачастую не помним и к осуществлению которой не всегда стремимся.

Почему-то мне стало стыдно. И даже в малом деле — в рыбной ловле — я с тех пор поклялся себе не прозевать ни одной поклевки, особенно при Феде. Это уже как будто становилось делом чести. Сейчас, в Москве, это кажется мне немного смешным — то, что я думал тогда, на Каменке,— но я не мог допустить мысли, что Федя комунибудь скажет:

«Дядя Костя? Да какой же он писатель! Он подсекать не умеет. У него рыба все время срывается».

С тех пор при встречах с Федей я всегда был настороже. Ему нужно было все знать. Он задавал мне множество вопросов. И не на все его вопросы я мог ответить.

Как все пастухи, Федя хорошо знал всякие травы, цветы, растения и любил о них говорить. Я тоже кое-что знал о растениях, но здесь, под Воронежем, было много таких трав и цветов, какие не встречались у нас, в более северной полосе России. Поэтому я был очень доволен, что захватил с собой из Москвы определитель растений.

Я приносил из степи, с берегов Усмани, из заповедного леса охапки разных цветов и трав и определял их. Так постепенно благодаря Феде я погрузился в заманчивый мир разнообразных листьев, венчиков, лепестков, тычинок, колосьев, в мир растительных запахов и чистых красок. Моя комната стала похожа на жилище деревенского знахаря. Связки сухой травы висели на стенах, и лекарственный дух степных растений так прочно поселился в ней, что его не мог вытеснить даже запах отцветающих за окнами лип.

И вот наконец наступил час моего торжества.

По берегу Каменки цвели крупные цветы топтуна. Они были похожи на маленькие белые звезды.

Однажды я пришел на Каменку на рассвете. Тотчас появился и Федя. Он подсел ко мне, достал из кармана хлеб, начал жевать его и расспрашивать меня о всяких обстоятельствах жизни.

Небо было закрыто мглой. В серой воде неподвижно стояли яркие поплавки. Рыба клевала плохо.

Я взглянул на цветы топтуна у своих ног и заметил, что все они закрылись.

— Будет дождь,— сказал я Феде.

— Откуда вы знаете?

— По цветам.

Я показал ему на закрытые цветы. Федя наморщил лоб и долго думал.

— А зачем опи перед дождем закрываются?

— Чтобы дождь не сбивал пыльцу.

Я начал рассказывать ему о пыльце, об опылении, о том, что по цветам можно определить время дня. Пока я рассказывал, у меня клюнула плотва, но я прозевал. Федя даже не заметил этого. Он был взволнован моим рассказом.

— Откуда вы все это взяли? — спросил оп.— Из школы?

— Из книг.

— Ну, если бы я так-то знал...— протянул Федя и замолчал.

— Что ж? Перестал бы пасти коров? Уехал бы в Воронеж?

— Не! — сказал Федя.— Я здешний. Мне тут привольно. Вырасту большой, сделаюсь председателем колхоза вместо Силантия Петровича, заведу у себя в деревне парники, цветы. Чего-чего я тут не напридумаю. Медовую фабрику открою.

Одинокая капля дождя отвесно упала в воду. От нее пошли тонкие круги. Потом сразу вокруг нас зашевелилась, зашептала трава, вся вода покрылась маленькими кругами, и слабый, но внятный звон поплыл над омутом. Шел тихий теплый дождь.

Далеко в разрывы мягких туч светило широкими лучами солнце, и степь дымилась и блестела. Сильнее запахли травы, хлеба и земля. Из-за бугра потянуло парным молоком: там паслось стадо.

— Гляньте,— сказал мне Федя,— так это же стеклянная трава!

Ворсистые стебли топтуна были сплошь покрыты каплями дождя. И все это маленькое растение так сверкало у наших ног, будто оно было действительно сделано из хрусталя.

Спрятаться от дождя было негде, и мы сидели, накинув на головы Федин ватник.

— Доброе лето! — серьезно сказал Федя.

Эти слова он, должно быть, слышал от кого-нибудь из деревенских стариков. Лето было действительно полно неуловимой доброты — и в легком шуме дождей, и в запахе зреющей пшеницы — предвестнике урожая.

1946

КОРДОН «273»

Этот очерк написан в мезонине деревенского дома. Окна открыты, и на свет свечи залетают серые бабочки. Так тихо, что слышно, как внизу, в пустых комнатах, стучат ходики. Далеко на Оке гудит пароход. Деревня спит, в окнах темно. Со двора пахнет сырым тесом.

На стене висит гравированный портрет Гарибальди с его порыжелой подписью. Как он сюда попал? Биографии вещей бывают иногда так же неожиданны, как и биографии человеческие. Я стараюсь восстановить путь этого портрета из Парижа, где он был гравирован, до деревни в Средней России.

На портрете нет подписи гравера, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь: бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже, бывал в Буживале у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди.

Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты!

Гарибальди живет здесь, в тесной комнате, рядом с бронзовым барельефом работы Федора Толстого «Бой при Фэршампенуазе». Если посмотреть вечером из сада в окна мезонина, то комната с портретом Гарибальди покажется слабо освещенной каютой, затерянной в океане непроглядной ночи.

На днях я — последний обитатель большого пустующего дома — уеду в Москву, а все вещи: и барельеф, и портрет Гарибальди, и старая лампа с рисунком водяной мельницы, и стол, и букет иван-чая,— все это безропотно останется здесь зимовать. И так странно, вернувшись через год, увидеть все эти вещи на тех же местах и, увидев, понять, что год прибавил седины и опыта, а здесь все не-

изменно, и только, может быть, гравюра стала чуть-чуть желтее.

Я стараюсь представить себе эту комнату в то время, когда меня уже здесь не будет. Медленно потянутся дни, долго будет моросить дождь. Ветер завалит крышу палыми, покоробленными листьями. А потом мороз схватит сырые пески, выпадет снег, сизое небо провиснет над домом и так и провисит до весны.

Цветы иван-чая промерзнут, превратятся в бурый пепел и разлетятся пылью, как только весной откроют двери. Высохший чудесный мир! Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное стекло,— в них все целесообразно и выработано. Этот сухой букет, который выбросят в мусорную кучу, так же сложен, как и вся земля с растениями, водами и воздухом, окутывающим ее прозрачной сферой.

Вещи усиливают ощущение времени. Часто они живут дольше нас. Иногда хочется жить столько же, сколько проживет этот портрет Гарибальди.

Самое ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем.

Давно известно, что прелесть жизни не только в ожидании будущего и в настоящем, но отчасти и в воспоминаниях. Часто воспоминание сродни выдумке, творчеству. Кто из нас, вспоминая, не придает пережитому черты несбывшегося? Кто, вспоминая, не оставляет в памяти только сущность пережитого?

Воспоминания — это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир.

Весь этот разговор — только затянувшееся предисловие к тому, чтобы вспомнить и представить себе то, что лежит в пятидесяти километрах от комнаты, где Гарибальди обречен смотреть на мир прищуренными глазами. Этот разговор-воспоминание будет идти о реке Пре, вытекающей из Великих озер.

Однажды осенним вечером мы, нагрузив рюкзаки, ушли из деревенского дома на станцию узкоколейки. Пески похолодали к ночи. Знакомая синяя звезда взошла над краем леса.

Как всегда, начался спор: что это — Юпитер или какая-нибудь другая звезда? Она несла свой мерцающий огонь над темными вершинами сосен, песчаными холмами, заросшими вереском, над тесовыми крышами и скворечниками — над всем этим лесным краем, несла, прокладывая свой медленный путь среди созвездий и как бы подчеркивая ясность и прохладу ночи.

В вагоне узкоколейки было темно и тесно. Только луна, поднявшаяся к полуночи, мелькала позади сосен и освещала медным огнем лица пассажиров.

Рядом с нами сидела девочка лет двенадцати в накрахмаленном розовом платье, с розовыми лентами в косах, в розовом платке на казавшихся розовыми волосах. Даже глаза ее блестели от луны восторженным розовым светом. Она возвращалась в деревню из областного города, где гостила у брата — директора ремесленной школы. Она рассказывала тоненьким, тоже каким-то розовым голосом о всех кинокартинах, какие видела в городе, особенно об одной — название ее она позабыла,— где «к карете привязали лошадей и они поволокли каких-то нарядных тетенек в гости».

— А ты видела картину про композитора Глинку? — неожиданно спросил из темноты хриплый мужской голос.

— Должно, видала. Только у меня в голове все переболталось, и я уже не помню.

— А чья музыка к этой картине? — строго спросил тот же голос.— Не знаешь? Самого Глинки. А, к примеру, есть опера «Хованщина» с музыкой замечательной. Так ее написал композитор Мусоргский. Это молодежи следует знать.

— Где там знать! — ответила пожилая женщина, все время щупавшая у себя под ногами мешок с луком.— Всего не перезнаешь. Моготы не хватит.

— Пустые слова!

— Вот вы говорите,— лукаво сказал старичок, все время дремавший и вдруг проснувшийся,— про композитора Мусоргского. Был с ним у нас в Коростове один случай...

— С кем это — с ним?

— Да я и говорю, с композитором Мусоргским. Половодье в запрошлый год было огромное. Ока разлилась на семь километров. Ночи, конечно, черные. Такая темнота — никаким глазом ее не просверлишь! А рулевой, видать, слегка выпил. Сбился с фарватера и посадил его на бугор

в лугах. Да так крепко: три недели тащили-тащили, стащить не смогли. Так он и обсох на лугах. Год простоял, до нового разлива. Только полой водой его и подняло.

— Ты что-то закручиваешь, дед, непонятное,— сказал знаток композиторов.— Со сна ты, что ли, бормочешь?

— Верно говорит! — закричал из темноты молодой голос.— Был такой случай с пароходом «Композитор Мусоргский». Я сам видал. Стоит в лугах пароход, а вкруг него разные цветы цветут. Прямо смех!

— Кому смех,— пробормотал старик,— а рулевой заработал на этом деле судебный приговор.

— За дело! — сказала женщина с мешком лука.— Не губи пароход! Им, мужикам, когда напьются, все трын-трава. Пароход небось машина государственная. А он, пьяный вахлак, крутит колесо одним пальцем. Глаза бы не глядели на дураков этих водочных!

— Нынче пьяный в редкость,— примирительно заметил от дверей невидимый человек, затаптывая цигарку.— Нынче пьяного у нас в колхозе днем с огнем не сыщешь. Протрезвел народ. И работает шибче.

— За других не скажу, а я свои трудодни соблюдаю,— тотчас ответила пожилая женщина и снова пощупала мешок с луком; стало слышно, как захрустела сухая луковая шелуха.

— Твой лук? С усадьбы?

— Ну да, мой. Личный.

— На ярмарку, что ли, везешь? В Клепики?

— На ярмарку.

— То-то я гляжу,— заметил знаток композиторов,— что полон вагон цыган. Тоже в Клепики на ярмарку тянут.

— Ой, красавец ты писаный! — пропела грудным голосом цыганка, стоявшая у окна, и зажгла спичку, чтобы закурить.— Весь наш табор — всего шесть человек. А тебе уже тесно...

Свет спички осветил синие волосы цыганки.

— Наша жизнь кочевая,— вздохнула цыганка.— Она как сон: сызнова никогда не приснится.

— Удивительный народ! — тихо сказал знаток композиторов и наклонился ко мне: — Еду я как-то в Сасово. Весь вагон — битком, и все с тяжеленными мешками. А рядом сидит молодая цыганка с девочкой на руках. Красавица цыганка! Вещей у нее никаких, только узелок. Что-то такое ничтожное завязано в платке. Девочка проснулась, хотела было заплакать. Тогда цыганка эта самая

развязывает узелок. Я заглядываю, а в нем только кусок хлеба да три больших георгины. Дала девочке георгину, вроде как игрушку,— и та затихла, начала цветком играть.

— Любовь имеют к таким предметам,— заметил старик.

Цыгане вышли на площадку, поговорили о чем-то, и неожиданно низкий женский голос запел так сильно, что заглушил стук буферов и шум веток, хлеставших по стенкам вагона. Цыганка пела давно позабытую песню:

Как цветок голубой среди снежных полей,
Я увидел твою красоту...

Вагон притих. Леса неслись мимо, омытые лунным светом. В глубине заросших дорог лежал, белея, туман.

По тому, как все молча слушали песню цыганки, было ясно, что нет человека в вагоне — кто бы он ни был: пильщик ли, колхозный ли конюх, девочка в розовом платье или старик, столько перевидавший в жизни, что в глазах его осталась только ласковость ко всему,— нет человека, который не испытал бы этого ощущения красоты и ожидания встречи с нею.

— Да,— сказал конюх, когда цыганка перестала петь,— была у меня жена Таня, тоненькая, как струнка...

Конюх осекся и замолчал. Так никто и не узнал, что случилось с его женой. И никто не решился спросить конюха о Тане, даже любопытная пожилая женщина с мешком лука. Она только вздохнула и, низко наклонившись, осторожно вытерла оба глаза концом черного головного платка.

Мы сошли поздней ночью на полустанке Летники. По краям дороги слабо шумел березовый перелесок. С болот наносило холод.

Шли мы долго, мерно, как в походе. Через два часа небо на востоке начало наливаться чистой и слабой синевой. Там, далеко над лесом, зарождалась заря. И на этой смутной заре еще пронзительнее, чем ночью, пылала звезда.

С каждым километром нарастала глушь. Мы медленно входили в обширное пустынное полесье.

Когда совсем рассвело, мы сели отдохнуть на обочине. Молодая осина дрожала над головой лимонными нежными листьями. Они тихо слетали, запутывались в паутине, в кустах волчьей ягоды.

— Совершенно нестеровская Россия,— сказал вполголоса кто-то из нас.

Мы привыкли говорить «левитановские места» и «нестеровская Россия». Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лирической силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшаников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти,— может быть, оттого, что каждая встреча с этими местами — вместе с тем и разлука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осеннее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков.

С крутого песчаного холма открылась внизу пойма неизвестной реки. За ней подымались в небо сосновые боры, кремли дремучих лесов. На их краю виднелась деревня и стояла во мгле, как видение, очень высокая, почерневшая от времени деревянная церковь.

Туман лежал в пойме синеватой водой. Только вершины стогов темнели над ним маленькими островами.

Мы медлили. Никому не хотелось двигаться. Деревня за рекой еще спала. Ни один дымок не подымался над крышами. Не было слышно ни мычания коров, ни петушиных криков. Казалось, перед нами лежала в глубокой своей тишине заколдованная земля. Вот такими, должно быть, представляли себе наши пращуры бревенчатые погосты из своих крестьянских сказок, те погосты, где годами сидели за пряжей печальные красивые девушки и дожидались любимых.

Медленно поднялось солнце — размытое, цвета соломы. На краю деревни протяжно запел пастуший рожок. Заколдованный край просыпался.

Мы вскинули рюкзаки и пошли через росистую равнину к деревне. Сладко пахло багульником. И все пел и пел, приближаясь к нам, пастуший рожок.

На околице мы встретили пастуха. Он гнал стадо коров. У каждой коровы бренчал на шее медный «болтун».

— Вот это дело! — воскликнул пастух, снял шапку и поклонился.— Спасибо, друзья, что ружья с собой захватили. Жизни от волков нет. Почитай каждый день телков режут. Охотники в наш край редко заглядывают.

— Это почему же?

— Глушняк, мшары. Добраться до нас затруднительно. Мы последние. Дальше деревень нет на сто километров. Один лес.

— Какая это деревня?

— Называется она по-разному. По-новому — Гришино, а по-старому — Заводской Посад. Тут при государе Петре был железный завод.

Гришино оказалось обыкновенной деревней. Так, очевидно, о ней было бы сказано в любом описании. Но в этой ее обыкновенности была спокойная и знакомая прелесть: в резных наличниках на оконцах, в высоких крылечках, в ягодах калины над частоколами, в старых бревнах, сваленных у каждых ворот, в сварливых огненных петухах, в серых глазах женщин — то строгих, то застенчивых, то ласковых, в осторожной походке хозяек, когда они несут на коромыслах полные ведра, в кудрявой герани, расцветающей в банках из-под тушенки, в ребятах с волосами, выгоревшими до цвета пеньки.

В конце деревни, в уличке, заросшей по твердому белому песку чистой травой, стояла одинокая изба вся в цветах. На крылечке сидел рыжий кот с такими зелеными мрачными глазами, что на них нельзя было долго смотреть. Тотчас за изгородью струилась река с водой цвета крепкого чая. Это была Пра.

Я посмотрел на избу, и у меня сжалось сердце,— так бывает всегда, когда увидишь то, о чем думал много лет. А думал я о том, чтобы поселиться в такой вот чистой избе, в лесном пустынном краю, поселиться надолго и спокойно работать. Только так, мне казалось, могут быть написаны настоящие вещи — неторопливо, обдуманно, в полную меру сил.

Мы поднялись на крылечко избы, постучали в оконце. Открыла нам пожилая женщина в белой косынке.

— Пожалуйте в горницу,— приветливо сказала она, не спрашивая, кто мы и зачем к ней постучались.— Я в окошко вас приметила. Гляжу, охотники идут, видать, московские, веселые, образованные. Мы с Алешей прохожим всегда радуемся. Прохожий человек у нас редок.

В горнице было чисто, сухо. Цветы стояли не только на подоконниках, но и на полу и ярко цвели; им было хорошо, должно быть, в этой теплой светлой избе.

— Сейчас Алеша взойдет, он умывается,— сказала женщина.— Двое их у меня, ребят. Алеша да Катя. Алеша — председателем сельсовета, а Катя работает на ватной фабрике под Клепиками. Небось проходили мимо. Там дорога старой ватой уложена. Где болотце, там шоферы старую вату под колеса подкладывают, чтобы машине было легче пройти.

Мы вспомнили, что и вправду шли ночью по странной упругой дороге.

— Это вата и есть! — засмеялась женщина.— Вам невдомек... А вот и он, мой Алеша.

В горницу вошел юноша в кителе с ленточками орденов, в защитных брюках навыпуск и желтых туфлях. Что-то неуловимо изящное было в его движениях, во всем облике. Здороваясь, он наклонил голову с русыми, медного отлива волосами, потом выпрямился, и мы увидели его глаза, совершенно синие и смущенные.

Было что-то знакомое в этом лице. Казалось, что я давно его видел, давно знаю, пока я не сообразил наконец, что Алеша очень похож на Есенина. Я сказал ему об этом. Он усмехнулся:

— Возможно. Мы ведь с ним земляки: оба рязанские. Меня на фронте так и прозвали: «Алеша Есенин».

— А вы любите есенинские стихи?

— Не все. Иные вещи люблю. Например, про «серенький ситец наших северных скромных небес».

Так в деревенской глуши завязался разговор о поэзии с председателем сельсовета Алексеем Софроновым. Потом заговорили о лесах, гришинском колхозе, обо всем этом крае.

— Колхоз у нас богатый,— сказала старуха.— Видали коров? Сытые, молочные. Ярославки. Тут пастбища густые, медоносные. У нас и артель работает. Алеша ее основал. Дуги делают, колеса, бочонки, ульи. Край обильный! Одних грибов сколько! Здесь их не то что собирать — косить можно. Верное слово!

— Да,— заметил Алеша,— край удивительный. Сюда безнаказанно приезжать нельзя.

— А что?

— Да ничего... Увидите сами. Он вам долго еще будет сниться в Москве, этот край. Я здесь вырос, да вот до сих пор не привык.

— К такой прелести разве привыкнешь! — тотчас согласилась Алешина мать.

В горницу торопливо вошла с крылечка суетливая старушка в поневе, остановилась у порога, быстро вытерла рот сморщенным кулачком.

— О господи! — запела она плачущим голосом.— Добрым людям гостей бог посылает, а я к тебе, Леша, со своей нудой да бедой.

— Что случилось, бабка Настасья?

— Взял бы ты ремень да выпорол моего Саньку. Я с ним совладать не в силе, мне уже восьмой десяток пошел. Да и грех мне, старухе, малого пороть, хоть он мне и внук.

— За что же его пороть? — спросил Алеша и усмехнулся.

— Как за что? Я, милый, законы хорошо-о знаю. Они недаром писаны. Есть такой закон, чтобы престарелым людям воспомоществование оказывать? Есть! Даже в песне поется: «Старики везде у нас в почете». Сама слыхала, ей-богу! А он чего делает, Санька! На самой заре встанешь и топчешься-топчешься по избе: и воды надо принесть, и печь растопить, и веником пол подмахнуть, и курам пшена подсыпать, и то, и се. Верчение такое, спаси господь! И все я одна. А он, как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку молока — только я его и видела, вихрастого. Зальется, враг его расшиби, на цельный день на выгон, кожаный шар ногами гонять. И кто его только выдумал, тот футбол проклятый! Бьют и бьют от зари до зари, подметки себе начисто поотбивали. Носятся как оглашенные, и все не то кричат, не то лают: гол да гол! А чему радоваться, ежели человек, скажем, гол как сокол! Нет того чтобы бабке помочь, а все гол да гол!

— Это верно,— согласился Алеша.— Крепко наши мальчишки взялись за футбол. Мы их маленько приструним.

— А надысь, как попали шаром по избе,— ой, какой стра-ах! Вся изба затряслась, затрепетала, а кочеток в сенцах как крикнет дурным голосом, как взовьется да головой трах об стреху! Упал, глаза закатил. Я его водой отливала; чуть было не помер в одночасье мой кочеток. Сам посуди: как не испугаться? Тут и человек сомлеет насмерть, не то что животная тварь. Значит, приструнишь?

— Не беспокойся.

— Ну, спасибо!

Старушка низко поклонилась, вышла на улицу и тотчас за порогом закричала, поспешая к своей избе:

— Санька! Подь сюда! Я те покажу, как футболом займаться, лодырь ты этакий!

Мы посмеялись над горем бабки Настасьи и распрощались с хозяевами. Алеша проводил нас до мостков через Пру и сказал, чтобы мы непременно шли на «двести семьдесят третий» лесной кордон: места там замечательные.

За Прой мы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и бле-

ском неба над вершинами. Ветра не было. Лимонницы летали над полянами.

Чем дальше, тем лес делался глуше, торжественнее, сумрачнее. Неожиданно под обрывом блеснула вода — старица Пры, заросшая последними белыми лилиями и водяной гречихой. За ней лесная дорога уходила вверх широким поворотом, пересеченным теплыми полосами света.

Постепенно слух привык к тишине, и мы начали различать неясное курлыканье журавлей, стук дровосека-дятла.

Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя. Каждую низину в лесу, заросшую непролазным темным ольшаником, мы принимали за берега этого озера. Но оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых осин и старой, черной ольхи.

Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни,— все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскрываются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком коренастый гриб боровик.

Тень от нависших деревьев падала на воду. Вода в тени казалась необыкновенно глубокой, черной. Палый лист осины лежал на этой воде, как драгоценность, небрежно брошенная юной осенью. Осень была совсем еще молодая, еще в самом начале своей недолгой жизни.

Если бы можно было замедлить ход времени, чтобы долго голубел над озером этот тихий свет и этот удивительный день, чтобы можно было долго следить за тенью птиц на воде, за едва приметным блеском, подымавшимся к небу!

Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе.

И еще подымалась досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые тобой и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что настоящий восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.

На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик *Алексей Желтов*».

Вокруг скамейки, сколько бы мы ни смотрели, валялся только один побуревший окурок — так безлюдна была эта дорога. И тем трогательнее показалась эта забота о лесе в тех местах, где, быть может, за неделю пройдут два-три человека. Дорога, судя по карте, терялась километрах в пяти, в чащах за озером Линевым.

Кордон стоял на бугре над тихой заводью Пры. На крыше его был приколочен дощатый щит с черным номером по белому полю — «273». По этому номеру определялись самолеты, пролетавшие над лесами.

Лесник Алексей Желтов, обветренный старик в выгоревшей зеленой фуражке со значком объездчика на околыше — двумя медными дубовыми листочками, сидел на лавочке около избы и читал газету, как бы не видя нас, пятерых человек, медленно подходивших к кордону.

Это была явная хитрость. Он нас давно уже заметил в окошко и нарочно вышел с газетой на порог. Всем своим видом Алексей Желтов (он же «дядя Леша») хотел показать, что прохожие люди здесь не в диковинку и что он, человек обходительный и повидавший в жизни всякие виды, совершенно не любопытствует, кто мы, зачем пришли и куда направляемся.

Разговор, начавшийся с дядей Лешей, был уже нам знаком — хитрый разговор, сбивающий с толку неопытных горожан.

Поговорили о засухе, о том, что где-то — надо думать, в стороне Криуши — горит лес, об урожае, новостях из газеты, ярмарке в Клепиках, но ни слова о ночлеге и о том, кто мы такие. Об этом полагалось заводить расспросы не сразу, помедлив,— таков был нерушимый обычай в этих местах.

Поговорили, напились воды из родника под сосной,

похвалили воду, покурили, и только тогда разговор перешел к главному: можно ли поселиться на несколько дней в избе у дяди Леши и согласится ли его старуха нам готовить?

— Сеновал большой, сена много, живите сколько хотите. Я всегда гостям рад. А вот насчет пропитания — это дело не мое. Надо спросить мою старуху, бабку Аришу. Уж и не знаю, согласится ай нет. Дело ее, хозяйское. Пожалуйте в избу, там и рассудим.

Бабка Ариша, сухая, маленькая старуха с темным строгим лицом, конечно, сказала, что упаси бог, как это можно готовить на пятерых человек! Совсем это немыслимое дело! А вдруг она не угодит, как в запрошлый год не угодила лесничему. Сварила уху, а он сказал, что больно жирная. Может, и посмеялся над ней, а она этого до сих пор не забыла. Это для хозяйки обидно. Самовар — дело пустое. А вот кулеш, бог его знает, как сготовишь. Видать, люди городские, балованные, а у нее кулеш хоть и густой, да простой.

На все наши уговоры бабка упрямо отвечала:

— Да уж и не знаю, как быть...

Потом она неожиданно всполошилась:

— А чего ж вы мешки ваши да ружья у порога кинули? Неси в избу. Ты что сидишь? К легкому табаку пристраиваешься! — прикрикнула она на старика.— Вещи подсоби внести. Люди притомились, всю ночь шли. Тебе только бы дорваться до разговору. Поживут у нас подольше — успеешь языком намолоть.

Она начала торопливо вытирать дощатый стол.

— Я сейчас вам молочка пока что принесу. Какого хотите: утреннего или вечернего? Самовар раздую, язей зажарю — старик их нынче поймал. А там видно будет.

Обычай был соблюден, и с этой минуты бабка Ариша засуетилась, захлопотала и начала заботиться о нас, как о родных детях. Глаза ее светились лаской и волнением, и она все повторяла:

— Господи, три года никто не гостил! Спасибо вам, что надумали у нас на кордоне пожить. Вот мои сыны да дочки обрадуются! Они от людей совсем отбились. Я сама в этой глухомани всю жизнь просидела. Дочки у меня славные, красивые! И сыны тоже. Сейчас они все в лесу, на обходе. Отцу помогают. У нас обход бесконечный: одному человеку никак не управиться.

Мы прожили несколько дней на кордоне, ловили рыбу

на Шуе, охотились на озере Орса, где было всего несколько сантиметров чистой воды, а под ней лежал бездонный вязкий ил. Убитых уток, если они падали в воду, нельзя было достать никаким способом. По берегам Орсы приходилось ходить на широких лесниковских лыжах, чтобы не провалиться в трясину.

Но больше всего времени мы проводили на Пре. Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра.

Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой. С этих сосен мы удили упористых язей.

Перемытые речной водой и перевеянные ветром песчаные косы поросли мать-и-мачехой и цветами. За все время мы не видали на этих белых песках ни одного человеческого следа — только следы волков, лосей и птиц.

Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза.

Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов. Над бегучей водой беспрерывно перелетали с берега на берег сверкающие сизоворонки и стрекозы, а в вышине парили огромные ястребы.

Все доцветало вокруг. Миллионы листьев, стеблей, веток и венчиков преграждали дорогу на каждом шагу, и мы терялись перед этим натиском растительности, останавливались и дышали до боли в легких терпким воздухом столетней сосны. Под деревьями лежали слои сухих шишек. В них нога тонула по косточку.

Иногда ветер пробегал по реке с низовьев, из лесистых пространств, оттуда, где горело в осеннем небе спокойное и еще жаркое солнце. Сердце замирало от мысли, что там, куда струится эта река, почти на двести километров только лес, лес, и нет никакого жилья. Лишь кое-где на берегах стоят шалаши смолокуров и тянет по лесу сладковатым дымком тлеющего смолья.

Но удивительнее всего в этих местах был воздух. В нем была полная и совершенная чистота. Эта чистота придавала особую резкость, даже блеск всему, что было окру-

жено этим воздухом. Каждая сухая ветка сосны была видна среди темной хвои очень далеко. Она была как бы выкована из заржавленного железа. Далеко было видно каждую нитку паутины, зеленую шишку в вышине, стебель травы.

Ясность воздуха придавала какую-то необыкновенную силу и первозданность окружающему, особенно по утрам, когда все было мокро от росы и только голубеющая туманка еще лежала в низинах.

А среди дня и реки и леса играли множеством солнечных пятен — золотых, синих, зеленых и радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой, шевелящийся мир листвы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного зеленого цвета.

Полет птиц разрезал этот искристый воздух: он звенел от взмахов птичьих крыльев.

Лесные запахи набегали волнами. Подчас трудно было определить эти запахи. В них смешивалось все: дыхание можжевельника, вереска, воды, брусники, гнилых пней, грибов, кувшинок, а может быть, и самого неба... Оно было таким глубоким и чистым, что невольно верилось, будто эти воздушные океаны тоже приносят свой запах — озона и ветра, добежавшего сюда от берегов теплых морей.

Очень трудно подчас передать свои ощущения. Но, пожалуй, то состояние, которое испытывали все мы, вернее всего можно назвать чувством преклонения перед не поддающейся никаким описаниям прелестью родной стороны.

Тургенев говорил о волшебном русском языке. Но он не сказал о том, что волшебство языка родилось из этой волшебной природы и удивительных свойств русского человека.

А человек был удивителен и в малом и в большом: прост, ясен и доброжелателен. Прост в труде, ясен в своих размышлениях, доброжелателен в отношении к людям. Да не только к людям, а и к каждому доброму зверю, к каждому дереву.

Недаром дядя Леша все беспокоился, вздыхал и ждал дождя: уж очень пересохли леса, и как бы от любого пустого случая не вспыхнул пожар.

Когда на третий день лес затянуло с утра серой дождевой дымкой, дядя Леша радовался и бормотал:

— Дождик-то! А! Хорош дождик! А то лес как трут: того и гляди, сам загорится!

По ночам вокруг кордона трубили лоси, и дядя Леша

сокрушался, что слабовато в этом году трубят, меньше стало лосей, уж очень их режут волки. И решил послать сына в Клепики к тамошним охотникам с просьбой устроить облаву на волков.

К вечеру первого дня вернулись из лесного обхода две дочери и два сына дяди Леши. Мы застали их, смущенных и взволнованных, когда они умывались на маленьком озерке рядом с избой.

Девушки неистово терли мелом и без того ослепительные зубы, а вечером вышли в горницу к чаю в шуршащих праздничных платьях, смуглые, золотоволосые. Даже опущенные ресницы не могли скрыть блеска их глаз.

Старший сын был сдержан, очень вежлив, говорил с нами о Москве, об «Угрюм-реке» Шишкова (он только что прочел эту книгу), о своей затаенной и уже осуществившейся мечте: он уезжал на днях во Владимир учиться в лесной техникум. А младший молчал, улыбался и тихонько наигрывал на гармонике:

> Старинный вальс «Осенний сон»
> Играет гармонист...

Девушки скоро перестали стесняться. Они сидели за столом, подпершись ладонями, жадно слушали наши разговоры и пристально смотрели на нас туманными радостными глазами. Должно быть, мы казались им пришельцами из большого, смертельно заманчивого мира, куда они рано или поздно все равно попадут.

Дня через два выяснилось, что дядя Леша с семьей не единственные обитатели этой глухой стороны.

Мы ушли далеко вниз по Пре на рыбную ловлю. Ближе к сумеркам на песчаный обрыв над рекой осторожно вышли из леса два маленьких босых мальчика. Они несмело подошли к нам, сказали: «Здравствуйте!» — и быстро сели в траву, чтобы не пугать рыбу.

— Ну как? — шепотом просипел старший мальчик.— Клюет?

— Клюет понемногу.

Мальчики поглядели друг на друга, помолчали, потом старший ткнул младшего в бок, а младший в ответ ткнул старшего. Мальчики немного посидели неподвижно и снова толкнули друг друга.

— Вы откуда взялись?

— С выселок.

— С каких выселок?

— С Жуковских. Это в лесу. За четыре километра от дяди Леши.

— Сколько же у вас дворов на выселках?

— Два двора и есть.

— А куда вы идете?

— Да к вам.

— Как так к нам?

Мальчики фыркнули, посмотрели друг на друга и снова толкнули один другого.

— Ты скажи,— прохрипел старший.

— Нет, ты. Ты старший. А я маленький.

— Как так к нам? — снова спросил я.

— Письмо тебе принесли.

Тайна явно сгущалась.

— От кого?

— От охотника. Тоже московский. Он у нас на выселках живет.

Старший мальчик вытащил из-за пазухи записку и протянул мне. Записка была написана карандашом:

«Узнал о появлении в этих дебрях москвичей. Очень рад и очень прошу пожаловать сегодня вечером ко мне на выселки на кружку чаю». Подпись была незнакомая.

— Как вы нас здесь нашли?

— По следам. Тут недалеко. Мы километров десять всего к вам и бегли.

— Что ж вы сидели полчаса и молчали? И письма не отдавали?

— А мы заробели,— смело признался старший.

После этих слов мальчишки разом встали и побежали в лес. Младший все оглядывался на бегу и спотыкался.

Вечером мы пошли к таинственному охотнику. Захватили с собой фонарь «летучую мышь».

Ночной туман уже лег на сырую тропу. Холодная луна поднялась над чащами и поплыла своим вековечным путем. Низко летали совы. Фонарь освещал только землю: корни деревьев, траву, темные лужи. Потом впереди появилось маленькое дымное зарево, и мы вышли к двум избам, терявшимся в темноте. Около изб горели костры.

Оказалось, что жители выселок жгут костры всю ночь, чтобы отпугнуть волков.

Нас встретил сухощавый пожилой охотник, настоящий отшельник. Он напоил нас крепким чаем в пустой черной избе, куда все время старался пролезть из сенцев теленок.

Охотник оказался работником Торфяного института.

Несколько лет назад он приезжал в эти места с небольшой экспедицией в поисках новых торфяных массивов, и с тех пор этот край так ему понравился, что он ездит сюда в отпуск каждую осень. Мы были, по словам охотника, первыми москвичами, попавшими в эти места за последние несколько лет. Как же было не зазвать нас к себе!

Обратно шли ночью. Глухо и жалобно кричала в болотах какая-то птица. Луна клонилась к земле. Ртутный ее свет проникал в чащи, где все трубил, печально звал кого-то лось.

На кордоне горел свет в оконце: нас ждали. Дядя Леша читал за столом, нацепив железные очки, толстый календарь за 1948 год. А девушки сидели, обнявшись, на скамье около русской печки и тихонько, покачиваясь, напевали:

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни.
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни...

Я проснулся на сеновале поздней ночью. Луна зашла. Сквозь щели в тесовой крыше светились звезды. Далеко, казалось — на конце земли, подвывали волки. Хорошо было, зарывшись в теплое сено, слушать звуки этой ночи, представлять себе это полесье, темные дороги, быструю и холодную реку, где на берегу крепко спят перевозчики и только дотлевают в тумане угли костра.

Утром мы ушли в Спас-Клепики. Был тихий светлый день. Лесной край уходил в нежную мглу, рядился в прощальный туман. И с переливчатым звоном протянул высоко над нами первый косяк журавлей.

1948

РАВНИНА ПОД СНЕГОМ

Снег начал идти с вечера и к ночи запорошил всю равнину.

Океан катил на песок длинные волны. Они шумели без устали — месяцы, годы,— и Аллан так привык к этому шуму, что перестал его замечать. Наоборот, Аллана поражала окрестная тишина. Ему казалось, что она выпала на землю вместе со снегом.

Холодный снег и черные оконные стекла с отражением

свечи. Должно быть, эту свечу было видно с океана, где волны мотали тяжелую рыбачью барку. И рыбаки, глядя на слабый огонь, думали о кипящем котелке и сухой постели.

Аллан усмехнулся. Вечный самообман, вечная наивность человеческих надежд и мечтаний! Хороши бы они были, эти рыбаки, если бы им удалось пристать к берегу и они прошли бы через равнину к его дому! Что бы они увидели здесь? Пустую комнату, свечу, солдатскую койку и холодную золу в камине. И его, Аллана, закутанного в рваный шарф, озябшего и до того печального, что он даже не мог говорить. Потому что он был одинок, как никто. Даже мышь, что шуршала в золе, была счастливее его. Она была серой и веселой мышью, а он был великим и никому не нужным поэтом Америки — огромной страны, где сейчас начиналась эта затяжная зима.

Люди любят рассуждать о счастье. Но никто не знает, что самое большое счастье — в понимании. Он не хотел ни славы, ни покоя. Он хотел только одного — чтобы окружающие поняли, что его воображения и умения радовать хватит на тысячи людей, а не на двух-трех.

Ему хотелось дарить без конца. И чем больше он дарил, тем становился богаче.

Он мог, сидя на камне у перекрестка, рассказать маленькому негритенку свой новый замысел. Этот замысел был так похож на сказку, что Аллан сам смеялся от неожиданности, когда рассказывал его. И негритенок тоже хохотал и хлопал себя по бокам черными руками.

Он мог сказать случайной попутчице в дилижансе о своей любви к ней, начавшейся сейчас, внезапно. Конец этой любви был близок — на первой же остановке, где она сойдет. Но вместе с тем Аллан знал, что конца этой любви не будет. Потому что есть память, и она не даст покоя.

Аллан так ясно представлял себе эту встречу, как будто он должен был тотчас сесть к столу и написать о ней. Усталое от дороги лицо молодой женщины, визг чайки над тусклой водой, фырканье лошадей, скрип песка под колесами — и потом, после нескольких его слов, мир каким-то чудом зацветет вокруг.

Женщина подымет глаза, улыбнется, и он заметит смятение на ее лице. Кто этот человек? Гость из той страны, о которой мы иногда думаем втихомолку, но не верим в ее существование? Или безумный?

Почему солнце прорвало гряду сырых облаков и мор-

ская пена ослепительно засверкала, как взбитый снег? Почему возница запел о той, что похитила его сердце, ничего не сказав о любви? Почему с далеких холмов доносится гул леса, а редкие капли дождя тяжело бьют по крыше дилижанса? Почему радуга опрокинулась над равниной, как пограничная арка? Что это за густое жужжание? Неужели золотой жук пролетел за окном? Почему дрожит ее рука и губы силятся сказать: «Кто вы? Не надо было говорить мне этого».

Он знает, что она права, что он разрушил освященное годами течение жизни, что отныне ее комната с полосатыми обоями, голос мужа, треск кофейной мельницы и добропорядочные гости — все это покажется мертвым и скучным, как обыденный день, заполненный заботами свыше сил.

«Меня могут обвинить в пристрастии к женщинам и детям»,— подумал Аллан.

Ну, хорошо. Вспомним другое. Больницу в Морристоне, когда на соседней койке умирал лесоруб. Его придавило сосной, и старику больше ничего не оставалось, как умереть.

И он умер, конечно. Но ночью, за два часа до смерти, он открыл глаза и спросил Аллана:

— Сосед! А сосед! Вы знаете, что такое леса?

— Знаю,— ответил Аллан, немного подумав.— Это, пожалуй, то же самое, что океан, если смотришь на него с одинокой вершины. Они шумят, колеблются, и солнце закатывается в листве, как в темной бездне. И если птица сядет над головой и прокричит пять раз, то, значит, где-то здесь, в пяти ярдах, зарыт старинный клад. Его легко отыскать и вытащить из песка окованный железом сундук. Можно разбить его и найти там — нет, не дублоны! — а подвенечное платье для вашей дочери. Ее, кажется, зовут Чармен?

— Да,— сказал лесоруб,— ее зовут Чармен.

— А вам случалось,— спросил Аллан,— встречаться с глазу на глаз с медведем?

— Еще бы! — ответил лесоруб.— Он долго смотрел на меня своими зелеными буркалами, потом мы подмигнули друг другу и разошлись. Мы лесные жители, и нам незачем задираться. А Чармен,— неожиданно добавил лесоруб,— всего девятнадцать лет. Я написал ей, что скоро поправлюсь.

Чем можно было его утешить? Только ложью.

— Вы знаете,— сказал Аллан,— стоит вам закрыть глаза, поглубже вздохнуть и вызвать в памяти Чармен — и все случится так, как вы хотите. Попробуйте! Ну! Ветер всегда затихает к вечеру, и солнце освещает сосны над вашей лачугой. Смотрите на небо сколько вам угодно, но вы увидите только одно-единственное облако, такое маленькое, как перо, потерянное сойкой. И больше ничего. Я же знаю — вам хочется дождаться, когда темнота настолько сгустится, что в ней заблестят звезды. Это значит, что пора ужинать. И ужин, конечно, готов — Чармен гремит мисками и напевает песенку. Ах, черт! Я позабыл ее слова.

— А-а,— догадался лесоруб,— это, должно быть, о том нищем медвежонке, что клянчил у девочки милостыню?

— Да, да! Это та самая песенка. Я вспомнил. И я спою ее, но тихо, чтобы не услышали сиделки. Они думают, что все доставляющее нам радость служит во вред.

Он начал напевать:

Тук-тук! — стучится в дверь
Какой-то мокрый зверь —
Голодный медвежонок.
«Прошу меня простить,—
Нельзя ли одолжить
У Чармен мне деньжонок?»

Лесоруб уснул под эту песню и так и не проснулся. Жизнь затихла в нем, как отдаленный звон.

Лесоруба похоронили на кладбище недалеко от больницы. Между зеленых могил паслись стреноженные лошади.

Аллан вызвался сделать на деревянном кресте эпитафию. Он написал:

«Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 63 лет, убитый упавшей сосной. Он всю жизнь трудился и потому был благородным человеком. Да упокоит его господь в селеньях праведных».

Аллан выздоравливал и доживал в больнице последние дни. Он часто ходил на могилу Бирна. Ему нравилось думать, что под этим еще не заросшим травою холмом лежит человек, который мог бы стать его другом.

Они бы наверняка сошлись, потому что лесорубу не надо было объяснять всех сложностей жизни, подтачивавших существование Аллана. С ним Аллан отдыхал бы за разговором о том, как надо разводить пилу и подманивать птиц.

Перед тем как покинуть больницу, Аллан написал дочери лесоруба о последних минутах отца. И тотчас исчез, как бы боясь, что Чармен приедет и застанет его в Морристоне.

Аллан подошел к окну. Океан разыгрывался и сотрясал берега.

— Никогда! — сказал Аллан и поежился от холода.— Ни-ко-гда! — повторил он.

Никогда не вернется прожитая жизнь. Ему было жаль ее. Если выбросить годы нищеты, утрат и путаницы, возникавшей почти при каждом общении его с людьми, то все же останется несколько десятков дней, ласковых и тихих, как падение этого снега.

Вирджиния умерла. Ее звали «Троицын цвет». Так зовут в этом штате весенний легкий цветок.

Он виноват в ее смерти. Он был неспособен заработать несколько десятков долларов, чтобы позвать врача, протопить эту старую лачугу, создать Вирджинии хотя бы подобие покоя. Он мог только мечтать. Это было единственным делом его жизни.

Что он мог еще? Только укрывать Вирджинию своим рваным пальто, когда она лежала в жару на соломенном тюфяке. И, отвернувшись, глотать слезы. Даже бродячий кот, прижившийся в их доме, знал лучше Аллана, что было нужно делать. Все последние ночи он лежал на груди у Вирджинии и согревал ее своей теплотой.

Тогда была такая же зима и океан шумел так же, как и сейчас,— ему не было дела до страданий Вирджинии. Тысячи лет он накатывал на землю горы зеленой воды. Это занятие было таким величественным, что людские горести казались перед ним мимолетными, как шорох песчинки.

— Неужели никогда? — спросил Аллан и повернулся лицом к темной комнате.

Как долго он живет с этими скудными вещами! Как безропотно они несут вместе с ним тяжесть существования! Они были здесь при Вирджинии. Она прикасалась к ним. С ними можно было разговаривать вполголоса, но все равно не услышишь от них ни одного слова в ответ.

— Почему вы живете, а ее нет? — громко спросил Аллан.

Вещи молчали.

— Ну, ничего,— сказал Аллан,— не обижайтесь. Я никогда вас не брошу.

Вещи не отвечали.

— Боже мой! — сказал Аллан.— Как пережить эту ночь!

Он сел к столу и начал писать. Это его немного успокоило, хотя он и знал, что каждый его новый рассказ вызовет злое, а в лучшем случае почтительное недоумение. В Америке к нему относились как к пришельцу с чужой планеты.

Как смеет этот нищий поэт разрушать своим острым и сверкающим словом добропорядочность и твердые понятия и превращать трезвый мир в чучело для насмешек! Как он смеет выдавать свое воображение за нечто столь же действительно существующее, как существуют биржи, звездный флаг, церкви и конторы!

Что это дает, кроме короткой ложной радости и длительной, сосущей под сердцем тоски? Зачем отравлять сердца и рассказывать прекрасные небылицы? Для лишних слез? Для разочарований? Для чего?

«Неправда! — говорил про себя Аллан.— Я — веселый легкий человек. Не хмурьтесь! Засмейтесь мне навстречу. Я хочу прибавить вам каплю счастья. А вы отшатываетесь от нее, как от яда. Глупцы!»

«Я глубоко убежден,— писал Аллан,— что человек может совершать чудеса. Если мне не удастся доказать это, то через пятьдесят или сто лет появится другой человек, который докажет это лучше меня. Я вовсе не хочу сказать — избави господи! — что именно я способен сделать что-нибудь чудесное. Но все же я заметил, что люди охотно верят в те истории, которые я для них выдумываю, и тотчас рассказывают о них друг другу. Так у людей возникает твердое убеждение в существовании того, что выдумано мной и никогда не бывало. А разве это не чудо?

Мы знаем, что корабли Магеллана обошли вокруг света, а адмирал Нельсон был убит в Трафальгарском бою. Но с такой же достоверностью мы знаем, что существовал принц Гамлет, а леди Макбет не могла отмыть со своих рук кровавые пятна...»

Кто-то сильно постучал, должно быть кулаком, в стену. Аллан прикрыл исписанную страницу валявшимся на столе листком пожелтевшей бумаги с кривым рядом цифр, встал и вышел в прихожую. Дуло в разбитое окно, и было

слышно, как за порогом нетерпеливо бьет ногой по мерзлой земле и фыркает верховой конь.

Аллан, не окликая ночного гостя, распахнул дверь.

— А-а! — сказал он.— Доктор Грегори! Как это вы решились приехать в такую ночь?

Грегори, нагнувшись, вошел в прихожую, снял шляпу и стряхнул с нее снег. Это был высокий сухой человек со щеками кирпичного цвета. Он прищурил и без того маленькие глаза, улыбнулся и протянул Аллану руку.

— Мой долг,— ответил он хрипловатым голосом.— Я был здесь неподалеку, у Фридера. Он подыхает от водянки. Вас уже две недели не видели в Вест-Пойнте. Я решил заехать по пути и проведать, в добром ли вы здоровье, Аллан.

Они вошли в комнату.

— К сожалению...— пробормотал Аллан и взглянул на черный холодный камин.

— Не стоит беспокоиться,— ответил Грегори,— раз в кармане всегда есть вот это... А стаканы найдутся.

Он вынул из кармана и поставил на стол бутылку виски.

Сначала они выпили молча и медленно. Океан ревел все яростнее, он совсем осатанел. Пламя свечи трепетало на мраморном лице богини Паллады — ее бюст стоял на старом шкафу.

— Пыль у вас,— сказал наконец Грегори.— Пыль и холод!

Он обернулся к Палладе.

— Разбейте эту женскую голову, эту богиню победы!

— Зачем?

— Она вам не принесла ни победы, ни даже успеха.

— Как знать,— сдержанно ответил Аллан.

— Что там знать! — воскликнул Грегори.— Ваша участь ясна, как вот этот стакан. Считайте себя кем хотите. Посланником неба. Или ада. Мне все равно. Что вы еще можете выдумать, Аллан? Многое? Прекрасно! А что вы за это получите? Пыль и холод? И писк мышей вон там, в камине?

Аллан пристально посмотрел на Грегори. Доктор мало выпил, но был уже пьян и, как всегда, начинал придираться. Аллан усмехнулся.

— Вы гордитесь своим воображением,— сердито сказал Грегори.— А между тем не можете выжать из него ни цента. Вы не знаете, что такое жизнь. Поездите по но-

чам, как я. Под этим снегом. На старой лошади. А чего ради? Ради благодарности нищих и бездельников? Из нее, так же как и из вашей поэзии, не выжмешь гроша.

— Я слушаю вас очень внимательно.

Доктор стукнул кулаком по столу.

— Черт меня побери, но я заслуживаю лучшего существования! Я просился лекарем в армию генерала Тейлора. Мне нравилась эта мексиканская война. Там здорово грели руки.

— Америка полна негодяями и искателями приключений,— мягко заметил Аллан.

— Искателями золота,— поправил Грегори.— Не стоит быть простачком в наше время, Аллан.

Грегори в упор посмотрел на Аллана.

— Я, кажется, чуточку выпил. Да! Так как же, Аллан? Можете вы из ваших мечтаний вытряхнуть хоть единый доллар? Сколько же после этого стоит ваша голова?

— Продолжайте!

— Хо! — крикнул доктор.— Я не дам за нее даже свой рваный зонтик.

— У меня нет охоты,— спокойно сказал Аллан,— слушать *любую* пьяную болтовню. Вы мне помешали.

— Все равно у вас нет выбора собеседников,— пробормотал Грегори.— Чему я помешал? Изобретению философского камня? Или эликсира молодости?

Глаза Аллана почернели от гнева.

— Хорошо! — воскликнул он.— Раз вы издеваетесь над воображением... видите этот рваный листок с цифрами?

— Счет от лавочника,— сказал Грегория и налил себе виски.— Вижу. Посмотрим, что вы еще выдумаете. В вашем теперешнем положении.

— Это не счет от лавочника. Вы недогадливый человек, Грегори. Особенно когда напьетесь и грубите. Я нашел этот листок в старом фолианте. В описании открытия Флориды адмиралом Понсэ де Леоном. Я купил эту книгу у негра в Вест-Пойнте. Она попахивает перцем и веками.

— Просто пахнет негром,— возразил Грегори.

— Этот листок был вклеен между двумя страницами. Судя по чернилам, бумаге и почерку, ему около двухсот лет. Это тайная запись. Вы могли бы ее разобрать?

— И не подумал бы!

— Для этого у вас просто не хватит гибкости ума,— вежливо объяснил, улыбнувшись, Аллан.— Нужно найти

ключ. Я нашел его и восстановил эту запись. За несколько часов.

— А-а,— небрежно протянул Грегори.— Что же там было такого особенного?

— В школе вы учили историю завоевания Америки. Вы знаете, конечно, о каперах и пиратах. Одного из них звали Блейк. Он был англичанином, но работал на испанского короля.

— Спасибо за свежие новости! — пробормотал Грегори.— Блейк! Он был самым богатым подлецом на этой земле.

— Перед смертью Блейк зарыл свои богатства. Никто не знает где. Их искали сто лет и...

— Нашли? — спросил Грегори.

— Нет. Но сейчас их найти ничего не стоит.

Грегори безнадежно махнул рукой.

— Ох, это старые сказки, Аллан! Для парализованных бабушек около камина.

— Записывайте! — строго сказал Аллан.— Я буду расшифровывать эту ветхую запись и диктовать. Я читаю теперь эти цифры с такою же легкостью, как вы рецепты. Но до сих пор я не удосужился выразить эту математическую запись в словах.

— Забавно! — пробормотал Грегори, взял перо, резко отодвинул рукописи Аллана и приготовился писать.

— Пишите! «Я, божьей милостью известный всем Блейк, завещаю тому, кто сможет прочесть эту предсмертную запись, не обращать ее во зло людям, а применить для добра. Я беру с него клятву в этом перед престолом всевышнего. В случае если он найдет мои сокровища, накопленные в морских схватках,— да отпустит мне господь невинно пролитую кровь! — то пусть возьмет себе только сотую часть, а все остальное отдаст первой же девчонке, какую он встретит в окрестностях, при условии, что, кроме рваного платья, на ней ничего не будет надето.

Если этот мой приказ не будет исполнен, то в день воскресения мертвых я встану из могилы и сочтусь с тем обманщиком самым страшным судом, какой способен придумать человеческий разум.

Клад зарыт к югу от форта Брунсвик, на острове Джекиле, под третьим холмом, если идти от северной оконечности острова, от мыса Иглы. Найдя середину холма, надо отмерить сто семнадцать шагов к юго-юго-

западу, к тому месту, где среди наваленных в беспорядке камней лежит обломок черного лабрадора. От этого обломка отсчитать еще тридцать шагов на двести сорок один градус и тогда начинать работу.

Сокровища эти могут ослепить весь человеческий род. Даже всемилостивейший мой король не обладает и третьей частью таких богатств, хотя в его владениях не заходит солнце и любой ураган затихает, не долетев до их середины».

— Переписали? — спросил Аллан, выждав, когда Грегори допишет последнее слово.

— Да. Занятная штука.

— Благодарю вас.— Аллан взял написанный Грегори листок из-под руки у доктора и небрежно засунул в старый фолиант.— Теперь вы убедились в силе воображения?

Грегори медленно взглянул на Аллана, подмигнул на фолиант, хлопнул себя по коленям набухшими, красными руками и захохотал.

— Вы здорово умеете морочить голову,— признался он добродушно.— Что же вы до сих пор не выкопали этот клад, Аллан? А? Нет времени? Или при вашем богатстве вы в нем не нуждаетесь?

Аллан не ответил.

— Ну ладно! — примирительно сказал Грегори.— Хватит. Оставим эти детские бредни. Меня сейчас занимает другое. Как вы?

— Бессонница,— ответил Аллан.— Это тяжелее всего. Мне хочется записать мысли, что проносятся всю ночь напролет в моей голове. Но тогда они остановятся.

— И слабость? — спросил Грегори.

— Да. И слабость.

— Нервы натянуты с силой струны,— заметил Грегори.— А прочности в них не больше, чем в паутине.

Он задумался.

— Что же мне делать с вами? Я вам скажу откровенно — надо лечь в больницу.

— Опять! — с тоской воскликнул Аллан.— Нет! Ни за что!

— О боже мой! — вздохнул Грегори.— Все не так! Я могу дать вам порошки от бессонницы. Но это вас не спасет.

— Меня ничто не спасет.

Грегори строго посмотрел на Аллана, достал из жилет-

ного кармана несколько бумажных пакетиков, порылся в них и протянул один Аллану.

— Примите сейчас. Тогда к утру уснете. Можно с виски. Это будет сильнее.

Аллан высыпал в стакан виски белый мохнатый порошок и выпил залпом.

— Ночь кончается,— сказал Грегори.— Я бы мог посидеть у вас до утра, чтобы проследить за вашим состоянием. Но кто же закроет за мной дверь, когда вы уснете?

— Я могу закрыть ее сейчас.

— Вы, как всегда, чрезвычайно любезны.

Грегори встал так резко, что порыв воздуха погасил свечу. Тотчас ночь побледнела, и Аллан увидел за окном в освещении, похожем на отблеск лунного холодного огня, пенистую даль океана и черное дерево под окном.

— Ну что же вы? — зло сказал Грегори.— Будете закрывать дверь или нет? Советую зажечь свечу.

Грегори пошел в прихожую и наткнулся в темноте на стул. Он вышел, отвязал коня, похлопал его по шее, потом крикнул:

— Спокойной ночи, Аллан!

Аллан не ответил. Он вышел в прихожую, когда за открытой дверью был уже слышен удаляющийся топот копыт. Лошадь шла галопом.

— Четкий топот копыт раздавался в долине! — проговорил Аллан, стараясь, чтобы ударения в словах совпадали с ударами лошадиных копыт. И повторил: — Четкий топот копыт раздавался в долине!

Он вернулся в комнату, зажег свечу, взял фолиант, опрокинул его над столом и потряс. Потом он перелистал весь фолиант по страницам. Записки, сделанной Грегори, не было. Аллан засмеялся:

— Я победил. Даже эту сухую подметку. Пусть теперь перероет весь остров Джекиль. Там столько песка, что хватит копать на тысячу лет.

Аллан взял листок с цифрами. Это была страница, вырванная из школьной тетради. В нее Аллану завернули в какой-то лавчонке сыр — на бумаге остались жирные пятна.

«Бедный мальчик! Он никак не мог решить уравнение с двумя неизвестными».

Далекий пушечный удар внезапно прокатился над океаном. Блеснул багровый свет.

Аллан погасил свечу и вгляделся в темноту. Что там происходит? Стремительная заря окрасила волны в мрачный цвет меди, и стал виден сорокапушечный корабль. Он шел под полными парусами и вел огонь. На его мачте вился черный флаг с изображением белой человеческой руки.

Блейк! Кого он преследует? Дым застилал волны. Да, конечно, это был Блейк, гость из прошлого века.

Но почему же он уже идет от берега к дому Аллана, увязая в песке, и ветер треплет кружевные обшлага его камзола? Толстоносый Блейк с обожженным лицом. Разбойник и шутник, придумавший изобразить человеческую руку на флаге.

«Мне будет легко сговориться с ним»,— сказал Аллан, закрыл глаза и положил голову на стол.

Стало темно и душно, но Аллан все же видел, как в этой темноте равнина зацвела фиалками от края до края. Цветы испускали тонкий звук, будто в каждом была заложена маленькая струна.

«Да это же сон! — подумал с облегчением Аллан.— Какая сладкая отрава. Хочется жить, но нет сил ей сопротивляться. Вирджиния, уже зацвел твой троицын цвет. Дай руку! Вот так. Почему она ледяная и я не узнаю твой голос? Я знаю каждый твой палец, потому что всем им по очереди я когда-то рассказывал сказки. Что это за пропасть, куда меня тянет, как в Мальстрем?

Помоги мне! Открой мне глаза, Вирджиния!»

Утром к дому Аллана подошла робкая худенькая девушка — Чармен Бирн.

Ветер стих, но было пасмурно. Над океаном поблескивала синева.

Чармен постучала, но никто не ответил. Она заметила, что дверь не заперта, и тихонько вошла в дом.

Худой человек небольшого роста сидел у стола. Голова его лежала на раскрытом фолианте.

— Мистер Аллан! — позвала Чармен.

Человек не ответил.

Тогда Чармен с бьющимся сердцем подошла к Аллану и подняла его голову. Он был мертв.

Чармен с трудом уложила его на солдатскую койку. На шее у Аллана висел на цепочке маленький медальон. Чармен открыла его. Там был портрет молодой женщины редкой красоты. Сбоку рукой Аллана было написано: «Моя мать».

Чармен наклонилась, осторожно взяла ладонями голову Аллана, нежно сжала ее и поцеловала в губы.

Лицо Аллана было прекрасно. Казалось, никогда он не был достоин большей любви, чем сейчас.

Аллан был похоронен на песчаной дюне вблизи океана. На могиле его положили каменную плиту с его именем и надписью, что он прожил на этом свете всего сорок лет.

Через год после его смерти, в бурную и холодную ночь, к могиле подъехал на старом верховом коне доктор Грегори. Он соскочил с коня, огляпулся, подошел к могиле, быстро вынул из-под плаща тяжелый молоток и со всего размаху ударил им по могильной плите. Плита раскололась на несколько частей.

Конь, испугавшись удара, отскочил и помчался галопом вдоль берега. Грегори молча побежал за ним, но замешкался, чтобы закинуть молоток в океан. Потом и конь и Грегори исчезли.

Весной из трещин могильной плиты потянулись ростки троицына цвета, и вскоре вся плита покрылась тесной толпой этих легких цветов.

1949

МАША

С годами каждая новая зима казалась Тихону Петровичу длиннее прошлогодней. По календарю выходило все правильно. Весна возвращалась в свой законный срок, в свою пору, но ждать этой поры становилось чем дальше, тем труднее.

— Это от возраста,— говорил самому себе Тихон Петрович.— Старый человек вёсны уже считает, прикидывает, сколько ему перепадет весенней теплоты. Вот и нервничает. То ли дело — молодость!

Но у Тихона Петровича были, конечно, более веские причины, чтобы нетерпеливо дожидаться весны. Весеннего тепла он ждал не столько для себя, сколько для своих растений или, как он выражался, для своего «древесного семейства». Потому что никакого другого семейства у Тихона Петровича никогда не существовало,— был он закоренелый холостяк. Это было видно даже по его наружно-

сти — по худобе, по строгости всего его облика и привычке разговаривать с самим собой, а бывало, даже всерьез с собой ругаться.

Тихон Петрович работал в плодовом питомнике в небольшом районном городе Разговорово. Был у Тихона Петровича и свой участок с садом и парниками, где он выращивал опытные, или, выражаясь высоким стилем, «экспериментальные» растения. Участок был тесный, но из-за обилия зелени и ее пышного роста он казался большим.

Тихон Петрович уже давно славился на всю округу как опытный и смелый садовод. «Это — наш Мичурин,— с гордостью говорили о нем жители городка.— Преданный своему делу человек, всеобщий советник и помощник. Да одна только беда — за делом как-то позабыл обзавестись семьей и живет бобылем».

Питомник, где работал Тихон Петрович, хотя и находился в маленьком городке, но был известен далеко за пределами области. К Тихону Петровичу постоянно приезжали садоводы из разных местностей России,— бывало, даже из Москвы,— и он охотно делился с ними своими познаниями. Поэтому в небольшом своем доме Тихон Петрович поселился в мезонине, а две комнаты внизу были отведены для приезжих. Тихон Петрович называл их то «гостевыми», то «практикантскими», потому что каждое лето у Тихона Петровича жили практиканты — студенты областного сельскохозяйственного техникума.

Давно уже замечено, что человек, лишенный на время возможности заниматься любимым делом, постоянно к нему готовится. Так, известно, что охотники всю зиму чистят ружья и набивают патроны. Рыболовы, например, плетут лески и красят поплавки, моряки рисуют карты. А Тихон Петрович зимой, сидя у себя на тесном верхотурье, в мезонине, писал в свободное время «Руководство к выращиванию плодовых деревьев, кустарников, овощей и цветов».

Работа Тихона Петровича по своей обстоятельности вполне оправдывала название «руководство». Действительно, Тихон Петрович как бы крепко брал неопытного человека за руку, водил его по грядкам и не торопясь рассказывал, как надо делать землю питательной и жирной, чтобы на ней разрослись нежные и пахучие существа — цветы, которым мы давно уже перестали удивляться.

— И зря перестали,— говорил Тихон Петрович.— Человек никогда не должен терять способность удивляться.

Ежели он настоящий человек, а не портфель, набитый казенными отчетами.

Все это было, конечно, верно. Но с годами не только каждая зима казалась Тихону Петровичу все длиннее, но и сам он все более представлял себя мало кому необходимым.

На поверку выходило, что холостая жизнь, хотя она и независима и отведена хорошему, нужному труду, все же плоха без семейной радости. Даже заботиться о себе с каждым годом становилось скучнее.

«Хоть бы подарить кому-нибудь самое свое любимое,— думал Тихон Петрович.— Сделать родному человеку удовольствие. Так и дарить некому. У других — жены, дети, а у меня вся семья — в моем единственном числе».

Но тут же Тихон Петрович успокаивал себя тем, что при его занятии дети — это беда. Всё вытопчут. Хуже кур. Какие там дети, если Тихон Петрович стонал и морщился, когда видел не то что сломанную ветку или цветок, а даже помятую траву.

Весна пришла, как всегда, ранним утром. Появилась она на бревенчатой стене мезонина квадратом оранжевого и теплого на ощупь солнечного света. И не замеченная во время долгой зимы капля смолы в щели бревна заискрилась в это утро, как топаз. В ней были даже видны маленькие серебряные плоскости и нити, делившие эту ничтожную каплю на несколько сказочных частей.

— Пора! — сказал Тихон Петрович, поглядев на каплю, спрятал до зимы в стол незаконченную рукопись «Руководства» и начал разбирать семена, чтобы высадить их в плошки и расставить по всем подоконникам в теплом доме и на застекленном крыльце.

А потом навалились густые, тяжелые туманы, зимние дороги проржавели насквозь, порыжели, из леса дохнуло сыростью, от тесовых крыш повалил пар. В одну из апрельских ночей вздохнул лед на реке, а утром начался быстрый, как всегда, ледоход, и река разлилась на семь километров.

От весенней воды тянуло свежестью нефти и снега. По всем веткам береговой лозы уселись рядами пушистые седые шмели — молодые почки.

Пришел из областного города первый пароход. Тихон Петрович поехал на нем в город по делам питомника, а кстати и за кое-какой рассадой. До города было езды всего пять часов.

Обратно из города пароход отвалил в сумерки и пошел прямо по разливу. Бакены еще не горели.

Тихон Петрович сидел на палубе, хотя на воде было холодно. В ногах у него стояла кошелка с рассадой. В нижнем помещении, в общей каюте, было тепло, даже жарко, но Тихон Петрович туда не спускался — берег рассаду. Она, как известно, от жары быстро вянет.

Пассажиров на палубе было немного. Ехали пильщики, закутанные женщины и совсем еще молоденькая девушка, лет двадцати, с девочкой. Девочке, худенькой, бледной и любопытной,— она никак не хотела уходить с палубы,— было лет шесть.

Пильщики крепко курили, так, что даже ветер с разлива не мог пересилить запах махорки, и слушали пожилого своего товарища в зипуне.

— Это что! — говорил он неторопливым хриплым голосом.— Дуракам все смех, а умному все в соображение. Вы над председателем нашим, над Батенковым, погодили бы без разбору смеяться.

— А мы с разбором,— ответил молодой пильщик.

— Вот я те сейчас докажу про твой разбор! — сердито пообещал пожилой пильщик.— Над чем надсмехаетесь! Что он, Батенков, пятерых зайцев снял со льдины во время ледохода? Так, что ли?

— Да мы не над тем смеемся, Захарыч,— несмело возразил молодой пильщик.

— Понимаю! — с угрозой в голосе проговорил пожилой.— Очень я вас хорошо понимаю, молодые люди. Вам удивительно, что он тех зайцев не зажарил с лучком да не съел под водочку, а выпустил в соседнюю рощу. Бессмысленное, выходит по-вашему, деяние?

— Жалостлив-от больно, Батенков,— сказал из темноты чей-то голос.

— Не-ет, брат! Тут никакая не жалость. Тут простой вывод. Пусть он плодится, заяц, чем ему ни за что пропадать. Видал птичье гнездо? Из песчинок да из пушинок слеплено. Вот так, браток, и богатство слагается. Всенародное. Кладется дом по кирпичикам. А потом, глядишь, как в Москве, воздвигается здание во все двадцать восемь этажей!

— Ух ты! — сказал молодой пильщик.

— Вот те и ух! — ответил пожилой.— Это надо соображать. Есть в наших местах такая побаска. Упала в реку пчела, замочила крылышки. И приходит ей, той пчеле, полный конец. Крышка! Кругом красноперки шныряют. Вот пчела и взмолилась. «Спасите,— говорит.— Я вам за то отплачу».— «А на что ты нам сдалась! — отвечают красноперки.— Мы меду отродясь не едим». Вздохнула только пчела. «И то правда! — говорит.— Ничего не поделаешь». Видит, плывет через реку лягушка. «Спаси,— молит.— Я в долгу не останусь».— «А я,— говорит лягушка,— даже запаху медового слышать не могу». Тут пчела совсем загрустила. Однако видит, летит над рекой черный скворец. Она и его просит. «Ну что ж,— отвечает скворец.— Я тебя, пожалуй, вытащу. Потому ты медом человека питаешь, а он, человек, мне скворечни делает».

— И вытащил? — спросил молодой.

— Обязательно. Полезному зверю всегда надо вспоможение делать.

— Настюша,— тихо сказала маленькая девочка своей спутнице,— а я бы ее и так вытащила. Не за мед.

— Правильно, девочка,— тихо заметил Тихон Петрович. Слабенькая эта и большеглазая девочка почему-то вызывала у него не жалость, а какое-то необъяснимое щемящее чувство.— Вот маму спроси, она тебе то же самое скажет.

— А она мне не мама,— ответила девочка.— Она мне сестра.

Тихон Петрович извинился перед девушкой.

— Что вы, пожалуйста,— ответила она.

— Что ж это вы, сестрицы,— спросил Тихон Петрович,— вдвоем по белому свету странствуете?

— Мы в Разговорово,— ответила девушка неуверенным голосом.

В темноте Тихон Петрович не видел ее лица, но вместе с тем как бы и видел ее застенчивые глаза и то, как она теребила бахрому теплого платка, накинутого на голову.

— К родным едете?

— Да нет,— ответила девушка.— Я учительницей назначена в Разговорово. Вот еду... с сестрой, с Машей. Мы с ней теперь вдвоем. Отец служит на Дальнем Востоке, а мама в сорок втором году в Ленинграде...

— Все ясно,— сказал Тихон Петрович, не дожидаясь,

пока девушка закончит свой рассказ, и замолчал. Девушка тоже молчала.

Тихон Петрович вытащил из-под ног кошелку, зачем-то потрогал рассаду. Листочки были вялые, теплые, как ладони, но живые. «Выживут»,— подумал он, помолчал, потом обернулся к девушке и сказал:

— В Дом крестьянина вам идти незачем. Зря устанете. Помещение найти у нас в Разговорове не так бывает легко. А у меня домишко пока пустует. Одна комната будет вам, а другая — для практикантов. Летом ко мне студенты приезжают, я их садоводству учу.

— Нет, что вы! — слабо возразила девушка.

— Это вы бросьте,— сердито сказал Тихон Петрович,— разводить антимонии. У меня устроитесь. И живите хоть сто лет.

Пароход загудел. На берегу замахали фонарем — показывали место, где причалить. Пильщики поднялись, побросали махорочные цигарки в черную воду. «Стоп!» — сказал над головой на капитанском мостике густой голос. Тотчас наступила тишина, и в ней остался только один слабый звук — журчание речной воды около колес парохода.

* * *

Неожиданным своим жиличкам Насте и Машеньке Тихон Петрович отвел одну из нижних комнат. Обе комнаты были заставлены старой, еще отцовской, мебелью. Комнат было всего две, но всяких коридорчиков, переходов, чуланов, сеней, пристроек и дверей было столько, что Маша первое время затеривалась в них, как в лесу, и с отчаянием кричала:

— Настя, где ты? Я не знаю, как выйти. Настя-а!

Тихон Петрович, встречаясь с Настей, смущался. Ему было совестно при мысли, что Настя и Машенька считают его хозяином дома. Хозяином! И слово какое-то неприятное.

В конце концов он не выдержал и сказал Насте:

— Вы, Анастасия Михайловна, живите непосредственно, как у себя. Будто меня тут и нету. А то я боюсь, что вы совсем застеснялись. Вот в сад ко мне не ходите и Машу как будто не пускаете.

— Нет, что вы,— поспешно ответила Настя и виновато улыбнулась.

Но на следующее же утро Маша появилась в саду. Значит, правда, Настя ее туда не пускала.

По утрам, до ухода в питомник, Тихон Петрович всегда работал у себя в саду. В это утро он поливал высаженную рассаду.

Было еще очень рано, так рано, что солнце еще не успело подняться над зарослями жимолости — и в саду было прохладно. Но сквозь щели в заборе уже тянулись длинные узкие лучи, и все, что они освещали, становилось удивительным.

Если свет падал на кусты сирени, то было видно, как в засиявших, как бы зардевшихся от смущения слабым, чуть пунцовым румянцем чашечках сирени дрожат капельки росы. Лишайники на старых деревянных скамейках напоминали вскипевшую и тут же застывшую бронзу. На листьях лип просвечивала такая тончайшая сетка, что было трудно поверить, будто по этим паутинным жилкам сочатся древесные соки.

Дед Архип, помощник Тихона Петровича, копал в углу грядки. От перекопанной земли подымался парок, таял в воздухе. Воробьи сидели в кустах над головой у Архипа и поглядывали то одним, то другим глазом на землю. Но червей пока что не было. Рано было еще выползать червям.

— Вы, милые,— говорил дед Архип воробьям,— слетали бы лучше на колхозную конюшню, чем тут зря сидеть. Не первый год небось живете на свете, а ничего еще толком не знаете. Да и что с вас спрашивать — мозги у вас с ноготок.

Но воробьи не слушались деда. Они всё сидели на кустах и даже как будто бы начали переругиваться с Архипом.

Архип был старик неспокойный. Для него не было худшей беды, чем остаться без собеседника. Поэтому он покряхтел, подумал, потом сказал Тихону Петровичу:

— Солнца у тебя в саду мало.

Тихон Петрович промолчал.

— Вовсе мало, я тебе говорю,— повторил Архип.— Не то что в питомнике.

Но Тихон Петрович и на этот вызов ничего не ответил.

«Обижается,— подумал Архип, сам, в свою очередь, немного обидевшись.— Что-то за последние два дня чудной стал Тихон Петрович, никак его не поймешь».

На землю около Архипа упал слабый розовый свет — отблеск солнца.

— Да-а,— пробормотал Архип.— Это я, пожалуй, зря про солнце сболтнул. Зря! Не успел я слово сказать, а оно уже тут, солнце.

Архип поднял голову и замер с лопатой в руках: за его спиной стояла девочка лет шести в розовом платье, с лентами в косах и так крепко умытая холодной водой, что щеки ее горели нестерпимо — еще сильнее, чем серые ее глаза.

Архип воткнул лопату в землю, приложил ладонь ко лбу и смотрел на девочку, как смотрят на солнце. Тихон Петрович тоже выпрямился и смотрел на Машу.

— Так что ж, Архип,— спросил Тихон Петрович, и вокруг глаз у него собрались мелкие морщинки,— нету, значит, солнца у меня в саду?

— Что зря говорить! — ответил Архип, и у него, как и у Тихона Петровича, собрались около глаз коричневые морщинки.— Бога-атое солнце у тебя, Тихон Петрович. И где это только ты раздобыл такую рассаду? Ведь вырастет — не налюбуешься.

Маша, конечно, не понимала, о чем говорят Тихон Петрович и Архип. Она улыбнулась и смущенно спросила:

— А как называется этот сад?

— Машин сад,— ответил Тихон Петрович.

Маша посмотрела на него, не понимая, наморщив брови. А дед Архип глубоко загнал лопату в землю, перевернул землю вместе с прошлогодним дерном, начал медленно ее разрыхлять и сказал:

— Вот уж истинно не знаешь, где человек найдет, а где потеряет. Везет тебе, Тихон Петрович. Гляди, как оно поворачивается, существование наше.

Воробьи увидели у ног Архипа единственного червяка, и все сразу со страшным писком бросились на него и тут же передрались. А Маша смотрела на них, всплескивала руками и смеялась.

1950

ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ

Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы.

Законы эти, конечно, великолепны. Они заставляют подчас еще туманную мысль писателя входить в берега точного замысла и затем уже плавно несут ее к конечному выводу, к завершению книги, подобно тому как река несет свою воду к широкому устью.

Совершенно ясно, что не все законы литературы уже разнесены по параграфам. Существует много способов и приемов живописного выражения мысли, еще не получивших названия.

Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы кинокартину о дожде. Показывали ее работникам кино, так как думали, что обыкновенный зритель на такой картине будет зевать и уйдет из кинотеатра в полном недоумении.

В картине был показан дождь во всем его разнообразии. Дождь в городе на черном асфальте, дождь в листве, дождь дневной и ночной, ливень и так называемый грибной, моросящий дождик, «слепой» дождь под солнцем, дождь на реке и на море, воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков...

Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой картине сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, которую раньше я плохо замечал. Раньше меня, как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождем пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха.

Что может быть лучше для писателя,— а он, по существу, всегда должен быть и поэтом,— чем открытие новых областей поэзии вблизи себя и тем самым обогащение человеческого восприятия, сознания, памяти?

Все это я пишу, конечно, для того, чтобы оправдать некоторые отступления от твердых требований сюжета, допущенных в этом рассказе.

Утро, когда начинается этот рассказ, наступило пасмурное, но теплое. Обширные луга были политы ночным дождем, а это значило, что не только в каждом венчике блестела капля воды, но все великое множество трав и кустов издавало резкий и освежительный запах.

Я шел лугами к одному довольно таинственному озерцу. На взгляд человека трезвого, ничего таинственного в этом озерце не было и быть не могло. Но впечатление

загадочности от этого озерца оставалось у всех, и я, сколько ни пытался, не мог установить причину этого явления.

Для меня таинственность состояла в том, что вода в озерце была совершенно прозрачная, но казалась по цвету жидким дегтем (со слабым зеленоватым отливом). В этой водяной черноте жили, по рассказам престарелых словоохотливых колхозников, караси величиной «с поднос от самовара». Поймать хоть одного такого карася никому не случалось, но изредка в глубине озерца вдруг вспыхивал бронзовый блеск и, вильнув хвостом, исчезал.

Ощущение таинственности возникает от ожидания неизвестного и не совсем обыкновенного. А густота и высота зарослей вокруг озерца заставляли думать, что в них непременно скрывается что-нибудь до сих пор не виданное: или стрекоза с красными крыльями, или синяя божья коровка в белую крапинку, или ядовитый цветок лоха с полым сочным стволом толщиной в человеческую руку.

И все это действительно там было, в том числе и огромные желтые ирисы с мечевидными листьями. Они отражались в воде, и почему-то вокруг этого отражения всегда стояли толпами, как булавки, притянутые магнитом, серебряные мальки.

В лугах было совсем пусто. До покоса оставалось еще недели две. Издали я заметил маленького мальчика в выцветшей и явно большой на него артиллерийской фуражке. Он держал под уздцы гнедого коня и что-то кричал. Конь дергал головой и отмахивался от мальчика, как от слепня, жестким хвостом.

— Дяденькя-а-а! — кричал мальчик.— А дяденькя-а-а! Подь сюда!

Это был требовательный крик о помощи. Я свернул с дороги и подошел к мальчику.

— Дяденькя,— сказал он, смело глядя на меня умоляющими глазами.— Подсади меня на мерина, а то я сам не могу.

— А ты чей? — спросил я.

— Аптекарский я,— ответил мальчик.

Я знал, что у нашего сельского аптекаря Дмитрия Сергеевича детей нет, и подивился на необыкновенную фамилию этого мальчика.

Я поднял его на руки, но мерин тотчас, дико косясь, начал мелко перебирась ногами и отходить, стараясь держаться от меня на расстоянии вытянутой руки.

— Ох и вредный! — сказал мальчик с укором.—

Прямо псих! Дайте я его за повод схвачу, тогда вы меня и подсадите. А так он не даст.

Мальчик поймал мерина за повод. Мерин тотчас успокоился, даже как будто уснул. Я подсадил мальчика ему на спину, но мерин продолжал стоять все так же понуро и, казалось, собирался стоять так весь день. Он даже легонько всхрапнул. Тогда мальчик высоко подпрыгнул у мерина на хребте и с размаху ударил его босыми пятками по вздутым пыльным бокам. Мерин удивленно икнул и поскакал лениво и размашисто к песчаным буграм за Бобровой протокой.

Мальчик все время подпрыгивал, взмахивал локтями и колотил мерина пятками по бокам. Тогда я сообразил, что, очевидно, только при такой довольно тяжелой работе можно от этого мерина добиться чего-нибудь путного.

На озерце, глубоко запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень, и в этой тени серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты.

На ветке ракиты сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке и издавала дробный и приятный треск, не раскрывая при этом клюва. Я подивился, конечно, на эту птаху и на ее веселое занятие и начал прорываться к воде.

Дело в том, что к нам приехала после экзаменов в московской школе городская девочка Маша, любительница растений, и я решил набрать ей в подарок букет из всяких хороших цветов. Но так как плохих цветов вообще нет, то мне выпала довольно трудная задача — что выбрать. В конце концов я решил взять по одному цветку и одной ветке от всех растений, создававших вокруг озерца непролазные росистые пахучие валы.

Я осмотрелся. По берегам уже зацвела желтоватыми непрочными кистями таволга. Цветы ее пахли мимозой. Донести их до дому, особенно в ветреную погоду, было почти невозможно. Но я все же срезал ветку таволги и спрятал ее под кустом, чтобы она не облетела раньше времени.

Потом я срезал широкие, как сабли, листья аира. От них исходил сильный и пряный запах. Я вспомнил, что на Украине хозяйки по большим праздникам устилают полы аиром, и стойкий запах его держится в хатах почти до зимы.

Стрелолист уже дал первые плоды — зеленые шипики, покрытые со всех сторон мягкими иглами. Я сорвал и его.

С трудом я зацепил сухой веткой и осторожно вытащил из воды белые плавучие цветы водокраса с красноватой сердцевиной. Лепестки его были не толще папиросной бумаги и тотчас обвяли. Пришлось его выбросить. Тогда я той же веткой подтащил к берегу цветущую водяную гречиху. Розовые ее метелки стояли над водой круглыми маленькими рощами.

До белых лилий я никак не мог дотянуться. Раздеваться же и лезть в озерцо мне не хотелось,— илистое его дно засасывало выше колен. Вместо лилий я сорвал береговой цветок с грубым названием сусак. Его цветы были похожи на вывернутые ветром маленькие зонтики.

У самой воды большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями ежевики, цвела по откосу дикая рябинка с тугими желтыми соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со стальными шипами на локтях и наколенниках.

Нагретый воздух над цветами «мрел», качался, и почти из каждой чашечки высовывалось полосатое брюшко шмеля, пчелы или осы. Как белые и лимонные листья, всегда вкось, летали бабочки.

А еще дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник. Ветки их так переплетались, что казалось, будто огненные цветы шиповника и белые, пахнущие миндалем, цветы боярышника каким-то чудом распустились на одном и том же кусте.

Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. Цветение его совпадало с самыми короткими ночами — нашими русскими, немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролет, зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так светло, что на небе хорошо видны горные вершины облаков. Кое-где на их снеговой крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света. И серебряный рейсовый самолет, идущий на большой высоте, сверкает над этой ночью, как медленно летящая звезда, потому что там, на той высоте, где пролегает его путь, уже светит солнце.

Когда я вернулся домой, исцарапанный шиповником

и весь в ожогах от крапивы, Маша прибивала к калитке листок бумаги. На нем было вырисовано печатными буквами:

Много пыли на дороге,
Много грязи на пути,—
Вытирай почище ноги,
Если хочешь в дом войти.

— Ага! — сказал я.— Ты, значит, была в аптеке и видела там такую же записку на дверях?

— Ой, какие цветы! — закричала Маша.— Прямо прелесть! Да, я была в аптеке. И еще я видела там прямо замечательного человека. Его зовут Иван Степанович Крышкин.

— Кто ж он такой?

— Мальчишка. Прямо необыкновенный.

Я только усмехнулся. Уж кого-кого, а деревенских мальчишек я знал насквозь. По многолетнему опыту в этом деле я смело могу утверждать, что у этих беспокойных и шумливых наших соотечественников есть одно действительно необыкновенное свойство. Физик определил бы его словом «всепроницаемость». Мальчишки эти «всепроницаемы», вернее «всепроницающи», или, говоря старинным тяжеловесным языком, «вездесухи».

В какую бы лесную, озерную или болотную глухомань я ни попадал, всюду я заставал мальчишек, предававшихся самым разнообразным и порой удивительным занятиям.

Я, конечно, не говорю о том, что в сентябре месяце на ледяной и туманной утренней заре заставал их, трясущихся от холода, в мокрых зарослях ольхи на берегу глухого озера в двадцати километрах от жилья.

Они сидели, притаившись в кустах, с самодельными удочками, и только характерный звук, который называется «шмыганье носом», выдавал их присутствие. Иногда они так затаивались, что я их вовсе не видел и вздрагивал, когда у себя за спиной вдруг слышал умоляющий хриплый шепот:

— Дяденькя, дай червячкя!

Во все эти глухие места, где, как любили выражаться авторы романов о приключениях на суше и на море, «редко ступала нога человека», мальчишек приводило неистовое воображение и любопытство.

Мне кажется, что если бы я попал на Северный полюс или, скажем, на полюс Магнитный, то и там обязательно

бы сидел и шмыгал носом мальчишка с удочкой, караулил бы у проруби треску, а на Магнитном полюсе выковыривал бы из земли сломанным ножом кусочек магнита.

Других особо примечательных свойств за мальчишками я не знал и потому спросил у Маши:

— Чем же он такой прямо необыкновенный, твой Иван Степанович Крышкин?

— Ему восемь лет,— ответила Маша,— а он разыскивает и собирает для аптекаря разные лечебные травы. Например, валериану.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что Иван Степанович Крышкин до удивительности похож на того мальчишку, которого я подсаживал на старого мерина. Но все сомнения окончательно рассеялись, когда я узнал, что упомянутый Крышкин появился около аптеки вместе с гнедым мерином и что этот самый мерин, будучи привязан к изгороди, тотчас уснул. А Иван Степанович Крышкин вошел в аптеку и передал аптекарю мешок с собранной за Бобровой протокой травой валерианой.

Оставалось неясным только одно — как это Иван Степанович Крышкин словчился нарвать валериану, не слезая с мерина. Но когда я узнал, что Иван Степанович привел мерина на поводу, то догадался, что на мерине он доехал только до зарослей валерианы, а оттуда вернулся пешком.

В этом месте рассказа пора уже перейти к тому, о чем я и хотел рассказать,— к аптекарю Дмитрию Сергеевичу, и, пожалуй, не столько к нему, сколько к давно занимавшей меня теме об отношении человека к своему делу.

Дмитрий Сергеевич был беззаветно предан фармации. Из разговоров с ним я убедился, что распространенное мнение о том, что существуют неинтересные профессии,— предрассудок, рожденный нашим невежеством. С тех пор мне начало нравиться в сельской аптеке все, начиная от свежего запаха всегда вымытых дощатых полов и можжевельника и кончая запотевшими бутылками пузырящегося боржома и белыми фаянсовыми банками на полках с черной надписью «венена» — яд!

По словам Дмитрия Сергеевича, почти каждое растение содержит в себе или целебные, или смертоносные соки. Задача в том, чтобы извлечь эти растительные соки, узнать их свойства и употребить на благо человеку.

Многое, конечно, было уже открыто с давних времен — например, действие настойки ландыша или наперстянки

на сердце или что-нибудь иное в этом роде, но тысячи растений были еще не исследованы, и этот труд представлялся Дмитрию Сергеевичу самым увлекательным из всех занятий в мире.

В то лето Дмитрий Сергеевич был занят извлечением витаминов из молоденькой сосновой хвои. Он заставлял всех нас пить зеленый жгучий настой из этой хвои, и хотя мы морщились и ругались, но все же должны были согласиться, что действует он превосходно.

Однажды Дмитрий Сергеевич принес мне почитать толстую книгу — фармакопею. Я не запомнил точного ее названия. Книга эта была не менее увлекательна, чем самый мастерски написанный роман. В ней были описаны разные, подчас совершенно удивительные и неожиданные качества многих растений,— не только трав и деревьев, но и мхов, лишайников и грибов. Кроме того, в ней было подробно рассказано, как приготовить из этих растений лекарства.

Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя труда» маленькие статьи о целебной силе растений — какого-нибудь скромнейшего подорожника или табачного гриба. Статьи эти, которые Дмитрий Сергеевич почему-то называл фельетонами, печатались под общим заголовком «В мире друзей».

В некоторых избах я видел статьи Дмитрия Сергеевича вырезанными из газеты и прибитыми гвоздиками к стене, и по этому признаку узнавал, с какой болезнью боролся обитатель избы.

В аптеке постоянно толклись мальчишки. Они были главными поставщиками трав для Дмитрия Сергеевича. Работали мальчишки самоотверженно и забирались в такие глухие места, как, например, болото по названию Хвощи, или даже за отдаленную речку со странным названием Казенная, где редко кто бывал, а кто бывал, тот рассказывал о пустошах, покрытых мелкими илистыми озерами и заросших высоким конятником.

За доставку травы мальчишки ничего не требовали, кроме детских резиновых сосок. Соски эти они надували ртом, тужась и краснея, завязывали тесемочкой и делали из них подобие воздушных шаров, так называемые «летучие пузыри». Пузыри эти, конечно, не летали, но мальчишки постоянно таскали их с собой и то быстро вертели их на веревочке вокруг пальца, издавая угрожающее жужжание, то просто били этими пузырями друг друга

по голове, наслаждаясь восхитительным треском, сопровождавшим это занятие.

Несправедливо было бы думать, что мальчишки проводили большую часть дня в праздности и развлечениях. Развлекались они только летом во время школьных каникул, да и то не каждый же день. Большей частью они помогали взрослым: пасли телят, возили хворост, резали лозу, окучивали картошку, чинили изгороди и приглядывали в отсутствие взрослых за маленькими детьми. Хуже всего было, конечно, то, что маленькие едва умели ходить, и их приходилось всюду таскать с собой на закорках.

Больше всего мальчишки любили в деревне двух человек: Дмитрия Сергеевича и старика по прозвищу «Утиль».

«Утиль» появлялся в деревне не часто — раз в месяц, а то и реже. Он лениво ковылял в пыльном балахоне рядом с мухортой лошаденкой, старательно тащившей телегу, волочил за собой по песку веревочный кнут и заунывно кричал:

— Тряпье, старые калоши, рога, копыта принимаем!

На передке телеги у «Утиля» стоял волшебный ящик, сколоченный из простой фанеры. На откинутой крышке ящика висели на гвоздиках пестрые игрушки — свистульки, шарики на резинке, целлулоидовые куколки, переводные картинки и мотки ярких бумажных ниток для вышивания.

Как только «Утиль» въезжал в деревню, тотчас к нему, как цыплята на зов хозяйки, бежали со всех дворов, торопясь и спотыкаясь, мальчишки и девочки, волоча своих «младшеньких» братишек и сестренок и прижимая свободной рукой к груди старые мешки, стоптанные чуни, поломанные коровьи рога и всякую ветошь.

«Утиль» обменивал тряпье и рога на новенькие, еще липкие от краски игрушки и по поводу каждой игрушки вступал в длительные разговоры, а порой и распри со своими маленькими поставщиками.

Взрослые никогда ничего не выносили «Утилю». Это было исключительное право детей.

Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства. «Утиль» был человек по внешности суровый, даже, как говорится, «страховидный» — косматый, заросший седой щетиной, с багровым от солнца и ветра облупленным носом. Голос у него был зычный и грубый. Но, несмотря на эти угрожающие признаки, «Утиль» ни-

когда не отказывал детям. Один только раз он не принял у девочки в красном выцветшем сарафане совершенно истлевшие голенища от отцовских сапог.

Девочка как-то вся сжалась, втянула голову в плечи и, будто побитая, медленно пошла от телеги «Утиля» к своей избе. Дети, окружавшие «Утиля», вдруг притихли, наморщили лбы, а кое-кто и засопел носом.

«Утиль» свертывал из махорки толстую «козью ножку» и, казалось, не замечал ни плачущей девочки, ни пораженных его жестоким поступком детей.

Он не спеша заклеил «козью ножку», закурил, потом сплюнул. Дети молчали.

— Вы что? — сердито спросил «Утиль».— Ай не понимаете? Я государственное поручение сполняю. Ты мне грязь не носи. Ты мне носи предмет для дальнейшего производства. Понятно?

Дети молчали. «Утиль» затянулся и, не глядя на детей, сказал:

— Сбегайте-ка за ней. Мигом! Сбычились на меня, будто я душегуб!

Вся стая детей, как вспугнутые воробьи, кинулась к избе девочки в красном сарафане.

Ее приволокли, румяную и смущенную, с невысохшими еще слезинками на глазах, и «Утиль» важно и строго осмотрел ее голенища, бросил их на телегу и протянул девочке взамен самую лучшую, самую пеструю куклу с круглыми пунцовыми щечками, восторженно вытаращенными водянисто-голубыми глазами и пухлыми растопыренными пальцами.

Девочка робко взяла куклу, прижала к худенькой груди и засмеялась. «Утиль» дернул за вожжи, лошаденка прижала уши и влегла в оглобли, и телега, скрипя по песку, двинулась дальше.

«Утиль» шел рядом с ней, не оглядываясь, все такой же суровый и как будто бы грубый, и молчал. Только пройдя двадцать изб, он прокашлялся и протяжно закричал:

— Ветошь, рога, копыта, рваные калоши принимаем!

Глядя ему вслед, я подумал, что вот нет как будто на свете занятия менее приятного, чем быть ветошником, а между тем сумел же этот человек сделать из него радость для колхозной детворы.

Любопытно, что «Утиль» работал даже, я бы сказал,

с некоторым вдохновением, с выдумкой, с заботой о своих шумливых поставщиках. Он добивался от своего начальства, чтобы на поездки по деревням ему каждый раз выдавали другие игрушки. Ассортимент игрушек (по воле хозяйственников, очевидно, не знающих и не любящих свой родной язык, тяжеловесное иностранное слово «ассортимент» совершенно вытеснило простые русские слова «подбор» или «выбор») у «Утиля» был разнообразный и увлекательный.

Величайшим событием в деревне был тот случай, когда «Утиль», по заказу Дмитрия Сергеевича, привез из города бронзированные рыболовные крючки и расплатился ими по особому списку на четвертушке бумаги с теми мальчиками, которые собирали для аптеки лекарственные травы. Иван Степанович Крышкин получил по заслугам десять крючков.

Раздача крючков происходила в благоговейной тишине. Мальчишки, как по команде, сняли свои видавшие виды кепки и, сопя, с необыкновенной сосредоточенностью и тщательностью начали закалывать крючки в подкладку кепок — самое верное хранилище всех мальчишеских ценностей.

Все мы привыкли к тому, что у нас в России человек, с виду непримечательный и скромный, может оказаться на поверку очень незаурядным и значительным. Особенно понимал это писатель Лесков. Понимал, конечно, потому, что досконально знал и любил Россию, изъездил ее вдоль и поперек и был наперсником и закадычным другом сотен простых наших людей.

Под скромной внешностью Дмитрия Сергеевича, который, в шутку говоря, отличался только тем, что в нем не было ничего примечательного, скрывался неутомимый искатель нового в своем деле, требовательный к себе и окружающим гуманист.

Под грубой внешностью «Утиля» билось широкое и доброе сердце, и, кроме того, это был человек воображения, которое он применил к своему как будто мизерному делу.

Я подумал об этом и вспомнил одно забавное происшествие в наших местах, случившееся с моим приятелем и со мной.

Однажды мы поехали рыбачить на Старую Канаву. Так в этих местах зовут узкую лесную речку с быстрым течением и коричневой водой. Речка эта протекает в боль-

шом отдалении от человеческого жилья, в глубине леса, и попасть на нее не так-то просто. Сначала нужно ехать сорок километров по узкоколейке, потом километров тридцать идти пешком.

На Старой Канаве в ямах с водоворотами обитали крупные язи, и за ними-то мы и поехали.

Возвращались мы на следующий день. В лесные тихие сумерки мы вышли к разъезду па узкоколейке. Сильно пахло скипидаром, опилками и гвоздикой. Был уже август, кое-где на березах висели первые пожелтевшие листья. То один, то другой такой лист загорался по очереди золотым пламенем от луча закатного солнца.

Подошел маленький поезд, весь пз пустых товарных вагонов. Мы влезлп в тот вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошелки с брусникой и грибами. Два оборванных п небритых охотника сидели, свесив ноги, в открытых дверях вагона и курили.

Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, замолчали.

Поезд вышел в луга, и стал виден во всю его ширь тихий закат. Солнце садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего щелканья и перелива в кустах по сторонам полотна.

Тогда самая молодая женщина запела, глядя на закат, и глаза ее казались золочеными. Пела она простую рязанскую песню, и кое-кто из женщин начал ей подпевать.

Когда женщины замолкли, оборванный охотник в обмотках из солдатской шинели сказал вполголоса своему спутнику:

— Споем и мы, Ваня? Как думаешь?

— Ну что ж, споем! — согласился спутник.

Оборванцы запели. У одного был густой мягкий бас. Он лился свободно, широко, и мы все сиделп, пораженные этим необыкновенным голосом.

Женщины слушали певцов, покачивая головами от удивления, потом самая молодая женщина тихонько заплакала, но никто даже не обернулся в ее сторону, потому что это были слезы не боли и горечи, а переполняющего сердце восхищения.

Певцы замолкли. Женщины начали благословлять их и желать им счастья и долгой жизни за доставленную редкую радость.

Потом мы расспросили певца, кто он такой. Он назвал

себя колхозным счетоводом из-за Оки. Мы начали уговаривать его приехать в Москву, чтобы кто-нибудь из крупных московских певцов и профессоров Консерватории послушал его голос. «Преступно,— говорили мы,— сидеть здесь в глуши с таким голосом и зарывать талант свой в землю». Но охотник только застенчиво улыбался и упорно отнекивался.

— Да что вы! — говорил он.— Какая же опера с моим любительским голосом! Да и возраст у меня не такой, чтобы так рисковать и ломать свою жизнь. У меня в селе сад, жена, дети учатся в школе. Что это вы придумали — ехать в Москву! Я в Москве был три года назад, так у меня от тамошней сутолоки голова с утра до ночи кружилась и так болела, что я не чаял, как бы мне поскорее удрать к себе на Оку.

Маленький паровоз засвистел тонким голосом. Мы подъезжали к своей станции.

— Вот что! — решительно сказал мой приятель охотнику.— Нам сейчас выходить. Я оставлю вам свой московский адрес и телефон. Приезжайте в Москву непременно. И поскорей. Я вас сведу с нужными людьми.

Он вырвал из записной книжки листок и торопливо набросал на нем свой адрес. Поезд уже подошел к станции, остановился и тяжело отдувался, готовясь тронуться дальше.

Охотник при слабом свете заката прочел записку моего приятеля и спросил:

— Вы писатель?

— Да.

— Как же, знаю. Читал. Очень рад познакомиться. Но позвольте и мне в свою очередь представиться,— солист Большого театра Пирогов. Ради всего святого, не обижайтесь на меня за этот небольшой «розыгрыш». Одно только могу сказать на основании этого розыгрыша: счастлива страна, где люди так горячо относятся друг к другу.

Он засмеялся.

— Я говорю, конечно, о том, с каким жаром вы хотели помочь колхозному счетоводу стать оперным певцом. И уверен, что если бы я действительно был счетоводом, то вы бы не дали погибнуть моему голосу. Вот за это спасибо!

Он крепко потряс нам руки. Поезд тронулся, и мы остались, озадаченные, на дощатой платформе. Тогда только мы вспомнили рассказ Дмитрия Сергеевича о том, что

певец Пирогов каждое лето отдыхает у себя на родине, в большом заокском селе неподалеку от нас.

Пора, однако, кончать этот рассказ. Я ловлю себя на том, что заразился словоохотливостью от здешних стариков и разболтался, как паромщик Василий. У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца.

Задача у меня была самая скромная — рассказать хотя бы и незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных случаях мы еще поговорим.

1950

ШИПОВНИК

Ночью над рекой опустился туман. Пароход не мог идти дальше: за туманом не было видно ни бакенов, ни перевальных огней.

Пароход приткнулся к крутому берегу и затих. Только равномерно поскрипывали сходни, переброшенные на берег. По этим сходням матросы завели чалку и закрепили ее вокруг старой ракиты.

Маша Климова проснулась среди ночи. Такая тишина стояла вокруг, что было слышно, как в дальней каюте всхрапывал пассажир.

Маша села на койке. В открытое окно лился свежий воздух, сладковатый запах ивовых листьев.

Кусты, неясные от тумана, нависали над палубой. Маше показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала легкое журчанье воды и догадалась, что пароход остановился у берега.

В кустах что-то щелкнуло и затихло. Потом щелкнуло опять. И опять затихло. Будто кто-то, щелкнув, прислушивался, пробовал на звук тишину и отзывчивость ночи. Вскоре щелканье перешло в длинный перелив и оборвалось коротким свистом. Тотчас на свист отклинулись десятки птичьих голосов, и внезапный соловьиный раскат пронесся по зарослям.

— Слышь, Егоров? — спросил кто-то наверху, должно быть на капитанском мостике.

— Такого соловьиного боя даже на Шексне не было,— ответил снизу хрипловатый голос.

Маша улыбнулась, вытянула перед собой руки. Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи — только ногти белели на пальцах.

— Отчего это мне грустно, не понимаю? — спросила вполголоса Маша.— Жду чего-то? А чего, и сама не знаю.

Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете непонятная девичья грусть, и сказала:

— Глупости! Какая там девичья грусть! Просто у меня начинается своя жизнь. Потому чуть-чуть и страшно.

Маша окончила недавно лесной институт и ехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу на работу — сажать колхозные леса.

Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было по-настоящему. Она представляла себе, как приедет на лесной участок и начальник — обязательно пыльный, угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах — посмотрит на нее, на серые ее глаза («Совсем как оловянные плошки»,— думала о своих глазах Маша), на косы и подумает: «Прелестно! Не хватало нам еще этих девочек с косичками! Небось все будет теперь твердить про свои учебники. А у нас тут не до них! Как хватит суховей «астраханец», так твои учебники, милая, тебе здесь не очень помогут».

За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходила.

Маша не знала, что это вовсе не грусть, а то чувство, какому нет еще, пожалуй, точного названия,— замирание сердца перед неизвестным будущим, перед простой красотой земли с ее реками, туманами, глубокими ночами и шумом прибрежных ветел.

Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в росе — перила, проволочная решетка вдоль борта и плетеные кресла.

На баке слышался приглушенный разговор.

— Я ему говорю,— рассказывал молодой матрос.— «Дед, а дед, оставь мне покурить». Он дал мне окурок. Я затянулся, спрашиваю: «Чего ты тут, дед, делаешь ночью, в лугах?» — «Зарю, говорит, стерегу». А сам смеется. «Может, это последняя заря в моем существовании. Тебе, говорит, этого не понять. Ты парень молодой».

Матросы замолчали. Снова в кустах защелкали соловьи.

Маша облокотилась на перила. Далеко во тьме дружно заголосили петухи,— там, за туманом, была, очевидно, деревня.

«Какие же это петухи? Первые или вторые?..»

Маша подумала, что не знает, когда поют первые, а когда вторые петухи. Десятки раз читала об этом в книгах, а не знает.

Посоветовала Маше поехать пароходом бабушка, вдова речного капитана. Маша была рада, что послушалась ее. Пароход шел сначала по черно-синей Неве, потом пересек Ладогу. Маша впервые увидела ее серую воду и каменные маяки на низменных мысах. Увидела бурливую Свирь, шлюзы на Мариинском канале, берега, заросшие хвощом, неизменных мальчишек на пристанях, сосредоточенно удивших уклеек кривыми удочками.

Попутчики менялись, но все они казались Маше интересными. В Белозерске сел на пароход молодой еще летчик с седыми висками. Он отдыхал, должно быть, в Белозерске, у матери -- худенькой старушки в сером ситцевом платье. Она тихонько плакала на пристани, провожая сына, а летчик говорил ей с палубы:

— Ты не забудь, мама: я ту рыбу, что наловил, повесил в погребе, за лесенкой. Ты одного окуня дай Ваське.

— Не забуду, Паша, никак не забуду,— кивала старушка, вытирая глаза свернутым в комочек платком.

Летчик улыбался, шутил, но смотрел на старушку не отрываясь. Щека у него дрожала.

Потом на пароход сели актеры. Они много шумели, острили, тотчас перезнакомились со всеми пассажирами. В салоне теперь почти не затихало отсыревшее от речных туманов пианино.

Один пожилой актер, остролицый, быстрый, пел чаще других. Маша с удивлением слушала его песни — до тех пор она ни одной такой песни не знала. Особенно часто актер пел польскую песенку о влюбленном воре. Ему не удалось украсть для любимой девушки звезду с ночного неба, и девушка его за это прогнала.

Каждый раз, когда актер оканчивал эту песню, он громко захлопывал крышку пианино и говорил:

— Мораль сей песенки ясна. Будьте снисходительны к любящим. Не возражайте! Разговор окончен.

Он поправлял черный галстук бантиком, садился за столик и заказывал себе пиво и воблу.

В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Они возвращались в Москву из Кирилло-Белозерского монастыря. В монастырь они ездили на практику — делать обмеры и зарисовки старинных построек.

Всю дорогу студенты спорили о каменной резьбе, сводах, Андрее Рублеве и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за свое невежество.

Когда на пароходе появились студенты, пожилой актер как-то притих, перестал петь песенку о воре и все время сидел на палубе, читая Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Читая, он надевал очки. От этого его лицо делалось добрым и старым. И Маше стало ясно, что все напыщенные актерские тирады — застарелая привычка и что человек этот гораздо лучше, чем хочет казаться.

Сейчас все пассажиры спали — и летчик, и актер, и студенты. Одна Маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать.

Далекий гул возник в небе и медленно затих. Должно быть, выше тумана прошел ночной самолет. Ударила под берегом рыба, а потом где-то в отдалении запел пастуший рожок. Он пел так далеко, что сначала Маша не могла понять, что это за протяжные и приятные звуки.

Кто-то чиркнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял летчик и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду. Она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичечного пламени образовался радужный пар.

— Соловьи спать не дают,— сказал летчик, и Маша, не видя, догадалась, что он улыбается в темноте.— Прямо как в песне: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,— пусть солдаты немного поспят...»

— Я никогда еще не слыхала таких соловьев,— сказала Маша.

— Поездите по Советскому Союзу — не то еще узнаете,— ответил летчик.— Такая страна и во сне не всегда приснится.

— Это потому, что вы летаете,— заметила Маша,— и земля все время меняется у вас под крылом.

— Не думаю,— ответил летчик и надолго замолчал.— Светает,— сказал он наконец.— Засинело уже на востоке... Вы куда едете?

— В Камышин.

— Есть такой городок на Волге. Жара, арбузы, помидоры...

— А вы куда?

— Я дальше.

Летчик облокотился о перила и смотрел, как разгорается рассвет. Пастуший рожок пел уже ближе. Подул ветер. Туман зашевелился. Его понесло клочьями над рекой. Стали видны мокрые кусты и среди них сплетенный из ивы шалаш. Около шалаша курился очаг.

Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда.

«С сегодняшнего дня,— подумала Маша,— буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала как следует. А теперь буду все замечать, запоминать и беречь у себя на сердце».

Летчик оглянулся на Машу.

— Задумалась девушка,— пробормотал он, отвернулся, но тотчас опять посмотрел на нее.

Он вспомнил слова из давно прочитанного романа, что нет ничего лучше на свете, чем глаза детей и девушек по утрам,— в них еще темнеет ночь, но вместе с тем уже сверкает утренний свет.

«Пожалуй, это не так уж и глупо сказано»,— подумал летчик.

С мостика сбежал обветренный помощник капитана в брезентовом плаще.

— Не спите? — весело окликнул он Машу.— Через час отваливаем. Можете сойти на берег, прогуляться.

— Я, пожалуй, пойду,— сказала Маша летчику.— Нарву, кстати, цветов.

— Ну что ж,— согласился летчик,— пойдемте.

Они сошли по шаткой сходне на берег. Из шалаша вылез старик, должно быть тот самый, что сторожил ночью зарю. Тотчас над туманами взошло солнце.

Травы стояли вокруг темно-зеленые, как глухие, глубокие воды. От них еще тянуло резким холодом ночи.

— Чем ты тут занимаешься, дед? — спросил старика летчик.

— Корзинщик я,— ответил старик и виновато улыбнулся.— Плету помаленьку. Вентеря, корзины под колхозную картошку, кошелки... А вы что же? Лугами интересуетесь?

— Да вот хотим поглядеть.

— Во какие быстрые! — засмеялся старик.— Я тут семьдесят годов обитаю, в этом лугу, да и то всего не поспел разглядеть. Ступайте вон по этой тропе до осокоря. Дале не ходите. Дале трава выше головы — росой вас зальет, за весь день не обсушитесь. Там росу можно в горлачи собирать и пить.

— А ты ее пил? — спросил летчик.

— Как не пил! Целебная вещь.

Маша с летчиком медленно пошли по тропе. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропа огибала высохший осокорь, и остановилась.

По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел таким алым и влажным огнем, что даже ранний солнечный свет, падавший на листву, рядом с цветами шиповника казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. В зарослях шиповника озабоченно гудели шмели, черные с золотыми полосками на спине.

— Георгиевские кавалеры,— заметил летчик.

Действительно, шмели были похожи на коротенькие ленты от Георгиевских медалей. И вели они себя бесстрашно, как старые бойцы, не обращая внимания на людей и даже сердясь на них.

Кое-где заросли шиповника прерывались, и в прогалинах цвел стройными свечами синий, почти до черноты, шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалось, переливаясь солнечной рябью, разнотравье: красная и белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дикая мальва с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни летчик не знали.

Перепела с треском вырывались из-под ног. Укрывшись в сыром коряжнике, скрипел, насмехаясь над всеми, дергач. Жаворонки, трепеща, подымались ввысь, но звон их почему-то не совпадал с тем местом, где они вились в небе,— он, казалось, доносился с реки. Там, прокашлявшись, загудел пароход, зазывая Машу и летчика обратно.

— Что же это такое? — говорила растерянно Маша, глядя на цветы.— Что же это такое?..

Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Пароход прогудел второй раз, уже требовательно и сердито.

— Ну что же это такое! — с досадой сказала Маша, повернулась к тому месту, где над зарослями струился дым из пароходной трубы, и крикнула: — Сейчас! Идем!

Они быстро пошли к пароходу. Платье на Маше промокло и хлестало ее по ногам. Косы, уложенные на затылке узлом, расплелись и упали. Летчик шел сзади. На ходу он успел срезать ножом несколько цветущих веток шиповника.

Матросы, дожидавшиеся их, чтобы снять сходни, мельком взглянули на охапки цветов, сказали:

— Вот это да! Все луга оборвали. Ну, давай, Семен, разом!

Помощник капитана сказал с мостика:

— В салон несите цветы. Для всех пассажиров!..— И крикнул в рупор: — Вперед самый малый!

Тяжело повернулись колеса, плицы вспенили воду, и берег отплыл, шумя кустарником.

Маше стало жаль расставаться с этим берегом, с лугами, с шалашом и дедом-корзинщиком. Все как-то сразу стало ей здесь родным, будто она тут выросла, а этот дед был ее пестуном и наставником.

«Удивительно,— подумала Маша, подымаясь по трапу в салон,— я ведь не знаю даже, где, в какой области, в каком районе, около какого города мы сейчас».

В салоне было чисто и холодно. Солнце еще не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховое пианино.

Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Летчик принес с нижней палубы в ведре свежей воды.

— У моей матушки в Белозерске,— сказал летчик, помогая Маше расставлять цветы,— маленький сад. Но цветов груды. Особенно бархатцев.

— Вы хорошо отдохнули в Белозерске? — спросила Маша.

— Ничего. Читал, приводил в порядок свою жизнь. А больше там и делать нечего, в Белозерске.

— Как это «в порядок»? — удивилась Маша.

— Все записал, что видел, делал и думал. Потом разобрался, правильно ли я жил, в чем ошибался, и подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время.

— Ну и как?

— Позади все теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше.

— Вот я и не знала, что так бывает,— промолвила Маша и внимательно посмотрела на летчика.

— А вы попробуйте,— посоветовал, улыбнувшись, летчик.— Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь.

— Браво! — сказал за спиной у Маши знакомый голос.

Маша обернулась.

В дверях стоял актер с мохнатым полотенцем на плече. На нем была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах.

— Браво! — повторил он.— Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые, как только что вымытые руки.

— Бросьте вы! — недовольно сказал летчик.

— Да, все это глупости! — согласился актер.— Не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частность. Одну неопровержимую истину. Я добрался до нее в самом, можно сказать, конце своей жизни.

— Какая же это великая истина? — спросил летчик.

— «Я не люблю иронии твоей»,— сказал актер нарочитым жирным голосом плохого чтеца и рассмеялся.— Истина простая. В каждом дне жизни всегда есть что-нибудь хорошее. А подчас и поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете главным образом это ее поэтическое и разумное содержание. Это великолепно! И удивительно! Все вокруг нас полно поэзии. Ищите ее. Вот вам мое стариковское напутствие на веки веков. Не возражайте. Разговор окончен.

Актер ушел, посмеиваясь, а Маша задумалась над тем, что действительно все окружающее ее очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде, в институте, это было не так заметно, как сейчас, в поездке. Может быть, это и была та скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии, что заключена в каждом дне существования.

На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетала, переливаясь волнами, воздушная синева. Маше казалось, что ветер проносит перед ней, играя, все эти летние дни, один за другим.

По вечерам ветер стихал. Река несла свои воды из тьмы во тьму. Только пароходные огни вырывали из этой черноты небольшой круг освещенной воды.

Маше было хорошо и временами грустно. Она никак

не могла поверить, что новая ее жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной.

В Камышине Маша сошла. Ветер нес над Волгой желтую мглу.

Летчик и актер вышли на пристань проводить Машу.

Маша растерянно попрощалась с летчиком. Летчик, не зная, что делать, вернулся на пароход, остановился у борта и смотрел оттуда, как актер прощается с Машей.

Актер снял шляпу, взял Машины руки, посмотрел Маше в лицо прищуренными, смеющимися глазами.

— Вы будете счастливы,— сказал он.— Но мое счастье больше вашего. Потому что я старый человек.

— О чем вы говорите? — спросила Маша.

— Вы не можете понять того счастья, какое дано немолодым! — напыщенно сказал актер.— Счастья видеть слезы на глазах Дездемоны, любящей другого.

Он отпустил Машины руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходням. Пароход дал третий гудок и отвалил.

Ветер с реки, пахнущий нефтью, бил в лицо. Низенький седоусый старик топтался около Маши и вполголоса говорил: «Поднести вещицы, гражданочка?» Но Маша не слышала его и не отвечала. Тогда низенький старик сел в сторонке на деревянную скамью и закурил — стал дожидаться, когда Маша наконец успокоится.

Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике — его называли «казенкой» — поселились работники колхозной лесной посадки.

Начальник участка оказался совсем не пыльным и угрюмым, а, наоборот, очень подвижным и шутливым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было неспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок,— взойдут ли? Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока,— там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса — эти мертвые лишаи среди степей, эта желтая глина, блестевшая на изломе белым отблеском соли.

Однажды Маша по совету летчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она резко делится на три части — жизнь в Ленинграде, поездку на пароходе и работу

в приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было свое хорошее содержание и своя, как говорил старый актер, поэзия.

В Ленинграде была комната, откуда был виден закат над Лахтой, были подруги, институт, книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолетных, но глубоко задевающих душу встреч и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы.

И где-то в самой глубине сердца не умирала память о летчике, о том, как он смущенно улыбнулся, пожаловавшись на соловьев, как он смотрел на нее в Камышине с палубы парохода и щека у него вздрагивала, как и тогда, в Белозерске. Человек прошел мимо, и это было очень жалко.

Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки. Молодой, нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп, лежал на синем пологе ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне...

Лесные посадки зеленоватой мелкой рекой переливались через взгорья и уходили в сухие степи, где курилась над широкими шляхами красноватая пыль.

Было много работы. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акацию. Маша делала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам.

Маша загорела. Косы ее выцвели от солнца. Она стала похожа на степную девчонку. Платье, руки, все вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры черного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу.

Сторожили вагончик Нарзан и мальчик семи лет, Степа, сын начальника участка.

Весь день они сидели вдвоем в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груше. Она звенела так сильно, будто литая из бронзы.

К концу лета на посадки напали тушканчики. Они рыли ямки около дубов и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из Сталинграда вызвали самолет «огородник», чтобы разбросать на посадки отравленный овес.

Однажды вечером, когда Степа сидел на ступеньках ва-

гончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего солнца летел, лениво погромыхивая мотором, маленький самолет.

Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился.

Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем, к вагончику. Летчик был еще молодой, но виски у него были седые. На куртке летчика Степа увидел две полоски орденских ленточек.

Нарзан, вместо того чтобы облаять летчика, залез под вагончик и начал там неслышно рычать.

— Здравствуй, мальчик! — сказал летчик, сел рядом со Степой на ступеньки и закурил.— Это пятнадцатый участок?

— Да,— робко ответил Степа.— Вы к нам?

— К вам. Тушканчиков буду травить...

— Вот сколько у вас орденов,— сказал, подумав, Степа,— а вы тушканчиков травите. Мы думали, что к нам пришлют летного ученика.

— Я сам напросился к вам, мальчик,— ответил летчик и помолчал.— Маша Климова здесь работает?

— Здесь,— ответил Степа и прищурился.— А что?

— А где она?

— Там, в лесу.— Степа махнул рукой в сторону посадок.

— Действительно, лес! — засмеялся летчик, встал и пошел, не оглядываясь, к посадкам.

Степа смотрел ему вслед. Уже стемнело, и плохо было видно в степи. Но все же Степа увидел, как шла из степи Маша. Летчик быстро пошел ей навстречу, но Маша до летчика не дошла, она остановилась и закрыла лицо руками.

Было уже совсем темно. Над прудом повисла, заглядывая в черную воду с огромной своей высоты, бродячая степная звезда.

«Зачем Маша закрыла лицо руками?» — подумал Степа и повторил шутливые слова, какие часто говорил о Маше его отец:

— Она у нас чудачка!

А Нарзан всю ночь рычал из-под вагончика на самолет, мирно дремавший на сухой, теплой земле.

1951

БЕГ ВРЕМЕНИ

Московскому художнику Лаврову предложили написать несколько пейзажей Волги. Лавров с радостью согласился. Но по медлительности своей прособирался все лето и выехал из Москвы на Волгу только в начале сентября.

Широкотрубный пароход сверкал протертыми до кристальной игры стеклами. В машинном отделении глухо гудели моторы. Пароход плавно нес свои огни и палубу, заполненную нарядными пассажирами, мимо подмосковных дачных рощ и разливов, где догорал холодноватый закат. Леса на берегах уже ржавели, золотели. Сигнальные фонари канала неярко светили в осенней мгле.

Лавров, несмотря на пожилой возраст, был застенчив и потому туго сходился с попутчиками. Людей он оценивал прежде всего с точки зрения их характерности и живописности.

Больше всего на пароходе его занимали два человека — загорелая девушка-штурман Саша и один из пассажиров, бритый старик с припухшими веками, известный историк.

Рыбинское море проходили на рассвете. Лавров вышел на палубу. Там было пусто и сыро от росы. С запада навстречу мутноватой заре, предвещавшей непогоду, катились, шумя, невысокие волны.

Историк тоже вышел на палубу. Он стоял у борта, подняв воротник пальто и придерживая черную стариковскую шляпу.

С мостика сбежала по крутому трапу Саша. Она была в темной шинели, кожаных перчатках и берете. Под берет она подобрала свои каштановые косы. Саша сменилась с ночной вахты. Лицо ее горело от холода, губы обветрились.

— Здравствуйте! — приветливо сказала она Лаврову и улыбнулась.— Любуетесь морем?

— Еще бы! — ответил Лавров.— Почти невозможно поверить, что все это сделано человеческими руками.

— Я сама из этих мест, из Мологи,— ответила Саша.— Я здесь, на дне этого моря,— она показала на волны, отливавшие розовым светом зари,— девчонкой грибы собирала. Совсем недавно. Это море моложе меня.

— Движение событий приобрело такую стремительность, что история не успевает угнаться за ними,— сказал историк и натянул шляпу почти до ушей.— События проносятся, пересекаясь и опережая нашу кропотливую

мысль. Нужна целая армия историков, чтобы утвердить в научных исследованиях этот полет времени.

Около Кинешмы пароход обогнал вереницу плотов.

Порывистый ветер нес легкие рваные облака. Тени от них пролетали по реке и лесистым берегам, уходившим в воду осыпями песка. Вслед за тенью всегда прорывалось солнце, и тогда все вокруг начинало сверкать множеством красок и отблесков. То вылетит из тени, вспыхнув снежной белизной, и снова умчится в тень стая речных чаек, то запылает красный флаг над отдаленной избой на берегу, должно быть, над сельсоветом, то сосновый бор весь затрепещет и заблестит, будто его полили косым светлым дождем, то тот же бор покроется зеленой сумрачной пеленой, и до парохода долетит его протяжный величавый шум.

Волны от парохода заплескивали на плоты. На толстых сосновых кряжах, стянутых стальными тросами, стояли девушки с баграми и что-то кричали, но ветер уносил их крики к другому берегу, и ничего нельзя было разобрать. Были видны только крепкие зубы девушек на загорелых смеющихся лицах, разноцветные платки и взлетающие от ветра ситцевые подолы над смуглыми ногами.

Саша стояла на мостике. Она приложила ко рту медный рупор и крикнула:

— Как живем, девушки?

— Хорошо, Саша! — дружно закричали в ответ девушки и замахали платками.

— Далеко сплавляете?

— До самого Сталинграда! Проща-ай! Не забывай про нас, про волжских девчонок!

Глядя на девушек, Лавров понял, что Саша для них — свой человек, что эта женщина-штурман, должно быть, известна и любима на Волге. Да иначе и быть не могло: не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы.

Вечером Лавров пожаловался Саше, что вот, мол, замечательный был сюжет для картины — девушки-плотогоны в ветреный, переменчивый по краскам день,— но ему не удалось даже сделать наброска: слишком быстро все пронеслось мимо.

— Вы бы хоть придержали пароход на одну минуту,— шутливо сказал Саше Лавров.

— Я и сама понимаю,— ответила Саша.— Но только, Владимир Петрович, этого никак нельзя.

— Эх, вы! — вздохнул Лавров.— Машинные люди! Недооцениваете вы значения красоты в нашей жизни!

— Что вы! — горячо возразила Саша.— Мы очень любим и ценим красивое. Только и вы нас поймите.

— Чего же вас особенно понимать?

— А вы представьте себе всю сложность и стройность движения по всей стране,— ответила Саша.— Движения всех поездов, пароходов и самолетов, сеть точек пересечения их путей, где все они должны быть точно по расписанию. Это нужно для того, чтобы жизнь шла ровно и без перебоев. Разве это не красота?

— Пожалуй,— согласился Лавров.— Я об этом как-то не подумал.

Шли Волгой. Тянулись золоченые холмы крутого правого берега. Стальные мачты электропередач стояли по колена в осенней листве. Там, в вышине, по туго натянутым проводам непрерывно лился электрический ток: Лаврову почему-то казалось, что этот ток поблескивает синевой. Может быть, потому, что ток, обнаруживая себя, давал голубые вспышки.

Левый берег уходил в туман. Туман этот был разнообразно окрашен. В нем были то розовые, то золотые, то синие и сиреневые, то пурпурные и бронзовые широкие и размытые пятна. Лавров знал, что это просвечивают сквозь туман то леса, то облака, освещенные вечерним солнцем, то обрывы берегов, то, может быть, далекие белые здания невидимых в тумане городов.

Однажды Лавров сидел на скамейке на верхней палубе около капитанского мостика, где не было пассажиров. Он поставил на табурет перед собою подрамник и быстро, широкими мазками набрасывал на холсте весь этот затихший к вечеру мир воздуха, тумана, разноцветных вод, отражений и золотеющих далей.

Саша стояла на вахте на капитанском мостике. Она несколько раз вопросительно взглядывала на Лаврова, потом смотрела на небо. Ей было досадно, что так быстро надвигается вечер, что очень скоро весь этот блеск погаснет и сумерки окрасят все в однообразный серый цвет. «Не успеет! — подумала Саша.— Писал бы поскорей, право!»

Саша потянула за трос от гудка. Пароход протяжно и предостерегающе закричал — наперерез пароходу шла лодка.

Пароход быстро подходил к ней, и Лавров вдруг увидел: в лодке стояла молодая женщина в расстегнутом

жакете. Она прижимала к себе охапку осенних веток и смотрела на пароход. На веслах сидел черный от загара парень. Он перестал грести и тоже смотрел на пароход. Отражение осенних веток качалось в воде у борта лодки.

Весь этот вечер, и женщина, и сиявшее над рекой облако, похожее на гроздь винограда, показались Лаврову таким ясным воплощением мира и отдыха всей этой родной и необыкновенной страны, что он только вздохнул и сердито посмотрел на Сашу.

Одно мгновение он ждал, подняв кисть, что Саша хотя бы на минуту остановит пароход, но лицо у Саши было каменное и даже как будто злое.

Лодка с женщиной быстро уходила, покачиваясь, в сумерки. Последний свет заката падал на охапку осенних веток. Темнота никак не могла погасить золотое свечение листьев.

Лавров с сердцем захлопнул ящик с красками и пошел к себе в каюту. Проходя мимо капитанского мостика, он искоса взглянул на Сашу — она покраснела и отвернулась.

«Ну, ладно! — подумал Лавров.— Поговорим как-нибудь».

У себя в каюте он долго обдумывал все, что скажет Саше. Получалась целая обвинительная речь. Но в тот вечер Лавров Сашу не видел: она, очевидно, спала после вахты, а за ночь обвинительная речь как-то выцвела и показалась ему даже глупой.

Лавров задумался. Чего он добивается? Чтобы жизнь остановилась перед ним? Но она никогда не остановится. Она всегда будет нестись широким и многоцветным потоком в даль, которую мы зовем нашим будущим. Отстанешь — и поток уйдет, тускнея, с глаз, и потом его уже никак не догонишь.

«Девочка, пожалуй, права,— решил наконец Лавров.— Зря я на нее рассердился...»

Встретив через день Сашу на палубе, Лавров только посмотрел в ее серые застенчиво-веселые глаза и сказал:

— Обязательно вас напишу. Только не сейчас, а зимой, в Москве. Согласны?

— Ну что ж,— ответила Саша.— Спасибо, Владимир Петрович.

И она легко и доверчиво положила свою руку на рукав Лаврова.

Лавров взглянул на реку. Линии огней сияли, переливаясь, в осенней темноте. Свежо и влажно, черным, испо-

линским, как бы стеклянным валом Волга уходила во всю свою ширину в бездну ночи и уносила, растягивая в световые полосы и разрывая, отражение этих огней. Пароход подходил к строящейся Куйбышевской плотине.

* * *

В декабре Саша пошла в Третьяковскую галерею на ежегодную выставку картин.

Был вечер. Падал ленивый снег, и, глядя с улицы на освещенные окна домов, казалось, что там, в этих домах, горят тысячи свечей и идет какой-то тихий зимний праздник.

На выставке было мало народу. Саша быстро прошла по залам, разыскивая картину Лаврова. Она заметила ее издали, остановилась, и от волнения ей на минуту вдруг стало трудно дышать...

Как, какой непонятной силой этот молчаливый и даже неловкий на вид человек остановил навеки тот удивительный вечер на реке и увидел в нем гораздо больше прелести и красок, чем увидела в то же самое время она? В чем его сила? В таланте? Или в соединении таланта с любовью к своей удивительной стране?

«Как он смог по памяти написать и этот вечер, и лодку, и женщину с охапкой осенних веток? — подумала Саша.— Я ведь не задержала пароход, хотя отлично поняла, что он ждал этого».

Чем дольше Саша смотрела на картину, тем все сильнее ей хотелось поблагодарить Лаврова и, может быть, даже с нежностью и удивлением прикоснуться к его худой, испачканной красками руке.

Саша стояла, смотрела издали на картину, и волнение сменилось у нее неожиданной бурной радостью. «Как все хорошо! — подумала она.— Даже вот этот мохнатый, ленивый, щекочущий лицо вечерний снег за окнами. Все, все!..»

1951

ПРИШЕЛЕЦ С ЮГА

Осенью 1951 года, на конференции писателей юга в Ростове-на-Дону, сочинский селекционер Зорин, автор нескольких книг о субтропической флоре, подарил мне ма-

ленький пакет с цветочными семенами. На пакете было написано: «Луноцвет».

Я впервые услышал об этом цветке, но Зорин почему-то не захотел рассказать мне о нем. В ответ на мои расспросы он только загадочно улыбался.

— Посадите этот цветок у себя в саду под Рязанью,— сказал он.— Только одно условие: когда на луноцвете созреют бутоны, то в первые же теплые сумерки сядьте около него и терпеливо ждите.

— А что случится? — спросил я.

— Сами увидите,— так же таинственно ответил Зорин.

Через несколько дней я попал из Ростова в Таганрог. В городке этом было много любителей-цветоводов. Таганрогские дворики напоминали умело подобранные букеты.

Был сухой день поздней осени. Вороха сизо-желтых листьев акации шумели под ногами. Внизу, под глинистым обрывом, поблескивало Азовское море. Его вода была по цвету похожа на желтоватую листву акаций.

Я расспрашивал таганрогских цветоводов о луноцвете, но никто из них не знал о нем.

В Москве тоже никто не слышал об этом южном растении. Но все, будто сговорившись, утверждали, что оно, конечно, не выживет и во всяком случае ни за что не расцветет у нас, в средней полосе России.

Весной я посадил семена луноцвета у себя в саду под Рязанью.

Рязанская земля казалась мне слишком грубой для этого таинственного цветка. Сейчас же за садом начинался сосновый лес с его серой, похожей на золу, рассыпчатой почвой. Должно быть, за сходство с золой эта почва и получила название «подзола». На ней хорошо росли только можжевельник, волчье лыко и жесткая, остистая трава.

Действительно, трудно было поверить, что на ней может вырасти этот цветок — пришелец из мягких южных краев с их благоуханием и жаркой влажностью.

Но луноцвет взошел. Лето выдалось прохладное. Почти каждый день небо заволакивали низкие, тяжелые тучи, и из них косо летел, барабаня по крышам, быстрый холодный дождь.

Луноцвет, пренебрегая всем этим, рос так же быстро и буйно, как у нас растет только бурьян — крапива, чистотел или лебеда.

К августу его кусты уже вытянулись в человеческий рост и на них появились большие, длинные бутоны. Они

были похожи на наконечники пик или на свернутые и спрятанные в зеленые чехлы полковые знамена.

Каждые сумерки около луноцвета собирались жители нашего деревенского дома и кое-кто из соседей: Галка — девушка с длинными косами, шумная и сероглазая, маленький мальчик Алешка, его няня Прасковья Захаровна — пожилая женщина, имевшая самостоятельное суждение обо всем на свете, дед Кузьма и колхозный шофер с многострадального грузовика Ваня Самарский — человек скорый на работу и любопытный до крайности — и, наконец, я. Каждому хотелось узнать, что это за цветок и в чем его тайна.

Дожди к тому времени уже прошли. Август, чуть тронутый осенней ржавчиной, стоял сухой и безветренный.

И вот свершилось! В сумерки одного из таких августовских дней все бутоны луноцвета внезапно вздрогнули и на них появились узкие щели. Тотчас из каждого бутона вытянулись белые тугие звезды пестиков. Каждый пестик начал быстро вращаться слева направо, чашелистики (бутонные чехлы), скрывавшие цветок, отлетели от него, как на пружинах, и показался туго свернутый, напоминавший веретено, бледно-золотой венчик.

Пестик, вращаясь, быстро раскручивал этот венчик. И наконец цветок, похожий на большую чашку из золотистого прозрачного фарфора, раскрылся до конца со странным шумом, будто легко вздохнул. И выдохнул при этом горьковатый миндальный запах, до тех пор прочно запертый внутри лепестков.

Все пестики на бутонах вращались, вздохи цветов слились в один слитный и явственный шепот, и вскоре весь куст уже светился в сумраке большими влажными цветами. Деревенский сад, привыкший к запаху мяты и ромашки, как бы заполнился воздухом тропических чащ.

Когда первый бутон начал быстро вертеться, маленький Алеша закричал:

— Ой, он винтается, этот цветок!

— Тише! — прикрикнула Галка.— Не шуми, балабошка Алешка! Ты его напугаешь.

И маленький мальчик — ему было около трех лет,— пораженный не меньше взрослых удивительным зрелищем шевелящихся и шепчущих цветов, замолчал и только каждый раз, когда, зашумев, раскрывался, как бы вспыхивая, новый цветок, боязливо протягивал к нему руку, но тотчас ее отдергивал.

Все молчали, чтобы лучше расслышать шорох цветов. Дед Кузьма смотрел на луноцвет, открыв рот. Махорочная цигарка прилипла к его губе, догорала, жгла ему рот, но он не обращал на это внимания.

Когда все сорок или пятьдесят цветов луноцвета раскрылись за несколько минут, около цветущего куста произошел разговор.

— Галка,— сказал Алеша и прищурился,— ты сама не шуми, а то они от тебя улетят. Совсем глупая!

Действительно, цветы луноцвета еще не совсем успокоились, еще слабо шевелили лепестками и были похожи на стаю бабочек, севших на куст.

— Ишь какой самостоятельный тип! — сердито сказала Галка.— Как ты смеешь так разговаривать со взрослыми! Я тебе покажу!

— Это нельзя! — примирительно сказал дед Кузьма.

— Чего нельзя?

— Нельзя, дочка, сердиться. Ты жучиной малому не грозись. Ты лучше на этот цвет погляди, полюбуйся. А Алешка, известно, лихой господин. Что с него взять!

— Няня, они живые? — спросил Алешка, совершенно не обратив внимания на весь этот разговор.

— Да уж и не знаю,— с сомнением ответила Прасковья Захаровна.— Волшебные, конечно, цветы.

— Как это? — спросил Алешка и с тревогой посмотрел на Прасковью Захаровну.

— Ну, просто волшебные,— ответила за нее Галка.— Я же тебе читала волшебные сказки. Помнишь? Так эти цветы пришли к нам в сад из такой сказки.

— Как пришли? — снова спросил Алешка и испытующе посмотрел на Галку.— В гости?

— А вот как — это самое, по-моему, удивительное дело,— сказал Ваня Самарский.

— Чего ж удивляться-то! — возразил дед Кузьма.— Удивлялись мы сколько лет, а теперь нам удивление не в удивление. Вó какие мы стали лихие господа!

— Это как? — строго спросил Алешка. Спрашивал он только по привычке.

— Бесперечь удивлялись. Прямо шпыняло нас новостями со всех боков. Первым делом — трактор! Потом эти самые самолеты пошли гудеть над полями, опылять посевы. Потом, значит, комбайн явился. Переполоху наделал — страсть! Да и то сказать — чудодейственная машина. Потом огонь электрический провели, запылали светом

окрест все села до самой глухомани, до Лопухов. Пильщик я был. Помимо меня, никто не умел пилу из сосны вытащить, когда ее всей сосной зажимало. Я один этот секрет ведал, а теперь пилят электрической пилой. Вжик, вжик,— и пожалуйте!

Алешка засмеялся. Он прямо захлебывался от смеха.

— Чего это он? — удивился дед.

— Это он на «вжик»,— объяснила Галка.

— Вот-вот! — одобрительно сказал дед Кузьма.— Ты смейся, милок. Говорят, когда человек много смеется, так ему сахару потреблять не надо. Верно это или нет?

— Тоже выдумывают невесть что,— гневно сказала Прасковья Захаровна.— А ты и рад повторять. Перед ребенком. Его и так есть нипочем не заставишь.

— А ты ему зубы заговори — он и станет исть. На то ты и нянька.

Схватка между дедом Кузьмой и Прасковьей Захаровной грозила разгореться, но тут вмешался Ваня Самарский.

— Да будет вам! — сказал он с досадой.— Можете вы это понимать, что сотни лет стояла наша рязанская земля, всякие в ней случались события, а вот такого цветка еще никогда здесь не было? Не вырастал на нашей земле такой замечательный цветок. И я думаю, что отсюда надо нам сделать вывод.

— Ну-ну, делай,— согласился дед Кузьма, закуривая цигарку.— Лети в небеса.

— Цветок этот, конечно, для красоты,— сказал как бы с сожалением Ваня и с виноватой улыбкой посмотрел на меня.— Вы не обижайтесь. Я понимаю, что без этого, без красоты, не может быть жизни. Особенно если говорить о коммунизме. Тут дело не в этом. А в том, что цветок этот южный, зябкий, для нашего климата как будто бы посторонний. А вот растет и цветет. Дело, значит, не в одном этом цветке, а в дерзости человека.

— А я теперь ничему не дивлюсь,— повторил дед Кузьма.— Арбузы под Москвой стали растить. Это что ж такое? Это, брат, прямые чудеса! Или, скажем, наши луга. Старые луга, что говорить. Ну, мельчают, понятно. Трава свою породу теряет. Так рапе кто об этом заботился? Да никто! А нынче, видел, сколько машин пригнали? Будут луга молодить. И будет тут рость не трава, а чистое золото.

— Это как? — спросил Алешка.

— Ну, золото. Как тебе растолковать? Вещество вроде

как этот цветок, только с твердостью. И со звоном. Я лучше тебе расскажу про мужичка одного колхозного, что хотел все знать.

— Он злодей? — спросил Алешка.

— Что ты, милок! — испугался дед.— Какой же он может быть злодей, когда был он человек душевный, разговорчивый! Ему только желательно было все знать, что круг него существовало. Пьет, скажем, чай — вот ему и интересно, откуда этот чай берется. А берется он из теплых краев, из сушеных листочков. Или, к примеру, откуда происходит сахар. Из свеклы он происходит, только она у нас не зреет. Тут ей больно холодно. Вот собрался тот человек и пошел в теплые края посмотреть своим глазом, как это все произрастает. А там, понятно, благоухание, и кущи, и сады совершенно райские. И висят в тех садах лимоны.

— Мандарины,— сказал Алешка.

— А я те говорю — лимоны! И думает наш человек: «Это, думает, не путь! Одной земле все дано, а другой — вроде ничего. Соберу-ка я семена да понесу в свой край. Обрадуется им наша земля. Она-то ведь не балованная, на ней только суровый злак растет. А ей ведь тоже охота расцвесть в полной своей силе». Собрал он семена, идет на родную сторону. А там в то время зима. Завалило леса снегом по самые верхи. Он возьми и кинь горсть тех семян на снег. И что ж ты думаешь! Сразу осели, ухнули снега, хлынули ручьями, вышла из-под них сырая земля, и на той земле, в теплом пару, вырастают вот так же скоро, как этот цвет золотой, всякие дивные злаки, цветы и травы. Такие, как там, в тех теплых краях. Прямо за его пятой вырастают.

— Все ты выдумываешь, Кузьма,— сказала Прасковья Захаровна.— Старый — как малый.

— Иносказание,— вдруг сказал Ваня Самарский и покраснел. Должно быть, оттого, что произнес это мудреное слово.

На следующий день на кустах луноцвета расцвело уже не пятьдесят, а больше сотни цветов. Со всей деревни начали приходить посетители, чтобы посмотреть на этот чудесный цветок.

Мальчишки весь день висели на заборе и свое восхищение выражали только привычными возгласами.

— Ух ты! — шептали они.— Глянь-ка, ох ты! Вот так да.

Взрослые смотрели на цветы почтительно, разговаривали почему-то вполголоса и, уходя, говорили:

— Вот и еще одно происшествие у нас интересное.

Однажды я вышел в сад ночью и осветил куст луноцвета сильным фонарем. Он предстал предо мной среди окружающей тьмы во всей своей нежной красоте. Так, должно быть, сверкали те цветы и травы, о которых рассказывал дед Кузьма. Как правдивы истоки народной поэзии и какие ее богатства заключены в нашем времени!

1952

СЕКВОЙЯ

Дом отдыха стоял на бугре, заросшем густым осинником и старыми елями. Под бугром, в глубоком овраге, бормотала речушка Вертушинка. Назвали ее так, должно быть, за то, что она очень вертелась и петляла по оврагам. Куда бы ни выходили отдыхающие из дома, они всюду натыкались на эту позванивающую подо льдом речушку.

На изгибах, где течение было быстрее, Вертушинка промыла во льду полыньи. В них под вздрагивающей водой было видно каменистое дно, а около тонкого края льда всегда собиралось и вертелось каруселью все, что несла зимой вода,— перегнившие, черные листья, куски коры, мох, пух, растерянный в драках синицами, и семена.

Семян было больше всего. Особенно много несла Вертушинка семян ольхи — темных шершавых шариков.

Андрей Иванович Дубов, лесовод и селекционер, попал в этот писательский дом отдыха случайно. Когда ему в научном институте предложили путевку в этот дом, Дубов тотчас согласился. Ему давно хотелось пожить среди людей так называемой «свободной профессии».

Но потом Дубова начали одолевать сомнения. Все-таки среда незнакомая. Писатели, говорят, люди бывалые, интересные и разносторонние, но шумные и насмешливые.

Дубову, как человеку только одного своего лесного дела, казалось, что он будет выглядеть среди писателей как житель тайги, попавший без всякой подготовки, в неуклюжих унтах и тулупе, на концерт в Большой зал Консерватории. Вокруг него будут спорить о книгах, стихах, о всяких сложностях писательской работы. Будут, конечно, ждать, что и он вмешается в эти разговоры. А как он может вмешаться, когда в литературе он мало что знает?

Поэтому первые дни в доме отдыха Дубов только присматривался и помалкивал. Каждый день за обедом и ужином он выслушивал столько всяких историй — то смешных, то печальных, то фантастических, столько острот и анекдотов и вдруг разгоравшихся, как лесной пожар, интересных и яростных споров,— что к вечеру у него разбаливалась голова.

Но он быстро привык к этим разговорам, вошел во вкус и уже через неделю с нетерпением ждал новых рассказов. Он уже не чувствовал себя чужаком.

Просыпался Дубов очень рано, еще в темноте.

Стоял конец декабря — самые короткие дни в году. Даже в полдень небо на горизонте над прозрачными перелесками и покрытыми снегом полями было затянуто темной мглой. Будто ночь только на короткое время — и то неохотно — отошла в сторону и очень скоро вернется.

Дубов одевался и шел к Вертушинке. Ночь мутнела, воздух наливался слабой синевой. Потом эта синева переходила в мягкий серый цвет. Черные ели тяжело стояли среди утренней мглы, как будто их выковали из позеленевшего чугуна кузнецы.

На берегу Вертушинки Дубов часто встречал девушку Настю, дочь одного из писателей, школьницу девятого класса.

Она отдыхала в доме после болезни, много ходила на лыжах и впервые зачитывалась «Войной и миром».

Отец ее весь день сидел в гостиной и играл в шахматы. Настя время от времени врывалась в гостиную, кричала с отчаянием: «Папа, князя Андрея убили!» — и убегала, чтобы через час опять ворваться и крикнуть, но уже радостно: «Папа, его, оказывается, не убили, а ранили!»

Отец только махал на Настю рукой.

Настя, встречаясь с Дубовым, всегда улыбалась, и в ее открытой улыбке было столько чистейшей прелести девичества, свежести и еще не осознанного счастья, что Дубов улыбался в ответ.

Какими-то еще неясными для него самого путями эта улыбка связывалась у Дубова со множеством хороших мыслей. Вернее, она вызывала эти мысли о счастливом значении его работы, о будущем, о том, что не так уж далеко весна.

Ее приближение даже как будто было заметно по теплым ветрам, доносившим из леса запах оттаявшей коры,

по блеску капель, стекавших с ледяных сосулек (будто десятки маленьких солнц косо летели по воздуху и исчезали в рыхлом снегу), наконец, по свисту синиц, дружно расклевывавших еловые шишки.

Настя почти всегда подходила к промоине на Вертушинке на лыжах.

Длинные ее косы были переброшены со спины на грудь, она глубоко дышала от лыжного бега, щеки у нее нежно рдели, а глаза под запушенными ресницами сверкали нестерпимо, будто в них за зеленоватым зрачком были зажжены маленькие звезды.

Каждый раз Настя находила под водой новые интересные вещи: то вымокшую в воде, порыжевшую еловую ветку (она казалась заржавленной), то жестяную консервную банку, блестевшую, как начищенное серебро, то лиловый от холода и мертвый лист водяной лилии. Один раз она даже увидела, как через промоину пронеслась длинная, как веретено, маленькая рыба, и почему-то решила, что это форель, хотя форель под Москвой не водится.

О каждой вещи Настя расспрашивала Дубова: почему листья лилии, когда вянут, делаются лиловыми, а еловая хвоя — рыжей, правда ли, что жуки-водомеры зимой не умирают, а спят на дне под камнями, и могут ли прорасти те семена, что вертятся в водовороте на промоине. Вот хорошо бы действительно собрать их, посеять и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, вырастет целый сад из этих речных семян.

Дубов сначала отвечал Насте очень точно, научно, но по легкому разочарованию на ее лице наконец понял, что она ждет от него других ответов.

Очевидно, в связи со всеми этими подводными вещами у Насти в голове уже роились всякие волшебные рассказы. Ей, должно быть, хотелось знать не только точное объяснение явлений, но и уловить ту трудно передаваемую, скрытую поэзию, что жила в этих палых листьях, тонком ледке, его звоне, в мохнатых комьях снега, остром воздухе осиновых чащ и во всем этом дремотном зимнем дне.

Но передать ей эту непонятную власть зимы Дубов не мог. Он знал, что Насте хочется сказки. «Это дело писателей,— говорил он себе,— придумывать сказки. Я, конечно, чувствую красоту зимы, но выразить ее не могу. Слов у меня не хватает. И должно быть, и воображения. Засох я на научной работе».

Однажды вечером один из писателей читал в гостиной свою только что написанную сказку.

Писатель был пожилой, в очках, страдал одышкой и очень ревниво следил за тем, чтобы во время чтения не было никакого шума.

В сказке говорилось об огромных деревьях. Внутри этих деревьев жили маленькие человечки. Они выдолбили в стволах целые города с заводами, школами и учреждениями, провели трамвай и метро. И с человечками этими случались всякие приключения.

После чтения начался разговор. Говорили сначала туго, потом оживились. Сказку хвалили, хотя кое-кто и говорил, что она несколько искусственна, что даже в сказках надо исходить из реальности, из подлинных и интересных жизненных случаев и явлений.

Писатель молчал, но с этим, видимо, не соглашался. Может быть, потому, что в сказке упоминались деревья-великаны, писатель повернулся к Дубову и спросил:

— Ну, а вы что думаете? С точки зрения знатока природы и лесовода?

— Что же я могу сказать? — ответил Дубов.— Мне нравится. Но дело в том, что на земле есть гораздо более сказочные деревья, чем те, которые вы описали.

— А ну, ну, давайте, рассказывайте! — сказал молодой поэт и даже потер руки. Очевидно, сказка ему не нравилась.

— Я не знаю...— неуверенно сказал Дубов.— Дело в том, что сказка должна быть, по-моему, фантастичнее.

— О каких деревьях вы все-таки говорите? — придирчиво спросил писатель-сказочник.

— Вот вы пишете, что ваши деревья были такие высокие, что за них цеплялись тучи,— сказал Дубов, почему-то сердясь.— Тут дело не в высоте деревьев, а в высоте облаков. Бывают такие низкие облака, что они цепляются даже за вершины сосен. А дерево, о котором я хотел вам сказать,— это мамонтово дерево, секвойя. Исполинская сосна. Она вырастает в высоту на полтораста метров. Толщина ствола у нее чудовищная, до пятнадцати метров. Самое долговечное дерево на земле. В Калифорнии есть секвойи, прожившие три тысячи лет. Уже при Гомере они были большими деревьями. А при Колумбе — великанами.

— А ну, ну, давайте, давайте! — снова сказал поэт, но теперь уже без всякого злорадства.

— Так вот... Дело в том, что это замечательное дерево может хорошо расти и у нас в Советском Союзе. В Крыму, в Никитском саду, есть несколько молодых секвой. Молодые, а в общем гиганты порядочные. Вдвое выше самой высокой сосны.

— Почему же вы не сажаете леса из секвой? — строго спросил Настин отец.

— В том-то и дело,— ответил Дубов,— что секвойя — дерево вырождающееся. Оно вымирает. Это остаток прошлого. Секвойя в Америке уже потеряла способность размножаться. Те деревья, которые там есть,— последние. Новых не будет.

— Какая жаль для нас, для всей Руси! — сказал известный сатирический поэт.

— Вы не могли бы придумать чего-нибудь поостроумнее? — с ледяной вежливостью спросил его лирический поэт.

— Тише вы! — прикрикнул на них Настин отец.— Не мешайте!..

— Да... Так вот, дело в том...— сказал Дубов и смутился. Он поймал себя на том, что уже в третий или в четвертый раз повторяет это беспомощное выражение «дело в том».— Дело в том, что как раз мне пришлось несколько лет работать, чтобы получить у секвойи всхожие семена. Теперь вот я отдыхаю среди вас самым законным образом, потому что успешно закончил эту работу. Под Москвой уже заложены первые участки секвойи. Правда, они еще невысокие. Но через...

— Семь тысяч лет,— подсказал сатирический поэт.

— Знаете что, не будьте остряком-самоучкой! — снова сердито сказал ему лирический поэт, но сатирик нисколько не обиделся.

— Ну, не через семь тысяч лет, а гораздо раньше у нас будут фантастические по красоте и мощи леса из секвойи. Не забывайте, что мы работаем еще и над ускорением роста деревьев.

Все замолчали, как бы обдумывая рассказ Дубова.

— Вот это и есть настоящая сказка! — вдруг сказала Настя. Она сидела в углу за роялем, и до этого возгласа никто ее не замечал.

Тогда автор сказки совершил героический и правильный, по мнению Насти, поступок. Он встал, на глазах у всех торжественно разорвал свою рукопись и бросил ее в горящий камин. После этого он подошел к Дубову, по-

жал ему руку и вышел из гостиной так спокойно, будто ничего не случилось. И все почему-то подумали, что вот теперь он напишет, наверное, настоящую, волшебную, светящуюся, как звезды в зимнюю ночь, и интересную сказку.

Дубов был смущен. Ему было жаль автора сказки и стыдно, что из-за его рассказа пропал писательский труд.

Вечером Дубов пошел к Вертушинке. По дороге его догнала Настя. Начал падать снег, отвесный, крупный и совершенно тихий, как будто что-то припоминающий на лету.

— Вы любите такой снег, Андрей Иванович? — спросила Настя.

— Да,— ответил Дубов.— Но больше всего я люблю молодость. Такую, как ваша.

— А я больше всего люблю Лермонтова,— неожиданно сказала Настя, сообразила, что сказала, должно быть, совсем не то, что надо говорить в таких случаях, и смутилась так сильно, что на глазах у нее даже выступили слезы.

Сквозь эти слезы снег представлялся ей действительно сказочным. Ей даже казалось, что из каждого пушистого снежного кристалла расцветают на лету один за другим маленькие, совершенно белые и тающие от ее дыхания цветы, похожие на розы.

1953

ПРИТОЧНАЯ ТРАВА

Прошлым летом я возвращался с Борового озера к себе в деревню. Дорога шла по просеке в сосновом лесу. Все вокруг заросло пахучими от летней сухости травами.

Особенно много колосистой травы и цветов росло около старых пней. Трухлявые эти пни разваливались от легкого толчка ногой. Тогда взлетала темным облаком коричневая, как размолотый кофе, пыль, и в открывшихся внутри пня запутанных и таинственных ходах, проточенных короедами, начинали суетиться крылатые муравьи, жужелицы и плоские черные жуки в красных погонах, похожие на военных музыкантов. Недаром этих жуков звали «солдатиками».

Потом из норы под пнем вылезал заспанный — черный с золотом — шмель и, гудя, как самолет, взлетал, норовя щелкнуть с размаху в лоб разрушителя.

Кучевые облака громоздились в небе. Они были на взгляд такие тугие, что можно было, очевидно, лежать на их ослепительно-белых громадах и смотреть оттуда на приветливую землю с ее лесами, просеками, полянами, цветущей рожью, поблескиваньем тихой воды и пестрыми стадами.

На поляне около лесной опушки я увидел синие цветы. Они жались друг к другу. Заросли их были похожи на маленькие озера с густой синей водой.

Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал его, в цветах погромыхивали созревшие семена.

Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашечка всегда склоняется к земле, а у этих неизвестных цветов сухие чашечки стояли, вытянувшись вверх.

Дорога вышла из леса в поля. Невидимые жаворонки тотчас запели над рожью. Впечатление было такое, будто они перебрасывали друг другу стеклянную нитку. Они то роняли ее, то тут же на лету подхватывали, и дрожащий ее звон не затихал ни на минуту.

На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки. Они шли, должно быть, издалека. Пыльные туфли, связанные тесемками, висели у них через плечо. Они о чем-то болтали, смеялись, но, увидев меня, тотчас замолкли, торопливо поправили под платочками светлые волосы и сердито поджали губы.

Почему-то всегда бывает обидно, когда вот такие загорелые, сероглазые и смешливые девушки, увидев тебя, сразу же напускают на себя суровость. И еще обиднее, когда, разминувшись с ними, услышишь за спиной сдержанный смех.

Я уже был готов обидеться, но, поравнявшись со мной, девушки остановились, и обе сразу улыбнулись мне так застенчиво и легко, что я даже растерялся. Что может быть лучше этой неожиданной девичьей улыбки на глухой полевой дороге, когда в синей глубине глаз вдруг появляется влажный ласковый блеск и ты стоишь, удивленный, будто перед тобой сразу расцвел всеми своими сияющими цветами, весь в брызгах и пахучей прелести, куст жимолости или боярышника?

— Спасибо вам,— сказали мне девушки.

— За что?

— За то, что вы нам повстречались с этими цветами.

Девушки вдруг бросились бежать, но на бегу несколько раз оглядывались и, смеясь, ласково кричали мне одни и те же слова:

— Спасибо вам! Спасибо!

Я решил, что девушки развеселились и шутят надо мной. Но в этом маленьком случае на полевой дороге все же было что-то таинственное, удивительное, чего я не мог понять.

На околице деревни мне встретилась торопливая чистенькая старушка. Она тащила на веревке дымчатую козу. Увидев меня, старушка остановилась, всплеснула руками, выпустила козу и запела:

— Ой, милок! И до чего ж это чудесно, что ты мне встретился на пути. Уж и не знаю, как мне тебя благодарить.

— За что же меня благодарить, бабушка? — спросил я.

— Ишь притворенный,— ответила старушка и хитро покачала головой.— Уж будто ты и не знаешь! Сказать этого я тебе не могу, нельзя говорить. Ты иди своей дорогой и не торопись, чтобы тебе встрелось побольше людей.

Только в деревне загадка наконец разъяснилась. Раскрыл ее мне председатель сельсовета, Иван Карпович — человек строгий и деловой, но имевший склонность к краеведению и историческим изысканиям, как он выражался, «в масштабах своего района».

— Это вы нашли редкий цветок,— сказал он мне.— Называется «приточная трава». Есть такое поверье — да вот не знаю, стоит ли его разоблачать? — будто этот цветок приносит девушкам счастливую любовь, а пожилым людям — спокойную старость. И вообще — счастье.

Иван Карпович засмеялся:

— Вот и мне вы попались навстречу с «приточной травой». Пожалуй, будет и мне удача в моей работе. Надо думать, шоссейную дорогу из области к себе мы в этом году закончим. И соберем первый урожай проса. До сего времени его здесь не сеяли.

Он помолчал, улыбнулся каким-то своим мыслям и добавил:

— А за девушек я рад. Это хорошие девушки, лучшие наши огородницы.

1953

ГРАЧ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Была еще та ранняя весна, когда о приближении тепла можно догадаться только по едва заметным признакам — по туману на московских улицах, по каплям этого тумана, стекающим с черных веток недавно посаженных лип, и по рыхлому ветру. От него оседает и становится ноздреватым снег. Но этот последний признак, пожалуй, к Москве не относится. Снег в Москве к концу марта остается только в некоторых дворах, а на теплом асфальте его уже давно нет. Зиму в Москве собирают машинами-конвейерами на самосвалы и вывозят без остатка за город.

Тот случай, о каком я хочу рассказать, произошел в троллейбусе номер пять.

Москвичи, как известно, в троллейбусах и автобусах разговаривают мало, а больше читают. И в том троллейбусе номер пять, который отошел от остановки на Театральном проезде, тоже было обычное настроение. Но вдруг кондукторша крикнула:

— Погодите! Что же это такое?

— Это грач,— испуганно сказала девочка лет восьми.

Грач сидел, угревшись, под пальто на груди у девочки и только на минуту высунул из-под пальто свой нос. Но этого было достаточно, чтобы бдительная кондукторша заметила в троллейбусе птицу, запрещенную к перевозке.

— Если его нельзя везти, так я слезу,— сказала девочка и покраснела.

— Что ты, дочка! — воскликнула кондукторша, перестала давать билеты и протиснулась к девочке.— Сиди, не беспокойся. Ой, какая птаха хорошая! Что это? Неужели грач?

Грач осмелел и выглянул. Кондукторша осторожно погладила его пальцем по точеной головке и засмеялась.

— Не бойтесь, он не кусается,— сказала девочка и вся засияла.— Он очень серьезный, но добрый.

— Какой же это грач,— сказал старик с картонной папкой,— когда это скворец.

— А вы, гражданин, если не знаете облика птиц, так не утверждайте,— ответил пожилой человек в форме железнодорожника.

— Где нам в Москве знать про птиц,— вздохнула старуха в платке.— Нам что грач, что скворец, что воробей или стриж — все равно.

Пассажиры начали вставать, тесниться около девочки.

Каждый пытался погладить грача. Грач гладить себя давал, но посматривал на всех презрительно и высокомерно.

Сквозь толпу с трудом продирался от выходной двери назад плотный суровый генерал.

— Куда это вы, товарищ генерал,— заметил худой юноша без кепки,— против течения?

— А я к грачу, молодой человек,— ответил генерал и повторил внушительным голосом: — К гра-чу!

Генерал протискался к девочке, взял у нее грача, подержал его на ладони, как бы взвешивая, возвратил девочке и сказал:

— Куда же ты его везешь?

— В Зоопарк. Там я его выпущу.

— У нас на реке Сейме,— неожиданно сказал молоденький лейтенант и почтительно посмотрел на генерала,— настоящее пернатое царство. Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у нее нет. А у нас — соловьи. Мировые соловьи. Весной наш край по ночам весь поет.

— Вы про профессора Мантейфеля слышали? — спросил генерал лейтенанта.

— Так точно, слышал, товарищ генерал!

— Каждую птичью повадку знает. И может объяснить. Ну, а насчет всяких колен, пересвистов, перезвонов, трелей, чохов и всей прочей птичьей музыки нет такого другого знатока и любителя в Советском Союзе. Просто волшебный старик!

— Вы здесь сходите? — спросила генерала молодая женщина со смеющимися глазами.— Или остаетесь?

— Я на следующей остановке сойду,— ответил генерал, нисколько не смущаясь вопросом молодой женщины.— Подумаешь, важность — пройти два квартала обратно. Я, знаете, был свидетелем удивительной одной истории. Под Ленинградом во время войны. Весной это было. Прилетели скворцы и вьются, кричат над своими скворечнями. А скворечни, как на грех, в пустой полосе между нами и фашистами. Так те открыли по скворцам огонь из автоматов. Их, видите ли, беспокоил крик скворцов. Нервные попались молодчики. Тогда не выдержало у наших сердце. «Ах, так!» И открыли наши бойцы по фрицам такой огонь, что те мигом затихли.

— Вступились, значит, за скворцов,— сказала кондукторша.— Так я и подумала, как только вы начали рассказывать, товарищ генерал.

— А как же! Ведь скворец с древних времен сопутствует русскому человеку.

— Кондуктор! — крикнул сердитый голос.— Почему не даете билетов?

— Сейчас,— ответила недовольно кондукторша. Она все еще стояла около девочки и гладила грача по голове.— Сердца никакого нет у людей!

— А вы потише, гражданин,— сказала старуха недовольному пассажиру.

— Весна, значит, скоро,— вздохнул железнодорожник.— Черемуха зацветет. И полетят птицы над Россией, понесут свои песни.

— Ну, мне все-таки пора выходить,— сказал генерал.— До свидания, товарищи!

Все попрощались с генералом. Он вышел, чему-то улыбаясь, и так, улыбаясь, и пошел по улице к давно пропущенной остановке.

А пассажиры еще долго говорили о граче — предвестнике весны, о картине Саврасова «Грачи прилетели», о том, что Москва постепенно превращается в сад, где будет привольно всякой птице, и скоро весь город будет с утра до ночи звенеть от птичьего пения.

— Как это удивительно у нас получается,— сказал старик с картонной папкой.— Правительство заботится о благе людей, а от этого блага, глядишь, и перепадет коечто даже певчим птахам.

— Так и должно получаться,— убежденно ответил худой юноша без кепки.

— Истинно так! — сказала старуха в платке.— Я это по себе знаю.

Но тут уже начинается другая история, которую я расскажу как-нибудь позже.

1953

СИНЕВА

Хромой человек в маленькой кепке шел по гальке вдоль морского берега и смеялся.

Мальчишки удили со скал бычков и зеленух и перекрикивались насчет того, что рыжий Жорка занял у Витьки-адмирала большого краба для наживки и вот уже который день не отдает.

Заметив на пляже смеющегося человека, мальчишки насторожились и замолкли. Они, видимо, соображали — оставаться ли им на скалах или лучше удрать.

— Тикайте все! — крикнул наконец отчаянным голосом Витька-адмирал.— Тот дядя безумный! Он сам по себе смеется.

— Да нет же! — закричал, заикаясь от торопливости, самый маленький мальчик.— Совсем вовсе нет! Это — шахтер с Горловки. Тот, что стоит в доме отдыха. Он же совершенно смирный.

Вдруг все мальчишки заслонили глаза ладонями от отблеска волн:

— Трех камбал несет! С Тихой бухты. Он от удачи смеется. А Витька орет — «безумный!». Сам он псих, Витька.

Мальчишки, торопясь и толкаясь, полезли со скал на берег и побежали навстречу хромому человеку. Еще на бегу мальчишки кричали:

— Дядя, где вы их споймали? На что? На соленую камсу или на свежую? Ой, дядя, дайте нам их понести. А ты не тяни! Он мне дал нести, не тебе. Какой хваткий!

Окруженный мальчишками, шахтер подошел к нам. Это был высокий, немного сутулый человек с худощавым лицом. Он улыбался, был горд своей добычей и, очевидно, ждал расспросов.

И мы — украинский писатель Горленко и я — расспросили его, стараясь скрыть свою зависть, как он поймал этих камбал, трогали колючие наросты у них на спинах и вообще удивлялись необыкновенным, как бы сплющенным наискось рыбам. Мальчишки шумели вокруг.

То было веселое и беспокойное племя маленьких черноморцев. Занятия в школе окончились, и мальчишки все дни напролет пропадали в пустынных бухтах, отрезанных от поселка отвесными скалами.

В скалах, заросших оранжевыми лишаями, гнездились дикие голуби. Стаи дроздов взлетали над цветущим шиповником. Горьковато пахло чабрецом и прохладой морских глубин. Дельфины, посапывая, кувыркались у самого берега, гоняя камсу.

Мальчишки отсиживались в этих диких бухтах от справедливого гнева матерей и многочисленных тетушек, от наскучивших угроз и упреков: «Вот, погоди, я до тебя доберусь!», «Смотри, какой Петя чистенький хлопчик. А ты на кого только похож, балбес!»

Мальчишки знали всё, что случалось на двадцать километров к югу, северу, востоку и западу от приморского поселка. Все было им досконально известно: когда пойдет кефаль, как рыбаки поймали черноморскую акулу-катрана (высохший хвост этой акулы служил у мальчишек предметом оживленного обмена на рыболовные шнуры, крючки и грузила), кто приехал в дом отдыха, сколько сил у рыбацкой моторки «Голубка», где можно накопать кусочки серного колчедана, «блискучего, как золото», и в какой полосе пляжа больше всего обкатанных морем сердоликов. Они были очень расположены к нам, отдыхающим, эти маленькие черноморцы, и просто напрашивались на разные услуги, вроде того чтобы поймать и засушить для нас морского конька или отцепить засевший среди подводных камней рыболовный шнур с крючками, так называемый самолов.

Стоило кому-нибудь из нас во время рыбной ловли зацепить самолов, как по берегу проносился непонятный клич: «Мерекоп!», и все мальчишки бросались в воду, чтобы отцепить (или, как они выражались на рыбацком жаргоне, «отмерекопить») самолов.

Мерекоп! Зацеп! Это слово веселило приезжих. Мальчишек даже начали звать «мерекопщиками». Изыскания, предпринятые, чтобы найти корни слова «мерекоп», ничего не дали. Не удалась и попытка выяснить, откуда у мальчишек взялось слово «бонация», означавшее на их языке полный штиль.

В те дни «бонация» стояла над берегами Восточного Крыма. Особенно хорош был штиль на рассветах. Казалось, что небо за ночь опустилось до самой земли и накрыло горы, обрывистые мысы, дальние берега и отдохнувшее море своей синевой. Дышалось прохладно и легко. Всходило огромное солнце, и в легкой мгле то тут, то там загорался и тотчас погасал дрожащий блеск — то солнечный луч вспыхивал на омытой прибоем скале, сверкал в стеклах горной сторожки, крытой черепицей, или насквозь просвечивал куст розового тамариска.

Восточный Крым был полон цветения и тишины. Это была особая, замкнутая страна, непохожая на все остальные части Крыма. Страна сухих пепельных гор, полей, пылавших красными венчиками мака, густой морской сини и безмолвия.

К шуму моря слух привыкал очень быстро. Его вскоре переставали замечать. Тогда на этих берегах оставался,

пожалуй, только единственный звук: шелест травы под ветром.

Восточный Крым — богатая земля. О том, что скрыто в тамошней почве и в недрах единственного в Крыму погасшего вулкана Карадага, можно было догадываться по множеству камней, вымытых морем из подводных пещер.

Там было все: синий гранит, мрамор — то желтый, как слоновая кость, то розовый, то снежно-белый, дымчатые халцедоны, пестрые агаты, целебные сердолики, хризопразы, камни со странным названием «фернонпиксы», разрисованные сложными узорами, зеленая яшма, горный хрусталь, похожий на кристаллы воды, пемза, лава, маленькие кораллы и много других камней, сверкавших на сырых после шторма песках.

Восточный Крым — земля истории. Здесь волны выбрасывают скифские серьги, монеты времен Екатерины, черепки греческих ваз, штыки защитников Севастополя, осколки глубинных бомб и ржавые немецкие каски. В них рыбаки кипятят теперь вар для засмолки шаланд.

В эту древнюю и богатую страну съехались сейчас на отдых люди из самых разных частей Союза. Отдых сближает людей не меньше, чем работа. Все мы быстро сдружились, и нам казалось, что мы знаем друг друга давно. Только шахтер из Горловки по своей застенчивости держался пока особняком.

Но сейчас он подсел к нам на берегу и рассказал, что впервые приехал отдыхать к Черному морю со своей женой Фросей — работницей детских яслей — и просто слепнет здесь от синевы и солнца. До тех пор он видел только одно море — Азовское, да и то во время войны, когда был ранен в бою под Чонгаром.

Рассказывая, он несколько раз глубоко вздохнул и засмеялся. Было видно, что он отдыхает здесь безраздельно.

— Фрося моя все отстает,— заметил он и показал на молодую худенькую женщину. Она шла по пляжу и читала книгу.— Все зачитывается. Я закину шнуры в море, а она сядет в тени от скалы и читает. Я место переменю, а она, бывает, и не заметит. Да и то сказать, книга хорошая: «Белеет парус» Катаева.

Фрося подошла к нам, поздоровалась, достала чистый платок и вытерла пот на лбу шахтера.

— Да мне хорошо, не беспокойся,— пробормотал шахтер, а Фрося слабо улыбнулась нам, как бы оправдываясь, и сказала:

— Ему перегреваться нельзя. А он со своей камбалой прямо с ума сходит. С самого рассвета до темноты сидит по-над морем. Обедать — и то я его силой тащу. Что на работе в шахте, что у моря, характер у моего Степы один.

Она положила на раскрытую книгу морской голыш, чтобы ветер без толку не переворачивал страницы, помолчала и снова улыбнулась:

— Я заметила, что когда человек отдыхает, сколько бы ему ни было лет, он делается просто как маленький. Вот вы тоже,— она обернулась к Горленко,— каждый день меняете у мальчишек крючки на крабов. А один раз я даже видела, как вы помогали жуку.

Горленко покраснел и согласился, что да, действительно был такой случай.

Жук долго трудился, скатал из всяких семян, навоза и остатков сухой камсы большой шар — запас пищи на зиму — и покатил его вверх по крутой тропе в свою нору. Жук кряхтел, надрывался, мучился, несколько раз падал, но шара не выпускал. Только у самой норы жук, очевидно, выбился из сил — шар выскользнул из его цепких лапок, покатился с горы и упал в глубокий овраг.

Жук заметался в отчаянии. Тогда Горленко спустился в овраг, нашел шар, принес его и положил около норы. Жук пошевелил усиками, обежал несколько раз вокруг шара и закатил его наконец в нору.

— Пропащего труда всегда жалко,— заметила Фрося.— А вас я читала. И понаслышке тоже знаю. Мне про вас сестра рассказывала. Она — садовод, работает в колхозе под Сумами.

— Что же она такое про меня рассказывала? — с опаской спросил Горленко.

— Будто вы всю Харьковщину и Полтавщину пешком обошли. С одной железной палкой и с мешком за спиной. Правда это?

Писатель пробормотал что-то неясное. Он был застигнут врасплох.

— И еще сестра рассказывала, как вы в одном селе сами скосили все сено для старушек, для матерей наших погибших солдат.

Я тоже слышал об этом. Слышал и о том, что Горленко каждое лето обходит пешком многие колхозы Украины, и другого такого знатока колхозной жизни нет, пожалуй, среди наших писателей.

В колхозах его хорошо знали — худого, запыленного,

черного от солнца человека с серыми зоркими глазами. У него было множество друзей среди крестьян — от сивых дедов до молодиц и «малесеньких хлопчиков», тех самых, всем известных хлопчиков, что от застенчивости в ответ на вопросы только чесали одной босой ногой другую и в исключительных случаях отвечали сиплым шепотом.

С Горленко колхозники советовались обо всех своих житейских делах, и женщины, вздыхая, говорили:

— Вот мает же человек золотое сердце на радость людям.

Знания Горленко в сельском хозяйстве были обширны и накоплены опытом. О чем бы он ни говорил — о сортах пшеницы, водяных мельницах — «млынах», нехватке воды в реках, баштанах и сахаристости свеклы,— все это, благодаря каким-то неуловимым чертам, рожденным любовью к делу, к людям, к своей удивительной южной стране, приобретало в его передаче черты настоящей поэзии.

Колхозная жизнь не была для него только материалом для книг. Она была его прямым делом, его биографией. Он «болел» за «наикращее життя» для своих земляков не только в статьях и книгах, но и на деле. Труд был для него святыней, почетным долгом, будь то многолетнее выращивание новой породы молочного скота или разведение зеркального карпа.

Всюду он вносил пленительный украинский юмор. Нельзя сказать чтобы его путь был усыпан барвинками и бархатцами. Все хищное, что еще пряталось кое-где в колхозах,— жулики-счетоводы, дутые «герои», втиравшие очки Советской власти,— все это боялось его и мстило ему. Заносчивые и несправедливо обласканные доверчивыми руководителями председатели иных колхозов открыто презирали его за то, что он обходил Украину пешком, как какой-нибудь бродяга, как «несчастная голота»,— по пыльным шляхам, по заросшим стежкам, ночевал в клунях и куренях, а не приезжал на своей личной блестящей машине, как это полагалось делать, по их представлению, «настоящему писателю».

Стыдно сказать, но и из писателей кое-кто посмеивался над Горленко. Ему, усмехаясь, говорили, что времена странствующего украинского философа Григория Сковороды давно прошли, и посматривали на него с легкой насмешкой, как на неисправимого чудака.

С кем бы Горленко ни встречался, он незаметно для собеседника выпытывал у него все, что касалось его работы, жизни, его познаний. Не было такой малости, из какой бы он не старался извлечь жизненного опыта.

Сейчас в Крыму его интересовало все: разноцветные лишаи на скалах, йодистые водоросли, уход за виноградниками, сорта крымских табаков, местные названия каждого ветра и даже устройство легких у нырков, прятавшихся надолго под воду при первом же свисте пущенного в них «мерекопщиками» камня.

Все это — и великое и малое — очень точно входило в его понимание действительности. Поэтому каждый разговор с ним был своего рода отрывком из еще не написанной интересной книги.

Иногда мы говорили с Горленко о будущем. Разговор этот чаще всего возникал по утрам на берегу. Быть может, потому, что тишина и блеск света над еще не проснувшимся морем вызывали уверенность в приходе новых прекрасных дней.

— Будущее определяется не высокими словами о благе людей,— говорил Горленко,— а кропотливой и повседневной заботой о каждом без исключения простом человеке.

Через несколько дней мы четверо (не считая всевидящих и вездесущих мальчишек) так сдружились, что почти всюду ходили вчетвером. И вот оказалось, что у нас, людей совершенно разных, много общих мыслей и интересных друг для друга рассказов — о шахтах, прошлом Донбасса, степных курганах, недавней войне, городке Геническе, где выросла Фрося, колхозных лесах, рыбачьих традициях, стихах, писательском мастерстве и других не менее замечательных вещах.

Фрося больше всего любила стихи. Однажды, когда Горленко, лежа на пляже, начал читать вполголоса пушкинские строки: «Редеет облаков летучая гряда...», она отвернулась и заплакала. Но тут же она рассмеялась, и блеск благодарных слез в ее глазах и сияние ее улыбки как бы осветили новой теплотой знакомые слова: «Звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины...»

Мы сделали вид, что не заметили Фросиных слез, а шахтер сказал:

— Вот удивительно! Что ни день, то интереснее жить на свете.

Вскоре мы с Горленко уехали на машине к себе на север.

Тополя шумели по обочинам дороги. Листва лесов неслась душистыми грудами за окнами машины. Внезапно в этой зелени возникали сиреневые гранитные скалы, увитые плющом. Струились и позванивали, пересекая шоссе, прозрачные ручьи. Каждый раз перед таким ручьем машина замедляла ход, будто хотела напиться.

Лепестки маков летели по ветру легкими стаями, как мотыльки. Отвесный каменный порог вставал вдали в дрожащем горячем воздухе, и шофер всерьез рассказывал, что он видел на этой гладкой горной стене ввинченные в камни причальные кольца, так как здесь, говорят, было в незапамятные времена море.

На утреннем базаре в Симферополе все блестело от росы: кувшины с молоком, холодная редиска, пучки лука и огромные пионы.

Мы уезжали, но отдых продолжался. Благодатный Крым никак не хотел отпускать нас на север. Долго еще синели в степной дали мягкие гребни его гор.

С Крымом мы попрощались только у берегов Сиваша, за Чонгарским мостом.

Горячая машина отдыхала на пригорке в перистой тени акации. Оттуда было видно Азовское море, налитое густой лазурью до самых краев в рыжие глинистые берега. На мысу над морем белел поселок, как будто чайки сели отдохнуть среди кудрявой зелени низкорослых садов. Это был рыбачий городок Геническ — родина Фроси.

Может быть, поэтому Горленко вспомнил о Фросе и шахтере из Горловки и рассказал мне историю их любви и жизни. Оказывается, он уже успел все это узнать, опередив меня. Я тоже заметил почти детскую нежность в обращении Фроси с шахтером, и мне казалось, что я присутствую при зрелище большой и самоотверженной любви.

История эта была удивительной, хотя и совершенно простой.

В бою под Чонгаром шахтер был тяжело ранен. К нему подползла санитарка. Это была Фрося. Она перевязала его, но тут же сама была ранена осколком снаряда. Тогда шахтер, почти теряя сознание, перевязал свою спасительницу.

Потом они долго лежали в степи, пока их не подобрали и не отправили в санбат. Фрося говорила Горленко, что она выросла сиротой, жила одна, а тут, этой ветреной

почью, она услышала, как тяжело дышит рядом спасенный ею человек, и поняла, что он ей теперь не чужой, что их породнила великая сила сострадания.

Мутные звезды светились в небе над Сивашом, отражались в его мертвой воде, и Фрося думала, что вот сейчас в ледяной степи среди колючих трав у берега гнилого этого моря, освещенного зловещими вспышками смертоносного орудийного огня, она нашла то единственное, что сильнее смерти, сильнее горя, сильнее всего на свете,— родную человеческую душу.

— Вот и все,— сказал Горленко.— Никаких украшений жизнь не прибавила к их любви. Украшения пусть придумывают писатели. Но я считаю, что это совершенно лишнее.

Я согласился с ним. Потом, когда машина неслась по широкому шоссе и в вечерних сумерках тонули по сторонам, кутаясь в туманы и дымы, запорожские степи, я думал о том, что ничего особенного не случилось за эти дни отдыха на берегу моря, кроме того, что там встретились самые простые люди. И в их простоте открылось столько взаимного доброжелательства, веселья, душевной чистоты и преданности своему делу, что не нужно никаких героических поступков, чтобы оценить и полюбить это высокое племя людей.

1953

КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи

тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен,— вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ.— Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла,— ответила девочка.— Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами,— печально добавила Дагни.— У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни,— сказал Григ,— я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь,— строго спросила Дагни,— вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так,— неуверенно возразил он.— Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью,— умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав.— И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни»,— подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом леспика, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким имепем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп,— ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку,— решил Григ.— На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсепа, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки,— ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал пад ними свою дикую сагу, до песпи девочки, баюкающей тряпичпую куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце,— говорит ей Григ.— Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках

дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, па пол. Около ее босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройпой девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто зпает, что ждет Дагпи в будущем? Может быть, честпый и любящий, по скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочислепных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили опи в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятпик Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральпых вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картины, вырезанные из книг и жур-

налов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка,— сказал он,— это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни,— кричала в таких случаях тетушка Магда,— заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда,— сказал вполголоса дядюшка Нильс,— Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда.— Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела

грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она наконец услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье,— говорил он.— Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни.— Зачем?» Если б можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю...— ответила бы Дагни.— За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек.

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь,— тихо сказала Дагни,— я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

1953

ДНЕПРОВСКИЕ КРУЧИ

Все прошлое лето я прожил на Днепре, недалеко от Триполья, в хате старого рыбака «дида» Мыколы.

Дед этот был хорошо известен на двадцать километров от Триполья и вверх и вниз по Днепру как опытный рыбак и пасечник, как балагур и певец.

Когда дед Мыкола, выпив добрую стопку калганивки, запевал на приступке своей хаты «Распрягайте, хлопцы, коней та лягайте спочивать!», то громовой его бас был слышен даже по ту сторону Днепра, на Полтавщине.

Престарелые рыболовы в соломенных шляпах брылях, удившие с валких своих челнов по протокам-«скризнякам» и глухим заливам, крякали от восхищения и говорили:

— Ну и голосище! Щось страшнэ! Мабудь, от того голоса и в самом Киеве де яка людына злякаеться.

Больше всего дед Мыкола любил петь про высокую гору и гай, что стоит под этой горой — «зеленый гай густесенький, неначе справди рай».

Песни свои Мыкола пел обыкновенно под вечер, когда пламенели от заката рудым золотом и медью далекие днепровские горы и кручи, а за ними вздымались к небу громады разноцветных облаков. И, медленно вспыхивая и угасая, полыхали в тех облаках и тучах зарницы.

Почти каждый вечер они без устали мигали по-над Днепром, и отдаленный гром перекатывался над темнеющими речными плесами. От этих протяжных перекатов вечер, казалось, сразу свежел, и все затихало, дожидаясь дождя. Изредка слух улавливал то тут, то там удары тяжелых, как олово, капель по густой листве прибрежных дубов.

Но дождь никак не мог разойтись. К полночи тучи редели, небо покрывалось рябью легких облаков-чешуек, и сквозь них начинали просвечивать звезды. Они медленно разгорались и потом уже спокойно сияли над смутной белизной песков и зарослями до самой утренней зари — зеленоватой, туманной и одинаково прекрасной под всеми широтами.

Рядом с хатой деда Мыколы жил на берегу Днепра, на своей новой даче, известный драматург — человек веселый и деятельный. И вот однажды осенью произошел у этого драматурга с дедом Мыколой некоторый неожиданный разговор.

Осенью, как водится, бывает по ночам много падающих звезд. В давние-предавние времена люди выдумывали про эти звезды всякую всячину. То будто чистые души младенцев слетают к нам на грешную землю, то будто сиротка уронила с неба ворох райских цветов. Но больше всего люди верили в то, что падающие звезды приносят счастье. Стоит только задумать, пока не погасла звезда, самое заветное свое желание, и оно будто бы непременно исполнится.

Драматург подозревал, конечно, что дед Мыкола в глубине души верит всякой всячине про падающие звезды, и, как человек интеллигентный, решил разоблачить эту

всячину и приобщить деда Мыколу к астрономии. В этой науке была ясность, свойственная безоблачной ночи, и блеск, свойственный кристаллическому блеску звезд.

И вот однажды вечером, когда дед Мыкола зашел к драматургу поговорить про жизнь и всякие происшествия и они вдвоем сидели на темной террасе, как на грех медленно пролетел над Днепром огненный шар и упал, закатился в непроглядную тьму. Это был, должно быть, метеор.

Лучшего случая, чтобы изложить деду Мыколе основы астрономии, нельзя было и придумать. Драматург начал тотчас, сам увлекаясь своими познаниями, рассказывать деду про метеор. Мыкола терпеливо слушал и соглашался: «Оно, конечно, так! Это, конечно, правильно».

Когда драматург наконец остановился, чтобы перевести дух, дед Мыкола сказал вежливо, но твердо:

— Оно, конечно, так. И вам как будто виднее, чем мне. Но только скажу вам, что то упал никакой не метеор, а болид, а между ними есть некоторая разница. И ту разницу я вам сейчас объясню так, чтобы было совершенно понятно.

Драматург взглянул на деда Мыколу с испугом и недоумением. По мере развития разговора драматург даже начал краснеть от смущения.

Дед Мыкола помолчал.

— Якой же то метеор, когда он летит не спеша? Так летит только болид. Я вам все это могу представить в полном соответствии с наукой, поскольку у меня в хате двенадцать годов подряд жил летом известный астроном профессор Делоне со своим телескопом. И я то самое небо знаю с той поры, как собственную клуню. Вот вам, может, неизвестно, как люди открыли планету Нептун, так я сейчас и об этом объясню по всей строгости знания. Кабы был тут телескоп хороший, то, может, я бы и нашел на небе тот Нептун, хоть он и представляется очам вроде самой что ни на есть малесенькой песчиночки.

Драматург, по его собственным словам, совсем «прижух» от неожиданности, а дед Мыкола, раскуривая цигарку, начал рассказывать ему про всякую всячину — и о переменных звездах и о галактике... Окончив астрономический разговор, дед сказал на прощание:

— Так что прошу прощения, но только нет в этой астрономии никакой великой трудности. И если взяться за дело как полагается, так и самый наш престарелый и бес-

толковый колхозный дед Цвирка все зрозумеет и до всего докумекается.

Со мной дед Мыкола астрономических разговоров не вел, но любил поговорить о людском труде и земледелии. На этот счет у него были на первый взгляд неожиданные мысли.

Разговор начался по пустому поводу — из-за коз, обглодавших на берегу Днепра всю лозу. Вместо пышных зарослей, еще недавно купавших в воде узкие и как бы присыпанные серебряным налетом листья, теперь на берегу стояли сухие и поломанные прутья.

— Вот,— сказал дед Мыкола,— какая была тут прелесть, а теперь торчит одно безобразие! Я бы тех коз, гадюк, порубал бы своими руками. Истинно говорю вам, постреляя бы их без всякого сомнения.

— Чего же это так? — спросил я.

— А потому, что они людей печалят, и человеку делается противно проживать в тех местах, где вместо лозы лезут из земли те чертовы дрючки. И скажу вам откровенно,— человеку противно не только проживать в тех местах, где посохли да вырублены кущи, а еще и трудно работать. Один труд — в зеленой леваде, а совсем инший труд — па поганом болоте. Где тот труд лучше — сами должны понимать. Как говорится, окружение действует на человека. Лоза эта, вы скажете, пустяки. Да от тех пустяков скребет у людей на сердце.

Я сначала удивился этой чувствительности деда Мыколы к столь незначительному явлению, как гибель лозы. Но из дальнейшего я понял, что Мыкола, заговорив со мной о лозе, только «делал надлежащий подход», как он любил выражаться, к большому разговору.

— Вот,— продолжал он, помолчав,— к примеру, пчела. Она в грязный или, скажем, в сырой улей меда не принесет. Так и человек. Работать следует споро, весело, прытко, особенно в нашем деле, в колхозном и хлеборобском. А для такой работы нужно, чтобы человек жил посередь красоты. И хата должна быть у него чистая, как невеста,— вся в шитых рушниках. И печь должна быть теплая и расписанная пивнями и мальвами. И пахнуть должно в той хате мятой и очеретом. И сад должен сыпаться белым цветом по весне за порогом. И по тыну должен завиваться кудрявый хмель. Тогда на душе делается хорошо и привязанность рождается до своей земли и своего дела. А дай человеку для проживания барак или, скажем,

сунь его в такое село, где нечем глаз приласкать, он зажурится, или, как говорится по-русски, затомится, и будет ему работа казаться тяжелей. Так-то! Вот был у нас лес, а теперь мало осталось того леса, и у людей болит на сердце, и якось хуже стало существовать и работать в наших местах.

Дед Мыкола подозрительно посмотрел на меня.

— Вы над этой моей думкой не смейтесь и не шуткуйте. Я уже живу седьмой десяток годов. Пустое думать или говорить мне было бы совестно. Все в своем соответствии имеет значение. Как заскучает человек — ему копейка цена. И работе его — копейка цена. Соображать надо, чтобы устройство нашей жизни было приятное, чтобы человек весело ходил по земле, чтобы ему хотелось петь и в хате и в поле. Это — слухайте внимательно! — дело проверенное.

Я вскоре забыл об этом разговоре с дедом Мыколой. Мало ли было разных разговоров с ним и в хате и на реке. Но поздней осенью я вспомнил этот разговор в Киеве на съезде писателей Украины.

Осень выдалась небывалая — сухая, хрустящая палым листом, густо залитая небесной синевой и почти не тронутая ветрами. Но об этом я рассказывать не буду, потому что осень тут совсем ни при чем.

На съезд приехал с Каховского строительства известный наш кинорежиссер и писатель, человек, как говорится, «чертовски» талантливый и неспокойный.

Если бы дети могли понимать до конца разговоры взрослых, то они, конечно, считали бы этого режиссера настоящим колдуном и волшебником. Потому что, где бы и когда бы он ни появлялся, он всякий раз привозил с собой множество новых мыслей и удивительных рассказов. Слушать его можно было бы сутками, лишь бы хватало у людей для этого сил.

Иные люди говорили, что режиссер этот мог бы тягаться по части острых наблюдений и чудесных рассказов с самим Николаем Васильевичем Гоголем.

Режиссер жил на Каховском строительстве и писал об этом строительстве сценарий, с тем чтобы самому его и поставить.

По своему редкому качеству быть всегда шире намеченной для себя работы режиссер, живя в Каховке, много думал об орошении земель и о подъеме нашего земледелия.

И вот, объехав все строительство и изучив его, он пришел к некоторым удивительным на первый взгляд выводам. Он изложил их в форме докладной записки и привез с собой этот доклад в Киев.

Сущность этого доклада сводилась к следующему. На дне будущего Каховского моря снесено много тысяч крестьянских хат. Людей переселяют на возвышенные места, на днепровские кручи, где строят сейчас новые колхозные села.

Вот об этих новых селах режиссер и писал. Они были построены по типовым проектам и выглядели казарменно и уныло.

Одинаковые скучные дома стояли в степи длинными шеренгами в три-четыре линии на математически точном расстоянии один от другого. Дома эти не были огорожены, потому что архитектурный проект даже не предусматривал никаких оград. Получался шахматный поселок, расставленный на огромном выжженном пустыре.

В этих селах не было центра и не было хотя бы одного приметного высокого сооружения,— никакого ориентира. В старину такими ориентирами были колокольни. Сейчас нужно было строить хотя бы башни с часами. Плоская степь невольно наводила на мысль об одном-двух таких приметных вертикальных зданиях в каждом селе.

Режиссер справедливо писал, что у людей нет и не может быть никакой охоты жить в этих угрюмых и неотличимых друг от друга домах, где не росло вокруг ни одного деревца.

В нашей гигантской работе по подъему земледелия, говорил режиссер, нужно думать не только о новых, совершенных методах работы, но и о настроении и состоянии людей.

В этом мысли режиссера соприкасались с мыслями деда Мыколы. И тем и другим руководила простая народная мудрость.

Новые села, писал режиссер, должны быть живописными, разнообразными и уютными. Почему в новых селах нет переулков, поворотов, зарослей, садов? Почему живописность уступила место деляческой сухости и какой-то мертвой скаредности мысли у архитекторов, строивших эти села? Почему при постройке их не была принята во внимание живая душа человеческая? Неужели мы можем мириться с таким пренебрежением к колхозникам, которые, как, очевидно, думают строители таких сел, только

рабочие руки, не чувствующие красоты и нисколько в ней не нуждающиеся. Пока не поздно, нужно в корне переменить это дело и приостановить насаждение уныния в нашей такой шумной и богатой жизни.

Когда я слушал режиссера, мне невольно припомнились слова деда Мыколы: «Один труд — в зеленой леваде, а совсем инший труд — на поганом болоте».

Разговор этот происходил в одном из пышных киевских садов над Днепром. Летняя зеленая пышность этого сада сменилась сейчас пышностью осени.

В голубеющем тумане сверкали снизу голубеющие воды Днепра в оправе бронзовых рощ и лесов. И вся даль поблескивала серебряным свечением,— должно быть от летящей по воздуху паутины.

Седой режиссер поднял трость и показал на юг. Там сверкало уже низкое по осени, но ослепительное солнце.

На лице режиссера я заметил сосредоточенное и радостное выражение. Таким всегда бывает лицо человека, взволнованного зрелищем любимой родной земли.

— Мы хотим,— сказал режиссер,— добиться расцвета труда. А для этого мы должны украсить жизнь людей и украсить нашу землю. Это бесспорно.

1954

РОЖДЕНИЕ РАССКАЗА

Подмосковный зимний денек все задремывал, никак не мог проснуться после затянувшейся ночи. Кое-где на дачах горели лампы. Перепадал снег.

Писатель Муравьев вышел на площадку вагона, открыл наружную дверь и долго смотрел на проносившуюся мимо поезда зиму.

Это была, пожалуй, не зима, а то, что называют «зимкой»,— пасмурный день, когда порывами набегает сырой ветер, вот-вот начнется оттепель и полетят с оттаявших веток первые капли. В такие дни в лесных оврагах уже осторожно позванивают подо льдом родники. Они несут вместе с водой много воздушных пузырей. Пузыри торопливо бегут серебряными вереницами, цепляются за вялые подводные травы. И какой-нибудь серый снегирь с розовой грудкой крепко сидит на ветке над родником, смотрит

одним глазом на пробегающие пузыри, попискивает и встряхивается от снега. Значит, скоро весна!

Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной и слаженной. Так было сейчас с Муравьевым.

В старые времена литераторы любили обращаться к читателю со всякого рода вопросами.

«Почему бы,— подумал Муравьев,— современным писателям не воспользоваться иногда этим добродушным приемом? Почему бы, например, не начать рассказ так:

«Знакомо ли вам, любезный читатель, чувство неизбежного счастья, которое завладевает человеком внезапно и без всякой причины? Вы идете по улице, и у вас вдруг начинает громко колотиться сердце от уверенности, что вот сейчас случилось на земле нечто замечательное. Бывало ли с вами так? Конечно, бывало. Искали ли вы причину этого состояния? Навряд ли. Но даже если предчувствие счастья вас и обманывало, то в нем самом было столько силы, что оно помогало вам жить».

«Искать и находить причины неясных, но плодотворных человеческих состояний — дело писателей,— подумал Муравьев.— Это одна из областей нашего труда».

Труд! Все вокруг сейчас было полно им. В пару и грохоте проносились навстречу тысячетонные товарные поезда. Это был труд. Самолет низко шел, гудя, над снежной равниной. Это тоже был труд. Стальные мачты электропередачи, обросшие инеем, уносили во мглу мощный ток. И это был труд.

«Ради чего работает многомиллионная, покрытая сейчас снегом, великая страна? — подумал Муравьев.— Ради чего, наконец, работаю я?

Ради жизни? Ради высоких духовных ценностей? Ради того, чтобы человек был прекрасен, прост и умен? Ради того, наконец, чтобы любовь наполняла наши дни своим чистым дыханием? Да, ради этого!

Пушкин спрашивал в своих поющих стихах: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? В веке железном, скажи, кто золотой угадал?»

— Конечно, мы,— ответил самому себе Муравьев. Снег залетал на площадку вагона и таял на лице.— Кто же иной, как не мы!»

Муравьев писал для одного из московских журналов рассказ о труде. Он долго бился над этим рассказом, но

у него ничего не выходило. Должно быть, потому, что подробное описание труда оттесняло в сторону человека. А без человека рассказ получался нестерпимо скучным. Муравьеву же казалось, что рассказ не клеится из-за суматошной московской жизни — телефонных звонков, всяческих дел, гостей и заседаний.

В конце концов Муравьев рассердился и уехал из города. В одном из подмосковных поселков у его друзей была своя дача. Муравьев решил поселиться на этой даче и пробыть там до тех пор, пока не окончит рассказ.

На даче жили дальние родственники его друзей, но этих родственников Муравьев никогда не видел.

На Северном вокзале, когда Муравьев шел по перрону к пригородному поезду, у него вдруг глухо забилось сердце и он подумал, что вот,— будет удача в работе. Он даже знал теперь наверное, что она будет, эта удача. Знал по многим точным приметам — по свежести во всем теле, сдержанному своему волнению, по той особой зоркости, с какой он замечал сейчас и запоминал все вокруг, по нетерпеливому желанию скорей добраться до этой незнакомой дачи, чтобы сесть в тишине за стол со стопкой чистой плотной бумаги, наконец по тому обстоятельству, что в памяти у него все время возникали обрывки любимых стихов: «Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявленьем...»

В таком взволнованном состоянии Муравьев вышел из поезда на длинную дачную платформу в сосновом лесу. На платформе никого не было. Только на перилах сидели, нахохлившись, воробьи и недовольно смотрели на поезд. Они даже не посторонились, когда Муравьев прошел рядом с ними и чуть не задел их рукавом. Только один воробей что-то сварливо чирикнул в спину Муравьеву. «Должно быть, обругал меня невежей»,— подумал Муравьев, оглянулся на воробья и сказал:

— Подумаешь,— большой барин!

Воробей долго и презрительно смотрел вслед Муравьеву бисерным глазом.

Дача была в трех километрах от платформы. Муравьев шел по пустынной дороге. Иногда среди перелесков открывались поля. Над ними розовело небо.

— Неужели уже закат? — громко сказал Муравьев и поймал себя на том, что здесь, за городом, он начал разговаривать с самим собой.

День быстро иссякал почти без проблесков света. Ни один солнечный луч не прорвался сквозь плотную мглу, не упал на заиндевелые ветки, не поиграл на них бледным огнем и не бросил на снег слабые тени.

Дорога спустилась в овраг, к бревенчатым мостушкам. Под ними бормотал ручей.

— Ага! — с непонятной радостью сказал Муравьев и остановился. В небольшой промоине во льду виднелась бегущая темная вода, а под ней — каменистое дно.

— Откуда ты берешь зимой столько воды, приятель? — спросил Муравьев.

Ручей, конечно, не ответил. Он продолжал бормотать, то затихая, то повышая голос до звона. Вода отламывала прозрачные льдинки и сталкивала их друг с другом.

Муравьев спустился к ручью и начал отбивать палкой куски льда. Ручей кружил отломанный лед и пенился.

«Надо же все-таки хоть немного помочь весне»,— подумал, усмехнувшись над самим собой, Муравьев и оглянулся. На мостушках стояла девушка в синем лыжном костюме и, воткнув палки в снег, внимательно смотрела на Муравьева.

Муравьев смутился. Что подумает о нем эта девушка? «Старый хрыч, а занимается ерундой». Ничего иного она, конечно, подумать не может. Но девушка нагнулась, поспешно отстегнула лыжи и крикнула Муравьеву:

— Погодите! Лучше отламывать лед лыжными палками. У них железные наконечники!

Она сбежала к ручью и протянула Муравьеву лыжную палку. Оказалось, что этой палкой отбивать лед было действительно гораздо легче.

Они ломали лед вдвоем сосредоточенно и молча. Муравьеву стало жарко, он снял варежки. У девушки выбились из-под вязаной шапочки пряди волос.

Потом неведомо откуда появился мальчишка в шапке с торчащими в разные стороны наушниками. Муравьев заметил его, когда он, шмыгая носом, начал толкаться от азарта и путаться под ногами.

— Пожалуй, хватит! — сказал наконец Муравьев и выпрямился.

Густые сумерки уже лежали над землей. «Однако как быстро пролетело время»,— подумал Муравьев, взглянул на девушку и рассмеялся. Девушка стряхивала снег с варежек. Она улыбалась ему в ответ, не подымая глаз.

Когда выбрались из оврага на лесную дорогу, Му-

равьев разговорился с девушкой. Мальчишка некоторое время плелся сзади, сопел и тянул носом.

Оказалось, что девушка живет с отцом на той же самой даче, куда шел Муравьев.

— Так это вы, значит, дальняя родственница моих друзей! — обрадованно сказал Муравьев и назвал себя.

Девушка стащила сырую варежку и протянула Муравьеву руку.

— Меня зовут Женей,— сказала она просто.— Мы с папой ждем вас уже второй день. Я вам мешать не буду. Правда, вы не думайте... Завтра у меня последний день каникул. Я уеду в Москву, в свой институт. Вот только папа...

— Что папа? — спросил, насторожившись, Муравьев.

— Он у меня ботаник и страшный говорун,— ответила Женя.— Но вчера оп дал честное-пречестное слово, что не будет приставать к вам с разговорами. Не знаю только — выдержит ли? Правда, ведь трудно сдержаться.

— Это почему же?

Женя шла рядом с Муравьевым. Лыжи она несла на плече и смотрела прямо перед собой. Слабый свет поблескивал у нее в глазах и на отполированных широких отгибах лыж. Муравьев удивился,— откуда взялся этот свет? По всему окружию полей уже залегала на ночь угрюмая темнота. Потом Муравьев заметил, что это был не отблеск снега, как он сразу подумал, а отражение широкого освещенного окна большой двухэтажной дачи. Они к ней уже подходили.

— Да, так почему же трудно удержаться от разговоров? — снова спросил Муравьев.

— Как вам сказать...— неуверенно ответила Женя.— Я понимаю, как строится, например, морской корабль. Или как из-под пальцев у ткачихи выходит тонкое полотно. А вот понять, как пишутся книги, я не могу. И папа этого тоже не понимает.

— Да-а,— протянул Муравьев.— Об этом на ходу не поговоришь.

— А вы не будете об этом писать? — робко спросила Женя, и Муравьев понял, что если бы не застенчивость, то она бы просто попросила его написать об этом.— Ведь пишут же о своем труде другие.

Муравьев остановился, пристально, прищурившись, посмотрел на Женю и вдруг улыбнулся.

— А вы молодец! Как это вы догадались, что я пишу...

вернее, собираюсь писать именно об этом, о своем писательском труде?

— Да я и не догадывалась,— испуганно ответила Женя.— Я сказала просто так. Право, мне очень хочется знать, как это вдруг появляются на свет и живут потом целыми столетьями такие люди, как Катюша Маслова или Телегин из «Хождения по мукам». Вот я и спросила.

Но Муравьев уже не слышал ее слов. Решение писать о своем труде пришло сразу. Как он раньше не догадался об этом! Как он мог вяло и холодно писать о том, чего он не знал и чего сам не испытывал. Писать и чувствовать, как костенеет язык и слова уже перестают звучать, вызывать гнев, слезы, раздумия и смех, а бренчат, как пустые жестянки. Какая глупость!

В тот же вечер Муравьев без всякого сожаления бросил в печку, где жарко трещали сухие березовые дрова, все написанное за последние дни в Москве.

На столе лежала толстая стопка чистой бумаги. Муравьев сел к столу и начал писать на первой странице:

«Старый ботаник — худой, неспокойный и быстрый в движениях человек — рассказывал мне сегодня вечером, как ведут себя растения под снегом, как медленно пробиваются сквозь наст побеги мать-и-мачехи, а над самым снеговым покровом расцветают холодные цветы подснежника. Завтра он обещает повести меня в лес, осторожно снять верхний слой снега на любой поляне и показать мне воочию эти зимние и пока еще бледные цветы.

Я пишу рассказ или очерк — я сам не знаю, как назвать все то, что выходит сейчас из-под моего пера,— о никем еще не исследованном явлении, что носит несколько выспреннее название творчества. Я хочу писать о прозе.

Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной поэзии. И живописности.

Наивные люди, некоторые поэты с водянистыми, полными тусклых мечтаний глазами, до сих пор еще думают, что чем меньше становится тайн на земле, тем скучнее делается наше существование. Это все чепуха! Я утверждаю, что поэзия в огромной степени рождается из позна-

ния. Количество поэзии растет в полном соответствии с количеством наших знаний. Чем меньше тайн, тем могущественнее человеческий разум, тем с большей силой он воспринимает и передает другим поэзию нашей земли.

Пример этому — рассказ старого ботаника о зимней жизни растений. Об этом можно написать великолепную поэму. Она должна быть написана такими же холодными и белыми стихами, как подснежные цветы.

Я хочу с самого начала утвердить мысль о том, что источники поэзии и прозы заключаются в двух вещах — в познании и в могучем человеческом воображении.

Познание — это клубень. Из него вырастают невиданные и вечные цветы воображения.

Я прошу извинить меня за это нарядное сравнение, но, мне кажется, пора уже забыть о наших «высококультурных» предрассудках, осуждающих нарядность и многие другие, не менее хорошие вещи. Все дело в том, чтобы применять их к месту и в меру».

Муравьев писал не останавливаясь. Он боялся отложить перо хотя бы на минуту, чтобы не остановить бег мыслей и слов.

Он писал о своем труде, великолепии и силе русского языка, о великих мастерах слова, о том, что весь мир во всем его удивительном разнообразии должен быть повторен на страницах книг в его полной реальности, но пропущенный сквозь кристалл писательского ума и воображения и потому — более ясный и осознанный, чем в многошумной действительности.

Он писал как одержимый. Он торопился. За окнами в узкой полосе света из его окна косо летел между сосен редкий снег. Он возникал из тьмы и тотчас же пропадал в этой тьме.

«Сейчас за окнами летит по ветру снег,— писал Муравьев.— Пролетают кристаллы воды. Все мы знаем их сложный и великолепный рисунок. Человек, который придумал бы форму таких кристаллов, заслужил бы огромную славу. Но нет ничего более мимолетного и непрочного, чем эти кристаллы. Чтобы разрушить их, достаточно одного детского вздоха.

Природа обладает неслыханной щедростью. Ей не жаль своих сил. Кое-чему нам, людям, в особенности писателям,

стоит поучиться и у природы. Прежде всего — этой щедрости. Каждой своей вещи, будь то хотя бы самый маленький рассказ, надо отдавать всего себя, все свои силы без остатка,— все лучшее, что есть за душой. Здесь нет места бережливости и расчету.

Надо, как говорят инженеры, открыть все шлюзы. И никогда не бояться того чувства опустошения, которое неизбежно придет, когда работа закончена. Вам будет казаться, что вы больше не сможете написать ни строчки, что вы выжаты досуха, как губка. Это — ложное состояние. Пройдет неделя, и вас снова потянет к бумаге. Снова перед вашим умственным взором зашумит весь мир.

Как морская волна выносит на берег ракушку или осенний лист и снова уходит в море, тихо грохоча галькой, так ваше сознание вынесет и положит перед вами на бумагу первое слово вашей новой работы».

Муравьев писал до утра. Когда он дописывал последние слова, за окнами уже синело. Над сумрачными полями в морозном дыму занимался рассвет.

Было слышно, как внизу гудел в только что затопленной печке огонь и постукивала от тяги чугунная печная дверца.

Муравьев написал последние строки:

«Горький говорил о том, что нельзя писать в пустоту. Работая, надо представлять себе того милого человека, которому ты рассказываешь все лучшее, что накопилось у тебя на душе и на сердце. Тогда придут сильные и свежие слова.

Будем же благодарны Горькому за этот простой и великий совет».

Утром Муравьев долго умывался холодной водой из ведра. В воде плавали кусочки прозрачного льда.

Еловая лапа висела, согнувшись от снега, за окном маленькой умывальной комнаты. От свежего мохнатого полотенца пахло ветром.

На душе было легко и пусто,— даже как будто что-то позванивало во всем теле.

Днем Муравьев пошел проводить Женю до станции,— она уезжала в Москву, в свой институт.

— Откровенно говоря,— сказал Муравьев Жене, когда они подходили к дощатой платформе в лесу,— мне уже

можно возвращаться в Москву. Но я останусь еще на два-три дня. Отдохну.

— Разве у нас вам плохо? — испуганно спросила Женя.

— Нет. У вас тут чудесно. Просто я почти окончил этой ночью свой рассказ.

Муравьев невольно сказал «почти окончил». Ему почему-то стыдно было признаться, что рассказ он написал целиком за одну эту ночь.

Он хотел сказать Жене, что очень торопился, чтобы успеть прочесть ей этот рассказ до ее отъезда в Москву, но не прочел, не решился. Он хотел сказать Жене, что он писал рассказ, думая о ней, что Горький, конечно, прав, что он просто благодарен ей, почти незнакомому человеку, за то, что она живет на свете и вызывает потребность рассказать ей все хорошее, что он накопил у себя на душе.

Но Муравьев ничего Жене не сказал. Он только крепко пожал ей на прощание руку, посмотрел в ее смущенные глаза и поблагодарил за помощь.

— За какую помощь? — удивилась Женя.

Перед приходом поезда повалил густой снег. Далеко за семафором ликующе и протяжно закричал паровоз. Поезд неожиданно вырвался из снега, как из белой заколдованной страны, и, заскрежетав тормозами, остановился.

Женя последней поднялась на площадку. Она не уходила в вагон, а стояла в дверях — раскрасневшаяся и улыбающаяся — и на прощанье помахала Муравьеву рукой в знакомой зеленой варежке.

Поезд ушел в снег, обволакивая паром леса. Муравьев стоял на платформе и смотрел ему вслед. И как на Северном вокзале в Москве, снова он почувствовал глухое биение сердца. Снова пришло внезапное ощущение того, что вот сейчас, где-то здесь, рядом, на этой земле, затихшей под легкой на первый взгляд тяжестью летящего снега, случилось что-то очень хорошее, и он, Муравьев, замешан в этом хорошем, как соучастник.

— Хорошо! — сказал Муравьев.— Нельзя жить вдали от молодости!

Муравьев спустился по обледенелой лесенке с платформы и пошел к ручью — докалывать лед. Лыжную палку он захватил с собой.

1954

СТАРИК В ПОТЕРТОЙ ШИНЕЛИ

Есть тысячи деревень у нас в России, затерянных среди полей и перелесков. Тысячи деревень, таких же незаметных, как серое небо, как белоголовые крестьянские дети. Эти дети, встретившись с незнакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блеснет такая доверчивость, что от нее защемит на сердце.

Редко-редко среди бесчисленных Сосновок, Никольских и Горелых Двориков попадется деревня с заметным, а иной раз и необыкновенным именем, вроде Мыса Доброй Надежды в Тамбовской области или Колыбельки где-то под Острогожском.

Всегда кажется, что деревни с такими удивительными названиями непременно связаны с интересными историями и что от этого и произошли их имена.

Я тоже так думал, пока мало знал деревенскую Россию. Но потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, я убедился, что почти нет такой деревни — даже самой захудалой,— где бы не было своих замечательных историй и людей.

Возьмем, к примеру, окрестности городка Ефремова в нынешней Тульской области — того самого Ефремова, что, по словам Чехова, был самым захолустным из всех уездных городов в России. Какие же глухие деревни должны были окружать этот городок!

На первый взгляд это было действительно так. Но только на первый взгляд.

В 1924 году я прожил все лето под Ефремовом, в деревушке Богово. Шел седьмой год революции, но внешних перемен пока что было еще не так много.

Все те же лысоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, и по ним гулял волнами ветер. Все те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, облепленные мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в онучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно веселыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча (местные жители называли ее Красивая Мечь).

Пожив в Богове, я узнал, что невдалеке от Ефремова сохранилась усадьба отца Лермонтова, где в рассохшемся доме висит на стене пыльный походный сюртук поэта.

Говорили, что Лермонтов останавливался у отца, когда проезжал на Кавказ, в ссылку. Узнал, что на берегах Красивой Мечи охотился Иван Сергеевич Тургенев, а в Ефремове бывали Чехов и Бунин.

Но все это относилось к прошлому. Я же хотел найти черты настоящего, найти людей, связанных с новым временем.

Но как нарочно в Богове не было даже ни одного участника гражданской войны — никого, кто был бы свидетелем недавних событий. И тоже, как будто нарочно, в деревне жил какой-то отставной полковник, судя по рассказам, человек одинокий и молчаливый. Почему он поселился в Богове, никто мне не мог объяснить.

— Живет и живет,— говорили крестьяне.— Зла пока что не делает. Снял избу, сам себе варит картоху да от зари до зари сидит с удочкой на речке. Что с него взять — человек престарелый.

— Чего же он здесь живет?

— А шут его знает! Спрашивать его про это вроде как неудобно. Приехал в летошнем году и остался на жительство. Сторона у нас тихая. Ему, бывшему офицеру, тут, конечно, беспокойства поменьше. Сами знаете, офицер теперь вроде как ящурный. Каждый норовит его стороной обойти.

Встретился я с этим отставным полковником на Красивой Мече около мельничной плотины.

Был хмурый холодноватый день, какие иногда выдаются среди лета. Рыхлые облака ползли над землей, и из них нехотя падали капли дождя. Потом дождь стих.

Я пришел на мельничный омут ловить рыбу. На бревне около плотины сидел худой старик с длинной седой бородой, в старой офицерской шинели и серой кепке. Вместо золоченых форменных пуговиц к шинели были пришиты обыкновенные черные пуговицы, как на бабьих салопах.

Старик курил короткую трубку, сделанную из колена газовой трубы. Она была, должно быть, очень тяжелая. Когда старик выбивал ее о бревно, то звук был такой, будто он вколачивает гвозди.

Ловил старик на одну удочку и первое время не обращал на меня внимания.

Я же ловил на три удочки, и потому у меня рыба все время срывалась. Пока я менял червя на одной удочке, на другой, как назло, обязательно клевало. Я хватался за нее, но было уже поздно, и я вытаскивал из воды только

обрывок червя. Старик же время от времени неторопливо вываживал больших, свинцового цвета подустов и толстых плотиц.

Он неодобрительно покашливал, поглядывая на мою возню с удочками. Она его, видимо, раздражала. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ловить следует, молодой человек, на одну удочку. Для душевного равновесия. А так вы только нервы себе испортите.

Я послушался его, смотал две удочки и начал ловить на одну. Тотчас же я вытащил крупного окуня. Старик усмехнулся.

— Видите! — сказал он. — По трем мишеням сразу из трех винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. Вот вы и мажете так безбожно, что обидно смотреть.

С реки мы возвращались в Богово в поздние сумерки. Старик шел медленно, смотрел себе под ноги и ни разу не поднял головы. Поэтому до деревушки мы добрались уже в сырой и неуютной темноте.

Всю дорогу старик рассказывал мне, как варить горох для насадки на подуста, и у меня не было удобного случая, чтобы спросить его, кто же он такой и почему поселился в Богове. Здесь, как я знал, у него не было ни одной близкой души.

Багровые тучи на западе медленно гасли. Заунывно кричала выпь. Снова холодные дождевые капли начали тяжело щелкать по лопухам. И эта угрюмость вечера каким-то образом передалась моим мыслям об одинокой старости, о человеке в потертой шинели, что брел рядом со мной.

Только один раз за время нашего разговора старик упомянул о себе и сказал, что до первой мировой войны он был комендантом крепости Осовец в Польше. Вот там-то на реке Бобре он ловил и не таких подустов!

Шло лето. Старик упорно молчал о своем прошлом, и спрашивать его об этом было действительно неудобно. Один раз я попытался обиняками узнать у него, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, но старик только усмехнулся на мои слова и ничего не ответил.

Вся история с этим стариком становилась что ни день, то загадочнее. Особенно когда я узнал, что каждый месяц он получает какую-то повестку из Ефремова, ходит

в город и возвращается оттуда усталый, но довольный. И каждый раз приносит подарки деревенским детям и своей соседке Насте — многодетной, но не старой еще женщине, брошенной мужем. Детям — липкие леденцы, а Насте то пачку чая, то катушку ниток.

Я никогда не встречал существа более кроткого, чем Настя. Каждое ее слово и движение выдавали беспомощность и доброту. Она всегда виновато улыбалась, торопливо поправляла под платком волосы, и руки у нее дрожали. Смотрела она растерянно, а в избу к ней я просто стеснялся войти — Настя тотчас бросалась вытирать подолом лавку и стол, выгоняла в сени наседку с цыплятами, краснела до слез и все порывалась поставить погнутый позеленевший самовар.

Наконец пришла осень, и я собрался через несколько дней уезжать в Москву.

Иные места покидаешь и все же думаешь, что когда-нибудь сюда вернешься. Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом непременно возникает горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился пребыванием в нем, всегда остается в душе сожаление, а может быть, и любовь.

Так, должно быть, мать любит своего хилого ребенка, играющего гнилой щепкой. Любит его до стона, до слез — беспомощного, обреченного на одиночество среди здоровых и смешливых детей.

О ребенке я подумал, очевидно, потому, что такой вот больной и тихий мальчик был у Насти. Звали его Петя.

Ему уже минуло шесть лет, но он почти не умел говорить. Весь день он сидел на дороге, пересыпал пыль из ладони в ладонь и молчал.

Однажды я подошел к нему, присел на корточки и заговорил с ним. Он со страхом взглянул на меня, сморщился и беззвучно затрясся — заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Ты чего? — спросил я растерянно и дотронулся до его острого плеча, вздрагивающего под застиранной рубашонкой.

Я ничего не понимал. Я видел только огромное, бес-

словесное и темное горе этого маленького, захлебывающегося от слез существа.

— Ты чего? — повторил я, и внезапно меня, как лезвие ножа, полоснула мысль: «А может быть, он понимает, что с ним?»

Из избы выбежала Настя, схватила мальчика на руки и, как всегда виновато улыбаясь, сказала:

— Он у меня больненький, дурачок, глупенький мой. Вы не гневайтесь. Как его приласкаешь, он завсегда заплачет.

Неожиданно глаза у Насти потемнели, и она сказала злым голосом:

— Я бы их всех своими руками удавила, мужиков этих окаянных, иродов! Только и жизни, что жрать водку цельными ведрами да материться. Наплодят таких вот детей, а у тебя потом сердце изойдет кровью. Мой он мальчик, живой! И некому за него заступиться.

Как только я решил уезжать, мне тотчас захотелось остаться. Все вдруг открылось в новом обличии — и люди, и пажити, и вся эта темная осенняя земля.

Шли дожди, густые пасмурные дни были похожи на рассветы, в избе стало сыро и холодно. И только вороха палых листьев освещали землю своим желтым холодноватым огнем.

Перед отъездом я в последний раз пошел со стариком — звали его Петром Степановичем — на рыбную ловлю. Дожди к тому времени прошли, но над землей по целым дням лежал туман. Он не рассеивался даже к полудню.

Я спросил старика, не нужно ли ему чего-нибудь в Москве.

— Нет, благодарствую,— ответил он.— Я-то Москву больше и не увижу. Здесь дотяну свои дни. Некуда мне ехать, да и незачем. Я старый байбак — у меня ни жены, ни детей. А об друзьях и говорить нечего. Иные умерли, а остальные давно разбрелись-рассыпались кто куда. Да, признаться, в старой армии у меня и друзей-то не было. Раз-два — и обчелся.

— Почему? — спросил я.

— Я — солдатский сын. Отец мой был вахмистром. Родом я, как говорили в старое время, из мужичья, из простонародья. Черная кость. Ежели бы не это, то разве меня уволили бы в отставку из старой армии в чине полковника. Коменданту такой крепости, как Осовец, полагалось

быть генералом. А меня, сказать по правде, только терпели за добросовестность да за познания в артиллерийском деле. Артиллерист я неплохой.

— Что же вы не женились?

— Теперь-то оно, конечно, обидно,— ответил старик и остановился передохнуть. Худой, высокий, чуть сгорбленный, он чем-то напоминал мне горестный образ Дон-Кихота. Глаза у старика слезились. Он вытащил красный клетчатый платок и вытер слезы.

— Теперь-то я жалею об этом,— сказал он, отдышавшись.— И не столько потому, что жены не было — бог с ней, с женой, насмотрелся я на этих офицерских жен — сколько потому, что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз заботиться не о ком, то и существование, выходит, пустое. Холодное существование. Вот и возишься тут с чужими детьми, с этакими пузырями.

Я, наконец, решился спросить:

— Как вы попали в Богово?

— Это, милый мой, длиннейшая история с географией. Расскажешь — все равно не поверите. Некий просто фантастический случай на старости лет. Собственно говоря, попал я сюда просто. Слышал про Красивую Мечу, про прелесть этих мест и решил здесь доживать свой век. Но решению этому предшествовало некое удивительное событие. Я ему и сам до сих пор удивляюсь.

— Какое событие?

— Нервные вы люди! — сказал укоризненно старик.— Я люблю обстоятельный разговор. А у вас все тыр-пыр — и нет ничего! Нету никакого душевного равновесия.

— Хорошо, Петр Степанович,— сказал я виновато.— Я не буду больше перебивать.

— Вот и прелестно! Произошла революция, а я в то время жил уже в отставке в Калязине. Ну, понятно, лишился пенсии, погоны спорол, пуговицы с гербами спорол, а пальтишка гражданского не достал. Не осилил. И понимаю, что надо мне из Калязина подаваться в те места, где меня никто не знает. А в Калязине я как на юру. Понимаю, что надо мне затеряться среди людей. А уж где может быть многолюднее, чем в Москве. Пробрался в Москву, снял угол у старухи вдовы в Петровском парке. Денег у меня осталось от пенсии — всего ничего. Но тянусь, выкраиваю кое-как на пропитание. Старуха, хозяйка моя, женщина была рыхлая и довольно добрая, должно быть от болезни,— порок сердца был у нее. И дочка с ней

жила, комсомолка. Та меня как будто не замечала. Уж не пойму — действительно не замечала или делала вид. Да я, правду сказать, всегда был покладистый, а особенно — в то время, ежели принять во внимание тогдашнее мое пиковое положение. Лозунг был у таких, как я, один-единственный: сиди тихо и носа без особой надобности из норы не высовывай. Натерла царская армия шею народу своим хомутом. Это я всегда понимал. А в жизни за все приходится расплачиваться.

Да, жил я скудно, скудней не придумаешь, покуда, наконец, не иссякли мои последние рубли. Умирать никому неохота, да и перед хозяйкой совестно. Не спал я две ночи, все думал, да и додумался только до того, чтобы идти милостыню просить, побираться, стать окончательным нищим.

Старик остановился и посмотрел на меня как будто с недоумением.

— Представьте себе,— стать форменным нищим! Это не жизнь, а могильное тление. Сам себе не рад и на себя смотришь с брезгливостью. И все думалось мне тогда — скорей бы бог смерть послал какую угодно, хоть самую подлую, чем жить в таком унижении. Иные привыкают, а я не мог. Для нищенства тоже нужны сноровка, опыт, актерство. Ничего этого я не имел.

Я нищенствовал в Петровском парке, дальше не выходил, побаивался. Просил поближе к дому. Стою на углу, глаз не подымаю, совестно прохожим в лицо глядеть. Стою, опираюсь на палку и бормочу что-то такое, что мерзко даже вспомнить сейчас: «Подайте бездомному старику на кусок хлеба». Подавали, прямо скажу, плохо. Шинель моя офицерская всех отпугивала. А бывало, и обижали так, что голова холодела от гнева. Но что поделаешь — сдерживался.

Вечером приду в свой угол, считаю мелочь, медяки — и ничего не вижу. Все туманом застилает. Поверите ли, неоднократно думал о том, чтобы наложить на себя руки. И если бы не один случай, так наложил бы. Не очень бы это дело затягивал.

Мы подошли со стариком к мельничному омуту и сели на сырое бревно — обычное место Петра Степановича.

— Что-то холодно,— пожаловался он и поднял ворот шинели. С изнанки ворот был синевато-серого свежего цвета, а с лица — выгоревший и пожелтевший.

Действительно похолодало, хотя и не было ветра.

На облаках появился, как всегда в таких случаях, сизый, почти зимний налет.

— Да,— сказал старик, закуривая трубку,— однажды летом вернулся я домой раньше, чем обыкновенно, с такой получкой, что и не поверите. Какой-то мальчишка подал мне пятак. И все! За весь день. В орлянку он, должно быть, этим пятаком играл — до того он был весь избитый и покалеченный. Его даже в трамвае бы не взяли, не то что на Инвалидном рынке.

Ноги у меня в то время уже начали опухать. Решил,— ночью окончу эту тягомотину, нет больше возможности за жизнь бороться. Да и зачем? Кому я нужен, отставной козы барабанщик? И как-то так странно подумалось, что все-таки надо бы попрощаться с родной землей, ясным небом, с солнышком (оно уже клонилось к закату), с птицами и деревьями.

Вышел я на улицу и сел у ворот на лавочку. В ту пору улицы в Петровском парке были вроде как деревенские, позарастали травой и шумели над ними по ветру старые московские липы.

Сижу без всяких мыслей в голове. А наискосок, против нашего домишка, было общежитие летных учеников. Народ насмешливый, буйный. Никому не давали проходу, особенно мне. Как завидят меня, повысунутся из окон и ну давай кричать: «Старый хрыч! Скобелев! Музейная редкость!» А я прохожу, будто глухой.

Сижу я так-то на лавочке и вижу — идет по нашей стороне господин невысокого роста, в черном костюме, в кепке. Идет неторопливо, руки засунул за спину под пиджак и о чем-то, видимо, размышляет. Остановится, посмотрит на липы, будто ищет в них чего-то, и идет дальше. Поравнялся он со мной, остановился и говорит этак быстро и вроде шутливо:

— Вы разрешите мне с вами посидеть?

— Пожалуйста,— говорю.— Сидеть здесь никому не возбраняется. Только вы подальше от меня садитесь.

Он прищурился, перестал улыбаться и посмотрел на меня очень внимательно.

— Это почему же? — спрашивает.

Я молчу, а он повторяет:

— Это почему же?

— Вы что же, сами не видите,— отвечаю я несколько зло,— что я нищий.

Он опять взглянул на меня и говорит как бы про себя:

— Да, вижу. Худо вам живется.

— Уж чего хуже. Только и тяну, что из человеческой жалости. Побираюсь среди людей.

— Вы бывший офицер?

— Офицер,— отвечаю.— Собака! Клейменый человек — вот и все!

Он вдруг улыбнулся, да с такой добротой, что я даже несколько опешил.

— Постойте,— говорит.— Вы не волнуйтесь. Офицеры тоже разные бывали.

— Вот то-то, что разные, а ответ у всех выходит один. Я сам когда-то был комендантом Осовца, всех этих рукосуев, что норовили мордовать солдат, держал в страхе. Преследовал, сколько мог. Русский солдат — святой человек. Это вы запомните. Руками русского солдата вся наша история свершилась, да кстати и эта ваша революция.

Тут он откинулся несколько назад и залился таким смехом, что я почувствовал, как заулыбался ему в ответ. Начал он меня расспрашивать про старую армию, про Осовец и про недавнюю войну. Я ему все обстоятельно объяснил. Сказал, между прочим, что мы, военные, давно знали из секретных приказов, что готовится война. Этими моими словами он почему-то особенно заинтересовался и все говорил: «Так-так! Ну-ну! Что же дальше?», а потом в упор меня спросил:

— А что вы думаете о большевиках? Получится у них что-нибудь?

— Как же,— говорю,— не получится! Что это вы, господин дорогой! Разве сами не видите! Хорошо-то это все хорошо, только следить надо, чтобы нравственного облика народ не терял.

Он снова посмотрел на меня даже как-то пытливо и говорит:

— Совершенно с вами согласен. А так жить, как вы, нельзя. Никак нельзя! Я напишу вам записку в одно место, сходите с этой запиской туда, и вам наверняка помогут.

Вынул блокнот, чего-то быстро там написал и подал мне. Я взял, сложил, засунул в карман. Что мне было в той записке! Кто это будет помогать офицеру? Но, конечно, я его поблагодарил за душевность, и он ушел. А я его вслед спрашиваю:

— Вы что же, гуляете по этим местам?

— Да,— говорит,— я был болен, и врачи приказали мне ежедневно гулять.

Ушел. У меня после этой встречи отлегло от сердца. «Вот, думаю, есть еще благородные и отзывчивые люди па свете. Не погнушался этот господин знакомством со мной, поговорил с нищим, с бывшим офицером».

Сижу так, размышляю. Вижу, бегут ко мне летные ученики. Непонятно почему, но все какие-то взъерошепные, даже бледные. Подбегают, спрашивают: «Вы знаете, с кем вы говорили?» Откуда я знаю — с кем. Но у меня па тех летпых учеников такое зло было, так накипело на сердце за «старого хрыча» и «Скобелева», что я весь трясусь. «Зпаю, говорю. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Вам бы только над старым человеком насмешничать».

Они сразу осунулись, ушли. А вечером прислали с каким-то мальчишкой пачку чая и сахара пе меньше фунта. «С чего бы это? — думаю.— Значит, прогпал я их, и заговорила в них совесть».

Молодежь я очень люблю. Если бы не было молодежи, то нам и жить было бы незачем. Скука была бы адовая. Так что эти летные ученики — не в счет.

Да, а я опять начал нищенствовать. Что поделаешь! Об этой записке позабыл. Засупул ее в старую книгу Данилевского «Сожженная Москва» — единственное мое достояпие — и, представьте, позабыл. А среди зимы меня так зажало, что чувствую — упаду где-нибудь на улице в снег и окочурюсь. Тогда только и вспомнил о записке. Отыскал ее, а она вся помятая, будто жеваная.

На записке адрес написан, какое-то ведомство,— я не разобрал. А мне в то ведомство идти неудобно из-за такого непрезентабельного вида записки. Да и далеко куда-то идти, в центр, в город. Там я за свою нищенскую жизнь ни разу и не был. Все-таки пошел, решился. Хозяйка меня просто заставила идти. «Вы, Петр Степанович, говорит, ребенок, а не отставной полковник. Перед всем пасуете. Удивительно, как это вас назначили комепдантом крепости. Вам бы гуманные науки преподавать, а не стрелять из пушек».

Иду и глаз не подымаю. С нищенских времен появилась у меня эта привычка — людям в глаза пе смотреть. Так было легче. Не могу от этой привычки до сих пор избавиться. Да вы, должно быть, сами заметили. Старческие привычки очень пазойливые, упорные.

Но, в общем, пришел. Ведомство большое, но тихое.

Всюду ковровые дорожки лежат. Привратник или швейцар — не знаю, как их теперь называют — говорит мне довольно решительно: «Шинельку надо скинуть, гражданин». А как я ее скину. У меня под ней почти ничего нету. «Уважь,— говорю швейцару,— старика. Не срами. Я вот по этой записке». Показываю ему записку. Он посмотрел, весь заметался, пододвигает мне стул и говорит: «Посидите, папаша. Я мигом о вас доложу». Ушел и возвращается тотчас же. А за ним выходит ко мне средних лет гражданин в очках, лицо строгое, но улыбается ласково. Берет меня под руку и ведет за собой. Я иду, а с моих опорок снег оттаявший сваливается целыми комьями. Набрался я сраму за всю свою жизнь.

Человек этот привел меня в кабинет, усадил в кожаное кресло, спросил, есть ли у меня какие-нибудь документы. Я все, что было, ему отдал. Пропадать так пропадать! Он вышел, а время идет. Прошло полчаса, сижу я один и уже не рад, что ввязался в эту историю. Думал было даже уйти, да пикак нельзя без документов. Но тут вернулся этот человек — видимо, немалый начальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и еще на что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и дает мне пачку денег. «Это, говорит, в счет первой пенсии. Небось наголодались».

Я глазам своим не верю. Он успокаивает меня: «Что вы волнуетесь, Петр Степанович. Мы, говорит, труд высоко ценим, особенно такого знатока своего дела и честного человека, как вы. Вы получили по заслугам».— «Да откуда вы знаете про мои заслуги?» Он смеется. «Из вашего формуляра, говорит. Из вашего послужного списка». Господи! Это из офицерского-то формуляра! Ну и дела!

Попрощались мы с ним, как приятели. Я вышел, плетусь к себе в Петровский парк, головы не подымаю,— и слезы в глазах стоят, и привычку не могу преодолеть.

Дошел до Тверской улицы. Стемнело уже, и зажглись над тротуарами фонари. И витрины магазинов освещены. «Дай, думаю, зайду, куплю хоть хлеба и колбасы какой-нибудь подешевле, хозяйку угощу».

За всю дорогу поднял впервые глаза, и тут меня будто молнией ударило. Портрет в витрине выставлен. Гляжу — он! Тот самый невысокий господин, что дал мне записку! И под портретом подпись печатная: «В. И. Ленин (Улья-

нов)». И в соседней витрине — тоже он! Господи твоя воля!

Так я ничего не купил, заторопился домой. Внутри у меня все дрожало, и поверите — всю свою последнюю кровь готов я был отдать за того человека. Освободил он меня из моей душевной тюрьмы. В великом я долгу перед ним и об одном-единственном сейчас жалею, что нечем мне отблагодарить. Нет уже ни сил, ни здоровья, ни времени впереди.

Пришел домой, можно сказать прибежал, и к дочке хозяйской, к комсомолке, бросился: «Достаньте мне портрет Ленина. Проверить мне надо одно обстоятельство». Она пошла к себе в комнатушку и принесла газету. Называлась она «Беднота». И в газете — его портрет. Да вот он, я его вам покажу.

Старик непослушными пальцами расстегнул шинель и вытащил старый, обвязанный тесемкой бумажник. Он развязал тесемку и вынул из бумажника сильно потертый портрет Ленина, вырезанный из газеты.

— С тех пор всю жизнь его с собой у сердца ношу,— сказал он глухим прерывающимся голосом.— Вот это был человек!

Голова у старика затряслась. Слезы потекли по его желтым сморщенным щекам, но он не вытирал их.

Мы долго сидели молча.

Туман густел, стекал с желтеющих ив большими каплями. Где-то далеко за самым краем земли покрикивал паровоз. Из Богова доносило слабый запах дыма и ржаного хлеба. На дороге за Красивой Мечей простучала телега и девичий голос запел:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

— Вот видите, какая она, наша Россия,— сказал, помолчав, старик.— Я, голубчик, что-то устал. Года! Пойдемте!

Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова.

Снова была осень. Жесткий вагон гремел, как жестяной. Мутно светили электрические лампочки. Всхрапывали усталые пассажиры. Против меня лежал на верхней полке бритый старик в высоких охотничьих сапогах. Раз-

говорились. Оказалось, что старик едет в Ефремов. Он все приглядывался ко мне, потом сказал:

— Вроде знакомая личность. А где я вас встречал — не припоминаю. Не иначе, как в Богове.

Оказалось, что это был кузнец из Богова. Меня он помнил, но я его никак не мог узнать. Кузнец рассказал мне, что отставной полковник умер лет шесть назад.

— Беззлобный был человек,— сказал кузнец.— Пенсию получал от нашего правительства. За какие такие дела — об этом никому не известно. Сам он про это молчал. Жил скудно, деньги вроде копил. Вот и пошел по деревне слух, что скупость его одолела. Оно и верно — к старости человек большей частью скупеет. А на поверку вышло иное. Вышло так, что старик наш как почуял, что смерть близится, почитай все деньги отдал на нашу школу. Чтобы, говорит, духовного облика народ не терял. И Насте — помните ее — оставил достаточно денег. Очень он страдал об мальчишке ее, об Пете. А Петя в запрошлый год умер. Не жилец был на этом свете! Не жилец! Я так полагаю, что это к лучшему.

В Ефремове кузнец сошел. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Поезд спал. От него тянуло маслянистым теплом.

Там, в ночи, где, по моим расчетам, находилось Богово и должна была лежать беспросветная тьма, светилось слабое голубоватое зарево.

Я долго гадал, что это за свет сейчас в Богове, но так и не догадался. А спросить было некого.

Все рассказанное выше — подлинная история. Повествование отставного полковника записано по памяти. Единственное, чего не сохранила моя память, это фамилию старика. Кажется, его звали Гавриловым, но утверждать это я не берусь.

1956

УСНУВШИЙ МАЛЬЧИК

С вокзала до пристани пришлось идти через весь городок. Недавно прошел лед, и река широко отблескивала желтой водой. Была самая ранняя весна — сухая и серая. Только на сирени в палисадниках уже зеленели почки.

Можно было, конечно, взять у вокзала дребезжащее, повидавшее виды такси, но времени до отхода речного катера оставалось еще много, и гораздо приятнее было медленно пройти через весь город — мимо сводчатых торговых рядов, по кирпичному мосту над оврагом, где шумел, пенясь, ручей и бродили, приглядываясь к замусоренной земле, надменные грачи, мимо маленькой электростанции, пыхтевшей мазутным дымом из высокой железной трубы, мимо домиков с такими чистыми окнами, что с улицы были хорошо видны освещенные утренним солнцем фикусы, олеографии запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, горки с посудой и спящие в креслах коты.

В голых окраинных садах сидели на покосившихся скворечнях и сипло посвистывали, отогреваясь, скворцы.

Возле пристани стоял катер, отдохнувший и умытый после зимней спячки,— свежевыкрашенный, с начисто протертыми стеклами и синей полосой на белой трубе.

Пассажиры подходили редко и медленно. Поэтому молодой капитан катера в сплюснутой блином форменной фуражке, женщина-матрос в ватнике и растрепанный моторист с неизменным пучком пакли в руке встречали каждого нового пассажира, как доброго родственника. Даже появление угрюмой бабы с мешком на плече, где ходуном ходили и отвратительно визжали поросята, не вызвало у них обычного недовольства.

Потом пришла девица с копной светлых, завитых барашком волос, с непоправимо обиженным лицом. На все попытки капитана и моториста заговорить с ней она сухо отвечала.

— Я в ваших разговорчиках, гражданин, не нуждаюсь.

Последним явился знакомый садовник из нашего городка, что расположен в тридцати километрах вверх по реке. Жители городка добродушно, но несколько насмешливо звали его Левкоем Нарциссовичем, хотя имя у садовника было Леонтий, а отчество Назарович.

Леонтий Назарович всю жизнь был обуреваем великой мечтой превратить родной городок в сплошной сад и цветник или, как он выражался, в «вертоград».

Каждый посаженный им куст акации или сирени, по его словам, был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного цветения и дивного благоухания. На деле

все это оказывалось не совсем так, но Леонтий Назарович этим не смущался и благородный его пыл от этого не ослабевал.

Леонтий Назарович был человек разговорчивый, весьма быстрый и суетливый. Он носил и лето и зиму старую жокейскую кепку и, кроме того, сломанные очки. Одной дужки у них всегда не хватало. Леонтий Назарович заменял ее тесемкой. Купить новую оправу ему было некогда. На замечания знакомых по поводу сломанных очков Леонтий Назарович всегда торопливо отвечал:

— И не просите! Некогда! Я сейчас новый сквер разбиваю, едва вымолил разрешение у горсовета. Какие там, к черту, очки!

В этих словах была, конечно, какая-то доля рисовки, но ее Леонтию Назаровичу охотно прощали.

Леонтий Назарович всегда с кем-нибудь воевал из-за новых посадок, доказывал, спорил, уничтожал противников ссылками на таких людей, о каких в нашем городке почти никто не имел понятия,— на знаменитого создателя великолепных парков Гонзаго, на разных видных ботаников, но чаще всего на профессора Климентия Аркадьевича Тимирязева («Видели небось фильм о нем, «Депутат Балтики», а возражаете против прямой очевидности, что надо каждый клочок земли непременно озеленить»).

Но больше всего воевал Леонтий Назарович с женой — рыхлой и сонной женщиной, весь день позевывавшей от скуки. Она считала, что Леонтий Назарович закис в ничтожном городке, тогда как мог бы работать садовником если не в Кремле, то по крайности в Летнем саду в Ленинграде.

С весны до поздней промозглой осени Леонтий Назарович возился в скверах и на прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. Начал он эту историю со времени войны с Наполеоном, так как считал, что все, бывшее до этой войны, недостоверно.

Городок стоял высоко над Окой среди таких просторов, что от них иной раз захватывало сердце.

Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей и деревень издавна привлекала сюда художников, считавших все эти места наилучшим выражением русской природы. Поэтому в истории города самое видное место Леонтий Назарович отводил художникам. Живопись

он любил, охотно читал книги по искусству и жадно собирал репродукции.

Сейчас Леонтий Назарович вез из областного города саженцы жасмина и семена однолетних цветов.

У Леонтия Назаровича была своя теория об исключительно благотворном влиянии растительности на человеческую психику. На катере он как раз завел разговор на эту тему к явному неудовольствию девицы в кудряшках. Она все время передергивала плечиками и насмешливо кривила губы.

Катер подвалил к бывшей усадьбе художника Поленова. Она стояла, как оазис, среди сухих берегов, разрушенных взрывами. По всем берегам реки рвали бутовый камень. На пыльных откосах от недавних сосновых лесов не осталось пе то что деревца, но даже травинки.

Взрывы сотрясали всю округу, расшатывали постройки, заваливали судоходпую реку щебенкой, съедали растительность, и казалось, что по берегам реки быстро расползается сухая экзема.

— Удручающая картина! — сказал мне Леонтий Назарович.— А все от скопидомства. Камня этого всюду достаточно. Однако беспощадно рвут берега, потому что отсюда вывозить камень на какие-то копейки дешевле.

Мы отвели душу, изругали невежественных хозяйственников, которые руководствуются одним только правилом «после нас — хоть потоп». Потом поговорили о Поленове (Леонтий Назарович был с ним знаком) и вспомнили великолепного художника Борисова-Мусатова, жившего и умершего в нашем городке и похороненного на косогоре над самой Окой.

Борисов-Мусатов любил этот косогор. С него он написал один из лучших своих пейзажей — такой тонкий и задумчивый, что он мог бы показаться сновидением, если бы не чувствовалось, что каждый желтый листок березы прогрет последним солнечным теплом.

В такие осенние дни, как на этой картине, всегда хочется остановить время хотя бы на несколько дней, чтобы медленнее слетали последние листья и не исчезала так скоро у нас на глазах прощальная красота земли.

И вот добрый горбун — художник Борисов-Мусатов остановил эту прелестную осень, чем-то похожую в моем представлении на девушку со светлыми и строгими глазами, обещающими горе и счастье.

На могиле Борисова-Мусатова поставлен надгробный

памятник работы скульптора Матвеева — на плите из крупнозернистого красного песчаника лежит уснувший мальчик. Местные жители говорят, что это не уснувший, а утонувший мальчик. Скульптура сделана с необыкновенной силой и мастерством.

Когда я был последний раз на могиле Борисова-Мусатова, изгородь валялась сломанная, возле памятника паслись козы и, поглядывая на меня желтыми наглыми глазами, сдирали начисто кору с соседнего куста бузины...

Я рассказал об этом Леонтию Назаровичу, но он как будто пропустил мимо ушей мои слова и, чтобы переменить разговор, начал расспрашивать меня о моей недавней поездке на Запад.

— Был ли у вас,— спросил меня Леоптий Назарович,— какой-нибудь интересный случай, касающийся цветов и растительности? Очень я люблю такие истории.

Я рассказал ему о голландском рыбачьем поселке Шевенингене. Мы приехали туда в сумерки. Северное море шумело у широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани на рыболовных ботах были развернуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали пустые бочонки из-под рыбы, и женщины и дети, одетые во все черное, стучали по булыжной набережной деревянными туфлями — сабо.

Быстро темнело. На дамбе зажегся старый маяк и начал равномерно швырять по горизонту вертящийся луч своего огня. Вслед за маяком на дамбе невдалеке от поселка вспыхнул сотнями огней стеклянный ночной ресторан. Сюда приезжали кутить из Гааги, Амстердама и даже из Брюсселя. Мы подошли к ресторану. Около него стояла огромная грузовая машина окруженная толпой детей. Лакеи во фраках выгружали из машины вазоны с гиацинтами.

Свет маяка проносился над цветами, и они казались совершенно фантастическими по своей окраске. Там были гиацинты точно из воска и старого золота, из бирюзы и снега, из красного вина и черного бархата.

Дети смотрели на цветы как зачарованные. Высокий шофер стоял, прислонившись к капоту машины, и курил фарфоровую трубку. Он будто нечаянно толкнул одного из лакеев, похожего на Оскара Уайльда. Лакей уронил вазон. Шофер поднял золотой гиацинт с комом земли,

отряхнул землю и протянул цветок худенькой девочке с длинной светлой косой, особенно заметной на ее черном платье.

Девочка присела, схватила цветок и побежала с ним к поселку. За ней бросились, смеясь и перекликаясь, все дети.

Луч маяка пронесся над головой бегущей девочки, рассеянный свет упал на ее волосы, и вся эта сцена представилась мне главой из еще не написанной сказки о бледно-золотом цветке, осветившем своим таинственным огнем рыбачью лачугу.

Лакей в упор посмотрел на шофера. Шофер усмехнулся и пожал плечами. Потом они засмеялись, дружелюбно похлопали друг друга по плечу и разошлись.

А в ресторане за матовой стеклянной стеной пел джаз и пахло гиацинтами и травянистой весной.

— Да,— сказал Леонтий Назарович, выслушав этот рассказ,— у нас в жизни человеческой многое еще не обдумано.

— Что, например? — спросил я.

— Да я все об этих цветах,— ответил задумчиво Леонтий Назарович.— Жизнь человеческая должна быть украшена. Обязательно. Глупое выражение, что жизнь наша — жестянка, надо давно позабыть. Цветы и все прочее, отрадное для души и глаза, должно сопровождать нас на нашем житейском поприще. От этого человек становится не в пример великодушнее.

Катер подошел к нашему городку, ткнулся носом в скользкий после разлива берег, и мы с Леонтием Назаровичем сошли по узким сходням.

— Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова? — спросил меня Леонтий Назарович, остановившись со мной под вековой ивой. Она казалась не деревом, а мощным архитектурным сооружением, каким-то кряжистым собором, облицованным серой корой.

— Прошлой осенью.

— Что же это вы! — сказал с упреком Леонтий Назарович.— Знаменитых своих земляков забываете. А за компанию на катере — спасибо. Утешили вы меня этим рассказом о девочке.

Мы распрощались. Я решил зайти на могилу Борисова-Мусатова сейчас, благо она была недалеко от пристани.

Еще издали, подходя к могиле, я заметил, что она окружена новой изгородью. Внутри все было прибрано,

и большой полукруг недавно посаженных кустарников замыкал фигуру спящего мальчика, отмытую от глины.

Через два дня я встретил Леонтия Назаровича на бульваре у реки, где он высаживал кусты жасмина. Мы сели покурить на скамейку над рекой. С огородов тянуло навозом, дымком, и непрерывно горлапили петухи — радовались теплой весне.

И я рассказал Леонтию Назаровичу еще одну маленькую историю о гробнице Рафаэля в Риме и о старом стороже этой гробницы, который каждую неделю покупал из своего скудного заработка цветы и клал их на гробницу. Там было погребено нежное и доброе сердце великого итальянца.

— Я так понимаю,— сказал мне Леонтий Назарович,— что вы это специально для меня рассказали. Спасибо на добром слове. В поступке этого бедняка-итальянца я вижу большую человечность в обширном понимании этого слова. Большую человечность,— повторил он и вздохнул.— На ней только и может держаться наша всеобщая жизнь.

Конечно, он не сказал ни слова о том, что украсил могилу Борисова-Мусатова.

Из-за дальнего лесистого поворота реки показался знакомый катер. Издали он казался отражением в реке одного из облаков, проплывающих над нами в весеннем небе.

1957

ТОЛПА НА НАБЕРЕЖНОЙ

— Когда ты сойдешь на берег в Неаполе,— сказала мне моя дочь — молодая женщина, склонная к неожиданным поступкам,— то подари эту матрешку первой же итальянской девочке.

Я согласился. Кто знает,— может быть, это поручение приведет к какому-нибудь лирическому событию. А от таких событий мы основательно отвыкли.

До моего отъезда матрешка в шали пышного алого цвета стояла на письменном столе. Она была густо покрыта лаком и блестела, как стеклянная.

В ней было скрыто еще пять матрешек в разноцветных шалях: зеленой, желтой, синей, фиолетовой и, наконец,— самая маленькая матрешка, величиной с наперсток,— в шали из сусального золота.

Деревенский мастер наградил матрешек чисто русской красотой — соболиными бровями и рдеющим, как угли, румянцем. Синие их глаза он прикрыл такими длинными ресницами, что от одного их взмаха должны были разбиваться вдребезги мужские сердца.

С детских лет я представлял себе Неаполь довольно ясно, даже с некоторыми подробностями.

В действительности Неаполь оказался как бы сдвинутым в пространстве и цвете. То, что я привык представлять себе с правой стороны, находилось слева; то, что в воображении я видел белым, оказывалось оливковым или коричневым, а классический дым над Везувием совершенно исчез. Везувий уже два года не дымил. Говорили, что он погас навсегда.

Ранним утром наш пароход причалил к молу около замка Кастель-Нуово. На молу толпились черные монахини в белых крылатых чепцах. Они еще издали торопливо крестили и благословляли наш пароход.

Внезапно к монахиням подъехала на мотороллере полная пожилая игуменья и что-то гневно крикнула. Монахини, испуганно озираясь, засеменили мелкой рысью прочь от нашего парохода и скрылись в утренней дымке неаполитанских улиц. Игуменья, рыча мотороллером, умчалась за ними.

Очевидно, произошла путаница, и монахини встретили и благословили совсем не тот пароход, какой было нужно.

Действительно, вскоре рядом с нами причалил старый, кривой на один борт пароход «Палермо». Выцветший итальянский флаг уныло висел на его корме. Пароход привез из Палестины паломников, поклонявшихся гробу господню.

От «Палермо» несло кофейной гущей и ладаном. В каютах висели черные распятия и пучки колючей травы. То были злаки и тернии Иудеи, жалкий корм верблюдов и ослов, одеревенелые растения пустыни.

«Палермо» высадил паломников и тотчас уснул, привалившись к пристани. Шершавые водоросли свисали с его красного днища, и казалось, что престарелый этот пароход так устал от длинного рейса, что у него не хватило силы побриться.

Но «Палермо» не повезло. Ему не дали поспать даже полчаса. Два развязных буксира с трубами набекрень подошли к «Палермо», зацепили сонный пароход стальными

тросами и оттащили от мола, чтобы дать место американскому пароходу «Президент Гувер».

Американец был белый, длинный и скучный. Он привез туристов, в большинстве пожилых. По его палубам бродили, переваливаясь, крашеные дамы в сморщенных купальных костюмах и темных окулярах самых затейливых форм: в виде летучих мышей, трапеций, тропических бабочек и парашютов. Мужчины ходили в трусах, не стесняясь своих синеватых петушиных ног.

Но самым удивительным здесь, в Неаполе, где краски неба, облаков и моря превращают весь видимый мир в голубой вкрадчивый дым, а ночи рыдают голосами уличных музыкантов,— самым удивительным и неприятным было то обстоятельство, что эти американские мужчины и женщины оказались неслыханно пресными, скучливыми и, конечно, не поступились ни одной из своих застарелых привычек. Для них в мире не было ничего поразительного. Земля не давала им достаточных поводов для восхищения, хотя и заслуживала по временам поощрительного похлопывания по плечу.

Через огромный зал таможни с выложенными на полу мозаиками каравелл мы вышли на мол и ступили на итальянскую землю. Она была вымощена обыкновенной брусчаткой. По камням бродили толпы голубей.

Полицейские в белых тропических шлемах и белых лакированных портупеях смотрели на нас пристально и выжидательно. Иногда их глаза просто умоляли нас о чем-то для нас непонятном. Но вскоре выяснилось, что полицейские жаждали получить московские сувениры («сувениро ди Моска»), в особенности значки с видами Кремля. Открыто выпрашивать сувениры они не решались.

Я вышел на набережную. Я не забыл об итальянской девочке и нес матрешку, завернутую в папиросную бумагу. Любители сувениров некоторое время молча и укоризненно брели за мной, потом отстали.

Никакой девочки я сразу не встретил. Правда, я легко мог пропустить ее, потому что часто останавливался и смотрел в глубину улиц, выходивших на набережную.

Эта глубина улиц была заманчива и таинственна. Заманчива причудливым переплетением мощных завитков колонн с черными ветками тиса, крикливых вывесок со струями совершенно хрустальной воды из фонтанов, крылатых полногрудых богинь на фасадах домов с разноцветным блеском церковных витражей, полосатых тентов над

кофейнями с одуряюще пахнущими олеандрами. Их розовые цветы слабо качались от непрерывного автомобильного ветра. Улицы выносили, как реки, на раскаленную набережную холодный ток воздуха из мраморных зданий.

Девочки все не было. Я с досадой подумал, что она успела, должно быть, незаметно прошмыгнуть мимо меня. Я заставил себя наконец оторваться от зрелища приморских улиц и посмотрел вдоль набережной. Сначала у меня потемнело в глазах от плотного солнечного света, потом зарябило от корзин с незнакомыми цветами, выставленными на продажу вдоль мостовой, и наконец я увидел ее.

По пути к берегам Италии я иногда представлял себе девочку, которую встречу в Неаполе первой. Она казалась мне похожей на юную сборщицу винограда с известной картины Брюллова: те же синие волосы, полные глубокого солнечного блеска, те же лукавые глаза и смуглые персиковые щеки.

Девочка, что сейчас шла мне навстречу, была совсем не такая. Ей было лет десять. Она вела за руку маленького мальчика. Он все время оглядывался на что-то, поразившее его воображение, и потому шел боком. Девочка просто волокла его и что-то сердито ему выговаривала.

Зрелище за спиной мальчика было, конечно, не совсем обыкновенное. На небольшой пароход (должно быть, этот пароход ходил недалеко — в Сорренто или Кастелламмаре) втаскивали старого плешивого осла. Осел не хотел идти на сходни, упирался всеми четырьмя ногами и отвратительно икал от возмущения. В конце концов на него накинули лямку и втащили его на палубу паровой лебедкой. Делалось это, очевидно, из одного озорства.

Лебедка тарахтела. Из нее бил пар. Портовые грузчики в пестрых рубахах свистели и аплодировали ослу, но он не обращал на это никакого внимания.

Я смотрел на девочку. Она была лучше, чем брюлловская сборщица винограда,— несравненно проще, беднее и милее.

На ней было старенькое черное платье, протертое на локтях, заштопанные светлые чулки и старые — тоже черные — тапочки. И все это черное удивительно вязалось с ее худеньким, бледным лицом и неожиданно светлыми, чуть рыжеватыми косами, завязанными на груди небрежным узлом.

Когда девочка подошла ближе, я развернул папиросную бумагу и вынул из нее матрешку.

Она увидела матрешку, остановилась и засмеялась, прижав к груди смуглые пальцы. Чему она смеялась, я не знаю. Быть может, красоте неизвестной игрушки, пылавшей под солнцем Неаполя. Так смеются люди, когда сбываются их любимые сны.

Я протянул матрешку девочке. Она не взяла ее. Она перестала смеяться, сдвинула темные брови и испуганно метнулась в сторону. Я схватил ее за руку и почти силой заставил взять куклу.

Она потупилась, присела и сказала едва слышно:

— Грацие, синьоро!

Потом снова присела и подняла на меня влажные, сияющие глаза. Мне трудно было поверить в то, что девочка так сильно обрадовалась такому пустяку, как матрешка. Но я увидел вблизи ее худенькие ключицы под ветхим платьем, увидел и другие приметы безропотной бедности и понял, что для этой девочки матрешка и вправду — большая радость.

Тогда я еще не знал зловонных от гнилых овощей кварталов Неаполя, не знал и окраин к северу от города, где дым канареечного цвета, пахнущий кислотами, висит над пустырями. И там и тут жили люди.

Все это я встретил позже. Сейчас же Неаполь беспечно сверкал, щедро отдавая морю тот блеск, что оно изливало на него.

Девочка все благодарила меня. Мальчик был еще так мал, что, как ни задирал голову и ни старался увидеть, что происходит с сестрой, не мог заметить матрешку. Но все же, подражая сестре, он гудел снизу, из-за ее коленок, хриплым басом:

— Грацие, синьоро!

Я наклонился к мальчику, но в это время кто-то обнял меня сбоку за шею, заглянул в лицо, и я увидел рядом с собой смеющиеся твердые губы и широко открытые радостные глаза.

Молодая женщина, должно быть, крестьянка, в синей юбке с оборками и легкой черной шали, накинутой на плечи, прижалась на мгновение горячей щекой к моей щеке и произнесла гортанно и нежно все те же слова:

— Грацие, синьоро!

Это была одна из продавщиц цветов, сидевших на набережной. Она подбежала ко мне и начала благодарить за то, что я подарил такую редкую игрушку итальянской девочке.

Через минуту вокруг нас уже перекрикивалась разноцветная толпа продавщиц. Они оставили без надзора свои лотки с апельсинами, дешевыми кораллами, цветами, лентами, американской жевательной резинкой и сигаретами. Они хлопали меня по плечу, обнимали, что-то кричали мне прямо в лицо, и глаза у них смеялись.

Матрешка пошла по рукам. Женщины смотрели на нее, как на солнце, прикрыв глаза ладонями, и чмокали от восхищения. Они тормошили девочку, поздравляли ее, поправляли на ней старенькое платье. Одна из женщин быстро заплела ей наново косы и вплела в них оранжевую ленту.

Женщины всячески старались украсить девочку, даже прикололи к ее платью бутон желтой розы. И девочка действительно как бы расцветала под их ласковыми пальцами.

Во всей этой шумной заботе было заметно смущение женщин перед иностранцем, перед «советским синьором»,— смущение из-за изможденного лица девочки, ветхого ее платья и всего ее нищенского вида.

Толпа росла. Мчавшиеся по набережной такси останавливались около нас. Шоферы спрашивали, что случилось, после чего поспешно выскакивали вместе с пассажирами из машин и протискивались к девочке. Портовые рабочие, те, что освистали старого осла, напирали сзади. Откуда-то нахлынули школьники. Они аплодировали матрешке, хлопая книгой о книгу, и при этом из книг вылетали оторванные страницы. С военного грузовика соскочили и смешались с толпой солдаты-берсальеры с петушиными хвостами на кепи.

Старый извозчик влез на козлы своего веттурино, украшенного цветами и бубенцами, будто это был маленький цирк на колесах, и пел фальцетом, воздев руки к небу, какую-то песенку.

Девочка вся искрилась от восторга, от всего этого необыкновенного случая в порту.

Внезапно все стихли. Я оглянулся. К толпе медленно шел таможенный надсмотрщик в кепи с золотым галуном и маленьким, как будто игрушечным, пистолетом, висевшим на поясе в белой лакированной кобуре.

Он шел уверенно, раздвигая толпу. Лицо его с короткими усиками было совершенно бесстрастно.

Надсмотрщик подошел к девочке, взял у нее из рук матрешку и начал тщательно рассматривать, наморщив

брови. Девочка умоляюще смотрела на него. Несколько раз она робко протягивала к матрешке руку, но тотчас отдергивала ее.

Надсмотрщик поднял голову и обвел глазами толпу. Десятки настороженных глаз, в свою очередь, смотрели на него. Тогда надсмотрщик усмехнулся и щелкнул пальцами. Толпа неопределенно зашумела.

Надсмотрщик поднял над головой матрешку, показал ее на все стороны, как это делают фокусники («О, ля-ля!»), потом быстрым и совершенно незаметным движением открыл матрешку и выхватил из нее вторую — в яркой зеленой шали.

По толпе прошел тихий восторженный гул. Надсмотрщик снова щелкнул языком, и из зеленой матрешки мгновенно появилась желтая, потом синяя, фиолетовая и, наконец (он вынул двумя пальцами и осторожно поднял), последняя — самая маленькая матрешка в золотой шали.

Тогда толпа как бы взорвалась. Вихрь криков пронесся над ней. Люди хлопали в ладоши, свистели, били себя по бедрам, топали ногами и хохотали.

Надсмотрщик так же спокойно собрал все шесть матрешек в одну и отдал девочке. Она прижала матрешку не к груди, а прямо к своему бьющемуся от счастья горлу, схватила мальчика за руку и бросилась бежать.

Надсмотрщик на ломаном французском языке сказал мне наставительно и суховато:

— Вы сделали маленькую оплошность, мосье.

— Какую?

— Вы могли подарить эту игрушку не одной, а шестерым девочкам-неаполитанкам.

Он был прав, конечно, относительно шестерых девочек. Может быть, поэтому он так величественно поднес руку в белой перчатке к своему кепи и ушел несколько надменно и горделиво.

Вот, собственно, и все, что случилось в то утро с матрешкой в Неаполитанском порту, если бы не некоторое добавочное обстоятельство. Оно принадлежит к тому ряду явлений, какие, может быть, существуют только в нашем воображении и являются плодом наших желаний. Но, несмотря на это, они действуют на дальнейшее течение наших дней с неотразимой силой.

Девочка исчезла, забыв напоследок попрощаться со

мной. Эту ее ошибку исправила все та же молодая крестьянка в синей юбке с оборками. Она снова обняла меня, снова ласково прижалась смуглой пылающей щекой к моей щеке и сказала, но теперь уже вполголоса и смущенно:

— Аддио, мио каро синьоро!

Она тотчас убежала вместе с другими продавщицами к своим корзипам с цветами, а у меня на щеке остался горьковатый и тягучий запах ее лица. Он был похож на запах лаванды.

Он был удивительно стойкий, этот запах, держался долго и исчез только в Риме, куда я ездил на несколько дней из Неаполя. Может быть, я так долго слышал этот запах только потому, что мне этого очень хотелось.

Когда поезд Неаполь — Рим, поминутно пытаясь сорваться с рельсов и обрушиться в желтые ущелья Апеннин, мчался к Риму, я смотрел в окно на маленькие горные города и думал, что каждый из них мог быть родиной этой крестьянки.

То были очень старинные города на вершинах гор, зубчатые крепости, обнесенные выщербленными стенами. Там позванивали колокола угрюмых соборов, где, может быть, светились в полутьме алтарей божественные фрески Джотто или самого Рафаэля.

Белые — петлистые и пустынные — дороги подымались к этим городам из выжженных засухой долин. По этим дорогам семенили ослы. Лучше всего были видны их темные уши. Тоненькие ослиные ноги сливались с цветом шиферной пыли, и потому их было нельзя рассмотреть.

Я представлял себе эти города, узкие улицы около высохших от старости фасадов, пестрые вывески кино и треснувший мрамор разрушенных фонтанов, узловатые оливы в садах, как бы отлитые из ноздреватого олова, и думал, что, может быть, вот в таком городке у меня уже есть близкое сердце — такое же нежное, как теплота маленькой зардевшейся щеки. И если мпе в жизни будет особенно тяжело, то это простодушное сердце никогда не откажет мне в помощи и утешении. Я был уверен в этом. И эта вера бесконечно облегчала жизнь.

На обратном пути поезд из Рима пришел в Неаполь поздней ночью. В открытое окно вагона дул теплый морской ветер с привкусом нефти. В узких домах вдоль полотна было, конечно, темно, и только в ярко освещенной будке стрелочника сидел на подоконнике и играл на мандолине юноша с бакенбардами и лицом Ива Моптана.

Это было мое последнее впечатление от Неаполя.

Поезд подали на мол прямо к пароходу. Пароход тотчас отчалил. С палубы в свете неестественно ярких фонарей было видно то место на набережной, где днем сидели продавщицы. Я всматривался в него, стыдясь сознаться самому себе, что жду чуда, жду, что на пустынной мостовой появится молодая крестьянка в синей юбке с оборками и побежит по молу вслед за пароходом, уже медленно резавшим стальным носом мрак ночи и черную воду залива.

На мгновенье мне даже показалось, что я вижу вдали неясную женскую фигуру. Но это была одна из тех легких теней, какими полны портовые ночи.

Я просидел на палубе до рассвета, пока не открылись в слабо голубеющих и необъятных водах огни Сардинии.

Рассвет я встретил с сожалением. Я знал, что каждый день будет удалять от меня прошлое и погружать его в темноту так же медленно и верно, как иссякает в зрительном зале перед спектаклем электрический свет.

1958

ПЕСЧИНКА

Многие убеждены, что рассказы должны быть поучительными. Но есть люди, преимущественно сами писатели, не желающие безоговорочно соглашаться с этой истиной. Они утверждают, что некоторые рассказы хотя ничему и не учат читателей, могут просто порадовать их, показав, к примеру, красоту какой-нибудь крошечной песчинки, которая умеет преломлять солнечный свет, извлекать из него множество разноцветных сияний и радуг.

Как-то мы говорили об этом с моим знакомым пожилым писателем, сидя на каменном парапете Крымского шоссе.

Прямо перед нами по щебенчатому откосу цвели густыми золотыми брызгами кусты дрока, а позади дымилось и сверкало, как синяя бездна, Черное море. Оно гнало к берегу тысячи небольших пенистых волн.

Волны шли под углом к берегу, с юго-востока, и потому прибой обрушивался на пляжи не одним ровным грохочущим валом, а равномерным набегом косых волн.

— Такой прибой работает, как винт Архимеда,— сказал пожилой писатель. В прошлом этот писатель был ин-

женером и потому употреблял и в жизни, и в своей прозе технические сравнения.

Выше кустов дрока тянулись по кремнистым изгибам виноградники. Там работали девушки в белых косынках, повязанных очень низко, у самых бровей. Ветер трепал выгоревшие подолы их легких платьев.

Одна из девушек бежала вприпрыжку по шоссе, спускаясь к морю. В нескольких шагах от нас она споткнулась, упала, сильно ушибла ногу о камень, вскочила и поскакала на одной ноге к парапету.

Она села рядом с нами и, всасывая воздух сквозь стиснутые от боли зубы, подняла раненую ногу, обхватила ее руками и смущенно засмеялась. Она старалась сделать вид, что ничего не случилось и ушиб пустяковый. Но по ее потускневшим глазам было видно, что ей очень больно.

Я пошел к небольшому ручью, перебегавшему через шоссе и уже успевшему намыть на асфальте полоску чистого крупного песка, намочил платок и принес девушке. Она поблагодарила и, морщась, обернула разбитые пальцы мокрым платком.

— Никак боль не проходит,— пожаловалась она виноватым голосом.— Вот глупость!

— Сидите тихо! — строго сказал ей пожилой писатель.— Сейчас поймаем первую же машину и отвезем вас в Мисхор. В поликлинику.

— Не надо! — взмолилась девушка.— Лучше подольше посидеть. Может быть, само пройдет.

Мы согласились.

Девушка была тоненькая, в коротком, некогда зеленом, а теперь выцветшем до серого цвета, стареньком платье. Она смотрела на свою ногу, не поднимая глаз, и потому были хорошо видны только ее длинные черные ресницы. Из-под белой косынки выбивались каштановые волосы.

— Где вы живете? — спросил пожилой писатель.

— Вся наша бригада живет в палатках,— ответила девушка.— Вон там, за виноградником. Мы на этом винограднике работаем.

Она подняла глаза, и я удивился: при темном цвете ресниц и волос я ожидал увидеть темные глаза, но они у нее были светло-зеленые и как бы покрытые влагой слез,— так сильно они блестели.

Оба колена у девушки были ободраны о щебенку. На них виднелись мелкие точечки крови.

Чтобы отвлечь наше внимание от раненой ноги, девушка сказала:

— Какой дрок... великолепный!

— На что он похож? — спросил писатель.— Не знаете?

— Нет, не могу догадаться.

— Тогда я вам скажу.

Я был уверен, что писатель приведет сейчас какое-нибудь сугубо техническое сравнение, но он посмотрел на дрок, подумал и сказал:

— Если бросать морские голыши в золотую воду, то получатся вот такие фонтаны. Брызги и всплески. Правда?

— Да, правда,— тихо сказала девушка.— Вы сказали, как у хорошего поэта в стихах. Я очень люблю стихи. Но сейчас мне некогда читать.

Она рассказала, что год назад окончила школу-десятилетку в маленьком городке на Полтавщине, что городок этот называется Хорол, что около него протекает теплая мелкая речка, заросшая стрелолистом. Рассказала, что ее отец давно умер, а мать — медицинская сестра — так занята, что у нее не остается времени для своей единственной девочки, то есть для нее, для Лели. Рассказала, что после школы решила стать ботаником-селекционером и поэтому проходит сейчас трудовую производственную практику на крымских виноградниках. Дело это трудное и тонкое, сорт винограда у них на плантации капризный, но, главное, работа очень каменистая.

— Какая? — удивленно переспросил писатель.

— Каменистая. Земля как камень, корень лозы тоже твердый, как камень, вокруг пышет жаром от раскаленных солнцем камней. Я сначала так страдала от жары, даже плакала. А вот сейчас полюбила эту жару, и мне теперь кажется, что она украшает землю. Но самое хорошее время — это когда жара настоится к сумеркам, начнет едва заметно спадать и воздух сделается таким тихим и нежным, что сама себе кажешься счастливой.

— Правда, счастливой! — повторила она и чуть покраснела.— Нас в школе директорша все учила-учила, что нельзя поддаваться чувствительности. А сейчас я поняла, что это было глупо. Я догадалась, что вы писатели. Тут в Ялте у вас есть писательский дом. Писатели всё должны понимать спокойнее и добрее, чем другие люди. Так вот скажите мне: разве плохо быть добрым и сильно чувствовать состояние людей и красоту, какая есть вокруг? А меня все обвиняют в чувствительности, даже иной раз и здесь,

в бригаде. Чем я виновата, что вон впереди Аю-Даг весь в синем дыму сливается с синим небом и даже будто растворяется в нем? А мне от этого радостно на душе. Так радостно, что я тотчас же начинаю выдумывать всякие вещи, чтобы мне стало еще радостнее. Я недавно, например, прочла в одной старой книге слова «лазурная даль». И сказала себе: «Аю-Даг не в синей, а в лазурной дали». Или «лазоревой»? Я не знаю, как правильнее и лучше сказать. А потом я начинаю представлять себе, что карабкаюсь на его вершину, кругом цветет терн — белый, как маленький снег, а море качается далеко внизу и перебрасывает по обрывам отражения солнечного света. И мне хочется раствориться в этом черноморском свете и синеве, и даже хочется, если придется умирать, то умереть только здесь.

Девушка вдруг смутилась и замолчала.

— Глупо, должно быть,— сказала она.— Вы меня извините. И не смейтесь, пожалуйста, надо мной.

— Нет,— ответил писатель,— смеяться мы не будем, хотя вы и смешная. И очень милая. У меня такая же смешная и милая дочь. Вот когда вы выйдете замуж...

— Я никогда не выйду замуж! — запальчиво перебила его девушка.

— Все так говорят,— засмеялся писатель.— И вы тоже. Потому что еще не любили. Вам я завидую. Честное слово! Жестоко завидую. Как завидую человеку, который еще не читал «Евгения Онегина», но скоро прочтет. Вы читали «Гранатовый браслет» Куприна? Нет? Вот и прекрасно! Я много бы дал за то, чтобы следить за вами, когда вы будете читать этот изумительный рассказ. Следить за тем, как будут темнеть и наполняться слезами ваши глаза, как вы будете хмурить брови и кусать губы, как вдруг улыбнетесь и неслышный смех задрожит в вашем горле.

— Откуда вы знаете, что я так читаю хорошие книги?

— Моя дочь читает книги именно так! А любовь — настоящая, светлая и простая, как любой дикий цветок, как вот этот белый и скромный терн,— придет обязательно. Хотите вы этого или не хотите. Я знаю, что говорю.

— Как интересно с вами разговаривать! — сказала девушка.— Ну вот, нога у меня уже не так сильно болит. Я дойду теперь до Мисхора.

Но идти она еще не могла, во всяком случае, без палки. Тогда мы стали по бокам девушки, она обняла нас за плечи и, прихрамывая, а иногда и совсем поджимая ногу, начала потихоньку спускаться по шоссе.

Мы вели ее осторожно, как драгоценность. Да это и вправду была пыльная от крымского краснозема, застенчивая, с зелеными смущенными глазами живая драгоценность. Я, может быть, несколько выспренне подумал, что каждая пядь земли, куда ступала маленькая ее нога в тапочке, должна быть драгоценна для нас, стариков. К этой пяди теплой земли прикоснулась молодость — то, единственно ради чего мы жили и работали так много трудных и порой неблагодарных лет.

«Знает ли об этом молодежь? — думал я.— Знает ли эта девушка? Жизнь почти потеряла бы свой смысл, если бы молодость не знала работы старших поколений».

И девушка как будто догадалась, о чем я думаю. Поправляя руку у меня на плече, она осторожно прикоснулась ладонью к моей щеке, и в этом нечаянном прикосновении я вдруг почувствовал ласку. А может быть, мне это только показалось, как это часто со мной уже бывало. Я вспомнил строки Луговского: «Мне нужен сон глубокого наплыва, мне нужен ритм высокой частоты...» «Очевидно, в этом и скрыта настоящая мудрость житейских стремлений,— думал я.— Вот он — сон глубокого наплыва, голубизна воздушных масс, колебание тонкой мглы над пространствами моря, едва заметное дрожание первой звезды над гребнем гор». Я показал на нее девушке и пожилому писателю и, сам не знаю почему, сказал:

— Очевидно, это та звезда, чей луч осеребрил весенние долины.

Пожилой писатель ответил мне просто:

— Я люблю жить!

А девушка сказала, что сегодняшний день для нее — очень-очень хороший, хотя она еще сама толком не понимает почему.

Вот, собственно, и весь рассказ. В нем нет ничего поучительного, но, может быть, есть та единственная «песчинка», которая порадует людей хоть немного и заставит их улыбнуться, не отыскивая на сей раз в этом маленьком повествовании глубокого смысла.

1959

РАССКАЗ О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Режиссер Александр Петрович Довженко носил с собой маленькую записную книжку. Иногда он вынимал ее, перелистывал и, отыскав на ее страницах короткую — в одно-два слова — запись, начинал, не торопясь, рассказывать историю, связанную с этой записью.

Записи эти были понятны только самому Довженко и выглядели примерно так: «Народная медицина», «Лейтенант Слива», «Поездка в Батурин».

Если бы мы родились древними эллинами и верили в существование десятой музы — «устного рассказа», то эта муза, безусловно, была бы в полном подчинении у Довженко и сама, приоткрыв рот от восхищения, слушала бы его истории.

Талант рассказывания, по-моему, один из самых редких и завидных. Сплошь и рядом человек, талантливо пишущий, не сможет рассказать на словах о написанном с такой же живостью и блеском, как в своей прозе.

Довженко был человеком неслыханно любопытным до всего на свете. Его интересовали такие далекие друг от друга вещи, как лучший способ штукатурки стен и межпланетные полеты, новая сельская архитектура и сроки прорастания семян.

Он любил вольно бродить по земле и в это время с какой-то пронзительной зоркостью замечал во много раз больше, чем замечаем мы, торопливые и озабоченные люди.

Необычайно талантливый, он любил любой талант и умение,— хотя бы умение вести тяжелый комбайн или клеить воздушных змеев.

В чем же был секрет его рассказов? Если сказать, что в них было нечто гоголевское, то это было бы только частью правды. Главный секрет их был в народности, в полной очарованности самого рассказчика своей страной, Украиной. Поэзия Украины лилась из его уст свободно, широко, то грустно, то весело, и золотилась, как летнее утро на его любимой светлоструйной Десне.

Я помню несколько устных рассказов Довженко. Но годы идут, прошлое затягивается легким туманом и может растаять в нем совершенно. Поэтому я решил при помощи прозы восстановить в памяти хотя бы один такой рассказ.

Натолкнул меня на эту мысль покойный режиссер Сергей Дмитриевич Васильев.

Но проза — величайший жанр литературы — все же

бессильна передать интонации рассказчика, добрый смех, спрятанный в уголках его глаз, его язык, легко и органически объединяющий два живописнейших языка — русский и украинский, внезапные переходы от одного языка к другому, наконец, его собственную радость из-за каждого удачного рассказа.

Один из рассказов Довженко назывался «Народная медицина». Я слышал его всего раз, поэтому передаю его без того богатства красок, какими он сверкал, бил в глаза, просто слепил слушателей в передаче Довженко.

Дело было во время съемки фильма «Щорс». В одном из сел на Полтавщине, кажется в Ереськах, снимали массовую сцену с участием ереськинских селян и нескольких красноармейцев — статистов.

С утра было ясно, солнечно, потом небо затянулось облаками, и пошел серый тихий дождь. Такие дожди обладают очень упрямым характером и могут шуршать по листве и барабанить по крышам бесконечно долго.

Съемку пришлось прекратить, спрятаться в клуню и ждать там, пока дождь не пройдет и, может быть, опять появится солнце.

И вот в клуне зашел разговор о народной медицине, о всяческих «средствиях» от всяческих болезней, о знаменитых бабках — лекарках и ворожеях, знающих все на свете: как избавить доброго человека от стригуна и как заворожить любую красавицу.

Разговор шел общий и шумный. Только один красноармеец-сверхсрочник сидел на земляном полу, покуривал и насмешливо слушал этот разговор, не желая в нем участвовать. Время от времени он даже презрительно сплевывал.

Наконец красноармеец не выдержал. Он потянул сидевшего с ним рядом Довженко за рукав и сказал:

— А я, товарищ режиссер, в ту народную медицину не верю.

— Чего ж так? — спросил Довженко.

— Да была у меня в жизни такая история с той народной медициной, что провались она со всеми своими ворожками к бисовой бабушке. Насилу я ноги унес. Вы, товарищ режиссер, тех разговорщиков не слухайте, хай они брешут, что им угодно. Вы меня выслушайте.

Было то во времена так называемой «гражданки», а по-правильному — во времена гражданской войны. Сами знаете, что деялось тогда на Украине. Что ни село, то своя

республика, а что ни республика, то свой батько-атаман. Бандюги, конечно, стопроцентные, а все равно старались как-то украсить свое поганое существование. Даже прозвища себе придумывали заманчивые, чтобы заинтересовать, а то и пугнуть людей. Не поверите, какие были фамилии! У нас тут пановали атаманы Переплюй-Смерть и Дзиндзипер.

Да... Был я в ту пору хлопец лет шестнадцати, смирный хлопец и очень пристрастный до музыки, до гармони. Мой старший брат был первый гармонист на все села кругом. Из-за той гармони он и выжил в «гражданку», а то бы давно те бандиты его кокнули с ходу, без размышления.

Охота у меня была играть не хуже брата. Батько купил мне гармонь, а тут такая беда — не работают мои пальцы на музыку. Сила в пальцах есть, а этой — как ее... мелодии никак не получается. Брат говорит: «Слуху у тебя нет». А сестра, такая была цикавая насмешница, так та говорит: «Комар тебе в ухо залетел и там прижился». А я просто плачу. И по селу уже все надо мной шуткуют, смеются, и девушки прыскают в фартуки. Очень я мучился. Пойду, бывало, в лес, за речку и там стараюсь играть. Так потом батько запретил. «Ты, говорит, бандитов присасываешь до нашего села своим воем на той гармони, как камень-магнит иголку. Они тревожатся через те звуки, лякаются и на нас свой страх обязательно выместят. Такая у них мода. Кончится дело тем, что я порублю твою гармонь секачом».

Бабка у меня была жалобная, добрая старуха. Вот она и подбила меня. «Ты, говорит, иди до ворожки, до старой Федосьи, она превзошла всю народную медицину и от всякой беды что-нибудь да посоветует». Ну, я и пошел.

А у нас за селом — болото на целый километр. И через то болото в самом топком месте построен мост. От войны и старости тот мост стоял совсем раздолбанный. Все доски на нем трещали, а иной раз и проламывались. Горе, а не мост!

Да, так та проклятая бабка Федосья говорит мне:

— Иди, как стемнеет, к мосту, залезь под него с гармошкой своей, выбери место, где посуше, и сиди, дожидайся.

— Чего дожидаться? — спрашиваю, а сам дрожу. Чую, что страшное она мне скажет.

— Ты не трусись, хлопче,— говорит бабка.— Сядь себе под мостом и сиди. Хоть час, хоть два, хоть три.

А посередь ночи услышишь, як що-сь загудит. То означает, что наближается до места нечистая сила. Тогда возьми гармонь в руки и жди тихо. А як та нечистая сила загудит прямо у тебя над головой, ты рвани гармонь, и она сама заиграет. И с той поры ты будешь играть краше, чем твой брат-гармонист.

Я ее спрашиваю:

— А чего она заиграет, гармонь?

— Чего нечистой силе желательно, то она и заиграет. Может, «Гоп, куме, не журысь, туды-сюды повернысь», а может, «Гей вы, хлопцы-баламуты». Я этого знать не могу. Иди, а утром вдобавок к сегодняшнему принеси мне еще три жмени сахару.

Ну, я и пошел. Сижу под мостом. Вода у меня в постолах, холодная такая вода, кислая, и вроде бьет меня трясучка — со страху или от горячей моей надежды, что вот-вот заиграю я на всю Украину, а дивчата будут ходить за мной табором, танцевать под мою музыку да петь великие песни про времена запорожские.

А кругом с болота дух острый — не то бодягой пахнет, не то водяным перцем.

Жду, ноги замлели. Вдруг чую, с далека наближается нечистая сила. Гудит, гуркотит, вроде поревывает. И все село враз пришипилось, стихло. Даже собаки не брешут.

Я трясусь, жду своего часа. А як затрещал мост и гулом меня прямо по шее стукнуло, я возьми и растяни гармонь, как бабка велела. На свою голову, товарищ режиссер, растянул, на один волосок был от гибели.

Над головой у меня як треснуло, як посыпались гнилые доски от моста, як что-то со всей силы ухнуло в болото и там забилось, закричало дурным голосом, як меня всего смазало грязью — тут я, конечно, из-под моста вылетел як скаженный, схватил гармонь и шпарю к своему селу.

А сзади кричат на меня, да так страшно, что темнеет в глазах. Слышу, кричат: «Стой, бандитская морда! Стой, ворюга, чтоб тебе сгнить в том болоте!»

Так мало того что кричат,— еще и бьют по мне из обрезов частым огнем.

А я, значит, чешу по болоту, и одна у меня думка, что ночь темная, как деготь, и никто меня увидеть не может. Стреляют в ночь, как в копейку, по невидимой цели. Самая это пустая стрельба. Гармонь я, между прочим, не бросил. Тяну за собой за ремень. Забыл, что на болоте

кочки да мелкий кустарник. Гармонь, значит, зацепится за кочку, да как рыпнет, вроде как вскрикнет на все болото: «Ратуйте, хлопцы!» А те с моста — невидимые для меня люди — по тому рыпу от гармони бьют и кричат: «Хрен уйдешь, зараза!»

Потом выяснилось: ехали ночью па тачанке с пулеметом через тот мост хлопцы атамана Дзиндзипера. Я как растянул гармонь, кони перелякались, понесли, сорвались в болото,— мост у нас неогороженный,— забились в болоте, завязли. Только к утру те парни вытащили коней и пулемет. А я к тому времени был уже далеко, за сорок километров, в курене у деда. Так, думаете, этим все и кончилось? Э-э, нет! Нет и нет! Будь она неладна, та ворожка. Долетел я до своего села, как ветер. А у нас при хате, как водится, садочек яблоневый и вишневый. И для подкормки тех яблонек и вишен мама моя покойная еще с осени заготовляла золу-удобрение да ссыпала ее в глубокую яму. А потом ту яму прикрывали соломой, чтобы зола не мокла.

Вы слушайте, это имеет значение! Чешу я, значит, до дому, а мой батько услышал пальбу на болоте, схопил двустволку с дробью и выскочил до сада: в такой суматохе, знаете, мальчишки воспользуются, враз весь сад обнесут.

Выскочил батько и видит: несется прямо до нашего сада фигура, не поймешь что — или лешак, или сам черт.

Батько, конечно, приложился и бахнул по мне разом из двух стволов. Однако промахнулся. Только плечо мне чуть повредил.

А я вижу: выстрелил батько, ударило огнем и дымом, и в тот же момент батько мой провалился сквозь землю, а над тем местом, где он пропал, выбросило белый-пребелый дым.

Я закричал, вроде сомлел со страху, упал на землю. Думаю, каюк мне, смерть! Батько в ад, что ли, ввергнулся, а я лежу раненый. И тут эта подлая гармонь вдруг так тоненько, так деликатно выпускает свой последний дух со звоном. Я прямо взвился, схватил ее и брякнул об землю. И ни капли потом не жалел. Да-а, вот такая история!

— А что же случилось с батькой?

— Тоже, скажу я вам, история с географией! Батько как кинулся к плетню, так наскочил на яму с золой, провалился, конечно, и выбил тот столб белой золы выше хаты. Мыли его, чистили, едва отскребли. Три дня кашлял золой и обещался выломать здоровый дрючок из плетня и меня выпороть. А мне — шестнадцать лет. Разве мысли-

мо пороть! К тому же мама моя тут же меня отправила к деду — на случай, если бандиты станут расследовать дело и меня искать. Вот какая, видите, была волынка, товарищ режиссер. С тех пор я, понятно, не верю в народную медицину. Нипочем не верю. Затпруха это для мозгов, а не медицина...

Появилось солнце. Над соломенными крышами тотчас же начал завиваться пар. Возобновилась съемка.

Где-то далеко за речкой заиграла гармоника: «Гей вы, хлопцы-баламуты!»

Красноармеец, рассказывавший историю про народную медицину, последний раз затянулся и сказал:

— Так я и не осилил гармошку. А кабы осилил, так такую чепуху, как «Баламуты», ни за что бы не играл.

— А что бы вы играли?

— «Дывлюсь я на небо тай думку гадаю»,— ответил красноармеец.— Ну, прощайте пока, товарищ режиссер.

1960

ИЗБУШКА В ЛЕСУ

Считается, что лучшая похвала для подвесного лодочного мотора — это сказать, что он работает, «как швейная машина».

Не знаю, как в других местах, но у нас на верхнем плесе Оки это любимое выражение среди разного рода речных людей — бакенщиков, рыбаков, охотников и паромщиков.

Вообще, для похвалы у нас мало слов, а для того, чтобы обругать мотор, их находится множество: «керосинка», «тарахтелка», «дымовоз», «жестянка» и, наконец, самое обидное — «вонючка».

Мой мотор пока что работал, как швейная машина, капризничал очень редко, и я даже решился отплыть на нем вниз по течению довольно далеко от дома. Такой риск позволяли себе не многие хозяева моторов. Никому не было охоты, если мотор забарахлит, идти на веслах против течения. На некоторых перекатах Ока неслась так плавно и стремительно, что от одного взгляда па течение кружилась голова. Пески на мелких местах сплывали под днищем лодки, как вода.

Однажды я заехал очень далеко, в незнакомые и жи-

вописные места. По левому берегу тянулся лес, по правому — заросли лозы, переплетенные густой сеткой ежевики.

День был жаркий. В небе стояли белые громады кучевых облаков. Казалось, что облака не двигались, и только долго вглядываясь в них, я начинал замечать, что они медленно меняли свои очертания и как бы разрастались в вышину. Их ослепительные и твердые вершины уходили все выше к зениту. Временами от этих нарастающих облаков долетал глухой и протяжный звук — не то очень далекий и медленный гром, не то это проходил где-то на страшной высоте реактивный самолет.

На реке надо всегда прислушиваться ко всяческим звукам. А тут еще лето было грозовое. Грозы налетали как-то исподтишка, внезапно, предательски скрываясь за высокими речными крутоярами и поворотами берегов.

В знойные дни над далью стояло марево. Небо было затянуто мглой — сизой и настолько плотной, что через нее не просвечивали черные клубы грозовых туч и характерные облачные валы с рваными желтыми космами, спускавшимися до самой земли.

По этой причине опытные рыболовы, стоя где-нибудь на якоре, «на камне», под берегом, не очень доверяли своему зрению, а старались еще и прислушиваться.

Старый бакенщик со странным прозвищем «Бакена покрали» всегда говорил, что слух работает вернее, чем глаз. Старик уже собирался выйти «на пензию», жаловался, что зрение у него ослабло. «Надо думать,— говорил он,— от солнечной ряби на воде. Весь день глядишь на реку по характеру своей службы, а глаза — не казенные. Вот в них и начинают шнырить черные мухи».

Я упомянул прозвище бакенщика, звали его по-настоящему Захаром Шашкиным. Следует, конечно, объяснить происхождение прозвища.

Лет десять назад случился с Захаром Шашкиным грех — напился он по случаю свадьбы сына, как говорят, «до восторга» и в таком состоянии поехал в сумерки зажигать бакены. Было их на участке у Шашкина всего семь: три белых и четыре красных. А в сторожке еще допивали, догуливали гости — дружки и родичи из соседней деревни, тоже люди все речные, приехавшие на праздник на собственных лодках.

Уехал Захар, а через каких-нибудь пять минут видят гости, что он возвращается, что-то кричит, и лица на нем

нет. Гости выскочили на крылечко и слышат, что кричит Захар непонятные и страшные слова:

— Бакена покрали! Нет бакенов!

Кричит, а сам плачет и утирает лицо своей серой кепкой. Гости, конечно, все — в лодки и полным ходом к бакенам. Ведь это, знаете, какое дело, если бакены, положим, покрали или они не горят. Это — государственное преступление. Понятно, что началась паника, крик, шум, но никому в голову не приходит, что на кой ляд нужны вору те бакены.

Все, в общем, обошлось. Бакены оказались па месте. Их Шашкин спьяну просто не заметил. В сумерки тень режет реку надвое, и, бывает, бакен так в той тени прячется, что никак его не увидишь.

А Шашкин с тех пор начал жаловаться своим людям на ослабление глаз, жаловаться осторожно, чтобы не дошло до начальства.

Я стоял на якоре у самого лозняка, когда мимо меня торопливо проехал Шашкин и крикнул:

— Гроза заходит. С ветром. Приставайте к лесному берегу, вон — за мыском. Там изба стоит в лесу. Я тоже там укроюсь.

— Чья изба? — спросил я.— До тех пор я что-то ее не замечал.

— Святослава Рихтера, музыканта. А вы разве не знали? Московский музыкант. Жена у него певица. Только фамилию ее не выговорю, трудная в обращении фамилия.

Я не знал об этом, да и не мог предполагать, что в такой безлюдной глуши поселился наш известный пианист. Снялся с якоря и поехал следом за Шашкиным. Забыл сказать, что уже несколько лет, как всем бакенщикам выдали казенные моторы для лодок. Сильные моторы, так что Шашкин меня опередил. Да я за ним и не гнался.

Я пристал вслед за Шашкиным к дощатому маленькому причалу. Он кругом зарос розовыми и высокими цветами иван-чая, и потому я его раньше не замечал.

За причалом стоял по крутому песчаному берегу густой смешанный лес, но никакой избы не было видно.

Вслед за Шашкиным я поднялся по косогору и тогда только увидел в зарослях совершенно скрытую ими маленькую избу. Она была заколочена, а на крытом крылечке висело на перильцах мохнатое полотенце.

— Еще, знать, не приехал наш музыкант,— сказал Шашкин.— Инструмент с собой привезет. Избушка, можно

сказать, на курьих ножках, а на дверь поглядите — какая широкая. Чтобы инструмент можно было внести.

Шашкин потрогал полотенце.

— Забыли, знать, с осени. Ишь как его выбелило дождем да солнцем — красота. Да нешто вы не знали, что у нас здесь музыкант живет? Душа-человек! Однако не любил, чтобы ему мешали играть. Здесь за лесом деревня наша. Километров до нее пять, не больше. Наши деревенские — народ понятливый и уважительный. И музыку любят. Близко к избе не подходят, а ежели и придут послушать музыку, так или в кустах хоронятся, или слушают с реки. Бывает, устанут с колхозной работы, повечеряют дома и сюда пробираются — охота послушать. Я этого, скажу вам грубо, не понимал. Чего в ней, в той музыке? Ну, гармонь, конечно, дело привычное. А то — рояль! Сроду я его не слыхал. Только по радио, а оно у нас хрипучее. Да! А все об этом рояле говорят с уважением. Значит, есть в нем какая-то сердцевина. Зря народ не будет из-за музыки беспокоиться, как наша молодежь, скажем, беспокоится. Ведь до чего дошло! Каждый день караулят, особенно девушки, когда он заиграет. И еще потом, понимаете, спорят между собой, чего он играл. Одна говорит — то-то, а другая — то-то!

Так вот слушайте, как я до понимания музыки дошел. Просто, скажу, по счастливому случаю. Как-то ночью поехал я верши проверить. Ночь была июньская, как сейчас, довольно светлая, и заря никак не желала погаснуть, а все тлела себе тихонько по-над землей. Лес за поворотом открылся на горе, этот самый лес. Он густой, липы в нем много, редчайший, можно сказать, лес — весь стоит в темноте, в росе, в тишине. Я, значит, весла бросил, закурил. Лодка у меня сама по течению плывет. И вдруг, поверите ли, вздрогнул я весь, будто меня обожгло: из леса, из той темноты и тишины зазвенели будто сотни колокольчиков. Таким, знаете, легким переливом, а потом рассыпались по лесу, будто голубиная стая по грозовой туче. И запел лес так-то громко, будто человек, что вертается с далекой стороны и дает, значит, знать незнамо кому, может, жене иль невесте-красавице, что подходит до родного дому. Хлынуло на меня, понимаешь, мыслями, а тут еще кажется, что весь лес, и вода в Оке до самого дна, и небо, и все листья — все поет, все тебя берет за сердце и уводит незнамо куда. Стыдно сказать, вам одному признаюсь: заплакал я, всю жизнь вспомнил, что в ней было и плохого, и хоро-

шего. И от тех слез вроде растаял лед на сердце. А то я его почитай все свое существование на груди у себя носил, чувствовал. С тех пор, как музыкант приезжает, почитай каждый день сюда приволакиваюсь, жду. Вот какие дела! И охота мне съездить хоть разок в Москву, послушать тамошнюю музыку. Кто был в Москве, говорят, что здесь один инструмент, а там целый симпатический оркестр, инструментов десять, а то и все двадцать. Душа не может выдержать той музыки.

Шашкин помолчал, смущенно потер лоб, потом взглянул на небо.

— Вроде стороной проходит. Я, пожалуй, поеду. А вы как располагаете?

— Я, пожалуй, останусь...

Шашкин уехал. Я вышел к берегу, прикинул, куда идет гроза, и увидел, что она идет прямо на лес и избу Рихтера. Шашкин уже исчез за поворотом.

Надо было переждать грозу. Я вернулся к избе, сел на терраске на пол, прислонился спиной к заколоченной двери и приготовился остаться с глазу на глаз с грозой. И подумал, что все к лучшему. Если бы Шашкин остался, то неизбежно начались бы разговоры, и я ничего бы толком не увидел. А мне хотелось проследить весь ход грозы от самого начала до конца, не пропуская ни одной перемены.

И гроза, как говорят мальчишки, выдала мне весь свой блеск и всю красоту.

Потемнело. Низко, с тревожными криками пронеслись в глубь леса испуганные птицы. Внезапная молния судорожно передернула небо, и я увидел над Окой тот дымный облачный вал, что всегда медленно катится впереди сильной грозы.

Потом еще потемнело, и так сильно, что ногти у меня на загорелых руках показались ослепительно-белыми, как это бывает ночью.

Небо дохнуло резким холодом мирового пространства. И издалека, все приближаясь, как бы все пригибая на своем пути, начал катиться медленный и важный гром. Он сильно встряхивал землю.

Вихри туч опустились к земле, как темные свитки, и вдруг случилось чудо — солнечный луч прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и тотчас хлынул торопливый, подстегнутый громами, тоже косой и широкий ливень.

Он гудел, веселился, колотил с размаху по листьям и

цветам, набирал скорость, стараясь перегнать самого себя. Лес сверкал и дымился от счастья.

После грозы я вычерпал лодку и поехал домой. Вечерело. И вдруг в сыроватой после дождя прохладе я почувствовал, как несется волнами вдоль реки удивительный опьяняющий запах цветущих лип. Как будто где-то рядом зацвели на сотни километров липовые парки и леса.

В этом запахе была свежесть ночи, запах холодных девичьих рук, целомудрие и нежность.

И я понял внезапно, как понял Шашкин музыку, как мила наша земля и как мало у нас слов, чтобы выразить ее прелесть.

1960

АМФОРА

Несколько дней я прожил в болгарском рыбачьем порту Созополе, бывшей Аполлонии.

Там поэт Славчо Чернышев подарил мне греческую амфору. По его словам, амфоре было две с половиной тысячи лет. Созопольские рыбаки вытащили ее сетью с морского дна во время зимнего лова. Чернышев ходил тогда с рыбаками в море, и они отдали ему амфору в знак своего расположения к поэзии.

Когда амфору подняли из воды, она походила на большой шар, слепленный из раковин мидий. Но как только амфора начала высыхать, мидии стали отваливаться пластами и вскоре отвалились все. Тогда амфора предстала во всей своей стройности и чистоте. Но все же на слегка шершавой ее поверхности остался беловатый узор — следы отвалившихся мидий.

Славчо Чернышев говорил, что древние эллинские мореплаватели выбросили эту амфору за борт корабля во время свирепого греуса — черноморского норд-оста. Он бушевал и в те давние времена над Черным морем с такой же силой, как и сейчас. Чернышев называл греус «трагическим ветром».

Амфору выбросили в качестве жертвы, чтобы умилостивить бога морей Посейдона и остановить бурю. Она захватила корабль вдали от берегов. В таких случаях всегда бросали в море жертвенные амфоры с оливковым маслом.

О том, что амфора была жертвенная, свидетельствовала черная пленка окаменелого масла на ее дне.

Таким образом, древность амфоры была установлена. Чтобы окончательно убедиться в ее возрасте, Чернышев повел меня в заброшенную базилику. Там он вместе с созопольским художником Яни Хрисопулосом устраивал местный музей.

Пока что в музее были одни амфоры. Рыбаки время от времени вылавливали их и сдавали в музей. Но однообразие экспонатов ничуть не смущало ни Чернышева, ни Яни. Тем лучше! Не часто встречается на свете такое обширное собрание амфор разных веков и форм.

Изучение и сравнение амфор вызывало у художника и у поэта мысли о баснословных временах. Мифы, легенды, архаические предания легко рождались в присутствии этих амфор и переносили любителей-археологов в мглистую, плохо различимую даль истории.

К железному кольцу в дверях базилики кто-то привязал пожилого пыльного осла. Он не давал нам пройти. Чернышев хотел отвязать осла, но тот начал бессмысленно сопротивляться. При этом от него густо полетела рыжая шерсть. Мы долго возились с ослом, пока нам удалось оттащить его от дверей базилики и привязать к последней акации.

Тогда прибежала запыхавшаяся хозяйка осла, старая Живка. И хотя осел уже нам не мешал, она все же подскочила к нему и громко ударила его сухой палкой по крупу. Осел зарыдал.

Мы вошли в гулкую базилику. В ней сохранилась прохлада,— должно быть, еще от прошлой зимы. Со сводов осыпалась крошечными лавинами известковая пыль.

Вдоль стен базилики и на алтаре стояли и лежали десятки амфор. Они располагались по возрасту. Века были помечены черной краской на стенах.

Чернышев подвел меня к группе амфор, таких же, как та, которую он мне подарил. То были амфоры-сестры. Он показал мне на цифру на стене: «2500 лет до нашей эры».

— Це-це! — сказала бабка Живка и на всякий случай перекрестилась.— Ты, Яни-сынок, постарайся поскорее их освятить.

— Это зачем? — недовольно спросил Яни.

— Тогда их можно будет отнести в нашу церковь к отцу Мавренскому вместо ваз для цветов.

Живка произнесла речь о скудости современного богослужения и удалилась. Мы остались одни.

Кусок осеннего неба за окном был таким струящимся и синим, будто снаружи еще сияло лето. Солнце, сливаясь с этой синевой, падало на амфоры и оживляло их.

Славчо Чернышев сказал, что амфоры похожи на молодых женщин. Очевидно, самую форму амфор древние гончары заимствовали у женского тела — узкого в талии и широкого в бедрах, уходящих книзу стройными смыкающимися линиями.

Мы вышли из базилики и сели на ступенях паперти. Мы сидели под солнцем и говорили о прошлом и будущем. Нам не хотелось двигаться. Невдалеке шумело прохладное море, окатывая с головой старые скалы. Кончался октябрь. И мы говорили о том, что чистое, почти священное ощущение земли, воздуха, неба, рощ и тихо шумящих морей, свойственное древней Элладе, нужно целиком взять себе для обогащения нашей культуры.

В таком несколько лирическом состоянии мы пошли выпить кофе в портовую таверну. Она почему-то называлась «Казино».

В низком зале висела под потолком и слегка вертелась, как компас, высушенная лазоревая рыба — «морска лястовичка». Она должна была приносить счастье посетителям.

В «Казино» заседали обветренные до красноты созопольские «капитаны» — командиры рыболовных кораблей — гемий. Капитаны пили мозел — белое местное вино с легкой позолотой, крепкую водку — ракию, ели жареную ставриду — сафрид — и обменивались новостями.

За широким окном «Казино» виднелся по одну сторону чистый маленький порт, а по другую — часть города. Целиком весь город можно было увидеть только с самолета,— так неожиданно он был разбросан среди островов, скал, бухт и каменных мысов.

Город строился, должно быть, так, как рисуют дети. Они любят добавлять к готовому рисунку разные подробности. От этого рисунок запутывается, но вместе с тем делается очень живописным.

Созополь был похож на эти рисунки. В нем было множество всяческих переходов, поворотов, остатков византийских базилик, домов со вторыми этажами, нависаю-

щими над улицей на дубовых подпорках — эркерах, перил с балясинами, сточенными временем до толщины свечи, обломков мраморных греческих колонн, пыльных маслин за низкими оградами и смоковниц с крупными шероховатыми листьями.

При описании Созополя придется еще раз сослаться на детей. Бывает, что дети, построив город из кубиков, вдруг смешивают из озорства все кубики вместе. Так выглядел и Созополь. Дома были тесно придвинуты друг к другу, и крыши кое-где цеплялись за соседние крыши. Улицы были вымощены каменными плитами, похожими на жернова,— звонкими и скользкими.

Нас пригласили в один из домов выпить кофе. Дом этот носил громкое название «Замок графини Елены Батиньоти» — по имени пожилой красивой гречанки, его владелицы. Но она была вовсе не графиня, а превосходная созопольская портниха. А замок был просто старым-престарым домом, просолившимся от морских ветров.

Чтобы описать этот дом подробно, надо потратить не менее тридцати — сорока страниц. Но такие пространные описания немыслимы даже в самых раздражающе медленных романах. Поэтому придется рассказать об этом «замке» в общих чертах, помня, что он является как бы представителем многих созопольских домов.

Итак, это было прежде всего нагромождение коротких деревянных лестниц, мешающих друг другу. Куда они вели? В косые комнаты, в коридоры, в нижние полуподвальные кухни с очагами, на крошечные антресоли и еще в какие-то комнатушки, может быть в тайники.

Чтобы вернуться, например, на кухню за забытой солью (соль почему-то забывают чаще всего) и не ступать второй раз по своим следам (это считается дурной приметой), можно занести ногу через низкие перильца одной лестницы и переступить на другую — она тоже ведет в кухню, но откуда-то с чердака или с крыши.

Все эти лестницы почернели от старости, весь день скрипели сами по себе и пахли кипарисом.

Ходить по этим лестницам надо было осторожно, но не из-за их ветхости (они простоят еще сотню лет), а потому, что всюду на ступеньках стояли вазоны с цветами, главным образом с пеларгонией.

Столы, стулья, кресла, скамейки, диванчики, кровати и комоды были сдвинуты так тесно, что оставались только узкие проходы для людей.

Отовсюду неосторожному или близорукому гостю грозили ударом острые наросты на створках тяжелых розовых раковин с островов Меланезии или зеленоватые пики сухой иглы-рыбы.

Раковины лежали повсюду. Когда «графиня» Батиньоти уходила в город, то в тесных комнатах, очевидно, становилось слышно, как печально и тихо, вспоминая океан, гудят эти раковины.

Над раковинами висели пожелтевшие кружева, а в иных местах — гирлянды белых, как снежинки, цветов. Цветы спускались из глиняных плошек, подвешенных к потолку.

Удивительно, что сами плошки — жилища цветов совершенно походили на жилища созопольских людей. В старой садовой земле этих плошек виднелись поломанные клешни крабов и блестящие камешки. Тут же маленький цветок-приемыш вылезал из плошки и тянулся к солнцу.

Рядом с плошками висели модели гемий и ветряных мельниц. Еще недавно, в половине XIX века и даже позже, Созополь был опоясан по прибрежным скалам ветряными мельницами. Полотняные их крылья напоминали кливера.

В шкафах, столах и даже в деревянных стенах было множество ящичков. Один из них был случайно открыт, и я увидел там пучок маленьких птичьих перьев, связанных шерстинкой. Должно быть, это были перья колибри или попугая. Они переливались разными красками. Рядом с ними лежал оловянный наперсток.

Все жилище пропитал вечный запах кофе. Действительно, вечный. Он пережил века, поколения, гибель и возрождение государств, пиратские набеги и войны.

Кроме таких тесных и запутанных жилищ, есть в Созополе и другие — беленые пустые комнаты, где ветер качает на стене былинки лаванды. Это жилища одиноких старых рыбаков и рыбачьих вдов — суровые и скудные жилища на окраинах городка.

Да, но вернемся к созопольской таверне. Слово «таверна» итальянское. Оно означает небольшой кабачок.

Таверны до сих пор входят в романтический реквизит нашей действительности — старые таверны, где

...от заката до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Но созопольская таверна не такова — это шумное и уютное помещение, где можно сидеть до ночи за бутылкой вина или писать за столиком свободный роман.

Персонажи этого романа — капитаны гемий — присутствуют тут же. Они размеренно поют по-гречески, будто в такт ударам весел:

Капитане, капитане, хэмуэлла!
Ми агапинэ фортуна пуперна...

Чернышев перевел мне эту песню на русский, и я с изумлением узнал, что слово «фортуна», которое мы всегда понимали как «судьба», у греческих моряков означает «волна». Действительно, в волне очень часто заключена «фортуна» — судьба моряка.

В переводе эта песня звучала примерно так: «Днем и ночью капитан борется с морем и ищет успокоения в плаванье. Но как бы далеко он ни уплыл, его сердце крепко заякорено любовью на родном берегу. Руки его сжимают рукоятки штурвала, и корабль его летит, как гларус (буревестник)».

В «Казино» я познакомился с двумя капитанами гемий — Георгием Тумбатеровым и Георгием Каранковым.

Они медленно пили белое вино и почтительно, но с достоинством беседовали с Чернышевым и со мной о литературе. Они понимали ее как многоопытную направляющую руку хорошего человека — писателя — и как прославление человеческого мужества, особенно мужества людей моря.

«Вот, говорят, один американец написал книгу об одиноком старом рыбаке, которого меч-рыба таскала по океану несколько дней. Всякое бывает! У нас в соседнем городке Несебре тоже один старый рыбак попал этой зимой на своей старой лодке-«сеферке» в полный шторм и пропадал в море пять дней без еды. И тоже спасся».

Один из капитанов рассказал об удивительном случае в Созополе. Он рассказывал и улыбался — понимал, очевидно, что этот случай прямо создан для писателя. Он как бы дарил его нам.

В Созополе жил перед последней мировой войной богатый рыбопромышленник по имени Кристо. Рыбаки работали на его гемиях неохотно.— Кристо никогда не выплачивал вовремя заработанные деньги. Он всегда тянул. Как будто от этих оттяжек он становился богаче.

Однажды рыбаки даже пришли к дому Кристо с тяже-

лыми веслами и хотели избить его и разгромить его дом, если он тут же не заплатит им долг.

В конце последней войны, когда к Бургасу приближались советские войска, Кристо решил бежать в Турцию. В порту как раз остановился итальянский пароход. Он через несколько часов отходил в Стамбул.

Кристо перевез на него свои вещи, поручил одному из рыбаков сторожить оставленные гемии и напоследок зашел в «Казино».

Созопольцы были убеждены — и, кажется, совершенно справедливо,— что никто в мире не готовил такой крепкий, душистый и освежающий кофе, как тогдашний хозяин «Казино» — старый Дмитро. Моряки, побывавшие во всех странах света, утверждали, что это было именно так.

Недаром молчаливый Дмитро любил повторять, что «кофе — это большая работа».

Вскоре выражение Дмитро насчет кофе обошло весь город. Люди начали применять его к самым разным обстоятельствам жизни и говорили: «Семья — это большая работа», «Море — это большая работа» и даже «Вранье — это большая работа».

Так вот, за полчаса до отвала парохода Кристо зашел в «Казино» выпить последнюю чашку кофе на родной земле. Дмитро старался и особенно долго готовил этот кофе. Кристо нервничал и торопил старика.

До отвала парохода осталось несколько минут. Пароход уже дал третий гудок. Пароконный извозчик ждал Кристо у дверей «Казино».

Кристо больше не мог тянуть. Он выбежал, сел в фаэтон, но в это время старый Дмитро догнал его с чашкой дымящегося кофе на подносе. Весь Созополь наполнился кофейным благоуханием.

Кристо не выдержал, взял с подноса чашку кофе, выпил его и бросил чашку о мостовую.

Но он, конечно, опоздал и увидел только грязную корму уходящего парохода и его истрепанный итальянский флаг.

Грузчики-«барабы» стояли толпой на молу и смотрели вслед пароходу.

Кристо крикнул им, что дает большие деньги — тысячу турецких лир! — за то, чтобы они своим дружным криком остановили пароход.

Грузчики закричали раз, потом два, потом три. Но на

пароходе не услышали этот крик. Пароход продолжал уходить, волоча по волнам жирный дым из старой трубы. На море уже спускался пронзительный вечер.

Кристо наотрез отказался заплатить грузчикам обещанную тысячу лир.

— Вы слишком тихо кричали, мерзавцы! — сказал он.— Вы нарочно тихо кричали, чтобы погубить меня. А еще просите денег, нахальные банабаки.

Кристо вернулся в «Казино», сел за стол, обхватил голову руками и заплакал. Так он сидел до тех пор, пока не вбежал смотритель порта и не крикнул, что за Масляным мысом полосой пронесся внезапный ураган, ударил дряхлый итальянский пароход о скалы, и тот пошел ко дну со своими пассажирами и командой. Никто не спасся. Пассажиров было двести человек.

Кристо вскочил. Он бросился в порт. Грузчики еще не разошлись и, собравшись толпой, ругали Кристо иродом и иудой.

Кристо закричал им:

— Бравос, ребята!

Потом он швырнул им не тысячу, а две тысячи лир.

— За что? — спросили грузчики.

— За то, что вы тихо кричали,— ответил Кристо.— Хорошо кричали, банабаки! На пароходе не услышали вашего крика, и он не вернулся за мной. Из двухсот его пассажиров остался живым только я! Я один! Бравос, ребята!

И он снова захохотал как сумасшедший. Он позвал грузчиков в «Казино», угостил их вином и кофе и так радовался, что упал головой на стол и умер.

Грузчики сняли каскетки. Пришла, как всегда в таких случаях, полиция. На вопрос полицейского, отчего умер Кристо, самый старый грузчик ответил:

— От злой радости.

За окнами «Казино» в гладкой воде порта стояли у причалов белые гемии. Они держали равнение, подобно солдатам, и совершенно не шевелились.

Одна из этих гемий должна была через полчаса отойти на рыбачий стан у Масляного мыса, чтобы забрать улов.

Мы пошли на этой гемии на мыс. Он как бы плавал, а временами и совсем тонул в синем или, вернее, в лазо-

ревом тумане и казался воздушным. Такими всегда возникают перед нами в солнечные дни легендарные мысы южных морей.

Всегда ждешь, что за этими мысами покажутся новые моря — небывалые по своему индиговому цвету и по громадам снеговых гор на берегах.

Горы отражаются в морской поверхности. Это создает живую игру морских волн и отражений. Вы никак не можете вспомнить: что же это за горы? Их как будто не было на карте. Но, всмотревшись, вы наконец догадываетесь, что это не горы, а многоярусные облака. И вы уже замечаете, что вершины этих облаков не совсем белые, а покрыты желтоватым налетом — теплым, мягким, предвещающим бесконечное лето. И где-то там, в их огромной облачной глубине, время от времени рождаются таинственный блеск и грохот.

Чуть качало. Над покатыми верхушками волн взлетали глянцевитые дельфины. Дрожание мачты переходило в звук, похожий на звон,— это звенела морская даль, а мачта только повторяла этот звук.

Гемия шла по свежей зыби, небрежно отшвыривая от себя полосы пены.

Из глубокой воды подымались шесты с прикрепленными к ним сетями. То были опасные и сложные ловушки-лабиринты для рыбы. Их насчитывалось несколько видов, этих лабиринтов, и назывались они у здешних берегов, так же как и у нас, тальянами и алломанами.

Я как-то упомянул об этих тальянах в небольшом очерке о болгарских рыбаках. Вскоре после напечатания этого очерка я получил письмо от молодого советского ученого, работавшего на нашем Севере.

Он писал, что на берегах Белого моря и Мурмана часто попадаются в полях причудливые лабиринты, сложенные из больших камней и похожие на гигантские чертежи. До сих пор происхождение этих лабиринтов остается тайной. Иные связывают их с какими-то религиозными обрядами, другие — с погребением умерших.

Молодой ученый долго изучал эти лабиринты и наконец догадался — то были наглядные каменные чертежи рыболовных лабиринтов. По этим чертежам одно поколение рыбаков за другим строило и ставило свои сети.

Вечен труд рыбаков, и потому в нем, в рыбацких навыках, есть что-то утвержденное столетиями, устойчивое, библейское.

Рыбацкий стан — низкий, вросший в землю дом из дикого камня, стоял на мысу и был открыт всем ветрам. Пожелтевшая трава шелестела вокруг. От седой полыни першило горло. Вдали подымались пологие холмы — отроги Балкан, отроги Планины. Цвет их был охряной, как шерсть верблюда.

На далеком склоне холма виднелся старец с посохом. Он сторожил большую отару овец.

Рыбаки, застенчивые и любезные, тотчас же начали жарить для нас «сафрид на шкара» — ставриду в собственном жиру.

Один из рыбаков был очень стар, сильно морщинист и бесконечно добродушен. Он рассказал мне обо всех ветрах, которые дуют на этих берегах.

— Рыбак,— сказал он,— всегда, даже во сне, должен знать, какой дует ветер. Пойдемте!

Он провел меня внутрь дома. В большой комнате — спальне — была корабельная чистота. Шест, на котором снаружи был прикреплен флюгер, проходил через крышу дома до самого пола. На полу он был укреплен таким образом, что легко вращался. На шесте в метре от пола был прилажен второй флюгер. Он показывал рыбакам даже ночью, какой дует ветер. Для этого не надо было выходить наружу. Стоило, проснувшись, открыть глаза и посмотреть на флюгер при свете керосинового фонаря.

— Хо! — сказал старик и засмеялся.— Мы живем двадцатый век. Мы тоже не отстаем от света.

Мы вернулись к очагу. Там сидели остальные рыбаки. Старик начал называть мне ветры.

У наших ног лежали косматые собаки — белая и рыжая. Глаза у них были прищурены, как и у рыбаков,— очевидно, от постоянного вглядывания в море.

Старик поднял сухую руку, обвязанную от ревматизма красной ниткой, показал на север и сказал:

— Драмудан!

В этом названии слышалась итальянская тремонтана — ветер, дующий с севера, через горы, через Альпы. У нас на Азовском море северный ветер тоже зовут «трамонтаной».

Старик показал на северо-восток. То был опасный, ненавистный рыбакам край горизонта.

— Греус! — сказал старик.

Греус — это наш норд-ост, наша бора. Ветер бешеный, беспощадный, мрачный, как предупреждение о смерти.

Так мы обошли со стариком весь горизонт. Он называл мне ветры и следил, чтобы я правильно записывал названия. Он требовал, чтобы я перечитывал ему эти названия, и отрицательно покачивал головой из стороны в сторону. Я смутился. Я забыл, что по-болгарски этот жест означает согласие и одобрение. Если же болгарин кивает головой сверху вниз, то это, наоборот, означает полное отрицание. Я долго не мог привыкнуть к этим жестам. Они были причиной нескольких легких недоразумений.

Юго-восточный ветер назывался «серекос». В наименовании этого сухого ветра узнаешь знакомое слово «сирокко». А летом этот ветер называется по-иному и притом так, что имя его вызывает невольную улыбку. Он знаком нам с детских лет, этот ветер, знаком еще по стихам Пушкина и потому кажется особенно милым. Летом этот ветер называется... «зефир».

— Зефиры очень мягкие, тихие, ласковые ветры,— сказал старый рыбак.— Зовут их также «мельтемиями». Они не бьют в лицо, как грубые ветры, а ласкают его, будто машут большими веерами.

Я подивился живучести некоторых слов. Зефир живет сотни лет, а вот борей давно умер. Причипы этого не разгадает, видимо, ни один лингвист.

Ветер с северо-запада называется «маиструс». Не пришло ли сюда это название из далекого Прованса? Там по осепям и зимам дует знаменитый мистраль...

Мистраль качает ставни целый день.
Мороз, как соль, лежит по водоемам...

Восточный ветер называется «леванти», южный — «лодос», а западный — «бонента» или «караэл» («черный ветер»). Действительно, это большей частью сырой и теплый ветер, несущий обложные дожди и покрывающий землю сумраком.

— А как по-вашему штиль? — спросил я старика.

— Так и будет — «штил».

Он выговаривал это слово твердо, без мягкого знака.

— Но есть еще полный штил. Он называется у нас «бунаца лада». Тогда море тяжелое и гладкое, как оливковое масло... Как оливковое масло,— повторил старик и, заслонив ладонью глаза, посмотрел на холмы — последние отроги Балкан. Оттуда на нас двигалась, подымая пыль, огромная отара овец.

Старик усмехнулся.

— Старый пастух Иордан увидел, что у нас гости, и погнал сюда овец. Ему же надо взглянуть на вас и послушать, о чем мы говорим. Ему все надо!

Рыбаки снисходительно улыбнулись. Косматые собаки начали трястись от негодования и повизгивать.

— А ну! — крикнул на них начальник стана, кроткий низенький рыбак в артистически залатанных широких штанах. Он не успел сменить их по случаю нашего приезда. Собаки стихли.

Овцы неслись прямо на нас. Они были уже совсем близко. Вот-вот они должны были смять нас и собак и повалить треножник с жарящейся сафридой. Был слышен дробный гул овечьих копыт.

— Сидите,— сказал мне начальник стана.— Не беспокойтесь.

Старец Иордан что-то крикнул, и вся отара вдруг остановилась в двадцати шагах от нас, будто наткнулась на проволочное заграждение. Собаки только сипели и клокотали от сдерживаемой ярости.

А старый Иордан подошел к нам и торжественно обнес всех нас (иного выражения я не могу подобрать) своей черной сухой ладонью. Мы пожимали ее, а он бормотал что-то приветственное и внимательно смотрел нам в глаза.

Рыбаки подарили Иордану плетеную корзинку с недавно пойманными бычками. Бычки были мрачные и еще шевелили жабрами. По-болгарски бычки назывались «попчэ», то есть попы, монахи, именно за то, что они такие же сумрачно-черные, как болгарские священники.

Старик поблагодарил всех нас и что-то негромко крикнул овцам. Они, будто по команде «налево кругом», повернулись все сразу и помчались галопом к знакомому холму.

За овцами ринулись с остервенелым лаем дождавшиеся своего часа собаки. Вскоре пастух, собаки и овцы исчезли в пыли.

Мы еще долго сидели у очага и спокойно беседовали о рыбачьих делах. Из рассказов рыбаков выяснилось, что больше всего рыбы ловится при входе в Босфор. Потому что рыба идет весной из Средиземного моря в Черное, а осенью возвращается в Средиземное, и рыбьи косяки по мере приближения к Босфору сжимаются, густеют, превращаются в сплошные рыбьи реки. Как говорят рыбаки, рыба идет конусом. Поэтому весной и осенью рыбаки уходят к Босфору и ловят на самой границе турецких территориальных вод.

Старый рыбак рассказал, что за соседним мысом впадает в море река Ропотамо, как он выразился — «рай птиц и рыб». А дальше — граница Турции, желтая мгла над холмами, величавая синева Кара-Дениза (так по -турецки называется Черное море), далекая Эллада — родина крылатых гемий, быстролетных кораблей, что гоняются наперегонки с дельфинами среди бегущих волн.

Мы слушали старика и смотрели на юг. Там над морем на наших глазах совершалось медленное рождение облачного материка, небесной Атлантиды. Она была пронизана солнечными лучами, окутана сизым дымом и окрашепа в розовый цвет старинного мрамора.

Из этой облачной Атлантиды вырастал и уходил к зениту, как волокно серебряной пряжи, след реактивного самолета. Высокие невидимые воздушные течения изгибали его, складывали в широкие круги, закручивали в тающие узлы и заставляли исчезать в ужасающей высоте.

На обратном пути мы трое — поэт Славчо Чернышев, прозаик Станислав Сивриев и я — разговорились о литературе.

Гемию качало. Пена вздымалась в уровень с бортами, таяла и шипела.

Разговор наш был мало похож на обыкновенные разговоры и споры о литературе. Началось с того, что Чернышев сказал, будто он избегает запоминать наизусть самые великолепные чужие стихи, чтобы не впасть в соблазн невольного подражания.

Чернышев был проницателен, добр. Глаза его, казалось, были полны сострадания ко всему, что заслуживает этого,— к растрепанному воробью, который отчаянно борется с бурей, чтобы долететь до своего гнезда, к цветку, расплющенному колесом мажары, к детям, играющим на улице у порога огромного взрослого мира.

Поэзия сопровождала Чернышева неотступно. Ее присутствие накладывало некоторый оттенок исключительности и серьезности на все его слова и поступки. По натуре он был не только поэтом, но и таким же созопольским «капитаном» и моряком, как и Тумбатеров, и все остальные. У него была даже своя шаланда «Доменика».

Созопольские капитаны говорили мало, но хранили в памяти многие куски жизни, известные только им,— будь то пожар закатного солнца над безбрежностью Эгейского моря или драка матросов из-за патефонной пластинки с записью увертюры «Кармен».

Они хранили в своей памяти многое, но все это рассказывал за них окружающим Славчо Чернышев — человек с душой мореплавателя, рыцаря и менестреля.

Сивриев был совершенно непохож на Чернышева. Их роднило только одно общее свойство — расположение к людям и страсть к скитальчеству.

Сивриев, бывший партизан, израненный на войне с немцами, человек реальных представлений, был непоколебим в своем бескорыстном восхищении подлинной литературой, в своей простой любви к ней. То была любовь бесповоротная, действительно пламенная. Ради литературы он, как солдат, в любую минуту мог броситься в штыковой бой против превосходящих сил противника.

Он часто вспоминал песни родопских горцев, песни своей прелестной родины, был строг в делах и нежен с любимыми, как ребенок.

Мы, конечно, не говорили о литературе в узком, почти профессиональном смысле, как у нас в последнее время повелось. Такой разговор был бы просто невозможен перед лицом моря, занявшего половину горизонта своей взволнованной синевой.

Мы просто начали вспоминать отдельные, оборванные строки из разных поэтов. Чернышев неожиданно сказал: «Красивое имя — высокая честь!» Чернышев любил Михаила Светлова, настойчиво расспрашивал меня о нем, мечтал выпить когда-нибудь со Светловым «ясного» созопольского вина и поговорить о поэзии.

— Когда человек думает о поэзии,— сказал Чернышев,— то почти всегда вспоминает запавшие в сердце стихи. Они наполняют его тревогой и благоговением. В такие минуты человек чувствует собственный рост,— именно то, что не дано еще чувствовать растениям и животным.

Он помолчал и спросил меня:

— Какие стихи вы чаще всего вспоминаете?

Мне было трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я часто вспоминал многие стихи не только разных, но порой и враждебных друг другу поэтов. Это свойство смущало меня самого. К тому же я заметил, что в разное время память извлекает из своих тайников совершенно разные стихи.

Вот сейчас среди этого лиловеющего темного моря под куполом спокойного солнечного света мне вспомнилось сразу много стихов. Я не знал, что выбрать. В таких слу-

чаях надо отпустить поводья у своей памяти, как мы отпускаем поводья у коня на незнакомой опасной дороге.

Я целиком положился на память, и она принесла мне совсем недавно прочитанные стихи. Они очень подходили к созопольской жизни.

> Скопление синиц здесь свищет на рассвете,
> Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.
> Здесь время не спешит, здесь собирают дети
> Чабрец, траву степей, у неподвижных скал.

Это были стихи Заболоцкого, прекрасного и горестного поэта, умершего два года назад. Недавно еще я приходил к нему в провинциальный тарусский домик с бегонией на подоконнике. За распахнутым окном стояло легкое летнее небо в пышно сбитой облачной пене и спокойно дожидалось вечера.

Я рассказал Чернышеву и Сивриеву о Заболоцком. Я вспомнил о нем и вдруг понял, что воспоминания не считаются ни с временем, ни с пространством. Кто знает, где в это время кто-то другой вспоминал о Заболоцком? Может быть, в дождливый вечер где-нибудь в Каргополе, а может быть, у окна поезда, рассекающего дымные дали херсонских степей.

Остальную часть пути мы молчали. Каждый думал о чем-то своем.

Рыбаки несли на плечах свернутую коричневую сеть длиной, должно быть, метров в двести.

Улицы городка были кривые, короткие, угловатые и удивляли приезжих своими неожиданными поворотами. Поэтому сеть, как удав переползавшая по городу, остановила все движение. Оно было почти целиком пешеходное. Машины не любили заходить в Созополь. Им негде было развернуться в этой тесноте.

Мы остановились, чтобы пропустить сеть.

Буревестники (гларусы) низко проплывали над сетью и недовольно покрикивали. Они привыкли выклевывать из мокрых сетей мелкую рыбешку и скарид-креветок, а теперь сеть уносили, и это беспокоило буревестников.

Переноска сети походила па медлительный и чопорный танец. Дети бежали рядом и держались за ее теплые тонкие нити. И снова, привязанный к дверям базилики, пожилой пыльный и упрямый осел бабки Живки, увидев сеть, начал в ужасе пятиться и рыдать.

В ответ ему зарыдали все ослы в Созополе, засмеялись рыбаки и, покачиваясь, запели знакомую песню:

Капитане, капитане, хэмуэлла!
Ми агапинэ фортуна пуперна...

Мы встретили в толпе молодого болгарского кинорежиссера Волчанова, талантливого и решительного человека. Он сказал, что хорошо бы начать кинофильм с этой сети, плывущей, извиваясь, через древний город. Он уже видел, как это будет выглядеть на экране, и даже кричал рыбакам:

— Шаг на месте на поворотах! Шаг на месте!

Но рыбаки и без этого напоминания замедляли шаг и временами целую минуту топали ногами, не двигаясь, чтобы дать передним осторожно пронести сеть за крутой поворот. После короткой заминки сеть снова размашистым шагом двигалась вперед, и возникала вторая строфа рыбачьей песни:

Ми нафинис стезоисо ми капелла
Тетемони тезоис накиверна!

Рыбаки пронесли сесть, и снова тишина и пустынное небо воцарились над городком. Только около так называемой «Виллы писателей» (маленького двухэтажного дома, где мы жили) продолжал восторженно кричать осел Панчо, приятель осла бабки Живки.

Печальная история осла нам была уже известна. Мы, конечно, сочувственно относились к злоключениям Панчо.

Дело в том, что он сбил себе подковой бабку на ноге, и хозяин привязал его, пока бабка не заживет, к дереву на сухом холме около «Виллы писателей».

И вот Панчо невольно превратился в добросовестного городского глашатая. Панчо было скучно стоять без дела на пустом холме и смотреть на море. Сколько ни смотри, хоть тысячу лет, а оно всегда будет большим и не сдвинется с места. Поэтому Панчо придумал себе развлечение — он приветствовал оглушительными криками все события, выходившие за рамки созопольского однообразия: появление красного автобуса из Бургаса, мажару, скачущую несвойственным ей галопом, сивых быков с лирообразными рогами и глазами такими синими и влажными, что им могли бы позавидовать женщины, тяжелый, как жук, самолет, летевший из-за гор в сторону Дуная,— одним словом, каждое событие в городе, независимо от того, значительно оно или ничтожно.

Когда Панчо долго не кричал, какое-то непонятное беспокойство закрадывалось в сердце.

Если же Панчо кричал слишком сильно, то застенчивый и вежливый маленький пес при «Вилле писателей» Боба смущался и начинал извиняться за осла. Боба подползал к нашим ногам и пылил хвостом. Очевидно, Боба считал крики Панчо невежливыми и даже неприличными, особенно по отношению к русским гостям.

На молу, у самого его основания, стоял маленький дом. Жил в этом доме корабельный мастер, приятель Чернышева.

Мы пошли к нему однажды вечером. Когда мастер открыл нам дверь, свет из комнаты упал полосой в шумную темноту и осветил волны, бившие о мол. Они казались серыми от пены.

В доме пылали лампы (это выражение можно вполне применить и к электрическим лампам, а не только к керосиновым). На столе лежал желтоватый холодный виноград. Плющ за окном качался от ветра, и тени от его листьев бегали по полкам с книгами. Бутылки с белым вином чуть поблескивали на столе, как бы улыбаясь гостям. Гостей собралось довольно много. Пришли режиссер Волчанов, молоденькая, страшно застенчивая киноактриса и несколько рыбаков — родственников мастера.

От света, тепла, от того, что рядом с дверью гремел тысячами тонн воды настойчивый прибой, а иной раз до окон долетали брызги, в доме казалось особенно уютно и тепло. Мы пили, пели и болтали. Только мастер молчал и улыбался, прислушиваясь к общему говору.

И еще один человек молчал — молоденькая киноактриса. Она сидела, опустив глаза. Плечи ее слегка вздрагивали при сильных ударах волн. Голубая жилка проступала у нее па влажном виске, глаза были спрятаны за опущенными ресницами.

Ее попросили спеть. Она кивнула головой, как будто проглотила слезы, и запела тихо, почти речитативом, английскую песенку о Мэри.

Я неясно понимал содержание этой песенки, но почему-то был уверен, что это стихотворение «Мэри» Александра Блока, переведенное па английский язык.

Вон о той звезде далекой,
Мэри, спой.
Спой о жизни, одиноко
Прожитой...

Тихо пой у старой двери,
Нежной песне мы поверим.
Погрустим с тобою, Мэри.

Девушка замолчала, прикрыла веки, и на них блеснула слеза. Молчали и мы. Глухо и тяжело жаловалось море. Потом режиссер и Сивриев во весь голос запели болгарские песни. Звякнули стаканы, в лицо пахнуло терпким вином, и прибой, словно подчиняясь общему настроению, широко, но как бы вполголоса, раскатился по молу во всю его длину.

Я благословил в душе этот простой вечер в чужой стране, благословил заодно и скитания, полные светлых случайностей, таких, как эта тихая песня.

Я был уверен, что девушка пела о любимом. Я, конечно, давно знал, что каждому возрасту даны свои печали и радости и что для людей моего поколения девичьи слезы давно ушли в туманную даль, а может быть, и совсем иссякли. И мне захотелось склониться перед этими почти детскими слезами, как перед маленькой святыней.

Когда мы вышли, порт был сильно освещен неоновыми фонарями. Начинался ветер. Он качал этот свет, и в его мигающем блеске отчаливали и уходили в море одна за другой белые безмолвные гемии.

Мы долго шли по спящим улицам Созополя. Узкие эти улицы звенели и гремели от наших шагов. И отовсюду — из каждого дома, двора, из каждой руины и переулка — бежало навстречу нам эхо.

Неожиданно молоденькая киноактриса засмеялась и звонко крикнула какое-то слово. Эхо тотчас удесятерило его и вернуло нам. Девушка крикнула по-болгарски: «Где мы?» И тотчас все дома, закоулки и камни мостовой повторили, перекликаясь, ее крик и спрашивали уже нас, людей: «Где мы?»

Неоновый свет в порту погас. Темнота усиливалась с каждой минутой. Казалось, ветер смешал этой ночью мрак всех времен — от древней и тяжкой Византии до нашего бурного века — и старается нас напугать.

Только когда мы пересекали переулки, идущие к морю, вдали открывался мигающий багровый свет маяка. И было почему-то страшно за маленькие рыболовные гемии, ушедшие в эту ночь.

На следующий день я уезжал из Созополя. Я прожил в нем всего пять дней, но этого оказалось достаточно, чтобы полюбить этот город.

С дальнего холма я увидел, как в последний раз синим крылом махнуло Черное море. Скромная и прекрасная болгарская земля вскоре ушла в туманы, в дожди. Погода переломилась. Дождь шел до самой границы.

Амфора стоит сейчас у меня в Москве среди книг. У всех, кто ее рассматривает, она вызывает прежде всего мысли об Одиссее и Эгейском море. У некоторых веселые, как в стихах Заболоцкого:

Шумело Эгейское море,
Коварный туманился вал.
Скиталец в пернатом уборе
Лежал на корме и дремал...

У других — торжественные, проступающие из гомеровской мглы, как у Луговского:

Гребите, греки! Есть еще в Элладе
Огонь, и меч, и песня, и любовь...

Что касается меня, то при взгляде на амфору я представляю себе гончарную мастерскую на скалистом берегу Аттики, синий воздух, старого гончара, шлифующего сырую глиняную вазу. Я вижу, как в простом этом мире, на щебенчатой земле, под нестерпимый блеск моря рождается скромная амфора. Но создатель ее не знает, что совершенство ее формы переживет века и наполнит нас, потомков, гордостью и удивлением перед талантливостью человека.

1961

НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ

Осень в этом году стояла — вся напролет — сухая и теплая. Березовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (ее зовут в народе «мга») затягивала плесы на Оке и отдаленные леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь нее проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все про-

странство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянули один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки, летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей. По береговой проселочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофер остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.

— Счастливо, друзья! — крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор — должно быть, чтобы не заглушать затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и все смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. И все слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землей.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?

Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. Оттуда уже сочился осенний воздух, сильно отдающий вином.

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением ее таинственного искусства, недоступного нам, людям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха. Его еще не закрыли на зиму. Оттуда доно-

сились неясные голоса. Потом кто-то включил в доме магнитофон, и я услышал знакомые томительные слова:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!

«Вот,— подумал я,— еще один шедевр, печальный и старинный».

Должно быть, Баратынский, когда писал эти стихи, не думал, что они останутся навеки в памяти людей.

Кто он, Баратынский, измученный жестокой судьбой? Волшебник? Чудотворец? Колдун? Откуда пришли к нему эти слова, наполненные горечью минувшего счастья, былой нежности, всегда прекрасной в своем отдалении?

В стихах Баратынского заключен один из верных признаков шедевра — они остаются жить в нас надолго, почти навсегда. И мы сами обогащаем их, как бы додумываем вслед за поэтом, дописываем то, что не досказал он.

Новые мысли, образы, чувства теснятся в голове. Каждая строка стихов разгорается, подобно тому как с каждым днем сильнее бушуют осенним пламенем громады лесов за рекой. Подобно тому как расцветает вокруг небывалый сентябрь.

Очевидно, свойство истинного шедевра — делать и нас равноправными творцами вслед за его подлинным создателем.

Я сказал, что считаю шедевром лермонтовское «Завещание». Это, конечно, так. Но ведь почти все стихи Лермонтова — шедевры. И «Выхожу один я на дорогу...», и «Последнее новоселье», и «Кинжал», и «Не смейся над моей пророческой тоскою...», и «Воздушный корабль». Нет надобности их перечислять.

Кроме стихотворных шедевров, Лермонтов оставил нам и прозаические — такие, как «Тамань». Они наполнены, как и стихи, жаром его души. Он сетовал, что безнадежно растратил этот шар в великой пустыне своего одиночества.

Так он думал. Но время показало, что он не бросил на ветер ни одной крупицы этого жара. Многие поколения будут любить каждую строчку этого бесстрашного и в бою и в поэзии, некрасивого и насмешливого офицера. Наша любовь к нему — как возврат нежности.

Со стороны дома отдыха все лились знакомые слова.

Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больного
В его дремоте не тревожь!

Вскоре пение стихло, и на реку возвратилась тишина. Только слабо гудел за поворотом водоструйный катер и, как всегда к любой перемене погоды — все равно к дождю или к солнцу,— орали за рекой во все горло беспокойные петухи. «Звездочеты ночей», как их называл Заболоцкий. Заболоцкий жил здесь незадолго до смерти и часто приходил на Оку к парому. Там весь день шастал и толкался речной народ. Там можно было узнать все новости и наслушаться каких угодно историй.

— Прямо «Жизнь на Миссисипи»! — говорил Заболоцкий.— Как у Марка Твена. Стоит посидеть на берегу часа два — и уже можно писать книгу.

У Заболоцкого есть великолепные стихи о грозе: «Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница». Это тоже, конечно, шедевр. В этих стихах есть одна строка, властно побуждающая к творчеству: «Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья». Заболоцкий говорит о грозовой ночи, когда слышится «приближенье первых дальних громов — первых слов на родном языке».

Трудно сказать почему, но слова Заболоцкого о краткой ночи вдохновения вызывают жажду творчества, зовут к созданию таких трепещущих жизнью вещей, которые стоят на самой грани бессмертия. Они легко могут переступить эту грань и остаться навек в нашей памяти — сверкающими, крылатыми, покоряющими самые сухие сердца.

В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым — по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию.

Но вернемся к Лермонтову и к «Завещанию».

Недавно я читал воспоминания о Бунине. О том, как жадно он следил в конце своей жизни за работой советских писателей. Он был тяжело болен, лежал не вставая, но все время просил и даже требовал, чтобы ему приносили все книжные новинки, полученные из Москвы.

Однажды ему принесли поэму Твардовского «Василий Теркин». Бунин начал ее читать, и вдруг близкие услышали из его комнаты заразительный смех. Близкие встревожились. В последнее время Бунин редко смеялся. Вошли

в его комнату и увидели Бунина, сидящего на постели. Глаза его были полны слез. В руках он держал поэму Твардовского.

— Как великолепно! — сказал он.— Как хорошо! Лермонтов ввел в поэзию превосходный разговорный язык. А Твардовский смело ввел в стихи и язык солдатский, совершенно народный.

Бунин смеялся от радости. Так бывает, когда мы встречаемся с чем-нибудь подлинно прекрасным.

Тайной сообщать обыденному, житейскому языку черты поэзии владели многие наши поэты — Пушкин, Некрасов, Блок (в «Двенадцати»), но у Лермонтова этот язык сохраняет все мельчайшие разговорные интонации и в «Бородине» и в «Завещании».

Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?

Распространено мнение, что шедевров немного. Наоборот, мы окружены шедеврами. Мы не сразу замечаем, как осветляют они нашу жизнь, какое непрерывное излучение — из века в век — исходит от них, рождает у нас высокие стремления и открывает нам величайшее хранилище сокровищ — нашу землю.

Каждая встреча с любым шедевром — прорыв в блистающий мир человеческого гения. Она вызывает изумление и радость.

Не так давно в легкое, чуть морозное утро я встретился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От нее нельзя было оторвать глаз. Она заставляла смотреть на себя.

Это была вестница победы. Она стояла на тяжелом носу греческого корабля — вся во встречном ветре, в шуме волн и в стремительном движении. Она несла на крыльях весть о великой победе. Это было ясно по каждой ликующей линии ее тела и развевающихся одежд.

За окнами Лувра в сизом, белесоватом тумане серела парижская зима — странная зима с морским запахом устриц, наваленных горами на уличных лотках, с запахом жареных каштанов, кофе, вина, бензина и цветов.

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных решеток дует горячий ветер. Он чуть попахивает пылью. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то тут, то там на этих

решетках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.

Это греются нищие. Величавые и зоркие луврские сторожа их не трогают. Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например, закутанный в рваный серый плед старик-нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед картинами Делакруа, не может не броситься в глаза. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных нищих.

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим испитым лицом, в давно потерявшей черный цвет, порыжевшей от времени, лоснящейся тальме. Такие тальмы носила еще моя бабушка, несмотря на вежливые насмешки всех ее дочерей — моих тетушек. Даже в те далекие времена тальмы вышли из моды.

Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала озабоченно рыться в потертой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка.

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось сердце.

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калориферной решетки, чтобы ее тотчас же не занял другой. Пожилая художница стояла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденьями, перенесла один тяжелый стул к калориферу и строго сказала старушке:

— Садитесь!

— Мерси, мадам,— пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко нагнулась — так низко, что издали казалось, будто она касается головой своих колен.

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально следил за этой сценой, но не двинулся с места.

Болезненная красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художнице, поклонился ей в спину, шаркнул ногой и звонко сказал:

— Мерси, мадам!

Художница, не оборачиваясь, кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к ее руке. Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, это

было действительно так. Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч».

Я шел мимо нищих и думал, что перед этим зрелищем человеческой нищеты и горя должны были померкнуть все мировые шедевры Лувра и что можно было бы отнестись к ним даже с некоторой враждебностью.

Но таково светлое могущество искусства, что ничто не в силах омрачить его. Мраморные богини нежно склоняли головы, смущенные своей сияющей наготой и восхищенными взглядами людей. Слова восторга звучали вокруг на многих языках.

Шедевры! Шедевры кисти и резца, мысли и воображения! Шедевры поэзии! Среди них лермонтовское «Завещание» кажется скромным, по неоспоримым по своей простоте и законченности шедевром. «Завещание» — всего-навсего разговор умирающего солдата, раненного навылет в грудь, со своим земляком:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж... Да что? Моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.

А дальше идут слова, удивительные по своей суровости, прекрасные по своей печали:

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых...
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив,
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали.

Эта скупость слов умирающего вдали от родины солдата придает «Завещанию» трагическую силу. Слова «и чтоб меня не ждали» заключают в себе огромное горе, покорность перед смертью. За ними видишь отчаяние людей, невозвратно теряющих любимого человека. Любимые всегда кажутся нам бессмертными. Они не могут превратиться в ничто, в пустоту, в прах, в бледное, тускнеющее воспоминание.

По напряженной скорби, по мужеству, наконец, по блеску и силе языка эти стихи Лермонтова — чистейший неопровержимый шедевр. Когда Лермонтов писал их, он был, по теперешним нашим понятиям, юношей, почти мальчиком. Так же как Чехов, когда он писал свои шедевры — «Степь» и «Скучную историю».

Голос над рекою затих. Но я знал, я был уверен, что услышу его снова. И голос не обманул меня. Я даже вздрогнул — так ожиданно зазвучали первые слова:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Я бы мог слушать эти слова и сто и тысячу раз. В них так же, как и в «Завещании», были заключены все признаки шедевра. Прежде всего — неувядаемость слов о неувядающей печали. Слова эти заставляли тяжело биться сердце.

О вечной новизне каждого шедевра сказал другой поэт, и сказал с необыкновенной точностью. Слова его относились к морю:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь и сводишь на нет.

В каждом шедевре заключается то, что никогда не может примелькаться,— совершенство человеческого духа, сила человеческого чувства, моментальная отзывчивость на все, что окружает нас и вовне, и в нашем внутреннем мире. Жажда достигнуть все более высоких пределов, жажда совершенства движет жизнь. И рождает шедевры.

Я пишу все это осенней ночью. Осени за окном не видно, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться

с последней листвой, облетающей непрерывно и днем и ночью. И блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напомипающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла.

1963

ИЛЬИНСКИЙ ОМУТ

Людей всегда мучают разнообразные сожаления — большие и малые, серьезные и смешные.

Что касается меня, то я часто жалею, что не стал ботаником и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих растений, по приблизительным подсчетам, чертова уйма — больше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти деревья, кустарники и травы со всеми их свойствами.

Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и пичем не оправданпая стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето — то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства.

Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очаровапия, какое жизнь разбросала вокруг.

Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они разгораются. И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. Это — сожаление о том, что не удалось — да, пожалуй, и не удастся — увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном разнообразии.

Да что там — весь мир! На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья.

Я, например, не видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермонтова в Тарханах, широкого монотонного разлива Оби в ее устье, около городка Салехарда — бывшего Обдорска.

Самое это пазвание — Обдорск — вызывает представление о чем-то скудном, о безлюдной северной земле, что

погружена в величавое уныние и тонет в водянистой мгле.

Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно много. Все зависит от пытливости и от остроты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и красок,— вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони — с их нежной припухлостью между тоненьких жилок.

Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится всего в десяти километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето.

Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России.

Мы не любим пафоса, очевидно, потому, что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили: «Великое солнце Аустерлица».

Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим ее звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боев последней войны, и с тех пор никто ее не нарушал.

То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России: Ильинский омут.

Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой Плес около Кинешмы.

Оно не связано ни с какими историческими событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской природы. В этом отношении оно, как принято говорить, «типично» и даже «классично».

Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость,

я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны и что в них есть нечто священное.

Имел же Пушкин право говорить о «священном сумраке» царскосельских садов. Не потому, конечно, что они освящены какими-либо событиями из «священной истории», а потому, что он относился к ним, как к святыне.

Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой.

К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорей дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали по ту сторону реки.

Поверьте мне,— я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу.

Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание: если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке, среди этой высокой травы.

Кажется, что цветы и травы — цикорий, кашка, незабудки и таволга — приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь оттого, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы и озабоченно сосут жидкий пахучий мед.

Но не в этих травах и цветах, не в кряжистых вязах и шелестящих ракитах была заключена главная прелесть этих мест.

Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они подымались ступенями и порогами одна за другой.

И каждая даль — я насчитал их шесть — была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и воздухе.

Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму.

На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг — суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина.

Внизу за суходолом виделась пойма реки, вся в за-

рослях бледно-розовой таволги. Она уже отцветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков.

На втором плане за рекой стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты. Их обливал зной. Листья висели, как в летаргии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив и ракит превращалось в бурлящий водопад листвы.

На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От нее медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести.

Дальше, на третьем плане, подымались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, где сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой.

Над лесами все время настойчиво парили коршуны. И день парил, предвещая грозу.

Леса кое-где расступались. В этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными платами, плавно подымаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле — постоянной спутнице отдаленных пространств.

В этой мгле поблескивали тусклой медью хлеба. Они созрели, налились, и сухой их шелест, бесконечный шорох колосьев непрерывно бежал из одной дали в соседнюю даль, как величавая музыка урожая.

А там, за хлебами, лежали, прикорнув к земле, сотни деревень. Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал — так, по крайней мере, казалось — запах только что испеченного ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась. А над ней в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая, лебединые торжественные облака.

Однажды летом я жил в степях за Воронежем. Все дни

я проводил или в одичалом липовом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сухом кургане.

Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы.

В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на глиняный теплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой.

В нем непрерывно возникали все новые очень белые и выпуклые облака и медленной чредой уплывали на север.

Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по моему лицу, и я закрывал глаза, чтобы уберечь их от резкого света. Я растирал на ладони венчик чабреца и с наслаждением вдыхал его запах — сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море и что пахнут чабрецом не степи, а его наглаженные прибоями пески.

Иногда я задремывал около жерновов. Высеченные из розового песчаника жернова переносили мою мысль ко временам Эллады.

Несколько лет спустя я увидел статую египетской царицы Нефертити, высеченную из такого же камня, как и жернова. Я был поражен женственностью и нежностью, какая заключалась в этом грубом песчанике. Гениальный ваятель извлек из сердцевины камня дивную голову трепетной и ласковой молодой женщины и подарил ее векам, подарил ее нам, своим далеким потомкам, так же как и он, взыскующим нетленной красоты.

А два года спустя я увидел во Франции, в Провансе, знаменитую мельницу писателя Альфонса Доде. Когда-то он устроил в ней свое жилище.

Очевидно, жизнь на ветряной мельнице, пропахшей мукой и старыми травами, была удивительно хороша. Особенно на нашей воронежской мельнице, а не на мельнице Альфонса Доде. Потому что Доде жил в каменной мельнице, а наша была деревянная, полная милых запахов смолы, хлеба и повилики, полная степных поветрий, света облаков, перелива жаворонков и цвиканья каких-то маленьких птичек — не то овсянок, не то корольков.

Но на Ильинском омуте не было, к сожалению, ни ветряной, ни водяной мельницы. И это очень жаль, потому что ничто так не идет к русскому пейзажу, как эти мель-

ницы. Так же, как русской крестьянской девушке очень идет цветистая шелковая шаль. От нее глаза становятся темней, губы — ярче и даже голос звучит вкрадчиво и нежно.

На самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи стоял на меже узловатый вяз. Он шумел от порывов ветра темной листвой.

Мне все казалось, что вяз неспроста стоит среди этих горячих полей. Может быть, он охраняет какую-то тайну — такую же древнюю, как человеческий череп, вымытый недавно ливнем из соседнего оврага. Череп был темно-коричневый. От лба до темени он был рассечен мечом. Должно быть, он лежал в земле со времен татарского нашествия. И слышал, должно быть, как кликал див, как брехали на кровавое закатное солнце лисицы и как медленно скрипели по степным шляхам колеса скифских телег-колесниц.

Я часто ходил не только к ветряку, но и к этому вязу, и подолгу просиживал в его тени.

Скромная невысокая кашка росла на меже. Старый сердитый шмель грозно налетал на меня, стараясь прогнать человека из своих пустынных владений.

Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце подымалась какая-то родственная любовь к каждому колоску.

Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом.

За Ильинским омутом была видна в отдалении зеленая стена. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом пряталась усадьба Богимово, чернел старый парк и стоял господский дом с террасой и венецианскими окнами.

В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином» — бесконечно грустный рассказ о любви и милой девушке Мисюсь.

Мисюсь уехала из этих мест навсегда, но чеховская грусть осталась. Она живет в глубине сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стеклах. Если вы прикоснетесь к этой бабочке, то увидите, что она мертва.

Пруд застлан огромным зеленым ковром ряски. По-

томки тех карасей, которых здесь удил Чехов, тихонько чавкают, поедая водоросли и подставляя солнцу то один, то другой бок из литого темного золота.

Но Чехова нет. В год его смерти мне было двенадцать лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов. И как он быстро отвернулся и ушел, чтобы пережить в одиночестве свое непоправимое, безнадежное горе.

Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова. Потому что он был не только гениальным писателем, но и совершенно родным человеком.

Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги.

Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и притом неожиданные.

Каждый раз, собираясь в далекие поездки, я обязательно приходил на Ильинский омут. Я просто не мог уехать, не попрощавшись с ним, со знакомыми ветлами, со всероссийскими этими полями. Я говорил себе: «Вот этот чертополох ты вспомнишь когда-нибудь, когда будешь пролетать над Средиземным морем. Если, конечно, туда попадешь. А этот последний, рассеянный в небесном пространстве розовеющий луч солнца ты вспомнишь где-нибудь под Парижем. Но, конечно, если и туда ты попадешь».

И все сбылось. Действительно, самолет шел над Тирренским морем. Я посмотрел в круглое окно-иллюминатор. В бездонной синеве и глубине появились желтые очертания острова, похожего на цветок чертополоха. Это была Корсика.

Потом я убедился, что острова с воздуха принимают причудливые формы, так же как и кучевые облака. Эти формы им сообщает наше человеческое воображение.

Изорванные многими тысячелетиями, покрытые окалиной жары берега Корсики, ее замки, защищавшие остров, как колючки, алый цвет каких-то кустарников, ливень синего средиземноморского света, прорвавшего невидимую небесную плотину и рухнувшего всей своей тяжестью на остров,— все это не могло оторвать мои мысли от маленькой сыроватой ложбины на Ильинском омуте, где пахло болиголовом и стоял одинокий чертополох высотой в че-

ловеческий рост — неприступный, ощетинившийся своими колючками, своими острыми налокотниками и забралами.

На западном берегу острова горстью выброшенных небрежной рукой игральных костей был рассыпан маленький город. Он выходил из-под крыла самолета, как пчелиные соты. Это было Аяччо — родина Наполеона.

— Все завоеватели — клинические сумасшедшие,— сказал, поглядев на Аяччо, мой сосед — толстый и шутливый итальянец в черных очках.— Как только человек, родившийся и выросший среди такой красоты, стал мировым убийцей! Невозможно понять!

Он с шумом развернул газету, просмотрел одну страницу, отбросил газету в сторону и сказал, ни к кому не обращаясь:

— О-хо-хо! А де Голль, кажется, неплохой католик.

Рим сверкал вдали яростными отражениями солнца в стеклянных стенах многоэтажных новых домов. Радио часто и нервно повторяло, что синьора Парелли ждет у главного выхода аэровокзала его собственная машина.

И мне нестерпимо захотелось домой, в бревенчатый простой дом, на Оку, на Ильинский омут, где меня дожидаются ивы, туманные русские равнинные закаты и друзья.

Что же касается розовеющего луча солнца, то я тоже увидел его несколько дней спустя вблизи Парижа в городке Эрменонвиле, где в старинном поместье провел последние свои годы и умер Жан-Жак Руссо.

Консьержка открыла нам железную калитку, молча взяла плату за вход и сердито махнула рукой — показала, откуда надо начинать осмотр парка. Потом она так же сердито сказала, что дом закрыт и мы можем только погулять по парку.

Парк был пуст. Мы не встретили в нем ни одного человека. Никто бы не помешал нам побеседовать с тенью Руссо, если бы она существовала в этих местах.

Под ногами трещали желтые листья платанов. Они усыпали не только всю землю вокруг, но и гладь туманных прудов.

Никогда в жизни я не видел таких огромных платанов. Они быстро облетали, обнажая свои исполинские кроны. Казалось, они были отлиты из светлой бронзы великим мастером, каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Их вершины

окутывал туман, и это придавало деревьям призрачный вид.

Серая тишина стояла вокруг. Парк погружался во мглу. Изредка с ветвей падали нам на руки прозрачные ледяные капли. И всё слетали желтые лапчатые листья. Легкий их треск шел за нами по пятам.

Свинцовое небо простиралось над головой, но цвет этого свинца был все же парижский — легкий и очень светлый.

На острове среди пруда белела гробница Руссо. К ней можно было подъехать только на лодке. Но лодок на пруде не было. И праха Руссо тоже на острове уже не было. Его давно перевезли в Пантеон.

Потом сквозь тюлевую мглу облаков начал просачиваться розовый свет солнца, и платаны вдруг как бы ожили и переменились в лице — покрылись медным блеском.

Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце,— тоска по нашей простой земле, своим закатам, своем подорожнике и скромном шорохе палой листвы.

Прекрасная Франция, конечно, оставалась великолепной, но равнодушной к нам. Тоска по России легла на сердце. С этого дня я начал торопиться домой, на Оку, где все было так знакомо, так мило и простодушно. У меня холодало под сердцем при одной только мысли, что возвращение на родину может по какой-либо причине задержаться хотя бы на несколько дней.

Я полюбил Францию давным-давно. Спачала умозрительно, а потом вплотную, всерьез. Но я не мог бы ради нее отказаться даже от такой малости, как утренний шафранный луч солнца на бревенчатой стене старой избы. Можно было следить за движением луча по стене, слушать голосистые вопли деревенских петухов и невольно повторять знакомые с детства слова:

На святой Руси петухи кричат,—
Скоро будет день на святой Руси...

С платанов изредка слетали листья. Сады Эрменонвиля, священные сады, овеянные памятью Руссо, погружались в сумрачный осенний день, такой же короткий, как и у нас в России. Он был так же печален, как и у нас. Что-то родное виделось нам в этом беззвучном тумане, курившемся над прудом, и в молчании близкой ночи.

Нет! Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.

Июль 1964 года

ВИЛЛА БОРГЕЗЕ

Я ходил на виллу Боргезе очень часто, и мог бы ходить туда каждый день, хотя бы для того, чтобы посмотреть с поворота дороги на широкое мерцание Рима.

Это не пустые слова. Рим действительно мерцал вдали, как поблескивает под ударами солнечного луча пожелтевший мрамор. Осеннее предвечернее солнце зажигало в обширном прохладном воздухе вспышки бронзового огня на куполе святого Петра и на вершинах других старинных зданий.

Наступил уже октябрь, но не было слышно обычного у нас в России шороха палых листьев. Один звук господствовал в печальных и пустынных садах виллы Боргезе — высокий звон фонтана. Струя воды, зеленоватая, похожая на морскую, лилась в мраморную чашу. В эту чашу, очевидно по привычке, туристы бросали иногда, как в фонтан Треви, мелкие серебряные монеты. Монеты шевелились от ударов льющейся воды. Отчеканенные на монетах лица аллегорических богинь — олицетворения прекрасных стран: Франции, Италии, Греции — казались печальными оттого, что они были обречены всю ночь лежать на дне чаши, в холодной воде.

Я садился около фонтана на каменную скамью. Ни разу никто не подсел ко мне. Только ловкий мальчишка в клетчатых шортах время от времени стремительно проносился на роликах мимо меня по асфальту и скрывался за виллой Боргезе.

Странно, но фонтан казался мне одиноким, и мне было даже жаль его, как покинутого старика. Его участь была однообразна: только литься и журчать ночь за ночью, пока не засинеет над Римом туманный рассвет. Мы знаем, как тяжелы бессонные ночи для стариков. Изредка неизвестная звезда помигает в далеком небе. Ее слабый луч задрожит в чаше холодной воды из фонтана. И это будет единственная ночная встреча фонтана с живым существом.

В Риме ночи казались мне гораздо более тягучими, чем зимние ночи в Москве. По нескольку раз за ночь просыпаешься от мерного колокольного боя, садишься на постели, прислушиваешься и никак не решаешься встать, одеться и выйти из гостиницы «Начионале» в ночной Рим. Выйти и идти по пустым таинственным улицам без всякой цели, встречаясь только с карабинерами. Они всегда ходят ночью по двое, и слышно, как позвапивают их сабли.

Идти по ночному Риму и выйти за Тибр, в Треставере, в сумрачные кварталы, туда, где ты месяцами не услышишь ни одного русского слова. От этого подымается тоска, и кажется, что ты попал в западню и безнадежно заблудился среди этих темных коричневых домов. Посидев у старого фонтана в парке виллы Боргезе и попрощавшись с ним, я поднимался по широкой парадной лестнице в галерею Боргезе, входил в первый зал и тотчас садился на скамейку — надо было приучить глаза к льющемуся с плафона розовому свету, пронизанному золотым сиянием. Как будто в этом огромном и высоком зале только что закатилось солнце. Этот свет исходил от покрывавшей весь потолок и стены росписи художников Джованни Маргети и Доменика Анчелиса.

Каждый, кто входил в зал, озарялся красноватым свечением их красок. Лица людей делались нежными и красивыми от этого света. Особенно лица молодых женщин и детей. И непроницаемое фарфоровое лицо молодой японки. Я ее встречал на вилле Боргезе уже несколько раз. Она ходила по залам галереи очень осторожно, и голова ее слегка склонялась, как цветок на стебле. Темными, непроглядными глазами она смотрела на скульптуры Бернини — удивительного мастера, под рукой которого камень становился податливым и теплым, как человеческое тело. Особенно это было заметно на скульптуре «Похищение Прозерпины»: на бедре у Прозерпины навеки остались вмятины от пальцев похитителя Плутона.

В одно из посещений виллы Боргезе я заметил, как молоденькая японка долго смотрела на Прозерпину, потом оглянулась и сжала тонкими и острыми пальцами свою руку, обнаженную почти до плеча. И на ее предплечье остались такие же вмятины, как на бедре у Прозерпины.

Я улыбнулся. Японка заметила мой взгляд и залилась смуглым румянцем. Ряд ровных и отточенных зубов блеснул из-за приоткрытых губ. Почти гневная, эта улыбка заставила меня отвести глаза и тотчас уйти в соседний зал.

Там лежала на софе изнеженная мраморная Паулина Бонапарт, изваянная Кановой. Каждая складка софы, каждая ее измятость были отделаны скульптором до полного совершенства. Из этой небрежной измятости подымался тонкий девичий стан Паулины, ее стройная спина и девственная грудь. Я заметил, что монахи, изредка забредавшие на виллу Боргезе, старались пройти мимо Пау-

лины, не поднимая глаз. Но из соседнего зала они всегда оглядывались на нее и растерянно улыбались.

Долгое пребывание в залах музея Боргезе начинало утомлять. Задумчивые мадонны и сосредоточенные святые на картинах были облачены в чрезмерно тяжелые и пышные ткани. Они сидели на креслах, высеченных из камня, а низкие холмы за окнами поросли чахлой травой, пригодной только для выщипывания ягнятами.

В этой Иудее, в этих Вифлеемах и Назаретах явно не хватало воздуха, он, видимо, за многие столетия был нагрет до тяжкой густоты тем солнцем, что на картинах так медленно склонялось к закату. Невольно я переводил дыхание, и мне хотелось, чтобы на эту библейскую пересохшую страну хлынул, пенясь, стремительный ливень. Но этого не случалось, и каждый раз, когда я уходил с виллы Боргезе, над Римом простиралось все то же душное поверье и обещало еще одну душную и бессонную ночь.

В гостиничном ресторане, темном и угрюмом, сосед мой — хорват из Загреба — предупреждал меня, виновато улыбаясь, что ночью опять будет «большой засух» для астматиков, так как дует сирокко.

Не только хорват и я страдали астмой. Почти каждую ночь молоденькая японка спускалась в пустой, с приглушенным светом холл гостиницы. В нем все же было светлее, чем в комнатах. Итальянцы скупо расходовали электричество.

Портье выносил из холла прямо на улицу, на воздух, маленькое кресло, ставил его на тротуар около стеклянных вращающихся дверей гостиницы, и японка просиживала в этом кресле очень долго, почти всю ночь, пока на улицах Рима еще господствовали тишина и прохлада.

Портье рассказал мне, что эта одинокая леди только кажется юной, а на самом деле ей уже под сорок. Она пострадала во время взрыва атомной бомбы в Нагасаки, выжила, но с тех пор у нее появился шок — она боится оставаться одна, без людей. Поэтому днем она без конца ходит по Риму, а ночи проводит в холле или, если нет дождя, просиживает на тротуаре, в кресле, у входа в гостиницу. В холле за ее спиной всегда дежурит портье и сидят два-три служащих гостиницы — камерьере.

— Ей нужно,— добавил портье,— много воздуха, и кроме того, чтобы были слышны человеческие голоса. Тогда она спокойна. Мы к ней уже привыкли. Карабинеры тоже

привыкли и ни о чем не спрашивают. Они только с ней здороваются и следят, чтобы никто к ней не приставал.

— Очень печальная женщина,— сказал я.— И очень красивая.

— Си! — согласился портье, полистал толстую книгу с записью постояльцев, вздохнул и сказал: — Она приехала из Сингапура.

— Кто она такая?

Портье снова заглянул в книгу.

— Записана у нас как журналистка. Каждый может записать себя человеком любой законной профессии.

Если часто встречаешь человека, то постепенно исчезают черты необыкновенности, какие ты в нем замечал сначала. Японка нарушила этот закон человеческого общежития. Чем дальше, тем больше она представлялась непонятной и загадочной, и эта загадка казалась такой же бездонной, как мрак океанских глубин.

По вечерам я несколько раз подходил к окну своей комнаты, высовывался и заглядывал вниз, на тротуар. Там в кресле виднелись ее матовые косы и носок маленькой туфли. Она не спала. Она тотчас чувствовала, что на нее смотрят, и начинала беспокоиться.

Эту молодую женщину, эту песчинку мирового океана, пронесло взрывной космической волной через весь земной шар сюда, в старый Рим, и опустило на порог гостиницы «Начионале». И та же волна смоет ее при случае в один миг, как бы вы ни хотели продлить ее пребывание здесь, хотя бы на ничтожное мгновение. Этого не случится. Она исчезнет, такая же изящная, маленькая, как бы стремящаяся взлететь,— исчезнет в хаосе миллионных и перенаселенных столиц, таких, как этот Рим, как ее родной Токио. В этих тяжких городах одиночество можно ощутить только глухой ночью, и то в самом мерзком его качестве — в страхе, что за тобой крадется убийца и ты даже не знаешь, как в этой стране нужно позвать на помощь.

Сегодня поздним вечером я прошел мимо японки. Она взглянула на меня так растерянно, что этот взгляд меня встревожил. Мне стало ясно, что она пытается понять и никак не поймет, что это за чужой город с тысячелетней, непонятной и неинтересной для нее историей, зачем она здесь и что ей делать в этой равнодушной жизни. В той жизни, где каждый шофер знает, куда он ведет свою машину, а каждый цветок бугенвилии, зацепившийся за выступ стены, знает, что он призван выполнять свое назначение и что

он не один. Цветок бугенвилии был все-таки более свой, чем она, на этих каменных улицах Рима, покрытых толстой ржавчиной, простой и нежный, как язычок пламени! Зачем он распустился здесь, у гостиницы?

У входа в холл решительно остановился человек с таким матовым лицом и злыми прищуренными глазами, будто он был срисован со всех кинореклам обо всех кинозлодеях земного шара. Он протянул руки к японке, предлагая ей встать, но она не двинулась.

— Ты! — сказал он сквозь зубы.— Я сломаю тебе шейку одним щелчком.

Японка не понимала. Она улыбалась спокойно и чуть удивленно, как улыбалась перед розовым и золотым сиянием сказочных плафонов виллы Боргезе. Портье неторопливо поднял над своими книгами доброе и полное лицо в темных очках. Потом снял очки и спокойно вышел на тротуар, навстречу человеку с прищуренными глазами.

— Оставь ее! — сказал этому человеку портье, но сказал тихо.— Или я отправлю тебя в квестуру, а может быть, и много-много дальше.

Портье спокойно вынул из внутреннего грудного кармана пиджака остро отточенную велосипедную спицу — неуловимое и страшное оружие поздних городских ночей. К концу спицы была приделана маленькая деревянная рукоятка. Спица зловеще сверкнула в руке у портье, как тонкая и быстрая змея. Человек с прищуренными глазами отскочил на мостовую и быстро пошел прочь. Портье пошел вслед за ним, пытаясь его догнать.

— Но! — вдруг дико закричал человек с прищуренными глазами, прыгнул в сторону и бросился бежать.— Но!

— Пронто! Готово! — сказал портье, спрятал спицу в карман пиджака и вернулся в холл. Он тяжело вытер пот со лба, и я подумал, что профессия портье вовсе не такая спокойная и безопасная, как мы думаем.

Японка ушла со своего места на тротуаре, села в открытой телефонной будке в холле и расплакалась. Она плакала, глядя прямо перед собой. Слезы у нее были крупные, как будто искусственные. Камерьер принес ей стакан минеральной воды.

Я ушел в свой неуютный номер, но долго не мог уснуть и несколько раз бессмысленно повторял про себя: «Какой странный и неприятный мир!» До тех пор у меня никогда не было такого неуютного ощущения от окружающего мира. «Какой странный и неприятный мир!» Нет, не стран-

ный, страшный — портье одним ударом мог вогнать велосипедную спицу в сердце этого человека. И был бы прав.

Среди ночи по крышам забарабанил дождь, и, хрипя и отплевываясь, запели водосточные трубы. Тяжесть, лежавшая в груди, исчезла, будто кто-то сразу разжал долго стиснутое в кулаке бессильное сердце. Тогда я понял, что, очевидно, перестал дуть сирокко,— от него, конечно, рождались все эти глухие волнения в крови и на все падал мрачный отблеск утомленных нервов.

Утром я опять пошел на виллу Боргезе. Лужи, налитые ночным дождем, были совершенно прозрачные. Над ними вился легкий пар. Японка сидела около статуи Дафнии и, увидев меня, улыбнулась всем лицом — полуоткрытым ртом, даже ресницами и серыми, как у европеянки, ласковыми глазами. У входа на виллу продавались цветы. Я купил маленькую розу, цвета густейшей крови, подошел к японке и положил холодный и сырой цветок ей на колени.

Она засмеялась так громко и гортанно, будто по мраморным средневековым полам кто-то швырнул горсть хрустальных шариков и они закатываются за старинные диваны и кресла, посмеиваясь и подшучивая надо мной.

Японка встала, дотронулась до моей кисти выше запястья, поклонилась мне низко, по-японски, и ушла. И потом мне еще долго казалось, что от этого прикосновения остались слабые следы, как на скульптурах Бернини. Она ушла. Вслед за ней по залам рванулся жаркий ветер, и наступила тишина. Она уходила туда, где в медном воздухе дремал Рим.

Я смотрел на ее спину, похожую на деку драгоценной скрипки, на быстрое движение ее бедер под натянутым платьем, пока она наконец не оглянулась на меня и нежное солнце далекой заокеанской страны просверкало в ее длинных глазах. «Нет,— подумал я,— мир не страшен, а только, может быть, странен, и я благодарен ему за тысячи мелочей, дающих ощущение неясности и счастья».

— Вот это и есть,— сказал старый чистильщик сапог своему соседу — мальчишке, оба они сидели при входе в виллу,— это и есть та самая девочка из-под атомной бомбы.

И оба ласково улыбнулись ей вслед, как бы желая охранить этой улыбкой ее дальнейшую жизнь.

Ялта, май 1966 г.

Примечания

Настоящий том составляют произведения, написанные на протяжении всей литературной деятельности Паустовского. Открывается он рассказом «На воде», которым Паустовский дебютировал в печати, а замыкает его «Вилла Боргезе» — одна из последних художественных вещей, которую успел закончить писатель.

Все произведения, включенные в том, несмотря на разнообразие и многоликость их замыслов, тем и сюжетов, принадлежат к одному жанру — жанру рассказа. Паустовский был по преимуществу новеллистом. Этому жанру он оставался верен на протяжении своего более чем пятидесятилетнего литературного пути. Даже крупные его вещи, начиная от «Кара-Бугаза» и кончая «Повестью о жизни», отличает резко выраженная новеллистическая структура, и строятся они как цепь новелл, связанных меж собой в большей мере тематически, чем фабульно.

Тяготение Паустовского к жанру рассказа коренилось в природе художнического дарования писателя. Он был «лириком по самой строчечной сути». В силу того что повышенная эмоциональность и напряженный лирический накал находят наиболее совершенное и отчетливое выражение в новелле и одно настроение, одна тональность органичнее уживаются с единичным эпизодом, чем со сцеплением множества ситуаций, а возникающий между автором и читателем контакт не нарушается перерывами в общении (в отличие от обширного повествования, читающегося в несколько приемов, рассказ читается в один присест), рассказ оказался наиболее подходящей формой для воплощения художественных устремлений Паустовского. Его, писателя романтического зрения, всегда больше занимало воссоздание характера сложившегося, до известной степени готового, нежели кропотливое и детальное исследование роста и развития подобного характера под влиянием определенной системы жизненных обстоятельств, а этой склонности скорее отвечал более или менее короткий рассказ, чем многоплановый роман.

Рассказы Паустовского могут быть разделены на два типа. Одни из них (они относятся по преимуществу к начальному периоду его творчества) строились на динамичном сюжете и внешнем эффекте. В других (они были созданы в пору художественной зрелости автора и по праву могут считаться наиболее «паустовскими» вещами) центр тяжести перемещается вовнутрь. Главный объект внимания писателя в этих рассказах — человек, внешне ничем не выделяющийся, взятый не в переломный момент жизни, а в наиболее постоянном, «стабильном», откристаллизовавшемся его состоянии.

Большинство рассказов зрелого творчества Паустовского написано без каких бы то ни было новеллистических ухищрений. Они небогаты происшествиями — тем более занимательными. Чаще всего повествование ведет в них автор-рассказчик, который не прибегает ни к какой литературной «маскировке». Он не драпируется в романтический плащ, а первым делом сообщает, кто он такой и что он хочет поведать читателю. Он называет места, о которых рассказывает, и обнажает мотивы своих поступков:

«По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе... Поэтому поздней осенью 1945 года я уехал в деревню, за Рязань» («Ночь в октябре»);

«Этот очерк написан в мезонине деревенского дома... Я стараюсь представить эту комнату, когда меня уже здесь не будет» («Кордон «273»);

«Каждому писателю нет-нет да и захочется написать рассказ совершенно вольно, не думая ни о каких «железных» правилах и «золотых» законах, записанных в учебниках литературы... Задача у меня самая скромная — рассказать хотя бы незначительные случаи, свидетельствующие о талантливости и простосердечии русского человека. А о значительных случаях мы еще поговорим» («Во глубине России»);

«У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня,— обязательно попасть на Боровое озеро» («Собрание чудес»);

«Поздней осенью я проезжал на машине по Великолуцкой и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны» («Беглые встречи»);

«Осенью 1951 года, на конференции писателей юга в Ростове-на-Дону сочинский селекционер Зорин, автор нескольких книг о субтропической флоре, подарил мне маленький пакет с цветочными семенами. На пакете было написано «Луноцвет» («Пришелец с юга»).

До тех пор, пока не выявилось в полной мере художническое своеобразие Паустовского, он отлично чувствовал себя в новелле, закованной в «железный» сюжет. Но как только он ощутил себя писателем открытого лирического склада, ему стало тесно в жестких рамках динамического сюжета, в котором напряженная «кинематографическая» смена эпизодов не оставляет возможности сосредоточиться на своем восприятии развертывающихся событий, на раскрытии потока мыслей и чувств автора-рассказчика. Этот автор-рассказчик в новеллах Паустовского не столько повествует, сколько исповедуется. В одних случаях это — незамаскированный писатель, Константин Георгиевич Паустовский, в других — внутренне близкий ему человек.

Большие вещи Паустовского, как отмечалось, построены как цепь новелл. Тем любопытнее, что новеллистическое творчество писателя похоже, по сути дела, на главы непрерывно движущегося повествования, которое точнее всего, пожалуй, было бы назвать путевым лирическим дневником. Автор этого дневника много ходит по земле и делится тем, что видит, слышит, думает, делает. Он повествует о людях, которые встречаются ему на пути. Порой он описывает их, порой они сами рассказывают ему о себе — и он приводит их рассказы. А на полях дневника возникают самостоятельные новеллы, представляющие плод воображения писателя, новеллы, действие которых происходит в других странах и в другие эпохи («Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Равнина под снегом», «Корзина с еловыми шишками» и т. д.).

Так сложился тип новеллы Паустовского — с ее затаенной, даже застенчивой патетикой, с ее ослабленной фабулой, с ее неспешным повествовательным течением, с ее героями — многочисленными и родственными друг другу.

Писатель лирического склада всегда испытывает потребность прежде всего выразить самого себя. Но из этого, понятно, не следует, что он занят исключительно самим собой. Это значит, что мир и другие люди раскрываются, как правило, через автора, который как бы вбирает их в себя. И если автору случается отступить на задний план, если он передает «бразды» повествования в руки одного из героев, то он, вольно или невольно, выбирает такого человека, который полнее и точнее всего способен передать его мироощущение и взгляды. У него, у этого героя, могут быть любые особенности и причуды. Важно лишь, чтобы он не подвел автора и верно выражал его жизненную позицию. Любимые герои рассказов Паустовского, лирика непосредственного и обнаженного, говорят то, что он думает и чувствует. Они выступают как его двойники.

Паустовский чаще всего не стремится воссоздать внешний облик героя и написать его портрет. Как правило, он ограничивается двумя-тремя портретными штрихами. Автор сосредоточивает внимание на внутреннем состоянии героев, на круге их склонностей и интересов. Это, разумеется, разные люди, у каждого из них свой характер. Но едва ли можно говорить применительно к ним о разнообразии человеческих типов. С куда большим основанием следует видеть в них разнообразие характеров внутри однородного человеческого типа. Это — мальчики и старики, люди молодые и на возрасте. Они занимаются многообразной деятельностью: пишут книги и пейзажи, сочиняют музыку, плотничают и рыбачат, охраняют лес и выращивают цветы. Но у большинства из них общее восприятие действительности и общее мироощущение. Индивидуальные различия менее важны для писателя, чем то, что объединяет этих похожих и не похожих друг на друга людей, делая их единомышленниками, соратниками, друзьями.

Герои рассказов Паустовского воплощают идеал человека. Идеал — это нравственный кодекс, по которому они живут. Не насилуя себя, не принуждая к исполнению внешнего долга, а естественно и свободно, подчиняясь неодолимой внутренней потребности.

Герои рассказов Паустовского — люди цельные. Слово и дело неотделимы у них друг от друга. Они убеждены, что нет поступков крупных и мелких, частных и общих. Человек, по их мнению, неделим, и, каковы бы ни были обстоятельства, встречающиеся на его пути, он всегда и везде остается самим собой. Эти герои всегда верны своему характеру. В силу того что они не лезут на передний план и высказывают свои мысли с деликатной неназойливостью, порой кажется, что они не отличаются особой твердостью. Впечатление это обманчивое. Герои рассказов Паустовского мягки к людям, которые их окружают, они предупредительны и внимательны. Они демократичны в самом широком и точном смысле этого слова. Но когда дело касается того, что им по-настоящему дорого, когда они сталкиваются с агрессивным невежеством и спесивым хамством, в них пробуждается непреклонная твердость.

Герои рассказов Паустовского — люди творческие. Не только журналисты и музыканты, живописцы и поэты, но и представители самых прозаических и непрестижных профессий. Работа для них — средство действенной связи с другими людьми. Они отдаются ей всей душой и делают ее на совесть.

Герои рассказов Паустовского — люди практического гуманизма. Они не очень-то склонны к философскому теоретизированию, их реакция на окружающее скорее эмоциональная, чем плод все-

стороннего анализа. Но они думают о своем месте в мире. Они стремятся помочь людям везде, где это только возможно.

Герои рассказов Паустовского живут высокими общественными интересами, им есть дело до всего, что происходит на земле. Ничто так не чуждо им, как обывательское стремление отъединиться от, пользуясь выражением А. Твардовского, «ветра века» в маленьком мирке приватного существования. Гуманизм этих героев практический, действенный, ближнего и дальнего прицела одновременно.

Герои рассказов Паустовского требовательно относятся к себе. И, ошибившись или сделав ложный шаг, они не ищут для себя оправдания и не вступают в сделку с совестью. И в то же время они умеют быть снисходительными к другим, понимая, что и суровость, и неласковость, и угрюмость, и даже внешняя черствость кроются нередко не в природе человека, а в сложных обстоятельствах его жизни. И нет для них большей радости, чем открывать под покровом настораживающих качеств чистые и благородные чувства.

Как и их создатель, герои рассказов Паустовского отзывчивы к жизни природы, общение с которой составляет затаенную душевную потребность каждого из них. И картины природы, щедро рассыпанные в рассказах и исполненные такой неувядаемой свежести,— не нейтральные пейзажи, а неотъемлемая и бесконечно важная часть их духовной жизни. Поэтому этих картин много, поэтому они сопровождают героев, поэтому они овеяны их настроением, поэтому они постоянно рождают в них живой отклик.

Тексты вошедших в шестой том рассказов печатаются по изданию: К. Паустовский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6 и 7. М., ИХЛ, 1969, и по дополнительному тому к этому Собранию сочинений (К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи и выступления по вопросам литературы и искусства. М., «Художественная литература», 1972).

На воде (с. 6).— Впервые за подписью «К. Балагин» в киевском журн. «Огни», 1912, 11 августа, № 32. Этим рассказом датируется начало литературной деятельности К. Паустовского. Об обстоятельствах его написания и публикации упомянуто в повести «Далекие годы» (глава «Рассказ ни о чем»). Перепечатан посмертно в журн. «Новый мир», 1970, № 4, в подборке «Константин Паустовский. Из разных лет».

Стр. 7. *Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942) — русский живописец.

Иван Купала — православный праздник (24-го июня старого стиля), посвященный памяти Иоанна Крестителя.

Четверо (с. 8).— Впервые в киевском ежемесячном журн. для молодежи «Рыцарь», 1913, октябрь — декабрь, № 10—12, с подзаголовком «Эскиз». С небольшими сокращениями перепечатан в журн. «Радуга» (Киев, 1969, № 2).

Репортер Крыс (с. 11).— Впервые в «Журналисте», 1925, № 2, под названием «О Норд Осте, героях и репортере Крысе» (Воспоминания 1921 г.).

Стр. 12. *Вальтер Скотт* (1771—1832) — английский исторический романист.

Губтрамот — губернский трамвайный отдел.

Лихорадка (с. 15).— Впервые под названием «Минетоза» в «Сибирских огнях», 1925, № 2. (Отрывок из повести «Лихорадка» — в «Рупоре», 1924, декабрь).

Стр. 17. *Шербург* (Шербур) — порт на полуострове Котантен на западе Франции, у пролива Ла-Манш.

Стр. 18. *Нью-Орлеан* (Новый Орлеан) — порт на юге США.

Тампико — порт на восточном побережье Мексики.

Антиллы (Антильские острова) — архипелаг в Вест-Индии.

Стр. 26. *Французская Гвиана* — страна на северо-востоке Южной Америки, с 1946 г. «заморский департамент» Франции.

Кайенна — порт во Французской Гвиане.

Стр. 29. *...тучную, как Фландрия.*— Имеется, вероятно, в виду тучное изобилие, изображавшееся на картинах фламандской школы живописи.

Стр. 32. *Ильинка* — так называлась до 1935 г. улица Куйбышева, между Красной площадью и Новой и Старой площадями, в центре Москвы.

Варварка — так до 1933 г. называлась улица Разина, между Красной площадью и площадью Ногина.

Стр. 33. *«Юманите»* («Человечество») — французская ежедневная газета, основанная лидером французских социалистов Жаном Жоресом. В 1904—1920 гг. орган Социалистической партии. С 1920 г. центральный орган французской компартии.

Этикетки для колониальных товаров (с. 34).— Впервые в кн.: «Пролетарий. Литературно-художественный альманах. Книга 2». Харьков, «Пролетарий», 1927.

В примечаниях к четвертому тому шеститомника (М., ГИХЛ, 1958), написанных со слов К. Г. Паустовского, сказано:

«Рассказ написан в зиму 1924 года в Батуме, где Паустовский редактировал в то время маленькую морскую газету «Маяк», печатавшуюся на ножной печатной машине — «бостонке». Несмотря на ничтожный размер газеты, в ней работали талантливые люди: писатели И. Бабель, Ульянский, Р. Фраерман, поэт Александр Чачиков, фельетонист Ядов. Под именем Шифрина в рассказе выведен

один из сотрудников «Маяка» — гравер, резавший для газеты клише на линолеуме».

Стр. 38. *Пиранези* Джованни Баттиста (1720—1778) — итальянский гравер.

Микеланджело Буонаротти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец и архитектор, поэт.

Пуссен Никола (1594—1665) — французский живописец.

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из руководителей национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии.

Виктор Эммануил II (1820—1878) — первый король объединенной Италии. Виктор Эммануил III (1869—1947) — последний король Италии. В рассказе, очевидно, имеется в виду первый.

Стр. 39. *Венизелос* Элефтериос (1864—1936) — премьер-министр Греции в 1910—1915, 1917—1920, 1924, 1928—1932, 1933 гг.

Стр. 40. *Рома* (Рим) — столица Италии и название античного государства.

Карфаген — древний город-государство в северной Африке.

Акрополь — возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, так называемый верхний город; крепость (убежище на случай войны). Наиболее известен Акрополь в Афинах.

Идишер готт (евр.) — еврейский бог.

Стр. 41. *Гой* — с юдаистской точки зрения, каждый нееврей.

Сион — холм, часть Иерусалима, где, согласно Ветхому завету, была резиденция царя Давида и храм Яхве.

Яффа — портовый город в Палестине.

Иордан — река в восточном Средиземноморье, впадающая в Мертвое море.

Стр. 42. *Владимирская горка* — гора в Киеве, где стоит памятник князю Владимиру, при котором Русь приняла христианство.

Стр. 44. *Малабарский берег* — западное побережье полуострова Индостан в Индии.

Сандвичевы острова — второе название Гавайских островов.

Эйфелева башня — стальная башня, сооруженная по проекту Александра Гюстава Эйфеля в Париже для всемирной выставки 1889 г.

Стр. 49. *Трапезунд* (Трабзон) — портовый город на черноморском побережье Турции.

Дочечка Броня *(Письмо из Одессы)* (с. 51).— Впервые в кн. Паустовского «Встречные корабли» (М., «Молодая гвардия», 1928).

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«В рассказе описан подлинный случай, бывший в Одессе в 1921 году. Участниками выступления на Куяльницком лимане, кроме самого автора, были поэт Багрицкий и профессор Варнеке».

Стр. 52. *Ольвия* (Борисфен) — античный город на берегу Днепро-Бугского лимана, южнее г. Николаева.

Этруски — древние племена, населявшие в 1-м тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова и создавшие развитую цивилизацию.

Микены — древний город в Арголиде (южная Греция), крупный центр эгейской культуры.

Стр. 57. *«Я не снесу трагического груза»...* — Из первоначального варианта (не вошедшего в окончательный текст) стихотворения Э. Багрицкого «Одесса». В оригинале:

Я не снесу трагического груза,
Чернила высохли,
И рифмы нет,
Подай же мне, классическая муза,
Уроненный когда-то пистолет...

Стр. 58. *Виттингтон.*— Согласно легенде, Виттингтон (ум. в 1423 г.) от лишений бежал из Лондона, но, услышав перезвон колоколов, в котором ему послышались слова «Вернись обратно, Виттингтон, мэр Лондона», вернулся. Вскоре к нему пришло богатство, и он стал мэром Лондона.

Кофейная гавань (с. 59).— Первый вариант (под названием «Пневматическая дверь») в журн. «Вокруг света», 1930, № 9. Под названием «Кофейная гавань» (в переработанном виде) — в сборнике Паустовского «Рассказы», Детгиз, 1935.

Стр. 62. *Бугшприт* (бушприт) — горизонтальный или наклонный брус, выставленный вперед с носа парусника и служащий для улучшения маневренных качеств судна.

Жара *(Записки лейтенанта Жиро)* (с. 70).— Впервые в журн. «Тридцать дней», 1928, № 3.

Стр. 71. *Вильгельм Завоеватель* (1027—1087) — герцог Нормандский, в 1066 г. высадился в Англии и, разбив в битве при Гастингсе войска англо-саксонского короля Гарольда II, стал королем Англии.

Стр. 73. *Порт-Саид* — порт на Средиземном море, у входа в Суэцкий канал.

Стр. 74. *Джибути* — порт на востоке Африки.

Стр. 75. *Аннам* — старое название Северного и частично Центрального Вьетнама.

Стр. 76. *Респиратор* — прибор для защиты органов дыхания,

зрения и слуха от действия на них водной пыли; устройство, сходное с противогазом.

Стр. 77. *Острова Полинезии* — острова, расположенные в Океании, в центральной части Тихого океана.

Бенуа Пьер (1886—1962) — французский писатель.

Крезо — металлургические, машиностроительные и военные заводы в городе Ле-Крезо в восточной части Франции.

Стр. 78. *Монмартр* — район Парижа, где обитала артистическая богема.

Стр. 80. *Джонка* — распространенный в Китае тип парусного судна с очень широкими и высоко поднятыми кормой и носом.

Фанза — небольшой дом каркасного типа в Китае.

Стр. 81. *Шканцы* — часть верхней судовой палубы между средней и задней мачтами.

Ценный груз (с. 81).— Впервые под названием «Драгоценный груз» в журн. «Тридцать дней», 1930, № 1.

Стр. 88. *Гейзер* — источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара.

Московское лето (с. 90).— Впервые под названием «Снега» в журн. «Тридцать дней», 1931, № 9. Публиковался под названием «Пятый день».

Стр. 92. *«Красивое имя, высокая честь...»* — Из стихотворения М. А. Светлова «Гренада».

Стр. 98. *Арсеньев* Владимир Клавдиевич (1872—1930) — исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель. Автор книги «Дерсу Узала», о которой М. Горький писал Арсеньеву 24 января 1928 года: «...книгу Вашу читал с великим наслаждением. Не говоря о ее научной ценности, конечно, несомненной и крупной, я увлечен и очарован был ее изобразительной силою. Вам удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера — это, поверьте, неплохая похвала».

Стр. 101. *Усачевка* — местность на юго-западе Москвы, в районе современных улиц Усачева и Ефремова, между Б. Пироговской улицей и Комсомольским проспектом.

Зарядье — один из древнейших исторических районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. После снесения большинства старых домов и строительства на их месте гостиницы «Россия», название сохранилось в наименовании кинотеатра «Зарядье».

Пречистенка — ныне Кропоткинская улица.

Стр. 103. *Болото* — название местности в Замоскворечье, напротив Кремлевского холма, между правым берегом реки Москвы и ее старицей (Водоотводным каналом).

Воробьевы (ныне Ленинские) *горы* — название правого высо-

кого берега реки Москвы, напротив Лужниковской излучины, на юго-западе Москвы.

Стр. 104. *Крекинг* — процесс получения легких моторных топлив из тяжелых нефтепродуктов.

Стр. 105. *Дорогомилово* — местность на западе Москвы, соседствующая с Филями и Потылихой.

Брянский вокзал — ныне Киевский вокзал в Москве.

Стр. 107. *Хамовники* — местность на юго-западе Москвы, соседствующая с Девичьим полем.

Стр. 109. *Остоженка* — ныне Метростроевская улица.

Медные доски (с. 111).— Впервые в «Комсомольской правде», 1939, 29 октября.

Стр. 112. *Пожалостин* Иван Петрович (1837—1909) — русский гравер.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт.

Соранг (с. 114).— Впервые в журн. «Тридцать дней», 1933, № 11—12.

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«Рассказ написан поздней осенью 1933 года в писательском доме отдыха в Малеевке. Однажды несколько отдыхавших в Малеевке писателей решили устроить шуточный конкурс на самое быстрое написание рассказа. Паустовский написал рассказ «Соранг» за полтора часа».

Стр. 114. *Скотт* Роберт Фолкон (1868—1912) — английский исследователь Антарктиды.

Амундсен Руаль (1872—1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь.

Тост (с. 117).— Впервые в журн. «Тридцать дней», 1933, № 11—12.

Стр. 118. *Ревель* — старинное название Таллина.

Стр. 121. *Дредноут* — устаревшее название крупных боевых бронированных кораблей с мощной дальнобойной артиллерией.

Доблесть (с. 122).— Впервые в газ. «Правда», 1934, 31 декабря.

Морская прививка (с. 129).— Впервые в журн. «Тридцать дней», 1935, № 3.

Барсучий нос (с. 137).— Впервые в журн. «Мурзилка», 1935, № 10.

Золотой линь (с. 140).— Впервые в журн. «Смена», 1936, № 6.

Стр. 140. *Рувим* — писатель Рувим Исаевич Фраерман.

Последний черт (с. 144).— Впервые в журн. «Пионер», 1936, № 5.

Кот Ворюга (с. 149).— Впервые в журн. «Мурзилка», 1936, № 2.

Резиновая лодка (с. 152).— Впервые (вместе с упомянутыми выше четырьмя рассказами) в сб. Паустовского «Летние дни», М.— Л., Детгиз, 1937.

Желтый свет (с. 156).— Впервые в журн. «Пионер», 1936, № 11.

Михайловские рощи (с. 161).— Впервые в журн. «Красная новь», 1938, № 7.

Стр. 161. *«Поэзия всюду...»* — Из выступления Б. Л. Пастернака на Международном конгрессе писателей в защиту культуры. В оригинале: «Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли...»

«В разны годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся я».— Из черновой рукописи стихотворения Пушкина «Вновь я посетил...».

«Прощай, Тригорское, где радость меня встречала столько раз...» — Из стихотворения «Простите, верные дубравы». В оригинале: «Прости, Тригорское...»

«Я вижу двух озер лазурные равнины».— Из стихотворения «Деревня». В оригинале: «Здесь вижу...»

«Нельзя ли мне...» — Из письма Пушкина П. А. Осиповой от 29 июня 1831 г.

Стр. 167. *«Я вижу берег отдаленный...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Погасло дневное светило...»

Стр. 168. *«Милый предел».*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» («Но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать»).

Акварельные краски (с. 169).— Впервые в журн. «Молодая гвардия», 1936, № 6.

Заячьи лапы (с. 174).— Впервые в кн. Паустовского того же названия. М.— Л., Детгиз, 1937.

Парусный мастер (с. 179).— Впервые в журн. «Пионер», 1937, № 2.

Стр. 181. *Кливер* — косой треугольный парус, который ставится впереди фок-мачты.

Колотый сахар (с. 183).— Впервые под названием «Гостинец» в «Правде», 1937, 10 мая.

Потерянный день (с. 189).— Впервые в журн. «Знамя», 1937, № 6.

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«Рассказ представляет совершенно точное описание поездки автора и писателей А. И. Роскина и С. Г. Гехта по Крыму зимой 1937 года. По поводу этого рассказа Юрий Олеша напечатал в «Литературной газете» (26 августа 1937 г.) статью под названием «Письмо писателю Паустовскому».

Отдавая должное таланту Паустовского, Олеша предостерегал его от чрезмерного увлечения Александром Грином.

Ленька с малого озера (с. 200).— Впервые в «Правде», 1937, 18 октября.

Стр. 205. *Брэм* (Брем) Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог. Автор книги в шести томах «Жизнь животных».

Австралиец со станции Пилево (с. 205).— Впервые под названием «Австралиец из Пилево» в журн. «Пионер», 1937, № 10.

Стр. 208. *Батавия* (Джакарта) — столица Индонезии, на острове Ява.

Поводырь (с. 219).— Впервые под названием «Самолет шел к югу» в «Правде», 1938, 4 января.

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«Песня лирника написана самим Паустовским, равно как и многие песни в других его рассказах и романах, в частности в «Далеких годах» (песня слепца над могилой поводыря)».

Старый челн (с. 225).— Впервые в «Правде», 1940, 7 ноября.

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«Первый по времени рассказ Паустовского, посвященный теме леса. В дальнейшем она заняла большое место в творчестве Паустовского — в его рассказах, статьях и, наконец, в «Повести о лесах».

Стр. 227. *Лукреций* (Тит Лукреций Кар) — римский поэт и философ, I в. до н. э.

«Линкольн» — марка американских легковых автомобилей.

Стекольный мастер (с. 234).— Впервые в «Литературной газете», 1940, 31 декабря.

Стр. 235. *Скородить* — бороновать.

Стр. 239. *«Когда поля в час утренний молчали».*— Из стихотворения Пушкина «Певец», музыку к которому написал П. И. Чайковский.

Ручьи, где плещется форель (с. 239).— Вместе с рассказом **Старый повар** (с. 244) под общим названием «Зимние рассказы (Первый рассказ, Второй рассказ)» были впервые напечатаны в журн. «Тридцать дней», 1941, № 1.

Стр. 239. *Манерка* — походная металлическая фляжка.

Стр. 240. *Ломбардия* — область в Северной Италии.

Стр. 244. *Флорин* — денежная единица многих европейских стран.

Жильцы старого дома (с. 247).— Впервые в журн. «Общественница», 1941, № 4.

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«В рассказе описан дом художника-гравера И. П. Пожалостина в селе Солотче Рязанской области. В этом доме, кроме автора, жили писатели Р. Фраерман, А. Роскин, А. Гайдар, В. Гроссман, А. Платонов, И. Халтурин, С. Бондарин, архитектор М. Синявский, бывали К. Симонов и писатель-краевед Юрин».

Сивый мерин (с. 253).— Впервые в журн. «Пионер», 1941, № 2.

Подарок (с. 257).— Впервые в журн. «Пионер», 1941, № 2.

Прощание с летом (с. 260).— Впервые в кн. Паустовского «Жильцы старого дома». М.— Л., Детгиз, 1941.

Путешествие на старом верблюде (с. 262).— Впервые в газ. «Красная звезда», 1942, 26 марта.

Стр. 265. *Тамерлан* (Тимур) (1336—1405) — среднеазиатский полководец, эмир, создал могущественное феодальное государство со столицей в Самарканде. Господство Тамерлана отличалось крайней жестокостью.

Английская бритва (с. 266).— Впервые в ташкентской газ. «Правда Востока», 1942, 26 апреля.

Стр. 267. *Купидон* — в римской мифологии бог любви, то же, что Амур; красавчик, ангелочек.

Стр. 268. *Ахиллес* (Ахилл) — в «Илиаде» Гомера храбрый герой, участвовавший в осаде Трои.

Кантор — певец в синагоге.

Робкое сердце (с. 269).— Впервые под названием «Встреча» в газ. «Красная звезда», 1942, 5 июля.

Стр. 270. *Циолковский* Константин Эдуардович (1857—1935) — советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, теории самолета и дирижабля. Основоположник современной космонавтики.

Кружевница Настя (с. 279).— Впервые в «Известиях», 1942, 4 августа.

Белые кролики (с. 283).— Впервые в кн. Паустовского «Наши дни», Ташкент, «Советский писатель», 1942.

Дорожные разговоры (с. 286).— Впервые в «Пионерской правде», 1943, 26 мая.

Бакенщик (с. 291).— Впервые под названием «На реке» в «Пионерской правде», 1943, 7 июля.

Снег (с. 296).— Впервые в журн. «Огонек», 1944, № 5—6.

Степная гроза (с. 303).— Впервые в журн. «Огонек», 1944, № 12—13.

Стр. 303. *Кинбурн* (Кинбурнская коса) — низменная песчаная коса между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря, в Херсонской области.

Стр. 311. *Кулеш* — жидкая каша, похлебка.

Нет ли у вас молока? (с. 313).— Впервые в газ. «Пионерская правда», 1944, 13 июня.

Стеклянные бусы (с. 316).— Впервые в «Известиях», 1944, 1 мая. Впоследствии рассказ был переработан.

Стр. 317. *Постолы* — обувь, своего рода сандалии, гнутые из сырой кожи или сделанные из шкуры и шерсти.

Бриз (с. 320).— Впервые под названием «Летний бриз» в журн. «Смена», 1944, № 11—12.

Бабушкин сад (с. 326).— Впервые под названием «Старый сад» в журн. «Мурзилка», 1944, № 7.

Подпасок (с. 330).— Впервые в «Известиях», 1944, 22 октября.

Фенино счастье (с. 334).— Впервые в журн. «Огонек», 1944, № 47.

Рассказ о лимоне (с. 340).— Впервые в «Пионерской правде», 1945, 1 января.

Молитва мадам Бовэ (с. 343).— Впервые в пятом томе шеститомного Собрания сочинений. М., ГИХЛ, 1958.

Стр. 343. *Лафонтен* Жан (1621—1695) — французский поэт.

Линия Мажино — система французских укреплений, построенная между двумя мировыми войнами, на границе с Германией.

Стр. 345. *Троицын день* (пятидесятница) — один из «двунадесяти» православных праздников, отмечаемый на пятидесятый день от пасхи (согласно христианскому догмату, единый бог существует в трех ипостасях: бог-отец, бог-сын, бог — дух святой).

Вторжение началось! — 6 июня 1944 года американские и британские войска высадились в Нормандии, провинции на северо-западе Франции, открыв таким образом второй фронт против нацистской Германии.

Стр. 346. *Кан* и *Гранвиль* — портовые города на северо-западе Франции.

Стр. 347. *Бургундия* — историческая провинция во Франции, в бассейне Сены.

Шампань —историческая провинция во Франции, в бассейне рек Сена и Марна.

Лангедок — историческая область на юге Франции.

Белая радуга (с. 348).— Впервые в «Красноармейце», 1945, № 11—12.

Стр. 348. *«О, где она, горящая звездами...»* — Из стихотворения поэта-символиста Сергея Михайловича Соловьева (1885—1942). В оригинале: «Ах, где она, кипящая звездами, //Осенняя сияющая ночь?»

Поздняя весна (с. 354).— Впервые в журн. «Огонек», 1945, № 17.

Стр. 358. *«Встречали ль вы...»* — Романс на слова А. С. Пушкина (стихотворение «Певец») из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Дождливый рассвет (с. 360).— Впервые в журн. «Ленинград», 1945, № 13—14.

Стр. 362. *«Изгнанники, бродяги и поэты...»* — Из «Corona Astralis (Звездный венок)» Максимилиана Волошина.

Стр. 366. *«И невозможное возможно...»* — Из стихотворения А. Блока «Россия» («Опять, как в годы золотые...»).

Пустая дача (с. 372).— Впервые в еженедельнике «Неделя», 1974, № 18 (738). Печатается по тексту «Недели».

Телеграмма (с. 377).— Впервые в журн. «Огонек», 1946, № 8.

Стр. 378. *«Вестник Европы»* — русский литературно-художественный и историко-политический журнал, выходивший в 1866—1918 гг.

Стр. 381. *Сольвейг* — героиня драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

Стр. 382. *Неандертальский человек*.— Неандертальцы — ископаемые древние люди (палеоантропы), жившие в эпоху каменного века (палеолита).

Стр. 386. *«Красная стрела»* — название поезда, курсирующего между Москвой и Ленинградом.

Ночь в октябре (с. 389).— Впервые в «Комсомольской правде», 1946, 2 марта.

Собрание чудес (с. 397).— Впервые в «Пионерской правде», 1946, 1 мая.

Стр. 398. *Гренадеры* — первоначально гранатометчики, с конца XVIII в. отборные пехотные части и соединения, состоявшие из особо рослых солдат.

Стр. 399. *Павел I* (1754—1801) — русский император с 1796 г. Ввел в стране военно-полицейский режим. Убит заговорщиками-дворянами.

Воронежское лето (с. 402).— Впервые с подзаголовком «Из дневника» в «Новом мире», 1946, № 10—11. Состоял из двух частей:

«Мальчики» и «Аннушка». Впоследствии только рассказ «Мальчики» публиковался под названием «Воронежское лето».

Стр. 402. *Бочаг* — яма, залитая водой; омут.

Эртель Александр Иванович (1855—1908) — русский писатель, автор романа «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги».

Кордон «273» (с. 407).— Впервые в «Огоньке», 1948, № 43.

Стр. 407. *Виардо* Гарсиа Мишель Полина (1821—1910) — французская певица и композитор, друг И. С. Тургенева.

Толстой Федор Петрович (1783—1873) — русский медальер, скульптор и живописец, представитель классицизма.

Стр. 414. *«Серенький ситец наших северных скромных небес».*— Из стихотворепия С. Есенина «Низкий дом с голубыми ставнями». В орпгипале: «До сегодня еще мне снится // Наше поле, луга и лес. // Принакрытые сереньким ситцем // Этих северных бедных небес».

Стр. 420. *Тургенев говорил о волшебном русском языке.*— Имеется в виду стихотворепие в прозе И. С. Тургенева «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дап великому народу!»

Стр. 421. *«Старинный вальс «Осенний сон»...»* — Песня М. Блантера, слова М. Исаковского (стихотворение «В прифронтовом лесу»).

Стр. 423. *«На прощанье шаль с каймою...»* — Из «Песни цыганки» русского поэта Я. П. Полонского.

Равнина под снегом (с. 423).— Впервые в кн.: «К. Паустовский. Бег времени. Новые рассказы». М., «Советский писатель», 1954.

Стр. 428. *Магеллан* Ферпан (ок. 1480—1521) — мореплаватель, экспедиция которого совершила впервые кругосветное плавание.

Нельсон Горацио (1758—1805) — английский флотоводец. Одержал победу в Трафальгарском сражении (1805), во время которого был смертельно ранен.

Стр. 429. *Паллада* — Афина Паллада — согласно греческой мифологии, богиня войны и победы, мудрости, зпаний, искусств и ремесел.

Стр. 430. *Мексиканская война* — война между США и Мексикой в 1846—1848 гг.

Понсе де Леон Хуан (ок. 1460—1521) — испанский конкистадор. В 1513 г. открыл побережье Флориды.

Маша (с. 435).— Впервые в газ. «Социалистическое земледелие», 1950, 1 мая.

Во глубине России (с. 442).— Впервые в «Огоньке», 1950, № 31.

Стр. 454. *Пирогов* Александр Степанович (1899—1964) — певец, народный артист СССР.

Шиповник (с. 455).— Впервые в «Огоньке», 1951, № 38.

Стр. 458. *Кирилло-Белозерский монастырь* — мужской монастырь, основанный в 1397 г. на берегу Сиверского озера (в черте современного города Кириллова Вологодской области).

Андрей Рублев (ок. 1360—70-х гг. — ок. 1430 г.) — русский живописец, крупнейший мастер московской школы живописи. Участвовал в создании росписей и икон соборов в Москве, Владимире, Троице-Сергиевой лавры в Загорске.

«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» — Из песни В. И. Соловьева-Седого «Соловьи» на слова А. Фатьянова.

Стр. 460. *Георгиевские кавалеры* — лица, награждавшиеся Георгиевским крестом, орденом святого Георгия. Был учрежден в 1769 г. для награждения офицеров и генералов за военные отличия; в 1807 г.— для награждения солдат и унтер-офицеров. Имел 4 степени. На орденской ленте — черные и желтые полосы.

Стр. 462. *«Я не люблю иронии твоей...»* — Первая строка стихотворения (без названия) Н. А. Некрасова.

Бег времени (стр. 466).— Впервые в журн. «Советская женщина», 1952, № 1.

Пришелец с юга (с. 470).— Впервые в газ. «Социалистическое земледелие», 1952, 6 ноября.

Секвойя (с. 476).— Впервые в газ. «Социалистическое земледелие», 1953, 1 января.

Приточная трава (с. 481).— Впервые с подзаголовком «Страницы из дневника» в «Литературной газете», 1953, 1 мая.

Грач в троллейбусе (с. 484).— Впервые под названием «Страницы из дневника. Простой случай» в «Литературной газете», 1953, 1 мая.

Синева (с. 486).— Впервые в «Литературной газете», 1953, 17 ноября.

Стр. 491. *Сковорода* Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ, поэт и педагог.

Корзина с еловыми шишками (с. 494).— Впервые в «Огоньке», 1954, № 1.

Стр. 494. *Григ* Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор, пианист, дирижер.

Стр. 498. *Христиания* (Кристиания) — старое название столицы Норвегии Осло.

Стр. 499. *Людовик XIV* — король Франции с 1643 по 1715 г.

Днепровские кручи (с. 502).— Впервые в газ. «Сельское хозяйство», 1954, 6 ноября.

Рождение рассказа (с. 508).— Впервые в пятом томе шеститомника. М., ГИХЛ, 1958.

Стр. 509. *«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы...»* — Первые строки стихотворения Пушкина без названия.

Стр. 510. *«Душа стесняется лирическим волненьем...»* — Из стихотворения Пушкина «Осень».

Старик в потертой шинели (с. 517).— Впервые в «Огоньке». 1956, № 17.

Стр. 521. *Вахмистр* — звание и должность унтер-офицерского состава в кавалерии и конной артиллерии в русской и некоторых иностранных армиях.

Стр. 524. *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал от инфантерии, участвовавший в завоевании Средней Азии и в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Стр. 526. *Данилевский* Григорий Петрович (1829—1890) — русский и украинский писатель, автор исторических романов.

Стр. 528. *«Меж высоких хлебов затерялося...»* — песня на слова Н. А. Некрасова (стихотворение «Похороны»).

Уснувший мальчик (с. 529).— Впервые в газ. «Сельское хозяйство», 1957, 2 мая.

Стр. 531. *Гонзаго* Пьетро (1751—1831) — итальянский художник, с 1792 г. работавший в России, где участвовал в плапировке парков.

Стр. 532. *Поленов* Василий Дмитриевич (1844—1927) — русский живописец. В селе Поленово Тульской области (неподалеку от Тарусы) — музей-усадьба художника.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — русский живописец.

Толпа на набережной (с. 535).— Впервые в журн. «Москва», 1958, № 3.

Стр. 536. *Игуменья* — настоятельница женского монастыря.

Гроб господен — согласно христианскому верованию, находится в Иерусалиме.

Стр. 537. *Гувер* Герберт Кларк (1874—1964) — президент США в 1929—1933 гг.

Стр. 542. *Апеннины* — горная система в Италии.

Джотто Ди-Бондоне (1266 или 1267—1337) — итальянский живописец.

Песчинка (с. 543).— Впервые в газ. «Сельское хозяйство», 1959, 1 мая.

Стр. 543. *Архимед* (ок. 287—212 гг. до н. э.) — древнегреческий ученый.

Рассказ о народной медицине (с. 548).— Впервые в «Литературной газете», 1960, 1 мая.

Стр. 548. *Довженко* Александр Петрович (1894—1956) — советский кинорежиссер и кинодраматург.

Васильев Сергей Дмитриевич (1900—1959) — советский кинорежиссер и кинодраматург.

Стр. 549. *Клуня* — хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба.

Стр. 552. *Курень* — соломенный шалаш, временное помещение, барак.

Избушка в лесу (с. 553).— Впервые в газ. «Сельская жизнь», 1960, 1 мая.

Стр. 555. *Рихтер* Святослав Теофилович (р. в 1915 г.) — советский пианист.

Амфора (с. 558).— Впервые в журн. «Октябрь», 1961, № 2.

Стр. 559. *Базилика* — один из главных типов христианского храма, прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части (нефы).

Стр. 568. *«Мистраль качает ставни целый день...»* — Из стихотворения И. А. Бунина «Зимняя вилла». В оригинале: «Мистраль качает ставни. Целый день // Печет дорожки солнце. Но за домом, // Где ледяная утренняя тень, // Мороз крупой лежит по водоемам».

Стр. 570. *Атлантида* — по древнегреческому преданию, некогда существовавший огромный остров в Атлантическом океане, к западу от Гибралтара, плодородный, густонаселенный, из-за землетрясения опустившийся на дно.

Стр. 574. *«Вон о той звезде далекой...»* — Из стихотворения А. Блока «Мэри».

Стр. 576. *Одиссей* — герой поэмы Гомера «Одиссея».

«Шумело Эгейское море...» — Из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Одиссей и сирены».

«Гребите, греки! Есть еще в Элладе...» — Из поэмы В. Луговского «Как человек плыл с Одиссеем».

Наедине с осенью (с. 576).— Впервые в еженедельнике «Неделя», 1963, № 45.

Стр. 577. *Таврида* — название Крымского полуострова после его присоединения к России (1783 г.).

Стр. 578. *«Не искушай меня без нужды...»* — Начальные строки стихотворения Е. А. Баратынского «Разуверение», положенного на музыку М. И. Глинкой.

Стр. 579. *«Слепой тоски моей не множь».*— Из того же стихотворения.

«Звездочеты ночей».— Из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Петухи поют».

«Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница».— Из стихотворения Н. А. Заболоцкого «Гроза».

Стр. 580. *«Не смеют, что ли, командиры...»* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Лувр — музей изобразительного искусства в Париже.

Ника Самофракийская — древнегреческая статуя. Согласно греческой мифологии, Ника (Нике) — вестница победы.

Стр. 581. *Делакруа* Эжен (1798—1863) — французский живописец и график.

Стр. 583. *«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»* — Начало стихотворения А. С. Пушкина без названия.

«Приедается все...» — Первая строфа главы «Морской мятеж» поэмы Б. Л. Пастернака «Девятьсот пятый год».

Ильинский омут (с. 584).— Впервые в «Известиях», 1964, 8 августа.

Стр. 588. *Доде* Альфонс (1840—1897) — французский писатель.

Стр. 590. *Тирренское море* — часть Средиземного моря, между Апеннинским полуостровом и островами Сицилия, Сардиния и Корсика.

Стр. 591. *Де Голль* Шарль (1890—1970) — французский военачальник и политический деятель.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель и философ.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир, писатель.

Вилла Боргезе (с. 593).— Впервые в «Известиях», 1966, 28 мая.

Стр. 594. *Бернини* Лоренцо (1598—1680) — итальянский архитектор и скульптор.

Прозерпина — согласно римской мифологии, богиня плодородия и подземного царства.

Плутон — в греческой мифологии бог подземного мира. Миф рассказывает, что Прозерпина (в греческой мифологии Персефона) была похищена Плутоном (Аидом), увезена им в подземное царство, где Плутон заставил ее проглотить гранатовые зерна — символ неразрывности брака. Деметра, мать Персефоны, добилась от Зевса возвращения дочери, после чего Персефона часть года могла быть на земле с матерью, а остальное время со своим мужем находилась в подземном царстве.

Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма.

Стр. 595. *Вифлеем* — город в Палестине. Согласно Библии, родина царя Давида и место рождения Иисуса Христа.

Назарет — город в Палестине.

Нагасаки — город в Японии, на который в августе 1945 г. американские военные летчики сбросили атомную бомбу.

Карабинеры — название личного состава жандармерии в Италии.

Стр. 598. *Дафния* (Дафна) — согласно греческой мифологии, нимфа, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, попросила своего отца, речного бога Пенея, о помощи и была превращена в лавровое дерево.

Л. Левицкий

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Паустовский К. Г.

П21 Собрание сочинений: В 9-ти т.— М.: Худож. лит., 1980.—
Т. 6. Рассказы. Примеч. Л. Левицкого. 1983.— 623 с.

В том вошли рассказы, написанные К. Паустовским с 1912 по 1966 год и отражающие все этапы его творческого пути.

П $\frac{4702010200-144}{028(01)-83}$ подписное Р2

Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 6

Редактор **Л. Полосина**
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректоры
Г. Володина и Н. Гришина

ИБ № 2437
Сдано в набор 10.06.82. Подписано в печать А07909 от 17.01.83. Формат 84×108 1/32. Бумага кн. журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 32,76. Уч.-изд. л. 35,21. Изд. № III-142. Тираж 125 000 экз. Заказ № 387. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28